



ЛИОН

ГЕЙХТВАНГЕР



ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  
ЛИТЕРАТУРА»  
МОСКВА • 1964

# Ф И О Н Е Й Х Т В А Н Г Е Р

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
В ДВЕНАДЦАТИ ТОМАХ

*Под общей редакцией  
А. Дымишица, Б. Сучкова,  
С. Тураева и А. Чаковского*

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»  
МОСКВА 1964

# Ф. ИОН ЕЙХТВАНГЕР

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

УСПЕХ  
*Книги 4-5*  
СЕМЬЯ ОППЕРМАН

*Переводы с немецкого*

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»  
МОСКВА 1964



LION FEUCHTWANGER  
ERFOLG

Roman

1930

DIE GESCHWISTER OPPERMAN

Roman

1933

*Примечания*

В. МИКУШЕВИЧА

**У**СПЕХ

ТРИ ГОДА ИЗ ИСТОРИИ  
ОДНОЙ ПРОВИНЦИИ

Р О М А Н

*Перевод*

*В. В а л ь д м а н*



---

## *Книга четвертая*

# ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА

1. БРОНЕНОСЕЦ «ОРЛОВ».
2. ГОРНЫЙ КОЗЕЛ.
3. ЖИЗНЬ ЗА ГОРОДОМ.
4. СТАРОБАВАРСКАЯ ЗЕМЛЯ.
5. О СЕМИ СТУПЕНЯХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ РАДОСТИ.
6. В СТРАНУ ЗАГЛЯДЫВАЕТ ДОЛЛАР.
7. ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, КРЫСА!
8. РАНЬШЕ, ЧЕМ ПОКРОЮТСЯ ЦВЕТОМ ДЕРЕВЬЯ.
9. ИЗ ИСТОРИИ ГОРОДА МЮНХЕНА.
10. ШАПКА-НЕВИДИМКА.
11. СЕВЕРНЫЙ ДУХ.
12. УМЕН ИЛЬ ГЛУП,— ОН ГОРОД МОЙ РОДНОЙ.
13. ПЕРЧАТКА.
14. ПОЛИТИКА УВЕЛИЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ.
15. ПОМНИТЕ О ХЛЕБОПЕКЕ!
16. О КОРРЕКТНОСТИ.
17. КАСПАР ПРЕКЛЬ СЖИГАЕТ «СМИРЕННОЕ ЖИВОТНОЕ».
18. НЕКТО КИДАЕТСЯ НА РЕШЕТКУ СВОЕЙ КЛЕТКИ.
19. НЕВИДИМАЯ КЛЕТКА.
20. РЕКА РУР.
21. ГОСПОДИН ГЕССРЕЙТЕР УЖИНАЕТ МЕЖДУ ФЛИС-СИНГЕНОМ И ГАРВИЧЕМ.
22. ХАРАКТЕРНЫЕ ФИЗИОНОМИИ.
23. КАЛИБАН.
24. ПИСЬМО, НАПИСАННОЕ НОЧЬЮ.
25. К + М + Б.
26. ИОГАННА КРАЙН И ЕЕ МАСКА.
27. АДВОКАТ ГЕЙЕР КРИЧИТ.
28. ЗНАМЕНИЕ В НЕБЕ.
29. ЦВЕТЕНЬЕ ДЕРЕВЬЕВ.
30. ЖЕЛАННЫЙ ЧАС ФРАНЦА ФЛАУХЕРА.
31. ПРОСВЕТ.
32. DE PROFUNDIS.





## БРОНЕНОСЕЦ «ОРЛОВ»

**В**се остальные кинотеатры Берлина в этот час закрыты или сеанс проходит при самом незначительном числе зрителей, а здесь у входа — скопление автомобилей. Полицейские. Зеваки. Фильм «Броненосец «Орлов» демонстрировался уже тридцать шесть раз, по четыре сеанса в день. Тридцать шесть тысяч берлинцев уже видели его. Но люди так волнуются, словно им сейчас будет показано нечто такое, чего ждет весь мир.

Кленк — он головой выше сидящих вокруг — и не думает поддаваться общему настроению. Он читал: фильм без вымысла, без женщин, без сюжета; занимательность заменена тенденцией. Посмотреть такую штуку, раз уж он попал в Берлин, конечно, следует, но на удочку киноспекулянтов, раздувающих эту сенсацию, он не попадетсЯ.

Несколько тактов резкой музыки, дикой, очень громкой. Тайные документы из морского архива: тогда-то в виду города Одессы из-за недоброкачественного питания взбунтовался экипаж броненосца «Орлов». Ну и прекрасно, взбунтовались, значит. Такие случаи, надо думать, бывали и раньше. Мальчиком он, Кленк, с наслаждением читал о таких историях. Интересно для детей старшего возраста. Кленк усмехается.

Матросский кубрик. Койки, вплотную одна к другой. Начальник, словно ищейка шныряющий среди неспокойно спящих матросов. Все вместе неплохо сделано. Так и кажется, что вдыхаешь спертый воздух тесного помещения. К тому же эта глухая, гнетущая музыка.

И вот приходит утро. Матросы, обступившие висящий на крюке кусок говядины. Они глядят на него неодобрительно. Подходит все больше и больше народу. Ни к чему долго принюхиваться, легко и так догадаться, что мясо скверно пахнет. Этот же кусок говядины в увеличенном виде: видно, что он кишит червями. Людям, должно быть, уж не раз отпускалась такая говядина. Брань. Это вполне естественно. Зовут судового врача, невзрачного человека. Он надевает пенсне, исполняет свой служебный долг, осматривает мясо. Находит его годным к употреблению. Мясо кладут в котел. Матросы отказываются есть суп. Ругаются. Самые обыкновенные действия, представленные с большой простотой, без всяких подчеркиваний. Кусок тухлой говядины, матросы, офицеры. Не очень способные офицеры, по-видимому, но и не особенно плохие. Материал среднего качества. У нас, в Баварии, пожалуй, тоже не лучше. Удивительно, что Кленк чувствует себя заинтересованным этими бесхитростными людьми и событиями.

На корабле возрастает озлобление. Трудно уловить его признаки, но каждый из зрителей в зале чувствует, что дело добром не кончится. Господа офицеры там, на экране, принимают происходящее недостаточно всерьез. Им следовало бы принять меры, решительные меры. Слепы они, что ли? Мы ведь тоже чувствовали в последний год войны это приближение грозы и тоже чересчур поздно стали принимать меры. Правда, у нас не было такой вот резкой, бьющей по нервам музыки. Отвратительная музыка, но она не выпускает вас из-под своей власти. Разумеется, этот гнусный фильм надо запретить. Это утонченная агитация. Безобразие! Если кусок говядины оказывается червивым, это вовсе еще не основание для нарушения дисциплины. Во время войны, милейший мой, нам еще и не такую дрянь приходилось жрать. И все же Кленк как-то не может стать на сторону офицеров — он на стороне матросов.

Резкая, таящая угрозу музыка продолжается. Недовольство растет. Капитан приказывает матросам выстроиться на палубе. Спрашивает, кто недоволен пищей. Минутное колебание. Несколько человек выступают вперед. И сразу же, как-то незаметно, все лучшие из числа матросов, недовольные, вожаки, оказываются отрезанными от остальных. Широкое, пустое, полное опасности пространство отделяет их от товарищей. Чертовски ловкие парни эти офицеры: сразу, одним махом они захватили в свои руки зачинщиков, бунтовщиков. Вся масса матросов робко жмется друг к другу. Маленькая группа вожаков отделена протянутым канатом, оттиснута в угол. Вот они, те самые, которые драли глотку, теперь стоят, дрожа, маленькой кучкой. Вот уже их накрыли парусом. Под натянутой парусиной видно, как кто-то из этих жалких людей мечется. Дула винтовок направлены на них. Слова команды. Равнодушные, сухие. Вот один из массы невольно открывает рот. Он кричит. Раздается команда «огонь!». Но огня нет. Винтовки молчат.

Опьянение охватывает людей: и тех, что на экране, и тех, что сидят перед ним. К чему было так долго ждать? Но теперь, теперь *оно* пришло, теперь они поднялись, теперь начинается. И люди, сидящие перед экраном, ликуют, аплодируют тем, на экране. И когда на экране начинается бешеная, безобразно-смешная охота на офицеров, когда их вытаскивают из их нелепых убежищ, выкидывают за борт в весело всплескивающие морские волны, выкидывают одного за другим, включая невзрачного судового врача, а вслед за ним и его пенсне, — аплодисменты сливаются с этой жестокой, ликующей, резкой, отвратительной музыкой.

Кленк сидит совсем тихо. У него захватило дыхание, этот огромного роста человек сидит тихо, какмышь. Запрещать все это бессмысленно. Оно существует, оно живет, мы вдыхаем его вместе с воздухом, это другой, новый мир. Отрицать существование этого мира глупо. Приходится глядеть на него. Приходится слушать эту музыку, ее нельзя запретить.

Флаг спускается, новый флаг ползет вверх по мачте при общем неслыханном ликовании. Красный флаг.

Матросы берут на себя функции офицеров. Механизм работает от этого ничуть не хуже. Корабль под красным флагом входит в одесский порт.

Город робко поглядывает на красный флаг, разевает рот от удивления, ликует. Дышит все чаще, выпускает вопль восторга, вздыхает глубоко, с облегчением. Люди тянутся к кораблю, сначала поодиночке, затем целыми толпами. Весь город совершает паломничество к перевезенному на берег телу убитого матроса. Вокруг корабля под красным флагом кишат лодки с людьми. Город делится с матросами своими скудными съестными припасами.

Кленк раздражается. Неужели «те, другие» спокойно отнесутся к происходящему? Неужели они стерпят всю эту штуку? Он вовсе не на стороне «тех, других», он слишком впечатлителен, чтобы не поддаться пафосу таких событий. Но ему не нравится, что это упущение делает неправдоподобным ход действия, в остальном такой правдоподобный. Ему не нравится, что это не похоже на правду.

Но вот оказывается, что на правду все же похоже! Вот они — «те, другие». Они не теряли времени даром.

На экране — лестница. Огромная, широкая лестница, и нет ей конца. По ней народ непрекращающимся потоком несет к бунтовщикам проявление своих симпатий. Но это длится недолго: на лестнице появляются «те, другие». Цепь солдат шагает вниз по ступеням, винтовки наперевес, медленно, грозно, непреодолимо, занимая всю ширину лестницы. Толпа приходит в движение. Люди ускоряют шаг, бегут, мчатся. Они ищут спасения в бегстве. Некоторые ничего не замечают, ничего не понимают, медлят, выражают удивление. Видны спускающиеся по лестнице солдатские сапоги, огромные, они медленно продвигаются вперед — одна ступень, еще одна ступень. Из дул винтовок показывается легкий дымок. И вот люди уже не бегут по лестнице, они устремляются вниз, напрягая все силы своих ног и своих легких. Но некоторые просто скатываются вниз, и не их воля заставляет их катиться, не их ноги и легкие, а просто закон тяготения: они мертвы. И все

так же равнодушно шагает солдатский сапог, и все больше людей скатывается вниз. Какая-то женщина везла детскую колясочку, она уже не везет ее. Кто знает, где она, ее уж нет. Но колясочка продолжает свой путь самостоятельно — ступенька, и еще одна ступенька, и еще, еще, пока она наконец не останавливается. А за ней — огромный медлительный солдатский сапог.

На море тоже не потратили времени даром. К месту происшествия стянули другие суда, огромные, мощные. Они окружили «Орлова». На корабле под красным флагом все готово к бою. Дула орудий, блестящие как зеркала, нацеливаются, поднимаются и опускаются, гигантские, грозные, словно сказочные чудовища. Стрелки измерительных приборов бешено мечутся. А кругом все ближе подплывают враги, стальные орудия уничтожения, могучие, до мельчайших деталей разработанные организмы. «Орлов» держит курс прямо на них. Корабли, что за ними охотились, замыкающие вокруг него свое кольцо, одного с ним класса, шесть, восемь, десять таких же существ, как он. Нет никаких шансов прорваться — его орудия не дальнобойнее орудий противника. Он не может победить, может лишь, умирая, увлечь их за собой в объятия смерти. На экране и перед ним в зрительном зале царит мучительная тревога, когда гигантские корабли медленно смыкают кольцо вокруг «Орлова».

Но вот приговоренный к смерти корабль начинает подавать сигналы. Поднимаются, опускаются, веют в воздухе маленькие пестрые флажки. «Орлов» сигнализирует: «Не стреляйте, братья!» Медленно плывет по направлению к своим преследователям, сигнализируя: «Не стреляйте!» Слышно, как тяжело дышат люди перед экраном. Напряженное ожидание почти нестерпимо. «Не стреляйте!» — надеются, молят, жаждут всей силой своей души восьмьсот зрителей берлинского кинотеатра. Неужели министр Кленк — кроткий, миролюбивый человек? Вряд ли оно так. Он здорово посмеялся бы, узнав, что о нем можно даже предположить что-либо подобное. Он грубый, дикий, воинственный чело-

век, не склонный к нежности. О чем же думает он, в то время как мятежный корабль плывет навстречу заряженным пушечным дулам? И он тоже всей силой своего бурного сердца жаждет: «Не стреляйте!»

Неслыханная радость заливает сердца, когда кольцо преследователей пропускает «Орлова», когда он, невероятный, входит в нейтральный порт.

Выбравшись из тесноты и мрака кинотеатра на светлую, просторную улицу, министр Кленк ощущает незнакомое чувство подавленности. Что же это такое? Неужели он не приказал бы стрелять в бунтовщиков? Как же это было возможно, чтобы такой человек, как он, мог ощутить подобное желание: «Не стреляйте»? Итак, оно существует. Можно запретить его, но оно все же будет существовать на свете, и нет смысла закрывать на это глаза.

В одной из витрин он видит свое лицо, какое-то беспомощное. Да ведь он похож на зверя, попавшего в капкан. Что за история! Его лицо совершенно изменилось. Он смущенно улыбается, подзывает такси, вытряхивает трубку, закуривает. И вот он уже овладел своим лицом, вернул ему прежнее выражение неукротимости, жизнерадостности, самодовольства.

## 2

### ГОРНЫЙ КОЗЕЛ

Бывший баварский министр юстиции Кленк, прислонившись к буфету, глядел на оживленную толпу собравшихся на «вечер за кружкой пива», устроенный председателем рейхстага. С тех пор как он оставил свой пост, события и люди, город Берлин и город Мюнхен,— все это стало как-то яснее и понятнее. Прежде, когда Берлин заявлял, что вся остальная Германия смотрит на Баварию как на тягостный груз, вредный как для развития государства в целом, так и для его международного престижа, он считал это дурацкой болтовней, рассчитанной на подрыв кредита южного конкурента. Сейчас он, потрясенный, ясно видел: для Бер-

лина /Бавария действительно была отсталым, упрямым ребенком, которого приходилось тащить за собой по трудному, полному опасностей пути.

Он стоял, прислонившись к буфету, машипально засовывая в рот один бутерброд за другим. Хорошо ли, что он сразу после ухода с министерского поста связался с «истинными германцами»? Всеобщее удивление вызвало то, что такой человек, как он, опустил до роли агента «патриотов». Какая «патриотам» цена — он, разумеется, знал не хуже этих надутых берлинцев. Вдохновенный Руперт Кутцнер был весьма мало похож на Орлеанскую деву. Он был талантливым организатором, великолепным барабанщиком, но отроду — болваном из болванов. Второй столп «патриотов», генерал Феземан, после понесенного на войне поражения был не совсем в себе. Пока что «истинные германцы» в грандиозной трагедии, начавшейся восемь лет тому назад войной, играли роль комического персонажа. Это все было ему ясно, как поклад. Но движение «патриотов» даже в тот период, когда он боролся с ним, всегда имело для него нечто притягательное, а он уже не раз на опыте убеждался, что в политике дела идут лучше, когда следуешь инстинкту, а не разуму.

Во всяком случае, великолепно было не нести никакой ответственности. Таким абсолютным диктатором, как сейчас, он не был еще никогда. Кутцнер, когда имел возможность показаться рядом с ним, чувствовал себя польщенным. Генерал Феземан, при всем своем властолюбии, после чисто формальной, недолгой воркотни, соглашался с каждым его предложением. Отвратительный Тони Ридлер был прижат к стене, уничтожен, потерял значение. Это согревало сердце Кленка. Но слаще всего был звериный испуг его бывших коллег, когда они неожиданно узрели его в рядах «патриотов». Сволочь гнусная, мерзавцы, вытолкнувшие его! «В землю их загнать!» — вспомнил он старинное проклятие своей страны. И где-то в глубине его сознания прозвучало несколько тактов из увертюры к знаменитой драме, много лет назад написанной знаменитым немецким композитором, — странно волнующие тихие удары литавр, прерываемые паузами. Давно не слышал



он этой музыки, не вспоминал о ней. Но в последние недели она часто звучала в его ушах. Роковые удары литавр, достойные английской драмы, вступлением к которой они служили, драмы, в которой изображался вождь древнего Рима, высокоодаренный, но надменный, свергнутый народом и в гневе удалившийся в изгнание, откуда он накликает невзгоды на родную страну.

Кленк засунул в рот пятый бутерброд, вперил взгляд в полный оживления зал. Все эти люди считали его обиженным сановником, чем-то вроде баварского Катилины, бегущего к нищим духом, к шутам и поджигателям, потому что другие не принимают его в компанию. Возможно, что любимой им Баварии действительно не принесет добра тот факт, что его загнали к «нищим духом». Но может быть также, если он бросит на это все свои силы, все еще обойдется, и он обратит слабое умиение в благодать.

И все-таки чертовски глупо было связываться с этой компанией. Вот он таскается во имя Кутцнера по представителям северогерманской промышленности. Да разве это дело для такого человека, как он, лизать зад этим толстосумам? Умнее было бы месяца на три засесть в Берхтольдсцелле, заняться охотой, прочесть кое-какие стоящие книги. Не мешало бы повнимательнее приглядеться и к почтеннейшему своему сынку, к Симону, к парнишке.

Отто Кленк внезапно оживился, решительными шагами, словно ему нужно было кому-то сообщить нечто исключительно важное, пересек зал. Да, напротив, в углу, рассеянный и унылый, одиноко сидел неряшливо одетый человек. Он вздрогнул, увидев приближавшуюся к нему гигантскую фигуру Кленка, тоже оживился, острым, зорким, пронизывающим взглядом из-за толстых стекол очков впился в подходившего.

Грузный Кленк подсел к хрупкому доктору Гейеру, не пытавшемуся даже скрыть свое волнение, руки его нервно вздрагивали, глаза мигали. Кленк начал самым добродушным тоном. Правился ли господину депутату Берлин? Стоило ли сюда перебираться? Он, Кленк, ожидал, что г-н доктор Гейер в гораздо более резкой

форме будет нападать отсюда на баварскую юстицию.

Кленк задел больное место. Доктор Гейер в Берлине и в самом деле стал удивительно кроток. Его выступления и на пленуме рейхстага и в комиссиях были крайне бледны. Знаменитый адвокат казался лотерейной «пустышкой». На него, с тех пор как он покинул Мюнхен, словно столбняк нашел. Его речи звучали заученно, монотонно, не производили никакого впечатления.

Адвокат присматривался к своему врагу. Тот, несмотря на искусственную живость, выглядел далеко не блестяще. Пиджак болтался на нем, огромная сухощавая голова казалась костлявой. Адвокат улавливал каждую черточку, отражавшую слабость. С двойственным чувством. Известие о переходе Кленка к «патриотам» потрясло его. Кленк не был глуп, Кленк любил свою Баварию. Болезнь, необходимость оставить свой пост, должно быть, здорово выбили этого человека из колеи, если он теперь приносит в жертву интересы страны ради того, чтобы стать главой какой-то смехотворной партии. Доктору Гейеру было больно, что сидевший против него враг так ослабел.

Кленк был настроен совсем по-иному. Весь день он не мог отделаться от какой-то омерзительной скованности. Его душа привыкла к уверенности, а этот чертовски благоразумный Берлин заставил его горько почувствовать всю сомнительность проводимой им запутанной политики. Было в достаточной степени неприятно разыгрывать среди мудрых берлинцев деревенского дурачка из Баварии. В этой обстановке мучительно трудно было изображать благодушие и превосходство. Зато здесь, перед этим хорошо знакомым человеком он быстро нашелся. Перед ним сидел враг. Сейчас он был в силе, но в обычное время жалок и слаб, и, разумеется, можно было считать себя правым, выражая взгляды, противоположные тем, которых придерживается собеседник.

— Знаете ли вы, доктор Гейер, — начал он, — что в Мюнхене все сожалеют о вашем отъезде? Никакого удовольствия нет выступать против такой мелкоты, как ваши господа Грунер и Винингер. Им крышка раньше, чем успеешь на них дунуть. Жаль, что мы лишились вас.

Адвокат сам сожалел об этом. Ему не хватало проклятого города. Не только потому, что пришлось оставить там мальчика и Кленка, своего врага. Ему и многого другого не хватало, с тех пор как он был в Берлине. Часто по воскресеньям, в предобеденный час — как легко человек привыкает даже к неприятным вещам! — он ощущал желание отправиться в «Тирольский погребок», чтобы там посидеть с друзьями и врагами.

Он давно и горячо желал встретиться с Кленком, придумывал фразы, способные задеть его. Но при виде этого побежденного человека он уже не мог вспомнить их. Он отвечал вяло. В Мюнхене есть кому его заметить. С тех пор как там процветает Кутцнер, в городе, должно быть, заметен наплыв приезжих. Все гнилое, что не может удержаться нигде в стране, сейчас, уповая на баварское недомыслие, устремляется в Мюнхен. Всякая сорная трава, которая нигде не растет, пускает теперь корни на берегах Изара. И с полным основанием: баварская почва хорошо унавожена для такой посадки.

Кленк вспомнил генерала Феземана и подумал, что его собеседник не так уж неправ. Но он заметил также, что тот выражается как-то вяло и вообще не находится на обычной высоте. Он не счел нужным подчеркнуть это. Зато низверженный, он с безошибочным инстинктом нащупал единственную уязвимую точку противника. Начал осторожно. Заметил, что вот сидят они теперь мирно вместе. Хорошо, что можно, являясь сторонниками резко противоположных политических течений, все же так ладить друг с другом. Теперь, когда он приглядывается к политике со стороны, как частное лицо, ему нередко приходится встречать среди «патриотов» одного молодого человека, близкого, если он не ошибается, господину депутату Гейеру. Так вот всегда в конце концов замыкается круг.

У доктора Гейера, когда Кленк произнес это, замерло сердце. Казалось, что оно поднимается к самому горлу. Итак, значит, беда пришла отсюда. Итак, значит, они объединятся против него — мальчик и враг. При этом его томило безумное желание спросить Кленка о том, как живет мальчику. Но он подавил в себе это

желание, как и желание дать противнику почувствовать его падение. Он не спрашивал и не оскорблял. Он только глядел на Кленка, видел, что тот продолжает говорить. И когда он снова стал прислупиваться, то понял, что Кленк говорил для самого себя. А говорил Кленк о детях, о сыновьях. О том, как в вопросах наследственности приходится брести ощупью, и о том, как мало твердого дает в этой области наука. Между тем все это, если основываться на чувстве, как будто совсем просто. Человек стремится к продолжению самого себя: немислимо ведь представить себе, что когда-нибудь перестанешь существовать. Поэтому в детях ищешь самого себя, поэтому желаешь видеть своих детей подобными себе. Он пододвинул свое большое костистое лицо к тонкому, нервному лицу адвоката и сказал, интимно приглушая свой глубокий бас, что, как ни странно, именно этот юноша, Эрих Борнгаак,— лучший среди «патриотов». Но сказал он это вовсе не враждебно и сразу затем заговорил о собственном сыне, о Симоне, об этом парнишке, который тоже ничего не стоит. И все же, мол, хорошо, что он живет на свете.

Вскоре затем Кленк поднялся и собрался уходить.

— Да, кстати, доктор Гейер,— добродушно произнес он на прощание,— знаете ли вы, что, останься я еще хоть неделю на своем посту, я помиловал бы вашего знаменитого доктора Крюгера?

Адвокат поглядел на огромного человека, стоявшего перед ним. Он увидел, что тот не лжет. Да и не было ему смысла лгать. Жаль, что враг уже не сидел за его столиком. Жаль, что он, Гейер, не сказал ему ничего из всего того, что должен был сказать. Жаль, что он не мог нанести ему удара, равного по силе этому последнему сообщению. Но Кленк пожелал ему доброго вечера. Кленк ушел. Неожиданная беседа окончилась.

В ближайшие затем дни у Кленка происходили совещания с банкирами и промышленниками, от которых «истинные германцы» надеялись получить денежную помощь. Это были неприятные часы. Почтенные господа много говорили о родине, о германском начале, о моральном возрождении. Но Кленк прекрасно знал: деньги «патриотам» они давали потому, что надеялись

переманить людей из рядов красных, противопоставить им белые организации. Когда дело доходило до цифр, они не желали полагаться на «убеждения», а требовали гарантий в том, что «истинные германцы» на их деньги создадут действительно крепкую опору в борьбе с требованиями рабочих. Кленку одинаково не по душе были как слащавые изречения, так и торг о расходах на отдельные организационные ячейки и военные объединения. С досадой отметил он также и то, как настойчиво все эти господа справлялись о точке зрения именно Рейндля на движение «патриотов». Кленк не любил Пятого евангелиста. У него нередко создавалось впечатление, словно Рейндль над ним, над всей партией просто издевается. С неудовольствием видел он сейчас, как далеко распространялось влияние этого человека.

Однако Кленку не приходилось жаловаться на плохие результаты. Его уверенные, добродушно-веселые манеры производили на господ промышленников благоприятное впечатление. И все же нередко, когда он видел, как понятия отечества и наживы сливались для них в одну неразделимую моральную идею, его охватывало жуткое и мучительное чувство одиночества. Он вспоминал, как однажды стоял перед трупом горного козла, редкой дичи, убитой им в гостях у одной высокопоставленной особы. Эти горные козлы были странными, старомодными животными, не поддававшимися приручению и обреченными на вымирание, на прозябание в зоологических садах. Они жили гордой, отшельнической жизнью. С непонятной уверенностью карабкались вверх по отвесным каменным склонам, нечувствительные к сильнейшему холоду. Выбирали высочайшие горные вершины, стояли там как изваяния, одинокие, неподвижные. Не обращали внимания на то, что у них отмерзали уши. Они были невероятно драчливы. Приручению поддавались лишь в совсем юном возрасте. Вырастая, становились мрачными и злобными, делались такими упрямыми, что с ними не мог справиться ни один сторож. О таком горном козле, убитом им однажды в Итальянских Альпах, вспоминал бывший министр Кленк, ведя переговоры с промышленными магнатами, единодушными, целеустремленными, обхо-

дательными, прямолинейно расчетливыми, прямолинейно патриотичными.

Обратный путь в Мюнхен Кленк совершил на аэроплане. Людские поселения, если глядеть на них сверху, были неизмеримо малой частицей в сравнении с обширностью всего пространства. Виднелись леса, поля, реки, такие же, как тысячу лет назад. Города, о которых люди бог весть что воображали, были просто чепухой, если сравнить их со вселенной. Если бы тысячу лет назад человек мог подняться в воздух, он, несмотря на все бесконечные разговоры о больших городах, о промышленности, о прогрессе и социальных сдвигах, увидел бы землю под собой почти такой же, какой видел ее теперь он, Кленк.

Перелетая через Дунай, он подумал, что некоторые виды живых существ, вероятно, обречены на то, чтобы с течением времени стать ручными и цивилизованными. Можно ли утверждать, что волк более отсталое животное, чем собака? Что касается лично его, то, родившись однажды горным козлом, он и не подумает стать добрым и забавным козлом домашним. Рискую отморозить уши, он все-таки останется горным козлом. И сына своего Симона, парнишку, он также воспитает горным козлом.

### 3

## ЖИЗНЬ ЗА ГОРОДОМ

Они лежали на бурых и красных листьях в лесу, карабкавшемся вверх по склону. Внизу наискосок тянулось озеро. Наверху сквозь ветви сияло небо. Неиссякаемой радостью была пронизана эта осень на Баварской возвышенности; дни сменялись, ясные и светлые Иоганна и Тюверлен плавали в прозрачной воде большого озера. После холодного купанья разминали руки и ноги, чтобы согреться, подставляли свои тела потоку ярких лучей. Сидели в большом фруктовом саду за гостеприимно накрытым столом. На другом берегу — живописная большая деревня, к югу — тонкая, остро очерченная, зубчатая линия гор. Всего лишь в часе езды.

автомобилем к северо-востоку — город Мюнхен со своими семьями тысячами жителей, суетившихся в поте лица, чтобы на деньги, с утра до полудня успевавшие упасть в цене, добыть хоть немного пищи и одежды. Ибо доллар уже стоил 1665 марок, за центнер картофеля приходилось выкладывать 1100 марок, самое жалкое зимнее пальто нельзя было получить дешевле, чем за 1270 марок. При этом цены так бешено прыгали и путались, что мозг терял способность соображать. Можно было за очень небольшие деньги иметь жилье, за неимоверно дешевую плату проехать 653 километра по железной дороге от Мюнхена до Берлина, но за восемь фунтов яблок приходилось платить столько же, сколько за этот проезд, а цена пятнадцати фунтов яблок была равна месячной плате за трехкомнатную квартиру. Разве можно было, лениво лежа на берегу тихого озера, представить себе, что на расстоянии какого-нибудь часа езды люди с беспокойным взором вырывают друг у друга из рук газету, торопясь узнать, на сколько более крупной цифрой они сегодня могут обозначить свое состояние?

Иоганна и Жак Тюверлен редко представляли себе это. Сразу же после премьеры обозрения Тюверлен предложил Иоганне провести осень за городом. Иоганна, не раздумывая, согласилась. Не спрашивая, куда они направятся, села она в автомобиль Тюверлена, и они поехали к бледному, тихому озеру Аммерзее. Казалось, одновременно со злополучным обозрением кончилась для Тюверлена и полоса неудач. Одна из его книг имела успех по ту сторону границы и принесла иностранные деньги, которых в пораженной инфляцией Германии могло хватить на несколько месяцев беспечного существования.

В то время как города были охвачены лихорадкой, они здесь, отгородившись от всего света, переживали мирные дни. Они сняли виллу «На озере», простой, помещительный дом. У них был свой кусочек берега, своя купальня, лодка, большой фруктовый сад. После отвратительной работы в театре Пфаундлера Тюверлен радостно и с увлечением принялся за свою радиопьесу «Страшный суд». Он нуждался в материале, собирал,

копил его. Запряг и Иоганну в работу, не жалея ни ее, ни себя. Тщательно, кропотливо просматривал собрания писем, газеты, различные биографии, документы по истории культуры. Ему нужно было хорошенько знать так называемую действительность, нужны были рассказы очевидцев, все то, что из этой «действительности» можно было ухватить. Разве для получения ничтожной частицы радия не приходилось затрачивать огромное количество сырья? Ему, для того чтобы выпарить минимальную дозу утонченной реальности, нужны были бесконечные груды непросеянной «действительности».

С удивлением видела Иоганна, что он лишь ничтожную долю добытого пускал в дело, нередко даже выворачивал его наизнанку. Это сердило ее. Чего ради, спрашивала она, меняет он детали, известные всем и каждому, так что его изменения производят впечатление досадной ошибки? Зачем он заставляет своих героев слушать радио в годы, когда радио еще не было распространено? Почему, прекрасно зная, как выглядит министр Кленк, он на его место сажает выдуманного министра Преннингера? Тюверлен, весело щурясь, глядел на дальнюю линию гор.

— Ты видишь «Коричневую стену»? — спросил он.

— Разумеется, — ответила Иоганна.

— А видишь ли ты впереди «Девять зубцов»?

— Да ведь их отсюда видеть нельзя, — с удивлением ответила Иоганна.

— Но стоит тебе проехать сорок километров, — сказал он, — и ты можешь сфотографировать их. Зато «Коричневую стену» ты тогда уже фотографировать не сможешь: она не будет видна. Мне вовсе не хочется фотографировать отдельные черты второго или третьего года, мне хочется нарисовать картину всего десятилетия. Я меняю отдельные черты, которые сегодня в точности совпадают с действительностью, но через пятьдесят или, может быть, даже через двадцать лет будут уже неправдоподобны. Между документально проверенной действительностью и исторической правдой — большая разница. Возможно, что уже через двадцать лет в рассказе о людях нашего десятилетия радио будет не только соответ-



ствующей, но и необходимой деталью, хотя в третьем году оно и не существовало. Понимаешь ты теперь, почему вместо настоящего министра Кленка я ввожу выдуманного министра Преннингера?

— Нет, — сказала Иоганна.

И все-таки это были светлые для Иоганны дни. Никогда при виде упорной, серьезной, радостной работы этого человека не являлся у нее вопрос: имеет ли то, что он делает, смысл? Нужно ли оно? Кому оно нужно? Здесь человек творил с той уверенностью, с какой зверь строит свою нору. Однажды она спросила его, какую «вышую реальность» он мог бы выжать из ее, Иоганны, «действительности»? Они лежали друг подле друга, в ярких лучах солнца, на врезавшейся в озеро косе. Прищурившись, он поглядел на нее; на его голом, покрытом загаром лице еще резче выделялись рыжеватые волоски. Ему лень сейчас отвечать, — своим сдавленным голосом пропищал он. Но так как она настаивала, он добавил: впрочем, он знает, как он мог бы ей и ее судьбе придать высшую реальность. Он показал бы, например, как борьба, даже во имя правого дела, может сделать человека дурным. Снова искоса, щурясь, он поглядел на нее. Она не ответила, взглянула на свои ногти, которые давно уже потеряли блеск и миндалевидную форму, стали четырехугольными и грубыми.

Возможно, что это произошло оттого, что Тюверлен учил ее править автомобилем. Она занималась новым спортом энергично, с увлечением, и оба весело хохотали при этом. В остальные свободные от работы часы они гребли, поднимались по лесистым склонам, уезжали глубже в горы. Плавая в холодной воде озера, Иоганна мало чем уступала Тюверлену. Дважды даже она превзошла его выносливостью.

В один прекрасный день Тюверлен вдруг прервал работу над радиопьесой «Страшный суд» и занялся чем-то новым. Почти целую неделю проработал он над этим новым, сосредоточенно, упорно. Она не спрашивала, что он делает, и он, обычно такой откровенный, ничего не говорил ей. Нередко, даже за столом, он выглядел ужасающе мрачным и таинственным. Иоганна почти боялась его работы, и она очень любила его.

Наконец, на шестой день, в лодке, на озере, точно так же, как во время их первой поездки за город, вот уже шестнадцать месяцев тому назад, прочел он ей то, что написал. Это был очерк на тему о деле Крюгера, он и ныне еще мог служить образцом ясности изображения процесса и всего предшествовавшего ему, — холодное и острое описание потрясающе отсталой юстиции того времени. В связи с очерком, которому Тюверлен предпослал в виде эпитафии слова философа Канта о том, что право и этика не находятся в какой-либо связи, Иоганна и Тюверлен заговорили о Крюгере и его судьбе. Тюверлен высказывал о Крюгере не менее отрицательные суждения, чем прежде. Книжки Крюгера не нравились ему, не нравился ему Крюгер и как человек. Было много бедствий, более достойных внимания. Но он считал вполне естественным, что должен помочь именно Крюгеру. Он не любит громких фраз, своим сдавленным голосом заявил он, не любит говорить об этике и социальных инстинктах. Ему лично, чтобы жить в мире с самим собой, необходима только известная опрятность. Его социализм начинается у него дома. Иоганна снова взялась за весла. Она была сбита с толку, не знала, что ответить. Она не понимала этого человека, которого любила. Почему он, хотя с ним и не заговаривали об этом, по собственному почину обещал свою помощь, чтобы выволить из тюрьмы человека, который был его естественным соперником?

— Изображать высокую нравственность, — добавил он, — может любой мерзавец, стоит ему только потренироваться. Перед собой и перед всем светом. Я в моей личной практике предпочитаю вести себя скорее корректно, чем «этично».

Когда, собственно, Иоганна в последний раз вспоминала о Мартине Крюгере? Вчера? Третьего дня? После беседы с Тюверленом она, во всяком случае, написала несколько писем: адвокату Левенмаулю, который после отъезда Гейера в Берлин вел дело Крюгера, самому Гейеру, Пфистереру, а также кронпринцу Максимилиану. Адвокат Левенмауль в своем ответе обстоятельно перечислял все, что сделано для Крюгера, все, что говорит за и против пересмотра дела. Письмо состояло из

одиннадцать напечатанных на машинке страниц, из которых она увидела лишь, что дело не сдвинулось с места. Адвокат Гейер объяснял, как тесно дело Крюгера переплелось с общими политическими вопросами. Его письмо было полно блеска, отточенной иронии, оптимизма, строгой логики. Но по сделанным от руки припискам Иоганна, и не прибегая к помощи своих специальных познаний, видела, что это письмо человека, потерявшего внутреннюю точку опоры. Из канцелярии претендента на престол прислали вежливый, ничего не говорящий документ, содержащий лишь новые обещания. Зато доктор Пфистерер, как ни трудно это, несомненно, было больному, собственноручно написал подробное письмо с бесчисленными отступлениями и обобщениями, выражал надежду, что человек, быть может, все же благороден, отзывчив и добр.

Успех Тюверлена за границей возрастал. Росла его слава, росли его денежные средства. Он купил в подарок Иоганне автомобиль.

Иногда Иоганна думала о том, что чудесно было бы иметь от Тюверлена ребенка. Она решилась поговорить с ним об этом и даже начала разговор. Он ничего не понял. Она не возвращалась к этому.

Жили они скромно. Тюверлен отправил свою экономку в отпуск. Сонная, скупая на слова крестьянская девушка выполняла всю домашнюю работу. Но в один прекрасный день девушка неожиданно заговорила и сказала, что скоро у нее будет ребенок. Негодяй, отец ребенка, пытается увильнуть и, конечно, будет отпираться и под присягой. Так вот, в городе есть врач, к которому обращаются в таких случаях девушки со всей округи: он за дешевую цену и без долгих разговоров освобождает их от этой тягости. Дело в том, что в те времена изгнание плода наказывалось тяжкими карами. Магнатам промышленности, сторонникам «великой Германии», казалось полезным увеличение рождаемости, и поэтому всякие меры к ее уменьшению пресекались всеми способами. Женщинам, из соображений здоровья или ради того, чтобы избежать лишней нужды, не желавшим иметь детей, нужен был покров тайны, а прежде всего нужны были деньги, чтобы обойти закон. Девушка

спросила у Иоганны, не может ли та одолжить ей денег.

Иоганна во время ближайшего перерыва в работе горячо и взволнованно рассказала об этой истории Тюверлену. Он должен был понять, что ей хотелось говорить с ним о другом, говорить о самой себе. Но он ничего не заметил. Он сказал только, что все это ужасно досадно: только привыкли они к физиономии этой девушки — и вот придется привыкать к новой. Он надеется, впрочем, что эту историю можно будет уладить в Мюнхене в несколько дней. С этими словами он дал Иоганне для девушки несколько черно-зеленых долларов. Затем они снова взялись за работу над радиопьесой «Страшный суд».

#### 4

### СТАРОБАВАРСКАЯ ЗЕМЛЯ

Старая Бавария не была богатой страной. Четыре горных хребта пересекали ее. В давние времена они были причиной немалых бед. Теперь земля успокоилась, давно уже она не колебалась. Но богатства ее — каменный уголь, цементные мергели — погрузились в такие глубины, что их нельзя уже было использовать.

Владения старой Баварии были твердой, угловатой полосой на поверхности нашей планеты. Еще с древних геологических времен лежала она на границе двух миров, клином втиснутая между ними, отделенная от северных областей, не связанная прочно и с южными.

В стране были широкие просторы, горы, озера и реки. Небо ее было ярко, ее воздух оживлял все краски. Это был радовавший глаз кусочек мира, от Альп сбегавший к реке Дунаю.

Жители страны исстари были земледельцами, враждебными городской жизни. Они любили свою землю, отличались силой и упрямой настойчивостью, зоркостью глаза и слабостью суждений. Потребности их были невелики. Но за свою собственность они цеплялись руками, ногами, зубами. Медлительные, тяжелодумы, не желавшие трудиться для будущего, они дорожили только своим уютом и грубыми развлечениями. Они

любили свое вчера, удовлетворялись своим сегодня, ненавидели завтра. Своим поселкам они давали живописные названия, строили дома, радовавшие глаз. Они любили всякого рода прикладные искусства, пестрые одежды, празднества, представления, церковную пышность, обильную еду и питье, здоровенные потасовки. Любили они также лазать по горам и охотиться. Но больше всего ценили они свой покой: жизнь удовлетворяла их такой, какой она была, ко всему новому они относились с недоверием.

Центром этой крестьянской страны был город Мюнхен, напоминавший большую деревню и не имевший значительной промышленности. Население его, за исключением тонкой прослойки феодальной аристократии и богатых горожан, состояло из мелкого люда, еще сохранившего крепкую связь с деревней. Пролетариата было очень мало. Город был красив; князя украсили его богатыми музеями и зданиями; в нем были дворцы, поражающие великолепием и изяществом, церкви, полные проникновенности и силы. Много было зелени, ресторанов с большими садами, с видом на реку и горы. В красивых магазинах продавали художественные изделия прошлых веков: удобную дедовскую мебель, всевозможный милый сердцу старинный хлам. Экономическое благосостояние города основывалось на пивоварении, прикладных искусствах, торговле лесом, хлебом и южными фруктами. Он производил прекрасную домашнюю утварь и лучшее в мире пиво. В общем же промышленная жизнь была развита мало. Более предприимчивые уходили в другие места, население города пополнялось младшими сыновьями крестьянских семейств, согласно старинному обычаю не имевшими прав на наследство. После падения династии из города понемногу отхлынули и проживавшие там представители старого дворянства: все эти Арко-Валлей, Эттинген-Валлерштейн, Кастелл-Кастелл, Пошингер и Терринг. Все меньше оставалось богатых людей. На каждые десять тысяч жителей приходился лишь один человек, плативший налог с состояния в один миллион и более. Город жил своей собственной жизнью, шумной, ничем не стесняемой, стремясь лишь к удовлетворению

своих плотских и чувственных потребностей. Он был доволен самим собой. Его лозунгом было: «строить, пиво варить, свинячить».

Триста лет назад историк Иоганн Турмайр, по прозванию Авентинус, говорил о своих старобаварских соотечественниках, что народ они неплохой, послушны духовенству, домоседы, мало склонны к путешествиям. Пьют здорово, производят на свет много детей. Больше интересуются землей и скотом, чем войной. Неприветливы, своенравны, упрямы. Не уважают купцов, зато и торговля у них развита мало. Средний баварец живет так, как ему вздумается, день и ночь сидит за пивом, кричит, псет, пляшет, играет в карты. Любит длинные ножи и другие предметы, полезные в драке. Справлять пышные свадьбы, поминки и церковные праздники считается приличным и никому не возбраняется. В двадцатом веке местный историк Деберль констатировал: баварцы лишены тонких, приятных, вызывающих симпатию черт характера. Им свойственны спокойная речь, спокойная внешность, при этом склонность к грубым выходкам, к насилию, также и к грубо чувственным наслаждениям, замкнутость и недоверие к иностранцам.

Больше всего баварцы исстари дорожили своим покоем. Но в двадцатом веке их уже не оставляли в покое. До сих пор они за счет избытков своего сельского хозяйства могли покупать все, что им при их несложной и сытой жизни было нужно. Но вдруг о них стали говорить, что они производят нерационально. Говорили, что с помощью машин и более рациональных методов можно было бы лучше обрабатывать их поля. Где их работает двое, можно было бы обойтись и одним. Улучшился транспорт, подешевел фрахт. Им доказывали на деле, что из плодородных стран, пользующихся более разумными способами обработки земли, можно ввозить лучшие и более дешевые предметы продовольствия. Другие внезапно перестали зависеть от них, а они сами стали зависеть от других.

Баварцы бранились: да что же это такое? До сих пор все шло прекрасно, почему же не может продолжаться все так же? Хотя они не желали это признавать, все же что-то изменилось. Поля приносили такой же

урожай, как прежде, и все же на доход с них нельзя было положиться. Не хватало уже на все потребности, и почему-то все чаще и чаще приходилось отказывать себе то в том, то в ином, что было у других, чего хотелось и что прежде так легко было получить в обмен на избытки своего хозяйства. Ощущалась потребность в других, другие были нужны, и скрепя сердце приходилось признать себя частью всего государства. Уже нельзя было жить так, чтобы все члены семьи оставались в своем хозяйстве, в своей деревне, в ближайшем маленьком городке. Многим, если они не желали голодать, приходилось уходить в большие города, в промышленность. Те, кто был поумнее, утверждали, что даже и это положение недолго удержится. Говорили, что в индустриализированной Средней Европе упрямо аграрная Бавария не представляет собой особенно важной составной части. Так же как автомобиль вытесняет извозчицьи дрожки, точно так же и рационализированное мировое хозяйство делает ненужным баварское земледелие. Только считаясь с возможностью войны и необходимостью в таких условиях обходиться внутренними ресурсами, имперское правительство путем высоких хлебных пошлин и других благотворительных мер продолжает поддерживать чересчур дорогое и невыгодное баварское сельское хозяйство. Сейчас уже поговаривают об отмене этих пошлин. Если это осуществится, если Германия откроет свои границы, баварскому сельскому хозяйству наступит конец. Баварец тогда потеряет свои крестьянские черты, свою особую физиономию, должен будет превратиться в нормального человека.

Баварцы ворчали. Они не желали заглядывать вперед, им дела не было до более разумно устроенной Европы, они желали жить, как жили до сих пор в своей прекрасной стране: широко, шумно, сытно. Немного искусства, музыки, побольше мяса, пива и женщин, почаще праздники, а по воскресеньям — здоровая потасовка. Они были довольны тем, что есть. Пусть оставят их в покое все эти приезжие, «чужаки», свиньи прусские, обезьяны паршивые!

Но в покое их не оставляли. С далекого моря привозили огромные партии рыбы, а из-за океана — мороже-

ное мясо, как будто у них своего добра было мало. Появились автомобили, выросли фабрики, загудели под их ярким небом аэропланы. Вот уже вверх по одной из их высоких гор стала карабкаться железная дорога, и, так как сами они медлили, с австрийской стороны другая дорога всползла на вершину их самой высокой горы, на Цугшпице. Вода в их краях превращалась в электричество. Стройные, серые, филигранно тонкие, вырисовывались в чистом воздухе блестящие мачты электропередач. Их прекрасное мрачное озеро Вальхензее было обезображено большим сооружением, для того чтобы дать свет дуговым фонарям и двигать вагоны. Менялось лицо страны.

Но вот пронесся вздох облегчения: началась инфляция. У крестьян их достояние не уплывало из-под зада, как у горожан. Обесцененными деньгами они теперь с легкостью могли покрыть обременявшие их земли долги. Съестные припасы повышались в цене, как в годы самого сильного голода во время войны, и крестьяне торопились использовать это безумное время. Денег у них было что сена, и они швырялись ими направо и налево. Многие жили так широко, как никогда еще не жили крестьяне. Владелец крестьянского двора Грейндльбергер прямо с грязной деревенской улицы катил в Мюнхен в шикарном лимузине с одетым в ливрею шофером. Сам он сидел внутри в бархатной куртке и зеленой шляпе с кисточкой из хвостика серны. Владелец сыроварни Ирльбек в Вейльгейме завел скаковые конюшни. Ему принадлежали скаковые лошади Лира, Всего Вдоволь, Бродяга, Банко, кровная кобыла *Quelques Fleurs* и жеребята Титания и Гарри Энд. Многие из богатых крестьян, не имея возможности держать автомобили и скаковые конюшни, считали себя обиженными судьбой.

Но и купаясь в жирном благополучии инфляции, старобаварцы чувствовали, что не все ладно. Многие, правда, не желали ничего видеть, они зажимали глаза и еще прикрывали их кулаками, словно это могло заставить свет перестать светить. Но многие чувствовали, что их хозяйству, каким оно было до сих пор, наступает конец. Их особое государство обходилось слиш-



ком дорого, они вынуждены были приспособляться ко всему германскому государству, не могли больше позволять себе роскошь собственных политических и культурных «сосисок по особому заказу». Они инстинктивно становились националистами, смутно чуя, что только надеждой на снабжение в случае войны и держится германское крестьянство. Инстинктивно они, помесь славянской и романской рас, стали блюстителями чистоты германской расы, ибо такими методами рассчитывали защитить оседлое крестьянство от чуждого ему более жизнеспособного типа кочевника.

Они не были склонны к метафизике, но чуяли, что их поколение последнее, которому еще дано жить на этом куске земли так, как там жили уже более тысячи лет. Это смутное чувство не позволяло им даже инфляцией насладиться в полной мере. Случалось, то тот, то другой из них, рыгая после вкусной еды, вылезая из постели смазливой бабенки или хрустя суставами после доброй потасовки, без видимого повода произносил: «Скоты! Бараны стриженные!»

## 5

### О СЕМИ СТУПЕНЯХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ РАДОСТИ

Тюверлен въехал в какое-то трудное, плохо поддававшееся место своей работы, и Иоганна одна каталась по окрестностям. Она исколесила местность во всех направлениях — везде были леса, озера, реки, на горизонте всегда стояли горы. Везде — спокойные, пестрые, чистые — раскиданы дома, дворы и селения. Прекрасен этот край.

Иоганна слилась в одно целое с маленьким юрким автомобилем, подаренным ей Тюверленом. Она управляла его рычагами с такой же автоматической уверенностью, как своими руками и ногами. Прекрасен был этот край, но это был суровый край, с почвой, нигде не расстилавшейся ровно, то опускавшейся, то поднимавшейся, с длинной зимой и коротким летом, с резким

здоровым воздухом. Легкие, мускулы молодой женщины, Иоганны Крайн, были созданы для этого края. Его свежие ветры, приносившие снежное дыхание гор, его подъемы и спуски шли ей на пользу.

На пользу шел ей и Тюверлен. С ним не всегда было просто. Он не был знатоком людей, он был даже возмутительно непрактичен, он ничего не замечал и многое делал шиворот-навыворот. Но зато и не защищался, особенно когда делал что-нибудь не так. Он говорил: «Вот дожил человек до тридцати пяти лет, а все еще остается ослом». Другие так не поступали. Другие нередко и в неправоте хотели быть правыми. Этого он не понимал. У него была раздражающая манера добродушно, по неумолимо высмеивать человека. Не всегда человек бывал в настроении выслушивать его — произнесенные, правда, без злого умысла — резкие, прямолинейные слова. Иной раз можно было больно ушибиться о его колючий тон.

Если бы она заговорила с ним о ребенке, которого ей хотелось иметь, он еще больше стянул бы складочками лицо, смешно наморщил бы нос. Наверно, очень трудно было бы добиться от него, хочет ли он ребенка или нет. Вероятно, если даже у нее хватит решимости заговорить с ним на эту тему, разговор расплывется в теоретический спор о политике увеличения населения или тому подобном.

С Мартином Крюгером такой разговор вести было бы легче. Тот прекрасно умел принаравливать к настроению. С тем не приходилось чувствовать себя «сентиментальной», когда хотелось услышать ясное «да», или «нет», или определенное: «Поступай так-то и так-то».

Сойдясь с Мартином Крюгером, она путешествовала с ним, делила с ним дурное и хорошее. С Паулем Гесрейтером она тоже путешествовала. Но жить с мужчиной, делить с ним труд, постель, стол, крышу, как сейчас с Жаком Тюверленом, — этого ей еще не приходилось никогда. С Жаком, с которым никогда хорошенько не знаешь, что он сейчас выдумает. Брату своему он позволил грубейшим образом облапошить себя. Теперь — вот уж сколько дней — не замечает, что

ей нужно поговорить с ним. Такой глупый. И все же мнением этого человека она дорожила больше, чем мнением кого бы то ни было на свете.

Она зигзагами въехала на небольшую гору. Неожиданно открылся широкий вид вдаль. Она знала этот вид; она бывала здесь не раз. Но ее всегда сызнова поражало, какими близкими вдруг казались горы. Темно-синие, выше — сверкающе белые, на них — резко очерченные тени, ослепительный свет. Много-много вершин, одна подле другой, одна за другой, громоздятся, врезаясь в Тироль, перебрасываясь через границу Италии.

Иоганна остановилась на маленькой площадке; прислонясь к автомобилю, глядела на грандиозно раскинувшуюся перед ней цепь гор. Нет, и представить себе нельзя, чтобы она снова могла жить одна, без Жака Тюверлена. Немыслимо, чтобы это когда-нибудь кончилось. *Любить* — глупое слово. Лицо Жака Тюверлена, наверное, собралось бы в неприятные складочки, если бы она вдруг сказала, что любит его. И все же это было именно так, и она могла это сказать просто и ясно: она любит его.

Она вспомнила, какой он смешной, когда лежит в постели, поджав одну ногу, словно аист, с мальчишеским лицом, по которому, видит бог, никогда не угадать, сколько он всего пережил и передумал на своем веку. Она сравнивала его с другими мужчинами, с которыми была близка. Его сильную волосатую грудь, его узкие бедра, голое, некрасивое, смешное лицо, которое иногда даже и во сне стягивалось морщинками. Смешной человек, глупый человек, некрасивый... Самый красивый, самый умный, самый любимый человек на всем белом свете. Да ведь должен же он, черт побери, сам додуматься до того, чего ей хотелось!

Как восхитительно безлюдно было здесь, наверху. Сезон автомобильных поездок в горы миновал. Становилось прохладно. Да и дорога эта была более дальней, содержалась не очень тщательно, и ездили по ней лишь те, кто особенно любил этот край.

Иоганна прошлась немного взад и вперед, чтобы согреть ноги. Когда-то все было просто. Когда она плыла

по зеленому Изару около купальни в окрестностях Мюнхена. Сейчас ей было очень хорошо, но было совсем не просто. Что будет, когда Крюгер выйдет из Одельсберга? Три бороздки вдруг прорезались над ее тупым носом. Хорошо было бы, если бы ветрогон никогда не попадался на ее пути, хорошо было бы, если бы Мартин Крюгер никогда...

Дурно ли с ее стороны, что она допускает такие мысли? Нельзя двигаться и дышать этим чистым воздухом, когда внутри такая затхлая плесень. Совесть — понятие относительное. Обезвредить свои инстинкты лучше всего можно, вытащив их из мрака на свет божий и назвав их по имени. Неужели у нее есть предрассудки? Чудесно жить вместе с человеком, которого любишь. Тот факт, что когда-то с ней был другой, не имеет к этому никакого отношения. То, что Мартин сидит в Одельсберге, не имеет к этому никакого отношения. У каждого часа свой закон. То, что было дурно когда-то, хорошо сейчас, когда она это делает. Она всегда заучивала с трудом, но зато запоминала крепко. Есть люди, которым свойственно позднее созревание. Борьба даже за правое дело, — говорит Жак, — может сделать человека дурным. Борется ли она за Крюгера? Или за Тюверлена? Никогда не уйдет она от Тюверлена и от его сумасшедше-добросовестной работы.

О семи ступенях человеческой радости рассказывал ей однажды тот, другой. Он сидел на деревянном звере, в залитом дождем парке, и объяснял ей это. На третьей ступени стояли женщины: для нее, значит, мужчины. Еще одной ступенью выше — успех. Над ним — друг, Каспар Прекль, потом она. Для нее, значит, он? Нет, не он: Тюверлен, разумеется. Но совсем вверху, надо всем, стояла его работа. Для Тюверлена — несомненно тоже, гораздо более несомненно, чем для Мартина. У нее не было работы. Не было работы, для которой она была бы рождена. Для нее был Тюверлен, — и ни одной ступени над ним.

Воспоминания — это нечто отвратительное. Что кончено, то кончено. Она не хочет больше терзаться. Она сделает для Мартина все, что только мыслимо сде-

лать. Сделает больше. Она будет корректна. Жутко было вспоминать о шести деревьях. А если Мартин выйдет из Одельсберга, как будет он тогда жить? Нет смысла мучиться такими мыслями. Она может положиться только на вдохновение. В своей работе она добивалась результатов только таким путем. Хорошо было бы, если бы не было прошлого и можно было начать сначала.

Тюверлену ее сомнения были бы непонятны. Все, что он делает, всегда кажется само собою разумеющимся. Она сама до сих пор никогда ни в чем не раскаивалась, когда ей бывало скверно. Неужели же ей раскаиваться сейчас, когда ей хорошо?

Вот стоит эта молодая баварка в сердце своей страны. Шапку она сдернула, легкий ветер приятно обвеивает ее голову. Муж ее в тюрьме, она живет с другим мужчиной, которого любит, хотела бы иметь от него ребенка и не решается ему об этом сказать. Она находит, что положение ее не из простых.

Вдруг она чувствует, что зверски хочет есть. В двадцати минутах езды, она знает, есть харчевня с прелестной террасой и видом на горы. Она садится в автомобиль, машина трогается.

В харчевне «Старая почта» сидят извозчики, крестьяне. Они играют в «тарок», беседуют, неторопливо, спокойно и шумно. Иоганна заказывает крепкий бульон из селезенки, жареную телятину, картофельный салат, большую кружку пива. Ест и пьет.

## Б

### В СТРАНУ ЗАГЛЯДЫВАЕТ ДОЛЛАР

В ходу были серебряные доллары и бумажные доллары. На серебряных долларах была выгравирована голова Свободы. Над ней — по-латыни надпись: «Из многих — одно». На другой стороне был орел. Над ним по-английски: «На бога мы уповаем» — и ниже: «1 доллар». Иногда под изображением Свободы было подписано: «На бога мы уповаем», а над орлом: «Из многих — одно». Бумажные доллары были продолговатые,

с одной стороны зеленые, с другой — черные. Изображен на них был президент Вашингтон, или же президент Линкольн, или Грант. И на бумажных долларах оказывалось иногда изображение орла, иногда же изображение человека на корабле, одетого в старинное платье, вместе с товарищами своими восторженно возводящего глаза к небу: очевидно, Колумба, только что открывшего Америку. Этот доллар обладал в те времена наибольшей покупательной силой. Его ценность была непоколебима и казалась закрепленной на веки веков.

Господин Даниель Вашингтон Поттер обладал большим количеством таких долларов. В Соединенных Штатах его звали Тридцатилетний Данни, так как он делал дела с расчетом на далекое будущее. В Европе за ним укрепилось прозвище Калифорнийский мамонт. Но держался он вовсе не как «мамонт», а как человек простой, лишенный какой-либо таинственности. Он охотно принимал участие во всяких увеселениях, не портил компании. Только репортеров избегал. Он был любопытен, интересовался странами и людьми, игрой искусства и политики. Но больше всего — изменениями почвы под влиянием роста промышленности.

Дело в том, что в те времена земля во многих местах стала ненадежной. Как и прежде, рождала она хлеб, но не делала уже работавшего на ней сытым и довольным. Меньше людей требовалось теперь для обработки земли; машины заменяли труд и лошади и человека. Можно было — если крестьянин поблизости производил мало или чересчур дорого — доставлять съестные продукты из других краев, многими путями, без особого труда. Круг интересов человека расширялся, люди все с большей быстротой передвигались по земному шару, яснее видели недостатки ближних, яснее — и преимущества дальних, старались уловить то, что в иноземных учреждениях или быту казалось им целесообразным. Началось переселение народов, не такое толчкообразное и бурное, как полторы тысячи лет назад, но зато более постоянное и мощное. Если прежде оседлый земледelec с презрением глядел на кочевника, бродягу и непоседу, то теперь судьба мира направлялась именно этим типом,

подвижным, лучше приспособленным к условиям времени. Оседлый же тип, крестьянин, утратил свое положение: его труд, его значение, его роль стали расцениваться ниже.

Тридцатилетнего Данни это интересовало. Он вынюхивал все места, где такая перемена становилась особенно заметной. Его первым большим делом было дело с пшеницей, и не только дело, но и сама пшеница увлекала его. Он разъезжал, беседовал со многими людьми, в конторах, в заводских мастерских, в поле. Иногда он вынимал книжку, записывал что-то. Иногда вынимал книжку, высчитывал что-то молча, прилежно. Делал затем предложение, пускал в ход часть своих долларов. Это был высокий человек, близорукий, в очках с толстыми стеклами. Под большим мясистым носом из-за тонких губ выглядывали крупные зубы. Его можно было встретить повсюду: в небрежной позе, в чересчур широком платье, с трубкой в зубах, он сидел, внимательно заглядывая во все углы, прислушивался. Умел ценить шутку, сам любил пошутить. Высказывал также иной раз вполне открыто, без всякого ломания, свои взгляды, обычно добротно подкрепленные вескими доводами.

Сейчас Тридцатилетний Данни возвращался из поездки на Восток. Он изучал Россию, последний в мире огромный резервуар крестьянства. Грандиозный эксперимент, продельваемый там на основе социологических теорий К. Маркса и В. И. Ленина, интересовал его. Он видел, что под землей была нефть, на земле — хлеб, фрукты, вино, скот, в горах — металлы, в избах, в домах — люди, в морях и реках — рыба, — все это еще почти неиспользованное. Калифорнийский мамонт явился в Кремль, высказал людям в Кремле свое мнение. Он был готов вложить в их предприятие свои доллары. Люди в Кремле выслушали его. Он им не понравился, они ему не понравились. Они ставили условия, он ставил условия, он вынул записную книжку, принялся считать. Люди в Кремле были осторожны, г-н Даниэль Вашингтон Поттер тоже был осторожен. Особенных дел сделать в России ему не удалось.

Сейчас, на обратном пути, — времени у него было достаточно, — Калифорнийский мамонт обозревал Бава-

рию. У него был там знакомый еще с юных лет, некий г-н фон Рейндль. Калифорнийский мамонт предупредил его о своем приезде, и мистер Рейндль охотно согласился показать ему страну.

Получив телеграмму американца, г-н фон Рейндль призадумался. Даниель В. Поттер был малозаметен. О нем редко приходилось читать, редко видеть его портрет в газетах. И все же г-н фон Рейндль был убежден, что этот непредставительный человек принадлежит к тем тремстам, которые решают вопрос, быть ли миру или войне и вмешиваться или не вмешиваться в русский, индийский, китайский эксперименты.

Итак, г-н фон Рейндль после получения телеграммы позвонил по телефону г-ну фон Грюберу. Тайный совестник Себастьян фон Грюбер был тот человек, который водные силы баварских гор превращал в электрический ток. Настойчиво, тихо, успешно. Так же настойчиво и успешно строил он свой мюнхенский Музей техники. Г-н фон Рейндль производил автомобили, газеты, корабли, гостиницы, добывал железо и уголь, покупал себе картины и женщин, смаковал людей, редкие кушанья, искусство. О нем много говорили в обществе и печати. Г-н фон Грюбер занимался исключительно своим музеем и своим электричеством, и о нем совсем не было слышно. Между этими двумя людьми было мало общего. Но одно было у них общим: у обоих в руках была власть, оба они любили свою Баварию, и оба знали, что эта германская провинция Бавария со своими людьми и своим скотом, своими деревнями и городом, с лесами и полями и всем, что в них есть, обречена на то, чтобы до основания измениться, и даже в самое ближайшее время. Экономика государства, экономика всей части света требовала этого. Рейндль, так же как и Грюбер, любил крестьянский колорит своей страны,— но неужели же они должны были смотреть, как приходят люди извне и навязывают стране необходимую ей индустрию? Чем допустить какого-нибудь приезжего, они сами будут поддерживать это развитие, если оно так неминуемо. И вот оба они старались индустриализировать Баварию изнутри. Рейндль — своими автомобилями, Грюбер — электричеством.



Итак, по получении телеграммы американца Рейндль созвонился по телефону с г-ном фон Грюбером. Он был слишком умен, чтобы не сознавать, что Грюбер сделал по меньшей мере столько же, сколько и он. Ведь важнее, чем моторизация страны, была ее электрификация. Она делала Баварию независимой от угля остальной Германии, выдвигала ее в ряды экономически развитых провинций. Г-н фон Грюбер в этой области достиг очень многого. На первый взгляд Бавария казалась застрявшей на стадии второсортного сельского хозяйства. Но, охотник до экспериментов, американец был человеком, способным понять, сколько возможностей таится в этом кусочке Средней Европы. Приходилось, правда, показывать и кое-что удавшееся лишь наполовину: это должно было соблазнить его. Рейндль был слишком хорошим баварцем, чтобы из желания обойти Грюбера рискнуть потерять ту огромную выгоду, которую сулил приезд Мамонта.

Рейндль обедал с Тридцатилетним Данни. Они сидели в ресторане Пфаундлера: одетый в чересчур широкое платье господин с большими зубами и другой — бледный, мясистый. Они были в прекрасном настроении, ели, пили, смеялись. В Мюнхене мало были осведомлены о хозяйственных вопросах. Кое-кто, пожалуй, в человеке с большими зубами признавал американца. Но если бы кто-нибудь решился заявить, что этот незаметный господин, сидящий в обществе Пятого евангелиста, сыграет в судьбе города Мюнхена большую роль, чем, скажем, Руперт Кутцнер, — над таким сумасшедшим чудачком громко расхохотался бы весь город.

Собеседники освежили старые воспоминания. Когда-то они вместе много ездили по свету. Однажды они провели чудесный месяц на море. Во время местных празднеств прожили в одной палатке целую неделю. Через много лет они встретились снова.

Тридцатилетний Данни думал о том, что Рейндль чертовски разжирел и отнюдь не походил на того красавца, каким когда-то был. Рейндль думал о том, что этот Поттер когда-то был человеком, не лишенным оригинальности, и прекрасным товарищем для всякого

рода походов. Сейчас он стал типичным «делателем долларов».

Но когда затем Рейндль вместе с Грюбером и Мамонтом отправились в поездку по стране, когда они принялись показывать ему поля, и красивые дома, и медлительных людей, и красоту гор, и силу водных потоков, то оказалось, что Тридцатилетний Данпи все же не лишен оригинальных черт. Он спокойно делал пометки в книжке. Он часто просил остановить автомобиль в таких местах, где оба баварца при всем желании не видели ничего примечательного. Он много болтал и не скрывал своего мнения. Он прекрасно видел все, что ему показывали, и еще лучше то, что от него пытались скрыть. Он разговаривал также с местными людьми и, когда не понимал ответа, переспрашивал во второй и третий раз. Это был умный человек. Рейндль и Грюбер охотно заглянули бы в его записи, а еще охотнее — в его мысли. Хуже всего было то, что никак нельзя было усомниться в его честности. Стоило задать ему вопрос — и он отвечал с готовностью и вполне откровенно. То, что мистер Поттер говорил, было именно то, что он действительно думал; но безусловно также, что он умалчивал о многом из того, что думал. В конце концов Рейндль отказался от какой бы то ни было политики и просто отдался наслаждению природой. Было около полудня, и он проголодался. Он приказал остановить автомобиль у бедной деревенской харчевни. Господин фон Грюбер удивился. Пятый евангелист настаивал, чтобы здесь пообедать: он успел заметить, что в харчевне сидел батрак, перед которым стояло на столе блюдо — смесь муки и печенки, так называемые ливерные клецки. У него сразу же разгорелся аппетит на это местное кушанье. И вот в харчевне сидели уже четверо — Рейндль со своими спутниками и батрак — и уписывали ливерные клецки.

Двумя днями позже Пятый евангелист собрал у себя в честь мистера Поттера небольшое общество. Он долго обдумывал, кого бы представить любопытному американцу, повидавшему столько стран и людей. В конце концов он пригласил господ Грюбера, Пфаундлера и Каспара Прекля. Добиться согласия моло-

дого инженера было нелегко. Рейндль в последнее время носился с мыслью основать автомобильный завод в Нижнем-Новгороде, затеял даже по этому поводу кое-какие переговоры. Тем не менее к Преклю он обратился не под этим предлогом, а воспользовался посредничеством его приятельницы, актрисы Клере Гольц. Под впечатлением ее рассказов Прекль не мог отказать себе в удовольствии поглядеть вблизи на Мамонта из Калифорнии.

Вечер вначале протекал натянуто. Чтобы скрыть некоторую неуверенность, Прекль напустил на себя нарочитую грубость. Пфаундлер, польщенный приглашением Рейндля, быстро почувствовал, — нюх у него был тонкий! — что этому «делателю долларов» его, Пфаундлера, хотели показать лишь как некий объект из зверинца. Даже и сам Пятый евангелист не был так пренебрежительно спокоен, как всегда. Справиться с одним трудным объектом было бы довольно легко, но здесь их было два — трудный Прекль и трудный Данни.

Хорошо чувствовал себя только тайный советник фон Грюбер. «Делатель долларов» был разумный человек; можно было с полным основанием надеяться, что он вложит деньги в столь многообещающую Баварию. Он видел грюберовский Музей техники, разобрался в чертежах, оценил трудности и то, как они были преодолены.

Американцу этот Себастьян фон Грюбер был по душе: он был баварцем и в то же время «гражданином мира» — таким типом, какой можно было бы при соответствующем воспитании выработать из большинства жителей этой страны, если только отучить их так цепляться за неподвижную деревенскую жизнь. Это были хитрые, сильные люди. Их настойчивость, пока выражавшаяся только в тупом упрямстве, могла, если направить ее к разумной цели, оказаться рентабельной. Их здоровый эгоизм, медлительность, спокойствие — из всего этого можно было бы извлечь немалый доход, если использовать их не на одно только скотоводство и хлебопашество. Недооценивали ведь также и зулусов и некоторые другие африканские племена. А теперь для нас ясно, что они прекрасно могут быть использованы.

На примере этого самого фон Грюбера видно, до чего можно довести баварца, если только образумить его.

Комната, в которой сидели гости, была роскошно убрана, весь дом на Каролиненплаце был роскошен и декоративен. В комнате висел портрет отца Рейндля, написанный в рассчитанной на внешнюю эффектность манере мюнхенских художников предшествовавшей эпохи. Американец заметил, что многим его землякам это, вероятно, очень понравилось бы. Ему же лично было бы неприятно иметь у себя в комнате на стене собственного отца в таком напыщенном виде. Ему по душе искусство более заостренное, более осязательное и реалистическое. Оказалось, что он слышал о Мартине Крюгере. Читал даже книгу писателя Тьюверлена.

Господин Поттер легко и свободно носил болтавшееся на нем платье, много смеялся; не поняв хорошенько какого-нибудь местного баварского выражения, просил самых подробных объяснений, чувствовал себя превосходно. Мимоходом он как-то спросил Прекля, почему, собственно, его дорогого друга Рейндля в здешних краях зовут Пятым евангелистом. «Должно быть, потому,— язвительно ответил Прекль,— что он владеет пятым евангелием, содержащим учение о том, каким способом можно легче всего присвоить себе жену ближнего своего, его осла, его автомобиль».

— Благодарю, теперь я осведомлен! — произнес в ответ Поттер.

Господин фон Грюбер громко захохотал.

Господин Пфаундлер рассказал, что, не страшась никаких жертв, пытался пустить обозрение этого самого Тьюверлена, которого он, так же как и мистер Поттер, чрезвычайно высоко ценит. Он, так же как и господин Поттер, придерживается того мнения, что будущее Мюнхена в том, чтобы стать городом для приезжих, городом искусства. У него хороший нюх. Уже много лет он пытался устроить празднества, которые в то же время были бы связаны с большим искусством. Поэтому-то он вместе с Тьюверленом и создал это обозрение. К сожалению, оно особого успеха не имеет. Мюнхен, по-видимому, еще не созрел для этого. Сегодня, для того чтобы побудить население близлежащих сель-

ских местностей к посещению театра, он организовал передачу обозрения по радио. Мистер Поттер очень заинтересовался этим. Включили громкоговоритель.

Из рупора слышались диалоги и песенки обозрения «Выше некуда!». Шел второй акт. Текст и музыка без зрительных впечатлений звучали в достаточной мере наивно и глупо. Стало как-то неловко перед американцем. Но тот казался заинтересованным, внимательно слушал, просил объяснить отдельные слова, комбинировал какие-то взаимоотношения. Оказалось, что, занесенный с той стороны океана в этот край альпийских крестьян, он, руководясь одним лишь непредубежденным здравым смыслом, в искаленном, обезображенном тексте Жака Тюверлена нащупал то, что Тюверлен первоначально хотел в нем выразить. Для него снова воскресал здесь дух Аристофана, «Выше некуда!» снова превращалось в «Касперля в классовой борьбе».

Пфаундлер не знал, радоваться ли ему или огорчаться. Его грызла мысль, что, быть может, выполни он намерение Тюверлена, обозрение все-таки имело бы успех. Прекль с мрачным интересом следил за попытками американца истолковать слышанное и, несмотря на свое отрицательное отношение ко многому во взглядах Тюверлена, все же минутами почти осязательно, реально ощущал страстную, гуманистическую веру Тюверлена в человеческий разум.

Но вот началась сцена боя быков. Зазвучала мелодия марша, та самая легкая, дерзкая мелодия. Как и в десятках тысяч домов, раскинутых по Баварской возвышенности, так и здесь, в этой пышной комнате, она захватила слушателей, глубоко взволновала их. И так же как всегда, она сделала коммуниста еще более коммунистом, «истинных германцев» еще более «патриотичными», преступника еще более склонным к преступлению, верующего еще более верующим, сластолюбца еще более сластолюбивым, заставила Прекля еще более страстно устремиться мысленно в Москву, Пфаундлера — мысленно поклясться, что он снова сделает Мюнхен тем международным художественным центром, каким он когда-то был. А Тридцатилетний Данни впер-

вые после обеда вынул изо рта трубку и, поднявшись, подошел ближе к громкоговорителю. Это выглядело смешно, напоминая известную всем рекламу граммофонов с изображением собаки, услышавшей в рупоре голос хозяина.

Американец вдруг широко улыбнулся.

— Вот эту мелодию я слышал в Кремле, когда вел там самые важные деловые переговоры. Так это обозрение, значит, написано Жаком Тюверленом?

Каспара Прекля эти слова задели. Он знал, разумеется, что в Москве занимаются не только осуществлением чистой теории, но также едят, пьют, сходятся с женщинами, слушают подчас и обыкновенную музыку, вот хоть бы этот марш тореадоров. Но в его уме не укладывалось, что переговоры между одним из русских вождей и американским финансистом, столь важные для страны марксизма, могли происходить под аккомпанемент этой забавной и дерзкой мелодии.

— С кем в Кремле вы вели переговоры? — резко спросил он.

Мамонт снова сунул в рот мундштук своей трубки, спокойно и с любопытством принялся разглядывать худое лицо молодого инженера: выдающиеся скулы, глубоко запавшие горящие глаза.

— Я не понял, — произнес он наконец.

— С кем вы вели переговоры? — во второй раз, подчеркивая каждое слово, еще резче переспросил Прекль.

Американец процедил сквозь зубы пять-шесть имен. Эти имена принадлежали очень известным людям, которых Каспар Прекль особенно чтит. Затем американец стал весьма непосредственно рассказывать о России. Молодой инженер с удивлением увидел, что американец изучил не только хозяйственные и бытовые условия Советской республики, но что он знаком и с учением Ленина. Это испугало Каспара Прекля. Неужели могут существовать люди, которые понимают это учение и не разделяют его? «Делатель долларов» был достаточно умен, чтобы в своем рассказе не выражать собственного мнения — ни положительного, ни отрицательного, и все-таки он отвергал разумом это учение, хотя и понимал

его. Каспар Прекль страстно заспорил с ним, несколько раз грубо спросил: «Понятно?» И казалось, Мамонт действительно не понимал, но только потому, что Прекль говорил на диалекте. Остальные внимательно слушали, и, как ни обаятельна была искренняя вера Каспара Прекля, фразы американца, которые он сухо цедил сквозь зубы, звучали для них убедительнее.

Позже, после спектакля, приехала артистка Клере Гольц. Пфаундлер предложил ей спеть песенку тореадора. Но она отказалась: без хора и оркестра ничего не выйдет. Ей рассказали о споре Каспара Прекля с американцем. Она осторожно завладела молодым инженером. Она хотела, чтобы он спел свои баллады. Он не пел их ни разу после встречи с художником Ландгольцером. Он колебался. Он испытывал сильное желание спеть их, и в то же время ему противно было петь перед этими людьми. В конце концов она настояла на своем. У него было страстное желание убедить американца: быть может, то, чего не могла сделать его поездка в Россию, сделают стихи Прекля, и «делатель долларов» хоть на несколько минут поверит в Маркса и Ленина. Пятый евангелист после Гармиша ни разу не слышал баллад и жаждал сейчас их услышать. Каспар Прекль прочел свои стихи, как и тогда, звонко, вызываяще, убежденно, — эти необычайные стихи о буднях и маленьком человеке, тонкие и злые, почерпнутые из народных глубин большого города, полные дерзости и непосредственного настроения. Тут были и новые строфы; они были еще лучше и острее, чем прежние, и Каспар Прекль пел их не хуже, чем тогда, даже с еще бóльшим увлечением. Но, странное дело, на этот раз они не доходили до слушателей. Должно быть, виной было присутствие Тридцатилетнего Дании, который, не выпуская изо рта трубки, терпеливо слушал, с любопытством, невозмутимо. Когда Каспар Прекль отложил банджо, наступило неловкое молчание. Затем американец слегка захлопал в ладоши.

— Очень мило, — произнес он. — Благодарю вас!

Немного погодя он сказал, что, раз г-жа Гольц отказывается петь, хорошо было бы добыть граммофонную пластинку с маршем «Бой быков». И что же: пластинка

нашлась. Мистер Даниель В. Поттер, один из тех трехсот, которые решают вопрос о войне и мире, эпидемии и здоровье, о голоде и сытости на всем земном шаре, принялся танцевать с артисткой Клере Гольц под звуки этой мелодии.

Остальные четверо молча следили за ними глазами. Г-н фон Грюбер думал о том, согласится ли американец какую-то часть своих долларов поместить в этой прекрасной стране и ее электростанциях. Он надеялся, что Поттер обратится к нему с дальнейшими вопросами. Но мистер Поттер спросил только, живет ли еще в Мюнхене писатель Тьюверлен. Он хотел бы с ним познакомиться, хотел бы с ним поговорить.

— Как с вами, старина, — добавил он, обращаясь к Рейндлю, — по душам, по душам.

И Пятый евангелист не был уверен, что американец не смеется над ним.

## 7

### ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, КРЫСА!

Девять самых мрачных месяцев начались для Мартина Крюгера, когда разочарованный директор тюрьмы Фертч узнал, кто назначен преемником Кленка. При Гартле человек с кроличьей мордочкой безусловно получил бы повышение. Но назначение Мессершмидта снова сводило на нет все его долгие расчеты и усилия. Впервые за столько лет предайной службы, Фертч, всегда чутко улавливающий настроение начальства, вышел из себя. Он взбунтовался, перешел на сторону параллельного правительства, настоящего правительства — к «истинным германцам».

Мартин Крюгер о новой политической ориентации человека с кроличьей мордочкой узнал потому, что ему вдруг, без указания причин, снова запретили писать. Между заключенным номер две тысячи четыреста семьдесят восемь и директором тюрьмы началась ожесточенная борьба, и Мартин знал, что эта борьба кончится не ранее, чем Фертч добьется оклада содержания по XIII разряду. Прежде Крюгер быстро потерпел бы



поражение. Он не мог бы владеть собой, душа и уста его вышли бы из повиновения. Теперь, вникнув в образы мятежника Гойи, он нашел другой выход своим чувствам, стал умнее. О, он был умным мятежником, твердо решившим не дать вывести себя из равновесия! За шестнадцать месяцев пребывания в тюрьме он научился быть, когда нужно, покорным, гибким, упорным.

За то время, что Мартин Крюгер сидел в тюремной камере, наступило новое лето, затем осень и началась новая зима. За это время был убит германский министр иностранных дел, Бенито Муссолини стал властителем Италии, турки нанесли решительное поражение Греции, Ирландия получила общепризнанную конституцию, Франция, ввиду того что ее промышленники не могли поладить с германскими, грозила занять в качестве залога Рурскую область. Много немцев за это время стало миллионерами, но не богатыми миллионерами: ибо, имея миллион марок, человек имел лишь сто двадцать пять долларов.

Все такой же за время всех этих событий оставалась голая камера Мартина Крюгера, но сам он стал иным. Он буйствовал вначале, потом затих, замкнулся в себе, обмяк. Потом просиял, загорелся в работе. Теперь он был упорен и тверд. С ним случались еще сердечные припадки, но в остальном здоровье его было удовлетворительно. Он привык к вечно одинаковому вкусу пищи, состоящей главным образом из сушеных овощей, из гороха, бобов, чечевицы, круп, вареной картошки, — всегда одинаковой, плохо приготовленной, с постоянным отвратительным привкусом соды. Привычна стала ему, такому чистоплотному, окружавшая его грязь, вонь кадки с нечистотами, омерзительный, испорченный воздух тюрьмы. Этим уже нельзя было подавить его, к этому он уже применился. Придумал, лишь бы не ослабеть, хитроумную гимнастическую систему. Он не сдавался.

Быстро, одну за другой, отнял у него Фертч прежние привилегии. Снова письма ему разрешалось получать лишь раз в три месяца. Запретили прием посетителей. Во время прогулок среди шести деревьев у него

уже не было спутника, с которым он мог бы говорить: Леонгард Ренкмайер исчез из его поля зрения. Никто уже не называл его «господин доктор». Вместо того чтобы заниматься мятежником Гойей, он клеил бумажные кульки, затем щипал пеньку и чинил мешки, распространявшие вонь, от которой захватывало дыхание. Изоляция его проводилась с особой строгостью. Даже когда его брил тюремный парикмахер из арестантов, при этом присутствовали двое надзирателей, следивших за тем, чтобы с ним не разговаривали. Но он стал хитер и научился поддерживать общение с другими арестантами посредством перестукивания и всякими иными способами.

При встречах с Фертчем, как тот ни старался, Мартин ни разу не дал вывести себя из равновесия. Несмотря на все притеснения, он не позволял себе ни одной выходки, которая могла бы привести к наказанию. Он подавлял в себе все вспышки, откладывая их до той минуты, когда он оставался один в камере.

Нередко во время прогулок Мартина на него из окон коридора глядели любопытные. Человек с кроличьей мордочкой уже не стеснялся больше демонстрировать женам своих приятелей по «столу завсегдатаев» своего знаменитого арестанта. Словно сторож в зоологическом саду, показывающий редкий экземпляр, расписывал он особенности своего заключенного. Мартин Крюгер не протестовал. Давно уже остались позади всякие мысли о «человеческом достоинстве». Он искоса поглядывал на человеческие существа в окне. У них были груди, бедра — это были женщины. Он уже много месяцев не видел женщин.

Тяжелее всего он переносил вынужденное воздержание. Из всех камер поднимался тот же голос похоти, не ослабляемый прилепленной к пище содой. Чуть ли не каждый стук говорил о вещах, связанных с полом. Чтобы удовлетворить похоть, прибегали ко всяким ухищрениям. Из платков, из обрывков сукна фабриковали какое-то подобие женщин. Особые искусники из теста, сала и волос мастерили непотребные предметы, даже торговали ими. Мартину Крюгеру в бесконечные ночи в тысячный раз представлялись всё те же похот-

ливые видения. Он представлял себе, по ее автопортрету, образ умершей девушки, Анны-Элизабет Гайдер. Каким ослом он был, что не взял ее! Он думал о Гойе, о «Махе нагой» и «Махе одетой». Однажды, когда из местечка Одельсберг еле слышно донеслись звуки музыки, очень дальние, — может быть, звуки граммофона или радио, — ему показалось, что он улавливает обрывки старинной мелодии, которую иногда сквозь зубы напевала Иоганна. Безумно и неудержимо охватило его страстное желание. Он сравнивал тело Иоганны с обнаженным телом на автопортрете Гайдер. «Махи» испанца сплетались с образом Иоганны. Он кусал себе руки, колени. Безумно желал видеть ее подле себя, живую, из плоти и крови.

Ночью, лежа на нарах, он на потолке камеры видел четкую тень оконной решетки, отбрасываемую висевшим во дворе электрическим фонарем. У него сохранилась привычка почерком Франсиско Гойи чертить в воздухе слова, короткие предложения. Вспыхивавшие и гаснувшие, как в кино, выводил он знаки на тени решетки — имя Иоганны, свое собственное, имя Фертча. Тенями отбрасывал на потолок камеры маленькие бесстыдные рисунки. Теневыми знаками писал кроткое и мудрое, но больше всего было проклятий, непристойностей, злобы.

Его очень интересовал вопрос о пересмотре дела. Узнав о назначении Мессершмидта, он это незнакомое имя увил новыми надеждами. Мессершмидт — странное имя: для кого кует он ножи? Для него, Крюгера? Для его притеснителей? Он хотел быть осведомленным о малейших колебаниях своих шансов. Вечно беспокоился, не забыли ли чего-нибудь. Он верил Каспару Преклю, доверял Иоганне. Но все время опасался, не упустит ли она какой-нибудь шанс. Он сам ничего не упускал. Ведь здесь, в тюрьме, в Одельсберге, сидел он, он один. Как бы дружески ни был расположен к кому-нибудь человек, как бы он ни любил — сочувствие к заключенному, сочувствие к переносимым страданиям не подстегивает так, как собственная мука.

С нетерпением ждал он свидания с Иоганной. Это свидание сократят до последней возможности, в лучшем

случае — до законного получаса, возможно также, что, ссылаясь на отсутствие достаточного числа надзирателей, дадут лишь двадцать минут или даже десять. Он считал часы, оставшиеся до этого свидания. Он представлял себе, как Иоганна была здесь в последний раз, обдумывал вопросы, которые должен задать ей, шлифовал их, чтобы не дать возможности надзирателю к чему-нибудь придраться. Три месяца — это две тысячи двести восемь часов, — лишь полчаса из них, а то и меньше, длится свидание. Это драгоценное время, его должно хватить на дальнейшие две тысячи двести восемь часов. Каждая секунда должна быть насыщена, ею нужно насладиться полностью, нужно хорошенько обдумать, что нужно сделать с ней, не упустить ее даром.

И вот Иоганна на самом деле пришла, сидела перед ним, цветущая, из плоти и крови, говорила с ним своим настоящим, звучным голосом. Он тщательно обдумал все, что собирался сказать ей, представлял себе ее ответы. И вот он дождался этих ответов. Добрых, сердечных ответов. Реальны были ее голос, ее готовность помочь, ее цветущее широкое лицо. Но чем дольше она сидела, тем менее реальным, бледным, становилось все вокруг. Самым реальным было ожидание ее прихода. Его сердце было преисполнено взволнованной радостью. Сейчас оно опало, словно пустой мешок.

Иоганна не находила пути к нему. Нет, она не желала глядеть на страдания Мартина с холодным беспристрастием Тюверлена. Тюверлен, конечно, был прав: для Мартина делалось все, что только было возможно сделать. Но ей хотелось дать Мартину больше, чем он имел право требовать. Она пришла, полная сердечного огня. Но сейчас, сидя против него, она говорила без подъема, тепловато-дружески. Она винила себя за то, что в эти короткие минуты не могла думать об одном Мартине. Она вспоминала, как Тюверлен обещал доказать ей, что борьба даже во имя правого дела может сделать человека дурным. Она с трудом удерживалась, чтобы не поставить Мартину этот бестактный вопрос: становится ли человек лучше, пройдя через страдания?

Совсем неожиданно — его последние фразы она воспринимала только ухом — Крюгер произнес, и словно камнем ее ударили его слова: «Вот люди говорят, что борьба и страдания делают человека лучше. Может быть, это и так — на воле». Спокойствие, с которым он произнес слова «на воле», его лишенный оттенков голос глубоко запали ей в душу. Сразу как-то исчез Тюверлен, исчезло все другое, она вся была с Мартином. И сразу оказалось, что ей нужно бесконечно много бесконечно важного сказать ему. Но время свидания истекло, она потратила его на свои собственные глупые, ничемные мысли. Мартин Крюгер сидел перед ней опустошенный, разочарованный. Он тщательно готовился; сейчас все иссякло в нем раньше, чем кончилось время свидания.

Ночью затем он безумствовал от обиды, что не использовал лучше посещение Иоганны. О, эта жуткая ночь, ее гнев, ее бессилие, ее желания и раскаяние!

Таких ночей становилось все больше. Мартин Крюгер начинал бояться их. «Доколе?» — спрашивал он странно громким голосом в тишине камеры. «Доколе?» — переводил он на все языки, которые знал. «Доколе?» — писал он почерком Гойи между прутьями ночного силуэта решетки.

Однажды в такую ночь его посетила крыса. Он вспомнил старые истории, рассказ шута, заключенного в тюрьму г-жой де Помпадур, которой показалось, что он ее обидел. Шут рассказывал о том, как он в яме, которая, вероятно, была хуже камеры Мартина, занимался приручением крыс. В следующую ночь Крюгер робко, с нетерпением ожидал появления крысы. Он разбросал по полу остатки пищи. И в самом деле — крыса явилась. Он сказал: «Добрый вечер, крыса!» — и она не убежала. С тех пор она стала являться часто, и Крюгер вел с ней беседы. Он рассказывал ей о своем блеске в прежние годы и о своей борьбе с директором Фертчем, о своем отчаянии и о своей надежде, и он спрашивал ее: «Доколе?» Она была ему радостью и утешением. Но затем дыра была замечена и залита гипсом. Мартин Крюгер снова остался один.

## РАНЬШЕ, ЧЕМ ПОКРОЮТСЯ ЦВЕТОМ ДЕРЕВЬЯ

Лет за сто с лишним до описываемых событий немецкий археолог Шлиман производил на том месте, где когда-то стояла древняя Троя, раскопки, благодаря которым было извлечено на свет божий много всяких древних предметов. Между прочим, и сотни веретен. Внимание ученого привлек украшавший многие из них знак — крест с загнутыми концами. Этот знак издавна пользовался широким распространением на всем земном шаре: желтокожие считали его знаком, приносящим счастье, индусам он служил сексуальной эмблемой. Но Генриху Шлиману это не было известно. Он стал спрашивать о значении этого странного креста французского археолога, некоего Эмиля Бюрнуфа. Бюрнуф, путник с большой фантазией, уверил легковерного немца, что у древних арийцев такой крест служил подставкой, в углубление которой вставляли заостренный стержень, чтобы, вращая его, трением добывать священный огонь. Доверчивый Шлиман поверил остроумному французу и сам в дальнейшем стал толковать этот знак как явление, типичное для арийцев. Германские «патриоты» положили это объяснение в основу своей расовой теории, избрали индийскую эмблему плодородия своей политической эмблемой. Какой-то лейпцигский делец выпустил марки с изображением этого креста, «свастики», окруженной изречением: «Арийская раса — высшего класса».

Его затея имела успех. Школьники клеили эти марки в свои альбомы, мелкие торговцы запечатывали ими свои деловые письма. «Патриотически настроенные» торговцы галантерейными товарами выпустили в продажу булавки для галстуков с изображением свастики. «Патриотически настроенные» ученые-этнологи стали связывать с нею свои этические и эстетические теории. По мере роста значения «истинных германцев» росло и значение свастики, украшавшей до сих пор главным образом стены японских игорных домов и ки-

тайских храмов с многорукими идолами, а теперь, наряду с шатровыми куполами недостроенного собора и ребенком в одежде монаха, ставшей самой популярной эмблемой города Мюнхена.

Этот знак был изображен на огромных ярко-красных знаменах «истинных германцев». Жители Баварской возвышенности рисовали этот знак на стенах, особенно на стенах отхожих мест, носили его в виде брошек, колец. Многие делали себе татуировку в виде свастики. Под этим знаком шли мюнхенцы на собрания Руперта Кутцнера. Каждый понедельник в «Трапезной» или в одном из других больших ресторанов при пивных заводах вождь говорил со своим народом.

Передавали из уст в уста, что скоро «патриоты» произведут выступление. Каждый понедельник ждали, что Кутцнер наконец назначит точный день. Густые массы людей устремлялись на его собрания: чиновники и служащие добивались более раннего закрытия контор, чтобы успеть занять место. Никто не хотел пропустить момент, когда будет возвещено о «дне освобождения».

В одном из голубых вагонов трамвая, идущего в направлении ресторана «Трапезная», стоял, сжатый толпой, также стремившейся к Кутцнеру, владелец антикварного магазина Казтан Лехнер. Он недавно вернулся из Голландии. Он снова повидал «комодик». Голландец пригласил его к обеду. Еда была хорошая и обильная, но Лехнер, смущенный непривычной сервировкой и слугами, ел без должного аппетита и потом ругательски ругал голландца, этого скопидома, жадюгу, который заморил его голодом. Все же он сделал снимки с ларца, хорошие снимки. Он часто глядел на них, любовался ими, и сердце его при этом преисполнялось печалью. В то же время его охватывало глубокое негодование против правительства, которое сначала заставило его расстаться с драгоценным ларцом, а затем допустило, чтобы какой-то галицийский еврей перехватил у него из-под самого носа желтоватый дом. Он ехал к Кутцнеру, убежденный, что вождь отомстит за него, устроит так, чтобы он, Лехнер, еще выбился в люди.

При выходе из трамвая кто-то сильно толкнул его, но извинился: «Гоп-ля, соседushка!» Это был Гаутсенедер. Лехнер ненавидел этого жильца дома на Унтерангере. Еще не закончился судебный процесс, начатый им после того, как Гаутсенедер спустил нового домовладельца с лестницы. Сейчас они стояли рядом, тесно прижатые друг к другу, общими усилиями старались протиснуться вперед. Оба еще немного дулись, косились друг на друга, но в конце концов обоих одновременно толпа внесла в своем потоке в зал, и они оказались за одним столом. Нельзя было, хотя бы и ворчливо, не обмениваться замечаниями.

До начала оставалось по меньшей мере полчаса, но зал был уже полон до отказа. В низко нависших клубах табачного дыма плавали круглые, красные, как помидоры, головы с торчащими усами, серые глиняные кружки. Газетчики выкрикивали: «Запрещенный номер «Фатерлендишер анцейгер»!» Власти время от времени запрещали газеты «патриотов», но затем не следили за выполнением своих постановлений. Ждали терпеливо. Пока что бранили правительство, упрекали его в несправедливости. Г-жа Тереза Гаутсенедер, например, на собственном печальном опыте убедилась в негодности нового республиканского правительства: какой-то коммивояжер продал ей в рассрочку пылесос «Аполлон». После этого другой коммивояжер предложил ей пылесос «Триумф», тоже в рассрочку, но несколько дешевле. Дело с первым коммивояжером он обещал уладить. Но он ничего не уладил, и теперь с нее требовали деньги за оба пылесоса. Г-н Гаутсенедер, с утра до поздней ночи занятый на фабрике линолеума в Зендлинге, заявил, что он и не подумает отдать свое четырехмесячное жалованье на покрытие ее идиотских фантазий. Она, мол, вообще дура, и он намерен развестись с ней. Г-жа Гаутсенедер, со своей стороны, выразила намерение броситься в реку Изар. Дело с пылесосом дошло до суда. Процесс затянулся. Адвокаты говорили о «заведомом обмане», о «недееспособности жены без предварительного согласия мужа» и тому подобных вещах. Все это кончилось неопределенной мировой, не удовлетворившей ни одну из сторон, и тем, что г-н и г-жа Гаутсе-



недер, а также представители «Аполлона» и «Триумфа», недовольные существующим строем, вступили в ряды «истинных германцев».

Многие из присутствующих, в ожидании торжественного появления вождя, рассказывали о подобных же невзгодах. Все негодовали, что марка так дурацки изо дня в день падает, все валили ответственность за это на евреев и правительство, спасение все чаяли от Руперта Кутцнера. Отставной правительственный инспектор Эрзингер любил чистоту и порядок. Нелегко было в это гнусное время сохранять в чистоте тело и душу, квартиру и платье. Он был человеком миролюбивым, склонным подчиняться начальству, даже если происхождение его власти и было несколько сомнительным. Но когда его жена вместо привычной катушки гигиенической бумаги повесила в клозете нарезанную листочками газету, его терпение лопнуло, и он перешел к Кутцнеру. У строительного десятника Брукнера на войне были убиты трое сыновей: один — на Сомме, другой — на Эне, третий — на Изонцо, четвертый без вести пропал в Карпатах.

Церковь находила только одно утешение для недовольного старика. Бог подвергает испытанию тех, кого любит. Десятник Брукнер нашел лучшее утешение у Кутцнера. Надворная советница Берадт, хотя смерть и освободила ее от ненавистой жилицы, все же терпела всякие неприятности от новых жильцов, которые шумели, принимали сомнительных знакомых, тайком готовили у себя в комнатах на электрических плитках. Неужели почтенная вдова должна была терпеть такое издевательство и не могла избавиться от этого сброда? Виной всему был безбожный закон о защите прав квартирантов. Вождь, надеясь она, наведет порядок. Иозеф Фейхтингер, учитель гимназии, вместо того, чтобы слезть у Штахуса пересел на Изарплаце, где ему нужно было кое-что купить. Таким образом он проехал не кратчайшим путем, как полагалось при пересадочных билетах. За это его оштрафовали. Ничем не опороченный, он дожил до сорока двух лет. А при этом правительстве человека подвергали наказанию за то, что

он на Изарплаце купил две голубые тетрадки! Он пошел к Кутцнеру.

Дым становился все гуще, острее — запах пота, мучительнее — жара, более смутными — очертания глиняных кружек и ярче — окраска помидорообразных голов. Антиквар Лехнер все чаще и порывистей вытаскивал свой пестрый платок. Наконец, окруженный знаменами, под бурное ликование, в зал вступил Руперт Кутцнер, мерно шагая под грохот духового оркестра, высоко подняв голову с тщательно расчесанными на пробор волосами.

Он заговорил о позорном Версальском мире, о дерзких адвокатских фокусах француза Пуанкаре, о международном заговоре, о франкмасонах и талмуде. Все, что он говорил, не было новостью, но производило впечатление новизны благодаря сочности языка и силе ораторских приемов. Голосом, полным почтительного восхищения, заговорил он затем об итальянском вожде Муссолини, о решимости, с которой тот завладел городом Римом, а затем и всем Апеннинским полуостровом. «Да послужит,— воскликнул Кутцнер,— подобная энергия примером для баварцев!» И он разразился насмешками по адресу имперского правительства, предсказывая поход на Берлин. Расписывал, как заблудший город без единого взмаха меча достанется «истинным германцам», как власти при одном только виде истинных сыновей народа со страху наложат в штаны. В зале, в то время как вождь говорил о походе на Берлин, царила гробовая тишина. Все ожидали, что он назначит определенный день. Каэтан Лехнер даже остановился, не высморкав до конца нос, лишь бы не мешать. Однако вождь не выразился грубо и ясно, как бюллетень курса доллара: он облек свою мысль в поэтическую форму.

— Раньше,— воскликнул он, указывая рукой на знамена с экзотической эмблемой,— раньше, чем покроются цветом деревья, эти знамена оправдают свое бытие!

«Раньше, чем покроются цветом деревья». Это была благая весть, запечатлевшаяся в сердцах. Люди слушали затаив дыхание, ошарашенные. Великолепный голос Кутцнера, его выразительная мимика увлекали их. Они забыли, что немногие сохранившиеся у них

процентные бумаги обесценены, что потеряна надежда на обеспеченную старость. Как умел этот человек облечь в слова их затаенные мечты! Как руки его широко поднимались, с силой ударяли по кафедре, упруго вытягивались вперед или же карикатурно подражали еврейской жестикуляции, какой ее изображали непритязательные в выборе средств юмористические журналы того времени! Блаженствуя, следили слушатели за каждым его движением, старались не заглушить ни одного из его чарующих слов, с особой осторожностью опускали на стол глиняные кружки. Изредка оратор повышал голос, давая этим знак слушателям, что теперь пора аплодировать. Паузой, вызванной аплодисментами, он пользовался для того, чтобы стереть с лица пот, поднять пивную кружку (тоже картинным жестом), выпить ее до дна.

Вот он заговорил об этом жалком берлинском правительстве, которое справедливому народному возмущению не могло противопоставить ничего, кроме чрезвычайных законов.

— Мы, «истинные германцы», — воскликнул он, — если бы мы стояли у власти, мы не нуждались бы в чрезвычайных законах.

— Что же вы сделали бы тогда? — вставил чей-то благозвучный, низкий голос из толпы.

Руперт Кутцнер на мгновение умолк. Затем среди наступившей в зале напряженной тишины он произнес тихо, задумчиво улыбаясь:

— Мы на законном основании повесили бы наших противников.

«Истинные германцы», нужно отметить, составляли четыре процента всего населения; тридцать четыре процента были нейтральны; противники составляли шестьдесят два процента.

Все в зале теперь улыбались той же задумчивой улыбкой, которая скользила на устах вождя. Они мысленно видели своих противников болтающимися на виселицах или на деревьях, с синими, вывалившимися языками. Лехнер представлял себе висящим на дереве галицийского еврея, перехватившего у него желтоватый дом, г-жа Гаутсенедер — обоих коммивояжеров с пыле-

сосами, оба коммивояжера — г-жу Гаутсенедер. Все с глубоким удовлетворением опорожнили большие серые кружки.

Рохусу Дайзенбергеру тоже мерещились болтающиеся на деревьях кое-какие люди — члены оберфернбахской общины, из-под носа укравшие у него прекрасную роль в священных играх, мошенники они подлые! Он видел их висящими, а себя — помогающим произвести эту процедуру. Он и в Оберфернбахе всегда давал Иуде дельные советы. Да, апостол Петр перебрался в Мюнхен. Внутренний голос не обманул его: в нынешнее время для пророка, которого в его собственной деревне не окружали достаточным вниманием, должно было найтись подходящее дело в городе. Он расстался с любимыми своими конями и устроил в Мюнхене гараж. Если уж не с кем больше, то и с мотором можно было вести беседу: ведь и мотор был божьим созданием. Гараж, несмотря на тяжелые времена, процветал, так как Рохус Дайзенбергер пользовался симпатиями «патриотов», был, что называется, одним из столпов партии, прекраснейшим офицером связи с сельским населением.

А Руперт Кутцнер продолжал извергать громы. Ни дым, ни жара не действовали на него. Его легкие выдерживали все. Они были надежны, как хорошо выверенная машина, — это драгоценнейшее достояние партии, которое вождь тщательно берег. При каждом из его выступлений всегда должен был присутствовать придворный артист Конрад Штольцинг. Тридцать лет назад он, воплощая роль Ромео в произведении драматурга Шекспира и Фердинанда фон Вальтера в произведении драматурга Шиллера, воодушевлял сердца мюнхенских жителей. Пятнадцать лет назад он перешел на характерные роли. А в последнее время посвятил себя обучению молодого поколения. Счастливая звезда свела государственного деятеля Кутцнера и актера Штольцинга. Разве сто двадцать лет назад знаменитый французский вождь не работал совместно с знаменитым актером по имени Тальма? Конрад Штольцинг самоотверженно посвятил себя своему великому ученику. Учил его, как, с неподвижным лицом, не смущаясь тысячи обращенных на тебя взглядов, проходить через переполнен-

ное людьми помещение, как торжественно шагать, ступая на пальцы ног, а не на пятку, посвящал его в тайну того, как владеть своим дыханием, как, раскатывая букву «р», делать произношение более ясным. Обучал его искусству соединять воедино красоту и достоинство. Старик молодец, любясь способностями и безграничным усердием своего ученика. Ежедневно, несмотря на тяжкую перегрузку, Кутцнер занимался со старым актером. Он уже мог говорить восемь часов сряду, не уставая, не нарушая основных правил ораторского искусства. Старик с выразительной головой римлянина присутствовал при всех выступлениях вождя, контролировал правильность дыхания, произношение звука «р», походку вождя, его манеру пить вино, говорить — проверял, полны ли они красоты и достоинства.

Он не находил сейчас никаких дефектов. Ясно, несмотря на табачный дым, звучал голос Кутцнера. Все получалось удачно, естественно. Вопрос о том, как «истинные германцы» поступят со своими противниками, был брошен стариком актером. Он заблаговременно разучил с Кутцнером ответ, выразительную паузу, задумчивую улыбку. Так двадцать пять лет назад он, Конрад Штольцинг, улыбался в роли Гамлета, принца датского, героя пьесы драматурга Шекспира. Улыбка получилась естественно, она произвела впечатление — точь-в-точь как двадцать пять лет назад.

Свою речь вождь повторил в больших залах трех других пивных Мюнхена. Он торжественно прошел трижды, окруженный группой своих ближайших приверженцев, через помещение, наполненное пивными и винными парами и клубами табачного дыма. Трижды еще бросал старый актер свой вопрос, и Кутцнер улыбался так, как когда-то Гамлет-Штольцинг улыбался на сцене мюнхенского придворного театра. Трижды еще Кутцнер, указывая на знамена со свастикой, возвещал о походе на Берлин: «Раньше, чем покроются цветом деревья!» «Раньше, чем покроются цветом деревья!» — грозно, томительно, сладостно звучало в ушах двенадцати тысяч мюнхенцев. «Раньше, чем покроются цветом деревья!» — запечатлевалось в сердцах двенадцати тысяч мюнхенцев.

## ИЗ ИСТОРИИ ГОРОДА МЮНХЕНА

В те годы одним из самых излюбленных способов опровержения доводов политического противника было убийство. В Германии к этому средству прибегали преимущественно приверженцы правых партий, не владевшие так искусно, как вожди левых, духовным оружием.

В Мюнхене опровержение аргументов левых партий путем убийства тех, кто эти аргументы приводил, пользовалось особой популярностью. Вождем мюнхенской революции 7 ноября последнего года войны был некий Курт Эйсер, еврей, писатель, уроженец Берлина. 21 февраля следующего года, после того как Эйсер, став председателем совета министров Баварии, водворил там порядок, он был застрелен начитавшимся клерикальных газет молодым лейтенантом, неким графом Арко.

Пуля лейтенанта поразила его на пути в парламент, куда он направлялся, чтобы отказаться от своего поста. Солдаты оградил запятнанные кровью камни мостовой пирамидой винтовок, украшенных цветами. Многие плакали. Пятьдесят тысяч мюнхенцев провожали покойного до могилы. Восемь месяцев спустя убийца пользовался уже большой популярностью. Его приговорили к смерти, заменили казнь заключением в крепости. Во время заключения он работал в качестве практиканта в имении вблизи Ландсберга. В его распоряжение был предоставлен аэроплан. Вскоре он был назначен на руководящую должность в субсидируемом правительством акционерном обществе.

Вслед за убийством Эйсера власть в Мюнхене перешла в руки правительства, придерживавшегося левой ориентации. Консерваторы силой оружия свергли его. Когда стали поступать сведения, что приближающиеся к городу войска консерваторов ставят к стенке всех пленных красных, красные войска в Мюнхене расстреляли шесть человек из националистической группы, арестованных за подделку печати красного правительства, и четырех других заключенных. Вступившие затем в Мюнхен консервативные правительственные войска

убили во имя так называемого «освобождения города», по официальным данным, пятьсот сорок семь человек. Социалисты объявили эту цифру преуменьшенной. По их сведениям, число убитых колебалось между восемьюстами двенадцатью и тысячью семьюстами сорока восемью. Правительственных солдат пало тридцать восемь. Кроме того, по официальным данным, во время боев в Мюнхене погибло от «несчастных случаев» сто восемьдесят четыре человека из числа гражданского населения. Большое число расстрелянных, убитых и погибших от «несчастных случаев» было еще и ограблено.

Год спустя в Берлине правительственная власть была захвачена правыми, предводительствуемыми неким Каппом. Этот «правый путч», однако, не удался, как и «левый путч» за год до этого в Мюнхене. Все обнаруженные участники правого путча, числом всего семьсот пять человек, были присуждены в общей сложности к пяти годам заключения. Все сто двенадцать человек, уличенных в участии в мюнхенском левом путче, были приговорены в общей сложности к четыремстам восьмидесяти годам и восьми месяцам тюремного заключения, а два человека — к расстрелу. Относительно небольшое число уличенных в участии в мюнхенском левом путче объясняется тем, что большинство участников было расстреляно, зарезано или погибло «от несчастных случаев» во время боев. Из участников правого путча во время перехода к новой власти не погибло ни одного человека.

Среди погибших «от несчастных случаев» при «освобождении» Мюнхена консерваторами находился и социалист Густав Ландауэр, один из самых известных литераторов своего времени. Об обстоятельствах, при которых он погиб, известны подробности, сообщенные рядом очевидцев. Литератор-пацифист Ландауэр был арестован вне пределов Мюнхена, сначала отведен в городской суд в Штарнберге, затем посажен на грузовик и отправлен в расположенную поблизости от Мюнхена тюрьму в Штадельгейме. В Штадельгейме Ландауэра и арестованных вместе с ним товарищей окружил отряд солдат. Писатель позволил себе какое-то высказывание о милитаризме, осуждая и «правый» и «левый» мили-

таризм. За это он был избит солдатами. Присутствовавший при этом майор, некто фон Гагерн, ударил его ручкой хлыста по лицу. Один из солдат, имя которого осталось неизвестным, и солдат по имени Дигеле выстрелили после этого из пистолетов Ландауэру в спину. Так как он, лежа на земле, еще шевелился, его затоптали насмерть. Когда один из друзей добился выдачи его трупа, он обнаружил исчезновение сюртука, брюк, ботинок, пальто и часов покойного. Майор Гагерн был присужден мюнхенским судом к тремстам маркам (или сорока восьми маркам золотом) штрафа. Солдат Дигеле, произведший выстрел, а затем присвоивший себе часы, ввиду того что он только выполнил приказание начальника, был фрейбургским военным судом оправдан, за историю же с часами приговорен к пяти неделям заключения с зачетом покрывавшего этот срок предварительного заключения. После убийства Ландауэра он был произведен в унтер-офицеры.

Некто Карл Горн, профессор математики и физики, был арестован двумя солдатами войск консерваторов. Затем получил пропуск с отметкой, что арест произошел по ошибке.

На следующий день он снова был арестован двумя вооруженными людьми, приведен к дежурному штаба, лейтенанту Дингельрейтеру, и без допроса под караулом трех солдат отправлен в тюрьму в Штадельгейм. Напрасно пытался он предъявить свой пропуск. По пути в Штадельгейм он выстрелом в спину был убит сопровождавшим его караулом. Через несколько часов его жена и девятилетний сын нашли его труп, лежавший поперек пешеходной тропинки. Ботинки, часы с цепочкой и брелоками, содержимое карманов — были похищены. Ни лейтенант, ни солдаты суду преданы не были. Иск, предъявленный государству вдовой покойного, был отклонен всеми судебными инстанциями Мюнхена на том основании, что погибший принадлежал к сообществу социалистов и бунтовщиков и, таким образом, сам способствовал нарушению дисциплины среди нижних чинов.

Георг Клинг и его дочь Мария Клинг несли добровольную санитарную службу в войсках левых, Мария



Клинг была предана военно-полевому суду, оправдана, должна была на следующий день выйти на свободу. Когда отец в назначенный день явился за ней, оказалось, что она переведена в тюрьму Штадельгейм и там использована как мишень при стрелковых упражнениях. Сначала стреляли в мякоть ноги, затем в лодыжку, в бедро и, наконец, в голову. Ввиду того, что все относящиеся к делу документы в суде «затерялись», виновники к ответственности привлечены не были.

Когда войска консерваторов, входившие в состав корпуса Люцова, вступили в местечко Перлах близ Мюнхена, там были арестованы вытащенные прямо из постелей двенадцать человек рабочих, частью беспартийных, частью правых социалистов. Ни один из них не участвовал в боях, ни у одного не было найдено оружия. Содержатель перлахского ресторанчика хотел дать арестованным кофе. Ему заявили, что эти люди ни в чем больше не нуждаются. Арестованные, долго молившие о пощаде, были расстреляны группами по двое и по трое на куче угля во дворе ресторана «Гофбрейкеллер». Все находившиеся при них ценные вещи и документы оказались похищены. Виновники расстрела к суду привлечены не были. Претензии жен и тридцати пяти детей расстрелянных были оставлены без последствий.

Сохранились многочисленные свидетельские показания очевидцев и о предполагавшейся, но не состоявшейся казни некоего Шлейзингера из Штарнберга близ Мюнхена. Этого Шлейзингера вместе с двадцатью другими молодыми людьми повели к месту казни. Впереди ехала большая телега, нагруженная хлорной известью и карболкой. Они добрались до поляны, с одной стороны граничившей с полотном железной дороги. В каких-нибудь ста метрах толпились любопытные. Обреченных на расстрел арестованных поставили спиной к железнодорожной насыпи. Солдаты выстроились в восьми метрах от них. Один из арестованных в последний момент прорвал цепь солдат и бросился бежать. За ним кидаются солдаты, летят пули. Беглец в смертельном страхе мчится как вихрь по направлению к болоту, опрокидывает пытающегося преградить ему дорогу

человека, скрывается в спасительной заросли высокого камыша. Командующий отрядом офицер, взбешенный этим случаем, решает заставить «зачинщика» Шлейзингера до его собственной казни быть свидетелем казни всех остальных. Так как несчастный пытается отвернуться, ему с обеих сторон к вискам приставляют дула револьверов: он принужден смотреть на то, как его товарищи валятся навзничь, словно мешки. Но в тот момент, когда очередь доходит до него, издали показывается бегущий что есть мочи человек, размахивающий белым листом бумаги, — местный староста. Офицер пробегаёт записку, с разочарованием приказывает отвести Шлейзингера в тюрьму. Шлейзингер за один день поседел и с тех пор нервно болен; но остальные убиты.

Были убиты члены консервативной партии — двадцать один человек. Союз «подмастерьев-католиков» через несколько дней после взятия Мюнхена устроил собрание для обсуждения вопроса о постановке какой-то душевспасительной пьесы. Кто-то — вероятно, просто какой-то шутник — донес, что происходит собрание «большевиков». Поэтому некий капитан фон Альт-Зуттергейм приказал немедленно арестовать всех присутствовавших на собрании. Их отвели на Каролиненплац, красивую площадь, где возвышается памятник-obelisk в честь тридцати двух тысяч баварцев, послуживших той данью, которую Бавария заплатила Наполеону за свое превращение в королевство, и погибших во время его похода в Россию. Пять человек были тут же на площади расстреляны. Остальных загнали в погреб. Там солдаты учинили над ними зверскую расправу. При этом погнулся один из солдатских штыков. У одного из убитых оказался отсеченным весь затылок. У другого нос был втоптан внутрь, все были дочиста ограблены. На трупах своих жертв солдаты проплясали один из входивших тогда в моду негритянских танцев. Затем ими был подан начальству рапорт о произведенном расстреле двадцати одного «большевика». Вот имена убитых: И. Лахенмайер, И. Штадтлер, Ф. Адлер, И. Бахгубер, С. Баллат, А. Бузингер, И. Фишер, М. Фишер, Ф. Грамман, М. Грюнбауэр, И. Гамбергер, И. Крапф, И. Ланг,

Б. Пихлер, П. Прахтль, Л. Рут, К. Зальбергер, Ф. Шенбергер, А. Штадтлер, Ф. Штёгер, К. Виммер. Ввиду того что на этот раз погибшие от «несчастливого случая» принадлежали к правящей католической партии, несколько солдат, явившихся виновниками этого «несчастливого случая», были приговорены к длительному тюремному заключению. Фактически ответственные лица, офицеры гвардейской дивизии, к суду привлечены не были.

В гимне города Мюнхена и после всех этих «несчастливых случаев», как и прежде, поется о том, что пока зеленый Изар течет через город, там не иссякнут веселье и уют.

## 10

### ШАПКА - НЕВИДИМКА

В ответ на просьбу бывшего министра Кленка уделить ему время для беседы г-н фон Рейндль сказал по телефону, что Кленк, вероятно, не сочтет с его стороны невежливым, если он примет его в присутствии массажиста: у него ведь чертовски мало времени. Кленка обозлило нахальство этого человека, но в то же время оно импонировало ему.

— Пожалуйста, не стесняйтесь, соседushка! — ответил он.

На следующий день, проходя пешком короткий путь к дому Рейндля на Каролиненплаце, он хвалил себя за то, что не срезал Рейндля за его нахальство. «Истинным германцам» нужны были деньги. Деньги он из этого наглеца выжмет, а это — самое главное. Все дело в успехе, остальное — не важно. Но все-таки этот Пятый евангелист — отвратительная личность. Все это сверкающее остроумие — блошино-легковесное фатовство мысли. К тому же он сибарит. Чрезвычайно подозрительный субъект, несмотря на нелинюю бело-синюю свою рожу. Но он, Кленк, еще справится с ним!

Да, Кленк сейчас был снова в мире с самим собой. Сомнения, появившиеся во время пребывания в Берлине, испарились. Безудержно, сразу же по возвращении в Мюнхен, пустил он в ход всю свою хитрость, все

свои дипломатические способности на пользу «истинным германцам». Так и следовало, таким путем он мог добиться того, чего хотел.

Пусть официально во главе стоит Руперт Кутцнер. Его изумительные легкие, его неутомимая глотка были лучшим достоянием партии; да и организационные способности у него были, в этом ему нельзя отказать. Генералу Феземану и вождю ландскнехтов Тони Ридлеру Кленк предоставлял ворочать всеми военными делами. Представительством он успел насладиться досыта. Видимостью власти он не дорожил, ему нужна была подлинная власть. Она была в его руках. Он давал директивы, давал основные идеи.

То, что в нем видели настоящего вождя, становилось ясным сразу, когда он в «Мужском клубе» встречался со своими прежними врагами и коллегами. Чудесно было видеть, как все они — Дитрам, Флаухер, Гартль — неуверенно, с трусливой улыбкой извивались вокруг него. Дитрам уже осторожно начинал намекать: теперь, когда здоровье Кленка, слава богу, восстановилось, как же будет, если Мессершмидту задача окажется не по плечу? Нельзя ли тогда будет рассчитывать на сотрудничество уважаемого господина коллеги?

Черта с два! Вспоминая своих коллег по кабинету министров, Кленк улыбался задумчиво и удовлетворенно. Очень хорошо было управлять, скрываясь в тени, оставаясь на заднем плане. Умные головы из числа клерикалов, поступавшие так, знали, что делали. Отто Кленк не дурак: ему тоже плевать на представительство. Ему безразлично, и пусть Рейндль принимает его хоть в клозете. Придет еще случай рассчитаться!

В то время как массажист уминал его, Рейндль принялся разъяснять Кленку — не без благожелательства, впрочем, — что руководство «истинными германцами», принимая во внимание, какие огромные деньги тратит на них крупная промышленность, поставлено недостаточно хорошо. Стоит только поглядеть, что делается в Италии на деньги промышленности, как сразу же значительно падает уважение к Руперту Кутцнеру. «Значительно падает», — повторил он, испуская под сильными руками массажиста блаженный стон.

Дело здесь, заметил Кленк, в следующем: партия пользуется огромной популярностью в народе. Но из лиц влиятельных — хотя многие из них и симпатизируют «истинным германцам» — лишь очень небольшое число находит в себе достаточно мужества, чтобы открыто стать на их сторону. Весьма похвален, например, тот факт, что мюнхенский агент г-на Рейндля, редактор Зоннтаг, с таким шумом выступает в защиту «патриотов». Но не удивительно ли, что северогерманские газеты г-на фон Рейндля при этом держатся ярко выраженной черно-красно-куринопометной ориентации, то есть отнюдь не патриотично? «Черно-красно-куринопометный» был обычный в Баварии термин, которым обозначались цвета общегерманского республиканского черно-красно-золотого флага. Г-н фон Рейндль пожал плечами очень выразительно, так как он лежал при этом на животе.

— Кто умен, — заметил он, — тот ведет себя соответственно климату. Далеко не все произрастающее в Мюнхене способно прививаться в Берлине. Нужно хорошенько прижиться, прежде чем решить, следует ли в данном месте организовать азотный завод или климатический курорт.

Оба собеседника рассмеялись, даже массажист скромно засмеялся им в тон, но в глубине души Кленка возмущала беззастенчивость, с которой Рейндль выкладывал свои принципы. Огромный в своей охотничьей куртке, сидел этот властный человек на изящном плюшевом табурете в ногах кровати. Пустым, сладострастным взором глядела со стены «Леда с лебедем», копия художника Ленбаха с картины итальянского мастера.

— Патриотическому движению, — ответил он, сознательно неправильно толкуя двусмысленное сравнение Пятого евангелиста, — мюнхенский воздух удивительно идет на пользу.

— Да, это весьма удивительно, — заметил Рейндль, в то время как его смазанная жиром спина розовела под опытными руками г-на Цвельфингера, — весьма удивительно, если принять во внимание, насколько

ваш прусский милитаризм противоречит нашему характеру.

Кленку пришлось помириться с тем, что Рейндль выставял себя как образцового баварца.

— Мы, баварцы,— своим могучим басом медленно произнес он,— поддерживаем национализм потому, что это лучшее средство отвести воду от красных. Укрепляя ту часть, которая отходит к патриотам, мы тем самым расщепляем революционные слои.— Массажист Цвельфингер внутренне усмехнулся над той важностью, с какой здесь провозглашалось, что снег — белого цвета. Что «большеголовые» поддерживали «истинных германцев» только из страха перед красными,— знал даже он.

— Правильно,— снисходительно сказал Рейндль, поворачивая голову набок так, что он снизу вверх мог своими выпуклыми глазами глядеть на Кленка.— Правильно,— повторил он с наглой откровенностью.— Для того мы и поддерживаем Кутцнера, чтобы оттягивать людей от социалистов.

Переходя к делу, он заявил, что охотно постарается добыть денег для «истинных германцев». Он надеется, что ему удастся склонить некоторые организации оказать «истинным германцам» финансовую поддержку. Кленк стал настойчив: не пожелает ли он лично...

Нет, Пятый евангелист лично не собирался давать денег г-ну Кленку и его партии. Он приподнялся, массажист испуганно подался назад. Бледный пухлый человек, до блеска смазанный кремом, и огромный красно-бурый глядели друг на друга. В этом ведь и было все дело, это и было важно: не то, чтобы Рейндль дал денег, а то, чтобы он имя свое дал делу, которому служил Кленк.

— Видите ли, Кленк,— произнес Рейндль, и вся его массивная фигура выражала спокойную, добродушную насмешливость,— видите ли, вы как добрый «истинный германец», несомненно, интересовались старинными германскими сагами. И вы, конечно, не раз замечали, что герои этих прекрасных сказок своим успехом обязаны были волшебному аппарату, делающему человека невидимым, а именно — шапке-невидимке. Идеологи

вашей партии называют это, если я не ошибаюсь, северной хитростью. В качестве современного промышленника и делового человека я должен признать, что наши древние писатели установили удивительно разумный принцип, не потерявший значения и по нынешнее время. Гунтер без шапки-невидимки никогда не добыл бы Брунгильды, а я, если осмелюсь сравнить малое с великим, тоже многого не достиг бы без шапки-невидимки. Всегда тихонько, без лишних разговоров, не вылезая вперед,— это прекраснейшее жизненное правило. Вы сами, если я правильно это себе представляю, тоже ведь в последнее время придерживаетесь такой тактики. Почему же вы хотите, чтобы я поступал иначе?

Да, Пятый евангелист был прав. Он, Кленк, оставался в тени. Он выставлял вперед Кутцнера и Феземана, как в новомодной гостинице оставляют висеть в качестве герба старую железную вывеску с белым быком. Даже в члены партии не счел он нужным записаться. Просто с души воротит, как часто этот Рейндль попадает в точку. Приходилось сложить оружие. Добиться ясного и недвусмысленного ответа от этого субъекта было невозможно. Он «симпатизировал», но имени его называть было нельзя.

Этот господин, имени которого нельзя было называть, все еще с явным наслаждением лежал на животе, повернувшись к Кленку спиной, которую добросовестно месил г-н Цвельфингер.

Заставить этого человека показать свое лицо было совершенно безнадежно.

Расставаясь с Пятым евангелистом, Кленк унес с собой обещание, что еще в тот же день какая-то организация с невыразительным и ни к чему не обязывающим названием пришлет ему крупный чек на дело «истинных германцев». Очень ли был раздосадован Кленк тем, что деньги снова получены от анонимной организации, а Рейндль остался в стороне? Разумеется, про себя он ругал Рейндля, спускаясь по широкой лестнице мимо «Умирающего Аретино», огромной картины, изображавшей увенчанного цветами представительного старца, падающего навзничь в кругу пышных гетер, за

богато убранным столом. «Кичливый наглец, надутый!» — думал Кленк. Как он каждый раз сызнова считал нужным подчеркнуть, что считает «истинных германцев» сборищем пустоголовых идиотов! Разумеется, он был прав. Черт знает какая пакость, что именно с такой дурацкой партией ему, Кленку, пришлось работать! Нужно было быть моложе. Тогда можно было бы без лишнего раздумья броситься в грязный поток просто потому, что он могуч. Он подумал о том, что следует сына своего Симона, парнишку, выписать в Мюнхен. Он там в Аллертсгаузене здорово драл глотку, был в восторге от своего папаши и Кутцнера. Он мог это делать, должен был. Он был молод, имел право быть дураком.

Несмотря на все эти размышления, Кленк и не подумал швырнуть Рейндлю под ноги его чек. В глубине души он даже не сердился на него за то, что тот был прав. «У этого человека тебе есть чему поучиться, Отто Кленк, — думал он. — Шапка-невидимка!..» Он становился все веселее. «Наступит однажды день...» — подумал он и услышал где-то внутри тихие удары литавр, звучащие в той увертюре.

## 11

### СЕВЕРНЫЙ ДУХ

Эрих Борнгаак с огромным увлечением работал в секретариате «истинных германцев». Внешнеполитическое положение со дня на день становилось все более напряженным, законные власти — все слабее, «патриоты» — все могущественнее. Раньше, чем покроются цветом деревья, — объявил Кутцнер, — он возьмет в свои руки власть. До этого многое еще нужно было сделать. Ни Кленк, ни Кутцнер не уделяли времени мелочам: все ложилось на плечи Эриха.

В штаб «патриотов» заглядывали самые различные люди. Приходил Рохус Дайзенбергер, представлял счета. Он все еще носил длинную с проседью бороду, расчесанные на пробор длинные волосы, тот же



черный сюртук. С воодушевлением взял он на себя роль апостола в грандиозной игре «истинных германцев». Его работа давала хорошие результаты, особенно в деревнях. Крестьянам жилось хорошо. Обесцененными деньгами они покрывали свои долги, жили роскошнее, чем когда бы то ни было. Худощавый человек с крохотными хитрыми глазками объяснял им, что «истинные германцы» путем устранения еврейского капитала навеки продлят это блаженное состояние. Он проповедовал хитро и патетически. Его выступления производили впечатление: там, где он выступал, росло число записавшихся в партию. Но святой агитатор обходился недешево. В его счетах значились большие расходы по поездкам в деревню. Машины, которые он давал напрокат или продавал партии, обходились дороже, чем автомобили любого другого парка. Эрих Борнгаак довольствовался тем, что просто ради формы время от времени вычеркивал ту или иную статью расхода. Партийная касса была полна до краев. Германская промышленность, да и некоторые круги за границей не скупились. Эрих ничего не имел против того, чтобы хитрый святой жирно пожил.

Приходил и профессор Бальтазар фон Остернахер. Его сердце прельщала внешняя декоративность движения «патриотов»: знамена, военная пышность, экзотическая эмблема плодородия, красивые жесты Кутцнера, звук его голоса. Он работал над портретом вождя, стилизованным в духе ренессанса и долженствовавшим украсить собой зал собраний «Союза Эдды».

Нередко также в секретариате «патриотов» показывался и г-н Пфаундлер. Вначале настроенный недоверчиво, он затем, когда «истинные германцы» стали устраивать торжественные шествия, изменил свое мнение о них. «Нет патриотизма без увеселений, увеселений — без патриотизма», — стало теперь его девизом. Наяву и во сне мерещилось ему грандиозное освящение знамен, при котором он возьмет на себя украшение улиц и организацию процессии.

В этот день по окончании работы в штабе Эрих поехал на частную квартиру Кутцнера. Как только исчезала необходимость вести переговоры с посторонними,

бодрость сходила с него, как плохой грим. Он сидел необычно подавленный. Проклятие! Все касавшееся его друга Дельмайера шло как нельзя хуже. История с отравлением собак вторично как-то запуталась и никак не улаживалась. Проклятый Мессершмидт со своей чугунной честностью! Нужно же было ему именно на это дело уставиться своими бычьими глазами. Он опять упрятал фон Дельмайера в тюрьму и цепко держал его. Если Эрих с такой бешеной энергией отдавался интересам партии, то делал он это прежде всего ради того, чтобы Кутцнер и Феземан извлекли его друга из тюрьмы. Он достиг уже многого; это дело мало-помалу становилось вопросом престижа: на нем «истинные германцы» могли помериться силами со своим последним противником в кабинете министров.

В приемной Кутцнера сидела его новая секретарша — Инсарова. Хрупкая русская танцовщица не последовала совету почтенного доктора Бернайса, не отправилась в английский санаторий, чтобы там с героическим терпением подвергнуться тяжкому лечению. Вместо этого она после одного из кутцнеровских собраний выразила вождю такое безудержное и восторженное обожание, что польщенный Кутцнер, снизойдя к ее просьбам дать какую-нибудь работу в партии, назначил ее своей личной секретаршей. И вот она здесь, похудевшая, болезненная, хрупкая, плетет мелкие интриги, чувствует себя хорошо.

Эрих потребовал, чтобы она устроила ему, и притом немедленно, свидание с Кутцнером, с тем чтобы он мог поговорить с постоянно взволнованным, занятым одновременно десятком разнообразных вещей человеком без помехи, без телефонных звонков и телеграмм. Эрих решил произвести последний решительный натиск в пользу фон Дельмайера. Он должен был добиться от Кутцнера, чтобы тот на ближайшем собрании в понедельник поднял вопрос о деле фон Дельмайера, чтобы он освобождение фон Дельмайера воспринял как собственное дело.

Инсарова плохо поддавалась. Эрих Борнгаак нравился ей, она охотно флиртовала с ним, с удовольствием оказала бы ему любезность. Но вождь был перегружен,

какое-то влиятельное лицо предупредило о своем приходе, с минуты на минуту ожидался какой-то важный телефонный разговор с Берлином. Она придумывала отговорки. Эрих настаивал. Она впустила его к Кутцнеру.

Эрих умел обходиться с этим человеком, умел пощекотать, когда нужно, его самолюбие, обычно шутя справлялся с ним. Ловко внушал ему те или иные идеи, так что вождь начинал считать их своими собственными. Единственной причиной ареста фон Дельмайера было, по словам Эриха, желание правительства лишить патриотическое движение столь важной опоры. Создать видимость преступления, якобы совершенного таким заслуженным человеком, можно было только с помощью этого проклятого формалистского римского права, навязанного германскому народу евреями и духовенством. Каждый непредубежденный человек уже по лицу фон Дельмайера мог судить о его невинности. Единственной виной оставались его патриотические убеждения. Отравлять собак! Такой человек! Это было величайшей наглостью, какую только могло позволить себе клерикальное правительство. Освобождение фон Дельмайера было для партии делом чести. Эрих видел, как вождь проникается убедительностью его доводов. Маскообразное, пустое лицо Кутцнера начало оживляться, словно он уже произносил речь. Уходя, Эрих унес с собой твердое обещание вождя в понедельник говорить о деле фон Дельмайера и уверенность, что Кутцнер из его, Эриха, аргументов создаст чрезвычайно эффектный винегрет.

Разве не хорошо жилось этому молодому человеку, Эриху Борнгааку? В такое время, когда большинство его земляков жили отвратительно, у него были деньги, положение. Женщины бегали за ним. На него приятно было смотреть: теперь он был не таким уж юным и совсем уже не ветреным. Война и немало еще других мерзостей были позади. Он был человеком, выдержавшим житейский искуc. Он спал со смертью, со смертью вставал, изведал всяческую мерзость,— что же еще могло с ним случиться худого? Теперь он, верно, и друга своего Георга вызовет из тюрьмы; это вопрос не-

скольких недель. Уж кто, как не он, черт возьми, имеет все основания чувствовать себя великолепно.

Он не чувствовал себя великолепно. Дни проходили вяло, бесцветно. Оставаясь один, он тосковал по компании; попадая в компанию, он проникался отвращением к ней. Езда верхом не доставляла удовольствия, деньги, дела, забава с боксером Алоисом — не доставляли удовольствия. Доставит ли ему настоящую радость, если удастся вырвать из тюрьмы Георга, — даже и это было сомнительно. Каждое утро он просыпался с таким ощущением, как после ночи, проведенной в тяжелом хмелю и с нестоящими женщинами. Что толку в том, что он мог из Кутцнера веревки вить? Что толку в том, что Инсарова с ним заигрывает? Наплевать ему было на то, что думают о нем глупые ребята в партии, что думают о нем бабы.

Бессмыслица — поддаваться таким настроениям. Он ломается, словно кинозвезда какая-нибудь.

Началось все со смеха этой подлой девки Иоганны Крайн. Нет, неверно. Началось тогда, когда он прочел о том, что застрелился сын профессора Егера от стыда за своего беззастенчиво националистического папашу.

Отцовство, кровная связь. Чего же наука добилась в области этой самой кровной связи? Ничего. Не было даже установлено, передаются ли по наследству приобретенные свойства. Вся эта наука о крови находилась еще в зачаточном состоянии. Установлено было, что в Европе высок процент относящихся к группе А, в Азии — высок процент относящихся к группе ♂. Больше ничего не было известно об отношении между кровью и расой. Ничего не было известно о распределении остальных двух групп, ничего — о влиянии обстановки, ничего — о процессах отбора, ведущих к образованию определенного состава крови под определенным небом. Эрих Борнгаак не переставал думать о ценности этого разделения на определенные группы крови для определения расовых особенностей. Изучал труды Дунгерна, Вальтера Шейдта, Гиршфельда, вгрызался в толщу обширной литературы по этому вопросу. Результат: существование четырех групп крови. И все.

«Патриоты» над этими вещами долго не раздумывали. Если в науке оказывалась брешь, они заполняли ее потоком чувств. Французы и англосаксы создали учение, согласно которому человек северной, германской расы почитался прирожденным господином вселенной. Швырялись такими понятиями, как высшая культура, раса господ, южная, восточная раса. Всюду оценка, основанная на чувстве. Туманная мифология, построенная так, как дети на берегу моря строят замки из песка. Полное отсутствие твердой научной основы. Стоило ближе присмотреться ко всей этой схеме — и в итоге получался блеф. Не существовало научного критерия, дававшего возможность произвести разделение людей на расы, основываясь на составе их крови, строения их мозга, характере их способностей.

И все же: были евреи, умиравшие оттого, что они не арийцы, а студент Егер застрелился потому, что был сыном ярого националиста.

У него, Эриха, волосы были более белокурыми, глаза — более голубыми, чем у большинства «истинных германцев». Среди «истинных германцев» было много таких, которые в американской валюте заплатили бы за то, чтобы иметь такие белокурые волосы, такие голубые глаза. Если дело было только во внешних признаках, то у него их было вдвое больше, чем требовалось, чтобы считаться «северным человеком». Какая чепуха, будто эти внешние признаки — обязательная предпосылка определенных творческих способностей. Вполне понятно, что именно те, кому нечего было предъявить, кроме этих внешних признаков, и были создателями этой умной теории. Творческие способности, героическая ненависть и героическая любовь — все то, что принято было считать особыми признаками северного духа, — да разве не было этого всего и у темнокожих и желтых, разве не произрастало это на берегах Тихого и Индийского океанов так же, как на берегах Атлантического?

Проклятие! Именно то, что теория эта, отказываясь от логики, требовала веры, — это-то и привлекало его. Заманчиво было услаждать сердце идеей «северного духа», верой в героизм. Всю мистику, таившуюся в душе, можно было бросить в этот поток. Все разреша-

лось так просто, если можно было делить людей на героев, на расу господ, самой природой предназначенную для того, чтобы эксплуатировать и властвовать, — и на трусов, рабов, предназначенных быть эксплуатируемыми.

Он был красив, дерзок — улада для глаз мужчин и женщин. Несомненно, он принадлежал к народу-властелину, создавшему мировую культуру. И речи не могло быть о том, что его отец — истерический, вечно дергающийся доктор Гейер. Всей душой он презирал старика, которого мать сумела провести с доброй, истинно северной хитростью.

Все же было бы желательно добиться полной ясности. Иногда он ловил себя на каком-нибудь жесте, на еле уловимом движении, которое он видел у старика. Возможно, что это просто привычка, подражание. Следовало бы хорошенько проанализировать его взаимоотношения со стариком. Профессор Цангемейстер в Кенигсберге сконструировал фотометр со шкалой, при помощи которого можно было уловить тончайшие реакции крови. При смешении сыворотки крови двух разных людей получается помутнение или прояснение. Прибор позволяет точно определить степень помутнения, получить кривую помутнения или прояснения. За единицу времени в смеси сыворотки от двух кровно близких людей прозрачность постепенно убывает, при смешении сыворотки людей чужих — происходит обратное. Этим способом можно многое доказать. Но только вот в чем дело: как добиться от старика, чтобы он подвергся кенигсбергскому исследованию крови?

Бабы вроде Инсаровой льнут к нему, а вот эта, Иоганна Крайн, смеялась. Было бы ужасно оказаться сыном этого отвратительного доктора Гейера. Иоганна Крайн была женщиной типично баварского склада. Ортодоксы в учении о расах считают баварцев неполноценными. Баварцы, говорят они, круглоголовые, *homines alpin*<sup>1</sup>. Они в значительной степени принадлежат к динарской расе, и кровь их испорчена примесью нечистой римской и вендской крови.

---

<sup>1</sup> Альпийские люди (лат.).

Студент Егер застрелился потому, что был сыном своего отца.

Ему лично, когда он в партии говорит о том, что ходят слухи, будто доктор Гейер его отец, — хохочут в лицо. Никто, при взгляде на подтянутого по-военному юношу, не верит в это отцовство. Его грубовато-добродушно высмеивают.

Как-то на днях у себя дома, в комнате, увешанной собачьими масками, в то время как компания ела, пила и веселилась, Эрих Борнгаак ради забавы поставил в граммофоне пластинки с песенками на еврейском языке. Гости хохотали до упаду; но вскоре всем стало скучно. Эрих один продолжал слушать, остальные давно уже были увлечены другим. Это были песенки, полные бурного чувства и экстаза. Они тосковали по материнской ласке, восторженно радовались маленьким радостям жизни, плакали об убитых во время погромов.

Очень поздно — это было большой честью — явился Кленк. Узнав, что Эрих устроил еврейский концерт, он оглушительно расхохотался, попросил еще раз для него, Кленка, поставить эти пластинки. Эрих отнекивался и наконец, когда Кленк начал настаивать, решительно отказался.

В следующий за этим понедельник Руперт Кутцнер на своих собраниях выступил с речами о деле фон Дельмайера. Он был в ударе. В ярких красках расписывал он, какими гнусными способами враги пытаются отнять у движения «истинных германцев» его лучших людей. Много невинных томилось в германских тюрьмах, Мартин Крюгер был далеко не единственным. Ежедневно газеты сообщали о неправильных судебных приговорах, возмущавших большинство населения. Но пока оратор изливал свой пылающий гнев по поводу вопиющей, подлой несправедливости, ни один из слушателей Кутцнера не думал об осужденных, упоминавшихся в газетных отчетах.

Не думал, — пока грохотал поток кутцнеровского священного возмущения подлым угнетением невинности, — и антиквар Лехнер о Мартине Крюгере, в виновности которого он тогда, в комнате присяжных, отнюдь

не был убежден. Для всех них, слушателей Кутцнера, угнетенная невинность олицетворялась в «патриоте» Георге фон Дельмайере. Весь огромный зал поднялся, захваченный словами вождя, в бурном негодовании разразился криками возмущения и угрозами по адресу министра Мессершмидта. Когда же была показана на экране фотография страхового агента фон Дельмайера и Руперт Кутцнер с выразительным жестом воскликнул: «Неужели так выглядит человек, способный отравлять собак?» — люди повскакали со своих мест, громко застучали серыми пивными кружками по деревянным столам, закричали тысячью голосов: «Нет!» — и знамена со свастикой склонились перед фотографией фон Дельмайера. Так двадцать пять лет назад придворный артист Конрад Штольцинг в роли Марка Антония, героя английского драматурга Шекспира, показал римлянам труп Гая Юлия Цезаря.

Еще на трех собраниях в этот же вечер Руперт Кутцнер в своих выступлениях говорил о Дельмайере. Он говорил о германской верности, о германском праве, о германском чувстве товарищества, меткими словами бичевал дерзость врагов, пытавшихся погубить человека чистейшей германской крови, обвиняя его в том, что он способен отравить такое верное животное, как собаку. Трижды еще вскипала волна возмущения, трижды еще склонялись знамена с экзотической эмблемой плодородия перед фотографией фон Дельмайера.

Эрих присутствовал на всех собраниях, сердце его трепетало. Он готов был полюбить Кутцнера.

## 12

### У МЕН ИЛЬ ГЛУП,— ОН ГОРОД МОЙ РОДНОЙ

Впечатлительный г-н Гессрейтер, увлеченный оживлением и многообразием большого города, долго пробыл в Берлине. Но постепенно этот напряженный, быстрый темп жизни стал действовать ему на нервы. По целым дням вести переговоры с людьми, лишенными



фантазии, рассчитывать, постоянно быть начеку — все это было не дело для человека утонченной культуры, имевшего собственную виллу у самого Английского сада. Все острее испытывал он тоску по своему Мюнхену, по Людвигштрассе, по «Тирольскому погребку», по своему дому в Швабинге, по Изару, по горам, по «Мужскому клубу». Если вначале, проходя по кишачным людьми улицам, он находил своих земляков чересчур флегматичными, то теперь он находил их философски спокойными. Их грубость представлялась ему безыскусственностью, их неспособность к рассуждению — романтикой, поэзией.

У него завелась интрижка с какой-то мелкой берлинской актрисой. Но и она была заражена бешеным темпом города, ее дни были заполнены погоней за деньгами, связями, карьерой, ролями, большой ролью. У нее было мало времени для него, он не встречал в ней сочувствия и любовного внимания к мелочам его жизни.

Однажды вечером, когда она снова из-за каких-то профессиональных своих пустяков отложила свидание с ним, на него напало сознание всей бессодержательности и пустоты его жизни в Берлине. Желая хотя бы послушать мюнхенскую речь, он отправился на Ангальтский вокзал к отходу мюнхенского поезда. Там, в тот момент, когда поезд выходил из-под сводов вокзала, он внезапно понял, что являлось его ближайшей, самой неотложной задачей. Спокойный, крупный, все более притягательный, встал перед ним образ г-жи фон Радольной.

Странно, что только теперь он додумался до этого: именно от него зависело уладить недоразумение между городом Мюнхеном и этой коренной мюнхенской женщиной, прекратить этот дурацкий бойкот. Бегом пустился он в контору по продаже билетов, заказал спальное место на следующий вечер. Он все уладит, как подобает мужчине, оградит Катарину от нападков глупого города.

Со времени своего возвращения в Германию он не показывался Катарине. Он и сейчас ничего не сообщит ей, сделает ей сюрприз. Он провел рукой по коротким

бачкам, которые вот уже недели две как вновь начал отпускать. Все свои силы он бросит на борьбу за Катари́ну. Купе спального вагона, в которое он на следующий вечер вошел, не вмещало его огромной жажды действия. «Когда смелость в груди нарастает волной...» — думал он под ритмический стук колес. Чтобы уснуть, ему пришлось принять снотворное.

На следующий вечер он отправился в пфаундлеровский театр посмотреть обозрение «Выше некуда!». После слышанных им отрицательных отзывов об этом спектакле то, что он увидел, показалось ему удивительно удачным. Он от души хохотал над имитатором музыкальных инструментов Бобом Ричардсом, над шумовыми инструментами изобретателя Друкзейса. Своей тростью с набалдашником из слоновой кости, которую он после пребывания во Франции стал брать с собой в театр, он как одержимый стучал о пол. «Бой быков» заставил его разразиться бурным восторгом. А картина «Голая правда» как-то изнутри согрела его душу. По-юношески взволнованный, наслаждался он привлекательной плотской красотой своей подруги Катарини, вспоминая при этом о некоторых картинах фламандского мастера П. Рубенса.

В антракте он зашел к г-же фон Радольной в ее уборную. Он застал ее в костюме тибетской богини, со здоровым аппетитом уплетающую ливерные сосиски. Он готовился к картинной встрече, которая, таким образом, не удалась, но и так было хорошо. С удовольствием ощущал он теплоту дыхания этой пышной, розовой, приятной женщины. Катарина была умна, скрыла свое радостное удивление, поздоровалась с ним без упреков и без шумного восторга, словно они только вчера расстались в самых лучших отношениях. Его охватило чувство тихой радости и уюта. Он не мог понять теперь, почему избрал такой далекий, обходный путь через Берлин. Забыты были Иоганна, ресторан Орвилье в Париже, керамические фабрики в Южной Франции, мадам Митсу, деловые переговоры в берлинских конторах, шумное движение на Курфюрстендамме. Все исчезло от дыхания этой женщины, которая, не

переставая уничтожать ливерные сосиски, как всегда спокойно, дружески беседовала с ним.

Господин Пфаундлер узнал о возвращении Гессрейтера. После спектакля они поужинали вдвоем. Вечер прошел очень приятно. Г-н Гессрейтер сравнивал отделанный с таким вкусом ресторан г-на Пфаундлера с большими берлинскими ресторанами, в которых люди в лучшем случае целесообразно, но без всякого наслаждения насыщались приготовленными без любви и внимания кушаньями. Мужчины принялись бранить Берлин. Катарина время от времени спокойно поддакивала им. В легко поддающейся новым впечатлениям массивной голове верхнебаварца уже побледнел романтический образ большого города, так сильно поразившего его миллионами своих проводов, шахт и труб — под землей, своими бесчисленными кишачими людьми домами — на земле, своими антеннами, огнями, аэропланами — в воздухе. Сейчас он брюзжал на этих северных людей, на их холодность, обособленность, сухой, трезвый и быстрый темп их жизни, их пейзаж — песок, сосны, несчастные, жалкие грязные лужи, гордо называемые «озерами». Пфаундлер горячо поддерживал его. Как прекрасны, по сравнению со всем этим, окрестности Мюнхена, с настоящими горами, настоящими озерами! И г-н Пфаундлер умело перевел речь на поместье Луитпольдсбрунн. Но когда он попытался осторожно намекнуть на высказанное когда-то Катариной намерение продать Луитпольдсбрунн и заговорил о своем плане взять это поместье в аренду, он натолкнулся на ледяное непонимание, на провал в памяти г-жи фон Радольной. Как? Неужели она когда-либо высказывала подобное намерение? Она никак не могла этого припомнить. Г-н Гессрейтер тоже только головой покачивал по поводу такого странного предположения, и Пфаундлер поспешил вернуться к обозрению и рассыпался в похвалах сценическим качествам г-жи фон Радольной. Реабилитированная покаянным и безоговорочным возвращением к ней коммерции советника Гессрейтера, Катарина осторожно завоевывала свое прежнее положение.

После ужина г-н Гессрейтер с Катариной поехали в его виллу на Зеештрассе. Там, без единого упоминания о прошлом, произошло примирение. Теперь только Гессрейтер по-настоящему почувствовал себя вернувшимся. Только теперь, когда он делил уют своего прекрасного дома с чуткой, все понимающей подругой, он наслаждался всем этим сполна. Модели кораблей, марионетки, череп крокодила, орудия пыток и всюду расставленные бесконечные мелочи — в эту сладостную ночь примирения стали интимнее, ближе. Как по-иному звенели даже звуки эоловой арфы теперь, когда они касались слуха дорогой подруги!

Без раскаяния вспоминал г-н Гессрейтер об Иоганне. Париж, Иоганна — это были прекрасные дни, но это было лишь эпизодом, интермеццо. Его связь с Катариной куда более тесная, более кровная. Здесь нет места неожиданным пустотам, которые создавались в его отношениях с Иоганной. Но г-н Гессрейтер, человек корректный, знает, что такое рыцарское благородство: разумеется, он и впредь будет действовать в пользу Мартина Крюгера. Он не такой человек, чтобы отступать от дела, к которому однажды высказал свое положительное отношение.

В широкой, удобной, украшенной экзотическими фигурами кровати черного дерева, лежа рядом со спящей Катариной, он еще раз с удовлетворением все обдумал. Он ясно понял: его удел — быть одновременно мюнхенцем и гражданином мира. Он разовьет «Южно-германскую керамику», сделает из нее предприятие с мировым именем. Он уже все приготовил и сейчас выжидает только благоприятного момента. Он перекинется за океан. Возможно даже, что начнет вырабатывать керамиковую хозяйственную утварь для России. Почему бы и России не оценить прелести узора, сплетенного из горчанки и эдельвейса? Но главным в его жизни остается город Мюнхен. Это был его дорогой, родной город, во многих отношениях до чертиков глупый, но в конце концов все же всегда находивший верный путь. Жить стоило во всяком случае только в Мюнхене. Г-н Гессрейтер потянулся, весело фыркнул. «Уменьшь глуп, — он город мой родной», вспомнилось ему.

На следующий день он прошелся по улицам, наслаждаясь ими, сызнавая их изучая. Он нашел, что город еще красивее, чем он запечатлелся в его памяти: сверкающий, чистый, весь словно только что вымытый. Однако, будучи человеком, выдавшим свет, он не мог не заметить и пятен. Остановившись у Галереи полководцев, он глядел на полководцев Тилли и Вреде, на обоих торжественно выступающих львов, на огромную скульптурную группу обнаженных тел, на гигантскую надпись: «Господь, освободи нас!», на венки и жестяные щиты с названиями областей, утраченных в результате войны. Неуклюжий, мешавший уличному движению «Памятный камень» был теперь уже открыт. Г-н Гессрейтер обошел его кругом, размышляя, как бы удачнее охарактеризовать скандальную глупость своих земляков. «Они прекрасное строение превращают в универсальный магазин воинственных мечтаний», — придумал он наконец, и сердце его от этих слов преисполнилось сладостным гневом.

Вскоре он понял: город остался все тем же. С горечью увидел он, как трудно восстановить прежнее положение его подруги Катарины. «Теперь, — именно теперь», — подумал он, взвешивая даже мысль, не обвечпаться ли ему с ней. Она была умна, ничего не предпринимала, не старалась влиять на его решение, ждала.

К сожалению, не оказались преходящими, а, наоборот, еще углубились и нелепые шовинистические и милитаристические настроения его сограждан. На улицах, в «Мужском клубе», где бы он ни бывал, всюду пышным цветом цвело это идиотское увлечение. «Раньше, чем покроются цветом деревья», — таинственно передавали из уст в уста. Тонем заговорщиков сообщали из «Союза Эдды» сведения о том, как успешно подвигается вооружение. Либеральный патриций Гессрейтер, мало связанный с окружающей его крестьянской страной, никак не мог понять, почему его земляки, обуреваемые неожиданной воинственностью, так помешались на свастике.

Его план сделать мюнхенцев одновременно мюнхенцами и гражданами мира в данный момент, по-види-

мому, натыкался на некоторые препятствия. Но отказываться от него он все же не собирался. Однако у него был уже опыт, и он был не так глуп, чтобы снова по неосторожности обжечься. Он не станет раньше времени растрачивать свои силы, прошибать стену лбом. Все дело было в том, чтобы уловить подходящий момент. Так же как он выжидает соответствующего момента, чтобы начать расширение «Южногерманской керамики», так же сумеет он вовремя оказаться на месте, когда дело дойдет до того, чтобы решительным пинком в зад покончить с этим идиотским поклонением кресту с загнутыми концами. До того, как покроются цветом деревья, времени еще достаточно. Он выступит открыто, но лишь тогда, когда придет подходящий момент.

Пока что он наслаждался прелестями родного города. «Умен иль глуп,— он город мой родной».

### 13

#### ПЕРЧАТКА

Господин Гессрейтер был не единственным человеком, не разделявшим увлечения Рупертом Кутцнером.

«Истинные германцы» наталкивались на упорное сопротивление социал-демократов. С подлинно баварским упрямством, с «бело-синей» настойчивостью восставали социал-демократы против все усиливавшегося нажима. Осторожные Амброс Грунер и Иозеф Винингер становились жестче, решительнее. Писали и помещали в своих газетах смелые, недвусмысленные статьи, называли вещи своими именами, выявляли, опираясь на документы, все возраставшее беззаконие, выступали в ландтаге против издевательского безразличия правительства, вступали в уличные драки с «патриотами». Для этого требовалась смелость. Ибо власти беззастенчиво проявляли слепоту, когда нападали «патриоты», открыто становились на их сторону. Во время одной из социал-демократических демонстраций полицейские в зеленых мундирах вырвали знамена с цветами республи-

лики из рук знаменосцев, изломали древки, в клочья изодрали полотнища. В районе Главного вокзала, перед Галереей полководцев, отряды «истинных германцев» устроили охоту на всех, кто имел «недостаточно патриотический» вид. Больницы наполнились ранеными. Социал-демократы выступали снова и снова. Это была неравная борьба. У социал-демократов полиция отбирала оружие, «патриотам» оставляла палки, резиновые дубинки и револьверы, эти «всестирающие резинки и зажигалки».

Старому хитрому Грюберу, положившему целую жизнь, полную баварского упорства, на то, чтобы родной Мюнхен «подключить к току общего развития», невтерпеж было видеть, как город гибнет. Слепому доктору Бихлеру, вернувшемуся ни с чем из Парижа, вся эта возня «патриотов» представлялась дурацкой прусской выдумкой и внушала глубокое отвращение. Он серьезно обдумывал вопрос, не войти ли ему самому в кабинет, чтобы положить конец этой комедии. Писателя Маттеи тоже мучило сознание, что его земляки оказались такими идиотами. А тут еще эта русская танцовщица, продажная баба, перебежала к этим дуракам. Он печатал в своем журнале полные горечи стихи.

Художник Грейдерер, написавший «Распятие», при каждом удобном случае выступал против Кутцнера. Грейдерер все больше и больше опускался. Подбирал себе «зайчат» все более дешевого сорта. Мать его давно уже вернулась в деревню. У него самого зачастую мелькала мысль опять поселиться среди крестьян. Но он оставался в городе. Единственным, что сохранилось у него от прежнего блеска, был его темно-зеленый автомобиль. Он превратился теперь в заплятанную колымагу, потертую, с поцарапанной лакировкой, забрызганную грязью. Художник Грейдерер, когда его друг Остернахер выражал желание побыть в его обществе, заставлял профессора показываться вместе с ним на улицах в этом смешном экипаже. Он необычайно шел в гору, профессор Остернахер, с момента появления его картины «Деревенский апостол Петр». Он, несомненно, переживал прилив новых твор-

ческих сил, и этому видному человеку, разумеется, было крайне неприятно разъезжать по городу в помятой «консервной банке» Грейдерера. Он хотел ссудить Грейдерера деньгами на лакировку автомобиля, но не тут-то было. Грейдерер злобно следил за тем, как создавался «Деревенский апостол Петр», эскизы к которому он сам когда-то из лени забросил. Его юмор был ядовитым, куда ядовитее, чем зеленый цвет его автомобиля. Ни разу не обронил он ясного слова по поводу этой картины; он ограничивался язвительными намеками, преподносимыми под видом шуток над «патриотическими увлечениями» Остернахера. Открытые грубости были бы профессору куда приятнее; пропускать мимо ушей еле уловимые, хитроумные и злые намеки было много труднее. Но Остернахер не мог оторваться от Грейдерера. Гораздо болезненнее, чем намски, задевали его разговоры Грейдерера о какой-то таинственной его работе, которой он якобы был занят. Он и в самом деле теперь не бездельничал, что сразу было заметно. Остернахеру мучительно хотелось знать, что это за большая работа, которую все вновь и вновь начинал Грейдерер. Но тот стал очень скрытен. Отказывался показать начатое, как-то многозначительно поглядывал иногда на Остернахера сбоку, спереди, сзади; смеялся со злобным удовлетворением.

Яснее, энергичнее всех проявлял свое отрицательное отношение к «патриотам» Антон фон Мессершмидт, новый министр юстиции. В публичном выступлении он с досадой заявил, что за последнее время в стране ни один порядочный человек не находится в безопасности. Старый, демократический Мюнхен все свои надежды возлагал на этого простого, честного человека, умевшего взвешивать свои слова. Если не ему, то кому же удастся рассеять это нелепое наваждение? Многие незнакомые при встрече низко кланялись ему, снимая шляпу. Не так, как кутцнеровские приверженцы, при виде серого автомобиля вождя кричавшие: «Хайль!» Нет, они оборачивались и долго с волнением в душе глядели ему вслед. Потому что немало было людей, с болью наблюдавших за тем, как город дичал и опустася. Еще жили в нем исстари спокойные человек-



ные люди, рисовали, писали, собирали коллекции, любовались природой, зданиями, государственными музеями. Они переживали упадок города как гибель живого существа.

Комик Гирль решил, что настал час, когда пора прозвучать голосу народа, его голосу. То, что говорил этот голос, было не вполне удобопонятно. Но впечатление получалось сильное и уж во всяком случае не в пользу Кутцнера. Возможно, что до репетиций обзора «Выше некуда!» Гирль оказался бы на стороне Кутцнера. Он не переменялся, но пропитался идеями Тьюверлена. Он был все тем же, и все же иным: резче, утонченнее. Он играл не только самого себя, но вместе с собою и весь город и все хорошее, что в нем было скрыто.

Итак, Бальтазар Гирль вместе со своей партнершей разыгрывал сцену «Перчатка (Не по Шиллеру)». Он изображал, как является к своей подруге Рези, веселый, смеющийся. Штука в том, что он добыл и принес ей нечто чрезвычайно драгоценное: два билета на вечер «Союза Эдды». Каждый из сидевших в зале знал, что это означает. «Союз Эдды» был аристократическим клубом, членами которого являлись сливки «истинных германцев». В этом клубе Руперт Кутцнер произносил свои лучшие речи. Там открыто сообщались подробности предполагавшегося похода на Берлин. Слушатели заранее наслаждались яркими картинами того, что должно произойти «раньше, чем покроются цветом деревьев». Вокруг собраний «Союза Эдды», несмотря на их широкую известность, создавали атмосферу важности и таинственной торжественности. Многие горели желанием участвовать в собраниях «Союза Эдды», но это было обставлено большими трудностями. Итак, комик Бальтазар Гирль разыгрывал «тричетвертилитрового рантье», который нашел на улице два входных билета на собрание «Союза Эдды» и намеревается отправиться туда со своей подругой Рези. Вождь Руперт Кутцнер будет говорить там в кругу своих друзей. Дело это нешуточное. Бальтазар Гирль и его подруга Рези, серьезно готовясь к посещению вечера, рисуют себе предстоящие наслаждения. Комик Гирль всего только

третьего дня видел Кутцнера в его сером автомобиле. На нем был круглый кастановый котелок. Коричневые перчатки он, как и подобает аристократу, держал в руке. Рези, размечтавшись, высказывает предположение, что сегодня вечером, ввиду избранного состава собрания, г-н Кутцнер, вероятно, будет выступать в перчатках. Комик Гирль не разделяет этого мнения: удобнее говорить без перчаток. Рези настаивает на своем, Гирль — на своем. Начинается горячий спор, быстро переходящий в область философии. Они говорят о «высшей культуре», о «духе северной расы», об Иуде и Риме. Бальтазар Гирль с глубокомысленным видом разбирается в вопросе, можно ли считать человека анти-семитом за то, что ему такая хорошенькая христианская девушка, как Рези, милее старого галицийского еврея. Смягченная таким комплиментом, Рези перестает говорить о коричневых перчатках вождя и принимается за свой туалет. Но очень скоро, как только встает вопрос о том, что ей надеть на сегодняшний вечер, дело снова упирается в перчатки. Опять загорается спор: в перчатках ли, и если да, то в каких именно будет выступать вождь. Время идет, собрание «Союза Эдды» началось уже с полчаса назад. Но комик Гирль и полудетая Рези все еще поглощены спором. Давно уже, — нисколько от этого не приблизившись к решению дебатированного вопроса, — они успели обменяться комплиментами по поводу недостатков их характеров и темных пятен в их личной жизни. Опечаленный таким непреодолимым упорством Рези, Гирль принимается ее колотить. Она рвет ему сюртук и галстук. Ее кофточка разодрана в клочья. Всклипывая, она ее зашивает. Уже довольно поздно. Чтобы поспеть до того, как «покроются цветом деревья», нужно торопиться. Во всяком случае, нужно нанять такси. В автомобиле спор снова разгорается. Шофер, отвлекаемый криком своих пассажиров, налетает на какое-то препятствие. Рези ранена осколками стекла. В конце концов, покрытые кровью и грязью, добираются они туда, где заседают члены «Союза Эдды». Но собрание только что кончилось. Комик Гирль и Рези как раз только успевают смешаться с толпой, криками «хайль!» провожающей

серый автомобиль вождя. Они расспрашивают участников собрания о том, был ли Кутцнер во время своего выступления в коричневых перчатках. Спрошенные задумываются. Один говорит — да, другой — нет. Каждый остается при своем мнении. Третий, четвертый, десятый вмешиваются в спор. Происходит всеобщая потасовка. Она кончается только тогда, когда мимо случайно проходит еврей и все участники драки сходятся на том, что его, как виновника столкновения, следует избить.

Зрители шумно ликовали. У большинства из них были тяжкие заботы. Они могли позволить себе пить пиво только маленькими глотками, да и то лишь отказываясь ради этого от хлеба и колбасы, и глотки эти изо дня в день приходилось все уменьшать. Но человек на эстраде был плотью от их плоти, чувствовал их чувствами, говорил их языком. Как и он, они медленно составляли себе определенное мнение, и им было не важно — какое именно. Но, раз усвоив определенный взгляд, они упорно придерживались его, и сбить их с этой позиции было немыслимо. Сердце их ширилось при виде этого худого человека с грушеобразным черепом, со спокойными, медлительными движениями и печальными глазами. «А мне все-таки кажется, что он был в перчатках», — твердил человек на эстраде, и так именно говорили они все.

Среди зрителей находился также изобретатель Друкзейс, хитроумный фабрикант шумовых инструментов. Он переживал сейчас тяжелые времена. Правда, он имел большой успех в пфаундлеровском обозрении. Движение «патриотов» также нуждалось в его шумовых инструментах, чтобы на собраниях и во время демонстраций добиваться максимальных эффектов. И все же он не был на стороне «истинных германцев». Он боялся, что они будут саботировать карнавал — лучший повод для популяризации предметов его производства. Он не раздумывал долго, была ли «Перчатка» за «патриотов» или против них. Легко и быстро, как и все окружающие, подчиняясь примитивным впечатлениям, он безудержно отдался восторгу, вызываемому игрой комика Гирля.

Тряслись от хохота тысячи мелких буржуа, ремесленников, художников, студентов. Среди них был и старый тайный советник, Каленеггер. Он был горячим противником «патриотов». Как-то при случае он обмолвился, что восхвалявшийся римлянами, хоть и внушавший им страх «*furor teutonicus*»<sup>1</sup>, строго говоря, означает не воинствующий дух германцев, а — поскольку тевтоны были предками французов — французскую удадь. С тех пор «истинные германцы» подвергали его жесточайшим нападкам, даже объединились с теми, кто осмеливался преуменьшать значение его книг о слонах. «*Propter invidiam*»<sup>2</sup>, — в гнев цитировал старик, — из зависти, из той самой зависти, которую уже Тацит отмечал у германцев. Всей душой с тех пор ненавидел Каленеггер «патриотов». Из глубины гортани извлекал он заплесневелый смех над шутками Гирля.

Присутствовали среди зрителей и некоторые убийцы из числа «патриотов», — все, разумеется, члены «Союза Эдды», — Эрих Борнгаак, а также убийца первого баварского революционного премьер-министра. Так как Эрих Борнгаак с мальчишеским увлечением аплодировал комику Гирлю, то и остальные приверженцы Кутцнера, дав волю своему восторгу, наслаждались вместе со всеми посетителями.

Господин Гессрейтер был в восторге от «Перчатки». Здесь все было по-мюнхенски в лучшем смысле слова. Не какие-нибудь истерические выкрики, а спокойно высказанное мнение, спокойное неприятие. Это было нечто специфически мюнхенское, нечто положительное, чему не мог не сочувствовать весь свет. Он рассказывал г-же фон Радольной, которая из-за участия в обозрении сама не могла присутствовать на спектакле, о гениальном выступлении Гирля, пытался изобразить перед ней виденное. Она вспомнила репетиции «Касперля в классовой борьбе» и подумала, что «специфически мюнхенское» выросло, собственно говоря, на западношвейцарской тюверленовской почве. Но она была умна. Она сейчас не станет отравлять Гессрейтеру удо-

---

<sup>1</sup> Тевтонский пыл (лат.).

<sup>2</sup> Из зависти (лат.).

вольствие. Осторожно посоветовала она ему не проявлять чересчур демонстративно своего отрицательного отношения к «патриотам». Если он послушается ее советов,— хорошо. Если нет, если он пострадает от чрезмерной принципиальности,— что ж, и это, может быть, неплохо. Разбитый Гессрейтер будет воском в ее руках.

Весь Мюнхен ходил смотреть «Перчатку». Угасающему Пфистереру доктор Маттеи рассказал о новой постановке комика Гирля. Маттеи теперь ежедневно приходил к Пфистереру. Его просила об этом кроткая жена последнего. Ругань с Маттеи была единственным, что еще способно было оживить больного. Видя, какой огромный интерес его друг и враг проявляет к игре Гирля, Маттеи с большим трудом уговорил комика приехать на квартиру к Пфистереру и там, в комнате больного, разыграть свой скетч. Присутствовали при этом только трое: умирающий Пфистерер, его жена и мопсообразный Маттеи. Перед ними комик Гирль и его партнерша сыграли сценку «Перчатка (Не по Шиллеру)». И комик Гирль, обычно скверно чувствовавший себя вне привычной обстановки, играл здесь лучше, чем во время вечернего представления.

Пфистерер сиял. Комик Гирль был для него олицетворением города Мюнхена, и он увидел, что этот город, оказывается, вовсе не так глуп, чтобы поддаваться обману всякого идиота. Двигаться Пфистереру было трудно, говорить ему было трудно, сосредоточиться ему было трудно. И все же было видно, с какой глубокой радостью этот полупарализованный человек ловит каждый мельчайший оттенок голоса, каждый едва заметный жест актера. После ухода Гирля он яростно заспорил с Маттеи.

На следующее утро он два часа диктовал новые страницы своей книги «Солнечный жизненный путь». Затем последнее кровоизлияние в мозг положило предел его жизни. Все знали, что причиной смерти Пфистерера был упадок его родной Баварии под влиянием «истинных германцев». Руперт Кутцнер в день похорон Пфистерера возвестил: писатель умер оттого, что не мог вынести осквернения его родины евреями.

## ПОЛИТИКА УВЕЛИЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Иоганна любила Тюверлена. Она обрела его поздно. Никто, никогда не дарил ей столько радости. Она работала с Тюверленом, и эта работа спорилась. Между ними установилась спокойная, счастливая близость.

В эту радость черной тенью врезалось воспоминание об Одельсберге. Тюверлен изредка говорил о Мартине Крюгере. Спокойно — включая судьбу этого человека в общую цепь событий. Ее задевало то, что он на Крюгера глядит издалека, с птичьего полета. Так же как и отвечать она привыкла после длительной паузы, так и муки Мартина лишь спустя много времени после посещения тюрьмы с полной отчетливостью врезались ей в сознание. Все острее переживала она те последние двадцать минут в тюрьме, видела затравленное, тупое выражение глаз Мартина, его порывистые, напряженные попытки сказать больше, чем он имел право сказать, беспомощность этих попыток. Ей слышались его слова: «Вот говорят, что страдания делают человека лучше. Возможно, что это и так, — на воле». Она ясно слышала, как он произносил это «на воле», улавливала таившуюся в этих словах безнадежность. Так слепой говорит о солнечном свете, который сохранился в его памяти, но никогда уже не станет для него действительностью. Она заставляла себя вспомнить все его слова, старалась уловить их настоящий смысл. Чувствовала, что он долго, наверно, шлифовал эти слова, чтобы сделать их понятными ей. Поняла, как опустошающе должно было подействовать на него открытие, что она так отупела. Она спорила сама с собой, стыдилась того, что счастлива, раскаивалась. Ерунда! Она не стыдилась нисколько, ни в чем не раскаивалась. Она честно делала все, что только может сделать для другого человек. Неужели ей заказано счастье только потому, что другой несчастлив? Если мысль о Мартине мешала ей, то это было лишь следствием темных сил атавизма. Он сам был бы удивлен, если бы узнал о ее

сомнениях. Нужно было только хорошенько разобраться — и сразу исчезало это дурацкое ощущение виноватости.

Тюверлен жил бок о бок с ней, веселый, бодрый, умный. Он и не догадывался о тяжести, бессмысленно давившей ее. Стремясь освободиться от этой тяжести, она еще горячее жаждала от него ребенка. Он не догадывался об этом желании.

При случае он как-то объяснил ей свои взгляды на политику увеличения населения. Стало общепринятым иронически отмахиваться от учения священника Томаса Роберта Мальтуса. Немецкий экономист Франц Оппенгеймер заявил, что до тошнотворности нелогично ставить во взаимную зависимость увеличение населения и уменьшение количества пищевых продуктов. Однако он, Жак Тюверлен, придерживался того мнения, что следовало бы это ироническое отрицание подвергнуть пересмотру. Уже и сейчас, вследствие расширения гигиенических мероприятий и уменьшения смертности, бóльшая часть земного шара оказалась перенаселенной. В двух третях Китая, в значительных районах Индии не осталось уже свободной земли для обработки. Уже и сейчас дороги через рисовые поля сужены до ширины каких-нибудь девяноста сантиметров, но и от этих узких тропинок крестьяне стараются отхватить сколько мыслимо, так что обваливаются подрывные камни дорог. Даже в обширной России, где советская половая мораль не ограничивает числа рождений, можно опасаться недостатка земли уже для третьего поколения. И все же везде вожжи промышленности и империалистические политики добиваются мер для увеличения численности населения. Жизней для их целей должно быть в избытке, они должны дешево стоить. И они дешевы. Если кто-нибудь, например, берется финансировать ну хотя бы перелет через океан или какой-нибудь добровольческий корпус, ему некуда деваться от наплыва людей, готовых рискнуть своей жизнью за небольшую сумму денег или минутную славу. Он, Тюверлен, сам был свидетелем, как три года назад в Берлине во время уличных боев голодные женщины рисковали жизнью, чтобы добыть котлеты ценностью в две-три марки, и под пу-

лями тут же бросались на трупы только что павших лошадей. Государство само делает все возможное, чтобы понизить биржевую ценность человеческой жизни. Его юстиция, не останавливающаяся перед казнями и в определенных случаях почти не карающая за политические убийства, те приемы, которыми оно вырабатывает ложно понятый патриотизм и воинственный дух населения,— все это подрывает идею ценности жизни. Но если государство и мало ценит существующую жизнь, оно с тем большим рвением защищает жизнь не рожденную, зачинающуюся. Такое законодательство кажется на первый взгляд нелогичным, на самом же деле это не так. Именно для того, чтобы сохранить на низком уровне покупательную цену на такой товар, как жизнь, государство и настаивает на принудительном деторождении, вместо поддержания мер к ограничению рождаемости.

Иоганна не любила слушать такие теоретические рассуждения. Однажды она спросила у Тьюверлена напрямик, неужели он лично не ощущает потребности иметь детей? Он еще больше сморщил свое голое, изрезанное складками лицо, прищурившись поглядел на нее. Схватил ее за плечи своими сильными веснушчатыми руками и повернул так, чтобы хорошенько видеть ее лицо. Потом громко и весело засмеялся и, отпустив ее, сухо произнес:

— Нет, я лично никакой потребности в детях не ощущаю.

На следующее утро за завтраком он попытался серьезно растолковать ей, почему он не хочет иметь ребенка. В основе всякого искусства, объяснил он, лежит потребность человека к выражению своего я. Эта потребность, вероятно, является древним инстинктом человека, данным ему для того, чтобы сохранить для рода опыт и знание жизни отдельного индивидуума. В сущности, это примерно то же, что и инстинкт продолжения рода. Иоганне хотелось услышать что-нибудь менее абстрактное, носящее более личный характер.

Несколько дней спустя Тьюверлен с видимым удовольствием сообщил Иоганне, что в четверг их виллу «На озере» посетит мистер Даниель В. Поттер. Арти-



стка Клере Гольц устроила им встречу. Тюверлен в Калифорнийском мамонте нашел человека с широким знанием света, к тому же способного методически и продуманно заглядывать в глубь вещей. Он с оживлением рассказывал Иоганне об американце, радовался предстоящему визиту.

Иоганна ревниво относилась к каждой минуте, когда ей приходилось делить Тюверлена с другими. Она все еще надеялась при удобном случае найти нужные слова, чтобы разбить отделявшую ее от Тюверлена стеклянную стену. Он ведь написал очерк о деле Крюгера, делился с ней своими взглядами на все без исключения, на себя самого и на нее. Это были ясные взгляды, четкие фразы, мысли, связанные словно звенья цепи. То, о чем думала она, было совсем иным, не таким ясным, это трудно было втиснуть в слова, этому не было места между крепко спаянными фразами Жака. И все же должно было, *должно было* стать возможным, чтобы это так трудно выразимое передалось от нее к Тюверлену.

Ей было досадно, что придет американец. Проходили дни, за ними другие, и она все не говорила с Тюверленом о самом важном, а тут еще приезжает этот американец и крадет у нее день.

Но если подойти к этому по-иному, то нужно признать, что мистер Поттер большой и могущественный человек. Кроме того, у него, по словам Жака, дела с баварским правительством. Возможно, что он в состоянии что-нибудь сделать для Мартина.

У нее мало доверия к таким разговорам. Так много их уже было. И каждый раз она надеялась, что ее гнев, ее возмущение должны к чему-нибудь привести. Сейчас она идет на такие разговоры только из чувства долга, без всякой надежды на успех. Она заранее знает, как они будут протекать. Она будет говорить с г-ном Поттером. Г-н Поттер — умный человек, он умно выслушает ее и затем скажет, что он подумает о том, что здесь можно сделать, что он будет иметь в виду, что он будет от души рад помочь невиновному, что он поговорит с кем нужно. И этим дело кончится: на следующий день все будет забыто. Вот это-то и было

так мерзко: вопишь, бьешься головой о стену, но ничего нельзя сделать с этим бесконечным, непроницаемым безразличием людей. Сегодня ты кричишь и, может быть, люди даже слушают тебя, но завтра уже не помнят о том, что было. Все они нынче так заняты. В то время как ты говоришь с ними, они уже думают о следующем, с которым они будут говорить, и стоит тебе скрыться из поля их зрения, как они уже вычеркнули из своей памяти и твой голос и твое дело.

Когда-нибудь наконец она, может быть, встретит человека, к которому ей не придется осторожно подкрадываться, чтобы всякими изощренными путями завоевывать его сочувствие. Когда-нибудь найдется человек, в присутствии которого она сможет кричать, кричать о том, что так не должно быть, которому она в лицо сможет бросить обвинение в том, что такие вещи могут твориться на белом свете. Кому-нибудь она должна же брезгливо крикнуть в виноватое лицо, что свиньи те, кто виновен в этом, и свиньи те, кто мог помочь, но не помог.

Правда, кричать так на американца едва ли имеет смысл. Она должна владеть собой. Ей нужно серьезно посоветоваться с Тюверленом о том, что и как лучше сказать американцу. Это будет страшно мучительно: она теперь уже не в состоянии долго и логично рассуждать о деле Крюгера.

В понедельник Тюверлен сообщил ей, что американец придет в четверг, а во вторник адвокат Левепмауль позвонил ей из Мюнхена: министр Мессершмидт готов принять ее в четверг. Было очень неприятно, что ей, таким образом, приходилось упускать встречу с американцем. Но, конечно, на совершенную в Баварии несправедливость больше смысла было жаловаться баварскому министру юстиции, чем какому-то американцу.

Во всяком случае, от одного она благодаря этому избавлена: не придется говорить с Тюверленом о Мартине Крюгере. Она уже и в тот раз, когда он разъяснял ей свои взгляды на политику увеличения населения, от досады сжимала кулаки. Она привязана к Жаку Тюверлену, она любит его, восхищается им. Но вы-

нести, как он благоразумно рассуждает о Мартине Крюгере, она не может.

Министр Антон фон Мессершмидт — тот человек, на которого сегодня непосредственно ложится ответственность за судьбу Мартина Крюгера. Она потребует его к ответу. Возможно, что ему она бросит в лицо всю свою ярость. Возможно, — если только он не утратил человеческого облика, — одного ее разгневанного вида будет достаточно, чтобы сделать его податливым.

В среду вечером она безразличным тоном в разговоре заявила, что на следующий день уезжает в Мюнхен. Тюверлен высказал сожаление. Он огорчен, что ей, таким образом, не придется познакомиться с американцем. Он спросил, поедет ли она в автомобиле или поездом. Она ожидала, что он поинтересуется, зачем она едет в город. Но он не спросил об этом, и она ничего ему не сказала. Ему хотелось это знать, но не таким он был человеком, чтобы спрашивать о том, чего ему не хотят говорить.

В четверг было пасмурно и туманно. Она поехала в Мюнхен поездом, взволнованная, полная гнева и решимости.

## 15

### ПОМНИТЕ О ХЛЕБОПЕКЕ!

В том самом кресле между телефоном и кипой бумаг, где когда-то восседал Кленк, сидел в тот четверг министр юстиции Антон фон Мессершмидт. В то самое время, когда Иоганна ехала в Мюнхен, перед министром стоял второй помощник прокурора Иоганн Штрасер и докладывал о деле жандармского вахмистра Банцера. Члены нелегального ридлеровского союза, возвращаясь с учений и проглотив изрядное количество бесплатного ридлеровского пива, напали на отряд «Рейхсфронта», организации, верной конституции, убили одного человека и девять человек ранили. Из нападающих, которые, кстати сказать, в отличие от тех, на кого они напали, были вооружены, двое были ранены. Налицо было «нарушение обществен-

ного покоя и порядка в стране». Было начато следствие, целью которого являлось установить, кто был нападающей стороной. Совершенно ясно, что следствие пришло к заключению, в котором заранее никто не сомневался, а именно, что во всем были виноваты верные конституции и, следовательно, ненавистные баварскому правительству рейхсфронтовцы. По непонятным однако мотивам, упомянутый уже жандармский вахмистр неожиданно дал показания, согласно которым нападавшими были ридлеровцы. Как могло ему прийти в голову больше поверить своим глазам и ушам, чем психологическим познаниям властей, — это осталось непонятным и его товарищам, и жене, и, вероятно, впоследствии и ему самому. Само собой разумеется, что его показания не были приняты во внимание. Но безнаказанным такой поступок оставить было нельзя: после своих показаний жандармский вахмистр Банцер оказался на самом дурном счету в городке Кольбергофе, расположенном вблизи поместий Ридлерн. Однажды вечером у него в квартире перегорела электрическая лампочка. Он принес из своей канцелярии лампочку и ввинтил ее в патрон. И эта минута стала для него роковой. Он «воспользовался для личных целей предметом, принадлежащим казне». Второй помощник прокурора Йоганн Штрассер возбудил против него дело по обвинению в краже. Утверждения вахмистра, что он хотел на следующее же утро заменить лампочку, были так же не приняты во внимание, как и его показания о том, что рейхсфронтовцы действовали из соображений необходимой самообороны. С непокладистым человеком было покончено. Но тут случилось нечто неожиданное. Жандармский вахмистр, уверенный в неизбежности осуждения, тюрьмы, увольнения со службы, пустил себе пулю в лоб, по-видимому стремясь сохранить жене и детям хотя бы пенсию. Левые газеты подняли шум, и вот сейчас помощник прокурора Штрассер докладывал об этом деле своему высшему начальству.

Помощник прокурора был нестарый упрямый человек с двумя глубокими шрамами на лице — следами ранений, которые немецкие студенты той эпохи нано-

сили друг другу на дуэлях, устраиваемых с исключительной целью приобретения таких «почетных шрамов». Министр Мессершмидт был старый упрямый человек с такими же «почетными шрамами». Помощник прокурора был того мнения, что призван, не считаясь с буквой закона, защищать авторитет государства. Министр твердо держался устаревшего принципа, что юридический вопрос должен разрешаться исключительно на основании писаных законов.

Министр волновался. Он был убежден: не будь предварительно истории с вахмистром и его показаниями — г-н Штрассер не возбудил бы против него дела. Глаза старика подозрительно округлились, обрамленное седой бородой лицо побагровело. Лицо Штрассера тоже налилось краской, даже шрамы его стали ярче. Но он сдерживался. Он и не думал дать себе волю и надеть глупостей. Однако он не проявлял и раболепства. Он знал: пусть старый хрыч ругается, но к делу Дельмайера прибавить еще дело Штрассера — такой роскоши министр позволить себе не может. Его положение и так достаточно шаткое. Ему придется очистить место «раньше, чем покроются цветом деревья». «Раньше, чем покроются цветом деревья», он у себя на дверях сможет прибить дощечку с надписью: «Антон фон Мессершмидт, министр в отставке».

По мере того как министр все больше повышал голос, помощник прокурора Штрассер становился все сдержаннее. Ему было уже просто скучно слушать, — так уверенно чувствовал он себя. Стараясь не выпалить громко чего-нибудь нежелательного, он разглядывал надпись, сделанную крупными буквами над письменным столом министра. Так вот она, эта забавная надпись, над которой потешалась вся страна! Она была сделана на итальянском языке и гласила: «Помните о хлебопек!» А был этот хлебопек человеком, которого судьи в Венецианской республике неправильно осудили и приговорили к смерти. После этого случая и до конца существования этой республики особому лицу было вменено в обязанность перед каждым заседанием суда возглашать, обращаясь к судьям: «Помните о хлебопек!»

Господин фон Мессершмидт отлично улавливал направление взгляда Штрассера. Он до мельчайших подробностей угадывал все, о чем думает этот человек, и, расставаясь с ним, уже жалел о своей горячности. Что изменится от того, что он обезвредит этого жалкого негодяя? Ничто не изменится. Везде царит анархия. Везде царит произвол. Нет сил справиться с путаницей и беспорядком, потому что виновно в них не одно лицо. Они стали общим явлением.

Министр без гнева простился с прокурором. Оставшись один, он, словно смахивая грязь, провел рукой по письменному столу. Затем расчистил обеими руками место среди бумаг на столе, оперся на него локтями и, сжав тяжелую большую голову красными волосатыми руками, беспомощно уставился вдаль. Будучи председателем сената, он видел много такого, что было ему не по душе. И все же постоянный крик оппозиционной прессы о «кризисе доверия», о зависимости юстиции от политики он считал ерундой, истерической, преувеличенной выдумкой. Теперь, заняв место министра юстиции, он видел: все эти утверждения далеко отставали от действительности. Органы полиции состояли на службе у «истинных германцев». Начальник полиции лично выдал фальшивый паспорт одному из вождей ландскнехтов, которого имперское правительство преследовало за совершение гнусного преступления. Дико разыгралась исконная баварская страсть к дракам. Ежедневно происходили нападения на самых миролюбивых людей. В Ингольштадте, в Пассау, сброд, именовавший себя «патриотами», избил иностранных дипломатов, находившихся при исполнении служебных обязанностей. Подвергались насилию все, кто приходился не по вкусу кутцнеровским молодчикам. И на каждом шагу — оправдания или приговоры, скорее выражавшие благодарность, чем осуждение. Убийство, неповиновение, всякое насилие, если оно совершалось «патриотами», оставалось безнаказанным.

Честный Мессершмидт не мог смотреть на все это сквозь пальцы. Он пытался везде, где только оказывалось возможным, наводить порядок. Уделял очень мало времени сну. Даже любимую свою коллекцию баварских

редкостей едва достаивал взглядом. Своей жене он предоставлял решать вопрос, что именно из этой коллекции продавать, чтобы поддерживать внешние формы жизни, соответствовавшие его положению.

У него есть более тяжкие заботы. Он знает, почему ему так трудно, почему он не может справиться со своими чиновниками. Его судьи, его прокуроры не правы. Но они чувствуют себя правыми. Ему самому не раз приходилось бороться с соблазном. Военные оказались не на высоте, военные порядка оградить не могли. Они, судьи, — последние защитники доброй старой государственности. Антон фон Мессершмидт постепенно стал зрячим, судьи его остаются слепыми. Защищают мертвую старую кожу от новой жизни, давно уже произрастающей в ней.

Нет, они не дадут ему действовать. Он ясно видит, что ему не удержаться на своем посту до момента, когда кончится это безумие. Его подтачивает непрерывная партизанская война с другими министрами и со своими чиновниками. Тут и Гартль, с подкупающим красноречием поддерживающий просьбы о помиловании явных негодяев и преступников. Элементарное правовое чувство Мессершмидта разбивается о гибкую диалектику утонченного, насмешливого референта. Распространился слух, что Антон Мессершмидт — справедливый человек. Это вызвало во всей стране большое волнение, и отовсюду посыпались бесконечные прошения и жалобы. Министр знал, что расследования ведутся пристрастно, но как он, один человек, мог сам все проверить? Своим бесхитростным сердцем он болеет за то, что творится сейчас во всей стране, и прежде всего в Баварии. Он считает это бедствием, тяжким и губительным, как война и поражение.

Осталось еще двадцать минут до прихода г-жи Крюгер. Он взялся за бумаги, помечая их четко и ясно, так, чтобы низшие инстанции не могли извратить смысл его резолюций. То, что удастся сделать, — мелочи, капли в море. Но сюда ты поставлен и здесь должен работать. Это пост солдата, обреченного на гибель. Нам, Мессершмидтам, в этом столетии суждены подобные посты. И брат тоже стоял на таком посту.

тогда, на «Queen Elizabeth», когда он молча дал кораблю наехать на мины, расставленные им самим.

Ну, вот хотя бы эта дурацкая история с генералом Феземаном. Генерал демонстративно, вопреки закону, появился в военной форме. «Патриоты» насмешливо и злобно выжидают, осмелятся ли оштрафовать генерала.

Оштрафовать! Тут нужно было нечто совсем другое. Недавно на парадном обеде Мессершмидту пришлось сидеть напротив Феземана. Подававший к столу лакей чем-то не угодил генералу. Генерал грубо обругал его, сидел, в ярости глядя вслед робко и испуганно удалявшемуся человеку. Тут, пожалуй, впервые Мессершмидт увидел глаза генерала. Их выражение не оставляло никаких сомнений. Он увидел, что этот человек, много лет бывший диктатором всей Германии, человек, распоряжавшийся жизнью и смертью миллионов людей и заставивший весь мир продолжать войну, результаты которой давно уже были ясны,— этот человек — сумасшедший. Такие глаза, как у него, были у буйвола в зоологическом саду, обезумевшего в неволе буйвола, которого пришлось пристрелить. Сомнений быть не могло. Сейчас, когда этот человек сидел, уставившись вслед удалявшемуся лакею, усталый, затравленный, полный фанатизма,— у него были глаза того больного животного. Министр юстиции Мессершмидт, безошибочно установив это, испугался так, что у него задрожали колени и посерело обрамленное седеющей бородой иссиня-красное лицо. Этот человек был когда-то героем, но затем, вероятно еще до окончания войны, он превратился в безумца. И этого безумца и после войны не выгнали и не заперли в сумасшедший дом. Безумец сидел здесь, в Мюнхене, и поддерживал другого, умственные способности которого тоже были не в блестящем состоянии. Эти двое людей, над которыми потешалась вся остальная Германия, были вождями его родной Баварии.

Вновь переживая эти минуты, когда все стало для него ясным, старик стонет. Из далекого прошлого встают воспоминания гимназических лет: Калигула, Нерон. Его подчиненным такие сравнения показались



бы смешными. Они высоко держат знамя старой государственности. Но о прошлом знают немного. Образование теперь мало ценится. Он, Мессершмидт, часто вспоминает свои гимназические годы. Ему тогда много приходилось работать. Он с трудом втискивал знания в свою массивную голову. Но зато потом они застревают там крепко. Он и теперь нередко пользуется латинскими цитатами. Его подчиненные вежливо слушают, но их мало интересует его латынь.

Антон фон Мессершмидт упорно глядит на надпись над своим письменным столом. Ну и пусть. Они, значит, смеются над этой надписью. Глупцы смеются над тем, что Мессершмидт держит перед глазами напоминание о безвинно убитом хлебопекe. Может быть, это и вправду смешно, может быть, самый большой безумец — это он.

Он углубляется в свои бумаги. Ему прислали газетные вырезки с отчетами о собраниях «истинных германцев» по поводу дела фон Дельмайера. Хоть тут-то он проявил власть. Он отменил приказ об освобождении этого прохвоста фон Дельмайера из-под стражи. А теперь весь этот сброд наглеет еще больше: из обыкновенного страхового мошенничества этого негодяя они создают дело государственной важности. Его самого, следователя, прокурора, осаждают всевозможными требованиями. Они плюют ему дурацкие анонимные письма: пусть, мол, он пишет духовное завещание, пора! Не исключено, что они говорят это вполне серьезно. Парша поразила страну, вся прекрасная Бавария запаршивела, и с тех пор, как это случилось, нет уже ничего невозможного. Его коллеги по кабинету от страха стали мягки, как масло. Осторожный Дитрам настойчиво выдвигает вопрос, не благоразумнее будет ли и в самом деле, пока атмосфера не станет спокойнее, выпустить фон Дельмайера из предварительного заключения. Флаухер действует более прямо — он ругается, сыплет проклятиями: неужто всему баварскому государству погибать из-за каких-то там дохлых псов? Но Мессершмидт и не думает доставить им это удовольствие. Тут все они просчитаются. Не выпустит он этого мерзавца на волю.

Трещит телефон. Ему докладывают о приходе г-жи Крюгер. Да, теперь, значит, он примет г-жу Крюгер. Особого смысла в этом нет. Дело это достаточно жевано и пережевано — десять раз в парламенте, сотни раз в газетах. Не станет же он тратить время, силы, нервы на заведомо безнадежное дело! Есть так много другого, незаконченного, требующего немедленного вмешательства. С делом Крюгера покончено, оно — в прошлом. Одна лишь эта женщина бегает еще всюду и кричит о том, что человек, сидящий в тюрьме, невиновен.

Таковы были мысли министра юстиции Мессершмидта, когда вошла Иоганна, полная решимости призвать его к ответу.

Она увидела огромного человека, сидевшего в кресле за письменным столом. Увидела странную надпись над столом. Она уже слышала о ней, но забыла, что она значит.

Она заговорила и, заговорив, гораздо реальнее, чем свое посещение министра, восприняла вдруг свое последнее посещение Одельсберга. Гораздо более реальный, чем тогда в Одельсберге, гораздо реальнее, чем когда-либо в вилле «На озере», сидел сейчас перед ней Мартин Крюгер в кабинете министра юстиции. Снова ясно услышала она сказанные им слова: «На воле»...

Она говорила. Она не кричала. Она не испытывала того горького облегчения, на которое надеялась. Но она сразу почувствовала, что здесь наконец перед ней человек, который ее полные гнева слова выслушает не как слушают бред сумасшедшей — мягко и чуть-чуть нетерпеливо. Она говорила долго, и он слушал ее и, наверно, не обдумывал при этом, как когда-то имперский министр юстиции Гейнродт, что бы ей ответить. С этим человеком можно было говорить и чувствовать при этом, что слова он воспринимает и слухом и сердцем.

Господин фон Мессершмидт со своей стороны готов был выслушать поток бесконечных жалоб, резкие и вызывающие гневные выпады. Было твердо установлено, что Крюгер был типичным «чужаком». Невинность его представляла весьма мало вероятности, а директор тюрьмы Фертч, на которого с такой горечью жалова-

лась Иоганна, слыл добросовестным служакой. То, что говорила эта женщина, казалось явным преувеличением, а упоминания о юридических моментах в ее устах звучали словно отрепетированные с адвокатом. И все же хорошо, что она сидит перед ним, что так решительно, убежденно разговаривает, у нее такой волевой рот. Крепкой убежденностью, здоровой непосредственностью веяло от этой женщины. Кто же был прав? Осудивший тогда Крюгера Гартль, прекрасный юрист, или вот эта не слишком логично и последовательно излагавшая свои мысли г-жа Иоганна Крюгер? Выпуклые усталые глаза старика впились в смелые серые глаза Иоганны. Он ясно видел эту баварскую женщину. Она была рождена для осмысленной деятельности, для мирной заботы о муже и детях. Но бороться с баварской юстицией, всю механику которой он знал лучше всякого другого,— нет, для этого она не была создана. И вот она сидит перед ним, и говорит заученные вещи, и борется за освобождение руководителя музея Крюгера, «чужака», повесившего в государственной картинной галерее сомнительные картины и осужденного за лжесвидетельство. Ей было нелегко.

Господин фон Мессершмидт предоставил Иоганне говорить, кое о чем переспрашивал, кое-что записывал. Когда она кончила, он не произнес, как она этого опасалась, никаких общих фраз. Он сказал ей, что не позже чем через два месяца она получит определенный ответ относительно пересмотра дела. Иоганна поглядела ему прямо в глаза, повернувшись к нему при этом всем лицом. Ландесгерихтс-директор,— сказала она,— от которого зависит разрешение вопроса о возобновлении дела, отказался указать ей какой-либо определенный срок, заявил, что не может связывать себя сроками.

— В течение двух месяцев вы получите ответ,— резко сказал Мессершмидт.— Раньше, чем покроются цветом деревья,— сердито добавил он и кивнул.

Иоганна хотела было еще что-то сказать, но гнев в его словах и особенно то, как он кивнул при этом, внушили ей спокойствие и какую-то уверенность. Она больше ничего не сказала.

Старик и Иоганна молча сидели друг против друга. Эти секунды молчания были выразительнее тех, когда было произнесено столько слов. Иоганна почувствовала острое желание когда-нибудь, хоть когда-нибудь пережить с Жаком Тюверленом такие молчаливые и полные содержания мгновения. Когда она уходила, у нее даже шевельнулось желание утешить старика.

Господин фон Мессершмидт вызвал к себе обер-регирунгсрата Фертча. Человек с кроличьей мордочкой привез с собой кучу документов, держался раболепно, на любой вопрос готов был дать удовлетворительный ответ. Министр говорил мало, медлительно. Фертч отвечал многословно, быстро. Глядя на двигавшиеся вверх и вниз колючие волоски вокруг рта Фертча, г-н фон Мессершмидт думал о том, как смешно, что именно этот субъект призван сделать из Крюгера полезного члена общества. Так как на объяснения Фертча он мало что мог возразить, он в конце концов заявил, что придает большое значение проведению особенно гуманного режима в одельсбергской тюрьме. Он заявил это резко, а затем заявил это вторично почти умоляющим тоном. Человек с кроличьей мордочкой продолжал оставаться скромным и почтительным. Он видел то, что знал уже давно: дни старого хрыча, так незаслуженно занимавшего этот высокий пост, были сочтены. Он сам все свои надежды возлагал на «патриотов» и на их ставленника Гартля. Он простился с обычным подбострастием, спокойно думая при этом, что ему наплевать на Мессершмидта. Затем отправился к министериальдиректору Гартлю и подробно, вставляя кое-какие шутливые замечания, доложил о разговоре с министром.

## О КОРРЕКТНОСТИ

Мистер Даниель В. Поттер в это время лежал в хрупкой качалке в вилле «На озере». Жак Тюверлен, пожелавший насладиться целым днем занимательных споров, попросил приехать и Каспара Прекля. Молодой

инженер беспокойно шагал взад и вперед по комнате, сутулился, жался к стене.

У мистера Поттера накануне произошло столкновение с «истинными германцами». Он весело повествовал об этом приключении. Мюнхенский Ку-клукс-клан, — говорил он, — состоит, по-видимому, из молодых людей, не могущих понять, что законченный с определенным результатом матч не принято начинать сначала. Они выиграли ряд битв и не желают признать, что проиграли войну в целом. Несмотря на бесспорный результат, они всё еще хотят боксировать. Тут, несомненно, проявлялась странная неспособность оценивать общие факты. Этот недостаток мыслительных способностей, насколько он, Поттер, знаком со строением человеческого мозга, следует отнести за счет атрофии второго речевого центра Вернике.

Цивилизация белых, по мнению Тьюверлена, в связи с вторжением германских варваров в область греко-римской культуры, была отброшена на тысячелетие назад. Теперь, когда с величайшим трудом к этой цивилизации прилепили каких-то жалких четыреста лет, творчеству цивилизованных вновь грозит вторжение менее развитых. Одной из фаз этого варварства и является движение «патриотов». На всем земном шаре встречаются субъекты, у которых страсть к убийству нельзя заглушить спортом. Необходимость держать таких господ под постоянным врачебным надзором не всегда достаточно учитывается. Где, например, психиатрический надзор во время кутцнеровских собраний?

Каспар Прекль с живостью возразил, что возмущение даже и этих людей достаточно обосновано загниванием общественного строя. Само собою разумеется, что в данном случае возмущение направляется по ложному руслу. Всё же люди, восстающие против всеобщего загнивания, скорее способствуют развитию рода, чем такие, которые либо вяло мирятся с ним, либо пытаются оспаривать его наличие.

Мамонт удобно развалился в качалке, его глаза из-под толстых стекол хитро и весело щурились, мясистый нос приплюснулся к окружающему, большие зубы сжимали мундштук трубки. Время от времени он заносил

что-то в свою записную книжку. Недовольство, революционное настроение, — заметил он, обращаясь к Каспару Преклю, — все это от желудка. Голодающая Германия эпохи инфляции — ведь это еще далеко не весь земной шар. Мир белокожих, как показывает статистика, в большинстве состоит из сытых. Но и голодные — пусть молодой человек обдумает это — голодные бывают не постоянно, а только временами. Существуют три класса людей: сытые, голодные и ненасытные. Он лично не понимает, почему для развития человечества должно быть полезно строить политику сообразно интересам одних голодных.

Такие и подобные им «истины» изрекал американец, которого оживленно поддерживал Тюверлен. Но мрачно сосредоточенный Прекль, которого им очень хотелось раздражить, думал в это время о художнике Ландгольцере и не находил нужным возражать против этих скудоумных и плоских замечаний.

Во время обеда разговор зашел о народе, населяющем Баварскую возвышенность, о его биологических и социологических особенностях. Сидят вот эти баварцы у подножия своих родных гор, в своем развитии отставая от соседей, упрямые, против собственной воли учиняющие всякие беды, игрушка в руках искателей приключений, обладающих крепкими мускулами, здоровыми легкими и слабым мозгом. Как Тюверлен, так и Поттер, уверенные в своей правоте, не жалели слов для определения этого особого сорта *Homo alpinus*. Тюверлен любил народ, среди которого ему приходилось жить. С силой настоящего писателя, который, обладая холодным умом, не может не питать к своим героям любви или ненависти, любил этот высокоразвитый человек своих неуклюжих, туго соображающих, тупо-мечтательных баварцев. Американец со своей стороны, с любовью коллекционера к редкостным экземплярам, ценил исключительность этого типа людей — их грубую фамильярность, так легко переходившую в озлобление, их задумчиво-чувственную дикость. Он думал, даже вложить деньги в их страну, с помощью займа толкнуть их вперед. Правда, для индустриализации, по его мнению, здесь было мало предпосылок. Он полагал, что бу-

дущее Мюнхена и его окрестностей должно было свестись к тому, чтобы посреди большого индустриального района, в Средней Европе, стать местом приятного отдыха, городом для спокойно, с комфортом стареющих людей, чем-то вроде центрального средневропейского курорта.

В разговоре Тюверлен задал Поттеру вопрос, чем он объясняет малую популярность немцев за границей. Американец ответил, что он лично немцам симпатизирует. Что касается деловой стороны, то у него с немцами был печальный опыт. А именно? — поинтересовался Тюверлен. Американец жался, не желая отвечать, и наконец сказал, что обобщения часто бывают неправильно поняты. Тюверлен настаивал, и тогда мистер Поттер со всяческими оговорками отметил разницу в поведении своих деловых контрагентов — англичан, французов и немцев. На устное заверение англичан он может твердо положиться. От французов трудно добиться подписи, но, получив ее, можно быть спокойным. От большинства своих немецких клиентов ему очень легко получить подпись, но, если дело впоследствии оказывается невыгодным, они пытаются придумать какое-нибудь иное толкование подписанного договора и при помощи хитроумной аргументации извратить его точный смысл. Видя, что Каспар Прекль хмурится, он еще раз подчеркнул, что далек от обобщений.

Тюверлен в душе усмехнулся над тем, что именно интернационалиста Каспара Прекля сердило, когда ставилась под сомнение честность дельцов, являвшихся его соплеменниками. Тот факт, что многие немцы не желали признавать обязанностей, налагаемых данной ими подписью, — заметил он, — основывается, по его мнению, на их чрезмерной воинственности. Воинственный дух плохо уживается с логикой и представлением о праве. Достаточно вспомнить хотя бы хваленую немецкую средневековую песню «Гильдебранд и Гадубранд». Отец встречается с сыном, но не говорит ему, кто он такой, и они, подстрекаемые чистой воинственностью, начинают драться и убивают друг друга. Многие из немцев — например, часть студенчества — следуют примеру Гильдебранда и Гадубранда и под влия-

нием воинственного духа наносят друг другу колотые и резанные раны. Люди с такими наклонностями, вполне естественно, будут протестовать против того, чтобы клочок бумаги оказался вдруг сильнее пушки. Они всегда будут требовать разрешения спора путем войны. Если война разрешается не в их пользу, они требуют нового решения, пока оно в конце концов не окажется в их пользу. Такой тип людей широко распространен, но их влияние в Германии постепенно ослабевает. Пусть г-на Поттера не вводят в заблуждение их выкрики.

Но тут уж Каспар Прекль вышел из себя. Он сам не жалел жестких эпитетов для своих земляков, но тон, которым швейцарец и этот «делатель долларов» говорили о его родине, задел его за живое. Он с гневом заметил, что утверждение г-на Поттера о недостатке у немцев этики совершенно превратно. У них как раз слишком много «этики», и это-то и глупо. При помощи «этических» аргументов господствующий класс старается воздействовать на угнетенных, именно «этическими» аргументами прикрывают разные способы порабощения. Ни один народ в мире не возится так с этическими соображениями, как немецкий. Только начали немцы революцию — и вот уж затормозили ее: им, видите ли, необходимо решить, достаточно ли в ней корректности.

Все это г-н Прекль высказал очень резким тоном. Г-н Тюверлен и г-н Поттер поглядывали друг на друга. Будучи людьми вежливыми, они не улыбались. Он не хотел бы, — с осторожным и коварным благодушием начал наконец г-н Тюверлен, — обидеть г-на Прекля и его родину, но при всем своем желании он все же не может признать, что тот маневр, свидетелями которого они являются, что тот способ, которым государственная власть и промышленность при помощи инфляции отводят принадлежащие обществу деньги в свои кассы, — что этот маневр отличается особой «этичностью». Г-н Тюверлен и сам не находил свой аргумент достаточно убедительным. Уже говоря это, он понимал, что Каспар Прекль мог здесь с основанием возразить, что этот «маневр» был предпринят не народом, а небольшим господствующим слоем. Но произошло нечто



странное: инженер Каспар Прекль, так часто ядовитыми словами клеймивший эту коварную наглость крупного капитала,— этот самый инженер Каспар Прекль сейчас, словно в защиту именно этого коварства, внезапно заявил, что мало смысла разбираться в вопросе, корректно или некорректно поступили глетчеры, растаяв после ледникового периода. Оба его собеседника удивленно молчали.

— Инфляция — это, конечно, не вполне корректная сделка,— помолчав, тихо и мечтательно произнес вдруг Мамонт.— Но зато это сделка очень выгодная. На месте вашего министра финансов я, наверно, сделал бы то же самое.

Все трое невольно рассмеялись. Инженер Прекль в душе устыдился своего смеха и решил написать балладу о «корректности».

Каспар Прекль еще до обеда уехал назад в город. Ни Тюверлен, ни американец не пытались удержать его. Он мало говорил, он был человеком узким, занимавшим очень мало места. Тюверлен и американец были куда шире. И все-таки большая комната после ухода этого необузданного человека показалась странно пустой. Беседа текла вяло.

— Каспар Прекль утомителен,— сказал немного погодя Тюверлен.

— Жаль, что зря пропадает такой человек,— после некоторой паузы лениво протянул американец.

А потом г-н Поттер и г-н Тюверлен гуляли по берегу бледного озера, освещенного зимним послеполуденным солнцем. Тридцатилетний Дэнни заговорил об обозрении. Тюверлен принялся объяснять ему, что он первоначально хотел в нем показать. Американец понимал его, соглашался с ним. Ему лично,— заметил он,— все движение «патриотов», вся эта дикая воинственность представляются последними судорогами первобытного человека. Ему, Поттеру, нередко мерещится сцена, годная не то для театра, не то для фильма: последние люди каменного века разбивают свои орудия и переходят к употреблению бронзовых. Тюверлен нашел, что идея неплоха, но,— добавил он, улыбаясь,— в обозрении «Касперль в классовой борьбе» ее довольно трудно

использовать. Г-н Поттер, не выпуская изо рта трубки, не глядя на него, предложил ему в таком случае написать новое обозрение, обозрение в аристофановском духе для Нью-Йорка. Он охотно сам поддержит эту затею. Тюверлен лучше его знаком с книгами, а он, Поттер, возможно лучше знает людей. Он охотно двинет это дело,— добавил он словно мимоходом.

Тюверлен с удивлением спросил его, как он, собственно, представляет себе такое обозрение. Такая штука, даже если она получится удачно, вряд ли будет понята. Тридцатилетний Данни вытащил записную книжку, принялся что-то подсчитывать. Затем ответил, что никогда не говорит серьезнее, чем тогда, когда дело идет о том, что его забавляет. Он пригласил Тюверлена приехать в Америку. Тюверлен ответил, что подумает.

Когда они вернулись в виллу «На озере», Мамонт рассказал Тюверлену, что ведет переговоры с г-ном Грюбером о займе, нужном для электрификации Баварии. В такое время, как сейчас, даже относительно небольшая сумма может иметь значение для маленькой страны. За маленькую сумму можно добиться любых уступок,— сказал он. Тюверлен прищурился, стал вдруг молчалив.

— А вы потребуете уступок от моих баварцев? — спросил вдруг Тюверлен, когда Поттер уже успел заговорить о другом.

— Не знаю, каких уступок стоило бы от них требовать,— ответил американец.

— Я, во всяком случае, мог бы кое-что потребовать от баварского правительства,— осторожно нащупывая почву, произнес Тюверлен.

Он вспомнил о том, что баварская казна принимала в предприятиях Грюбера значительное участие.

— Крупное дело? — спросил американец.

— Нет, не крупное,— ответил Тюверлен.— Всего лишь помилование человека, которого я считаю невиновным.

— Об этом можно будет поговорить,— сказал г-н Поттер.— Приезжайте в Америку, господин Тюверлен,— предложил он вторично.

— Пожалуй, приеду,— сказал Тюверлен.

Американец распрощался незадолго до того, как Иоганна вернулась после своей беседы с Мессершмидтом. Тюверлен был очень оживлен. Мамонт понравился ему, он радовался предстоящей поездке в Америку, радовался возможности добиться амнистии Мартина Крюгера.

Он колебался, сообщить ли Иоганне о шансах, открывавшихся для Мартина Крюгера. Нет, достаточно уж она пережила всяких разочарований. Он скажет ей только тогда, когда выяснится что-нибудь конкретное. Он шел рядом с молчаливой Иоганной, искоса по-мальчишески, лукаво щурясь, поглядывал на нее, оживленно болтал своим сдавленным голосом.

Она сердилась на него за то, что он явно не сделал никакой попытки заинтересовать Мамонта делом Крюгера. Он должен был чувствовать, как сильно ей этого хотелось. Она любила его, но ей горько было ощущать, что он так близок ей и не чувствует, чего она так горячо желает.

## 17

### КАСПАР ПРЕКЛЬ СЖИГАЕТ «СМИРЕННОЕ ЖИВОТНОЕ»

Бенно Лехнер стоял перед неприятной дилеммой. Кассирше Ценци представлялся случай приобрести хорошую электротехническую мастерскую на полном ходу. Ценци собиралась купить ее, а вести дело должен был Бени. Зарабатывала Ценци хорошо, сколотила себе капиталец, была, принимая во внимание плохие времена, прямо-таки богата. Хватит с нее теперь. Она не хочет больше быть кассиршей в «Тирольском погребеке». Она и так загубила свое здоровье: плоскостопие, которым она страдает, как и большинство ее товарок по профессии, причиняет ей все большие страдания. Теперь она хочет выйти замуж, жить спокойно, произвести на свет законного ребенка. Такой случай, как приобретение этой мастерской, во второй раз не представится. Она потратила на Бени немало денег, отправила его в Высшую техническую школу, дала ему возмож-

ность выучиться настоящему ремеслу. Теперь она хочет довести дело до конца. Теперь она собирается купить Бени мастерскую и выйти за него замуж.

Бени знал: Ценци словами не бросается. Неприятно было, что она настаивала на браке. Он неохотно подчинялся этим буржуазным фокусам, притом все современное законодательство о браке представляло собой явную бессмыслицу. С другой стороны, ему было по вкусу жить с человеком, на которого можно было положиться. Мало было приятного в том, чтобы вечно слушать брюзжание старика отца. Бени был рад поводу уехать от него. Иметь ребенка от Ценци тоже было неплохо. Продолжить свой род, иметь сына, который доживет до лучших времен, до бесклассового пролетарского общества,— ради этого стоило пойти даже на дурацкую ложь буржуазного брака.

Довольно глупо, правда, будет стоять в черном сюртуке на Петербурге бок о бок с закутанной в белую вуаль Ценци. Товарищ Прекль и другие станут издеваться над ним, и будут правы.

Но даже если и пойти на венчание и брак, то осталось еще второе требование Ценци: позволить ей купить для него мастерскую, стать предпринимателем. Эта штука была еще нестерпимее, чем Петербург.

Если бы он мог пойти что-нибудь другое, солидное, прочное! Тогда Ценци тоже удовлетворилась бы, дала бы ему покой. Если бы, например, его временная служба в государственном театре была заменена штатным местом. В государственном театре его очень ценили. Там обратили внимание на работу, проделанную им при постановке обзора «Выше некуда!», и сразу же пригласили его к себе. На казенной сцене особенно культивировались вагнеровские оперы: они как-то по-особому льстили вошедшей в моду националистической романтике. В свое время, когда король-романтик Людвиг Второй собирался построить для Рихарда Вагнера парадный театр, мюнхенцы изгнали музыканта из города как «сумасброда». Пятьдесят лет спустя, когда слава Рихарда Вагнера стояла в зените, город сделал вид, будто именно он первый открыл великого композитора, пытался использовать его искусство для своих местных

патриотических целей и, идя навстречу интересам спекулировавшего земельными участками театрального дельца, выстроил парадный театр его имени. Оперы Вагнера требовали сложной сценической постановки, мюнхенцы желали видеть свой театр во всей красе, световые эффекты из обозрения «Выше некуда!» можно было прекрасно использовать в вагнеровском парадном театре. Заведующий освещением государственных театров, восхищенный тем, что он видел в пфаундлеровском театре, привлек изобретательного Бенно Лехнера к работе в качестве своего помощника. Но как ни ценил его этот человек, все же мало было надежды на получение в Баварском государственном театре штатного места, как того требовала Ценци. Там люди были консервативные. Решающий голос там имели старые камерзенгеры и придворные артисты, которые никак не могли согласиться, чтобы их не временно, а постоянно освещал коммунист. Нет, там он не мог рассчитывать на постоянную службу, которая ему нужна для поддержания отношений с Ценци.

Что же было делать Бенно? Ценци торопила: не позже чем через три недели должно было быть заказано гражданское оглашение. Дольше она не может откладывать покупку мастерской. До тех пор, значит, Бенно должен принять какое-нибудь решение. Если нет,— ну тогда, соседushка, не обессудьте,— она ставит крест! У нее в виду еще трое мужчин,— она может выбирать. Дольше, чем до весны, она не останется в «Тирольском погребке». «Раньше, чем покроются цветом деревья», она в брачном наряде будет стоять на Петерберге. Но только не с «чужаком»!

Тяжелое положение! Бенно Лехнер хотел посоветоваться с человеком, мнением которого он дорожил. Он отправился на Габельсбергерштрассе, к Каспару Преклю.

Прекля он застал не в таком настроении, чтобы с ним можно было что-нибудь обсуждать. Произошли, в общем, сущие пустяки, и с тех пор протекло уже несколько дней. Но все же Каспар Прекль не мог обрести душевного равновесия.

Случилось вот что: Анни, как-то проходя по улице, остановилась перед витриной магазина, разглядывая выставленное там зимнее пальто. Пальто было дорогое и, паверно, много худшего качества, чем казалось издали. Но было холодно, а зимнее пальто было ей необходимо. Должно быть, она долго так простояла у витрины, потому что какой-то незнакомец спросил ее, чем она так заинтересована. Незнакомец был вежлив, весел и понравился ей. Она тоже, по-видимому, очень понравилась ему. Заговорили о ценах. Выяснилось, что ее новый знакомый — иностранец и у него есть швейцарские франки. Пятнадцати франков было достаточно для покупки пальто, и господин соглашался уступить ей эти пятнадцать франков по такому курсу, по какому это можно было сделать только для такой хорошенькой женщины. Однако, когда Анни Лехнер собралась купить понравившееся ей пальто, швейцарские франки галантного господина оказались фальшивыми. Рассерженный владелец магазина вызвал полицию. И только после нескольких неприятных часов пребывания в полицейском участке Анни была вызволена оттуда отцом, который после этого долго ругал ее.

Узнав об этой истории, Каспар Прекль вспылил еще больше, чем старик Лехнер. Но тут Анни не выдержала. Каспару легко было говорить. Каспар разыгрывал чистюльку, Каспар с важным видом отказался от службы у Пятого евангелиста. Но кто-то должен был все-таки заботиться об уплате за квартиру и о еде? Достать пятнадцать франков за двенадцать тысяч марок, может быть, не дело для г-на Рейндля, но для Анни Лехнер это значило иметь зимнее пальто и в течение двухсот часов быть защищенной от холода, дождя, насморка. Если она и попалась, — что ж, Каспар не дал ей возможности изучить внешний вид иностранных банкнот!

Каспар отчитал ее за эти слова по-настоящему. Однако Анни тронула то, что давно уже угнетало его, хотя он и не хотел сам себе в этом признаться. Его больно кололо, что Анни в последнее время очень плохо выглядела, явно недоедала и что ей не на что было одеться. Она не жаловалась, но даже такой малонаблю-

дательный человек, как он, не мог не заметить, в каком поношенном платье она ходит. Нет, он не мог дольше держаться такой позиции. Его «достоинство» оказывалось просто личной забавой, и цикл баллад об индивидууме и массе, которые он все не переставал подчищать, тоже был личной забавой. Через два месяца ему минет тридцать лет, пора бросить забавы. Он с важностью отклонил предложение Рейндля ехать в Москву. А теперь, если он хочет чего-нибудь добиться, ему самому придется идти к Рейндлю. Это чертовски неприятно.

Вот в эту напряженную атмосферу словно снег на голову свалился Бенно Лехнер со своими заботами. Он сразу увидел, что с Каспаром сегодня не разговоришься, сидел смущенный, мялся, беседовал на общие темы. Но Каспар сегодня был так резок, что лучше уж было отступить и предоставить ему говорить одному. Он ругал все на свете, развивал всевозможные теории, более гневные, чем убедительные.

Испуганный Бенно предпочел оставить теоретические разговоры. Но когда он коснулся своих личных дел, товарищ Прекль, недовольный больше самим собою, чем Бени, резко оборвал его: он не хочет слышать о судьбе отдельного человека, время индивидуальных конфликтов прошло. Он и сам для себя не желает индивидуальной судьбы, он хочет слиться с массой. Эти слова звучали странно в устах такого непокладистого, угловатого человека. Бенно Лехнер счел их проявлением высокомерия и, несмотря на свое обычное безоговорочное преклонение перед Каспаром, надулся и упрямо замкнулся в себе, когда Прекль, одумавшись, осторожно стал нащупывать почву для примирения.

Оба молчаливых приятеля вздохнули с облегчением, когда появилась разговорчивая Анни. Лучше зная людей, чем Каспар, она быстро почувствовала, что брат чем-то угнетен. Она предложила ему вместе провести разочек отца, и брат с сестрой направились к Унтерангеру. Сестре теперь, вместо Прекля, поведал Бенно свои заботы. Она с интересом слушала его. Анни очень одобрительно отнеслась к тому, что Ценци так круто поставила перед братом вопрос. Для Бени будет чрез-

вычайно полезно, если в эти трудные времена он вынужден будет стать на твердый путь. Она многословно и настойчиво уговаривала его; она заранее уже радовалась, что будет крестить у него ребенка.

Затронув этот вопрос, Анни поверила ему одну тайну: она несколько времени назад была беременна от Каспара. Но она ничего Каспару об этом не сказала: при всем своем уме он с такой историей не справился бы. Она просто-напросто отправилась к врачу, и ее аккуратноенько освободили от ребеночка. Она охотнее выносила бы его. Но как прокормить и воспитать его в такое свинское время? Скверное было это время с инфляцией и тому подобной ерундой, когда нужно было так хитрить, чтобы не протянуть ноги. А тут еще дело не обошлось без затруднений: врач, которого ей рекомендовали, был человек с золотым сердцем, который бедной девчонке и даром проделал бы все что нужно, но именно поэтому гнусные конкуренты донесли на него. А так как он был «красный», социалист, то его упрятали в тюрьму. Поэтому ей пришлось пойти к врачу, обычно лечившему «большеголовых». Тот был любезен и полон благожелательства, но потребовал иностранных денег. Вот только потому, что ей тут пришлось так туго, она и влипла в историю с этим пальто.

Бени внимательно слушал. Говорил он мало. Но в душе он поражался, как мужественно такая молодая женщина справлялась со своими делами. Анни, в свою очередь, весело поглядывала сбоку на брата. Он давно уже не стригся. Она с добродушной иронией отметила про себя, что у него сейчас появились зачатки бакенбард, делавших его еще более похожим на старика Лехнера.

Они дошли до Унтерангера. Каэтан Лехнер отремонтировал свой дом. Но здесь у него не оказалось того чутья, которое руководило им при ремонте старинных вещей. Новая окраска производила впечатление какой-то искусственности. В своем прежнем, несколько запущенном виде дом казался красивее. Старик обрадовался при виде детей, но тут же заворчал: редко, мол, его удостаивают чести. Он изменился с тех пор, как связался с «истинными германцами», стал больше важни-



чать. Прежде, когда он говорил, что еще выбьется в люди, это звучало почти как извинение в том, что он все еще ничего не достиг. Теперь же он козырял этой фразой. В глубине души он надеялся, что движение «патриотов» еще добудет ему дорогой его сердцу желтоватый дом. А вот когда мы, в результате народного обновления, во имя создания великой Германии вступим в войну с Голландией, тогда, быть может, ему еще удастся заставить этого подлого голландца вернуть ему, Лехнеру, и «комодик». С тех пор как Каэтан Лехнер ввязался в кутцнеревскую шумиху, он совсем свихнулся, и с ним невозможно было разговаривать. Но он требовал, чтобы с ним разговаривали. Он не мог уснуть, не задав предварительно перцу этой красной собаке Бени. Старик, с зобом и длинными баками, и молодой, с маленькими бачками, сидели вместе, и молодой покорно выслушал брань старика. Он смирился и с Петсрсбергом, и с украшенным высоким фронтоном зданием отдела регистрации браков, но потом зато ему дадут покой.

Преколь жалел о своем ребяческом высокомерии по отношению к Бенно Лехнеру. То, что он говорил, по существу было верно, но он неправильно и нелепо патетически выразил свою мысль. Инженер Каспар Преколь искренне страдал от своего я. Он хотел вырваться из него, стать одним атомом среди многих. Вечно какая-то часть его личности вылезала из рядов других. От этого он должен был освободиться, с этим надо было покончить.

Ему было досадно, что Бени ушел от него с сознанием обиды. Он вытащил цикл своих баллад и принялся за новое стихотворение — «О бедности». В стихах его мысли звучали как-то убедительнее, чем в прозе, требовавшей обстоятельной аргументации. В вилле «На озере» он разыграл какую-то кукольную комедию перед этим Мамонтом из Калифорнии. Мамонт разговаривал с ним как с грудным младенцем. И с полным правом. Мамонт был неглуп. Глупо было то, что говорил он, Преколь. А вот баллада «О корректности» получалась удачно. Каспар Преколь взял в руки банджо, тихонько стал перебирать струны. Стихи создавались у него

только под музыку. Баллада «О бедности» тоже получилась удачно.

Он спел самому себе балладу. Она понравилась ему. Один в большой мастерской, он своим резким голосом, повышая его до крика, прочел балладу «О бедности». Он был самолюбив. После неудачи, которую он потерпел перед «делателем долларов», он никому, даже Анни, не читал своих баллад. У него теперь вообще появились от нее тайны.

Крадучись, с лукавой усмешкой подошел он к одному из ящиков, отпер его. Оглянулся на дверь, почти как художник Ландгольцер, запер ее на задвижку. Достал из ящика рисунок «Западно-восточный дубликат», манифест «Об истине», кусочек дерева с вырезанным на нем «смирненным животным».

Внимательно оглядел все: рисунок, барельеф, исписанный лист бумаги. Глядел с нежностью, проникновенно, с наслаждением. Бросил взгляд на чертежный стол, на котором лежали проекты, чертежи, планы его технической работы. Рассмеялся громко, презрительно. Еще раз спел, один в своей комнате, громко, вызывающе только что сочиненную балладу «О бедности». И она снова понравилась ему.

Он был в прекрасном настроении. Почему, собственно говоря? Определение старого гражданина Аристотеля до сих пор еще верно, оно самое правильное: смысл искусства — в освобождении от страха и сострадания. Психоанализ — одна из уловок гибнущей буржуазии. Этот старый Аристотель удивительно понимал толк в психоанализе. Искусство — удобнейший способ очиститься, освободиться от всяких опасных инстинктов вроде страха, сострадания, совести. Хитроумный, удобный, ловкий способ. А может быть — чересчур хитроумный и ловкий, чересчур буржуазный?

Собственно говоря, он — свинья! Да, правильно; не время сейчас позволять себе роскошь сложной личной жизни. Характерные физиономии нынче не в моде. Вот он позволяет себе кричать на этого бедного Бенно Лехнера. Частные конфликты никому не интересны! А сам любит свою «характерную физиономию». И он мрачными, глубоко запавшими глазами смотрит на мрачные,

глубоко запавшие глаза «Западно-восточного дубликата», на резко очерченный нос, огромный кадык, выдающиеся скулы.

Да, искусство — чертовски дешевый способ освободиться от своих страстей. Древний Платон — «большоголовый», правда, сверженный, но все же хитрая бестия — знал, зачем изгнал поэтов из своей страны. Дешевле, чем путем эстетики, право, не найти способа оплатить свой долг обществу! Слишком дешевый способ, голубчик ты мой! Славные инстинкты — жажда борьбы, возмущение, жажда убийства, отвращение, совесть — неудобны. Но для того они и существуют, чтобы не давать человеку успокоиться. Отвести их в русло искусства — это всякому легко. Но так просто от этого не отделаешься. Эти инстинкты должны быть использованы на практике — в классовой борьбе.

Нет, милейший мой инженер Прекль, вы стремитесь чрезмерно облегчить свою задачу. От других вы требуете, чтобы они отказывались от личной жизни. А вы? Способны ли вы отказаться от вашего пресловутого «достоинства»? Не потрудитесь ли вы снизойти до г-на Рейндля? Поедете ли вы в Россию? Вот вы сидите у себя, за запертой дверью, вы — частное лицо. Сочиняете баллады, занимаетесь искусством. Смакуете искусство. А кто это вам позволил?

Это, пожалуй, может позволить себе доктор Мартин Крюгер, потому что он сидит в тюрьме, в тяжелых условиях. Или тот, кто укрылся в гавани сумасшедшего дома. Художник Ландгольцер, вероятно, может себе это позволить. Ну, а писатель Жак Тюверлен, засевший в вилле «На озере» с женой Мартина Крюгера и пишущий там радиоцесу «Страшный суд», которая к тому же принесет ему кучу долларов? Нет, к черту такое свинство!

Он не хочет походить на писателя Жака Тюверлена.

Он сел за свою пишущую машинку, у которой все еще не были исправлены буквы *e* и *x*, и написал следующее:

«Приказ большевику Каспару Преклю от 19 декабря.

1. Вам надлежит отправиться к капиталисту Андреасу Рейндлю и принять все меры к тому, чтобы он послал вас в качестве старшего конструктора в Нижний Новгород.

2. Вам надлежит всеми силами способствовать тому, чтобы, прежде всего с помощью вышеупомянутого капиталиста Рейндля, был освобожден из тюрьмы отбывающий наказание Мартин Крюгер.

3. Вам надлежит поставить девице Анне Лехнер вопрос: согласна ли она вступить в партию и ехать с вами в Россию?»

Выстукивая на машинке эти строки, инженер Каспар Прекль не помнил, что однажды в его присутствии ненавистный ему писатель Жак Тюверлен почтовой открыткой сообщил самому себе директивы своего эстетического развития.

Прекль открыл дверцу тяжелой печи, которую Анни перед уходом заботливо наполнила углем. Бросил в топку листочки с написанными на них балладами. За ними последовал «Манифест» художника Ландгольцера, рисунок «Западно-восточный дубликат» и в конце концов — скульптура из дерева «смирненное животное». Затем, даже не взглянув на то, как все это горит, он уселся к большому столу, за свои чертежи.

## 18

### НЕКТО КИДАЕТСЯ НА РЕШЕТКУ СВОЕЙ КЛЕТКИ

Исправительная тюрьма Одельсберг когда-то была монастырем. Бывшая трапезная была теперь превращена в церковь. В сочельник вечером всех заключенных усадили на скамьи, они пели псалмы, директор произнес речь. На елке были зажжены свечи. Сзади стояли жители местечка Одельсберг, в большинстве женщины и дети. Люди в коричневой одежде косились на них, обрадовавшись редкому случаю увидеть женщин. Речь директора была бессодержательна, пение звучало плохо, елка и свечи имели жалкий вид. Но заключенные

были растроганы. Многие плакали. Мартин Крюгер тоже был растроган. Позднее ему было стыдно и страшно, что все это могло его растрогать. К ужину выдали по добавочному куску сыра. Это был швейцарский сыр, твердый, острый. Мартин Крюгер ел его с наслаждением, крошку за крошкой.

Ему было сейчас нехорошо. Силен он был в те дни, когда писал о революционере Гойе. Его собственная «революция» была жалкой борьбой с зависимым от начальства тюремщиком, безнадежной и утомительной.

Его благоразумие уже истощалось. Человеку с кроличьей мордочкой однажды хитростью удалось создать повод для наказания. Он объявил Крюгеру об этом наказании деловым тоном, лаконично, с почти военной четкостью. Волоски в его поздрах вздрагивали, словно он к чему-то сладострастно принахливался. И тогда Мартин Крюгер поднял руку и ударил его по лицу. Это было большим удовлетворением. Но за него приходилось расплачиваться. Директор, более хитрый, чем его заключенный, сохранил самообладание, решил отнестись к нанесенному Крюгером удару как к выходке сумасшедшего и отправил его в «камеру для буйных».

«Камера для буйных» помещалась в тюремном подвале. Это была узкая клетка. Мартина Крюгера заставили раздеться, ему оставили только рубашку. Его столкнули вниз по скользким каменным ступенькам. В лицо ему ударила острая вонь, исходившая от экскрементов тех, кто сидел здесь до него. Был еще день, но здесь царил полная тьма. Он стал нащупывать, где находится, натолкнулся на прутья, на стены. Нащупал пол — голый, неровный, испещренный дырами. Его сорочка была коротка, острый холод сковывал его члены, когда он вставал, чтобы подвигаться. Холод вонзался в тело, как нож. Когда его посадили в «камеру для буйных», было, вероятно, около четырех часов дня. Через несколько часов он уже не знал, ночь сейчас или уже день. Вонь он тоже перестал ощущать. Крыс в его клетке было много, но Мартин Крюгер не испытывал желания говорить с ними. Он улегся, надеясь замерзнуть: смерть от замерзания — слышал он когда-то — приятная смерть. Но он не мог лежать: крысы мешали ему. Возможно

также, что холод не давал ему уснуть. Он кричал, но никто не слышал или не желал слышать его. Позднее он уже только стонал. Через некоторое время ему швырнули подстилку и кусок хлеба.

Иногда он переставал отдавать себе отчет, где он находится, сознавая только, что голоден, что кругом мрак, вонь и крысы. Он тосковал по своей камере. Раз как-то он вспомнил, что живет в Центральной Европе и в двадцатом веке и что это столетие и этот участок земной поверхности убеждены в своем превосходстве над первобытными временами и первобытными народами. Он вспомнил людей, которых он видел висящими на проволочных заграждениях, людей, задохнувшихся от газов, умиравших под ударами прикладов «освободителей Мюнхена». Он старался почерпнуть облегчение в сознании, что этим людям было еще хуже, чем ему. Но это была неправда: им не было хуже. Он вспомнил стихи средневекового поэта Данте Алигьери, — стихи, в которых рассказывалось об аде, о погибающих от голода, о горящих в огне, и рассмеялся над примитивностью воображения этого поэта. Затем он встал, шатаясь, — холод вонзался в его тело, — и попытался в темной клетке проделать привычные гимнастические упражнения. Это было очень болезненно: ему приходилось каждую кость отдельно поднимать и выталкивать. Обессиленный, он в конце концов упал на пол. После этого он, должно быть, уснул.

Проснувшись, он почувствовал себя неплохо. Он был доволен, что слаб, с удовольствием прислушивался к беготне крыс. Его мучило только одно: он никак не мог вспомнить одного стиха того самого Данте. Он произнес: «Dante era un trecentista»<sup>1</sup>. Он произнес: «Самое лучшее — не родиться». Он произнес: «Доколе?» Ему казалось, что говорит он это очень громко, но он говорил так тихо, что даже крысы не слышали его. Он пытался вспомнить все лица, которые знал. Он нумеровал их. Но он замечал, что некоторых лиц ему не хватает, да и номера каждый раз были другие. Он пытался вспомнить обстановку своего рабочего каби-

---

<sup>1</sup> Данте был поэтом четырнадцатого века (итал.).

нста. Он очень ясно представлял его себе, весь в целом, но каждый раз не хватало каких-то подробностей. Это сердило его. Ему казалось удивительным, сколько разных вещей одновременно бок о бок существует на земле. Ведь она так мала — что такое каких-нибудь сорок тысяч километров? И все же оставалось непонятным, как это сейчас, одновременно, где-то на земле кто-то читает давно написанную им фразу о каком-нибудь оттенке цвета, а он лежит здесь, и по нему бегают крысы.

Не то было скверно, что он сидел здесь. Не то было скверно, что какой-то судья осудил его, что какой-то человек втолкнул его сюда, обрек его на муки египетские, на голод, мерзость и мрак. Скверно было то, что там, за стенами тюрьмы, расхаживали люди, знавшие об этом и терпевшие это. Что люди думали о миллионах вещей, но не о нем, лежавшем здесь, что газеты писали о речах политических деятелей, о колорите картин, о скорости кораблей, о траектории теннисных мячей, но не о нем, лежавшем здесь. Он лежал, охваченный страшной слабостью, вдыхал острое зловоние клетки и ненавидел Иоганну.

Он не знал, сколько времени прошло с тех пор, как ему швырнули матрац и хлеб. Внезапно ему представилось, что о нем совсем забыли, и он чуть не умер от испуга. Ему случилось однажды побывать в подземной пещере в Унтерсберге. Она была велика, сильно разветвлялась. Ее крутые стены с каждым шагом были холоднее. В ней царила гробовая тишина. Он отправился туда вдвоем с одним знакомым, без проводника. Это было очень легкомысленно. Стоило только испортиться батарее карманного фонаря — и конец. Батарея испортилась. Внезапно ему показалось, что почва уходит у него из-под ног, и он ощутил такой страх, какого не испытывал никогда в жизни. Прошло, должно быть, немного времени, едва ли больше минуты, пока приятель вновь не встретился с ним, но ему эта минута показалась вечностью. Это было самое страшное, что ему когда-либо пришлось пережить. Изредка он вдруг вспоминал об этом. Тогда он начинал дрожать. Такой же хватающий за горло страх овладел им и сейчас. О нем забыли, он

околеет здесь, среди крыс, в экскрементах своих предшественников, в своей короткой рубаше.

Но в этой клетке его продержали тридцать шесть часов.

Когда после этого доктор Гзелль осмотрел его, он с удовлетворением отметил спокойное состояние заключенного. Крюгер ни на что не жаловался, отвечал вежливо, разумно, поддерживал добродушно-шутливый тон, взятый врачом.

— Прибавилось у нас седых волос! — шутил врач. — Но это нам даже к лицу. А с этой маленькой слабостью мы справимся.

Крюгер поглядел на него потухшим взглядом.

— Да, господин доктор, — тихо произнес он. — Мы с этим справимся. Я ведь когда-нибудь выйду отсюда, а вот вам придется остаться здесь навсегда.

Эта фраза, произнесенная очень мягко и, конечно, без всякого злого умысла, больно задела врача. Ибо доктору Гзеллю не доставляло удовольствия сидеть в Одельсберге. Когда-то он собирался делать научную карьеру. Еще со времен студенчества он с увлечением занимался исследованием расовых особенностей крови. Две напечатанные им по этому вопросу работы упоминались обычно в первую очередь, наряду с сочинениями таких специалистов, как Дунгерн, фон Шейдт, Гиршфельд. Однажды ему показалось, что он уже достиг цели, что вот уже найден им способ выделить особые отличительные свойства крови. Но его опять постигла неудача: полученные им результаты оказались ошибочными. Ему, как и всем его современникам, не было дано по крови индивидуума определять его расовую принадлежность. Все же он был ближе других к цели. Казалось, если кому-нибудь суждено добиться успеха, то уж наверно ему. Но затем несчастное стечение обстоятельств — потеря его матерью состояния, разрыв с невестой, богатой и влиятельной профессорской дочкой, — разрушило его надежды на доцентуру и заставило его отказаться от производимых им исследований. И вот сейчас он, стареющий холостяк, сидел в Одельсберге. Занимался частной практикой, не увлекавшей его, нес в исправительной тюрьме Одельсберг



службу врача, являвшуюся для него только исполнением неприятной обязанности. Четырнадцатичасовой рабочий день, дурацкая работа, какую мог бы выполнять любой другой, мешали осуществлению призвания, для которого он единственно был создан.

Доктор Гзелль не выместил на пациенте свою душевную горечь. Он не любил врачебной практики, но был неплохим врачом. У него был острый взгляд, ловкие руки. Он выполнял свои обязанности с достаточной гуманностью. Но служба в тюрьме постепенно притупила его чувствительность. Доктор Гзелль привык не верить большей части того, что ему рассказывали заключенные. Так много было среди них озлобленных, хитрых, упрямых. Он и с ними держался добродушно-весело, уговаривал их. Но злился, когда они стояли на своем.

У Крюгера, как и у всех остальных заключенных, он прежде всего произвел исследование крови. По внешности приближаясь к кельтскому типу, с легкой примесью семитской крови, этот человек должен был принадлежать к группе А. Установив, к своей великой досаде, что Крюгер принадлежал к группе АВ, миролюбивый доктор Гзелль даже не обиделся за это на заключенного. Когда тот стал жаловаться на сердце, он тоже не рассердился, выстукал его, ничего не нашел, сказал ему что-то добродушно-шутливое. Оснований к каким-либо опасениям совершенно не было. Этот тип людей, согласно его наблюдениям, был довольно вынослив. Когда Крюгер вторично явился к нему, доктор вторично терпеливо выслушал его и снова ничего не нашел. Когда Крюгер явился в третий раз, доктор Гзелль рассердился. Ему вполне понятно, что заключенный номер две тысячи четыреста семьдесят восемь не прочь с его помощью попасть в лучшие условия. Но тогда пусть он придумает более удачный повод. Сердечная слабость. Самая распространенная и излюбленная жалоба! Припадки случаются ночью в одиночной камере, в отсутствие свидетелей? Ну, разумеется! В присутствии других с господином пациентом припадков никогда не бывает. Эти шутки нам знакомы. Доктор Крюгер претендует на то, чтобы мы направили его в лазарет на предмет ис-

следования по поводу *angina pectoris*<sup>1</sup>. Но тут он просчитался. Мы и не думаем попасться на удочку этой «сердечной болезни». После шестнадцати месяцев тюрьмы человек несколько сдал. Когда из роскошной обстановки попадают к нам, наша обстановка воспринимается как несколько «спартанская». Наступают некоторые изменения в организме — желудочные заболевания, нарушение пищеварения, отеки, затем похудание, серый цвет кожи. Это обычное явление. Понемногу пройдет. *Angina pectoris*! Знает, что придумать! Кто бы от этого отказался?

Именно так относился врач к заключенному: немного недоверчиво, но не без готовности, в случае необходимости, оказать помощь. И вот, когда сейчас, после тридцатишестичасового пребывания в «камере для буйных», Крюгер сказал, что он все же выйдет из тюрьмы, а доктору Гзеллю отсюда уйти не придется, этот ответ поразил врача в самое больное место. Но он не стал мстить за это ослабевшему заключенному и даже прописал ему добавочное питание и освобождение от работы.

Вскоре Крюгер снова пожаловался на сердечный припадок, на жуткое чувство полного уничтожения, на страшные мгновения, непосредственно после приступа, полные сознания беспомощности и одиночества. Припадки теперь повторялись через все более короткие промежутки. Он умолял врача приказать устроить звонок или какое-нибудь другое приспособление, чтобы он мог позвать кого-либо на помощь. Он боялся, что когда-нибудь умрет во время такого приступа. Но тут доктор Гзелль, несмотря на все старания, не мог сохранить обычное благодушие. Он не задумываясь обозвал Мартина Крюгера ломакой и симулянтом.

Но Мартин Крюгер не симулировал.

После заключения в «камеру для буйных» между ним и директором установилось нечто вроде перемирия. Что бы Фертч ни выделял, Мартин больше не потеряет власти над собой.

Чтобы слышать свой голос, он много говорил сам с собою вслух. Не слишком громко, чтобы дежурные в ко-

---

<sup>1</sup> Грудной жабы (лат.).

ридоре не пожаловались на него. Только зная, что в коридоре дежурят доброжелательно относившиеся к нему надзиратели, он говорил полным голосом. Охотнее всего повторял главы из своей книги о Го́йе. Иногда в долгие ночные часы он развлекался красочными картинами воображаемой мести. Мечтал о том, чтобы отравить весь город Мюнхен со всем, что в нем есть живого. Рисовал себе детали — груды умирающих, отравленных. Из мрака памяти вставали старинные легенды, рассказы. Если в Мюнхене найдется пять праведников, бог остановит свою карающую руку. Но нет там пяти праведных! Он так долго прожил в этом городе, что хоть раз должен был бы повстречаться с одним из этих пяти. Осторожности ради он торговался с богом о цифре. Пусть бог, если он хочет пощадить город, повысит эту минимальную цифру до десяти, как он уже сделал однажды. И бог был милосерд, входил в положение, соглашался. А Мартин Крюгер тогда хохотал иронически и торжествующе. Теперь-то уж неизбежна была гибель проклятого города! В том, что в нем не найдется десяти праведников, он мог быть совершенно уверен.

На этот раз, когда Иоганна приехала на свидание, она волновалась больше, чем он. Он не обдумывал заранее, что скажет ей. Пересмотр дела, досрочное условное освобождение, амнистия — все это занимало его днем и ночью. Несмотря на слабость, он продолжал быть настойчивым. Но надежды у него не было никакой. Это существует, конечно, — и пересмотр дел и амнистия. Существует и море, которое можно пересечь на корабле или на аэроплане. Существует и планета Марс, и возможно, что когда-нибудь туда можно будет добраться. Но какое это имеет к нему отношение? У него была камера, шириной в два метра, длиной в четыре, а планета Марс, а улицы, женщины, море, пересмотр дела — все это находилось за пределами этой камеры. Он говорил с Иоганной вразумительно и спокойно. Он постоянно находил нужное слово. На ее взволнованные, робкие вопросы он отвечал сразу же, ясно и образно. Он рассказывал о своей болезни, об ужасном чувстве уничтожения, об удушливой, давящей боли и о том,

что врач ничего на находит. Возможно, что это действительно было игрой воображения. Он ведь буйствовал, ударил директора по лицу, что вряд ли сделал бы разумный человек, зная, что кратковременное удовлетворение не искупает тяжести и длительности следующего за ним возмездия. Но Иоганна не думала, что это чувство уничтожения — только игра воображения. Она видела человека в серо-коричневой одежде, видела его на этот раз ясно и четко, так что ей не пришлось потом выкапывать его образ из памяти, и она поняла, что ошибается не Мартин Крюгер, а ошибается врач. Ей не показалось даже, что здесь дело в злой воле. Она подумала, что происходит тяжкая, роковая ошибка, и мысли вихрем закружились в ее голове, чтобы найти путь, как бы эту ошибку исправить. Возможно ли, что она была счастлива, в то время как Мартин метался в таком припадке? Что она лежала рядом с Тюверленом, в то время как Мартин боролся с уничтожением?

Она должна потребовать к ответу человека с кроличьей мордочкой, должна поговорить с врачом. Нужно добиться, чтобы вызвали специалиста. Она должна написать доктору Гейеру, должна немедленно повидать еще раз министра Мессершмидта. Здесь губят человека, у которого нет другой защиты, кроме той, которую ему может оказать она. Ведь ясно, — она совершенно отчетливо видит это, — он сходит на нет, он от раза к разу становится меньше, тает, съедается. Все эти мысли, быстро сменяя друг друга, пронеслись в ее голове, тысячи других возможностей взвешивала она: посещение врачей, письма к пяти тайным правителям Баварии. Она не могла себе представить, чтобы кто-нибудь мог отказать ей, когда дело шло о такой простой, такой далекой от всякой политики вещи, как болезнь.

Мартин Крюгер между тем продолжал рассказывать. Он подробно рассказал о своих припадках, не упуская ни одной мелочи, как когда-то описывал картины. Иоганна глядела на его губы, раньше такие полные, упругие губы, видела беловатый язык, выступавшие из бледных десен желтые зубы, густые брови, теперь поседевшие и свисавшие над тусклыми глазами. Он говорил:

«Знаешь, это происходит вот так...» В общем, о своих припадках он рассказывал, быть может, минуты две. Иоганне они показались вечностью.

С врачом Иоганне поговорить не удалось, пришлось удовлетвориться разговором с обер-регирунгсратом. Фертч, несмотря на резкости, с которыми она обрушилась на него, оставался спокоен, вежливо просил ее быть сдержаннее и нисколько не смутился, когда она обещала обратиться к министру Мессершмидту.

Перед Тюверленом Иоганна излила весь поток своего безудержного гнева, осыпала бранью и его, в грубых выражениях обвиняла его в том, что он, мужчина, может спокойно оставаться свидетелем этого медленного убийства ни в чем не повинного человека. Тюверлен внимательно выслушал ее, попросил кое-что из того, что она рассказывала, повторить, кивнул. Затем записал кое-что в свою записную книжку. Совсем как Калифорнийский мамонт. Эту привычку он перенял от него.

Иоганна ненавидела его.

## 19

### НЕВИДИМАЯ КЛЕТКА

После этого разговора, когда Иоганна сообщила Тюверлену о болезни Мартина Крюгера, исчезла куда-то счастливая уверенность, казавшаяся ей неизбежной и вечной все эти блаженные месяцы ее пребывания в вилле «На озере». Тюверлен заносил в книжку заметки, как биржевой маклер, как тот американец, о котором он так много говорил и которого она не переносила. Не улыбнулся ли Жак в тот раз? Да, он улыбнулся. При некотором размышлении она должна была бы сказать себе, что вряд ли над муками Мартина Крюгера мог улыбаться человек, написавший о деле Крюгера ту холодную и жгучую статью. Но Иоганна не размышляла. Она видела перед собой только эти улыбающиеся губы с обнаженными деснами.

Ни словом больше не упоминала она о Мартине в разговорах с Тюверленом. Начала на свой риск и страх вести неустанную агитацию, усердно, порывисто, без

обдуманного плана. Рассылала письма во все концы света. Несколько раз писала адвокату Гейеру, в нетерпении телеграфировала ему.

Она имела вторичную беседу с г-ном фон Мессершмидтом. Снова при виде старика она успокоилась, почувствовала прилив уверенности. Г-н фон Мессершмидт со своей обычной ровной медлительностью обещал ей сейчас же проверить, чем объясняется странное отношение врача к жалобам Крюгера.

— Я ведь вам уже заявил, — добавил он, — что еще до того, как покроются цветом деревья, вы получите определенный ответ по вопросу о пересмотре дела. Пересмотр или перерыв в отбывании наказания. Я вам сказал: через два месяца. Осталось еще сорок восемь дней. Мессершмидт своего обещания не забыл.

Обо всем этом Иоганна ни слова не сказала Тюверлену. Они делили стол и постель, вместе работали, вместе занимались спортом и отдыхали. Он сам был в блестящем настроении. Радиопьеса «Страшный суд» была почти что закончена. Первая передача будет производиться из Нью-Йорка. Пьеса удалась. Иоганна чувствовала это. Чувствовала, какая сила исходит от этой вещи, но это не доставляло ей радости.

Не спасала и логика. Бессмысленное чувство виновности преследовало ее, как болезнь, от которой нельзя было отделаться. Зудило, угнетало. Ослабевало, усиливалось, но совсем избавиться от него не удавалось. Вечно ощущалась все та же тяжесть на душе. Что бы она ни делала, о чем бы ни думала — она не могла нигде найти покоя. Она чувствовала себя как в клетке. Только потому, что она так целиком окунулась в счастье, которое ей давал Тюверлен, только потому болен и несчастен тот, другой. Она могла сколько угодно повторять себе: сердце человека, сидевшего в Одельсберге, просто кусок мяса, состоит из крови, мышц, тканей, сосудов; оно функционирует не хуже и не лучше от того, любит ли она Жака Тюверлена или нет. Это была правда и неправда. Как бы там ни было, ей не могло быть радостно с Тюверленом, пока дело Крюгера не улажено. Никогда уж не будет ей радостно с Тюверленом. Ее жизнь с ним раз навсегда порвалась с той минуты,

когда он улыбнулся при рассказе о страданиях Мартина Крюгера.

Этими страданиями она временами так проникалась, что Иоганна Крайн превращалась в Мартина Крюгера. Она сидела, полузакрыв руками широкое лицо с тупым, несколько крупным носом, вперив вдаль взгляд удлинённых серых глаз, наморщив белый гладкий лоб. Она сидела здесь, в вилле «На озере», и в то же время сидела в никогда не виданной ею камере одельсбергской тюрьмы. Она была Мартином Крюгером, переживала его ненависть к человеку с кроличьей мордочкой, к городу Мюнхену, ко всей Баварии. Чувствовала, как сердце ее раздавливается камнями, испытывала тяжелое, перехватывающее дыхание чувство уничтожения. Она целиком была им. На такую проникновенную ясность чувства при спутанности мыслей, на такие мгновения перевоплощения в другого были способны многие жители Баварской возвышенности.

Тюверлен гулял с Иоганной, оживленно рассказывал ей что-то своим сдавленным голосом. Разве не чудесно удалась его радиопьеса «Страшный суд»? Он сиял. Его успех за границей не изменял ему. Приходили деньги, для Германии того времени — огромные деньги. Не было ли у нее какого-нибудь желания? Не купить ли ему для нее этот дом, лес, озеро? Он обменивался телеграммами, письмами с Мамонтом. Было твердо решено, что через несколько дней он выедет на пароходе «Калифорния» в Америку. Он сообщил Иоганне точный день своего отъезда, упомянув при этом, что им открыт для нее в дрезденском банке текущий счет в долларах. Он сказал, что жаждет написать для Мамонта обзор, жаждет повидать Америку, повидать самого Мамонта. Он часто поглядывал на Иоганну сбоку — искоса и лукаво. Все чаще усмехался. «Теперь скоро появится и моя статья о Крюгере», — сказал он и улыбнулся.

Он был очень разговорчив в эти последние дни перед своим отъездом, говорил много любопытных, остроумных вещей по самым различным поводам. Но о том, что касалось ее, о том, что ей так страстно хотелось услышать — о Мартине Крюгере и о своем возвращении, — он не сказал ей ни слова. Ничего не сказал ей и о том,

что вопрос о помиловании Крюгера сдвинут с мертвой точки. Дело в том, что когда тайный советник Грюбер сообщил в министерстве финансов и в правлении Баварского государственного банка о намеке, сделанном по этому поводу мистером Поттером, там выразили вначале чрезвычайное удивление, но затем, после нескольких громких фраз о «независимости юстиции в этой стране», все же обещали передать это пожелание лицам, от которых это дело зависело. Во время своего пребывания в Америке Тюверлен собирался воздействовать соответствующим образом на Мамонта. Он радовался, что дело успешно подвигается. Он улыбнулся при мысли, с каким облегчением вздохнет Иоганна. Сказать ей об этом он решил только тогда, когда налицо будет официальное заявление баварского правительства.

Иоганна в эти последние дни казалась спокойной, веселой. Однажды она получила длинное письмо от своей матери. Дела владельца колбасной Ледерера, в связи с усиливающейся инфляцией, шли на улучшение. Он прикупил четыре новых магазина. Г-жу Крайн-Ледерер огорчала ее неудачная дочь. Г-н Ледерер состоял в своем районе председателем комитета «истинных германцев». Падчерица компрометировала его. Г-жа Крайн-Ледерер еще раз протягивала ей руку примирения. Пусть дочь разведется со своим арестантом, прекратит незаконное сожителство с каким-то там «чужаком». Мать в последний раз предлагает ей очаг и кров.

Однажды, совсем неожиданно, в виллу «На озере» явилась г-жа Аметсридер. Иоганна с приятным чувством глядела на тетку: прямая, полная, бодро расхаживала г-жа Аметсридер по дому, высоко держала свою крепкую мужеподобную голову, высказывала твердые, ясные жизненные сентенции. Тюверлен весело усмехался. Иоганна, усталая, была рада присутствию чело- века, знавшего о ее делах, слушала ее. Тетка считала, что Иоганна сделала для Крюгера все, что только один человек может сделать для другого. Но теперь — хватит! Ей нужно развестись и выйти замуж за Тюверлена. Он, правда, порядочная блоха, но Иоганна при ее помощи сумеет держать его в руках. Если Иоганна со-



гласна, то она, тетка, поговорит с Тюверленом, а то он того и гляди улетучится там, в Америке.

За два дня до отъезда Тюверлена в Гамбург, где он должен был сесть на пароход «Калифорния», Иоганна вдруг до ужаса ясно представила себе свою жизнь, когда Жака не будет с ней. Большая вилла станет очень пустой и тихой. Не перебраться ли ей в Мюнхен, к тетке Аматсридер? Она, наверно, снова займется графологией. Не решится ли она тогда проанализировать почерк Мартина Крюгера?

Тот человек в Мюнхене сказал, что «Мессершмидт ничего не забыл». Сорок восемь дней, сказал он, — и вот уже снова прошло пять дней. Когда Тюверлен уедет, останется еще сорок один день. А что будет, если Мартип выйдет из Одельсберга раньше, чем вернется Тюверлен? Жаку не следовало бы сейчас уезжать. Неужели он этого не понимает?

Он этого не понимал.

Жизнь за городом ему больше пошла впрок, чем Иоганне. Он расхаживал — крепкий, с широкими плечами и узкими бедрами; его резко очерченное, изрезанное морщинами лицо загорело и обветрилось. Он поглядывал на Иоганну сбоку, улыбаясь. Ей казалось, что он улыбается насмешливо. Он оживленно болтал своим сдавленным голосом. Сиял. Сияя, уехал, оставив Иоганну в ее клетке.

## 20

### РЕКА РУР

Девятого января комиссия по репарациям установила, что Германия не выполнила обязательств, взятых на себя по Версальскому договору. Она будто бы преднамеренно допустила недостачу положенного количества леса и угля. Недостача составляла полтора процента общего количества. На этом основании французский премьер-министр Пуанкаре отправил в Рурскую область техническую комиссию под руководством главного инженера Коста для обследования и устранения на будущее время причин недостачи. Для охраны комиссии вместе

с ней были посланы войска в числе 61 389 человек — семь французских и две бельгийские дивизии — под командой генерала Дегутта. Одиннадцатого января в девять часов тридцать минут утра авангард французских войск вступил в город Эссен. Пятнадцатого января были заняты Гельзенкирхен и Бохум, шестнадцатого — Дортмунд и Герде. Французские войска заняли прусские государственные рудники и банки. Владельцы и генеральные директора больших предприятий Тиссен, Шпиндлер, Тенгельман, Вюстенгофер, Кестен, отказавшиеся поставлять репарационный уголь, были арестованы.

Рурская область составляла самую богатую часть Германии. Под землей залегали огромные массы угля и железа, на земле были хитроумно построенные заводы, блестяще организованная в целях максимального использования этих природных богатств сложная сеть железнодорожных путей для их вывоза. Германия была индустриальной страной, Рурская область — сердцем этой страны. Держать в своих руках Рурскую область значило держать в своих руках сердце Германии.

Но держать в руках это сердце было выгодно лишь до тех пор, пока оно билось. Германское правительство, вследствие понесенного в войне поражения лишенное всякой военной мощи, бросило населению Рурской области лозунг «пассивного сопротивления». Власти этой густозаселенной области, а также железнодорожные чиновники отказались подчиняться распоряжениям оккупационных войск. Крупные правительственные чиновники, бургомистры, директора банков, железных дорог, заводов были арестованы и высланы. Оккупационные войска попытались своими силами обслуживать железнодорожные линии. Результат получился плачевный. Начались столкновения военных эшелонов, много солдат погибло во время крушений. Раздраженные войска принимали жестокие меры против всякого рода демонстрантов и подозрительных людей. По незначительным поводам начиналась стрельба, насчитывалось немало убитых и раненых. Были созданы военные суды. На города, в которых были убиты французы, налагались большие денежные штрафы. К началу февраля

было забито вагонами около восьмисот километров железнодорожной сети. Паровозы, рельсы покрывались ржавчиной, груды угля, который не удавалось вывезти, росли, превращались в горы, въедались в поля, так как насыпать их высоко было невозможно, во избежание самовозгорания.

В Старой Баварии не все знали, что такое Рур. Многие думали, что это неприятная болезнь. Газетам было нелегко разъяснить баварцам, что это река, протекающая через богатую германскую промышленную область, и что они имеют полное основание возмущаться происходящим. Зато, поняв, они возмутились чрезвычайно бурно.

Притоку новых людей «истинные германцы» были обязаны оккупации Рура. Всякие искатели приключений и ландскнехты, которые после окончания войны без дела и без заработка слонялись по стране и которым в последнее время нечем становилось кормиться, вздохнули с облегчением. Всюду снова заговорили об «ударе, который необходимо нанести Франции», об «освободительной войне». Сплотились воедино военизированные добровольческие корпуса и организации: «Гражданская оборона», «Союзы по поддержанию порядка», «Вервольф», «Орка», «Оргеш» и как их там еще звали. По стране разъезжали вербовщики, зазывая и заманивая в ряды добровольческих корпусов безработных или отлынивавших от работы людей. Целые отряды, сформированные таким путем, перевозились по всей стране, фигурируя в глазах властей под названием «рурских беженцев». Они позволяли себе всевозможные шутки над железнодорожными чиновниками. У одного вооруженного отряда, следовавшего в экстренном поезде, была сопроводительная бумага такого содержания: «Четыреста тридцать душ детей старше десяти лет».

«Истинные германцы» утопали в деньгах. Крупная промышленность, для которой движение «патриотов» служило не только удобным тыловым прикрытием против требований рабочих, но и средством давления на врагов, не скупилась на подачки. Кроме того, немало денег поступало и от некоторых разгневанных «патриотов», сочувственно относившихся к этому движению. Слуга одного из Виттельсбахов, укравший большую

сумму, показал на суде, что значительную часть украденного он внес в партийную кассу «патриотов». Поступали деньги и из-за границы. Во Франции не без удовольствия наблюдали за вспышкой этой дикой жажды реванша. Разве она не подтверждала необходимость гарантий, продолжения оккупации?

Руперт Кутцнер заявлял в своих речах, что провозглашенный имперским правительством «единый фронт всего народа» — гнусный и мерзкий обман. Только решительные действия могут повести к победе. Время, остающееся до выступления против французов, пужно использовать для борьбы с внутренним врагом. Стоит только уничтожить его — и Германия мигом станет вновь мировой державой. Главная задача — это расправа с «ноябрьской сволочью». Эту расправу нужно произвести без сентиментальностей, с неукротимой яростью. Довольно полумер. Пассивное сопротивление — бессмыслица. Нужна «сицилийская вечерня»! Долой говорильни революции! Нужно установить народные трибуналы, которые выносили бы лишь два приговора: оправдание или смерть. Нужно ввести всеобщую воинскую повинность. Штабы контрольных комиссий врага нужно задерживать в качестве заложников. Предстоит великое национальное обновление. Раньше, чем покроются цветом деревья, придет его пора. Да восстанет народ, да грянет буря!

Подручные вождя в своих речах шли еще дальше. Министерские головы, говорили они, скатятся на песок. «Истинные германцы» не сложат оружия, пока на каждом фонаре не будет болтаться одна из «красных ноябрьских свиней». С капустой сожрут они головы берлинского еврейского правительства.

Открыто, с большой пышностью, под звуки песен и музыки проводили уличные шествия «истинные германцы». Правда, в свои ударные части они принимали и немало совсем молодых людей, даже двенадцатилетних школьников. Правда, в их рядах было немало всякого темного сброда, и власти под давлением министра Мессершмидта, несмотря на свои симпатии к «истинным германцам», бывали вынуждены задерживать и осуждать то одного, то другого из них за тяжкие преступления.

ния против собственности. Однако в отношении численности и снаряжения военные силы Кутцнера представляли собой значительную величину. Вождь принимал парады. Прислонившись к своему автомобилю, он безучастным взором следил за отрядами, проходившими мимо него парадным маршем. Он стоял, скрестив на груди руки, в той самой позе, в какой актер Конрад Штольцинг когда-то изображал Наполеона, героя комедии «Приказ императора», написанной французским драматургом Скрибом.

Грозно по всей стране звучали слова: «Раньше, чем покроются цветом деревья!» На улицах города Мюнхена появлялось все больше людей с зелеными мешками, так называемыми рюкзаками, за спиной и в шляпах с торчащими сзади кисточками из меха серны, напоминавшими кисточки для бритья, — крестьяне из окрестностей, мечтавшие устроить второе «освобождение Мюнхена». На Штахусе часто собирались группы людей, горячо о чем-то споривших. «Раньше, чем покроются цветом деревья!» — вопили «патриоты» и избивали без разбора всякого, кого считали своим противником. По проезжей дороге от Шлирзее в Мисбах брели двое молодых ремесленников и пели: «Алые бутоны нам счастье принесут». — «Пока не покроются цветом деревья!» — завопили шедшие навстречу «патриоты» и накинулись на них. Им слышалось: «Алые знамена спартаковцы несут...»

Противники тоже не всё сносили безответно. Время от времени, несмотря на превосходство вооружения «патриотов», избивали и кое-кого из них. В Австрии рабочие подвергли обыску поезд, в котором Феземан ехал на свидание со своими венскими единомышленниками, и генералу, укрывшемуся в уборной при своем купе, пришлось пережить несколько неприятных часов. В рейхстаге, в баварском ландтаге, в своих партийных организациях социал-демократы выражали возмущение творящимися беззакониями, но ощутительных результатов их выступления не имели. Один только Мессершмидт время от времени добивался проведения более крутых мер по отношению к бесчинствовавшим «патриотам». Кабинет не верил: Кутцнер столько раз уже

возвещал о путче. До того, как «покроются цветом деревья», было еще далеко, а пока что он был лучшим орудием против «красных».

Между тем нужда среди городского населения возрастала с каждым днем. Остановка работы в Рурской области была тормозом, нарушавшим весь ход государственной машины. В деревнях, правда, жили без долгов и по мере роста инфляции все роскошнее. Все большее число крестьян обзаводилось автомобилями и скаковыми конюшнями. Но в городах вставал призрак голода. Хлеб снова, как во время войны, становился недоброкачественным и вредным для здоровья. Росло число желудочных заболеваний. Дети сидели в школах без завтрака, нередко от голода теряли сознание во время уроков. Все шире и шире распространялся туберкулез. Сумма, отпущенная ландтагом для борьбы с ним, была в сто двадцать раз меньше суммы, ассигнованной на борьбу с ящуром. Росла смертность грудных детей. Молодым матерям, принужденным искать постоянной работы, приходилось отказываться от кормления детей грудью. Снова квартирами служили затхлые норы, газетная бумага заменяла белье, картонные коробки — детские кровати. Зима была очень холодная. В Рурской области вырастали горы угля, но этот уголь покрывался снегом, а большая часть Германии мерзла в нетопленных квартирах. Доллар стоил 20 815 марок, булочка — 75 марок, фунт хлеба — 700 марок, фунт сахара — 1300 марок. Заработная плата далеко отставала от этих цифр. Кардинал-архиепископ мюнхенский говорил, что дороговизна и спекуляция пищевыми продуктами производят нынче большие опустошения, чем вифлеемское избиение младенцев и самый лютый голод, о каком повествует библия.

А в это же время «истинные германцы» одевали служащих в своих штабах и ландскнехтов в платье из теплого прочного сукна и кормили их обильно и сытно.

Они пели:

Ночью нежусь я с милкой в постели,  
Днем евреев луплю безопасно я.  
Так толстею я с каждой неделей,  
Знамя мое черно-бело-красное.

Они пели:

Пускай хоть и подошвы намажут нам икрою,—  
Правителей еврейских прогоним мы метлою!

Они пели:

Сегодня за это,  
Завтра за то  
Пиво, жратву  
Ландскнехту готовы!

## 21

### ГОСПОДИН ГЕССРЕЙТЕР УЖИНАЕТ МЕЖДУ ФЛИССИНГЕНОМ И ГАРВИЧЕМ

Андреас фон Рейндль помолодел. Его карие выпуклые глаза не выражали уже прежнего надменного спокойствия, его бодрая, оживленная походка не казалась уже такой искусственной. Со времени оккупации Рура дела разрастались, доходя до сказочных размеров, становились разнообразными и интересными, начинали походить на те большие, полные жизни картины, которые он любил. Что такое капитализм? Слово, пустой звук, цифра, за которой не скрывается никакого реального понятия. Сейчас это понятие облеклось плотью и кровью, сейчас внезапно все увидели, услышали, ощутили на вкус, что такое «капитализм». Сейчас вдруг падение марки, хотя оно вовсе не было изобретением каких-нибудь дельцов, оказалось гениальным трюком, при помощи которого промышленность и сельское хозяйство, а также государство, являвшееся их представителем, одним махом освободились от всех своих долгов. Это капитализм сам совершил такое сальто-мортале. Капитализм,— в обычное время абстрактная идея, доступная пониманию только ученого экономиста, и то лишь при помощи вспомогательных понятий,— выступал сейчас во всей своей выпуклой конкретности: даже рядовой человек мог разглядеть его невооруженным глазом.

То, что Пятый евангелист представлял себе под понятием «капиталистическая система», было, если сопо-

ставить это с представлением о том же предмете хотя бы его приятеля мистера Поттера, примерно чем-то вроде картины художника Петера Пауля Рубенса рядом с чертежом из учебника геометрии. Перед г-ном фон Рейндлем, всегда мыслящим предметно, вставала какая-то огромная шевелящаяся масса, живая гора, на которой вырастают все новые кратеры, бородавки, носы и которая, кувyrкаясь, несется по земному шару.

Удивительно было наблюдать, как это дикое, сказочное существо разрасталось с тропической, первобытной силой. Белое лицо Пятого евангелиста с черными до блеска усами сладострастно морщилось. Гора под своей тяжестью хоронила мелкую буржуазию, пролетариат; дела «больших людей», его, Рейндля, дела процветали как никогда ранее.

Притом все шло автоматически: достаточно было протянуть руку — и она наполнялась золотом. На западе, правда, заводы и фабрики стояли, но за это платило государство. Для того чтобы рурская промышленность могла держаться, государство делало подарки: давало колоссальные кредиты, получая затем долги обесцененными бумажками. Денежный поток излился на немногочисленных владельцев шахт, домен и рудников. Благо тебе, Рейндль, вовремя запасшийся своей долей! Нужно было сохранять самообладание, успевать помещать деньги как следует, текущее превращать в новое имущество, в новые заводы, в новые земельные участки. Куда девать все эти деньги? Можно было купить на них одно из мелких немецких государств, и их все-таки не стало бы меньше. Если рурские коллеги и шли на кратковременное пребывание в тюрьме, они могли это делать с гордостью в сердце: родина платила мученикам хорошие проценты.

Пятый евангелист был для таких времен человеком подходящим. Он вечно был в разъездах — в Париже, Лондоне, Берлине, Праге. Дело шло о новом переделе хозяйственных областей Европы. Политические деятели произносили речи — руководство исходило из рабочих кабинетов деловых людей. А там, за столом заседаний, сидел и г-н фон Рейндль.



Приезжая в Мюнхен, он, не считая, сорил деньгами. Обшивал, одевал, снаряжал (сам оставаясь в тени) «истинных германцев». Руперт Кутцнер, когда его машина встречалась с машиной Пятого евангелиста, приказывал убавить ход, здоровался отрывистым жестом по военно-студенческому церемониалу: один большой человек приветствовал другого большого человека.

И до г-на Гессрейтера также через разные каналы докатился поток кредитов, которыми государство одаряло рурскую промышленность. Нежданной бурной волной захлестнуло его богатство. В Луитпольдсбрунне, в своей вилле на Зеештрассе расхаживал он, широко размахивая руками, и повествовал г-же фон Радольной о неожиданном, непостижимом обилии. Загадочно намекал на свое участие в направлении этого потока. Катарина оставалась спокойной, говорила мало. Лучше всего, — заметила она, — было бы как-нибудь надежно закрепить эту нежданную благодать, чтобы она так же неожиданно не ушла из рук.

Пауль Гессрейтер засмелся. Этот совет был бы по вкусу его друзьям из «Мужского клуба». Пусть уж они ту часть, которая из этого потока выпадет на их долю, обращают в твердую валюту. Пауль Гессрейтер таким выходом удовлетвориться не может! «Если смелость в груди нарастает волной...» — звенели в его душе слова стихотворения короля Людвига Первого. «Королевский купец», — звенело в его мозгу. Яркие картины, фантастические видения владели его воображением. В особенности один образ, еще в детстве поразивший его, не покидал его головы — образ могущественного купца эпохи Возрождения, Фуггера или Вельзера, одетого в бархатное платье, который небрежным жестом, стоя перед императором, бросает в пламя камина пачку разорванных векселей этого самого императора.

Образ был соблазнителен, но и опасен. Г-н Гессрейтер чувствовал эту опасность: он происходил из рода, испокон века стремившегося к твердому обеспечению. Временами ему очень хотелось своим счастьем и планами поделиться с Иоганной. Несмотря на ее романтическое стремление во что бы то ни стало помочь именно этому злополучному Крюгеру, была в ней, в этой

Иоганне Крайн, какая-то приятная ясность и твердость. В ее присутствии ясней было видно, далек или близок берег.

Господин Гессрейтер остановился перед автопортретом Анны-Элизабет Гайдер. Женщина с потерянным и в то же время напряженным выражением глядела вдаль, ее шея была как-то беспомощно и трогательно вытянута. Он тогда не преминул показать своим землякам, что он за молодец. Он и теперь сделает то же. Если он до сих пор подражал движениям пловцов, стоя на берегу, то теперь он готов с горячим воодушевлением броситься в мощный поток.

В изысканной форме со множеством красочных выражений пригласил он отужинать на Зеештрассе директоров фирмы «Южногерманская керамика, Людвиг Гессрейтер и сын», писателя Маттеи, скульптора «Боя быков», г-на Пфаундлера, г-жу фон Радольную и еще нескольких близких ему людей. Долго обдумывал он, не пригласить ли и Иоганну. Ему очень хотелось, чтобы она была здесь в тот момент, когда он решался на такой серьезный шаг. Он написал ей ласково, любезно, пригласил ее по всем правилам вежливости.

Пришли все. Кроме Иоганны.

Господин Гессрейтер схоронил это дурное предзнаменование в самой глубине своей души. Собрав вокруг себя всех остальных своих друзей, он произнес довольно туманную вступительную речь и затем, широко размахивая руками, словно загребая ими воздух, подошел к стоявшему в кабинете прекрасному бюро в стиле «бидермайер». Там лежал проект соглашения, связанный с переговорами, начатыми еще во время поездки с Иоганной и касавшимися объединения с некоторыми южно-французскими заводами. Господин Гессрейтер тут же подписал договор гусиным пером, которым несколько столетий назад писал великий купец Якоб Фуггер.

После ужина, оставшись наедине с г-жой фон Радольной, он расхаживал взад и вперед среди моделей судов, рыцарских доспехов, среди всего любимого хлама, наполнявшего его дом, и разыгрывал перед нею крупного промышленного деятеля. Его дела,— говорил

он, — теперь не ограничиваются одной Баварией. Они начинают носить интернациональный характер.

Нет, где им, мюнхенским скопидомам, угнаться за ним! У них не хватит на это фантазии. Перед Катариной, раз уж не перед кем было больше, он развернул пеструю путаницу, наполнявшую его голову романтика-баварца. Она молча слушала. Ей нужны были деньги, чтобы вложить их в имение Луитпольдсбрунн. Она собиралась расширить его, вести хозяйство более современными методами. Г-н Гессрейтер после первого же намека с ее стороны предоставил в ее распоряжение нужную сумму. Она не желала принимать подарков: она приняла эти деньги на тех условиях, на каких рурская промышленность брала деньги от имперского правительства.

Теперь у г-на Гессрейтера действительно были дела, требовавшие от человека огромного внимания. Тем не менее он не пренебрегал и обязанностями доброго мюнхенца. «Истинные германцы», например, носились с планом — в день освящения знамен водрузить на Одеонсплаце гигантскую деревянную статую их вождя Руперта Кутцнера, чтобы затем сверху донизу обколотить его железными гвоздями. Кто, как не Пауль Гессрейтер, воспротивится этому? Ну а это грандиозное национальное парадное представление «Кровавое рождество в Зендлинге», которое г-н Пфаундлер собирается устроить взамен карнавала, не соответствующего серьезности переживаемого момента. Кому, как не Паулю Гессрейтеру, было осуществить такой проект? Он уже представлял себе, как в конце вечера на запряженной львами колеснице появляется одетая в белое, с могучими обнаженными руками, г-жа фон Радольная, изображающая «Баварию».

Господин Гессрейтер метался, переходя от мюнхенских забот к своим интернациональным предприятиям и обратно. Ну вот хотя бы эта «Hetag» — Акционерное общество гессенских фарфоровых заводов. Можно было приобрести большую часть ее акций. Это стоило немало! «Hetag» была старинным предприятием с прекрасной репутацией; г-н Гессрейтер колебался, не зная, следует ли ему вкладывать в одно дело такие большие сред-

ства. Директора «Южногерманской керамики» старались удержать его от этого шага. Искусство «Hetag» было для заграницы чересчур солидным, Германия же, любившая ее продукцию, не в силах была платить. Но тут в поле зрения Гессрейтера появился лондонский делец, некто Кертис Лэнг. Мистер Лэнг был не прочь объединиться с г-ном Гессрейтером.

После обмена телеграммами г-н Гессрейтер решился поехать в Лондон. Он сидел в поезде в широком светлосером дорожном пальто, в большой дорожной шапке на голове. Бачки его были подстрижены не слишком коротко. Он был преисполнен сознания своего значения и жалел, что нет никого из знакомых, кому он мог бы рассказать о своих планах.

Но кого же он встретил на пароходе по пути из Флиссингена в Гарвич? Да, этот человек с полным белым лицом и блестящими черными усами был действительно Пятый евангелист! Г-н Гессрейтер был глубоко удовлетворен тем, что именно этот надутый франт мог видеть, что и у других людей есть дела с заграницей. Заговорить ли ему с Рейндлем? Собственно говоря, при таких обстоятельствах землякам, старым знакомым, следовало подсесть друг к другу. Но г-н Гессрейтер колебался: он был самолюбив.

Но — подумать только! — Рейндль сам подошел к нему. Он вовсе не глядел поверх его головы, как бывало иногда в «Мужском клубе» или в театре. Он пожал Гессрейтеру руку, явно обрадованный встречей. Он не был так высокомерен и недоступен, как обычно говорили о нем.

Они вместе поужинали. Приятно среди французских и английских интонаций звучали баварские. Время прошло очень хорошо. В удачных, изящных выражениях излагал г-н Гессрейтер свои взгляды на политику, искусство, промышленность, свое мнение о Мюнхене и обо всем мире. Пятый евангелист слушал его с видимым удовольствием. Когда, например, безобразие, которое мюнхенцы учинили с Галереей полководцев, Гессрейтер попытался истолковать как стремление из этого чудесного здания сделать «универсальный магазин милитаристических мечтаний», Рейндль поднял бокал, с

приветливой улыбкой выпил за его здоровье. Затем, правда, г-н Гессрейтер вдруг подумал, что у этого субъекта необычайно странный взгляд: прямо не по себе становилось от него. Ну да, господи боже мой, у каждого из нас свои странности. Главное — с Рейндлем есть о чем поговорить. И г-н Гессрейтер говорил. Между обоими промышленниками, видимо, царило полное взаимное понимание.

— Вы в Лондон по делам? — немного погодя вежливо спросил Рейндль. «Вот, представьте себе, соседushка! — подумал Гессрейтер. — Не одни только «большоголовые», именами которых ежедневно пестрит торговый отдел в газетах, есть и другие, которые расширяют свои дела, распространяются. И наш брат в такое время не сидит лениво в своем углу!» Но всего этого он не высказал. Небрежно, словно мимоходом, ответил, что он действительно едет по делам. Он думает, — словно доверяя Рейндлю большую тайну, добавил он, так как собеседник молчал, — совместно с мистером Кертисом Лэнгом приобрести большинство акций «Hetag». Г-н фон Рейндль знает Кертиса Лэнга. Порядочный человек, надежный человек, немного медлительный, осторожный.

— «Hetag», н-да... Изысканный фарфор, дорогой фарфор... Нужно иметь очень толстую подкладку, — заметил с улыбкой г-н фон Рейндль, — чтобы при таком большом количестве фарфора ничего не разбить.

«Странная манера выражаться у этого субъекта. Пожалуй, это даже дерзость. Не думает ли он, что у меня недостаточно «толстая подкладка»? Так я вот назло ему, так вот назло и куплю эту «Hetag», даже если этот дурак англичанин и не поддержит компанию!»

Англичанин компании не поддержал. Из Дармштадта слали телеграммы: владельцы пакета акций торопили. «Если смелость в груди нарастает волной...» — звенело в сердце г-на Гессрейтера. «Королевский купец», — звенело в его мозгу. Он дал распоряжение купить.

Довольный, вернулся он в Мюнхен. С небрежным видом рассказывал г-же фон Радольной, Пфаундлеру, приятелям в «Мужском клубе» о том, что по пути в Англию встретился с Пятым евангелистом. Очень милый человек, совсем не такой надутый, как обычно принято о нем

говорить. Но у него, Гессрейтера, конечно, больший размах. Узнав, что Гессрейтер отныне контролирует «Hetag», г-жа фон Радольная выказала некоторое беспокойство. Пфаундлер также, услышав об этом, окинул г-на Гессрейтера с ног до головы быстрым взглядом своих крохотных мышиных глазок. Г-н Гессрейтер под этим взглядом как-то неожиданно вспомнил об Иоганне Крайн. Но г-н Пфаундлер ничего не сказал. Он ограничился тем, что пожелал г-ну Гессрейтеру успеха.

Марка продолжала падать, доллар лез прямо в небо. Большие предприятия глотали, причмокивали, выбивались из сил, не успевали всего переварить. «Hetag» благоденствовала, «Южногерманская керамика» процветала. Все бешенее кувыркалась гора, все неудержимее вздувался поток. Г-н Гессрейтер бросился в него, как опытный пловец. И волны несли его, он плыл.

## 22

### ХАРАКТЕРНЫЕ ФИЗИОНОМИИ

Кленку занятие Рурской области доставило глубокое внутреннее удовлетворение. Разве не ясно стало сейчас, что все прекрасные разговоры о мирном разрешении спорных вопросов были просто вздорной, мошеннической болтовней? Из-за нехватки каких-нибудь полутора процентов враг позволял себе такое неслыханное насилие! Кленк всюду носил с собой фотоаппарат: французские солдаты, вступив в Эссен, нагло, засунув руки в карманы, торчат перед своими бронежилетами, — победители, властители над жизнью и смертью побежденных. Это была возмутительная картина, он возмущал ею свое сердце и сердца других.

Открыто теперь предоставил он всю свою необузданную силу в распоряжение партии. «Пассивное сопротивление» — дурацкий лозунг людей, не знающих, что сказать, уловка кабинета министров, не пахотящего выхода из положения. С треском рухнет это берлинское правительство, подточенное собственной жалкой ничемностью. Он верил сейчас в обновление Германии, ис-

ходной точкой которого будет Мюнхен. Оживился, готов был работать за троих. Не терял при этом способности ориентироваться в событиях. «Раньше, чем покроются цветом деревья» — это был поэтический лозунг для кипящей народной души. Ударить надо только тогда, когда экономические и политические предпосылки будут сулить не менее пятидесяти одного процента шансов на успех. Уловить этот момент — вот его задача.

Кленк расцветал. От этого огромного баварца исходило какое-то обаяние, действовавшее на его врагов. Даже по отношению к своей жене, высохшей старой козе, он бывал теперь грубовато приветлив. словно невзначай завладел он снова и Инсаровой, в которой видел одно из средств управлять волей вождя по своему усмотрению. Теперь уж никакая почечная история не станет поперек его дороги. И сына своего Симона, парнишку, он вызвал теперь в Мюнхен, устроил его в штабе «истинных германцев». Симон Штаудахер с восхищением взирал на отца. На своей новой службе ему часто приходилось встречаться с двумя приятелями — Эрихом Борнгааком и Людвигом Ратценбергером. Все трое очень сдружились, вечно бывали вместе.

Затем произошла история с товарищем Зельхмайером, она сразу же сделала Симона Штаудахера одним из наиболее популярных вождей юношеской патриотической организации. В купальне Гайдгаузена Симон Штаудахер однажды заметил молодого человека, у которого на левой руке была вытатуирована индийская эмблема плодородия, а на правой — коммунистический герб: серп и молот. Среди «патриотов» были люди, раньше числившиеся коммунистами. Этот парень, видимо, когда-то чрезмерно понадеялся на прочность своих убеждений, и теперь вот, так как легче было переменить мировоззрение, чем кожу, он вынужден был ходить «пестрым». Симон отпустил по этому поводу несколько сочных острот. Но тут выяснилось, что «пестрый» перешел вовсе не слева направо, а как раз наоборот. Тогда Симон не вытерпел и решил проучить его. Он взял парня в работу, а когда тот продолжал стоять на своем, сгреб его и несколько раз окунул в воду. Все, что Си-

мон Штаудахер делал, — он делал, не жалея сил. Товарищ Зельхмайер, несмотря на то что был членом коммунистического союза любителей плавания, «красным морским чертом», все же очень плохо перенес знакомство с Симоном Штаудахером. Его пришлось отправить в больницу на левом берегу Изара, где он уже побывал однажды, когда Людвиг Ратценбергер откусил у него мочку уха. Когда затем выяснилось, что субъект, «проученный» Симоном Штаудахером, и жертва Людвига Ратценбергера одно и то же лицо, «патриоты» радостно и оглушительно загоготали. Это был веселый эпизод в серьезные времена. Даже сам вождь — ведь германская душа и в самые мрачные дни не теряла способности к юмору! — в ближайший понедельник не преминул в своем выступлении в «Трапезной» намекнуть на эту историю с погружением в воду. «Каждый предатель и трус будет проучен так же, как этот гнусный перебежчик!» — громовым голосом воскликнул он. Власти тоже не без удовольствия ухмылялись. Когда доктор Левенмауль подал на Штаудахера жалобу, прокурорский надзор из того факта, что наборщик Зельхмайер однажды уже был замешан в кровавую драку, сделал вывод, что он и является виновной стороной, а потому возбудил дело против больного.

Кленк раскатисто хохотал над подвигом своего парнишки, фрукта этакого! Вот это мальчишка, им можно было гордиться! Он пригласил его к себе в дом. И Симон сидел среди роскошной парадной мебели, под оленьими рогами. Он был полон свежести, живости и непосредственности, очень походил на отца. Жена Кленка не хотела выйти. Но не тут-то было! Господин министр не стал стесняться. С гордостью представил он ей своего подающего надежды отпрыска. Робкая и запуганная, сидела жалкая женщина между обоими огромными мужчинами.

Где бы Кленк ни бывал, везде и всегда излучал он доброжелательство и приветливую веселость. Эрих Борнгаак своим подавленным видом внушал ему искреннюю жалость. Кутцнеровские речи о деле Дельмайера были великолепны, но потрясли лишь воздух, а не упрямого Мессершмидта. Тот стоял на своем. Де-



легацию, направленную к нему «патриотами» по поводу дела Дельмайера, он даже не принял. И все же Эрих знал, что Кутцнер — единственный человек, способный добиться освобождения его друга. Но как заставить вождя действовать в этом деле и дальше? При первом паступлении этот тщеславный человек обнаруживал неимоверную энергию, но, раз промахнувшись, редко принимался вторично за то же дело. Если Эриху не удастся выставить настоящее тяжелое орудие, вождь, несмотря на все свои громкие слова, поостережется связываться с таким неприятным противником, как Мессершмидт. Что бы ему предпринять, — спросил однажды Эрих Кленка, — что могло бы заставить вождя исполнить его желание?

Кленк немного подумал.

— Впечатление на вождя, — сказал он наконец, — производят не заслуги, а слава. Эрих должен завоевать себе славу среди «патриотов».

— Как же завоевать среди них славу? — спросил Эрих.

— Совершив блестящий подвиг, — ответил Кленк. И, убедившись, что Эрих, по-видимому, не совсем понимает его, он пояснил свою мысль. Дело вовсе не в полезности или разумности подвига. Нужен известный блеск. Пусть это будет нечто совсем глупое, но оно должно излучать блеск. Лучше всего — мрачный блеск. Элемент риска должен быть в таком подвиге, элемент опасности, «северного духа», героизма, ну, словом, мрачного блеска.

Эрих Борнгаак поблагодарил. Погрузился в размышления о подвиге, излучающем мрачный блеск.

## 23

### КАЛИБАН

Служанка Амалия Зандгубер родилась в деревне недалеко от Мюнхена. Была дочерью безземельного крестьянина. Подростком бежала она из печального дома в город, поступила там в услужение. Рано начала

водиться с мужчинами. Была девушка любопытная, добродушная, легковверная и сентиментальная. Однажды она разрешилась мертворожденным младенцем. Второй ребенок умер вскоре после рождения. Наученная опытом, она стала вести записи с точными датами своих встреч с мужчинами. Записывала, например: «Альффонс Гштеттнер, Буттермельхерштрассе, 141; встретила во 2-е воскресенье июля в Английском саду за Молочным домиком». Она очень гордилась таким хитроумным приемом. Находясь на службе у четырех артистов, она вместе с ними уехала в Северную Германию. Переменив там несколько раз место, наконец попала в семью Клекнер. Хозяин дома, когда Амалия поступила к ним, был полковником. Вскоре он получил повышение. Служба у такого шикарного офицера льстила самолюбию Амалии, его повелительный, резкий голос доставлял ей какое-то особое удовольствие. Она была беспредельно преданна своему хозяину и в его присутствии вела себя как в церкви.

Во время войны она оставалась на службе у генеральши. Генерал Клекнер, так же как и генерал Феземан, после окончания войны несколько недель нигде не показывался. Когда Феземан переселился в Мюнхен, Клекнер последовал за своим другом, которого глубоко чтил. Таким образом и служанка Амалия Зандгубер снова вернулась в Мюнхен. Она была уже не так молода: ей было около тридцати шести лет. Она радовалась, слыша снова, после столь долгого промежутка, звуки родного говора. Она понимала, что говорят вокруг нее, и все понимали ее. Мужчины тоже понимали ее; она была плотная, ловкая и очень покладистая девица.

У генерала Клекнера бывали в доме многие из вождей «истинных германцев». Разговоры велись с наивной откровенностью. От прислуги ничего не скрывали, тем более — от такой преданной служанки, какой была Амалия Зандгубер. Речь шла об организациях, восстаниях, приказах, о планах уличных шествий и складах оружия. Служанка Амалия Зандгубер к этим разговорам не прислушивалась, а если и улавливала случайно

какие-нибудь отрывки, то все равно ничего не понимала.

В те дни с ней связался тридцатилетний приказчик мясной лавки. Это был крепкий, рослый парень. Амалия, по-видимому, нравилась ему. По воскресеньям он отправлялся с ней на прогулку. Эта связь длилась дольше, чем связи с другими ее любовниками. Она была счастлива. Жалко только, что так редко удавалось встречаться. Она бывала свободна лишь раз в две недели по воскресеньям. В другие дни было очень трудно урвать время и побыть вместе без помехи дольше нескольких минут. Теперь, правда, в доме генерала царил небывалое оживление. Генеральша была в отъезде. Если удавалось заблаговременно узнать, что явятся определенные посетители, тогда иной раз можно было освободиться ночью на два-три часа. Поэтому, чтобы установить время свидания с Амалией, молодому мяснику нужно было заранее знать, когда именно должны явиться эти определенные посетители. Амалия была прекрасно осведомлена. Можно было твердо назначить час встречи.

«Истинные германцы» заметили, что в левых кругах были точно осведомлены о том, кто бывает в доме генерала Клекнера и когда именно происходят там собрания. Особенно серьезного в этом ничего не было: генерал был вправе принимать кого ему заблагорассудится. И все же становилось несомненным, что в доме генерала — предатель. Слово «предатель» пользовалось особым успехом в кругах «истинных германцев». Один из романтических параграфов устава организации гласил: «Предатели уничтожаются тайным судилищем». «Тайное судилище» было организацией, существовавшей в Германии в средние века, — организацией, ставившей себе задачей восполнить недостатки громоздкого официального средневекового судопроизводства и заменить его более скорой и в то же время более соответствующей народным настроениям формой юстиции. Движение «патриотов» вновь призвало к жизни этот институт, но в несколько новой форме — с явным налетом влияния приключенческих романов об индейцах, — превратив его в жутко-романтическую органи-

зацию, устранявшую по приказу каких-то неопределенных начальствующих лиц всякого, кто приходился ей не по вкусу. От руки этого мрачного судилища, являвшегося неотъемлемой частью организации «истинных германцев», пало в Германии несколько сот человек. Кое-кто из «патриотов» стал высказывать подозрения по адресу служанки Амалии Зандгубер, которая, по-видимому, была виновницей предательства в доме генерала. Когда же после одного из собраний у генерала властям было выдано местонахождение склада оружия «патриотов», так что их агентам в полиции лишь с большим трудом удалось своевременно спасти нужное партии оружие, «тайное судилище» недолго думая приговорило служанку Амалию Зандгубер к смерти. Генералу об этом ничего не сообщили. Достаточным доказательством вины было сочтено уже одно то, что ее видели в обществе приказчика мясной лавки, принадлежавшего к коммунистической партии.

Исчезновение то одного, то другого из людей, приговоренных «тайным судилищем» к смерти, в последнее время стало привлекать внимание общественности. В левых газетах появились возмущенные статьи. Власти вынуждены были поставить «патриотам» на вид, что они не смогут дольше оставаться безучастными. Таким образом, приведение в исполнение приговора над служанкой генерала представляло некоторый риск. Перед Эрихом Борнгааком открылась возможность совершить сверкающий мрачным блеском подвиг. Он взял на себя поручение покончить с девицей Зандгубер при соблюдении необходимой тайны, но все же так, чтобы ее смерть послужила должной угрозой всем предателям.

Генерал Клекнер держал несколько собак, которых Амалия Зандгубер время от времени должна была выводить на улицу. Да и кроме того, любопытной и болтливой девушке часто представлялся случай под предлогом какого-нибудь поручения вырваться на короткое время из дому. Генерал жил в районе, застроенном виллами, в тихой аристократической части города. Дома стояли поодаль друг от друга, окруженные садами. Улица была мало оживлена, так что каждое новое лицо привлекало к себе внимание. В последнее время внима-

ние Амалии стал привлекать красивый молодой парень в кожаной шоферской куртке. Стоило ей выйти на улицу, как он оказывался тут как тут и вертелся около нее, очевидно стесняясь заговорить. Она ободряюще улыбалась ему, и в конце концов он решился раскрыть рот и заговорил, хотя и несколько беспомощно, но все же не без грубоватой галантности. В отличие от местных обычаев он не перешел сразу же в решительное наступление. Прошло несколько дней, а ничего еще не случилось. Такое поведение казалось служанке особенно джентльменским. Кроме того, она испытывала какую-то почти материнскую нежность к этому юноше, по-видимому так мало искушенному в вопросах любви. Мясник, правда, предостерегал, ее, говоря, что у этого парня хитрая, настоящая «истинно германская» рожа и что пусть она будет осторожна: от этих людей хорошего ждать не приходится. Он полагает, что этот тип подъезжает к ней с какими-нибудь определенными целями и эти цели, должно быть, весьма мало похожи на то, что себе в мечтах рисует Амалия. Но девушка Зандгубер решила, что речи мясника продиктованы ревностью. Она радовалась, что все еще привлекает кавалеров, и когда юноша в кожаной куртке предложил ей в один из ближайших вечеров проехаться с ним на автомобиле в Штарнберг, она, сияя, согласилась.

К сожалению, в автомобиле они оказались не одни. Юноша в кожаной куртке (его звали Людвигом), к своему великому сожалению, не мог отказать двум приятелям, которые помогли ему достать автомобиль, прихватить их с собой на прогулку. Один из приятелей был особенно шикарен и франтоват, настоящий джентльмен. Второй меньше понравился Амалии. Это был неуклюжий, какой-то словно заспанный человек, и, в то время как шикарный, здороваясь, поцеловал краснеющей Амалии руку, второй лишь скользнул по ней тяжелым взглядом и едва кивнул.

Выехали поздно вечером. Дул южный ветер,— совсем незаметно было, что уже декабрь. Почти весь снег стоял. Приятели устроились на переднем сиденье. Амалия и Людвиг расположились внутри автомобиля.

Это был прекрасный лимузин, и Амалия гордилась своим Людвигом и поездкой. Все же ей было не так весело, как она предполагала раньше, так как мешало присутствие посторонних. Хорошо, конечно, что Людвиг не был так настойчив, как другие ее поклонники, по все-таки ему следовало бы быть более разговорчивым. Правда, сидевшие впереди были еще более молчаливы. Ехали медленно по направлению к югу, миновали предместье Зендлинг, приближаясь к обширному, редкому и малолюдному Форстенридовскому парку.

Да, тем, впереди, — Эриху Борнгааку, сидевшему за рулем, и боксеру Алоису Кутцнеру, — не о чем было разговаривать друг с другом. Ведь все было уже переговорено. Боксер тупо глядел на дорогу, которую свет автомобиля выхватывал из темноты. В эту декабрьскую ночь он обливался потом, южный ветер душил его. Он был рад, что наконец-то перед ним открывается возможность действовать — нечто реальное. Слишком уже затянулась история с королем Людвигом II. Мальчишки болтали, сыпали обещаниями, а старый властитель все еще томился в тяжелом и унижительном заточении. Когда Эрих предложил ему участвовать в устранении предателя, он с радостью согласился. Хотя и не разберешь, кто в чем, — все они, вся эта банда предателей, виноваты в том, что король взаперти. Наконец-то хоть что-нибудь произойдет, наконец-то понадобился и Алоис Кутцнер, его сила, его руки! Иметь возможность схватить кого-то за горло, выжать из него красный сок — это было приятно, в этом было облегчение.

Девушка Амалия Зандгубер сидела рядышком со своим Людвигом. Она всунула свою руку в его, но он как-то слабо реагировал на ее ласку. Он ведь всегда был так стеснителен. Сегодня же он был особенно молчалив. Возможно, потому, что ему сейчас вспомнился его отец и то, как он мальчиком мчался с ним в темноте по этому лесу, пугая королевских кабанов. Но Амалия не знала этого.

— Как жаль, что мы не одни, — проговорила она.

— В компании всегда веселей, — уклончиво ответил он.

— Да, конечно,— согласилась она.— А все-таки жаль.

Прекрасная ровная дорога была пустынна в этот вечер: дул сильный южный, щекочущий нервы ветер. Лишь изредка попадались навстречу экипаж или велосипедист. А тут вдруг, проехав мимо лесничества, машина свернула с широкой проезжей дороги на какую-то боковую, размокшую от талого снега. Автомобиль покачивался, вокруг него взлетали брызги грязи.

— Куда же он едет? — спросила девушка.— Я думала, что мы едем в Штарнберг.

— Отсюда можно ближе проехать,— сказал Людвиг.

— Да разве он здесь проберется? — забеспокоилась Амалия.

Пробраться, по-видимому, было невозможно, так как автомобиль остановился. Сидевшие впереди соскочили на землю.

— Что случилось? — спросила Амалия.— Я заранее могла бы сказать господам, что мы здесь не проедем.

— Если захотим, то доберемся куда нужно,— сказал неуклюжий, полусонный. Амалии он нравился все меньше и меньше. Франтоватый вообще ничего не ответил.

— Так в чем же дело? — настаивала девушка.— Ведь для того, чтобы добраться до Штарнберга, нам нужно вернуться назад на дорогу.

— Наплевать на Штарнберг! — мрачно произнес боксер, вспомнив при этом об озере, в которое будто бы бросился его любимый король.

— Выходите все, господа! — весело крикнул франтоватый.— Вы увидите, барышня, здесь гораздо уютнее.

— Да,— вмешался теперь и ее Людвиг.— Здесь будет хорошо.

Девушка растерянно оглянулась.

— Как так — уютно? — спросила она.— По-моему, здесь ужасно неуютно. Всюду грязь. Где же здесь можно присесть? А только шагнешь — и будут полные башмаки воды и грязи.

— Дело в том, что у меня в двух шагах отсюда охотничий домик,— сказал франтоватый и улыбнулся своими алыми губами, полуоткрыв белые зубы.— Там все приготовлено для скромного ужина. Мне доставило бы особое удовольствие, если бы барышня оказала мне честь,— и он дерзко и настойчиво поглядел на нее своими голубыми властными глазами. Поддаваясь очарованию джентльменских манер и уже почти соглашаясь, Амалия нерешительно взглянула на Людвига. Но это скорее было уже проявление кокетства, чем сомнения.

— Итак, в путь! — сказал Людвиг.— Нечего тут долго ломаться!

Он выскочил из автомобиля. Амалия последовала за ним, ступила на мокрый, скользкий снег, кокетливо вскрикнула и с досадой сказала, что погода прямо свинская.

Франтоватый и Людвиг подхватили ее с двух сторон под руки. Неуклюжий, тяжело ступая, шагал сзади. Так они двинулись по узкой тропинке, ведущей в глубину леса. Густо окрашенные облака мчались по небу. Справа и слева порывами дул сильный теплый ветер. Узкой кривой полоской стоял над деревьями месяц. Всюду капало и текло. Идти было скользко. Мутно-белые, поблескивали лужи тающего снега. Когда попадалась лужа пошире, Людвиг и франтоватый крепче подхватывали девушку и с размаху перескакивали с нею через это препятствие. В общем, это было даже весело.

— А у вас, господа, здоровые мускулы! — одобрительно воскликнула Амалия.— Но ведь пять минут прошло уже; далеко еще до вашей виллы?

— Нет, уже недалеко,— ответил франтоватый.

Тропинка оборвалась. Теперь приходилось уже пробираться прямо через кустарник.

— Да ведь это не дорога,— сказала Амалия.

Ее подняли на руки и понесли. Изредка ее царапали ветви деревьев, но в общем все же было очень приятно продвигаться так через лес на руках этих крепких мужчин, ощущать на себе теплое дыхание ветра.

— Да ведь это вовсе не дорога,— повторила она.— Как же вы доберетесь до вашей виллы?



— Где есть вилла, там есть и дорога, — сказал франтоватый, с улыбкой взглянув на нее.

С какими образованными людьми водился ее Людвиг!

С тех пор как они пробирались сквозь кустарник, неуклюжий шагал уже не позади, а впереди, отгибая ветки, склоняя их вниз, расчищая путь. Эриху Борнгааку вся эта история начинала уже надоедать. Теплый ветер раздражал его почти так же, как болтовня этой дуры на его руках. На боксера Алоиса ветер не производил впечатления. Он был полон мрачной жажды действия.

Добрались до прогалины. Мужчины спустили девушку наземь.

— Разве здесь ваша вилла? — глупо смеясь, спросила она.

Мужчины помолчали.

— Ах, — проговорила она, — меня все-таки тяжело было нести! Вам, наверно, нужно передохнуть?

— Кто-то другой скоро отдохнет, — пробурчал боксер.

— Что это с вами со всеми? — спросила Амалия, оглядывая стоявших молча и неподвижно вокруг нее людей. Людвиг вытащил из кармана своей кожаной куртки листок бумаги и громко прочел: «Служанка Амалия Зандгубер выдала важные государственные тайны. Предатели уничтожаются тайным судом». Амалия поглядела на него, ничего не поняла. Она сочла, это за шутку, но нашла, что шутка неумная. Кроме того, здесь было сыро и грязно. Если сейчас не выберешься отсюда, то завтра обеспечена простуда.

— Мне кажется, — сказала она, — что пора отправиться на вашу виллу или же в Штарнберг. От свежего воздуха хочется есть.

Боксера Алоиса возмутил такой цинизм.

— Я думаю, — произнес он, и слова его звучали словно по писаному, — не следует человеку так упорствовать в свой смертный час.

— Какой ваш приятель шутник! — сказала Амалия, несколько растерянно переводя взгляд с одного на другого.

Но мужчины старались не глядеть на нее. Поэтому ей уже не суждено было уловить их взгляд, и последнее, что она увидела, было лицо Алоиса Кутцнера, который, приблизившись к ней, раньше, чем она успела вскрикнуть, раньше даже, чем она могла испугаться, нанес ей со страшной силой удар подковой, которую он в последнее время постоянно носил при себе «на счастье». Затем он опустился около нее на колени, быстро пробормотал слова молитвы, прося бога дать ему силы поскорее ее прикончить, и задушил ее.

И вот она лежала в грязи, в тающем снегу. Для этой автомобильной поездки она нарядилась по-праздничному, надела коротенькую модную юбку. Юбка сдвинулась, приоткрыв колено и над ним узкую полоску кожи и краешек грубых белых панталон. Крепкие ноги были обуты в чересчур нарядные туфли. Шляпа съехала набок. Ее лицо, обрамленное жесткими, коротко подстриженными волосами, посинело почти до черноты; изо рта высунулся язык.

Эрих, переминаясь с ноги на ногу, закурил папиросу. Не больше двух недель срока дает он себе, — самое большее через две недели Георг должен быть свободен. И он вдруг взглянул на убитую острым, пронизывающим взглядом. Людвиг Ратценбергер мысленно с удовлетворением отметил, что все кончилось быстро и он свободно к половине одиннадцатого поспеет к ресторану Пфаундлера за своим господином Рупертом Кутцнером. Боксер Алоис Кутцнер смахнул грязь и снег, приставшие к его коленям. «Так бы их всех, паршивцев!» — пробормотал он и воткнул в снег около покойницы сухую ветку. К ветке он прикрепил листок бумаги с неумело нарисованной на нем черной рукой и надписью: «Предатели! Остерегайтесь!» Он сделал это потому, что устав, которым должно было руководствоваться «тайное судилище», гласил: «Предателей следует убивать, оставляя при этом знак, ясно указывающий на причину казни».

— Так просто это не делается, — неодобрительно заметил Людвиг Ратценбергер. Он вытащил отпечатанный на пишущей машинке приговор и заменил им записку, прикрепленную боксером к сухой ветке. Но боксер

остался недоволен. Холодный деловой шрифт машинки не казался ему достаточно наглядным выражением значительности поступка, и он настаивал на том, чтобы записка с изображением черной руки была оставлена на месте. Эрих Борнгаак предложил оставить и то и другое. На этом все согласились. Так и сделали.

## 24

### ПИСЬМО, НАПИСАННОЕ НОЧЬЮ

Убийство служанки Амалии Зандгубер, несмотря на бурные события в политической и экономической жизни страны, привлекло к себе всеобщее внимание. Полицейский отчет, правда, ограничился кратким сообщением об обнаружении трупа, и большинство мюнхенских газет поместило это сообщение без всяких комментариев. Полицейские власти на поступающие запросы отвечали, что убийцы оставили на месте преступления записку с явной целью отвлечь внимание от настоящих мотивов убийства, которое, несомненно, носило чисто личный характер. Убитая была женщиной легко доступной; существует предположение, что кто-нибудь из ее знакомых мужчин заманил ее в парк с целью ограбления. На несколько дней был арестован приказчик из мясной лавки, с которым ее часто видели в последнее время. Но мюнхенские левые газеты упорно держались той версии, что убийство совершено исключительно по политическим мотивам. Берлинская печать также подхватила этот случай, разразилась рядом очень резких статей. Вся обстановка убийства, выдержанная в стиле авантюрных романов, говорила о том, что оно совершено «патриотами». Газеты требовали, чтобы имперское правительство, в виду явной несостоятельности Баварии, положило предел этим кровавым бесчинствам. Сообщали об ожидавшейся в рейхстаге интерpellации по баварским делам. Выступить, по слухам, должен был доктор Гейер.

Среди «патриотов» всем было известно, что убийство совершено Эрихом Борнгааком. Находили, что свою за-

дачу он выполнил очень ловко, с шиком. Прикончить эту дуру было несложно, но требовалось мужество для того, чтобы открыто бросить вызов обществу, ясно и недвусмысленно дать ему понять: это дело наших рук. Ведь нельзя было знать наперед, что полиция проглотит и это.

Эрих строил свои надежды на распространявшихся всюду лестных для него слухах. Катался в Английском саду верхом в сопровождении Симона Штаудахера. Энергично выступал в партийном секретариате. Полураскрыв рот, скользила по нему взглядом Инсарова, покорная и жадная.

Узнав, что с интерпелляцией выступит доктор Гейер, Эрих улыбнулся удовлетворенно. Его подвиг задел старика — значит, он сделал свое дело. Он остался вечером дома, уже пресыщенный восторженным преклонением товарищей. Расхаживал по комнате, окруженный портретами фон Дельмайера, Феземана, Кутцнера, среди развешанных вокруг собачьих масок. При случае он мог бы снять маску с Инсаровой. Почему, собственно, он не повесил здесь маски той женщины, Иоганны Крайн? Деликатность? Дурацкая сентиментальность!

Он вытащил маску, внимательно принялся разглядывать белый слепок. Широкое лицо с тупым носом кажется поразительно строгим. Когда он снимал с нее маску, она была в настроении весталки. Зато позднее она уже не походила на весталку. Как бы глупо она ни смеялась, как бы высоко, хоть до самых волос, ни поднимала она брови, все-таки она принадлежала ему.

Если бы она узнала, что убийство Амалии Зандгубер совершено им, что бы она на это сказала? История с депутатом Г. как будто задела ее в тот раз за живое. Такие штуки на большинство женщин действуют возбуждающе. С другой стороны, глядя на эту маску, ему самому трудно поверить, что эта женщина так легко пустила его к себе в постель.

Маски с закрытыми глазами всегда дают повод к неверным заключениям. При взгляде на этот белый слепок трудно представить себе, что эта самая Иоганна Крайн могла болтаться в Париже с каким-то г-ном Гессрейтером. Да и все то, что она проделала с ним, Эрихом...

Должно быть, эта история с Мартином Крюгером так выбила ее из колеи. Если бы она сейчас раскрыла глазки, то поняла бы, пожалуй, что происходит на свете. Он-то вытащит своего Георга из тюрьмы, а добудет ли вот она своего Крюгера? У кого есть повод смеяться — у нее или у него? Если бы она подольше держалась за него, он, может быть, извлек бы и Крюгера. В таком деле нужна сноровка.

Баварское лицо с обычными чертами славянского типа! Тут уж никто не посмеет спрашивать, а не был ли евреем отец этой Иоганны Крайн.

Не собирался ли он написать некоему доктору Гейеру, депутату рейхстага в Берлине, готовившему интервью о происшествии в лесу Форстенрид?

Напишем!

Он сел за стол; не захотел писать на машинке. Писал долго. Поднимая глаза, он видел белую маску. Время от времени он зачеркивал какое-нибудь слово, улыбался, радовался. Он переделывал письмо несколько раз, смаковал каждую фразу. Это было великолепное письмо, сладостно было писать его. Два часа сряду просидел он так, один, среди ночи. Раньше чем сложить письмо, он прочел его вслух. Когда он надписывал адрес, облизывал марку, наклеивал ее, опуская письмо в ящик, он все еще наслаждался им, до дна испил его прелесть.

На следующий день он уложил маску, отправил ее Иоганне Крайн. Ему казалось, что белый слепок воспринял слова его письма, всосал их в себя и теперь передаст их этой Иоганне Крайн. Он улыбался, представляя себе, как Иоганна примет его посылку.

Антон фон Мессершмидт возмущился. Выпрямился, грозно потребовал от своих подчиненных расследования преступления, совершенного в лесу под Мюнхеном. Уже несколько лет, как гнусные бесчинства «тайных судилищ», казалось, задохлись в собственной грязи, а теперь

эти мерзавцы взялись за старое. Осквернили своим преступлением лес, и никто не находит в этом чего-либо особенного. Всего семь строчек в «Местных происшествиях». Они находят в порядке вещей, чтобы четверо или пятеро мрачных юношей казнили человека, какую-то глупую потаскушку, по-видимому имевшую такое же отношение к государственной измене, как кочегар к ледяному катку. Мессершмидт злобно рычит. Он не допустит, чтобы убийство замяли, он этого не потерпит.

Он поднял этот вопрос на ближайшем же заседании кабинета. Потребовал поддержки других ведомств, придавая большое значение согласованной работе судебных органов и полиции. Вмешательства, следовательно, министерства внутренних дел. Он, со своей стороны, предполагает назначить за обнаружение преступников высокую награду. Вряд ли в те годы в Баварии мог найтись благоприятный момент для такого требования, но данный момент был наиболее неблагоприятным. Занятие Рурской области вызвало неимоверную бурю возмущения даже среди наиболее спокойных слоев населения. Покушение на национальное единство в подобное время из-за такого пустяка, как убийство служанки, граничило с преступлением. Все козыри были в руках «истинных германцев». Меряться с ними силами было бы сейчас для законной власти просто безумием.

Все члены кабинета придерживались именно такого мнения. Они высказывали его, — кто многословно, под каким-нибудь соусом, кто кратко и недвусмысленно. Даже тихий г-н фон Дитрам решился заговорить в более сильных выражениях. Они наступали на Мессершмидта разом в несколько голосов. Молчал только один из них. Это был Флаухер.

Мессершмидт внимательно выслушал все возражения. Ему заранее было ясно, что его коллег в настоящее время гораздо больше интересует французский премьер-министр Пуанкаре, чем покойная служанка Амалия Зандгубер, и, конечно, не имело смысла именно теперь требовать от них поддержки. Но Мессершмидт все же не мог молчать, — такой уж он был чужак. И вот он сидел среди них в своем длинном черном сюртуке. Сизые щеки его под густой грязновато-белой щетиной дро-

жали. Несколько глуповато переводил он взгляд своих окруженных тяжелыми мешками глаз с одного лица на другое. Долше всего задержался на тяжелом черепе Флаухера, продолжавшего сидеть молча и неподвижно. Затем Мессершмидт заговорил, и голос его звучал хрипло:

— Я не верил этому, господа, но должен был себе представить, что именно так оно и будет. Вы совершенно правы: это — пустяковое убийство. И «Генераль-анцейгер» прав, посвящая ему всего лишь семь строк, а демонстрации «истинных германцев» — четыреста строк, и на следующее утро — еще четыреста строк, и вечером — еще четыреста. У нас было также и несколько крупных убийств, о которых писали больше. Но ничего от этого не изменилось. Вы правы: это всего лишь пустяковое убийство, и смешно, что мы в такой тяжкий для нашего отечества час говорим о нем. Но видите ли, господа, вот это пустяковое убийство я больше не согласен покрывать. Я велел собрать некоторые цифровые данные. Успокойтесь, я не опубликую их, они послужат только для нашей собственной информации. Три тысячи двести восемь преступлений совершено за последние два года «истинными германцами», и следовало бы, если действовать по закону, возбудить восемьсот сорок девять судебных дел.

Он говорил до сих пор сидя; теперь он вдруг поднялся и произнес совсем тихо, переводя взгляд с одного на другого:

— Восемьсот сорок девять судебных дел! Из них было заслушано всего лишь девяносто два, и самое большое, на что можно рассчитывать, — это то, что будет еще дел шестьдесят — семьдесят. И ничего из этого не выйдет. Они убивают и крадут, они всё перевернули вверх дном, так что никто уже не знает, что хорошо и что дурно. Они мажут грязью надгробные памятники; напившись, отправляются на еврейское кладбище и блюют на могильные плиты. Вы можете счесть меня сентиментальным, но я не могу спать, когда вспоминаю об этих могильных плитах. Они пачкали их своими извержениями, они, как и все преступники, оставляли там свои «визитные карточки». И вот, видите ли,

поэтому я не покрою этого пустякового убийства. Я его не покрою! — закричал он вдруг, ударяя рукой по столу.

Неприятная тишина наступила в прекрасной комнате с красивой старинной мебелью. Г-н фон Дитрам только что побывал в Берлине на заседании премьер-министров всех германских союзных государств. Присутствующие сегодня собрались, собственно, только затем, чтобы выслушать отчет о его берлинских впечатлениях и вынести несколько резолюций общенационального характера. А беспокойный Мессершмидт вдруг пристал с этой историей. Все переглядывались. Г-н фон Дитрам покашливал. Лица у всех были растерянные. Один только Флаухер, потирая рукой где-то между шеей и воротничком, улыбался.

И Мессершмидт, увидев эту улыбку, перестал горячиться. Плечи его вяло опустились.

Затем, как и предполагалось ранее, был принят ряд решений общенационального характера. Тремя днями позже произошло переформирование кабинета. Как-то совершенно автоматически исчез г-н фон Мессершмидт. Автоматически также исчез почему-то и тихий г-н фон Дитрам. Формирование нового кабинета было поручено доктору Францу Флаухеру.

Господин фон Мессершмидт вечером того дня, когда окончательно подтвердилось известие о его отставке, отправился в «Мужской клуб». При его появлении все смолкли, и никак уже не могла наладиться сколько-нибудь непринужденная беседа. Ухмылялись, перешептывались. Он ясно услышал: «Помните о хлебопекe!» Он и раньше знал, что он одинок, что его считают человеком, который из старческого упрямства прилип к своему месту, хотя и вредит этим стране. И все-таки его больно задело, когда он увидел теперь, как его бойкотируют.

Он уселся в одно из огромных кожаных кресел. Он уже не заполнял его, как прежде. Его лицо похудело, борода была уже не столь холеной; мутно и тупо глядели глаза на болезненно-красном лице. Он взял в руки газету, но не читал ее. Он был исполнен горечи. «Выкинут, словно стоптанная туфля», — подумал он. Искоса



поглядывал он на других. Гартль дерзко улыбался: еще бы — он понимал, что его акции поднимаются. Флаухер сидел на своем стуле, широкий, угловатый. Его маленькие глазки победоносно сверкали. Вводить в клуб собак было, собственно говоря, запрещено, но у ног его потягивалась такса. Флаухер теперь мог себе это позволить. Он здорово далеко пошел, этот четвертый сын секретаря королевского нотариуса в Ландсгуте! Компанию ему составлял Себастьян Кастнер, его верный друг, депутат от оберланцингского округа, говоривший ему что-то своим грубоватым голосом. Мессершмидт сидел один, подставляя большую голову сыпавшимся по его адресу насмешкам, насыщая свое сердце горьким удовлетворением. Он исполнил свой долг. Чудесно будет теперь не иметь дела со всем этим свинством и заняться своими баварскими редкостями. С прошлой весны он ни разу не был в Национальном музее, где хранились государственные коллекции таких вещей, какие он любил. «*Otium cum dignitate procul negotiis*»<sup>1</sup>, — подумал он. Но спокойная созерцательность быстро улетучилась, наглые, насмешливые физиономии остались.

В дверь вошел человек, грузный, старавшийся придать своей походке искусственную легкость. До сих пор этот человек всегда показывал Мессершмидту, что хорошо относится к нему. Ну, а сегодня?..

И что же! — он подошел к Мессершмидту. Сел около него. Все взгляды следили за ним. Депутат Кастнер оборвал речь, не договорив фразы до конца. Даже такса забеспокоилась.

Рейндль глядел на осунувшегося Мессершмидта. Недавно, совсем недавно они все здесь бранили Кленка. Нет, старику не пошло на пользу то, что он тогда похвалил Кленка за музыкальность. Если бы не это, он, Рейндль, вряд ли бы сделал Мессершмидта министром юстиции. Сегодня же они лизали Кленку зад. Найдется ли кто-нибудь, кто вспомнит сейчас о том, что Мессершмидт понимает толк в баварском прикладном искусстве?

---

<sup>1</sup> Отдыхать с достоинством вдали от дел (лат.).

Рейндлю были известны все подробности того, как они свалили старика. Как тот готов был испытать всю горечь и безнадежность своей работы, как обеими руками выгребал навоз, как вместо каждого вывезенного воза ему наваливали десять новых. Рейндлю хорошо знакомо, как бюрократически добросовестно выслушиваются и затем саботируются распоряжения. Ну что ж, теперь старика оставят в покое. Он, Рейндль, не станет вмешиваться в формирование нового кабинета. Кто бы ни занял посты министров, все они будут лишь соломенными чучелами, которыми играет ветер.

Он, Рейндль, всегда там, откуда дует ветер. Его дела возносили его в грандиозном победоносном вихре. Благодарный, полный желания сделать старику что-нибудь приятное, глядел он на Мессершмидта, оживленно болтал с ним о баварских редкостях, предложил ему косяком поменяться из своих коллекций с большой выгодой для старика. Тот на глазах расцветал от слов Пятого евангелиста. Остальные бросали завистливые взгляды, и когда старик шел домой, его мучила мысль о том, что он не довел до конца дела Крюгера.

Доктор Франц Флаухер на следующий день позвонил Кленку по телефону, предложил ему министерство юстиции. Он считал, что, платя противнику своему добром за зло и преодолевая себя, он совершает поистине святое и угодное богу дело. Но что же ответил ему этот несерьезный человек? «Я сижу в прекрасном мягком кресле, Флаухер,— сказал он.— Так неужели я стану менять его на ваш стульчак в министерстве юстиции? И не подумаю!» И захохотал. Это был его громовой, спокойный хохот, но во флаухеровских волосатых ушах он прозвучал так ужасающе греховно, что он поспешно, словно нечто горящее, швырнул телефонную трубку на вилку.

Министерство юстиции, согласно всеобщим ожиданиям, получил доктор Гартль. Прежний министерский пост Гартля Флаухер передал своему обожателю Себастьяну Кастнеру, депутату от оберланцингского избирательного округа.

Нельзя было отрицать, что благодаря таким мерам весь кабинет в целом получил более однородную окраску.

ску и избавился от всякого рода трений в работе. Многие вздохнули с облегчением от того, что место осторожного Дитрама занял крепкий чистокровный баварец Флаухер, а место упрямого, непокладистого Мессершмидта — скользкий, как рыба, гибкий Гартль.

По окончании формирования кабинета доктор Франц Флаухер направился в маленький желтый, построенный в стиле «бидермайер», дворец, где ему в дальнейшем предстояло жить. Был вечер, и в доме находился один лишь швейцар. Флаухер долго просидел в своем будущем кабинете один со своей таксой, смиренный и гордый в сознании своего призвания. Он взял в руки большой кусок мела. Хотя праздник богоявления господня и прошел, все же выполнение благочестивого обычая никогда помешать не могло. Аккуратно вывел он мелом над дверьми своего кабинета: «K + M + B» — начальные буквы имен трех святых: Каспара, Мельхиора, Бальтазара, и над этими буквами — узором цифры наступившего года. В этот тяжкий час своего призвания новый премьер-министр дал обет совершить паломничество в Альтеттинг, к пресвятой деве, в алтаре которой хранились сердца баварских королей. Исполненный благочестия, ясно в мыслях своих представил он себе священный городок: его церкви, где творились милосердие и чудеса для удобрения человеческих душ, его заводы, где изготовлялся калий для удобрения отечественной почвы.

Он был в приподнятом настроении, ощутил потребность в музыке. В этот час по радио обычно передавали музыку. Флаухер не был суеверен, но все же жаждал узнать, что именно он теперь услышит, и был готов воспринять это как знамение, — в том случае, если оно окажется благоприятным. Он включил громкоговоритель, и в его волосатых ушах зазвучал прекрасный низкий женский голос в мягких волнах колокольного перезвона и скрипок. Звучала знакомая мелодия, созданная старинным пемецким композитором:

О, пробей, мой час желанный,  
Рассветай, желанный день!

Флаухер слушал в сильнейшем волнении, впивал звуки, благочестиво наполнял свое сердце верой в господа бога и в самого себя.

Под окнами проходила демонстрация «истинных германцев». Окружив иностранные консульства сильными нарядами полиции, власти были спокойны, что иностранные дипломаты не будут избиты. Сейчас «истинные германцы» мирно шествовали по Променадеплацу, направляясь в «Серенький козлик» под звуки своей песни:

Паршивцы вы, рабочие, эх, плохо вам придется,  
Когда бригада Ридлера навстречу попадется!  
Бригада эта, свиньи вы, всех разнесет вас в клочья,  
И горе, горе вам тогда, эх, свиньи вы, рабочие!

## 26

### ИОГАННА КРАИН И ЕЕ МАСКА

Прочтя в газете о переформировании кабинета, Иоганна вначале не поняла, о чем идет речь. Она смутно почувствовала, будто ее чем-то ударили по голове. Перечла известие во второй, в третий раз. И тогда только поняла, что этот старик Мессершмидт, походивший на монумент честности, тоже бросил ее на произвол судьбы. И он тоже только водил ее за нос своими красивыми словами.

Хорошо, что она ничего не сказала Мартину об обещании Мессершмидта, о твердой надежде на пересмотр дела или на перерыв в отбывании наказания. Он бы не перенес такого разочарования.

Итак, у старика не хватило выдержки, и он все бросил. Если бы его оставили на этом посту, он, наверное, сдержал бы свое слово. Двадцати шести дней не хватало еще. Ему бы следовало еще потерпеть эти двадцать шесть дней, прежде чем все бросить. Она вот не может бросить, ей это не дозволено.

Она ходила взад и вперед по своей большой комнате на Штейнсдорфштрассе. Вечно на столе лежит какая-нибудь газета и причиняет ей боль. Ей не следовало бы выписывать газеты. Все дурное, что с ней случилось,

всегда доходило до нее через газеты. Дурные новости о деле Мартина Крюгера, грязь, которой забросали ее, убийство депутата Г., смерть Фенси де Лукка — все издавало скверный газетный запах. «Переформирование кабинета». Если бы ей приходилось иметь дело с отдельным лицом: с каким-нибудь Мессершмидтом, с Кленком или даже с Гейнродтом, — она бы справилась с этим. Но постоянно перед ней вырастает нечто туманное, — переформирование кабинета, политическая ситуация, юстиция, государство — все какое-то безликое и отвлеченное. Как может с этим справиться женщина?

И вдруг ею овладевает ярость. Во всем виноват Тюверлен. Он не должен был оставлять ее одну! Он не должен был предоставлять ей одной справляться с этим!

С собственными делами-то она справится. К долларам, оставленным для нее Тюверленом, она не притронулась. Ее профессиональные дела идут прекрасно, у нее много клиентов-иностранцев. Ей, словно в насмешку, живется очень хорошо.

Вот она сидит в своей большой, просторной комнате, высокая, здоровая молодая женщина. Тут ее аппаратура, ее книги. По квартире расхаживает представительная тетка Амесридер. Как-то приятно глядеть, когда человек так крепко стоит на ногах. И Жак Тюверлен тоже крепко стоит на ногах, — газеты полны известий о его успехах. Тетка пристаёт, чтобы Иоганна вышла за него замуж; она, тетушка, уж наладит это дело. Неплохо было бы, если б тетка меньше говорила об этом. Сам Тюверлен пишет коротко, весело, мило. Постоянно по адресу: «Вилла «На озере» Аммерзее». Над тем, что ее ответы звучат сухо, что они немногочисленны и приходят из Мюнхена, он, видно, вовсе не задумывается. Виллу «На озере» он теперь купил. «Это хорошая скорлупка для тебя», — пишет он. Это подло, что он оставил ее одну.

В один из этих дней пришел на имя Иоганны тяжелый пакет, в котором оказалась ее маска. Отправитель не был помечен. Иоганна уже давно и думать за была о ветрогоне. Она положила маску на стол. Это был простой гипсовый слепок, не испорченный подкраской

или отделкой, со всеми порами и тончайшими деталями. Иоганна сидела перед ним, не сводя с него глаз, и глядела в лицо своей маске. Это было широкое, здоровое лицо, благодаря тупому носу и закрытым глазам казавшееся спокойным, как глыба земли. Нет, это не ее лицо. Может быть, когда-нибудь, когда она будет мертва, она будет такой. Если у нее такое... она не могла подыскать подходящее слово, — такое спокойное лицо, то почему же бегают за ней мужчины?

Если через несколько сот лет ученый исследователь захочет дать определение этой маски, он назовет ее, быть может, «Молодая крестьянка из Старой Баварии начала двадцатого века». Отличалась ли она чем-нибудь от других? Была ли она чем-то большим, чем другие? Как же она со своим будничным лицом могла требовать от людей, чтобы они прислушивались, чтобы они шли за ней, когда она раскрывала рот?

Как этой одинокой женщине, Иоганне Крайн, с ее будничным лицом, побороть всю Баварию? Это может сделать только человек с огромной хитростью, с бездной лукавства. Никогда не следовало ей вступать в борьбу с официальной Баварией, всегда нужно было оставаться в тени. Оказаться правой или нет — вовсе не в этом было дело. Добиться перерыва в отбывании наказания, амнистии — вот что было важно. Уже ее первые показания были бессмыслицей. Доктор Гейер все это понимал тогда, когда предостерегал ее.

Бороться приходится с невидимой машиной, хитрым и коварным механизмом, который вечно отступает и за который невозможно ухватиться. Человек устает, слабеет, но машина не слабеет. На одной стороне — она, на другой — весь крепко спаянный чиновничий аппарат. Ни один из этих людей ни разу не сказал ей «нет». Они остаются вежливыми даже тогда, когда она груба. Не отказывают, нет, но им только «нужно обдумать», «взвесить», «расследовать».

Люди больше не верят ей. Вот стоит видимая всем разгневанная женщина и яростно бьет по чему-то, чего никто не видит.

Двадцать шесть дней следовало бы еще потерпеть Мессершмидту. Тогда она явилась бы в Одельсберг в

автомобиле. Вероятно, это была бы машина Прекля, Прекль паверно отвез бы ее туда. Она ясно представляла себе, как она стоит на безлюдной дороге у ворот Одельсберга и ждет Мартина.

Нет, у нее не такой тупой вид, как на этой маске. «Борьба даже во имя правого дела,— сказал ей однажды некто,— делает человека дурным». Но такой бесчувственной и тупой она не стала. Нет, этого не может быть. Она вытаскивает из груды старых газет свой портрет, относящийся к тому времени, когда она стояла перед присяжными. Его набросал тогда художник из «Берлинер иллюстрирте». Вот она стоит, резко повернув голову к прокурору, глядит разъяренным взглядом,— все это поза, все это безобразно преувеличено, и все же портрет гораздо вернее, чем эта мертвая белая штука.

Хороший это был гнев тогда. К сожалению только, такой гнев не может удержаться целых два года. Она не может поставить свой гнев в угол и доставать его оттуда, когда он понадобится. Ей каждый раз приходится сызнова заводить себя, и это с каждым разом становится труднее.

Ей нужен кто-нибудь, кто помог бы ей. Но только не адвокат Левенмауль, не эти благоразумно-хитрые люди. Она пойдет к Каспару Преклю.

Каспар Прекль кажется ей еще более замкнувшимся в себе, чем всегда. Но, поняв, что сейчас для Мартина Крюгера вследствие переформирования кабинета все снова рушится, он вдруг загорается. Заявляет: да, необходимо что-нибудь предпринять. Кажется, будто он только и ждал ее просьбы. Он подходит к телефону, вызывает управление «Баварских автомобильных заводов», требует Пятого евангелиста. Возмущается, настаивает. Успокаивается только тогда, когда директор Отто лично подтверждает ему, что г-н фон Рейндль действительно в отъезде. Иоганна не видит, как он с облегчением вздыхает.

Но Каспар Прекль на этом не успокаивается. Он отправляется к вдове Ратценбергер. Многие уже пытались придать показаниям г-жи Кресценции Ратценбергер более твердую и определенную форму, чтобы даже

предубежденный судья не мог от них отмахнуться. Но вдова Ратценбергер не поддавалась. Ее Франц Ксавер, правда, все еще не выбрался из пламени чистилища. Но ее страх перед Людвигом был сильнее страха перед покойным, который все же, благодаря ее помощи, значительно приблизился к вечному спасению. И на этот раз вдова также извивалась, придумывая всевозможные отговорки. Каспар Прекль между тем не отставал. То, чего не удалось добиться мягкими уговорами и угрозами, чего не заставили сделать муки совести, того достиг Каспар Прекль своей мрачностью, еще более мрачной, чем мрачность ее сына Людвига. Кати, слабое, недоразвитое дитя, громко заревела от страха перед худощавым человеком, резко и горячо разговаривавшим с ее матерью. Чтобы успокоить девочку, вдове Ратценбергер пришлось отвернуть водопроводный кран. Каспар Прекль не отставал. В то время как Кати, плача, напевала что-то и слушала, как вода с шумом текла из крана, он заставил вдову Ратценбергер подписать показания, более определенные и четкие, чем те, которых до сих пор удалось добиться от нее.

## 27

### АДВОКАТ ГЕЙЕР КРИЧИТ

Экономка Агнеса в длинном, волочащемся платье, шаркая ногами, неустанно бродила по квартире, нанятой ею в Берлине для доктора Гейера. Это были большие темные пустые комнаты в доме, расположенном в конце центральной части города, ближе к его северному, пролетарскому району. Мебель Гейера казалась здесь еще более неуютной и запущенной, чем в Мюнхене. Но желтолицая особа была довольна жизнью в Берлине. Нравилось ей и то, что она тонула здесь в огромной массе людей, населявших это здание. К тому же через дом от них находилось отделение банка, где она могла проявлять свою энергию.

Прежде она опасалась, что адвокат здесь, в Берлине, блестяще развернется. Она была уверена, что он



способен на это, стоит ему только захотеть. Вначале казалось, что он действительно этого хочет. На его приезд здесь возлагали большие надежды, его первое выступление в рейхстаге произвело сильное впечатление и вызвало очень лестные комментарии. Но затем он снова погрузился в свое странное оцепенение. Старался держаться подальше от парламента и газет. Сидел по целым дням дома, временами начинал рыться в своих рукописях «История беззаконий» и «Право, политика, история», но не работал. Затем вдруг отправлялся бродить по улицам пролетарского северного района, ходил часами, не видя людей, среди которых толкался. Исчезал изредка в каком-нибудь погребке, жадно, но без удовольствия съедал пару сосисок и порцию картофельного салата. Экономка Агнеса точно могла установить момент, когда он перестал работать. Началось это после «вечера за кружкой пива» у председателя рейхстага.

Затем произошла эта неприятная история, заставившая газеты снова заговорить о депутате Гейере. На этот раз — с малоприятными комментариями. Доктор Гейер сидел как-то в небольшой пивной, один, за простым деревянным столом, и выводил на его поверхности какие-то цифры и рисунки. За соседним столом двое господ вели громкий политический разговор в духе «патриотов». Доктор Гейер поневоле прислушивался к разговору, возможно, что несколько раз даже взглянул на говоривших. Во всяком случае один из собеседников подошел вдруг к его столу и громким, вызывающим тоном, так, что его должно было быть слышно во всем помещении, заявил, что покорнейше просит так нагло не подмигивать ему. Доктор Гейер ответил нечто мало-вразумительное: он не предполагал, что мог чем-нибудь обидеть этого господина. Так как последний настаивал на извинении, доктор Гейер тоже заговорил очень резко. Началась перебранка. Господин оказался чиновником государственного страхования, не желавшим, чтобы его честь осталась замаранной. Доктор Гейер не счел нужным укрыться за своей депутатской неприкосновенностью. Судебное дело о нанесении оскорбления. Господин из страхового ведомства вел-де самый невинный застольный разговор, депутат Гейер позволил себе

насмехаться над ним, вызываяще ему подмигивать. Доктор Гейер представил врачебные удостоверения, доказывавшие, что в его мигании не было ничего оскорбительного и что оно зависело от болезненных изменений определенных нервов. Он был оправдан. Правая печать не могла отказать себе в удовольствии поместить подробные отчеты об этом деле. С тех пор упоминание имени депутата Гейера вызывало улыбку.

Экономке Агнесе все эти берлинские события были отнюдь не неприятны. С униженным, все более опускавшимся доктором Гейером ей было легче. Но то, что он проделывал в последние дни, — а именно после получения одного письма, — это уже переходило всякие границы и даже ее наполняло беспокойством.

Письмо это прибыло вместе с остальной почтой. Экономка Агнеса, передав доктору Гейеру всю пачку, вышла на кухню и принялась готовить ужин. Внезапно она услышала пронзительный крик, доносившийся из комнаты ее хозяина. Крик не прерывался, он звенел не переставая; прибежав в комнату, она увидела, что доктор стоит у двери и все еще пронзительно вопит, как животное или высеченный ребенок, и при этом бьется головой о дверной косяк.

Остроглазой особе удалось добраться до письма, вызвавшего такой припадок. Оно было из Мюнхена, содержание его было туманно, и подписано оно было лишь одной буквой Э. Все же желтолицая сразу догадалась, от кого письмо, — от того бродяги негодного, кровопийцы; хоть она и не могла бы в сухих словах выразить то, что он хотел сказать, все же она смутно почувствовала, в чем здесь дело, и поняла, почему депутат Гейер так закричал. А писал этот г-н Э. следующее. Он читал о том, что доктор Гейер предполагает выступить с интерpellацией от имени социал-демократической фракции рейхстага по делу об устранении служанки Амалии Зандгубер. В общем, ему с высокого дерева наплевать на то, что предпримет берлинское правительство: в Мюнхене он чувствует себя в полной безопасности. Ввиду того, однако, что он является сторонником полной ясности, он считает нужным сообщить господину депутату в целях лучшей его осведомленности, что не-

которые суммы, предоставленные доктором Гейером в его, пишущего эти строки, распоряжение, были потрачены на организацию этого дела. Он, Э., находит, что они потрачены с пользой. Далее он писал,— и это с красной строки,— что, по его предположениям, доктор Гейер не останется доволен тем, как потрачены его деньги. Он, Э., не может себе представить, чтобы такое различие во взглядах могло существовать у людей одной крови. К сожалению, есть чертовски мало средств для проверки таких вещей. И все же есть одно средство, которое при определенных условиях может привести к полной ясности. И он, изложив доктору Гейеру метод профессора Цангемейстера из Кенигсберга, предлагал ему подвергнуться этому кенигсбергскому исследованию крови.

Вот что прочла в письме экономка Агнеса. Не так ясно и кратко было это написано, как изложено здесь, но все же она поняла, в чем дело. И поняла, что поэтому, должно быть, так кричал доктор Гейер.

И вот с того дня, когда он получил это письмо, экономка Агнеса заметила резкую перемену в поведении своего хозяина. Ведь до сих пор доктор Гейер вел себя всегда как человек мужественный. Даже покушение, произведенное на него в Мюнхене в связи с процессом Крюгера, он пережил без излишней нервозности и каких-либо неприятных последствий, если не считать легкого ранения, после которого он начал хромать. Сейчас вдруг, после стольких месяцев, им овладел страх перед этим покушением, давно уже оставшимся в прошлом. Однажды Агнеса застала его у входных дверей. Он стоял перед ними землисто-бледный, с дрожащими коленями, и никак не мог нащупать замок. Ему казалось, что кто-то крадется за ним, что вот сейчас обрушится на него удар. Однажды среди ночи он вызвал звонком Агнесу к себе в спальню. Он лежал весь в поту. Ей пришлось вместе с ним обыскать всю квартиру. Он был убежден, что к нему забрался министр Кленк.

Доктор Гейер не ответил на то письмо из Мюнхена. Об интерpellации в рейхстаге также пока ничего не было слышно. Он успокоился, приступы страха ослабели. Возбуждение его улеглось.

Он с головой окунулся в работу. Устраивал совещания с товарищами по партии, собирал кипы газет, материалов, просматривал их. Звонил по телефону, посылал телеграммы мюнхенским единомышленникам. Прошла неделя, за ней другая. Тогда только социал-демократы выступили с давно обещанной интерpellацией о баварских делах. Интерpellация, однако, базировалась не на убийстве служанки Амалии Зандгубер, а на так называемой битве в Зендлинге.

Дело в том, что по всей Баварии в тот период шныряли отряды «истинных германцев», для того чтобы «наводить порядок» и производить суд и расправу над неугодными лицами, проделывая, так сказать, репетицию генеральной расправы с внутренним врагом. Такой вооруженный отряд, под командой старшего лейтенанта Вебера и капитанов Мюллера и Эстрейхера, был направлен в качестве карательной экспедиции на электростанцию Вальхензее, — ее рабочие образовали «пролетарские сотни» для защиты от постоянных нападений «истинных германцев». Отряды велосипедистов и санитарные отряды были отправлены в окрестности Вальхензее заранее. Но когда главные силы карательной экспедиции собирались погрузиться в стоявшие наготове на мюнхенском вокзале Изарталь экстренные поезда, железнодорожный персонал категорически отказался везти этих до зубов вооруженных людей. Отряды «истинных германцев», разочарованные и полные желания излить свою жажду действия, напали тогда на южные рабочие кварталы Мюнхена: Зендлинг, Талькирхен, Брудермюльфиртель, Нейгофен, Оберфельд. Они закрыли проход по улицам, приказали жителям запереть окна, заняли входы в дома, крыши, организовали опорные пункты, остановили трамвайное движение, обстреливали всех и все, что попадалось в поле их зрения. Особенно тщательно был взят под обстрел железный пешеходный мостик, перекинутый в этой части города через реку Изар. Полиция, недостаточно сильная, чтобы вступить, заперлась в своих участках. Когда же наконец прибыли полицейские подкрепления, командиры этих отрядов заявили, что «истинные германцы» — «вспомогательная полиция». «Патриоты»

могут спокойно удалиться. Власти ограничились арестом нескольких проживавших в этом районе пролетариев, против которых и было возбуждено дело о нарушении тишины и порядка.

Имперское правительство в этот период было обременено тяжкими заботами. События, развивавшиеся в Рурской области, инфляция, диктатура магнатов тяжелой промышленности, их желание при помощи посланной из центра вооруженной силы свергнуть неудобные им красные правительства в Саксонии и Тюрингии — все это были реальные опасности. Что, по сравнению с этим, представляла собой какая-то там дурацкая «битва в Зендлинге»? Правда, вооружение «истинных германцев» производилось по большей части из запасов рейхсвера. Правительство, конечно, имело законное основание вмешаться. Но разве в Баварии за последнее время не наблюдались гораздо более резкие проявления анархии? Разве не успели уже все привыкнуть к пассивной, наглой манере, с которой Бавария и в этом вопросе относилась к недовольству имперского правительства? То, что эта провинция отличается упрямством, что в ней не прерывается цепь нарушений конституции и всяческих беззаконий, было известно всем, об этом чуть ли не каждый месяц велись дебаты в рейхстаге, по этому поводу решительно никто уже не беспокоился. Интерpellации поэтому ожидали без всякого интереса. Социал-демократы не возлагали на нее никаких надежд, иначе они не поручили бы это выступление доктору Гейеру, который теперь стал уже персонажем комическим.

Поднимаясь на трибуну, доктор Гейер не хромал. Его глаза не мигали, руки не дергались, он вполне владел своим голосом. Итак, вот он стоит на трибуне рейхстага, как когда-то мечтал, стоит в огромном зале, перегруженном старомодно-безвкусными украшениями, и говорит так, что его слышит вся Германия.

Он описывал «битву в Зендлинге», приводил точные цифровые данные о составе отрядов «истинных германцев», об их вооружении. В связи с этим, опираясь на документы, совершенно так, как делал это в своей книге «История беззаконий», он перечислил важнейшие из

произведенных «истинными германцами» насилий, оставшихся безнаказанными. Нападения на прохожих, разгром собраний, ранения и убийства депутатов партий противников, оскорбления имперского правительства, наглые издевательства по адресу президента германской республики, сожжение республиканского флага. Он приводил дату за датой, цифру за цифрой. Говорил едко и в то же время сдержанно, не позволяя себе увлечься ораторскими приемами.

Когда он начал говорить, зал был почти пуст. Немногие оставшиеся вели частные разговоры, корреспонденты газет позевывали, с крайних скамей оратора прерывали насмешливыми возгласами. Но постепенно огромный зал начал наполняться, частные разговоры прекратились, с журналистов спала сонливость. Если раздавался возглас, то он уже не носил характера шутки. Многие из депутатов, чтобы лучше слышать, обступили трибуну. На скамьях правых какой-то маленький старичок, приподнявшись, оперся обеими руками на стол и простоял так, напряженно слушая, довольно долго.

Доктор Гейер в своем списке не упомянул убийства служанки Амалии Зандгубер. Не назвал он также и министра Кленка, который, в сущности, был ответствен за целый ряд перечисленных в его докладе фактов. Но если его скупые слова сумели захватить слушателей своей пылающей остротой, то случилось это потому, что все время, пока он говорил, он видел перед собой не лица депутатов и не пустую роскошь зала пленарных заседаний, а уголок редкого леса и в нем два человеческих лица: одно — с очень белыми зубами, сверкающими из-за алых губ, и другое — огромное, красно-бурое, нагло ухмыляющееся, с трубкой в углу рта.

Эта речь в рейхстаге была единственным ответом доктора Гейера на письмо Эриха Борнгаака. Не считая денежного перевода. Ибо Гейер полагал, что рано или поздно настанет день, когда даже в Баварии нельзя будет оставлять безнаказанными такие вещи, как убийство Амалии Зандгубер, и тогда Эриху Борнгааку понадобятся деньги, чтобы покинуть страну.

## ЗНАМЕНИЕ В НЕБЕ

А в городе Мюнхене все росла мучительная тревога. Доллар стоил уже 24 613 марок. Фунт мяса — 3500 марок, кружка пива — 1020. В то время как все большее число крестьян обзаводилось автомобилями и скаковыми лошадьми, в городах с каждым днем всё больше и больше разрушались и без того скверные жилища. Развивался туберкулез, росла детская смертность. Многие из «тричетвертилитровых рантье» не могли себе позволить даже и четверти литра. Изголодавшиеся, бродили они по залам ресторанов, в которых когда-то с удовольствием проводили вечера, подбирали корки хлеба, корки сыра, допивали оставшееся на дне кружек пиво. Иссушенный дух жителей питался надеждами, дикими слухами. Каждый день сообщали о предполагающихся мерах имперского правительства против Баварии, о военных приготовлениях в Саксонии и Тюрингии. Но больше всего говорили о насилии в Рурской области. Воспевали террористические акты, посредством которых германские бунтари боролись там против иноземной оккупации. Особенно восхваляли человека, устроившего крушение поезда и расстрелянного за это французами. В его память устраивали грандиозные торжества. Его имя присваивали улицам и военизированным отрядам. С его именем на устах «истинные германцы», так называемые рурские беженцы, напали в Мюнхене на редакцию одной левой газеты и произвели там полный разгром. В зажигательных речах Руперт Кутцнер требовал от правительства подражания этому человеку. Священное безумие должно охватить народ! На каждом фонаре должно болтаться по одному из «ноябрьских преступников!» Сердца этих измученных холодом и голодом людей загорались жаждой мести.

На Штахусе, людной площади, которая и во время прежних революций всегда была центром уличной политической жизни, каждый вечер собирались целые толпы. Ораторы старательно и бесплатно разъясняли

политическое положение. К концу зимы произошло нечто особенно сенсационное. Над возбужденной и озлобленной толпой показался в красноватом вечернем небе аэроплан. Описав над людной площадью несколько кругов, он начертил дымом на вечернем небе гигантский знак — знак «истинных германцев», индийскую эмблему плодородия, и повторил это несколько раз. Широко раскрыв глаза, в которых отражалась вера, застыли от удивления тысячи людей. Запрокинулись головы, уставились вверх бледные от изумления лица. Какому-то человеку с рюкзаком за плечами в зеленой шляпе понадобилось с полминуты, чтобы закрыть рот. Только тогда он произнес, обращаясь к своему соседу: «Черт побери!»

Ораторы с удвоенной энергией старались проникнуть своими словами в души, уже подготовленные небесным знамением. Больше всего народу толпилось вокруг худощавого человека, который обращался к толпе, стоя на крыше автомобиля. Разделенные пробормом волосы ниспадали на воротник торжественного черного сюртука. Время от времени он поглаживал седеющую бороду. Хитро поблескивали очень голубые, старавшиеся казаться простодушными, глазки над горбатым носом. Быстро открывался и захлопывался наполненный золотыми зубами рот. Речь его была проста и легко воспринималась заинтересованными слушателями. Он рассказывал о том, как однажды оказался в положении мнимого мертвеца, как доктора в больнице уже вписали было его в число скончавшихся и как, словно чудом каким-то, подоспел профессор Нусбаум и привялся его толкать, трясти и мять. Тогда только выяснилось, что он жив. Вот точно так же, как этот профессор Нусбаум, поступает и вождь Руперт Кутцнер. Как профессор тряс его, так и Кутцнер трясет немецкий народ. Народ этот тоже сейчас словно мертвый, но он оживет еще прежде, чем покроются цветом деревья.

Большинство, взвинченное появлением небесного знамения, слушало его доверчиво и внимательно. Был среди слушателей и боксер Алоис Кутцнер. Дайзенбергер нравился ему, производил на него впечатление, но настоящего утешения и он ему не принес.



Боксер Алоис Кутцнер томился все возрастающей душевной тоской. Он перестал посещать «Серенький козлик». Его отталкивали безбожные речи, которые он слышал там последнее время. Ему вспомнилась жуткая сцена из времен его юности: его брат Руперт из озорства выплюнул во время причастия облатку и сунул ее в карман. Это дорого обошлось ему: его за это исключили из реального училища. Со времени войны он совсем изменился, этот Руперт. В его речах чувствовалось божественное дыхание, и он воздерживался от такой привычной для него прежде брани. Но в последнее время он снова, как в свои мальчишеские годы, стал говорить очень грубо, а его приспешники вторили ему. Алоису стало неуютно в «Сереньком козлике». Он охотнее ходил теперь в «Кабанью тушу». В этом кабачке на улице Им Таль собирались обычно мюнхенские атлеты. Молодые парни под оглушительные звуки духовой музыки упражнялись здесь в борьбе и в поднятии тяжестей. Опираясь руками на спинку стула, сидел Алоис в зале и сквозь тучи табачного дыма глядел на тренирующуюся молодежь, время от времени угрюмо выражая одобрение или порицание. Вдоль стен и по углам красовались реликвии Штейрера Ганса, его великого предшественника, неимоверно мускулистого человека с огромными усами, с бесчисленными орденами на могучей обнаженной груди. Алоис Кутцнер, воодушевляясь, глядел на эти изображения Штейрера Ганса, поднимавшего гимнаста вместе с турником или велосипед с тремя велосипедистами. Его сердце ширилось от одного вида железных тростей или весившей сорок восемь фунтов табакерки, которыми пользовался некогда этот «баварский Геркулес». Вот это был бы подходящий человек для освобождения короля.

Но, увы, он покоился на Южном кладбище. А Алоису одному было не под силу справиться с тяжелой задачей. С деньгами в таком деле считаться не приходится. Все же, если так пойдет дальше, то скоро он совсем сядет на мель. А дело за это время не продвинулось ни на шаг. Инфляция пожирала его сбережения так же, как сбережения всякого другого. Его боксерское искусство тоже понемногу сходило на нет. Более молодые, более пово-

ротливые заступали его место: сейчас требовалась быстрота соображения. Иногда, изнемогая от тоски, Алоис отправлялся во двор бывшей резиденции, останавливался перед большим черным камнем, который лежал там, прикованный цепями, в память о том, какую огромную тяжесть, на какое расстояние и как высоко мог закинуть баварский герцог Кристоф. Задумчиво стоял он перед этим образцом спортивного искусства: вот какие хорошие государи были Виттельсбахи! Иногда его обуревала мысль: кто знает, быть может, короля держат в заключении здесь, в самой резиденции? Быть может, несчастный старый властелин чувствует, что близко находится один из его подданных, полный благочестивого желания служить ему?

Сегодня вечером Алоис опять направился в «Кабанью тушу». Ветер переменял направление, он дул с юга, нес с собой как бы первое дыхание весны, но какой-то тяжестью наливал тело. Кроме того, он размягчал снег, и все было залито грязной жижей, проникавшей в башмаки. Алоис ворчал, с трудом тащился под бременем своего креста по овеванному теплым ветром улицам. Добравшись наконец до «Кабаньей туши», он застал там бурное веселье. Кое-кто из молодого поколения достиг значительных результатов в жиме. Было шумно. Среди густых облаков табачного дыма некто с протезом плясал чечетку под грохот духовой музыки и буйные крики одобрения. Это было оригинально. Но Алоис Кутцнер никак не мог найти себе покоя. Приятелям не удалось удержать его. Он рано покинул кабачок.

Он пошел не домой, а в ближайший полицейский участок. Там он потребовал комиссара и заявил ему, что он — тот самый человек, который убил служанку Амалию Зандгубер. Полицейский поглядел на него. Его лицо показалось комиссару знакомым. Он смутно заподозрил какую-то связь с Рупертом Кутцнером, сразу почувствовал, что эта история чревата неприятностями, и напряг все свои умственные способности, ища наиболее удобный выход. Подумал, не позвонить ли ему своему начальству, или непосредственно в министерство внутренних дел, или в штаб «истинных германцев», или в психиатрическую лечебницу Эгльфинг. И среди всего этого

сумбура вдруг блеснула прекрасная мысль. Выпрямившись, он вдруг строго поглядел на Алоиса Кутцнера.

— А удостоверение личности у вас вообще-то есть? — резко спросил он.

Алоис Кутцнер, сконфуженный, принялся рыться по карманам, бормоча что-то невнятное. Нет, у него не было при себе удостоверения.

— Как? — закричал полицейский комиссар. — Даже удостоверения у вас нет? Да ведь так любой может сунуться!

И Алоис Кутцнер отступил, посрамленный, сознавая, что так просто дело не обойдется.

## 29

### ЦВЕТЕНЬЕ ДЕРЕВЬЕВ

Отто Кленк, словно добрый повар, пробовал кипящую душу народа, проверял, готово ли желанное блюдо. Оно было готово. Время подошло. Пятьдесят один процент уверенности, необходимый ему, чтобы нанести удар, был теперь налицо.

В «Мужском клубе», среди довольно большого общества он встретил Пятого евангелиста. Говорили о том, что накалившаяся атмосфера должна привести к взрыву: терпение «истинных германцев» подходит к концу. Рейндль, как всегда, отмалчивался. Он мечтательно, слегка улыбаясь, переводил взгляд своих выпуклых глаз с одного на другого. Кленк, хотя и не был никогда трусом, испугался этой улыбки. Ему было не совсем ясно, в какой мере экономика определяла характер событий на Руре. Но инстинктом он чувал, что германская тяжелая промышленность готова договориться с французской. Стоит им договориться — и вся рурская история мгновенно будет ликвидирована. Тогда, значит, «истинными германцами» будет упущен момент, к черту полетит его пятьдесят один процент, и никакой Рейндль уж не даст оркестра для похода на Берлин.

На следующий день у Кленка был разговор с Кутцнером. Кленк настаивал. «Истинные германцы» так ча-

сто и так громко возвещали о дне «освобождения». Скоро будет осуществлена полная блокада городов: крестьяне не продают уже пищевых продуктов на обесцененные деньги. Чего же еще ждать? Съезд «истинных германцев» с торжественным освящением знамен, о котором Кутцнер так громогласно возвещал, будет самым подходящим моментом для выступления. Если снова ничего не произойдет, массы не стерпят разочарования. Время настало. Скоро покроются цветом деревья. Вилить не приходится, нужно решиться и прыгнуть.

Кутцнер внимательно слушал. Несколько раз во время речи Кленка он утвердительно кивал головой. Но когда Кленк стал настойчив, Кутцнер проявил странную вялость, нерешительность. Прежде он и сам мечтал приурочить выступление именно к этому съезду. Поэтому-то он так и раздувал его. Но теперь он этого не хотел. Был склонен рассматривать освящение знамен как генеральную репетицию. Чтобы оправдать происшедшую в нем перемену, он подыскивал политические аргументы. Настоящая причина, хотя он и не сознавался в этом даже самому себе, была иная.

Настоящей причиной был вечер на Румфордштрассе у мамы Кутцнер. Ведь вождю не было свойственно чванство. Он высоко чтил свою седовласую мать. Во всем великолепии подъезжал он в своем сером автомобиле к ее дому. Но затем, как самый простой смертный, сидел у нее за столом вместе с Алоисом, а иногда и с полусумасшедшим дядюшкой Ксавером, лопотавшим всякий вздор. Старуха обычно выслушивала громкие речи сына о его призвании, об ответственности вождя благоговеино, с таким лицом, словно она сидела в церкви. Руперт Кутцнер не обижался на нее даже за то, что она иногда путала его успехи с успехами Алоиса на ринге. Она ведь была глубокой старухой. Но в тот памятный вечер, незадолго до того как Руперт собрался уходить и когда он на мгновение умолк, она вдруг заплакала. Высохшая, желтая, сотрясаясь от рыданий, сидела она на стуле, и у нее так и текло из приплюснутого славянского носа. На вопрос о том, что случилось, она не отвечала. Когда же Руперт окончательно собрался ухо-

доть, — вождь ведь человек занятой, — она уцепилась за него и заговорила вдруг высокопарно, словно священник: не может-де хорошо кончиться, когда человек воз-  
посится так высоко. Она уже видит его в Штадельгейме, видит, как люди весь навоз свой валят на ее сына Руперта. Француз Пуанкаре — настоящий дьявол и пес паршивый! Он уж столькох прикончил, он не успокоится, пока не прикончит и ее сына Руперта. Старуха все не прекращала своей дурацкой болтовни, и Руперту это в конце концов надоело. Он схватил тарелку — тарелку из красивого сервиза с голубым узором из горчанки и эдельвейса — и, швырнув ее об пол, закричал: «Вот так, как я уничтожил эту тарелку, так же я уничтожу Иуду и Рим!» С этими словами он вышел из комнаты и уехал в своем сером автомобиле. Алоис, кстати сказать, не выносивший, когда что-нибудь разбивалось, собрал после его ухода осколки и с трудом склеил их.

Каким эффектом ни сопровождался отъезд вождя, все же плач старухи жестоко расстроил его нервы. Не было разве и в прошлом вождей с чувствительными нервами? Наполеон, например, — или, может быть, это был Юлий Цезарь? — не мог выносить крика петуха. Во всяком случае предостережения старухи и ее видения глубоко запали в душу вождя. Ему нужно было чувствовать вокруг себя воодушевление, встречать общую уверенность в успехе: малейшее сомнение в рядах его приверженцев выводило его из равновесия.

И вот теперь, когда Кленк так настойчиво потребовал назначения точного срока, вождь ощутил острую потребность возможно дальше отодвинуть час «прыжка». Он с пафосом рассуждал о том, как внутренний враг с каждым часом разлагается. Нужно выждать еще несколько недель, и тогда даже ребенок сможет, дунув, повалить его. На одного Кленка он потратил столько красноречия, сколько обычно тратит на целое народное собрание. Но Кленку вовсе не нужны были общие фразы. То, что враг сгнил изнутри и достаточно было лишь одной-единственной победы для полного его разгрома, — было ему известно и раньше. Ему нужны были точные данные. Он хотел получить твердые, четкие све-

дения: когда, в какой час, какой корпус должен будет занять такое-то здание, кто должен быть арестован, а кто поставлен к стенке, какие именно лица должны войти в состав директории обновленного государства. Кутцнер уклонялся от ответа. Кленк настаивал. Кленк разразился потоком слов. Кутцнер — целым водопадом. Комната была мала для голосов обоих мужчин, — гудящего баса Кленка и трескучего, несколько гнусавого голоса Кутцнера, — и для их широких жестов. Видя, что Кленк не перестает требовать точных и подробных данных, Кутцнер с таинственным видом торжественно указал на ящик своего письменного стола. Здесь, — сказал он, — в этом ящике лежит разработанный до мельчайших подробностей план новой Германии. Когда настанет время, он осуществит его. Кленк не поверил, но жест Кутцнера был так величествен, что он не посмел выразить в словах свое недоверие. Единственное, чего ему удалось добиться, было лишь обещание, что ко дню освящения знамен все будет подготовлено так, как будто должно состояться выступление.

Кленк налег на построшки. Он надеялся: если старт будет как следует подготовлен, то уж он сумеет заставить этого труса Кутцнера дать сигнал к выступлению. Все вооруженные отряды, без которых можно было обойтись в сельских местностях, были стянуты ко дню освящения знамен в город. Рейхсвер, симпатизировавший «истинным германцам», обещал предоставить для их военных организаций помещение и дать также артиллерийские подкрепления. Маленький городок Розенгейм должен был служить для размещения тыловых частей и прикрытия с тыла. Вечером, накануне дня освящения знамен, в Мюнхене было назначено четырнадцать больших народных собраний. Всюду красовались огромные кроваво-красные плакаты. Пфаундлер и Друкзейс напрягали все силы, стремясь создать декорации, достойные дня освобождения.

В своем красивом желтом дворце в стиле «бидермайер» сидел новый премьер-министр, доктор Франц Флаухер, свернувшись ежом, припнувшись. В свое время он первым из всего кабинета министров выступил в защиту «истинных германцев». Он сразу увидел, что

их можно было прекрасно использовать. Они перехватывали людей у красных, служили превосходным оружием угрозы и давления на Берлин. Их Кутцнер был великолепным барабанщиком. Но с такой же ясностью Флаухер видел, что Кутцнер постепенно терял чувство меры, начал раздуваться, злоупотреблять своим положением. Флаухера это не пугало. Он не боялся «истинных германцев». Чем больше они раздувались, тем увереннее чувствовал себя он. Он вспоминал высокомерно откинутую, напомаженную голову Кутцнера. «Бог ожесточил сердце фараона,— думал он,— и ослепил его».

И вот, когда Кутцнер возвестил о дне съезда и торжественного освящения знамен, когда появились кроваво-красные плакаты, приглашавшие на четырнадцать народных собраний, и усилился приток приезжих со всех концов страны, даже из Северной Германии, Флаухер почувствовал, что наступает и его день. Теперь пора остановиться, любезный соседусшка. Начинайте, начинайте с вашим весенним цветением! Деревья ваши покроются цветом, дорогой мой, но это будет выглядеть несколько иначе, чем то, что рисуется в вашей надутой голове. Министр Флаухер принял вызов, его правительство выступило против «истинных германцев»: он запретил собрания под открытым небом.

Это было большой смелостью. «Истинные германцы» публично заявили, что освящение знамен все же произойдет, что им чихать на запрещение. Казалось, на этот раз побоище и гражданская война неизбежны.

Но вскоре оказалось, что бог на стороне Флаухера. Лик божий засиял над ним и дал ему в руки великий козырь. Он уронил на его письменный стол многозначительную телеграмму из Сан-Франциско. В этой телеграмме сообщалось об успешном исходе переговоров, которые г-н фон Грюбер вел с одним из представителей калифорнийского сельскохозяйственного банка. Банк выражал согласие обеспечить электростанциям г-на фон Грюбера, в которых крупно заинтересована была и баварская казна, значительный заем в Америке. Этот факт в такие тяжелые для германского хозяйства времена являлся блистательным успехом баварского правитель-

ства. Опираясь на такой успех, можно было позволить себе многое.

Флаухер созвал совет министров. Он не собирался сообщать своим коллегам о договоре с американцами. Кроме министра финансов, никто не знал о его козыре. Он сидел с загадочным лицом, предоставляя говорить коллегам. Большинство из них увиливало от решений. Но тут поднялся министр Себастьян Кастнер. Он заявил, что в такое тяжелое время главное — это сосредоточение власти в одних руках. Один человек должен взять на себя всю ответственность. Это должен быть человек сильный и пользующийся общим доверием. Говоря это, он глазами верного пса глядел на Флаухера.

Флаухер был поражен. Он и преданному ему Себастьяну Кастнеру ничего не говорил о своем козыре. Хорошо было иметь подручного, так чутко улавливающего настроение своего хозяина. Кастнер глядел ему в рот. Остальные шесть министров также застыли в ожидании. Он поднялся, медлительный, грузный, огляделся, поворачивая ко всем по очереди свое четырехугольное лицо.

Заявил: правительство до сих пор проявляло по отношению к г-ну Кутцнеру и его приверженцам чрезвычайную терпимость. Но теперь «истинные германцы» выступили с открытой угрозой насилия. Они заявили, что объявленное ими освящение знамен состоится, какое бы количество полиции и войск ни выставило правительство. Пусть, мол, правительство прикажет стрелять: вождь станет в первом ряду, пусть застрелят и его. Но за первым выстрелом хлынет алый поток, а что последует потом — это они еще увидят! Он, Флаухер, считает, что теперь довольно! Он считает, что правительство *должно* стрелять, а затем оно поглядит, что произойдет после первого выстрела. Он находит нужным, чтобы правительство объявило в Баварии чрезвычайное положение.

Лицо Себастьяна Кастнера просияло. Вот он, подвиг, которого он всегда ожидал от Флаухера. Лицо Гартля неодобрительно искривилось. Министр финансов лукаво поглядывал на остальных. Министры сельского хозяйства, внутренних дел, общественного призрения и торговли сидели подавленные, смущенные резким требова-



нием принять определенное решение. Послышались осторожные голоса. Возражения, оговорки.

Флаухер выслушал всех. Затем сообщил, что он уже договорился с тайным советником Бихлером, с кардиналом-архиепископом, с Берхтесгаденом. Дело было в том, что тайных правителей Баварии он, конечно, известил о получении телеграммы из Америки. Высшие сферы,— сказал он, на сей раз истинную правду, своим коллегам,— вполне одобряют его план. Все умолкли под впечатлением этих слов.

Когда Флаухер поставил вопрос на голосование, предложенные им меры оказались принятыми, при двух воздержавшихся, всеми голосами против голоса одного Гартля. Правительство на основании статьи 48, раздела 4 имперской конституции и статьи 64 баварской конституции объявило во всей части Баварии по правую сторону Рейна чрезвычайное положение. Генеральным государственным комиссаром был назначен доктор Франц Флаухер.

### 30

## ЖЕЛАННЫЙ ЧАС ФРАНЦА ФЛАУХЕРА

На следующий день к желтому дворцу в стиле «бидермайер» подкатил Руперт Кутцнер. Кутцнера до глубины души потрясло то, что правительство заговорило так спокойно и решительно. Права была его седовласая мать: ему следовало послушаться своего внутреннего голоса, не подчиняться властной воле Кленка. Теперь нужно было быть дипломатом. Нужно было найти путь к стратегическому отступлению, такой путь, чтобы его гордое знамя со свастикой не стало просто жалкой тряпкой и смешной детской игрушкой.

Генеральный государственный комиссар Флаухер принял его. Между обоими политическими деятелями произошел спокойный, даже вежливый разговор. Кутцнер был кроток и послушен, соглашался с тем, что его помощники зашли слишком далеко, порицал поведение доктора Кленка, торжественно заявил, что он лично никогда и не думал о насильственных действиях.

Флаухер, упиваясь своим триумфом, великодушно разрешил из четырнадцати объявленных собраний провести семь. Но грандиозной церемонии освящения знамен под открытым небом он не разрешил. Кутцнер торжественно подтвердил, что он собственной своей персоной и своей честью гарантирует безукоризненное проведение этого праздника. Но авторитет правительства нужно было поддержать: Флаухер оставался неумолим. Серьезно, как учитель, объяснил он это вождю. Тот ничего и слышать не хотел. Повторял все одно и то же, просил, грозил, заклинал. Неожиданно, после какой-то особенно удачной фразы, он вдруг опустился на одно колено, слегка подняв вверх руки. Коленопреклоненно молил он Флаухера не портить ему долгожданного освящения знамен. Так в роли маркиза Позы, героя пьесы немецкого драматурга Шиллера, Конрад Штольцинг на сцене придворного театра стоял на коленях перед королем Филиппом II, моля его о свободе мысли.

Доктор Флаухер растерялся, когда сухопарый г-н Кутцнер так неожиданно преклонил перед ним колено. Коленопреклоненных людей он до сих пор видел только в церкви. Чрезвычайно странно было сидеть вот так и видеть перед собой стоящего на коленях в покорной позе долговогозого господина в элегантном спортивном костюме полувоенного покроя, обратившего к нему свои широкие ноздри.

— Цыц, ты! — пробурчал Флаухер, так как обеспокоенная такса высунулась из-под письменного стола.

Чувство безграничного торжества наполнило душу генерального государственного комиссара. На колени поставил он человека, не желавшего подчиниться установленному богом порядку! Во прахе лежал тот перед ним. Об одном только жалел Франц Флаухер в эту минуту — что при этом не присутствовал Кленк. Но вот кто-то постучал, и в комнату вошел министр Кастнер. Кутцнер поспешно поднялся, отряхнул пыль со своих брюк. Слишком поздно. Теперь уже существовал свидетель торжества Франца Флаухера.

— Да, господин Кутцнер, — холодно, деревянным тоном, снова полностью превратившись в чиновника, произнес Флаухер. — Мне очень жаль, что я просьбы

вашей исполнить не могу. Мой коллега по кабинету,— добавил он, указывая на Кастнера,— придерживается точно такой же точки зрения.

Себастьян Кастнер торопливо закивал. Кутцнер направился к дверям: говорить больше было не о чем. Но уйти, не произнеся ни слова? Нет.

— Я опасаюсь,— сказал он,— что этот час принесет Германии печальную жатву.

Он отрывисто, по-военному, поклонился и вышел. В свои последние слова он вложил грусть, угрозу и достоинство, но даже актер Штольцинг не мог бы не признать, что отступление его было лишено всякого блеска.

Одержав победу, Флаухер проявил большую мягкость. Он запретил даже «Союзу свободомыслящих» поставить доклад известного исследователя на тему «Анимизм у папуасов», чтобы «истинные германцы» не почувствовали себя задетыми.

Под вечер в желтый дворец в стиле «бидермайер» явился Отто Кленк. Он не записывался предварительно на прием, но Флаухер принял его немедленно.

— Чем могу вам служить, коллега? — спросил он Кленка.

— Я полагаю, Флаухер,— сказал Кленк,— или, может быть, прикажете называть вас «господин генеральный государственный комиссар»? — что ваш грозный указ — просто красивый жест. Мы охотно оставляем вам все ваши звания и титулы, господин генеральный государственный комиссар, но что касается сути дела,— мы, к великому сожалению, не можем пойти ни на какие уступки. Съезд состоится, освящение знамен состоится.

Кленк сидел в кресле, огромный, в своей обычной куртке из грубого сукна, глядел на Флаухера властными карими глазами. Флаухер со своим четырехугольным лицом, несмотря на массивность, казался по сравнению с ним маленьким. Кленк ожидал, что Флаухер вспылит, заранее радовался этому. Но Флаухер только потер где-то между шеей и воротничком, и это было все. Его тупые, испещренные мелкими кровяными жилками глаза спокойно глядели на экспансивного против-

ника. Он предлагал Кленку министерство юстиции, по этот несерьезный человек не ударил по подставленной ему левой щеке.

— Сегодня утром у меня был ваш господин Кутцнер,— произнес Флаухер; его скрипучий голос звучал совсем тихо от затаенного торжества.— Он просил меня о том же, что и вы, Кленк. Но есть пределы, за которые я не могу перейти, даже когда меня об этом умоляют на коленях.

— Кто умоляет вас на коленях? — Кленк тоже умерил свой громовой голос. От этого он звучал еще более угрожающе, так что торжествующему свою победу Флаухеру все-таки стало немного не по себе. Но он вспомнил о буквах К+М+Б, начертанных им на дверях, вспомнил о своей священной миссии.

— Было время, Кленк,— мужественно произнес он,— когда вы призывали к умеренности.

— Не будем отклоняться в сторону,— буркнул Кленк.— Умолял вас кто-нибудь на коленях?

— Да, кое-кто умолял меня на коленях,— подтвердил Флаухер.— Господь поверг высокомерного во прах передо мной. Я отнесся к нему по-отечески. Но разрешить ему церемонию освящения его знамен я все же не мог.

Кленк в душе сыпал проклятиями. Этот Кутцнер, этот болван, этот идиот несчастный! Все дело способен испакостить!

— Но со мной вы поступите по-братски,— произнес он, и его голос уже звучал, как обычно, добродушно и повелительно.— Мне вы не откажете.

Флаухер подумал, что опасность миновала.

— Я и отнесся к вам по-братски,— мягко произнес он.— Может быть, вы вспомните, что я предлагал вам занять место рядом со мной. Я всегда относился к вам как добрый сосед.

— Итак, освящение знамен может состояться? — коротко, как бы заканчивая разговор, спросил Кленк.

— Нет,— еще более коротко ответил Флаухер. Сейчас, несмотря на свое намерение оставаться спокойно в кресле, он не выдержал и встал — торжествующий, массивный.

Кленк остался сидеть.

— И все-таки освящение состоится, — сказал он.

— Едва ли, — сказал Флаухер. — Полагаю, что вы еще передумаете. С вашим Кутцнером вы его не сумеете провести, — спокойно добавил он, взвешивая слова и чуть-чуть улыбаясь.

— У вас, должно быть, в руках есть какой-нибудь козырь, Флаухер, — сказал Кленк. — Потому-то вы и позволяете себе такой дерзкий тон.

Он с нетерпением ждал, что ответит его собеседник. Он твердо решил: если собеседник сейчас не выдержит, если только он вспылит, тогда он, Кленк, поставит все на карту, тогда он решится на прыжок, не считаясь с этим болваном Кутцнером.

Но Флаухер не выдал себя. Флаухер остался кротким, таким кротким, что Кленку вся кровь ударила в голову. Флаухер сказал только:

— Возможно, что в руках у меня есть козырь.

Он взглянул на врага, и враг взглянул на него, и, несмотря на охватившую его ярость, Кленк понял, что Флаухер не пускает слова на ветер. Он тоже поднялся. С высоты своего гигантского роста поглядел на Флаухера и произнес угрожающе тихо:

— У вас мания величия. Вы приобрели эту манию оттого, что я вас тогда оставил на вашем посту.

Флаухер ничего больше не ответил. Это был лучший день в его жизни. Ничто не должно было вывести его из состояния гордого, угодного богу спокойствия. И в то время как Кленк уходил, ему в звуках удалявшихся шагов врага слышался низкий женский голос в волнах колокольного перезвона и скрипок:

О, пробей, мой час желанный,  
Рассветай, желанный день!

Кленк, бледный от ярости, поехал к Кутцнеру. Он знал наверняка — такого случая больше не представится. Если сейчас не выступить, если прозевать освящение знамен, — тогда конец «истинным германцам». Наглость Флаухера, наверно, связана с какими-нибудь темными махинациями в Рурской области. Он вспомнил рыхлую, бледную морду Пятого евангелиста и ощутил

новый порыв бешенства. Глядя на физиономию Рейндля, он чувствовал, что тот их надует. Этот шикарный магнат крупной промышленности стремился только использовать «патриотов», как в свое время римский полководец, приказавший привязать горящие пучки соломы своим быкам под хвост и погнать их вперед, чтобы напугать ими врага. Но «патриоты», если теперь дать им волю, пожалуй, помчатся не в том направлении, какое желательно господам с Рура. Кое-кому из этих господ придется пережить большой сюрприз. Кто знает, соседка, кому придется остаться с носом!

И все-таки: необходимой предпосылкой остается немедленное выступление. Проклятый Кутцнер! Вечно и днем и ночью дерет глотку, а вот когда дошло до дела, — он закрывает рот и накладывает в штаны. Вот теперь, теперь надо было бы драть глотку. На то ему и деньги платят, на то он и вождь. Полный гнева, явился он к Кутцнеру.

Но тот злобно уперся. Весь стыд, всю горечь, пережитые в минуты унижения перед Флаухером, обратил он теперь в истерическую злобу против Кленка. Насколько он трусил на Променадеплац перед лицом врага, так, что у него подгибались колени, настолько был неумолимо тверд в своей штаб-квартире на Шеллингштрассе. Кленк пригрозил, что выступит на свой риск и страх. Кутцнер расхохотался: он знал, что партия без него опадет, как пустой мешок. Кленк заявил, что он сегодня же бросит всякое участие в делах партии. Кутцнер пожал плечами. Но затем все же принялся уговаривать Кленка. К этой угрозе он отнесся серьезнее. Кленк внушал ему уважение; ему очень не хотелось лишиться его. Он льстил, просил, заклинал его. Все главари партии, — говорил он, — поняли, что теперь неподходящий момент для выступления. Даже генерал Феземан был согласен с отсрочкой. Но Кленк не был согласен.

Когда он заявил Кутцнеру об уходе из партии, — это не было с его стороны пустой угрозой. Он махнул на все рукой. С этим несчастным истерическим субъектом ничего сделать нельзя. Он решил удалиться в Берхтольдсцелль. Итак, все согласны на то, чтобы вы-

ступление отложить? Ладно, откладывайте, но только проводите его без Кленка!

— «Qoud Siculis placuit, sola Sperlinga negavit»<sup>1</sup>, — гневно произнес он своим глубоким басом. И так как Кутцнер мало был знаком как с латынью, так и с историей, он перевел ему цитату на немецкий язык и рассказал, как при Сицилийской вечерне отказалось от участия в восстании одно лишь небольшое местечко Сперлинга. С тех пор над его городскими воротами красуется герб с приведенной им сейчас латинской надписью.

Кленк в тот же день выехал в Берхтольдсцелль. Кутцнер, несмотря на решение отложить «день освобождения», все же отбоя не трубил. Он намеревался в день освящения знамен устроить генеральную репетицию.

Город в этот день жил напряженной жизнью. По тревоге был собран первый полк «истинных германцев» численностью в десять тысяч человек. Отряды с ручными гранатами, пулеметные команды «истинных германцев» дефилировали по городу. Был налажен беспроволочный телеграф. Наготове стояли аэропланы. Была установлена батарея легких двенадцатисантиметровых полевых гаубиц, взявшая на прицел пункты рабочих собраний. Всюду по городу маршировали отряды «патриотов». Один из отрядов, примерно в три тысячи человек, стоял в полной боевой готовности в Английском саду, вблизи увеселительного заведения «Тиволи». Главные силы «патриотов» повели наступление на Обервизенфельд. Еще до восьми часов утра они завладели батареями и пулеметами мюнхенского рейхсвера, которые были сданы им без сопротивления.

Но баварское правительство, так же как и главари партии, отлично знало, что все это лишь пустая видимость и игра. Кабинет министров заранее вызвал иногородний рейхсвер. Его отряды охраняли общественные здания. Они отрезали Обервизенфельд от города, окружив его так, что оставался лишь один выход к Бюрм-

---

<sup>1</sup> «Что нравится Сицилии, одна Сперлинга отвергла» (лат.).

каналу. С восьми часов утра мюнхенский рейхсвер также прекратил сдачу оружия «патриотам». Полиция конфисковала артиллерийское орудие, присланное в Мюнхен Оберландским добровольческим корпусом из Тельца. Нелепый вид имела эта воинственная машина на дворе полицейского участка на Эттштрассе, среди толпы разглядывавших ее зевак.

В центре города отряды «истинных германцев» творили всяческие бесчинства. Отряд добровольческого корпуса Блюхера и Росбаха, вырвав у рабочих красный флаг, поджег его и под звуки музыки, неся впереди пылающий флаг, прошелся по улицам. Другой отряд, захватив двух рабочих, повел их со связанными за спиной руками по Людвигштрассе. Был также захвачен и уничтожен барабан одной из рабочих организаций. Но этим и ограничились победы «патриотов». Их главные силы стояли без дела около «Тиволи» и в Обервизенфельде. Ждали. Время от времени кричали «хайль!». Наступил полдень. Они сварили обед. Солнце стало клониться к закату. Они все еще стояли на месте, кричали «хайль!» и ждали. Настроение падало. Около четырех часов пополудни они начали отступать по улицам, которые рейхсвер оставил для них свободными. Успехом это назвать нельзя было. Настал день, когда покрылись цветом деревья, но не настал «день освобождения».

Правительство, полное презрительного великодушия, заявило о своей готовности, ввиду того что запрещение последовало с запозданием, частично возместить «патриотам» расходы по приготовлениям к освящению знамен. Эти расходы, ввиду того что декоративная часть находилась в надежных руках Пфаундлера, оказались весьма значительными.

На собрании руководителей Руперт Кутцнер произнес речь о создавшемся положении. Генеральная репетиция, по его словам, прошла превосходно. Партийный съезд явился грандиозным успехом, он произвел шум далеко по всей стране. Кленк после этой речи прислал Кутцнеру красочную французскую открытку. На ней был изображен крошечный песик с поднятой лапкой у фонарного столба и рядом огромная лужа.



Под картинкой была надпись по-французски: «Подумать только, что все это наделал я!» Кленк заботливо перевел для вождя эту надпись на немецкий язык.

## 31

### ПРОСВЕТ

Доктор Гейер в письме к Иоганне объяснил ей, почему в своей речи в рейхстаге о баварских делах он не упомянул о процессе Крюгера. Совсем недавно появился в печати очерк Тюверлена о деле Крюгера, и после этой острой, холодно-жгучей статьи,— писал Гейер,— никому из современников уже не может быть позволено выступать по этому делу. В приписке Гейер сообщал, что недавно встретился с бывшим министром Кленком. Тот сказал, что, если бы ему пришлось дольше остаться на своем посту, он, наверно, выпустил бы Крюгера из Одельсберга. «Во имя справедливости,— добавил Гейер в приписке, сделанной от руки,— я должен сказать, что считаю это заявление Кленка вполне правдоподобным. Кленк ушел слишком рано, Мессершмидт ушел слишком рано. Да и вам тоже не везет, Иоганна Крайн».

Иоганна долго сидела над этим письмом. Три бороздки прорезались над ее переносицей. Она прочла речь Гейера. Прочла очерк Тюверлена, громко прочла его вслух. Речь Гейера была хороша. Все, что можно было сказать о деле Крюгера, не могло быть выражено более остро, холодно и волнующе, чем в очерке Тюверлена. Если оба этих человека ничего не могли достигнуть, то чем же она, Иоганна Крайн, могла убедить мир?

Сквозь пол из нижнего этажа доносились звуки граммофона: песенка тореадоров из обозрения «Выше некуда!». Да, ей не везло. Это не было отговоркой, оправданием собственной непригодности: ведь статья Жака не была непригодной, но и он ничего не добился. Многие говорили, что счастье — это личное качество. Так почему же Жак добивается впечатления вот этой проклятой песней, а не своим очерком?

Очерк был просто великолепен. Когда ей нужен был подъем, когда ей необходимо было сызнова дать себе толчок, ей достаточно было услышать эти холодные, бичующие, беспощадные слова. Она вспомнила, как тогда, на берегу озера, он вдруг перестал заниматься «Страшным судом» и погрузился в какую-то таинственную работу, весь охваченный ею. Как в лодке прочел ей этот очерк. Какой она была тогда душой, не поняв, что он сделал больше, чем все остальные вместе взятые!

А она забрала себе в голову, будто он усмехнулся, когда она рассказывала ему о болезни Мартина Крюгера. Неужто она была тогда так непроходимо глупа? Но теперь-то она уж все поняла. Наконец-то. Давно пора. Она расхаживала по комнате, освобожденная, счастливая тем, что поняла. Остро затосковала по Тюверлену, по его крепким, покрытым рыжеватым пушком рукам, по его голому, изрезанному морщинками, клоунскому лицу. Запела тихонько, сквозь зубы, еле слышно. Она так переменялась, что тетка Амetsридер спросила ее, что же случилось. Она горячо заговорила с теткой о Жаке Тюверлене и его успехах.

На следующий день она получила телеграмму от Тюверлена. Он сообщил ей, что в связи с проявленным мистером Поттером интересом к электрификации Баварии, выразившемся в форме займа, баварское правительство готово амнистировать Мартина Крюгера. Не позднее чем через три месяца он будет свободен.

Иоганна ликовала. Плясала. Осыпала упреками тетку за то, что та недостаточно радуется. Поставила на граммофоне песенку тореадоров.

Сколько благородства в телеграмме Жака Тюверлена! Ни слова о своем участии, только радостное сообщение. Это просто удача — да? Это случайность — да? Жак ничем тут не помог — да? Иоганна была полна гордости за Тюверлена.

Она позвонила Каспару Преклю. Не дождалась, пока он ответил. Телеграфировала Мартину, хотя знала, что ему, наверно, не передадут телеграммы, пока не получится официальное подтверждение министра. Позвонила адвокату Левенмаулю, прося немедленно

выхлопотать ей свидание с Крюгером. Адвокату Левенмаулю еще ничего не было известно. Он выразил огромную радость, но несколько кислым тоном, так как дело разрешалось без его участия.

Ночью Иоганна попыталась разобраться во взаимосвязи отдельных фактов. Все, что она предпринимала, оказалось бесполезным и бессмысленным. Все шло бы точно так же, если бы она ничего не делала. Почему Мартин будет освобожден? Потому, что Жак понравился какому-то американцу. То есть нет, даже и не потому. Он будет свободен потому, что американцу понравилась песенка тореадоров. Тюверлен образно разъяснил ей, что, если бы не эта песенка, он никогда не встретился бы с мистером Поттером. Итак: Гессрейтер, Гейер, Гейнродт, Мессершмидт, Кленк, Пфистерер, Катарина, ветрогон, претендент на престол принц Максимилиан, господин Леклерк — все, что они делали или не делали, было совершенно безразлично, и грош этому была цена. Даже и пламенная статья Жака Тюверлена не сыграла решающей роли в ее правом деле. Решающими оказались несколько тактов музыки, сочиненных кем-то, чье имя даже не было ей известно.

Нет, решающим было то, что какой-то «делатель долларов» дал баварскому правительству денег.

Но, если бы не эти несколько тактов музыки, он, вероятно, не дал бы денег.

Мысли убегали от нее, кувыркались. Все это было слишком сложно. Она должна поговорить об этом с Тюверленом.

Что Жаку не везет — теперь никак уж нельзя было сказать. Да оно и справедливее, чтобы в такой борьбе с правительством верх одержал человек, подобный ему, а не женщина с таким будничным лицом, как у нее. Если хорошенько обдумать, то все же имело смысл, что Тюверлен написал это дурацкое обозрение, и эта глупая песенка тореадоров тоже имела смысл. А счастье все-таки личное качество.

Видение, представившееся ей тогда ночью, — она сама в ожидании на безлюдной дороге, ведущей в Одельсберг, — теперь, значит, станет действительностью. Взять ли ей с собой костюм для Мартина? Через три

месяца будет уже лето, и он может надеть серый костюм, в котором он приехал в Одельсберг. Что будет, когда он выйдет? В Мюнхене его заключут. Пока бесчинствует Кутцнер, пока чтят свастику и нападают на мирных людей, ему ни в коем случае нельзя оставаться здесь. Ей придется уехать с ним.

А как же Жак? Он ни словом не обмолвился в телеграмме о своем возвращении. Будет нехорошо, если Мартин выйдет на свободу, а Жака в это время здесь не будет. А что, если Жак вернется в то время, когда она будет в отъезде с Марином?

Какая польза ей, собственно, в том, что Мартин будет на свободе? Он станет ей поперек дороги.

Она испугалась, заметив, что у нее мелькнула эта мысль. Сразу же задушила ее. Она радовалась встрече с Марином. Заботливо, но с какой-то тревогой она думала о том, как ей облегчить ему переход к свободе.

Да, хотя Иоганна и подавила быстро эту мысль, все же она мелькнула у нее. До ее сознания она успела дойти. Иоганна и позже не скрывала от себя, что у нее мелькнула эта мысль.

## 32

### DE PROFUNDIS<sup>1</sup>

Иоганне незачем было терзаться страхом из-за того, что будет, когда Мартин Крюгер выйдет на свободу. Мартин Крюгер на свободу не вышел.

В ночь после того дня, когда Иоганна получила от Тюверлена телеграмму, Мартин тоже не мог уснуть. Он лежал на своей койке, прислушиваясь к южному ветру, кружившему вокруг большого здания тюрьмы, забиравшемуся в его подвалы, трубы, дымоходы.

Самые тяжкие дни Мартина Крюгера миновали. Человеку с кроличьей мордочкой сразу же после вступления Гартля в должность министра твердо обещали

---

<sup>1</sup> Из бездны к тебе взываю (лат.) — начальные слова католического псалма.

повышение, которого он так долго ждал. Лучами своей радости озарил он и своих «пансионеров». Мартину Крюгеру снова были возвращены кое-какие из его прежних преимуществ.

Во время прогулок среди шести деревьев у него был теперь новый товарищ — часовщик Трибшнер. На часовщика Трибшнера не произвело особенно сильного впечатления то, что Кленк в свое время отказался его помиловать. Из-под густых бесцветных волос глядело детски розовое, жизнерадостно-серьезное лицо, выражавшее полную примиренность с судьбой. Гуго Трибшнер слишком много пережил. Ничто уже не могло задеть его, он уже не восставал против судьбы. «Король побегов» уже не думал новым побегом вызвать улыбку у газетных читателей. Всю свою упорную жизненную энергию обратил он теперь на свое ремесло, радуясь, что ему предоставляют здесь возможность мастерить сколько угодно. Семена по двору, розовый, рядом с серым Крюгером, он пытался разъяснить своему товарищу, какая это радость — так подгонять колесики, пружинки, зубчики, чтобы они правильно захватывали друг друга. Когда какая-нибудь старая, заржавевшая, поломанная штука вдруг начинает ходить, — братец ты мой! — вот тогда и ощущаешь, что живешь. Когда в глубине таких старых часов что-то просыпается, трещит, мерно бьется, а у тебя при этом не дрогнет рука и ты не ощутишь этого ухом, сердцем, — тогда, значит, ты хуже животного. Как он, Трибшнер, починил тогда в Мюнстере башенные часы, как после четырехсот лет ржавчины они снова пошли! Братец ты мой, вот когда видишь, в чем смысл жизни! Старый император Карл держал в порядке целый мир, но часы свои содержать в порядке он не умел, как ни хлопотал об этом. Трибшнер сумел бы ему помочь. Если бы эти господа в правительстве немножко бы наблюдали за тем, как работает он, Гуго Трибшнер, многое в стране пошло бы по-иному! На свете должен быть порядок, а порядка не может быть, когда твои часы идут неправильно. В конце концов все мы подыхаем, — так уж положено, но если тогда остается нечто, что идет и без твоей помощи, — братец ты мой! — тогда

ты видишь, что главное-то у тебя было в порядке!.. Мартин Крюгер семенил вместе с часовщиком, слушал, кивал.

Была весна. До Одельсберга вместе с южным ветром долетел аромат Италии. Трибшенеру еще зимой в краеведческом музее дали большие, старинные, какие-то необыкновенные часы, с которыми он не переставал возиться. Он любил давать своим часам имена. Эти часы назывались «Кларой». «Клара» сопротивлялась с чертовским упорством, но он заставит ее покориться, «раньше, чем покроются цветом деревья», — и он засмеялся. Крюгер сбоку поглядел на своего товарища. Разве можно поверить, что этот человек на двадцать лет старше его?

Итак, Мартин Крюгер лежал без сна. В камере было слишком жарко натоплено. После полуночи станет легче, но сейчас это почти невыносимо. Из местечка Одельсберг доносится легкий и смутный шум. В это время года там обычно поздно ложатся.

«Трибшенер, значит, заставит «Клару» покориться. «В этом смысл жизни, братец ты мой!» Никакого нет в этом смысла, братец! Хоть бы ты починил миллион часов, что тебе с того? Если ты по своим часам отсчитываешь: вот прошла минута, — что же ты узнаешь? Узнаешь ты разве продолжительность минуты? Никто не знает этого. Все дело в неизвестной и вам, господин Трибшенер, относительности понятия «время».

Я, например, сочиняю книги. Их читают столько-то и столько-то людей, и затем они репают, что стоит тот или иной художник. И репают, вероятно, неправильно. Если бы вы только знали, господин Трибшенер, до какой степени наплевать на то, правильно ли идут ваши часы!»

Что будет, когда он освободится? Будет ли он по-прежнему писать книги? Ему тошно подумать об этом. Если бы здесь не было так чертовски жарко, самое лучшее было бы остаться здесь навсегда. Что может произойти особенного? Можно бы поехать в Россию. Но если бы сейчас кто-нибудь пришел и сказал ему: «Поезжай в Москву; проедешь ночь и еще ночь и увидишь картину «Иосиф и его братья?» Нет, и это не со-

блазнило бы его. А что такое картины Гойи? Краска на полотне, и больше ничего. Дрянь. Нет ничего в его прошлом, с чем бы он мог связать настоящее. Кем он станет, когда выйдет на свободу? Он «повиснет в воздухе». Это тоже одно из красивых модных выражений. Он ясно представил себе, как он «висит в воздухе». Засмеялся.

Вот хотя бы этот Каспар Прекль. Он говорит с глубоким убеждением. Может быть, даже он и прав. Но какое ему, Мартину Крюгеру, до этого дело? Он «висит в воздухе». Есть еще женщина, ее зовут Иоганна Крайн. Очень плотная, чересчур много мяса. Широкое лицо, большие ноги, грубоватые руки. Она тоже разговаривает так уверенно. Но она ничего не добилась этим. Он все еще сидит здесь, несмотря на ее болтовню. Ему не нужно было верить этой болтовне. Ему не следовало тратить на эту Иоганну Крайн столько времени. Подумать только: сколько женщин он упустил из-за нее. Идиотом он был. И что он в ней нашел?

Это из-за жары он ощущает свое сердце и дышит так тяжело. Он судорожно старается думать о тысяче вещей. Если они и не выпустят его до срока, все равно это предпоследняя весна, которую он проводит в Одельсберге. Большая часть срока уже позади. Теперь уже легко считать дни. С тех пор как осталось меньше пятисот дней, можно легко считать.

Он горд: ему вспомнились вдруг имена, которые тогда, в «камере для буйных», он напрасно пытался вспомнить. Номера, которые тогда никак не удавалось привести в порядок, теперь вдруг выстроились шеренгой перед ним. Он выстраивал в ряд женщин, с которыми он спал, и тех, с которыми мог бы спать. Он ставит им отметки, разбирает, что было красиво, что менее красиво. И за худшую из них, лишь бы она была с ним, он отдал бы год своей жизни.

За исключением одной. Он жалеет о том, что спал с ней. Она ему противна. Если он когда-нибудь выйдет отсюда, он не прикаснется к ней. Не взглянет на нее.

Чуть слышный, глухой стук доносится к нему по отопительным трубам. Трибшнер подает голос. Он

счастлив. Они тикают — часы из краеведческого музея, часы «Клара» тикают.

Ну и чудесно. Поздравляю. Но к чему, собственно, они тикают?

Он вспомнил, как впервые страстно и вполне сознательно пожелал женщину. Это была служанка, толстая, белокурая. Он ясно видит ее, видит каждое ее движение. Видит, как она сидит на корточках перед печкой, как плотно обтягивает ее зад юбка. Просто непонятно, что он столько женщин упустил ради этой Иоганны Крайн.

Если сейчас он так чертовски скверно себя чувствует, — в этом виновата жара. В животе что-то давит. Что сегодня давали к обеду? Суп был не хуже обычного. Сушеные овощи были такие же, как всегда. Пора бы ему давно к этому привыкнуть. Ему следовало бы лучше воспитать свой кишечник. Жара скоро спадет. У него уже давно не было припадка. Он не хочет, чтобы дело было в сердце. Он этого не допустит. Часов этак после двенадцати температура станет совсем сносной. Он поднимается. Дышит. Диафрагмой, грудью.

В ушах звенит какой-то обрывок музыки. Должно быть, это играли там, в Одельсберге, но разобрать было очень трудно. Все же жалко, что сейчас ничего уж не слышно. Он напевает мелодию так, как она запечатлелась в его ушах, чуть слышно, сквозь зубы, — привычка, перенятая у Иоганны. Уловленные им такты складываются в старую, глупую бульварную песенку. В Одельсберге же играли песенку тореадоров, но в его камеру она доносилась очень неясно, и мелодия была ему незнакома.

Он расхаживал взад и вперед, проделывая дыхательные упражнения, легкую гимнастику. Вот уже стало лучше. Еще четыреста двадцать семь дней. Разумеется, эти четыреста двадцать семь дней он выдержит. Если человек выдержал шестьсот шестьдесят девять дней, то, конечно, он не сдаст и за такое более короткое время. Первый год, как известно, в десять раз тяжелее остальных. Теперь он натренирован. В «камеру для буйных» им уже не удастся засадить его вторично! Ничего подобного он уже не допустит. В общем ему все же по-



везло. Ведь в качестве директора мог здесь торчать и кто-нибудь похуже человека с кроличьей мордочкой.

Не ехать в Испанию? Что за чепуху он тогда выдумал? С первым же самолетом он отправится туда, как только выйдет отсюда. Он совсем не в курсе своих денежных дел, но столько-то можно будет добыть. Иоганна добудет. Он будет стоять перед картинами Гойи. Плитка паркета скрипнет, но он не услышит этого скрипа. Он упьется этими картинами. То, что он написал, получилось очень хорошо, нужно только спокойно все до конца отшлифовать. Еще четыреста двадцать семь дней, а шестьсот шестьдесят девять дней уже прошло. 427:669 — какая же получается пропорция? Он производит сложные расчеты. Неправильно. Никак не разделить. Он пишет цифры на потолке теньевыми знаками. Это несколько помогает, если иметь навык.

Проклятие! Как долго держится сегодня жара. Обычно в это время температура бывала уже вполне сносной. Чудесная женщина эта Иоганна. Какой у нее великолепный, неподдельный гнев, когда что-нибудь не по ней. По совести говоря, никогда бы он не написал книгу о Гойе, если бы не Иоганна. Не будет четырехсот двадцати семи дней. Иоганна постарается, чтобы не было четырехсот двадцати семи дней. Если его, например, выпустят к первому августа, пропорция будет уже совсем иной. Какую же часть своего срока он в таком случае отсидит? Он снова начинает считать.

Надзиратель в коридоре садится. На левую ногу он ступает сильнее, чем на правую: это Покорный. Сегодня ночью дежурит Покорный. Мартин Крюгер слышит, как он зевает, как складывает газету. Покорный стар, его скоро уволят на пенсию. Покорный — старый, тупой человек, он ничему уже не удивляется.

Когда белокурая служанка на короточках сидела перед печкой, ему было только-только четырнадцать лет. Самое слабое место в его книге о Гойе — глава о «Бое быков». Он должен совершенно переделать ее. Нет, ему тогда даже еще не было четырнадцати.

Это не сердце, конечно, а все же ему ужасно скверно. Если бы его вырвало, стало бы, наверно, легче. Он вски-

дывает вверх руки. Подняв руки, ладонями к потолку, он бредет к кадке, покачиваясь, словно пьяный. Господи милостивый, как длинен путь до кадки. Конца ему нет. Сколько времени это длится — три секунды или четыреста двадцать семь дней? Вот сейчас пригодились бы часы Трибшенера. Время, где жало твое? Трибшнер, где часы твои? Если меня вырвет и раньше, то это тоже не беда. Лучше все-таки, если я доберусь до кадки. Тогда мне не придется всю ночь вдыхать эту вонь.

Это не сердце, это не сердце, это не сердце. Я не хочу, чтобы это было сердце. Осталось всего четыреста двадцать семь дней, а если все пойдет хорошо, то всего двадцать семь дней, и когда все кончится, то покажется пустяком. До чего у меня зубы шатаются, прямо паразитительно. Но номера я нашел все. Трудно составить каталог по памяти, но я все-таки сделал это.

Видите, господин Трибшнер, вот я и добрался до кадки. Ну, разумеется, я выдержу. Жаль только, что сейчас у меня уже нет позыва к рвоте. Я присяду немножко на кадку и отдохну. Когда все кончится, то покажется пустяком. Дышать, спокойно, ровно дышать. Диафрагмой, грудью. Это не сердце. Вдох, закрыть рот. Выдох, открыть рот. Это не сердце. Равномерно. Я не хочу, чтобы это было сердце. Я хочу выдерживать. Диафрагмой, грудью. Вдох, выдох. Раз, два. Равномерно.

Он покачивается всем телом, голова его шатается из стороны в сторону. Забавно, как тень головы закрывает тень решетки на потолке, снова открывает ее. 669 : 427. Никак не подсчитать. Нужно начать сначала. Ему нужно знать это совершенно точно. Как может человек в его положении чего-нибудь добиться, если ему не все ясно? Он считает. Он вписывает цифры в теневую решетку. И пишет, и пишет белой рукой. Почему «белой рукой»? Это называется как-то совсем иначе. А врач все-таки прав: сердце у него совершенно здоровое. Это не сердце.

Анна-Элизабет Гайдер. Он пишет: Анна-Элизабет Гайдер. И еще раз: Анна-Элизабет Гайдер. Во всем виновата она. Во всех отношениях и во всем. Не повесил бы он в галерею ее портрет — и все было бы благо-

получно. Не давал бы он показаний во время ее дурацкого процесса — и все было бы благополучно. И при этом он даже не обладал ею. Какое идиотство, что он даже не обладал ею. Почему же он сидит сейчас на этой вонючей кадке, раз он даже ею не обладал? Его охватывает безумное бешенство. Какой он идиот, какой безнадежный, какой чугунный болван, что он не обладал ею! Идиотство, идиотство, тысячу раз — идиотство...

Это была последняя мысль Мартина Крюгера, которую можно передать словами. А затем он приподнялся с кадки. Всклипнул. Может быть, пытался крикнуть, позвать надзирателя Покорного или кого-нибудь другого. Но он не крикнул. Он только поднял руки вверх, ладонями к потолку. И рухнул на пол, наискось, лицом вниз, задев и опрокинув кадку.

Падение кадки произвело шум. Надзиратель Покорный прислушался. Но так как он был человек тупой, а шум не повторился, он зевнул еще раз и остался сидеть на своем месте.

А Мартин Крюгер лежал, вытянув вперед руки, в одной рубашке. Вонючая грязь из кадки медленно обтекала его. Затем остановилась.

Каким-то образом просочился слух, — возможно, что он шел из Америки, — о том, что вскоре предстоит освобождение Мартина Крюгера. Это снова вызвало интерес к нему. Искусствоведы писали о нем и о его взглядах. Женщины вытаскивали старые его письма. Люди, любившие картины, читали его книги. Один из референтов министерства ломал себе голову над тем, в какой форме лучше объявить о его помиловании. Много людей думало о судьбе Мартина Крюгера, его истории и его взглядах, много листов бумаги, много проводов, оплетавших земной шар, наполнялись известиями, предположениями, мнениями о нем и его дальнейшей жизни, а в это время он, остывая, лежал в темной камере одельсбергской тюрьмы, в вонючей грязи опрокинутой кадки, беспомощно и немного смешно выбросив вперед руки.

---

*Книга пятая*

УСПЕХ

1. ПУТЕШЕСТВИЕ К ПОЛЮСУ.
2. МЕРТВЫЕ ДОЛЖНЫ ПОМАЛКИВАТЬ.
3. НЕМЕЦКАЯ ПСИХОЛОГИЯ.
4. Opus ultimum.
5. МАРШАЛ И ЕГО БАРАБАНЩИК.
6. КОРИОЛАН.
7. СЕВЕРНАЯ ХИТРОСТЬ ПРОТИВ СЕВЕРНОЙ ХИТРОСТИ.
8. САМЫЙ ТЯЖКИЙ ДЕНЬ В ЖИЗНИ КАЭТАНА ЛЕХ-  
НЕРА.
9. СЛУЧАЙНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ.
10. ПАРИ ПОД УТРО.
11. КАК УВЯДАЕТ ТРАВА.
12. БЫК, ПУСКАЮЩИЙ МОЧУ.
13. МУЗЕЙ ИОГАННЫ КРАЙН.
14. ГОСПОДИН ГЕССРЕЙТЕР УЖИНАЕТ В «ЮХЭ».
15. КАСПАР ПРЕКЛЬ ОТПРАВЛЯЕТСЯ НА ВОСТОК.
16. СЕМЬЯ ЛЕХНЕР ВЫБИВАЕТСЯ В ЛЮДИ.
17. ВСЕ ЛИ ВЫ ТУТ?
18. ЖАК ТЮВЕРЛЕН ПОЛУЧАЕТ ЗАКАЗ.
19. ОБЪЯСНИТЬ МИР — ЗНАЧИТ МИР ИЗМЕНИТЬ.
20. ВОСПОМИНАНИЯ ОТТО КЛЕНКА.
21. В ДЕЛО ВМЕШИВАЕТСЯ ТЕТУШКА АМЕТСРИДЕР.
22. «КНИГА О БАВАРИИ».
23. Я ЭТО ВИДЕЛ.

## ПУТЕШЕСТВИЕ К ПОЛЮСУ

**С**еверянин мальчиком четырнадцати лет прочел о лишениях, перенесенных полярным исследователем сэром Джоном Франклином и его спутниками, о том, как в течение недель их единственной пищей были кости, найденные в заброшенном лагере индейцев, пока в конце концов путешественники не стали пожирать собственные кожаные башмаки. Честолюбие вспыхнуло в душе этого читателя, желание успешно преодолеть такие же страдания. Это был замкнутый мальчик. Не посвящая никого в свои планы, он принялся за фанатически упорную тренировку, требуя от своих мускулов, от своих нервов максимума того, что они способны были дать. Вблизи его родного города находилось плоскогорье, по которому еще ни разу зимой не пробиралось ни одно живое существо. Ему был двадцать один год, когда он пересек это плоскогорье в январе, спасся от голодной смерти только благодаря неимоверной выдержке, примерз однажды ночью к ледяной глыбе, в которую превратилась снежная яма, послужившая этому обессиленному человеку местом для ночлега.

Упорно, методически приобретает он знания, необходимые полярному исследователю, изучает науку о море и науку о воздухе. Выдержав государственные испытания, он избирает самые беспокойные моря, чтобы прак-

тически изучить большие и малые тайны мореплавания и ледяных походов. За месяцы голода, холода, цинги становится жестким, молчаливым человеком, который свои знания и опыт прячет, недоверчиво озираясь, шаря в собственном мозгу, как в подземельях банка, не радуясь людям, никому не веря, кроме самого себя.

Беззастенчивый в денежных делах, сколачивает он сумму, необходимую для первой самостоятельной экспедиции. Пересекает Северный Ледовитый океан по никем до того не преодоленному маршруту. Ценой трехлетнего труда кладет начало северо-западному морскому пути — задача, с которой до него не мог справиться никто. Весь мир восхваляет совершенное им. Он сам — больше всех. Неутомимый глашатай своих подвигов, он взвешивает и точно подсчитывает, насколько его успехи больше успехов людей до него, вокруг него.

Окрыленный своим успехом, он отправляется к Северному полюсу. Другой опережает его. Не задумываясь, он поворачивает назад. Устремляется к Южному полюсу. Но и по этому пути продвигается уже другой. Начинается страшное состязание. Холодно, рассудительно применяет северянин все собранные им, тщательно каталогизированные знания и опыт. Где в приготовлениях конкурента таится ошибка, которой он сам может избежать? Он находит ошибку, основную ошибку. Тот, другой взял с собой лошадей, он же свой расчет строит на выносливости и мясе своих собак, являющихся одновременно и средством передвижения и пищей. Тот, другой, со своими пони погибает, он — возвращается победителем. Теперь, когда соперник потерпел неудачу и погиб, он выражает ему величайшее восхищение. Не забывает, однако, тщательно разъяснить всему свету, что причиной гибели покойного была ошибка с пони. Если он сам одержал победу, то обязан этим идее использования собак. Это заслуга, не просто удача.

Его озарила великая идея, главная в его жизни: достигнуть полюса, пользуясь другим, лучшим средством — летательным аппаратом. Выполнение этого плана, стремление обеспечить за собой для следующего путешествия к полюсу воздушный корабль — случайно

сводит его с южанином. Успех сделал северянина еще более жестким и высокомерным, сделал его хмурым, непокладистым, капризным. Его лицо изборождено, как древнее оливковое дерево, губы кривятся. Привлекательного в этом человеке нет ничего, даже родная мать не могла бы утверждать обратное. Мало есть таких, кого бы он не считал достойными презрения, многих он ненавидит лютой ненавистью, нет никого, кого бы он любил, от всех он требует безусловного преклонения перед своим авторитетом. Южанин, с которым теперь столкнула его судьба, — прямая противоположность ему: привлекательный, гибкий, легкомысленный, по-мальчишески оптимистичный, безудержно гордый в минуты успеха, в беде — весь во власти отчаяния.

Подвижной, обаятельный южанин и угловатый, хмурый северянин принохиваются друг к другу. Оба находят, что другой пахнет скверно. Оба до краев полны бешеным тщеславием, властолюбием, оба беззастенчивы. Уже во время переговоров происходят столкновения, но есть только один путь к полюсу, к славе, и путь этот ведет через северянина. И есть только один воздушный корабль, годный для полета к полюсу, и властвует на нем его строитель — южанин. Южанин построил воздушный корабль, он хороший пилот. Северянин одолел северо-западный морской путь, знает Арктику, Антарктику. Большой риск, когда человек, никогда не стоявший на лыжах, вверяет себя другому для поездки в страну бесконечного льда. Большой риск, когда человек, никогда не летавший, вверяет себя другому для полета в неведомую пустыню, где малейшая ошибка означает смерть. Одинаковая необходимость, одинаковая цель связывают этих двух неодинаковых людей. Ни тот, ни другой не склонны делить успех. Каждый надеется на пути к успеху вырвать у своего спутника и его долю.

И вот воздушный корабль достигает цели. Он пролетает над полюсом.

Чей это успех?

Северянину первому явилась мысль об этой экспедиции, он разработал ее маршрут, он подготовил ее. За ним тридцать лет тяжелейших, методичнейших поляр-



ных исследований. Другой — полгода назад ничего не знал о полюсе, кроме того, что там холодно. Как? И теперь этот подручный претендует на часть его почестей, даже на большую часть? Северянин рычит, называет другого несолидным, по-женски нервным франтом, одержимым ребяческой манией величия. Мир прислушивается к аргументам северянина, принимает их во внимание, платит ему дань восхищения, смешанного с неприязнью. Но на этом все и кончается. Мир не поддерживает его, не предоставляет ему возможностей для новых подвигов. Правда, он сам мешает появлению этих возможностей. Он педантично добросовестен. Его правило — заранее предвидеть всякое положение, которое может создаться, исключить роль случайности. Это стоит не дешево, это стоит очень дорого. Как бы там ни было, но высокомерному, хмурому человеку платят дань робкой славой, а средств, необходимых, чтобы поставить на ноги новую экспедицию, не дают.

Южанину везет больше. Он посмеивается над северянином, этим мрачным, непокладистым, болезненно-эгоистичным глупцом. Итак, он хочет всю славу их путешествия записать на свой счет? Господи, тут, право, остается только улыбнуться! Перелететь через полюс, — это ясно ведь даже ребенку, — бесспорно, лишь дело пилота, а что знает северянин о моторе летательного аппарата, кроме того, что он жужжит? Южанину позволять улыбаться. Ему принадлежат симпатии всего света, в нем есть какой-то блеск.

Он во всех положениях умеет излучать этот блеск. меховые шубы северян он не позволил взять на борт из-за их чрезмерного веса. Но собственный мундир (он офицер своей страны) он потихоньку везет с собой. На границе Арктики, когда члены экспедиции, по-деловому, целесообразно одетые, сходят с корабля, возвращающего их в цивилизованный мир, южанин внезапно появляется в сверкающем военном мундире. Маленькая девочка из толпы ожидающих подает свой букет не хмурому, буднично и бескрасочно одетому северянину, а блестящему офицеру.

Не только сердце ребенка, навстречу ему летят сердца всей его легковоспламеняющейся страны. Он

делает быструю карьеру, становится еще в молодые годы генералом. Так как он готовится к новому перелету через полюс, страна его строит ему воздушный корабль, соответствующий его желаниям. 25 метров высоты, 115 метров длины, 19 000 кубических метров емкости газа, четыре гондолы. Баки вмещают горючего на 75 часов. Моторы в 720 лошадиных сил. В остальном — южанин не особенно тщателен в своих приготовлениях. Он не занимается долгим изучением науки о снеге, о ледяных полях и зиме. Разве нет у него самого совершенного средства передвижения, на каком когда-либо пускались к полюсу? Нет отборного экипажа, лучшей аппаратуры? Он полагается на свое счастье.

Почетный караул, колокольный звон, музыка. Корабль уходит ввысь. В три перелета достигает Севера. Поднимается для последнего, решающего отрезка пути. По радио повествует он всему напряженно прислушивающемуся миру, что сейчас он находится на пути к полюсу. Сейчас — над Гренландией, по ту сторону Гренландии. Через двадцать минут, — гласит его радиogramма, — он будет у полюса.

Он у полюса. В течение двух часов, торжествуя, кружит он над белой, желанной пустыней. Граммофон играет гимн его страны. Вниз спускают флаг его страны, большой, освященный папой крест. Своему королю, папе, диктатору своей страны он доносит по радио, что с божьей помощью достиг полюса. Да здравствует его страна!

В своем городе на хорошо налаженной радиостанции сидит северянин. Взгляд еще неподвижнее, чем всегда, еще крепче сжаты кривые губы. По радио он слышит, переживает, как соперник, презренный неуч, достигает полюса, кружит над ним, вызывая всеобщий восторг, любимец всего мира. Он сам на достижение той же цели положил бесконечные годы жесточайшего труда, бесконечные ночи смертельной опасности. Теперь его подвиги потеряли всякую цену, стерта его слава. Легко, после кратких приготовлений, раскланявшись с улыбкой циркача на устах, другой совершает то, за что он сам боролся всю жизнь.

О, если б ему принадлежал этот корабль! С какой заботливостью, как обдуманно и методично снарядил бы он эту экспедицию! Тот, другой, соперник, небрежен даже как пилот. Северянин видел это, он знает это острым, проникновенным знанием ненависти. Легкомыслен был его старт, преступно легкомысленно было летать над этими льдами без тщательного знакомства с ними. Но ведь ему везет, тому, другому. У него лицо, которое нравится людям, чудесный корабль, чудесные машины, чудесные аппараты. Он владеет способностями и знанием, тот, другой, владеет кораблем, владеет счастьем.

Он сидит на радиостанции, внимательно слушает. Он достаточно мужествен, чтобы до последнего звука выслушать вести о счастье презренного. Радист соперника сообщает о начале обратного полета. Все, разумеется, идет гладко. На борту все здоровы. Туман, ну что за беда! Все гуще туман, очень густой туман. Немножко преувеличивает, должно быть, радист противника. Встречный ветер, плохая видимость. Само собой ничего на свете не делается, мой милый! Но за тебя твое легкомыслие, твоя жизнерадостная слепота, твое счастье. Ты вернешься на землю целым и невредимым. Я дослушаю, я подожду здесь, пока ты вернешься. Он сидит, он ждет, он всю горечь хочет испить до конца.

Но что это? Трудности возрастают. Руль высоты не работает так, как надо. Корабль дрейфует в тумане. Один мотор перестает работать. Радист успевает еще сообщить: на борту все здоровы. И больше он уже ничего не передает.

Северянин сидит на радиостанции с самого начала вечера. Сейчас уже близится утро, служащие станции сменяются в третий раз. Он совсем застыл от ожидания, он не чувствует голода, он сидит и ждет сообщения: «Южанин вернулся, цел и невредим».

Наступает полдень. Известий нет. Быть может, он дрейфует в тумане, или должен был совершить вынужденную посадку, или испортился его радиопередатчик. Как бы там ни было, сегодня тот, другой, уж, должно быть, не вернется. Северянин встает согорбленный, с затекшими от долгого сидения руками и ногами, направляется домой.

Эфир и на следующий день остается нем. На семьдесят пять часов есть горючего у южанина. Пятьдесят часов прошло, шестьдесят, семьдесят пятый. Воздушный корабль исчез.

Дни проходят, проходят ночи. Южанин не подает вестей. Теперь среди живых северянин единственный, сумевший провести воздушную экспедицию над Ледовитым океаном.

Дни проходят, проходят ночи. И вот по воздуху весть от южанина: его воздушный корабль взорвался, он сам с небольшой частью своего экипажа дрейфует на льдине в ста восьмидесяти километрах от мыса Северного.

Весь мир охвачен лихорадочным волнением: можно ли спасти этого человека? Сколько времени может он продержаться? Есть ли у него пища? Не треснет ли лед? Не относит ли его в открытое море? Шлют суда, летчиков.

Страна северянина глядит на него, весь мир глядит на него. Правительство его страны просит его оказать помощь потерпевшим крушение. Кто, как не он, должен спасти погибающих?

Он привык к тщательным до мелочности приготовлениям, привык лишь после длительных подсчетов улавливать благоприятный момент. Всем достигнутым до сих пор он обязан осмотрительности, а не счастью. Сейчас он должен вылететь чуть ли не сразу, на поспешно доставленном, кое-как для этого полета переоборудованном аэроплане. Но ведь он «первый», его слава обязывает его. И какое горькое торжество будет подобрать на свой аэроплан этого неудачника, возмнившего себя равным, возмнившего себя первым! Он заявляет, что согласен. Фотографы снимают его, когда он садится на аэроплан: губы искривлены, глаза жесткие, как всегда.

Это последняя его фотография. Он не подбирает южанина на свой аэроплан. Он не возвращается.

Возвращается тот, другой.

Тот пережил тяжкие дни. Сидел на дрейфующей льдине, со сломанной ногой, глядя в лицо близкой гибели, окруженный спутниками, видевшими в нем причину своего несчастья. Единственный среди них, имевший опыт в полярных путешествиях, погиб. Пустился, наде-

ясь добраться до материка, в путь в сопровождении двух других, замерз по дороге, может быть, умер с голоду, может быть, был съеден своими спутниками — никто этого не знал хорошенько. Но знали зато, что южанин дал спасти себя раньше всех своих спутников, — он, капитан, раньше других! — и что он был виновником смерти северянина и смерти еще восьмерых других, и что уцелевшие своим спасением были обязаны ледоколу, принадлежавшему стране, которая в области культуры и политики являлась самым ярким противником его собственной страны.

Он первый пронесся над Арктикой на аппаратах, которые изобрел, построил, вел он сам. Еще несколько недель назад весь мир пел ему хвалу, много бóльшую, чем он этого заслуживал, много бóльшую, чем когда-либо — северянину. Теперь он был трусом, позором своей страны, вызывавшим смех и озлобление.

Тот, другой, погиб из-за него, ради него. А он был жив, был единственным среди живых, кто провел над Арктикой воздушный корабль. Но великим человеком был тот, другой. Он же был смешон, даже собственная страна отреклась от него.

## 2

### МЕРТВЫЕ ДОЛЖНЫ ПОМАЛКИВАТЬ

В семь часов утра явно растерянный надзиратель позвал заключенных Трибпенера и Ренкмайера к министерпальрату Фертчу. Человек с кроличьей мордочкой мелкими испорченными зубами покусывал губу, торчавшие из ноздрей волоски вздрагивали.

— Я вынужден сообщить вам печальную новость, — сказал он. — Ваш товарищ по заключению Мартин Крюгер сегодня ночью тихо скончался.

Леонгард Ренкмайер глуповато раскрыл голубые, водянистые глаза. Гуго Трибшнер произнес:

— Да, он чертовски быстро отправился на тот свет. Он как раз только поздравил меня с тем, что я справился с «Кларой».

— Он давно уже жаловался на здоровье,— сказал Леонгард Ренкмайер.

Гуго Трибшнер подтвердил:

— Да, с Крюгером было что-то неблагополучно.

Эти слова заставили шевельнуться человека, сидевшего в углу. Они раньше не заметили его. Это был доктор Гзелль. Его вытащили прямо из кровати. Ему осталось только констатировать смерть заключенного номер две тысячи четыреста семьдесят восемь. Теперь он сидел в кабинете Фертча, небритый, с всклокоченными волосами, в незастегнутом жилете. Галстук его был плохо завязан.

Фертч был доволен, что товарищи Крюгера говорили такие вещи, без умысла обвиняя врача. Но это была единственная сладкая капля в большом кубке горечи. Он достиг тринадцатого разряда. Оставалось всего каких-нибудь несколько недель, пока он получит возможность сдать это проклятое учреждение другому и перебраться в Мюнхен. Перед ним были перспективы одного-двух лет пребывания на службе в городе, в какой-нибудь достаточно высокой должности, затем спокойная старость, скрашенная всеобщим уважением и пенсией чиновника особо привилегированного разряда. Сейчас опять, в который уже раз, все ставилось под вопрос. Ходили слухи о том, что амнистия Крюгера — дело решенное и последует в самые ближайшие дни. И такое дьявольское невезение! Нужно же было, чтобы этот субъект окоцурился именно здесь, у него! Он чувствовал, как из всех уголков огромного здания ползут к нему испуг, укоры, негодование, злорадство, ненависть и злобное удовлетворение. А тут вот сидит еще, хмурый и растерянный, этот неуч, это ничтожество, Гзелль. Злобно косился на него Фертч, сдерживая бешенство, и обращался к нему лишь с отрывистыми, скудными словами, полными иронии.

— Этот Крюгер, по-видимому, все же не был симулянтом,— констатировал он уже в четвертый, в пятый раз.

Покойник лежал на своей койке, небритый. Одна рука свешивалась вниз. Фертчу, предвидевшему возможность посещений и осмотров, не понравилась эта

обстановка. Оставить труп в камере можно было. Здесь он был на своем месте, голые стены и тишина вокруг создавали известную торжественность. Но приличное одеяло принести необходимо, нужно также лучше уложить покойного и побрить его. Тюремный парикмахер, арестант, принялся за дело. Он был отчаянный трус и боялся покойников. Ему пришлось нообещать на весь остаток недели по кружке пива ежедневно. Когда он, чтобы добраться до второй щеки, повернул голову покойника, в горле мертвеца что-то забулькало. Парикмахер в диком страхе уронил бритву и бросился бежать. Понадобились длительные уговоры, чтобы он снова взялся за работу. Пришлось сидеть с ним, пока он не кончил.

Иоганну сообщили по телеграфу. Она приехала около полудня. Она стояла в камере, наедине с покойником. Резко повернула к нему широкое лицо, строго глядела на него. Многое нужно было еще уяснить между ним и ею. Она знала: если сейчас это ей не удастся, то никогда уже нельзя будет уяснить этого, и всю жизнь тогда останется она сидеть в невидимой клетке. Она подошла вплотную к койке. Внимательно принялась разглядывать выступавшее из-под красного одеяла серовато-желтое лицо. Лицо было очень гладкое, это они хорошо сделали. Но выигрывалось этим мало: лицо не стало более кротким. Нет, черт возьми, это лицо не было спокойным и мирным. Она сразу поняла: трудно будет ей с этим человеком разобраться во всем, что в ней происходило.

До сих пор, представляя себе его камеру, видеть которую ей не разрешалось, Иоганна думала, что в ней должно быть холодно. Ее поразило, что здесь так жарко. Да, здесь топили, трубы парового отопления пощелкивали. Она внимательно оглядела помещение: окно, за ним железные прутья — пять вертикальных, два горизонтальных. Бледно-зеленые стены, вверху выбеленные следы вытасненных гвоздей. Термометр, белая кадка, о которой столько говорилось. Четыре брошюры в углу. Она взяла в руки «Руководство для вкладчиков сберегательной кассы», машинально перелистала его. На столе лежал ломоть хлеба, который производивший

уборку арестант не посмел унести. Иоганна взяла его в руки. Хлеб был очень черствый.

Двадцать два месяца, шестьсот семьдесят дней,— она в автомобиле точно подсчитала,— пробыл здесь этот человек. За эти шестьсот семьдесят дней он, должно быть, целиком вжился в это помещение, в каждый кубический сантиметр этой камеры, которая уже через минуту начала давить ее. Мартин всегда жаждал новых впечатлений. Здесь смотреть было не на что. Разве можно жить, не видя ежедневно чего-нибудь нового?

С него, первоклассного искусствоведа, снимут маску. Она и без маски знает, каково это лицо. Она ни единой поры этого лица не забудет до последнего дня своей жизни. Волосы коротко острижены; и все же видно, какие они тусклые и поседевшие, не черные до блеска, как прежде. Мясистый нос, пожелтевший, до смешного большой, выступает из двух глубоких складок. Губы тонкие, как черта. Крупное лицо и сейчас еще словно какое-то обмякшее. Но это ошибочное впечатление. Этот человек и сейчас не позволит договориться с собой. Особенно злобен широкий, низко заросший волосами лоб. Это — жесткое лицо. Покойник не идет на уступки.

Хорошо было бы увидеть его глаза. Если бы на лице раскрылись его серые, живые глаза, все сразу стало бы по-иному. Она мучительно старается восстановить в памяти прежнего Мартина. Тот любил речи и возражения, объяснения и патетические сцены. Но этот шумливый, восприимчивый человек совсем исчез — осталась лишь жесткая, желто-серая, злобная маска. Она не может не смотреть на нее, не может не подойти ближе. Маска надвигается на нее, тяжелая, горячая, душливая, как мокрый гипс, ложившийся тогда на ее лицо. Оцепенение охватывает ее, какая-то скованность, ей чудится какой-то гигантский счет, который предъявлен ей и который она никогда не в силах будет оплатить. Холодное бешенство поднимается в ней. Она не допустит, чтобы с этого лица сняли маску. Желто-серое лицо это должно исчезнуть. Сжечь заставит она этого человека и его лицо. Но она прекрасно знает, что это напрасно. Вечно будет она чувствовать, как надвигается на нее желто-



серая, жесткая маска, как она опускается ей на глаза, затыкает ей нос и рот.

С безумной торопливостью старается она отдать себе отчет в том, имела ли она возможность, ну хоть малейшую возможность раньше сообщить Мартину, что ему не придется пробить в этой зеленоватой могильной камере еще четыреста двадцать шесть дней, что ему нужно запастись лишь ничтожнейшей долей терпения. Да, возможность была: ей нужно было сильно захотеть, не быть такой упрямой и гордой. Ей нужно было только вовремя поговорить с Тюверленом до его отъезда. Она пережила это чувство уничтожения тогда, когда Мартин ей описывал его. Другие — нет, но она ведь ощутила это. Она должна была говорить. Не Тюверлен виноват, нет, только она, она, она.

Смерть — это смерть. И процесс Крюгера кончился. И пересмотра дела быть уже не может. И осуждена — Иоганна Крайн.

После, в конторе, ее усиленно в чем-то убеждали Фертч и доктор Гзелль. Врач объяснял ей, что только в исключительных случаях *angina pectoris* поддается определению в начальных стадиях и что даже тогда едва ли есть средство против нее. Иоганна стояла перед обоими мужчинами в ледяном молчании, вся — воплощение холодной ярости. Серые глаза потемнели, верхняя губа была закушена. Всю дорогу сюда в тряском автомобиле она повторяла себе: не терять власти над собой, владеть всеми пятью чувствами! Фертч, стараясь скрыть неловкость, был многословен. Произнес несколько высокопарных фраз, заранее подготовленных. Повторял их в других вариантах. Сообщил, что после покойного осталось много рукописных материалов; богатое литературное наследство, как он выразился. Доктор Гзелль изложил еще некоторые теоретические сведения относительно *angina pectoris*. Иоганна упорно молчала, глядела каждому выступающему прямо в глаза. В конце концов, ни звука не ответив, словно и не было всех бесчисленных слов, произнесенных обоими мужчинами, она заявила, что желает возможно скорее убрать тело покойного из тюрьмы. Кроме того, она попросила разрешения взять в собой ломоть хлеба, лежавший в

камере. Директор и врач вздохнули с облегчением, когда она уехала.

Смерть искусствоведа Крюгера наделала много шума далеко за пределами Германии. Уже не в первый раз в германской тюрьме умирал человек с крупным именем, при обстоятельствах, в глазах общественности бросавших тень на врача этой тюрьмы. Лига защиты прав человека подала жалобу на доктора Гзелля, обвиняя его в убийстве, явившемся следствием преступной халатности. К этой жалобе присоединились различные левые организации. Заключенные одельсбергской тюрьмы отказались впредь пользоваться услугами доктора Гзелля. Он сам потребовал расследования. Прокуратура, чтобы сразу прекратить разговоры, распорядилась произвести вскрытие тела. Оно было сделано ведомственным врачом. Заключение гласило, что даже самый опытный врач не мог бы ни предусмотреть, ни предотвратить смерть арестанта Крюгера. Прокурор дело прекратил.

Баварское правительство с полным безразличием относилось к поднятому вокруг этого дела шуму. Оно привыкло к нападкам по поводу несовершенства своих органов юстиции. Договор с калифорнийским сельскохозяйственным банком был подписан. Документы все были в порядке. Министр юстиции Гартль сиял. Ему чуть было не пришлось, в связи с этим американским займом, амнистировать человека, им самим осужденного. Сейчас этот приговор подтверждался самим небом, самим, так сказать, провидением.

«Перст божий», — думали также присяжные народного суда, вынесшие тогда обвинительный приговор: учитель гимназии Фейхтингер, владелец перчаточного магазина Дирмозер. Они вспоминали, как дерзко и вызывающе вел себя перед судьями обвиняемый Крюгер. «Болезнь сердца», — размышлял почтальон Кортези и мысленно подсчитывал, сколько почтальонов наживали болезнь сердца постоянным хождением по лестницам.

Намерение Иоганны сжечь тело покойного встретило ряд затруднений. Церковные власти, ссылаясь на библейские тексты, при поддержке правительства

настаивали, чтобы умерших хоронили, а не сжигали. От Иоганны потребовали письменного завещательного распоряжения покойного или по крайней мере подтвержденного присягой заявления двух свидетелей о том, что Мартин Крюгер при жизни высказывал определенное желание, чтобы его труп был сожжен. Каспар Прекль никогда ни единого звука по этому вопросу от покойного не слышал, но немедленно выдал Иоганне соответствующую записку. К кому бы еще могла обратиться Иоганна? Не задумываясь, она позвонила Паулю Гессрейтеру. Г-на Гессрейтера весть о смерти Крюгера привела в тяжкое смущение. Он в свое время принял участие в судьбе Крюгера. И то, что конец наступил так неожиданно и так печально, являлось как бы его личной неудачей. Обращение к нему Иоганны доставило ему удовлетворение. Он не был близко знаком с Крюгером и уж, разумеется, никогда ни слова от него не слышал о том, как тот желал быть похороненным. Не колеблясь, подписал он подтвержденное присягой удостоверение.

Левые союзы и организации выразили желание принять участие в похоронах. Целый ряд музеев и художественных обществ в Германии и за границей — также. Мюнхенские картинные галереи, высшие школы, официальные объединения остались в стороне. Начальник полиции опубликовал распоряжение: он не допустит, чтобы похороны были превращены в демонстрацию. Из уст в уста передавалась фраза, сказанная кем-то на совещании ответственных лиц в министерстве: «Мертвые должны помалкивать».

Иоганна в сопровождении Каспара Прекля и тетки Аматсридер поехала на Восточное кладбище. Улицы были черны от народа. Полиция в большом числе охраняла мосты — Людвигсбрюкке, Корнелиусбрюкке, Рейхенбахбрюкке и все улицы, ведущие к кладбищу.

Иоганна стояла в большой приемной кладбища, вся в черном. Смугловато-бледное лицо застыло, верхняя губа была закушена. Люди теснились в большом зале. Иоганна видела лица, венки, лица, венки. Она стояла неподвижно, одеревеневшая. Говорили речи, возлагали венки. Иоганна видела людей, слышала речи. Стояла все

такая же неподвижная, застывшая. Людям, когда они взглядывали в это широкое застывшее лицо, становилось не по себе.

Вот он лежал перед ней. На нем — груды цветов. Цветочные магазины хорошо торговали сегодня. Разные знаменитые люди произносили речи, которые, должно быть, предварительно тщательно отшлифовали. Они много говорили о значении покойного, о его книгах, его трудах. Кое-что также и о его трагической смерти. Но ни словом не упомянули они о несправедливости, совершенной над ним, потому что это было запрещено. «Мертвые должны помалкивать», — распорядился некто. Иоганна стояла у гроба. Она смотрела и слушала. Она ничего не видела и ничего не слышала. «Мертвые должны помалкивать». Это возмущало ее. Как смел кто-либо приказать нечто подобное! Это было недопустимо, это нужно было изменить. Она напряженно думала, как бы это изменить. Пока произносились речи и возлагались венки, Иоганна напрягала свой мозг и все сызнавала терзала его, придумывая способ, как добиться того, чтобы мертвец подал голос, словно человек, который во сне пытается разрешить какую-то задачу, не может справиться с ней, но должен разрешить ее и придумывает тысячу способов и затем тысячу первый.

Говорили, возлагали венки, пели. «Это будет совсем не просто, — думала Иоганна, — это будет чертовски трудно, но я добьюсь этого». Венки, речи. «Я добьюсь этого», — решила она. Этот мертвец молчать не будет. Она это докажет, докажет со всей очевидностью господам Гартлю и Флаухеру.

Когда гроб вынесли и собравшиеся начали расходиться, Иоганна заметила вдруг, что доктор Гзелль и министериальрат Фертч тоже пришли на похороны. Да, оба они, уверенные в своей безопасности и невиновности, хотели показать, что им также известно, как полагается себя вести. Заключение Крюгером они интересовались при его жизни больше, чем это входило в их прямые обязанности. Они не желали отсутствовать и тогда, когда его тело должно было превратиться в пепел.

Иоганна была виновна в смерти Мартина. Она не обманывала себя, она призналась в этом перед желто-

серым лицом, когда осталась с ним наедине. Она не отказывается от этого, она возьмет на себя ответственность за все последствия. Но этот подлый Фертч знал о болезни Мартина, она своевременно поставила его в известность, и было неслыханной наглостью, что этот человек явился сюда, и она слишком долго сдерживалась, и сейчас она больше сдерживаться не хочет. Она подошла к обоим господам. Лицо под черной шляпой без вуали было бледно. Она взглянула на доктора Гзелля и не сказала ничего. Затем она поглядела на человека с кроличьей мордочкой, поглядела ему прямо в глаза и произнесла негромко, но очень отчетливо:

— Вы гнусный, подлый человек, господин Фертч.

Кругом стояло много людей. Они смотрели на нее и слышали ее слова. Человек с кроличьей мордочкой пролепетал что-то.

— Молчите, — сказала Иоганна. И повторила так, что ее не могли не слышать кругом: — Вы негодяй, господин Фертч.

### 3

## НЕМЕЦКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Если бы американец пробыл четыремя неделями меньше в России, если бы он четыремя неделями раньше поговорил с Жаком, — этого было бы достаточно. Мартин Крюгер был бы жив и свободен. Если бы Жак до отъезда поговорил с ней, — этого было бы достаточно. Мартин был бы свободен. Если бы Мартин в картинной галерее не повесил портрета Анны-Элизабет Гайдер, если бы французы не заняли Рура и кутцнеровские ослы не создали второго неофициального правительства, если бы министр Кленк не пал, а министр Мессершмидт не был вынужден уйти на двадцать шесть дней раньше, если бы из стольких событий оказалось возможным предотвратить хотя бы одно, — этого было бы достаточно, Мартин был бы на свободе. Где таился смысл всех этих счастливых, всех этих роковых обстоятельств?

То, что делала она, было бесполезно. Но если бы она этого не делала, не произошло бы тех событий, которые

затем помогли Мартину. Но ведь они ему, к сожалению, не помогли. Однако только потому не помогли, что у него не хватило сил. Нет, потому, что *она* не проявила достаточной силы и настойчивости. Но разве она, еще до того, как завертелась вся эта история, не предостерегала его, чтобы он не связывался с этой Анной-Элизабет Гайдер? Она проявила достаточно чутья, а вот *у него* чутья не хватило.

Иоганна в эти долгие ночи спорила, торговалась с мертвым Крюгером. Она стояла в крохотной камере, трубы парового отопления пощелкивали, она требовала ответа от желто-серого лица. Она убеждала застывшее тело, хотела добиться от него подтверждения, что не она была виновницей его жалкого конца. Но желто-серое лицо оставалось неподвижным, оно оставалось невозмутимым все в том же, лишенном примиренности, покое.

Не в ней, не в нем таилась причина. Дело было вот в чем: каждое действие, полное жара или чуть тепленькое, противоречащее или совпадающее с характером совершающего его, — слепо. Оно просто — один из тридцати шести номеров рулетки. И нельзя предугадать, окажется ли он благоприятным или нет.

Сделанное Иоганной не было ни полезно, ни вредно. Оно было нейтрально, безразлично, не имело последствий. Было ли оно сделано или не было — не меняло ничего. Она бегала к тем, кто ведал законностью, к судьям и адвокатам, говорила по мере надобности — правду, по мере надобности — лгала, старалась завязать эти проклятые «светские связи», прыгала в грязь, когда это казалось полезным, молила и упрекала официальных и тайных правителей страны, делала все, что только можно было сделать, — аппарат был сильнее ее, машина продолжала работать. Но благодаря тому, что Жак написал для г-на Пфаундлера обозрение и какой-то музыкант, имени которого она даже не знала, сочинил для этого обозрения песенку, благодаря тому, что какому-то проезжему «делателю долларов» эта песенка понравилась, и потому еще, что ему понравилась болтовня Жака, и еще потому, что этому Жаку понравилось ее широкое лицо и тупой нос, — вот благодаря

всему этому Мартин оказался на волосок от освобождения. Правда — только на волосок. Все же без всяких усилий, шевельнув только мизинцем, этот музыкант, этот американец, этот Жак достигли большего, чем она всеми своими усилиями, над которыми она ломала голову в течение долгих месяцев. Никто не способен разобраться в этом, так бессмысленно здесь все запутано. Тут было невезение, там — счастье. Где же была вина?

И все же вина была. Существовал счет, и в нем не учитывалось — успех или неуспех. В нем учитывалась только сила, напряжение, вкладываемое человеком в какое-нибудь действие. Умные люди могли говорить: Мартин Крюгер умер потому, что судопроизводство поставлено плохо, а наказание отбывается в варварских условиях. Умные люди могли говорить: Мартин Крюгер умер потому, что составные частицы его крови, его сердечные камеры были такими, а не иными. Она знала: он не умер бы, если бы она в дело его освобождения вложила больше силы и больше воли.

На большом океанском пароходе возвращался с Запада писатель Жак Тюверлен. Он незадолго до отъезда из Америки узнал о смерти Мартина Крюгера. Поневоле приходилось связывать с этим фактом размышления о судьбе и случайности.

Жак Тюверлен снова перечел написанное им в очерке о Мартине Крюгере. Он обнажил в этой работе связь, существовавшую между этой судьбой и социологическими условиями данной эпохи, но нигде не перерезал и нитей к более углубленному толкованию. Сейчас, после смерти Мартина Крюгера, ему ни от чего не приходилось отрекаться. В своем поведении по отношению к Мартину Крюгеру он также не находил ничего заслуживающего упрека. Этот человек не был ему симпатичен. Их судьбы скрестились, он не уклонялся, старался возможно приличнее развязать эти нежелательные отношения. Поступал по отношению к покойному корректно.

Ему чужды были бесцельные, ненужные сомнения. И все же эта судьба теперь, когда ничего уже изменить в ней невозможно было, угнетала его. Против своей

воли и он, как Иоганна Крайн, в бессонные ночи объяснялся с Мартином Крюгером. Он оправдывался перед умершим, опираясь на веские доказательства, что для него нельзя было сделать больше, чем было сделано.

Жаку Тюверлену, когда он возвращался из Америки, шел сороковой год. Ему нельзя было дать больше тридцати. Он был свеж, подвижен, чувствовал себя превосходно. Он повидал много нового, познал новые вопросы и сомнения, натренировал мозг, сердце, тело. У него был основательный текущий счет, он считался одним из наиболее солидных писателей своего времени. Он ехал по морю, насыщенный картинами и образами, полный планов, спокойно выжидая, какой из них созреет, полный радостного нетерпения встречи с Европой, с Баварией, с Иоганной Крайн.

Единственной тенью оставалось неожиданное разрешение дела Крюгера. Вопросы общие и сугубо личные у него здесь досадно сплетались воедино. Когда Мамонт потребовал от баварского правительства освобождения Крюгера, он забавлялся тем, какие странные пути иногда избирает судьба. Если он ничего не сказал Иоганне, то произошло это потому, что у него вообще не было привычки громко кричать о жатве, пока она не свезена под крышу. Но возможно, что это произошло больше всего из тщеславия. Он радовался возможности вернуться в качестве доброго, улыбающегося дядюшки, одним мановением руки приводящего все окружающие затруднения к благополучному концу. Сюрприз получился в достаточной мере неудачным. Тут нечего было возразить. Он получил по заслугам.

Но не по заслугам получил Мартин Крюгер. Это сердило его. За этой кажущейся бессмыслицей должен был скрываться какой-то смысл. Удобно было верить в провидение — все равно, как ни называть его — богом или законом экономики. Тут был девственный лес, сквозь который каждый должен был сам прорубить для себя дорогу. Он, во всяком случае, не мог разглядеть дорогу, которую другие, по их словам, видели ясно. Ему приходилось рассчитывать только на собственный нюх. Он полагался только на свой нос, а не на добрые советы господ Гегеля и Маркса.



Дело Крюгера как-то особенно раздражало его своей кажущейся бессмысленностью. Ведь нужно было еще совсем немного — и оказалось бы так, что его воля способствовала бы освобождению этого человека. Ему надо было только преодолеть свое воображаемое превосходство, вовремя поговорить с Иоганной — и тогда, вероятно, тот человек еще увидел бы волю. Необходимость раскрыть смысл этого течения событий, этого «чуть-чуть», этого последнего «нет», мучила его, как мучает после разгадки всех слов кроссворда последнее неразгаданное. Что доконало Крюгера? Angina pectoris? Портрет Анны-Элизабет Гайдер? Политика? Какие-то социологические причины? Двадцать три столетия назад на эту тему можно было бы написать трагедию рока. Показать, что Крюгер стал жертвой экономических отношений было бы ничем иным, как упрощенной трагедией рока.

И вот писатель Жак Тюверлен ехал через океан с грузом славы и немалого нового опыта, но мучительно взволнованный некоторыми моментами, касавшимися неприятного конца дела Крюгера. Он ехал семь дней и семь ночей, вступил на сушу в городе Гамбурге, проехал по равнине, по горным местностям, пересек реки — реку Рейн, реку Дунай, добрался до Старой Баварии, явился к Иоганне Крайн. И, увидев ее, он сразу понял, что сомнения его были не напрасны. Смерть Крюгера не была окончательным завершением дела Крюгера. Смерть Крюгера касалась его лично.

Иоганна стояла перед ним в своей большой комнате на Штейнсдорфштрассе. Лишь несколько месяцев она не видела этого остро очерченного помятого лица с крупными крепкими зубами и выдающейся нижней челюстью, но ей казалось, что прошло много месяцев, и она любила этого человека безмерно. Он держал обе ее руки в своих сильных, веснушчатых и говорил с ней веселым, сдавленным голосом. Он обрадованно заметил, что ее волосы снова отросли. Так, значит, она собирается снова закалывать их узлом? Да, это шло к ней, это было великолепно. Они оживленно болтали о сотне обыденных вещей. Казалось, за этот промежуток времени не произошло ничего особенного. Но за это время

случилось так, что он чуть было не освободил Мартина Крюгера и что Мартин Крюгер умер. И Иоганна знала, что, как безмерно она ни любила этого человека и как ни бессмысленно и туманно было то, что сковывало ее, все же она уже никогда больше не сможет принадлежать ему.

За пятьдесят лет до этого немецкий философ Ницше учил, что психология — настоящее мерило чистоплотности или нечистоплотности народа. В Германии, — указывал он, — нечистоплотность в психологических вопросах превратилась в инстинкт. Жак Тюверлен хорошо усвоил это изречение. Утверждение философа могло казаться досадным, но разумный человек должен был считаться с фактами, строить свою жизнь согласно с ними.

Жак Тюверлен понял, что произошло с Иоганной. Она произнесла:

— Жаль, что ты ничего не сказал перед отъездом.

Она была права. Он совершил ошибку. Он был обязан говорить, был обязан лучше видеть, лучше знать ее. Он совершил ошибку. Он должен был знать, что она долгие месяцы напрасно будет терзаться, что его тщеславное молчание может иметь для Крюгера роковые последствия. Он совершил ошибку. И теперь, когда она произнесла: «Жаль, что ты ничего не сказал», — он не сделал даже попытки объяснить, почему он так поступил. Он просто сказал:

— Да, жаль.

Он видел, как тяжело мучается эта женщина, видел, что никакие разумные доводы не способны помочь ей преодолеть эту тяжесть. Она стояла перед ним, упрямая, угрюмая, как ее страна, и он очень любил ее.

Огромный бессмысленный камень лег между ними. Она сама положила его, во имя чистейшей фантазии, без всякого смысла. Но от этого ему было не легче. Поступок не становится непременно неправильным только потому, что он нелогичен. Он не всегда также оказывается правильным только потому, что соответствует логике. Тюверлен всегда исходил только из своего я и из своего мировоззрения. Это было неправильно. Камень лежал между ними. Виновен был он. Он не жаловался.

Управление одельсбергской тюрьмы выдало Иоганне рукописи Мартина Крюгера. Тут были большие связки, тетрадки, вновь и вновь правленные листки, обрывки записей, стенографические заметки, в которых трудно было разобраться. Иоганна попросила Тюверлена вместе с каким-нибудь специалистом заняться изданием литературного наследия Крюгера. Тюверлен предпочел привлечь к этому делу Каспара Прекля.

Оба они сидели вместе, как в те дни, когда Тюверлен работал над обзором. Только спорили они еще более горячо. Писателя Тюверлена не интересовал человек, написавший эти страницы, его интересовало только его творчество. Покойный Крюгер имел счастье полностью исчерпать свои способности. Страстный, мятежный «Этюд о Гойе» изумительно дополняла спокойная, полная мягкого блеска статья о картине «Иосиф и его братья». Встречались яркие, но несчастливые дарования, навсегда застревавшие на наброске, которым никогда не удавалось создать законченное произведение. Случалось, что человек меньшего таланта создавал вещи более значительные, чем человек с большим дарованием. Мартин Крюгер принадлежал к числу этих меньших, но счастливых дарований, нашедших ту чашу, в которую они могли собрать все капли своего вина. Такими именно и хотел преподнести читателям Тюверлен посмертные произведения Крюгера, округлить их.

Инженера Каспара Прекля такие теории раздражали до последней степени. Неправдой было то, что произведение воспевало своего творца, оно в лучшем случае воспевало эпоху, когда оно было создано. Не от способностей индивидуума зависело, создаст ли он, положив на это свой труд, то или иное произведение. Это зависело прежде всего от эпохи, от экономических и социальных отношений. Статья о картине «Иосиф и его братья» была, например, в глазах Прекля просто безделуш-

---

<sup>1</sup> Последнее произведение (лат.).

кой, и он охотнее всего изъял бы ее. Все творчество художника Ландгольца и его судьба служили ярким доказательством того, к чему в наше время должно привести последовательно индивидуалистическое понимание задач искусства: к раздвоению личности, к шизофрении, к сумасшедшему дому. Преклю было безразлично, будет или не будет округлено творческое наследие Крюгера. Он стремился к тому, чтобы эти страницы пылали мятежным, революционным духом, вспыхнувшим в Крюгере в последние дни его жизни. Разве Крюгер умер просветленным, в кротком сиянии? В муках испустил он последний вздох, в грязи и крови, как мятежник. Последовательным завершением, венцом всего его творчества была статья не о картине «Иосиф и его братья», а о Гойе.

Не то чтобы Прекль был полностью согласен с «Этюдом о Гойе». Этот «Этюд» был не таким, как нужно, был полон непозволительного блеска. Революция чужда блеска, революция — длительная, тяжелая, непатетическая, жестокая вещь. И все-таки работа о Гойе была работой мятежника, выявляла самое ценное, самое значительное в творчестве Крюгера. Когда Прекль в присутствии Тюверлена ратовал за «Этюд о Гойе», когда он пытался вытравить его ложный блеск, выявить в нем значительное — в этом крылось своеобразное самобичевание, стремление заглядеть собственную вину. Он не мог помочь Мартину Крюгеру достигнуть истины. Он потерпел поражение, не справился со своей задачей. И теперь он стремился оставшемуся после Крюгера наследию придать форму, соответствовавшую его представлениям.

Приходилось бороться с собой. Вечно вставал перед ним образ серо-коричневого человека, упрекавшего его в том, что у него отсутствуют важнейшие функции: способность к наслаждению и способность к состраданию. В его ушах еще звучали интонации, с которыми Крюгер в приемной одельсбергской тюрьмы читал ему главу «Доколе?», еще звучал веселый смех потешавшегося над ним Крюгера. Он и нынче еще пререкался с покойным, сердито отругивался. Крюгер ошибался, обвиняя его тогда в пуританстве. Умерший не знал,

какого труда Преклю стоит холодной, жесткой логикой подавлять в себе «сентименты». Нередко, читая яркие, блестящие строки Крюгера или слушая Тюверлена, который наступал на него, ослепляя его своими афоризмами, он испытывал соблазн спастись в такую область, в которой ему легче было бы обороняться. Но он не поддавался, не хватался за банджо, не писал баллад.

Прекль возмущался Тюверленом. Он признавал его дарование, но в то же время в мыслях своих он гримировал писателя Тюверлена под чистейшего представителя гибнущей буржуазии. Прекль с величайшим недоверием подходил ко всему, на чем лежала печать успеха. Успех заставлял его сразу настораживаться по отношению к человеку или к произведению искусства. И Тюверлен был ему подозрителен благодаря своему успеху. Ибо что же еще при капиталистическом строе могло пметь успех, как не то, что помогало господствующему классу укрепить и увеличить свои доходы? Тюверлен — в этом Прекль и не обвинял его — не писал своих произведений с сознательной целью способствовать увеличению этих доходов, но бессознательно все же давал увлечь себя этому течению. Помимо его воли, его пером водил капитал, вытесняя из его творчества то, что было в нем наиболее ценного. Он не мог освободиться от идеологии господствующего класса, частицей которого был. Он был представителем загнивающей, увлеченной погоней за наслаждениями, несерьезной Европы, которую он, Каспар, теперь покидал, чтобы участвовать в закладке фундамента лучшей жизни.

Тюверлен не мог отказать себе в удовольствии подразнить Каспара Прекля, высказывая при нем взгляды, к которым и сам не относился вполне серьезно. Однажды, например, он принялся доказывать Преклю, что его марксизм обуславливается просто его индивидуальным темпераментом. Прекля такие шутки выводили из себя. Он своим резким голосом принимался кричать на Жака, а тот скрипел что-то в ответ. Затем они сразу же снова принимались за работу, быстро сговаривались по практическим вопросам.

Иоганна молча сидела подле них, переводя взгляд с одного на другого. Возможно, что мнение Жака о твор-

честве Крюгера было и правильно. Но для нее лицо Мартина становилось как-то яснее, когда горячился Прекль. Споры между обоими мужчинами, опытность Тюверлена и мятежный дух Каспара Прекля шли, во всяком случае, на пользу их работе. Посмертные произведения Мартина Крюгера гармонично дополняли созданное им при жизни, придавая всему творчеству этого человека ясные очертания.

Иоганна наблюдала за тем, как создавались эти произведения. Листки, исписанные уверенным вначале, а затем все более беспокойным почерком, были еще как-то связаны с Мартином, хранили в себе частицу его жизни. По виду букв можно было угадать, были ли они написаны в часы надежды или отчаяния. Сейчас все это сглаживалось, смешивалось. Маленькие кишащие знаки становились неподвижными, застывали в чистой и ровной машинописи, превращались в произведение.

Произведение округлялось, росло. Но — и это подавляло Иоганну — человек исчезал за своим произведением. Произведение заслоняло человека.

## 5

### МАРШАЛ И ЕГО БАРАБАНИЩИК

Берлинское правительство было вынуждено отказаться от пассивного сопротивления занятию Рурской области. По всей стране было объявлено чрезвычайное положение. Короли промышленности заставили берлинский кабинет выступить с оружием против рабочих правительств в Саксонии и Тюрингии, созданных в полном согласии с конституцией. Рейхсвер вступил в Дрезден, в Веймар, объявил социалистические правительства пизложенными, штыками прогнал министров с их постов. Некоторые крупные промышленники и военные выступили в качестве диктаторов. По всей Германии царили брожение, произвол, смятение и нужда. Курс доллара карабкался вверх, достигая цифр, которые для обыкновенного человека были пустым звуком. Фунт хлеба стоил миллиарды.

«Истинные германцы» в Мюнхене торжествовали. Разве не предсказывали они, что берлинские методы управления повергнут в хаос всю страну? Г-н Кутцнер расцвел, забыл весеннюю неудачу. Инстинкт вождя не обманул его. Теперь только пришло время: не весенний цвет, а первый снег был подходящим моментом для похода на Берлин.

Сидя в своем дворце на Променадеплаце, внимательно приглядывался к происходящему Франц Флаухер. Опять этот Кутцнер начинает шевелиться. Не понял он разве еще, кто маршал, а кто барабанщик? Правда, американский заем не дал таких заметных результатов, каких ожидал от него государственный комиссар, но скрытое его действие еще продолжалось. Опираясь на него, он завоевал диктатуру, а вместе с его постом выросли и его силы.

С еще большей страстью, чем в открытую борьбу с Берлином, вступил Флаухер в тайную борьбу со своим непокорным барабанщиком. «Истинные германцы» хотя и использовать слабость имперского правительства в своих собственных целях? Погодите. Это Флаухер лучше сумеет сделать, ему здесь и книги в руки! С крестьянской хитростью перехватил он наиболее эффектные пункты программы «истинных германцев» и сделал их своими. Перехватил ветер, надувавший их паруса. Они расточали громкие фразы о своем походе на Берлин, он — действовал. Отменил в пределах Баварии объявленное берлинским правительством для всей Германии чрезвычайное положение, объявил взамен свое собственное, баварское. Правил, опьяняясь властью. Задержал в Баварии золотые запасы, которые Государственный банк хотел перевезти из Нюрнберга в другие казначейства. Провел приказом пониженные цены на пиво. Выселил из Мюнхена, наперекор представлениям имперского министра, большое число издавна проживавших там евреев. Берлинское правительство не посмело вступить. В Саксонии и Тюрингии оно имело дело с изголовавшимися рабочими. Баварию же грудью своей защищали объединенные силы могущественной реакции. Флаухер, видя пассивность, проявленную Берлином, осмелел, просто отказывался проводить в жизнь в пре-

делах Баварии распоряжения имперского правительства. Общегерманское военное министерство за грубые выходы запретило мюнхенскую газету «патриотов» — «Фатерлендишер анцейгер», поручило командующему мюнхенского военного округа провести в жизнь это запрещение. Баварский генерал, по распоряжению Флаухера, бросил приказ своего берлинского начальника в корзину. Берлин освободил генерала от обязанностей командующего. Генерал не подчинился и этому распоряжению.

Убежденный в бессилии Берлина, Флаухер осмелился наконец на решительный шаг. Назначил уволенного Берлином генерала баварским главнокомандующим, приказал привести баварские войска к новой присяге: они должны были присягнуть ему, Флаухеру. По радио, через эфир возвестил он всему свету, что имперское правительство находится в плену у марксизма, что оно сознательно стремится подавить политическую самостоятельность союзного баварского государства, что оно в течение ряда лет подавляло национальные чувства. Бавария, крепчайший устой исстрадавшейся Германии, не намерена больше терпеть такое угнетение и принимает бой, навязанный ей Берлином. На другой день он торжественно принял новую присягу от всех войск, находившихся на баварской территории: они присягнули баварскому правительству как верному хранителю интересов германского народа.

В его массивной квадратной голове ликующе звучало: «Те deum laudamus!»<sup>1</sup> Кутцнер для торжества национальной идеи сочинял лозунги. Он, Флаухер, создал для этой цели армию. Кто же после этого был маршлом, а кто — барабанщиком?

Кутцнер бесился. Мало того, что Флаухер, этот честолюбивый пес, украл у него его лозунги, он собирается теперь вырвать из-под самого его носа и венец всего плана — национальный путч. Не выгорит, дружок! Не так-то легко сдастся Кутцнер Руперт. Теперь начнется состязание: увидим, кто первый успеет

---

<sup>1</sup> Тебя, бога, славим (лат.) — начальные слова католического гимна.



подготовиться. Кутцнер совещался с сотрудниками своего штаба. Долго оттягивать было не к чему: все было и так почти готово. Был назначен новый «день освобождения», и на этот раз имелась в виду уже генеральная репетиция: 9 ноября под напором красных псов была разрушена старая империя, и 9 же ноября нынешнего года, в пятую годовщину ее разрушения, вновь должна она воскреснуть.

Флаухер, сидя в своем желтом дворце на Промепадеплаце, внимательно глядел, усмехался. Пусть Кутцнер спокойно снаряжается и ждет, пока армия перейдет на его сторону. Долгонько ему придется ждать: в этом отношении все меры приняты. В решительный момент не армия перейдет к Кутцнеру, а сколоченные с таким упорством отряды Кутцнера перейдут к нему, Флаухеру. С улыбкой, уверенный в себе, наблюдал государственный комиссар за тем, как «истинные германцы» вели приготовления к своему выступлению. Ядром национального подъема была армия, а она принадлежала ему. Она была сильнее, чем казалась на первый взгляд: с ней перемигивались еще шесть других дивизий рейхсвера. Если дойдет до дела, то господам берлинцам не рекомендуется особенно крепко уповать на свои войска. Уже сейчас главнокомандующий рейхсвером в секретном приказе боязливо заклинал своих командиров удалять из армии всех офицеров, занимающихся политикой. Флаухер улыбнулся с еще более глубоким удовлетворением. Прекрасен был для него этот октябрь, полный улыбок и уверенности.

В ноябре внезапно ветер переменился. Флаухер понял это, встретившись в «Мужском клубе» с Пятым евангелистом.

— Я слышал,— произнес тот своим высоким, жирным голосом,— я слышал, что физиономия господина Кутцнера перестала нравиться вам, господин государственный комиссар? Я тоже решил больше не вкладывать денег в этого господина.

Флаухер, как ученик, внимательно глядел прямо в рот говорившему, потирая рукою где-то между шеей и воротничком.

Он плохо разбирался в экономических вопросах, но

то, что небрежное замечание этого проклятого Рейндля весило больше тысячи кутцнеровских демонстраций,— это он знал хорошо. Очевидно, на Руре трубили отбой. Германская промышленность спелась с французской, и к путчу аппетит пропал. Капитал холодно поворачивался спиной к сторонникам государственного переворота и милитаризации. Флаухер напряженно размышлял. От этих размышлений его четырехугольное лицо совсем поглупело. Если деньги отступали, то и армия его была уже ни к чему, и как бы ему самому еще не дожидаться «весеннего цветенья»! «Я тоже решил больше не вкладывать денег в этого господина...» Если полученный только что дружеский толчок в бок сопоставить с некими секретными донесениями из Берлина о тамошних настроениях, к которым он до сих пор относился без должного внимания,— тайный приказ командующего рейхсвером перестанет казаться боязливым.

Чертовски неприятная история! Он слишком далеко зашел, перенял слишком много лозунгов «истинных германцев». Если сейчас эта скотина Кутцнер выступит, вину свалят на него; тогда он, маршал, полетит вместе со своим барабанщиком. Эх, черт, в какую неприятную историю он влип! Всю ночь, расхаживая со своей таксой взад и вперед по низким комнатам, среди плюшевой мебели, он охал и потел. Все, что он делал, он делал не под влиянием гордыни, а во славу Баварии и господина своего. Не может быть, чтобы небо так жестоко покинуло его. Он опустился на стул в полном отчаянии.

И вот небо все же оказалось на его стороне: оно испослало ему план. Он откажется от собственного путча и утихомирит своего барабанщика Кутцнера. Но за это он выговорит оплату. Даже из этой неудачи выжмет он пользу для своей родины. Продаст Берлину свой отказ от выступления. Потребует компенсаций. Выторгует льготы, которые укрепят находящиеся под угрозой баварские права на государственную самостоятельность. Удовлетворенный лег он в постель, спал сладко, без сновидений.

Сразу же на следующее утро принялся он за работу. Отменить свой собственный путч было нетрудно.

Баварская армия была целиком в его руках. Так же, как она была готова вместе с ним совершить переворот, так же была она готова вместе с ним вернуться в подчинение имперскому правительству. Но снова отставить в угол людей Кутцнера, барабанщика и его молодчиков,— это было далеко не так просто. Те зашли далеко, рвались в бой, их уже невозможно было удержать. Да и времени оставалось мало. Он не знал, когда именно Кутцнер намерен выступить, но знал, что это вопрос дней. Выиграть время, выиграть время — вот в чем сейчас было все дело.

Он решил схитрить, созвал к себе руководителей всех боевых организаций. Клялся им, что у него одна с ними цель. Выразил одновременно некоторые опасения относительно политического положения в Берлине. Тамошний рейхсвер, конечно, можно будет склонить к тому, чтобы он примкнул к ним, но сейчас он еще недостаточно подготовлен. Речь идет о самой незначительной отсрочке, но сколько-то времени нужно, нужно обожждать.

Соратники Кутцнера отвечали с издевкой. Господин генеральный государственный комиссар однажды уже стал движению поперек дороги. Не забыто еще время, когда «покрылись цветом деревья». Неужто и теперь им разыграть трусов? Да, но ведь у него такие же цели, как и у них,— плакался Флаухер,— только время еще не пришло. Отсрочка, хотя бы на неделю отсрочка!

Вождь ландскнехтов Тони Ридлер отвечал упрямо и зло, гаулейтер Эрих Борнгаак — с явной насмешкой. Чего ради, если к 9 ноября все будет готово, откладывать до 16-го?

— Хотя три-четыре дня отсрочки! — молил Флаухер.

Кутцнер был все время странно молчалив. Он сидел мрачный, скрестив руки на груди, всей позой своей и выражением лица подчеркивая роковое значение момента. Но вот он поднялся. Хорошо, — заявил он, — они согласны ждать еще три дня. Его соратники громко запротестовали. Они будут ждать до 12-го, — обрывая разговор, громко и властно заявил вождь.

В ту же ночь собрал он всех своих ближайших помощников на военный совет. В то время как Флаухер

изошрлся перед ними, — сказал он, — на него, Кутцнера, нашло просветление. На 8 ноября Флаухером было назначено в «Кабаньей туше» большое собрание, на котором он должен был выступить с программной речью о создавшемся положении. Так вот на этом именно собрании, в ночь с 8 на 9 ноября, он, Кутцнер, и провозгласит национальную революцию. С оружием в руках заставит он Флаухера сказать «да» или «нет». Если государственный комиссар действительно стремится к народному подъему, ему, таким образом, облегчат возможность совершить «прыжок».

— Я, впрочем, думаю, — доверительно добавил Кутцнер, — что Флаухер потребовал отсрочки только для того, чтобы обмануть «истинных германцев» и опередить их. Но не на таковского он напал! Кутцнер на такую удочку не попадется. Он и не думает дальше поддаваться на обещания. Его согласие на отсрочку до двенадцатого — просто северная хитрость, дозволенная, более того — необходимая во имя блага отечества.

С полной серьезностью еще раз спросил он своих помощников, все ли готово. С полной серьезностью все военачальники ответили утвердительно. Один из них добавил, что если и политические приготовления закончены в той же мере, что и военные, то все в порядке. Кутцнер с укором взглянул на него. Ни слова не ответил дерзкому. Тайнственно-величественным жестом указал на запертый ящик стола, где хранились планы. Все поднялись со своих мест. В ночь с 8 на 9 ноября, — заявил он, — он перейдет Рубикон.

## 6

### КОРИОЛАН

Отто Кленк в одиночестве сидел в своем охотничьем домике. Он действительно выдержал характер: все лето и осень прожил вдаль от Мюнхена. Сидел в Берхтольдсцелле, в обществе одной только стареющей экономки Вероники, матери Симона. Жене его было велено стеречь мюнхенскую квартиру: он не терпел ее присутст-

вия в Берхтольдсцелле. Но что сегодня, в день своего рождения, когда ему минуло пятьдесят лет, он будет один сидеть в горах, в своем охотничьем домике, — это он полгода назад не считал бы возможным. В те времена он скорее готов был бы предполагать, что вся Германия будет праздновать этот день как юбилей своего спасителя.

И вот он сидел, глядя на окутанные туманом горы, дымил короткой тирольской трубкой, усмехался. Сегодня был день, подходящий для подведения итогов. Если бы сейчас его прихлопнуло, если бы сейчас ему пришлось собираться на тот свет, — много ли он упустил за свои пятьдесят лет, во многом ли ему следовало бы раскаяться? Ни в чем не приходится ему раскаиваться. Как бы он на все стороны не выворачивал свою жизнь, — это была великолепная жизнь, и он мог, утверждая это, не понижать голоса. Он был баварец, человек с гор. Бавария и современная эпоха плохо уживались вместе — тем хуже для современной эпохи. Кленк — это Кленк, и пишется — Кленк. Он был доволен, что не принадлежит к скользкой мрази, населяющей остальной мир.

Его книги, его горы, его лес, его егерь, он сам — лучшей компании не подобрать. Совсем неплохо побыть одному. Ему вспоминалась охота в итальянских горах. Горный козел — совсем неглупое животное. Некого Симона он, правда, охотно сегодня видел бы здесь у себя. Но просить его, звать его — вот этого он не мог заставить себя сделать. Когда он поссорился и порвал с «патриотами», он хотел забрать с собой и Симона, подальше от «патриотов», вот сюда, в Берхтольдсцелль. Но этот фруктец Симон не пожелал. Ему нравилось в Мюнхене, он и не думал киснуть в деревне. Когда Кленк вспылил и приказал ему повиноваться, он также вспылил, уперся на своем. Заявил четко и ясно: силой никто не может заставить его что-либо сделать. Если старику угодно разыгрывать обиженного, то это его личное дело. Кленк поднял руку, но удержался. Несмотря на гнев, он все же радовался тому, что его детеныш весь пошел в него. То же красновато-бурое лицо, те же

глаза, белок которых отливал коричневым, та же грубая сила.

Вот он стоит на своей горе — огромный, в поношенной охотничьей куртке поверх белоснежного белья, вытянув шею с костистой, поросшей скудной растительностью головой, — второй Кориолан. Он ждал, что страна позовет его, и ждал, что «патриоты» позовут его, и заранее наслаждался, представляя себе, как он всем им утрет нос. С напряженным вниманием наблюдал он за тем, как Флаухер борется с Берлином, как Кутцнер борется с Флаухером. Поздно, почтеннейшие господа! Рейндль вас не дожидался. Он давным-давно отъехал: история на Руре ликвидирована, вы опоздали к поезду. Надо было раньше подняться, почтеннейшие господа!

Из охотничьего домика Кленк вернулся к себе домой, в Берхтольдсцелль. Сильный жар исходил от огромной изразцовой печи, наполнял большую, просто обставленную комнату. Он сидел на деревянной скамье, сильно дымил трубкой. Включил радиоприемник, чтобы узнать последние новости. Вероника подавала на стол. Он ел с аппетитом, обильно. Пил. С тех пор как он находился в Берхтольдсцелле, он перестал опасаться за свои почки. После еды он долго сидел на месте, отдаваясь легкой дремоте. Не было ли телефонного звонка? Не спрашивал ли его кто-нибудь? Нет, никто не звонил. Ни Флаухер, ни Кутцнер не вызывали его.

Хорошо быть одному. Но нельзя же целый день сидеть и ждать провала «истинных германцев»! Он побранился с Вероникой. Взял одну из своих книг и отправился в лес. Сидя там на пне, читал он о праве и культурно-исторической логике, задумывался, чертил на полях пасмешливые замечания.

Но кто же эти двое, что идут сюда? Этот молодеватый господин и хрупкая дама? Ах, дьявол! В его мозгу зазвучали глухие удары литавр из любимой им увертюры. Вот это действительно чудесный сюрприз ко дню рождения! Он жаждет целиком вкусить сладость того «нет», которое он швырнет в лицо этому субъекту.

Да, вождь решил день накануне путча провести за городом. Разве не лежал его план, совершенно

готовый, в ящике его письменного стола? Единственное, что ему оставалось сделать,— это перед решительным ударом дать полный отдых своим нервам. Он выехал за город, взяв с собою Инсарову, свою секретаршу, но даже и ей не сказал, куда направляется. Только выбравшись за пределы города, он приказал ехать в Берхтольдсцелль. Почему бы, раз у него было время, не сделать попытки умаслить Кленка? Кленк был неглуп. Кленк должен был признать, что когда «покрывались цветом деревья», прав был он, вождь. Он был настроен примирительно, весьма расположен к Кленку. Он приложит все усилия к тому, чтобы Кленк принял участие в путче. Он хочет, чтобы Кленк был с ним. Все пойдет не так, как надо, если Кленка с ним не будет.

Инсарова, когда Кутцнер приказал ехать в Берхтольдсцелль, сразу просияла. Она в последнее время тесно сблизилась с Эрихом Борнгааком. После ухода Кленка от «истинных германцев» Эрих с каждым днем захватывал в свои руки все большую власть. Он делил свое время между лихорадочной работой и дикими увеселениями. Инсарова восхищалась тем, как он расточал себя. Ей нравилась циничная легкомысленная небрежность, с которой он брал ее. Она радовалась возможности пощекотать Кленка, заставить потом ревновать Эриха.

Увидев гостей, Кленк поднялся. Кутцнер после нескольких общих фраз сразу же принялся ораторствовать. У него был удачный день, слова, убедительные и яркие, лились из его уст. Кленк подумал: да, это он умеет! Он стоял, огромный, спокойно слушал, не грубил. Здесь, в своем лесу, он чувствовал свое бесконечное превосходство над этим ничтожеством Кутцнером. Кутцнер и Инсарова после долгой поездки в автомобиле замерзли и жаждали очутиться в теплой комнате. Худенькое лицо женщины выглядывало из пушистого серого меха шубы. Она переступала с ноги на ногу — маленький, изящный пушистый зверек, дрожащий от холода. Хотя эта подлая бабенка и была тогда виновницей его болезни почек и всего, что за этим последовало, все же Кленк не прочь был бы дать ей

погреться. Но еще бóльшим удовольствием было заставлять Кутцнера мерзнуть. Он и заставил его померзнуть.

Вождь, чтобы согреться, говорил с удвоенной энергией. С увлечением шевелил он крохотными усиками, хрящеватый нос выразительно поднимался и опускался. Кленк думал: «Опоздал, соседushка! Твои деревья отцвели!» Он наслаждался картинными позами этого человека, со вкусом выслушивал его многочисленные заклинания.

Лишь очень не скоро провел он наконец гостей в дом, приказал подать полузамерзшим еду и питье. Он сделал вид, будто колеблется, и обрадовался, когда вождь попался на эту удочку и сызнова завел свою песню. На этот раз Кутцнер заговорил о ящике письменного стола и о великом плане. Уже и в первый раз, когда он говорил о ящике, его слова произвели на Кленка впечатление. Собственно говоря, это было единственным, что в Кутцнере импонировало ему. Много раз за этот промежуток Кленк богатым воображением рисовал себе, как великий план лежит в ящике, никому не известный, но движущий всеми. Когда теперь вождь снова с таинственным видом заговорил об этом, Кленк вскользь, не то в шутку, не то всерьез, заметил, что и он работает над рукописью, которая не скоро попадется на глаза людям. Вождь, до сих пор задумчиво разглядывавший костяные пуговицы на охотничьей куртке Кленка, вдруг встрепнулся и взглянул в его хитрые, весело поблескивавшие карие глаза. Да, — подтвердил Кленк, — он работает над своими воспоминаниями. Вождь погрузился на несколько минут в молчание, задумался, занятый как будто только едой. В этих воспоминаниях, — произнес он наконец, скрывая под деланной веселостью явное смущение, — будет, должно быть, уделено место и ему, Кутцнеру?

— Ну, а как же, соседushка! — воскликнул Кленк.

Инсаровой нравился Кленк, нравились его умные глаза, его удлиненный костистый череп, огрубелая от солнца и ветра кожа, весь этот большой человек, спокойно расхаживавший по своему дому и своему лесу.



Она не могла понять сейчас, почему целое лето ограничивала себя одним Эрихом Борнгааком. Она и не думала последовать совету достойного всяческого доверия доктора Бернайса. Если ей уж недолго оставалось жить, то в этом были и свои преимущества: кому, как не ей, следовало наслаждаться каждым днем? Сразу, по первому же слову, обещала она Кленку, что придет к нему как-нибудь одна. «Когда?» — спросил Кленк. «Завтра вечером», — ответила Инсарова, не задумываясь. Завтра вечером — это было время, назначенное для «прыжка». Эриха заденет, что она не осталась полюбоваться им.

## 7

### СЕВЕРНАЯ ХИТРОСТЬ ПРОТИВ СЕВЕРНОЙ ХИТРОСТИ

Государственный комиссар доктор Флаухер методически подготовлял проведение задуманного им плана. Мысль — изобразить вынужденный отказ от поддержки «истинных германцев» как добровольное решение, выговорив за это от имперского правительства признание исконных баварских прав, — поистине была ниспослана ему небом. Дорого бы дал он за то, чтобы сообщить Кленку о том, какое изумительное яйцо он, Флаухер, снес. Если Кленк узнает об этой достойной государственного деятеля идее, он будет вынужден признать наконец его полноценность. Но на Кленка нельзя было положиться, нельзя было поручиться, что он не пойдет и не разболтает этого. Флаухеру приходилось, к сожалению, запастись терпением и примириться с тем, что Кленк еще в течение нескольких дней будет считать его ничтожеством.

Приготовления он вел торопливо, но строго обдуманно. 9 ноября он предполагал издать официальное постановление, направленное против «истинных германцев». В речи, которую Флаухер должен был произнести 8 ноября, он собирался сообщить о своем разрыве с «истинными германцами», обосновав этот разрыв разницей в мировоззрениях.

В этой речи он должен был отречься от «патриотов» и выдвинуть свои предложения Берлину.

Из предосторожности, чтобы усыпить подозрения «истинных германцев», Флаухер 8 ноября днем еще раз пригласил их представителей к себе. Встреча носила самый дружеский характер. Обе стороны подчеркивали, что стремятся к одинаковым конечным целям. В этот день, 8 ноября, Флаухер, готовившийся сегодня же вечером нанести «патриотам» удар, с истинно северной хитростью обещал им выступить вместе с ними 12 ноября. «Патриоты», также именно сегодня вечером собиравшиеся произвести путч, со своей стороны тоже с истинно северной хитростью обещали Флаухеру подождать до 12 ноября. Расстались в самых лучших отношениях.

Когда наступил вечер, генеральный государственный комиссар Флаухер в зале «Трапезной» выступил с долгожданной речью о положении в стране. Были приглашены все националистические союзы и группы. Огромный зал был набит до отказа. В начале своего выступления Флаухер подробно остановился на разлагающем влиянии марксизма, единственным средством против которого, по его словам, являются только порядок и железная дисциплина. Он возвысил голос, собираясь изложить основные тезисы: от всех, а прежде всего от преданных отечеству патриотов, следует требовать безусловного подчинения установленным самим богом органам государственной власти — правительству, ему, государственному комиссару.

Но в тот самый момент, когда он собирался произнести эти решительные слова, его речь была прервана неожиданным замешательством у входа в зал. Слова команды, крики, звук выстрела. На трибуне рядом с государственным комиссаром внезапно появляется вождь Руперт Кутцнер с дымящимся пистолетом в руке. Он одет в новый полувоенного покроя спортивный костюм. На шее — очень высокий накрахмаленный белый воротничок. Волосы до самого затылка разделены четким пробором. На груди у него красуется железный крест — военный орден, выдававшийся только при получении очень высоких постов, владельцам больших богатств

или за действительно геройские подвиги. В высоко поднятой руке — пистолет. Так на сцене мюнхенского придворного театра, торжественно возвещая генуэзской знати о падении тирании, стоял когда-то актер Конрад Штольцинг в роли графа Фиеско ди Лаванья, героя пьесы немецкого драматурга Шиллера.

Руперт Кутцнер слегка отодвинул раздосадованного и растерявшегося Флаухера. Громовым голосом, среди воцарившейся в зале мертвой тишины, он возвестил:

— Национальная революция началась. Этот зал охраняют шестьсот хорошо вооруженных людей. Приближаются войска рейхсвера и отряды окружной полиции, выступающие под нашими знаменами. Баварское и всегерманское правительство свергнуты. Формируется временное всегерманское правительство, во главе которого стану я. Восходящее солнце осветит завтра своими лучами либо истинно германское национальное правительство, либо мой труп!

Затем он приказал громовым голосом:

— Кружку!

И выпил ее до дна.

Раздался гром рукоплесканий. У многих на глазах были слезы. С восторгом глядели они на Руперта Кутцнера, испытывая при этом почти такое же чувство, как на представлении их любимой оперы «Лоэнгрин», когда герой выплывает на серебряной лодке, неся с собой в последнюю минуту избавление от всяких невзгод.

Флаухер, как только раздался выстрел, как только он увидел на трибуне причесанного на пробор человека с дымящимся пистолетом, услышал громкий, вырывающийся из-под крохотных усов голос, мгновенно поняв, что и второй его план полетел к черту. Этот прохвост втер ему очки своими уверениями в лояльности, этот прохвост опередил его. Теперь Кутцнер, вероятно, предложит ему присоединиться, принять участие в путче под его, Кутцнера, руководством. Это, — вопреки всем доводам разума, — большой соблазн. Хотя вся эта история может продлиться не больше двух недель, хотя она и провалится, не выйдя за пределы Баварии, все же очень соблазнительно две недели быть народным героем и затем пасть, как баварский лев, в борьбе против Бер-

лина, стать, как кузнец из Кохеля, героем легенды, войти в баварскую Валгаллу. Его собственный план лопнул, жизнь изгажена: для него такая великолепная концовка была бы лучшим исходом. Но для Баварии это не лучший исход. Ноль целых, ноль десятых — таковы перспективы этого путча. Северогерманский рейхсвер против этого переворота, промышленники против, путч не может перекинуться за пределы Баварии, он *должен* быстро провалиться. Если он, Флаухер, присоединится, если он сегодня же ночью в зародыше не задупит этого путча, — повторится 1866 год, и проклятая Пруссия окончательно проглотит Южную Германию.

Все это Флаухер успел осознать в те несколько мгновений, пока еще дымился пистолет Кутцнера. Его гнев рассеялся раньше, чем дым выстрела. Он не испытывал страха ни перед пистолетом, ни перед толпившимся вокруг трибуны сбродом в полувоенных куртках с гранатами в руках. За одну минуту, раньше чем можно было успеть сосчитать до шестидесяти, этот старый баварец понял больше, чем понимал в течение всей своей сознательной жизни. Он ошибался, переоценивал свои силы: его торжество было дутым, божественная миссия — бредом. В этот час муки, боли и крушения всех его надежд четвертый сын секретаря нотариуса из Ландсгута стал внезапно велик. Он ясно осознал положение, понял и то, что во главе этих вооруженных людей легко сейчас дойти до границ Баварии и там умереть, и то, что, удушая путч, он вступает на тернистый, бесславный и весьма скользкий путь. Но он переоценил свои силы, дал делу дойти до этого, он был виноват. Он был обязан исправить зло, им содеянное. Он решил принести себя в жертву.

Все это — сознание и решение — несчастный Франц Флаухер пережил в одну минуту. Но в ту же минуту он, со свойственной ему крестьянской хитростью, одновременно с решением нашел и единственное остававшееся еще средство, — уж раз он приносил себя в жертву, — оградить и город и страну от кровопролития. Прежде всего нужно вернуть себе полную свободу передвижения. С этой целью он для видимости подчинится этому шуту гороховому. Выбравшись отсюда, он немед-

ленно позвонит в Берхтесгаден и в архиепископский дворец, добьется санкции своих дальнейших шагов. После того, совместно с командующим войсками, направится в казармы, разошлет телеграммы, радиопешп, протрубит отбой. Он сам, если ему удастся выполнить этот план, на веки вечные прослывет не только ничтожеством, но и подлецом. Те самые люди, которым его жертва пойдет на пользу,— все эти тайные правители страны отрекутся от него, не сохранят к нему даже благодарности. Ни одна порядочная собака не задерет перед ним лапы. Он будет конченным человеком. Но и с путчем тоже будет покончено. Путч, если он, Флаухер, так поступит, провалится сразу, не выходя за пределы Мюнхена, а не у границ Баварии, не после длительного кровопролития и бесчисленных унижений для всех баварцев.

Итак, подчиняясь настояниям Кутцнера, он, как будто в полном согласии с ним, проследовал за Кутцнером в соседнюю комнату, куда в это время успел прибыть и военный руководитель путча, генерал Феземан. Командующего войсками и начальника полиции, так же как и Флаухера, заставили войти в эту комнату. Кутцнер объявил присутствующим, что намерен предложить им занять под его, Кутцнера, верховным руководством ответственные посты в управлении страной; Флаухеру он предлагает пост баварского наместника. Эти посты они *должны* занять. Четырьмя пулями заряжен его пистолет,— он угрожающе взмахнул им,— три для них, а последняя для него самого, в случае их отказа сотрудничать с ним. Выполняя свое решение, Флаухер ответил печально и по-крестьянски хитро, незаметно подмигивая остальным:

— Господин Кутцнер, застрелите вы меня или нет,— это сейчас совершенно не важно. Я думаю только о благе отечества и поэтому пойду с вами.

Под аплодисменты и ликующие возгласы возвратились Флаухер и Кутцнер в зал и поднялись на трибуну для объявления совместной декларации. Задачей его временного правительства,— возвестил Кутцнер,— является спасение германского народа и поход на греховный Вавилон — на Берлин. Во главе национального

правительства становится он, Кутцнер. Командование армией принимает на себя генерал Феземан. Доктор Флаухер назначается временным правителем Баварии. Флаухер пояснил, что с тяжелым сердцем принимает на себя этот пост, ибо в душе считает себя наместником монархии. Оба протянули друг другу руки и так остались стоять — жесткая, с набухшими жилами, потная рука Флаухера в жесткой, с длинными ногтями, потной руке Кутцнера.

— Клятва на Рютли! — доносится из зала звучный голос, голос актера Конрада Штольцинга.

Да будем мы народом граждан-братьев,—

декламирует он взволнованно, и весь зал взволнованно повторяет за ним:

В грозе, в беде единым, нераздельным.

Флаухер стоит на трибуне. Его рука лежит в руке вождя. Стоит неподвижный, угрюмый. Он соображает: если до полуночи он выберется отсюда, тогда еще не все проиграно, тогда он еще успеет спасти родину. Ему хочется отнять свою руку, но в такой обстановке это неудобно, да и Кутцнер крепко держит ее. В зале продолжают звучать стихи. Начинает все тот же звучный голос, затем подхватывает весь зал:

Да будем мы свободными, как предки,  
И смерть пусть каждый рабству предпочтет.

Здоровенный голос у этого субъекта. Если бы только знать, который час! Чертовски долго тянется такая «клятва на Рютли». И потеет же Кутцнер!

Наконец «временному правителю Баварии» удастся ускользнуть с трибуны, добраться до вестибюля. В уборной он взглядывает на часы. Восемнадцать минут одиннадцатого. Слава богу, он еще успеет. Он выходит на улицу, никто не задерживает его. Жадно вдыхает холодный воздух. Здесь он уже не правитель Баварии милостью монтера Руперта Кутцнера, здесь он, Флаухер, снова солидный баварский чиновник, каким был тридцать лет сряду.

Он садится в автомобиль, машинально обтирает руку о мягкую обшивку. Его плечи опущены, но лицо выражает мрачную решимость. Долг требует от него, чтобы он проглотил огромный ком грязи. Это неприятно, но баварский чиновник выполняет свой долг.

8

САМЫЙ ТЯЖКИЙ ДЕНЬ В ЖИЗНИ  
КАЭТАНА ЛЕХНЕРА

Антиквар Каэтан Лехнер сидел в «Трапезной», когда там вспыхнула революция. Слышал исторический выстрел, речь Кутцнера, собственными глазами видел, как Кутцнер и государственный комиссар стояли на трибуне рука в руке. Сердце его загорелось. Мысленно он уже видел свой «комодик» возвращенным в Германию, видел его снова в своих руках, мечтал о том, как желтоватый дом будет освобожден из рук захватившего его хищного иноплеменника. Громко высморкался Лехнер в пестрый носовой платок, изо всех сил своего зобастого горла закричал: «Хайль!» Много кружек пива осушил он в этот вечер. Одно только огорчало его в эту историческую ночь: при нем не было его фотографического аппарата, он не мог увековечить для потомства серую глиняную кружку, из которой вождь подкреплял свои силы после провозглашения национального единства, или же руки Кутцнера и Флаухера, сплетенные в священной клятве.

Наступила ночь. С улицы непрерывно доносился барабанный бой стягивавшихся к центру войск. Пробегали ординарцы и кельнерши с приказами и пивом. Старик немного устал, однако не пошел домой, а улегся спать вместе со многими другими в большом зале «Трапезной», превращенной в военный лагерь.

Но не спали в эту ночь вожди. Они бодрствовали, они управляли. Во втором этаже расположился главный штаб Кутцнера. Все сошло прекрасно, обошлось и без Кленка, Кутцнер блестяще опроверг всякое злоещее

карканье. Он работал, выпускал воззвания, объявил об осадном положении, об учреждении верховного национального трибунала.

В городе «истинные германцы» праздновали свою легкую победу. Разгромили здание ненавистой им левой газеты, разграбили его, разбили типографские машины, наборные кассы, улюлюкая выкинули в окно бюсты социалистических вождей. Арестовали, руководствуясь «черным списком», всех партийных своих врагов, левых депутатов и членов городского совета, евреев, занимавших сколько-нибудь видное положение. Таскали арестованных по городу, развлекая их обстоятельным и хладнокровным обсуждением вопроса, где и как будет удобнее их прикончить: повесить ли их лучше на этом вот дереве или на том фонаре, расстрелять у этой вот стены или у той кучи песка. Особенно ненавистных подвергали грубым издевательствам, оплевывали, отнимали у них платье и все, что было при них сколько-нибудь ценного. Держали военный совет о том, что делать с ними дальше, завели их, угрожая автоматическими пистолетами, в лесок, объявили им, что настал их последний час.

Кутцнер и Феземан между тем, засев в своем временном штабе, сочиняли приказы и воззвания. Ночь близилась к концу, а все еще не поступало ожидавшихся с часу на час известий из казарм. Телефонировали Флаухеру, командующему армией, посылали курьеров, просили, требовали, приказывали. Оба куда-то исчезли. Дошли слухи о какой-то переданной по телеграфу декларации Флаухера. Тот, как говорили, выступал против путча, объявляя все свои обещания поддержки недействительными, так как они были вырваны у него под угрозой смерти. Доходили и другие слухи: говорили, что рейхсвер стоит за Флаухера, что приближаются отряды иногородней полиции и войска. Кутцнер не желал верить этим слухам, гордо заявлял, что готов бороться и умереть. Но это был лишь жест. Его радость исчезла, как воздух из проткнутой шины. Его вновь охватывала какая-то скованность, воспоминание об ужине на Румфордштрассе, о воплях и причитаниях матери.



Антиквару Каэтану Лехнеру, прикорнузшему в главном зале, спалось плохо. Помещение было наполнено табачным дымом, пропитано человеческим потом и пивом. Наступило утро, старые кости ныли. Но вот ему выдали кофе и ружье. Его уверенность окрепла, настроение снова поднялось. Пробило восемь часов, десять; люди ждали; им выдали пиво и ливерные сосиски. Наконец пронеслась весть, что пора. Выступают. Приказ — построиться в колонну, двинуться демонстрацией. Направление — центр города, Мариенплац.

Устроить демонстрацию предложил гаулейтер Эрих Борнгаак. Бессмысленно было без дела торчать здесь, ограничиться завоеванием «Трапезной», действовать по указке Флаухера. Перекинулся ли тот действительно на сторону врагов, и если да, то возможно ли склонить его к обратному переходу — на все это, в сущности, было наплевать. В городе царило воодушевление, большая часть рейхсвера была на их стороне, даже вопреки воле начальства. Демонстрация, хотя бы и против Флаухера, быстро выяснит точное соотношение сил.

Шествие организовалось многолюдное, главным образом из очень молодых людей. Впереди шагали Кутцнер и Феземан, оба в штатском платье, эскортируемые солдатами с примкнутыми штыками. Остальная масса построилась по двенадцати человек в ряд. Каэтан Лехнер маршировал в четырнадцатом ряду. Он странно выделялся своими седыми усами, огромным зобом и седящими баками среди всех этих стройных и ловких молодых людей, но и он в случае чего мог постоять за себя. Животы их были наполнены кофе, пивом и сосисками, и теперь они маршировали с Кутцнером и Феземаном во главе и, маршируя, побеждали. Сегодня они завоевывают Мюнхен, завтра — Баварию, через неделю — всю Германию, через месяц — весь мир! На тротуарах стояли люди, махали руками, кричали «хайль!». Одну женщину Каэтан Лехнер сразу узнал: это была надворная советница Берадт, старуха, участвовавшая в процессе Крюгера. Она раздавала астры и сигары, и вокруг нее с особенным азартом орали «хайль!» и «ура!».

У Людвигсбрюкке стояла полиция. Каких-то жалких двенадцать человек. По свистку одного из офицеров

первые два ряда «истинных германцев» бросились на полицейских, оплевали их, обезоружили и куда-то увели. Старик Лехнер глядел на это, испытывая удивительное чувство подъема. Вот, значит, как это бывает, когда побеждают! В приподнятом настроении зашагал он дальше, по направлению к центру города. Цвейбрюккенштрассе, Театинерштрассе, Мариенплац. Со стен сорваны воззвания нового национального правительства. Рядом с оставшимися от них обрывками виднеются плакаты — прокламации Флаухера: в его руках, — заявляет он, — сосредоточена вся исполнительная власть в Баварии. Всякий, кто присоединится к Кутцнеру и Феземану, будет рассматриваться как государственный изменник. Долой эти гнусные плакаты! Это, верно, просто еврейские штучки. Дальше. По Перузаштрассе, к королевскому замку, к Галерее полководцев.

Как? Замок занят местной полицией? Собираются отрезать? Только этого не хватало. Пусть только посмеют, сволочь паршивая! Передние ряды замедляют шаг, задние наступают, все кричат, размахивают руками. Антиквар Лехнер никак не может разобрать, что, собственно, случилось. Он только видит одно: из-за Галереи полководцев показываются отряды рейхсвера. С нами они или против нас?

Треск. Да ведь они стреляют. Кто стреляет? Некоторые падают. Господи Иисусе, пресвятая Мария и Иосиф! Почему люди падают? Один, падая, выпячивает брюхо вверх, словно при гимнастических упражнениях. Вот и другие, с которыми явно ничего особенного не случилось, бросаются на мостовую. Он сам, старик Лехнер, валится прямо в грязь, несмотря на то, что он в своем парадном сюртуке.

Лиса, убегая от опасности — это много раз приходилось наблюдать, — в ту самую минуту, когда ее готова настичь смерть, поспешно, на ходу, перекусывает горло гусю и волочит его за собой. Старик Лехнер, лежа в грязи на Резиденцштрассе у Галереи полководцев, напрягая все свои мысли, чтобы придумать, как ему выбраться из опасности, и присматриваясь к тому, что происходит кругом и что предпринимают другие, — находит еще время делать некоторые наблюдения. Так

вот, значит, милый ты мой, что такое война, бой, наступление, отечество и революция. Чертовски неудобная штука, соседка! Просто свинство, соседка! Он видит серый автомобиль вождя, видит, как этот автомобиль поворачивает и, на полном ходу, не соблюдая ни малейшей осторожности, мчится сквозь густую толпу демонстрантов. Как бы он, Лехнер, хотел сидеть в этом автомобиле! Раздаются еще выстрелы. Лежа на земле и искоса поглядывая по сторонам, он видит, как пули брызгами отскакивают от каменной стены. Жаль, что у него нет с собой аппарата. Люди поднимаются и бегут, втягивая головы в плечи. Топчут его ногами. Господи милосердный, да ведь это его рука! Неужели они всё еще стреляют, эти негодяи? Хоть бы стену сюда! От стены пули отскакивают. Ему хотелось бы укрыться за такой каменной стеной, которую не пробивают пули. Вот уж снова кто-то у него на спине. Собака паршивая, грубиян ты этак! Кто же так делает? Вот летит пуля — в тебя или в меня? Черти окаянные! Он тяжело дышит, все его тело болит и как будто делается мягким-премягким.

Он должен выбраться отсюда. Он просто-напросто убежит. Становится как будто тише. Это длилось совсем недолго. Кругом него люди встают, оглядываются по сторонам, бегут, торопятся скрыться. Мостовая усеяна всяким оружием. Господи помилуй, да ведь здесь они его еще затопчут! Он встает, как и другие. И вот его уже подхватывает волна бегущих, уносит с собой в ближайший переулок.

Здесь, слава богу, тихо, сюда никто не залетит, здесь хорошо. Сейчас только он замечает, как он ослабел, раскис, обмяк и весь сделался словно из ваты.

Стрельба продолжалась меньше двух минут. От первых же пуль рейсхвера рассыпалось все шествие. Не для всех все кончилось так благополучно, как для Каэтана Лехнера, не все успели убежать. Много раненых, восемнадцать убитых осталось лежать на Одеонсплаце.

Среди них учитель гимназии Фейхтингер. Он участвовал в осуждении Мартина Крюгера. Однажды ему как-то понадобились две синие тетрадки. Чтобы купить их, он сошел с трамвая на Изарплаце, вместо того

чтобы сойти на Штахусе, был оштрафован, обиделся и примкнул к Кутцнеру. И вот он лежит на площади перед Галереей полководцев. Всю жизнь он гордился тем что ни разу не разбил стекол своих очков. Они и сейчас остались невредимы. Но учитель гимназии Фейхтингер был мертв.

Один из главарей «истинных германцев» также лежал среди убитых. Ветрогон за свою жизнь слышал свист большего числа пуль, чем все остальные участники шествия. Они не нервировали его, он знал, как лучше всего от них укрыться. Три года своей жизни он провел в таких местах земного шара, где пуль было столько, сколько дождевых капель. И вот здесь, на благодушном Одеонсплаце, пуля все же настигла его. Он лежал у ног сомнительных полководцев с побледневшими, минутою назад еще очень красными губами, не являясь больше услугою для глаз.

Антиквар Лехнер все еще стоял в том же переулке. Он дрожал и был чертовски разбит, но он был жив. Перед ним, вокруг него толпились люди, напирали на него, толкали. Он стоял, прижатый к массивной двустворчатой парадной двери. Тут ничего не поделаешь: она, наверное, заперта. Все же с трудом дотянулся он до ручки, нащупал ее, надавил. И что же — одна створка дверей приоткрылась! Он очутился в просторном светлом парадном и сразу же машинально запер за собой дверь: лучше, если сюда не наберется слишком много народа.

Это была хорошая дверь, которую, наверное, не могла пробить пуля. Если бы только за плечом так странно не болталась винтовка. Больше всего в жизни желал он сейчас избавиться от этой штуки. Тогда он окончательно развязался бы с этой историей и не имел бы больше дела с пулями. Он стал подниматься по плоским каменным ступеням вверх, во второй этаж. Там висела дощечка: «Д-р Генрих Баум, д-р Зигфрид Гинзбургер, адвокаты». Он позвонил. Он не надеялся, что ему откроют. Но дверь распахнулась. Какая-то барышня спросила его, что ему угодно. Он машинально ответил, что ему нужно видеть господина адвоката. Довольно молодой худощавый господин с добро-

душными глазами, в очках, спросил его, чем он может ему служить.

— Да, да... сейчас,— проговорил Каэтан Лехнер и, сняв болтавшуюся за плечами винтовку, прислонил ее к этажерке с деловыми папками. Но винтовка не хотела стоять. Лехнер бережно подталкивал ее то с одной, то с другой стороны и думал при этом, что, если она упадет и стукнет, все будет кончено. Наконец он тихо и осторожно положил ее поперек письменного стола.

— Господин доктор,— проговорил он тогда,— у меня к вам большая просьба: нельзя ли мне выйти кое-куда...

Адвокат сам показал ему дорогу. Заперев за собой дверь на задвижку, Каэтан Лехнер вздохнул с облегчением. Нелегко ему пришлось, но теперь он был в безопасности. Он сидел, стараясь хорошенько отдыхать. Затем, успокоившись, принялся тщательно чиститься. Это было нелегко, и задача удалась ему лишь частично, так как он ужасно испакостился.

Долго просидел он в этом надежном укрытии. Руки и ноги его все еще дрожали. Он медленно оделся. Затем, сняв с рукава повязку с индийской эмблемой плодородия, бросил ее в унитаз и потянул за цепочку. Повязка не лезла в трубу. Он взял стоявшую тут же метелку, пропихнул повязку. Потом, удовлетворенный, присел еще на минуточку. Наконец, тихо вздохнув, покинул свое убежище.

Он хотел как-нибудь незаметно ускользнуть, но секретарша снова провела его к адвокату.

— Что же вам угодно? — приветливо спросил его господин в очках.

— Собственно говоря, больше ничего,— ответил Каэтан Лехнер.— Простите, пожалуйста... сколько я вам должен?

— Ничего,— сказал адвокат.— Только куда мне девать эту винтовку?

Каэтан Лехнер пожал плечами.

— Не возьмете ли вы ее с собой? — спросил адвокат.

— Нет, нет! — с ужасом отмахиваясь, вскричал Каэтан Лехнер.

Адвокат подошел к окну. С улицы доносился лишь неясный шум. Каэтан Лехнер сидел на стуле и молчал. Комната была большая, скудно обставленная. Но она была ему милее всех других комнат, которые он когда-либо видел, и ему хотелось оставаться в ней как можно дольше.

— Теперь, по-видимому, уже больше не стреляют, — произнес, стоя у окна, адвокат и медленно повернулся. Старик Лехнер тяжело поднялся.

— Тогда, значит, я могу уйти, — сказал он. — Тогда, значит, я скажу: да воздаст вам бог...

Он вышел. На площадке он долго еще стоял, разглядывая белую дощечку с черными буквами: «Д-р Генрих Баум, д-р Зигфрид Гинзбургер». «Еврей!» — констатировал он.

На улице было холодно и пасмурно. Каэтану Лехнеру все еще казалось, что за плечами болтается проклятая винтовка. Он чувствовал слабость во всем теле, был голоден, испытывал потребность хорошо вымыться. Но ужасно не хотелось идти домой, на Унтерангер. В ресторан он также не решался зайти: ему казалось, что каждый сразу увидит, как позорно он испакостился. Измученный, бродил он по улицам. Добрался до долины Изара. Побрел дальше. Харлахинг, Ментершвайге. Стройный, высокий, перекинулся через реку Гроссхесселогский мост. Каэтан Лехнер опустился на скамейку, глядя на реку, на серовато-зеленый поток, медленно и однообразно катившийся мимо него. Он искренне надеялся при помощи Кутцнера получить желтоватый дом, а может быть, вернуть и ларец. А сейчас вот Кутцнер оказался шутком и трусом, да и он сам тоже вел себя не как баварский лев и, вместо того чтобы выбраться в люди, выбрался вот на эту скамью. Его манил Гроссхесселогский мост. Этот очень высокий мост был излюбленным местом всех самоубийц. С него можно было броситься в воду с полной уверенностью в успехе. Бросившись с него, бесчисленные служанки навсегда избавлялись от своего любовного горя, «тричетвертилитровые рантье» — от голода и мучительных забот. Если бы было лето, — размышлял

Каэтан Лехнер,— можно было бы тихо и спокойно войти в воду, а так приходится прыгать. Дело в том, что внезапно он твердо решил покончить со своей разбитой жизнью. Вчера,— будет напечатано в газетах,— с Гроссхесселогского моста бросился в Изар пользовавшийся общим уважением антиквар Каэтан Лехнер. Стыд заставил его искать смерти.

Усталый и отяжелевший, потащился он на мост. Там играли ребята — уличные мальчишки, лет двенадцати — четырнадцати. Они играли в Кутцнера и Флаухера. Старик Лехнер с трудом вскарабкался на перила. Было холодно. Он жестоко закашлялся, вытащил свой пестрый носовой платок, высморкался. Мальчишки насторожились.

— Сюда, сюда! — закричал один из них. — Сейчас дяденька бросится! Вот так здорово!

В ожидании интересного зрелища они собрались вокруг старика Лехнера, подбадривая его дружескими возгласами.

Каэтан Лехнер сидел на перилах. Мальчишки мешали ему. Когда они так дурацки пялят глаза, невозможно даже придумать что-нибудь торжественное и благочестивое на прощанье.

— Пошли вон, свиньи собачьи! — сказал он.

Но они и не думали уходить. Они обсуждали вопрос, какова высота моста и умирает ли человек па лету, от воздушного давления, или только внизу, разбившись о поверхность воды. Они видели нечто подобное в кино, были чрезвычайно осведомлены и с нетерпением жаждали поглядеть на то, как этакое совершится взаправду. Старик Лехнер все еще сидел на перилах. Было чертовски холодно. Ноги у него застыли — этак и ревматизм схватить недолго! Собственно говоря, у него уже прошла охота кончать с собой. Но ему было неловко перед мальчишками слезть, ничего не совершив. Они совершенно правы: он недостойный человек, и ему следовало броситься туда, вниз. Он пытался раззадорить себя, представив себе все свое унижение. Мальчишки ругались, что он так долго заставляет их ждать. Но аппетит так же внезапно прошел у него, как и возник. Тут не поможет никакое

подзадоривание: раз прошло настроение, нельзя требовать, чтобы человек взял да и бросился туда, вниз. Сердито, своими водянисто-голубыми глазами поглядел он на мальчиков, медленно слез с перил и выругался:

— Сопляки паршивые, щенки вонючие, сволочь дурацкая! — и побрел прочь.

— Трус, пес шелудивый! — не остались в долгу мальчишки. Он снова дотащился до скамьи, смертельно усталый, словно ему приходилось нести каждую кость в отдельности. За его спиной все еще раздавалось:

— Старый хрыч! Пес паршивый! Трус поганый!

Ему хотелось подольше отдохнуть здесь, несмотря на проклятых мальчишек. Но если он останется сидеть на скамейке, то насмерть простудится.

Он направился обратно в город. Теперь везде уже были сорваны воззвания Кутцнера, висели одни лишь объявления правительства. Он остановился перед одним из таких объявлений, принялся читать, ничего не понимая. «Мерзавец Флаухер! — раздавались кругом возмущенные возгласы. — Предатель, подлец!»

— Да, да, — бормотал Казтан Лехнер.

Когда кто-нибудь глядел на него, ему казалось, что на него косятся, ощущая исходящий от него запах его позора.

В конце концов, поддаваясь слабости, он зашел в какой-то кабачок. Поел супу с ливерными клецками. Вначале он ел машинально, жадно, затем почувствовал вкус, заказал порцию легкого под кислым соусом, затем заказал еще и порцию телятины. Выпил кружку пива, и еще одну, затем выпил и кофе. Он долго сидел в наполненном табачным дымом кабачке. Там было тепло, и он хорошо вспотел. Да, тяжкий день пришлось ему пережить! К черту пошел ларец, к черту желтый дом, к черту и честь! Не было у него собственного достоинства. Не подобало так вести себя домовладельцу и вице-председателю «Общества любителей игры в кегли».

Все же приятно было сидеть здесь. Какой это был ужас, когда пули брызгами отскакивали от стены. Сейчас в желудке у него была жареная телятина и легкое под кислым соусом, он избавился от винтовки и нару-



кавной повязки, а теперь вот отправится в городскую баню и хорошенько вымоется.

Он расплатился и щедро дал на чай. В трамвае, по дороге в баню на него опять странно поглядывали. Немного погодя он лежал уже в ванне. Задумчиво глядел на объявления, уведомлявшие посетителей о том, что через сорок пять минут полагается освободить номер и что местный парикмахер предлагает свои услуги также и по педикюру. Жаль, что в ванне можно оставаться так недолго! Лехнеру казалось, что с каждой лишней минутой пребывания в ванне он смывает с себя какие-то остатки этой дурацкой революции и своего недостойного поведения во время нее. Но вот уже пора покинуть бледно-голубое тепло и снова облечься в свое загаженное платье.

Со вздохом поехал он домой. Когда дети были нужны, их никогда не оказывалось на месте, а вот сегодня, когда он надеялся найти квартиру пустой, там, конечно, сидела Анни, дожидавшаяся его прихода. Она пережила нестерпимый страх. Сегодня было столько раненых и убитых, она знала, что отец участвовал в этой истории, а он всю ночь и целый день не возвращался домой.

На все ее вопросы он отвечал нечленораздельным, сердитым бормотанием. Заявил, что хочет лечь: он опасается ревматизма или по меньшей мере основательного насморка. Пусть она приготовит ему бузинный чай. Пока сна заваривала чай, он поспешно разделся, торопясь подальше спрятать от нее белье. Она принесла ему грелку и горячее питье. Он потел, бормотал что-то, испытывая блаженное ощущение. Все же он никак не мог освободиться от чувства позора и бесчестия. Пусть издевается над ним Гаутсенедер: у него пропала охота быть домовладельцем. Никогда не забыть ему той минуты, когда он весь размяк и тело его охватили боль и слабость. Никогда уже не сунется он в распри «большеголовых». Такой маленький человек, как он, должен радоваться, если ему оставляют его пиво, легкое под кислым соусом и покой. Он справится с собой и ни слова не скажет на то, что у «Любителей игры в кегли» будет другой вице-председатель.

## СЛУЧАЙНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ

Жак Тюверлен сразу же после обеда поехал в Мюнхен, чтобы поглядеть на «национальную революцию», смутные слухи о которой донеслись и до виллы «На озере» на Аммерзее. Всюду сейчас были развешаны плакаты, в которых Флаухер отказывался от вырванных у него силой обещаний и объявил Кутцнера и Феземана мятежниками. Все же дело казалось не вполне ясным. Некоторые умники утверждали, что эти заявления Флаухера делаются только *pro forma*<sup>1</sup>, чтобы обмануть Берлин, обмануть границу; на самом же деле Флаухер стоит на стороне «патриотов». Ходили слухи, что приближаются войска. Кем они вызваны? Против кого? Никто толком не знал, что происходит.

Тюверлен медленно вел машину, пробираясь сквозь толпу возбужденных людей. На Одеонсплаце произошла стрельба — это был факт неоспоримый: там были раненные и убитые. Сейчас площадь была оцеплена и пуста. Голуби семенили по ней, удивленные, что сегодня нет прохожих, которые покормили бы их. На очищенное поле битвы с высоты своей галереи одиноко глядели отлитые из бронзы баварские полководцы, один из них не был баварцем, а другой — полководцем. Громоздкий камень сегодня не мог мешать движению. Но вот — новые слухи: Кутцнер пал, генерал Феземан пал. Бешеная брань по адресу Флаухера, накануне заключившего с вождем «клятву на Рютли» и сразу же затем ударившего его кинжалом в спину.

Все стратегические пункты и общественные здания были заняты рейхсвером и полицией в зеленых мундирах. Часовые стояли с глупым видом, сохраняя искусственное безразличие. Прохожие ворчали. На Амалиенштрассе у дверей какого-то ресторана, обычного места собрания «патриотов», Тюверлен увидел стоявшего на часах одинокого зеленого полицейского. Худая старая

---

<sup>1</sup> Для вида (лат.).

женщина (это была надворная советница Берадт, но Тюверлен ее не знал) подошла к часовому и, считая очевидно, что проявляет чрезвычайную храбрость, плюнула ему в лицо. Многие видели это и восторженно захлопали в ладоши. Их лица были искажены злобой и торжеством. Полицейский вздрогнул, застыл на месте, потом повертел головой вправо и влево и стер рукавом с лица слюну.

— Еврейский прислужник! Ноябрьский прохвост! Предатель! Красный пес! Иуда! — кричала женщина.

Она надеялась, что теперь наконец наступит свобода и эта свобода сметет гнусные большевистские законы о защите прав квартирантов, так что ей удастся как следует расправиться с этим подлым сбродом — своими комнатными жильцами. Хотя в отношении этого полицейского удалось ей дать волю своему возмущению! Задрав нос, она удалилась, пробиваясь сквозь выразившую ей полное одобрение толпу. Какой-то невзрачный, плохо одетый озябший человек попытался последовать ее примеру. Но полицейский нашел, что с него довольно. Невзрачному пришлось спасаться бегством: полицейский в зеленом мундире пустился за ним с резиновой дубинкой. Невзрачный бросился на землю, прижался к стене дома, стараясь вдавиться в нее. Полицейский принялся его избивать. Люди глядели, бранились, но держались на почтительном расстоянии, чтобы в случае чего можно было улепетнуть.

Тюверлен поехал дальше, в учреждения, в редакции, чтобы получить подробную информацию. Ему везде был открыт доступ. Ведь он был писателем, и, следовательно, его можно было не принимать всерьез. Он имел успех, и, следовательно, лучше было ладить с ним. Однако ни редакции газет, ни министерства сами не имели точных сведений. Он поехал в редакцию «Фатерлендишер анцейгер». Иностранцу, занимавшему видное положение, был открыт доступ и туда. Помещение было занято полицией. Зеленые полицейские стояли в вестибюле, вдоль лестницы и коридоров. У Тюверлена мелькнуло предположение, что они впустят его, но не выпустят. Он все же вошел.

В главном секретариате царила суматоха. Загорались сигнальные лампочки телефонов: красные, желтые, зеленые. Со всех концов города неслись отчаянные запросы друзей и родных о судьбе демонстрантов, не вернувшихся домой. Постепенно начинала выясняться картина событий на площади у Галереи полководцев — картина того, как бесславно, при первом же выстреле, провалился весь путч. При этом извне продолжали поступать благоприятные сообщения о том, что в ряде мелких городов «национальная революция» одержала победу.

Чиновники следственных органов вежливо, стараясь не мешать работе редакторов, производят обыск, роются в письменных столах. Вот они в кабинете вождя. Тюверлен стоит в дверях, в толпе редакторов и машинисток, наблюдает за происходящим. Он тоже слышал о пресловутом ящике письменного стола, о котором шепотом говорит вся страна, — ящике, где хранятся тайные планы установления нового порядка в государстве. Так вот, значит, этот знаменитый ящик! Тюверлен поднимается на цыпочки. Через плечи редакторов, чиновников глядит он, как полицейские взламывают ящик.

В ящике — обрезки бумаги и пробка от бутылки шампанского! Больше в ящике нет ничего.

Когда полиция наконец разрешила ему покинуть здание редакции, Тюверлен поехал в «Мужской клуб». Там сейчас было уже немного сторонников Кутцнера. Доллар стоил сегодня шестьсот тридцать миллиардов марок. Не пройдет нескольких недель, а может быть, и дней, как будет проведена стабилизация марки. Г-н Кутцнер не был больше нужен, он опоздал. Присутствовавшие насмеялись над тем, как бесславно провалился его путч. Рассуждали о том, как лучше поступить правительству — арестовать ли Кутцнера или дать ему бежать за границу. Ехидно перечисляли всех скомпрометированных в этой истории. А как же обстоит дело с самим генеральным государственным комиссаром? Присутствовавшие перешептывались. Действительно ли согласие, данное Флаухером Кутцнеру, было только шахматным ходом? Действительно ли он

с самого начала твердо решил расправиться с путчем?

У министра Себастьяна Кастнера были по этому вопросу самые достоверные сведения. Да, Флаухер еще под дулом кутцнеровского пистолета принял решение об отправке уже известной радиопеши с отказом от своего обещания. Но и в этот героический свой час он остался чиновником: ему нужна была санкция тех, кого он считал своими, поставленными самим господом, повелителями. Себастьяну Кастнеру пришлось от его имени переговорить по телефону с тихим господином Ротенкампом, с доверенным лицом Берхтесгадена, с доверенным лицом церкви. Разговоры были очень короткие. Требовалась величайшая поспешность. Себастьян Кастнер восхищался тем, что в эту тяжкую ночь совершил его учитель и друг Франц Флаухер, тем, как он провел Кутцнера и этим самым оградил Баварию и всю Германию от жесточайших бед. Если кто-нибудь заслуживал имени «отца отечества», то, разумеется, только он. Быстрота в принятии решения, хитроумная ловкость выполнения, все действия этого человека казались Кастнеру не более и не менее как проявлением гениальности. А сейчас весь ослепленный город кипел ненавистью к этому человеку, и он мог появиться на улицах не иначе, как в бронированном автомобиле. Себастьян Кастнер выбивался из сил, пытаясь хоть здесь убедить своих слушателей, приводил доказательства, осыпал грубыми простонародными ругательствами скотину Кутцнера и подлого пруссака Феземана.

Присутствовавшие вежливо, насмешливо и недоверчиво слушали, как этот нескладный человек изрыгал свою ярость, как он из кожи вон лез, чтобы и других заразить своим восхищением. Пожалуй, один только Жак Тюверлен готов был понять, что действия Флаухера, с точки зрения именно этих господ, были и правильны и чуть ли не гениальны. Окажись на месте Флаухера один из этих иронически посмеивавшихся господ, он, наверно, поддался бы искушению хоть несколько дней побыть в роли национального героя, и дело дошло бы до гражданской войны и кровопролития. Только у границ Баварии, по всей вероятности, удалось бы

подавить этот дурацкий мятеж. Надо думать, что в такой роковой для Баварии час этот, безусловно не слишком одаренный, Франц Флаухер был единственным подходящим государственным деятелем.

Потрясенный, вникал Жак Тюверлен во взаимную связь событий. Историческая необходимость, казалось, требовала, чтобы индустриализация Центральной Европы шла не чересчур быстрым темпом. Для достижения этой цели понадобился такой хороший тормоз, как Бавария. Для достижения этой же цели исторический процесс вынес на поверхность группу особенно отсталых — Кутцнера и его приверженцев. Когда же тормозная колодка стала чрезмерно жать, ее пришлось выкинуть. И это снова было правильно и предотвращало дальнейшие катастрофы, историческая необходимость снова диктовала, чтобы ликвидация была произведена не передовым человеком, а таким, который и сам из всех сил противился росту промышленности. Следовательно, оказывалось, что даже такие случайности, как поднятие путча ничтожным Кутцнером и ликвидация его ничтожным Флаухером, были подчинены какому-то закону отбора. Действия обоих этих людей, если рассматривать их с высшей точки зрения, оказывались для Баварии благом.

Жак Тюверлен как раз собирался поддержать защитника Флаухера, Себастьяна Кастнера, одиноко и беспомощно отбивавшегося от иронизирующих господ, когда в дверях вдруг появился новый посетитель, который сильнее привлек его внимание, чем Кастнер, и которого он давно не видел, — Отто Кленк.

## 10

### ПАРИ ПОД УТРО

Кленк во время путча находился в Берхтольдсцелле. У него была в гостях танцовщица Инсарова. Они весело поужинали, она осталась у него ночевать. Утром он позвонил по телефону в Мюнхен, но дозвониться не смог. Инсарова провела у него утро, осталась к обеду. Она

еще находилась в Берхтольдсцелле, в то время как у Галереи полководцев был убит Эрих Борнгаак. Ввиду того что дозвониться до Мюнхена никак не удавалось, Кленк в конце концов сам отвез танцовщицу в город.

Как раз в тот момент, когда тронулась машина Кленка, поблизости от Берхтольдсцелля остановился другой автомобиль, в котором приехал вождь Руперт Кутцнер, надеявшийся здесь, в загородном доме одного из своих друзей, надежно укрыться от глаз полиции.

Кленк добрался до города, высадил Инсарову, услышал неясное, более ясное, совсем ясное. Оглушительно расхохотался, узнав, как позорно провалился путч на горе Кутцнеру, а также и Флаухеру.

Узнал об убитых и раненых. Заметался туда и сюда, разыскивал сына своего Симона, парнишку. Не мог его найти. Город был полон слухов. В числе убитых называли то одного, то другого. Кленк томился желанием увидеть наконец точный список. Первым его чувством, когда он увидел список, была радость оттого, что он не нашел в нем интересовавшего его имени. Вторым чувством была гневная растерянность, так как он нашел в нем имя Эриха Борнгаака. Он подумал о враге, сидевшем в Берлине. Он хотел бы, чтобы тот был сейчас здесь, в Мюнхене. Он прямехонько отправился бы к нему. Неужели он, Кленк, улыбнулся бы оттого, что Симон Штаудахер был жив, а Эрих Борнгаак убит? Нет, он не улыбнулся бы. Они посидели бы некоторое время вместе, говорили бы, должно быть, мало, а может быть, и вовсе бы молчали.

Кленк направился в «Мужской клуб». Ему хотелось высказать кое-какие замечания по поводу этого 9 ноября. Господина генерального государственного комиссара он вряд ли застанет в клубе. Господин генеральный государственный комиссар осмеливается появляться в городе не иначе, как в бронированной машине. Сомнительно, чтобы господин генеральный государственный комиссар поторопился в своем бронированном автомобиле прикатить именно в «Мужской клуб». Но чьи-нибудь уши, в которые стоило бы накапать свои замечания, Кленк все же найдет.

Однако таких ушей ему почти что не удалось там найти. Если говорить о качестве, то подходящим оказывался один лишь Тюверлен. Кленк знал его, это был малый стоящий. Обнюхать его, посидеть с ним вместе, обменяться с ним комментариями к 9 ноября — это могло быть занятно. Жак Тюверлен, со своей стороны, тоже, видимо, ничего не имел против этого. В свое время Отто Кленк изобрел план против Крюгера, впоследствии доставивший многим, в том числе и ему, Тюверлену, немало неприятных минут. И все-таки это не мешало ему любоваться огромным баварцем.

В «Мужском клубе» приходилось говорить вполголоса, кругом были уши дураков. И когда Кленк предложил отправиться в «Тирольский погребок», Тюверлен охотно согласился.

В боковом зале, где четверть литра вина стояла на десять пфеннигов дороже, Рези, возведенная после ухода Ценци в звание кассирши, заявила обоим посетителям, что, к сожалению, через десять минут придется закрывать, так как «полицейский час» нынче наступает раньше. Но оба гостя все же сумели доказать, что они могут посидеть даже при спущенных железных ставнях, даже при потушенном электричестве, даже при свете обыкновенных свечей.

Заботливо обслуживаемые Рези, они крепко выпили и излили свою душу. Кленк с интересом читал книги Тюверлена и относился к ним неодобрительно. Тюверлен с интересом следил за судебной деятельностью Кленка и относился к ней неодобрительно. Они поправились друг другу. Оказалось также, что им нравится одно и то же вино. Они констатировали, что в жизни ничего нет, кроме самого себя, и оба нашли, что этого вполне достаточно. Кленк был Кленк и писался — Кленк. Тюверлен был Тюверлен.

— К чему, собственно, вы пишете книги, господин Тюверлен? — спросил Кленк.

— Я ищу выражения своего я, — сказал Тюверлен.

— А я выражал свое я в судебной деятельности, — сказал Кленк.

— Вы не всегда удачно выражали свое я, господин Кленк, — сказал Тюверлен.



— Что вы имеете возразить против моей судебной деятельности? — спросил Кленк.

— Она была лишена корректности, — сказал Тюверлен.

— Что такое «корректность»? — спросил Кленк.

— Корректность, — сказал Тюверлен, — это готовность в известных случаях давать больше, чем вы обязаны, и брать меньше, чем вы вправе.

— Вы требуете слишком большой роскоши от скромного человека, — сказал Кленк.

— Хотелось бы знать, — сказал несколько позже Жак Тюверлен, — неужели приятно бродить по свету в качестве крупного экземпляра полувывмершей породы зверей?

— Чудесно! — убежденно сказал Кленк.

— Иногда это, вероятно, в самом деле бывает чудесно, — с завистью сказал Тюверлен.

— Знаете, — сказал Кленк, — ведь я и в самом деле помиловал бы вашего Крюгера. Я ничего не имел против этого человека.

— Если вы соблаговолите вспомнить, — сказал Тюверлен, — я в своем очерке не утверждал противного.

— Ваш очерк — превосходный очерк, — с уважением отозвался Кленк. — Каждое слово — ложь, и звучит при этом так живо. Ваше здоровье!

— Знаете, — снова заговорил он, — если ваша Иоганна Крайн похожа на вас, нам следовало бы написать ей открытку.

— Слава богу, она совсем иная, — сказал Тюверлен.

— Жаль, — сказал Кленк и задумался над вопросом, кому бы еще можно было написать открытку. Но ни Флаухеру, ни Кутцнеру, ни Феземану открытки посылать не стоило.

Раздался шум. Двое запоздавших посетителей требовали, чтобы их впустили. После некоторых переговоров Рези наконец согласилась впустить их. Это были фон Дельмайер с Симоном Штаудахером. Кленк находил, что этот Симон, парнишка, был просто-напросто сопляк. Но этот сопляк был его детенышем. Того, другого, не было больше на свете, а этот вот сопляк сидел здесь, живой, из плоти и крови. И это радовало Кленка.

Фон Дельмайер был потрясен судьбой, постигшей его друга Эриха Борнгаака. Его нельзя было оставлять одного, и Симон уже всю первую половину ночи таскал его по закрытым ресторанам. Фон Дельмайер немало успел пережить. Но то, что Эрих Борнгаак перестал существовать, было первым, что задело его душу. Можно было считать до десяти, можно было считать до тысячи,— на этот раз Эрих Борнгаак не встанет.

— По-французски он говорил, как парижанин,— рассказывал фон Дельмайер.— Когда мы с ним в Париже были однажды в публичном доме, все мальчишки приняли его за француза! — Его свистящий смех пронесся по комнате.— Самое замечательное,— в печальной задумчивости проговорил он,— что у него были крашенные, нананикюренные ногти.

Симон Штаудахер любил Эриха. Он злился на отца, который сидел так важно, потому что оказался прав. Быть правым может каждый осел. Важно не это, важен шик. Еще немного — и Симон Штаудахер хватил бы своего отца бутылкой по покрытому скудной растительностью черепу. Несмотря ни на что, прав был вождь, а все остальные — просто трусы.

— Устав полевой службы,— заорал он,— гласит: «Ошибка в выборе средств не так преступна, как бездействие»!

— А я вот сижу в Берхтольдсцелле и бездействую,— с усмешкой произнес Кленк.

Голое лицо Тюверлена разгладилось. Он не знал, что существовала инструкция, в которой военная мудрость так обнаженно признавала преимущества войны над миром.

Симон Штаудахер стал распевать песни ландскнехтов, к огорчению Рези, умолявшей его быть потише, чтобы не услышали с улицы. Тюверлен присматривался к удивительному сходству между Кленком и его детенышем. Но у мальчика не хватало чего-то неуловимого, и это лишало его обаяния отца. Симона раздражали манеры Тюверлена. Он пытался задеть писателя, старался раздражить его. Теперь вот пришлось отправиться на тот свет кое-кому из «истинных германцев». Ладно! Но еще раньше пришлось туда отправиться

многим другим: Карлу Либкнехту, например, Розе Люксембург, имперскому министру иностранных дел, служанке Амалии Зандгубер, депутату Г., Мартину Крюгеру, клятвопреступнику этому подлому. Кленк несколько раз приказывал юноше заткнуть глотку, но тот не слушался.

— Заткни же глотку! — повторил снова, почти примирительно, Кленк. — Кто мертв — тот мертв, — добавил он своим могучим, низким голосом, желая прекратить разговор.

— Не всякий, кто мертв, — мертв, — своим сдавленным голосом громко произнес внезапно писатель Тюверлен; возможно, он вспомнил при этом о литературном наследии Мартина Крюгера.

— В этом вы, к сожалению, ошибаетесь, почтеннейший, — со свистом расхохотался страховой агент фон Дельмайер. — Когда вы окочуритесь, вам, к сожалению, будет крышка, и глотку свою вы заткнете.

— Вы ошибаетесь, — скромно возразил Тюверлен. — Случается, что мертвые открывают свои уста.

— Вы имеете в виду вашего друга Крюгера, Тюверлен? — спросил Кленк.

— Он не был моим другом, — сказал Тюверлен. — Но возможно, что я подразумеваю Мартина Крюгера.

Сейчас он уже знал наверно, что имел в виду не литературное наследие этого человека, а нечто совсем иное.

— Не обольщайтесь, — миролюбиво возразил ему Кленк. — Этот покойник рта не раскроет, в этом отношении Флаухер случайно раз в жизни был прав.

— Он раскроет его, — вежливо ответил Тюверлен.

Симон Штаудахер оглушительно расхохотался. Пламя сильно обгоревших свечей затрепетало. У Жака Тюверлена были широкие плечи и прекрасно тренированное тело, но между этими двумя огромными мужчинами он казался чуть ли не хрупким.

— Держим пари, что он заговорит! — произнес он.

Страховой агент фон Дельмайер насторожился, касирша Рези подошла поближе.

— На что же вы хотите держать пари? — полюбопытствовал Кленк.

— Я ставлю весь доход с ближайшей моей книги, Кленк, против двух костяных пуговиц с этой вашей куртки, что покойник Мартин Крюгер раскроет рот.

— Он раскроет рот, чтобы говорить против меня? — спросил Кленк.

— Да, против вас, — ответил Тюверлен.

Кленк звонко расхохотался.

— Я добавлю еще бутылку терланского, — предложил он.

— Идет! — согласился Тюверлен.

— Это нужно оформить письменно, — заметил Симон Штаудахер, и они запротоколировали условия пари.

## 11

### КАК УВЯДАЕТ ТРАВА

Жадно впитывал депутат Гейер все получавшиеся из Мюнхена известия о путче Руперта Кутцнера. Известия носили крайне сумбурный характер. Все таки через сутки стало ясно, что путч провалился. По-видимому, провалился позорно. Огромная радость наполнила сердце Гейера. Ему представлялось наглое лицо Кленка, тот посасывал сосиску, запивал ее желтоватым вином, с дерзкой фамильярностью швырял слова о праве на насилие, и он, Гейер, торжествовал. Теперь мальчик увидит, что не все сходит так гладко, что наглость, самодурство, беззаконие и насилие обретают гибель в самих себе. Депутат Гейер лежал на диване, прикрыв под стеклами очков красноватые веки, заложив руки за голову, обнажив желтоватые зубы. Улыбнулся радостно, удовлетворенно.

На следующий день вечером он прочел об убитых на площади перед Галереей полководцев. Это были люди, убитые случайно, имена, не имевшие значения. Феземан отдал себя в руки властей, Кутцнер сразу же бежал в своем сером автомобиле. Затем он наткнулся на пня Эриха Борнгаака.

Доктор Гейер купил газету на улице, недалеко от своего дома. Он повернул домой. Дорога была беско-

нечно длинна, он ужасно припадал на одну ногу. Газету он нес в руке, уронил ее, наклонился,— ему показалось, что его спина сломана,— поднял газету и, скомкав, су-пул в карман. До дома оставалась всего лишь сотня шагов. Но он бесконечно устал. Охотнее всего он нанял бы такси. Но шофер, наверно, стал бы браниться, а это он не в силах был бы стерпеть сейчас. Он поднялся по лестнице, каждая ступенька причиняла ему страдания. Добрался до дверей квартиры. Правая рука с газетой была засунута в карман, левой он отпер замок. Это стоило большого напряжения, но ему не пришлось в голову отнять руку от газеты в кармане пальто. Он дотащился до своей неуютной комнаты. Задернул портьеры, чтобы свет с улицы не мог проникнуть внутрь, снял чехол с кушетки и повесил зеркало. Затем принялся искать что-то. Чуть было не позвал экономку Агнесу, чтобы она помогла ему в его работе, но не сделал этого. В конце концов он нашел то, что искал: одну большую свечу и вторую почти обгоревшую. Он зажег свечи. Затем вышел в кухню. Экономка Агнеса с удивлением спросила, что ему надо. Он не ответил, взял в углу низенькую скамеечку, унес ее в комнату. В темной комнате затем, при свете свечей, перед завешенным зеркалом он попытался разорвать свое платье. Но руки у него были нежные и слабые, а материя пиджака очень крепкая, и разорвать ее ему не удалось. Он достал ножницы и надрезал материю. И это было тоже трудно, но в конце концов удалось, и тогда он разорвал ее дальше. Потом он опустился на пол, на скамеечку. Так он остался сидеть.

Экономка Агнеса вошла к нему. Он сидел на полу с тупым взглядом и казался старым и расслабленным. Он, верно, перенес тяжелый удар, должно быть по вине того бездомного бродяги. Это окончательно свело его с ума. Она тихонько брюзжала, но не посмела ничего сказать и вышла, шаркая туфлями.

Немного погодя она услышала, что он бродит взад и вперед. Но когда она осторожно заглянула в комнату, он уже опять сидел на скамеечке. Теперь она увидела, что он разорвал свой пиджак. Голова его свешивалась вперед — непонятно было, как может человек так си-

деть. Она спросила, не хочет ли он поест. Он не ответил, и она не настаивала.

В эту ночь она не ложилась. Прислушивалась к тому, что он делает. Он почти все время сидел на полу. Время от времени бродил взад и вперед по комнате. Свечи погасли, других у него не было. Он не включил электричества, остался в темноте.

Мальчик сидел тогда, закинув ногу на ногу. Брюки были клетчатые, из превосходной английской материи, хорошо выутюженные; он сам, пожалуй, никогда не носил таких хороших брюк. Носки были тонкие, отливавшие матовым блеском. Ботинки плотно и удобно облегали ногу. Они, наверно, были сделаны на заказ. Кошачья ферма — это была безумная затея, но все же не каждый мог бы до этого додуматься. У мальчика был удивительно широкий круг интересов. Политика, исследование крови, всякого рода дела, одежда, прекрасно скроенные костюмы. На правой гетре почему-то недоставало пуговики. Был у него и друг. Даже Кленк был о нем высокого мнения. Да, он был ловкий мальчишка. Тогда, на берегу австрийского озера, — это было настоящим чудом. Такая высокая, белокурая девушка. Вина его в том, что он так мало сделал для этого Крюгера. Иначе не застрелили бы его мальчика. Сидя на своей скамеечке, Гейер принимался: он явственно ощутил вдруг запах кожи и свежего сена.

Когда наконец наступило утро, экономка Агнеса услышала, что доктор Гейер, один в комнате, говорит на каком-то незнакомом языке. Это был древнееврейский язык. Депутат рейхстага Гейер, машинально шевеля губами, читал молитвы, древнееврейские заупокойные молитвы и благословения, с детских лет запечатлевшиеся в его памяти. Ибо доктор Гейер происходил из еврейской семьи, тщательно соблюдавшей ритуал и высоко чтившей молитвы, а память у него была хорошая. «Как трава, увядаем мы в сем мире». Он положил руку на холодный колпак настольной лампы, как отец его клал ему на голову руку в пятницу вечером, произнося слова благословения, и проговорил: «Да сделает тебя господь бог наш подобным Эфраиму и Манассе». И еще: «Памятуем мы, что прах мы». Его мучило,

что не было здесь десяти человек, как этого требовал закон. Его мучило, что в первый день нового года он не пошел, как указывал закон, к текущей воде и не сбросил в нее грехов своих, чтобы поток унес их дальше и погрузил в морскую глубину. Стоило ему сделать это — и мальчик не был бы убит.

Так депутат Гейер просидел весь день, не ел и не брился и оставался все в той же одежде. Он горевал о сыне своем, Эрихе Борнгааке, который был героем на войне и опустился на войне, отравлял собак и убивал людей, всегда слегка при этом скучая, предложил своему отцу произвести кенигсбергское исследование крови и, распространяя легкий запах кожи и свежего сена, был убит в Мюнхене у Галереи полководцев при нелепых и смешных обстоятельствах.

В следующую ночь доктор Гейер ненадолго уснул. Утром он встал. Сдвинув вместе ступни ног и покачиваясь туловищем взад и вперед, он произнес:

— «Да будет имя его свято и прославлено».

Собственно, полагалось это делать в присутствии десяти взрослых верующих людей. Ему приходилось делать это в одиночестве.

И этот день просидел он на скамеечке и ничего не ел. Вечером следующего дня он уехал в Мюнхен.

## 12

### БЫК, ПУСКАЮЩИЙ МОЧУ

Актер Конрад Штольцинг возвратился из городка на верхнебаварско-швабской границе, где в почетном заключении содержался Руперт Кутцнер. Штольцинг выехал туда словно рождественский дед, нагруженный подарками для заключенного. Его рвение, однако, оказалось излишним. Воодушевление и верность «патриотов» нагромодили вокруг пленного вождя целые товарные склады вещественных доказательств любви. Вокруг него возвышались целые горы пирогов, дичи, окороков и битой птицы, вина, водки, яиц, конфет и

сигар, шерстяных флуксусов с вплетенной в их ткань индийской эмблемой плодородия, обмоток, кальсон. Были присланы также диктофон, граммофонные пластинки и две книги.

Вернувшись, актер в беседе с друзьями вождя набросал яркую картину переживаний царственного узника. Руперт Кутцнер, по его словам, был глубоко потрясен предательством и коварством, с помощью которых добились его падения. Рядом с ним на трибуне, сжимая его руку, стоял в день путча Флаухер перед лицом ликующей и воодушевленной толпы. А затем этот Флаухер пошел и гнусно предал его. Если он, Кутцнер, не сдержал данного Флаухеру обещания отложить выступление, то он сделал это, руководствуясь благородной целью. Но содеянное Флаухером было не северной хитростью, а подлым коварством. Возможно ли было представить себе это: германец — и такое коварство? Целые дни, — повествовал далее Конрад Штольцинг, — раненый герой (в пылу «национальной революции» Кутцнер вывихнул себе руку) проводил в мрачном раздумье. Отказывался от пищи и питья, говорил о самоубийстве. Целых двадцать минут пришлось ему, Конраду Штольцингу, уговаривать томившегося в неволе орла, пока тот не обещал, что, быть может, все-таки и сохранит свою жизнь во имя национальной идеи и черно-бело-красной Германии.

Баварское правительство между тем принялось за инсценировку процесса Кутцнера в соответствии со сложившейся политической обстановкой. Имперское правительство окрепло, марка была стабилизирована. Планы «Дунайской федерации» под гегемонией Баварии рассеялись, как дым. «Патриоты», еще недавно бывшие желанным оплотом, сейчас для официальной Баварии оказывались стеснительным грузом. Мюнхенское правительство упрекали за то, что оно под руководством назначенного им генерального государственного комиссара Флаухера до самого путча шло тем же путем, что и мятежник Кутцнер и его приверженцы. Перед баварским правительством вставала задача при помощи процесса Кутцнера затемнить это ясное поло-



жение вещей, доказать обратное и всю вину с себя свалить на «истинных германцев».

Обвинение, таким образом, ограничивалось Кутцнером, Феземаном и еще восемью «вождями» и не затронуло Флаухера. Последний привлекался лишь в качестве свидетеля, но при этом он не был освобожден от сохранения «служебной тайны», следовательно, мог показывать под присягой все, что служило к обелению баварского правительства, и, ссылаясь на «служебную тайну», отказываться от показаний, как только по ходу дела выплывали обстоятельства, компрометировавшие правительство. Чтобы облегчить ему дачу показаний именно в этом смысле, правительство поручило ведение процесса лицу, близкому Флаухеру. Кроме того, правительство задержало на время обвинительное заключение, дав Флаухеру возможность спокойно договориться с командующим войсками и согласовать с ним свои показания.

Заседания суда происходили в уютном обеденном зале бывшего военного училища. Публика была тщательно просеяна и в большинстве своем состояла из «истинных германцев» или им сочувствующих. Среди них было много дам. Процесс велся в форме любезной беседы. Барьеров не было, обвиняемые удобно расположились за столом. Когда в зал входил обвиняемый генерал Феземан, часовые брали «на караул» и все присутствующие вставали с мест.

Руперт Кутцнер уже несколько месяцев не имел возможности выступать публично. Теперь когда он после долгого воздержания раскрыл рот, ощутил контакт с аудиторией, осознал, что его слушают, его охватило буйное опьянение, и он почувствовал, что у него вновь вырастают крылья. Следуя совету актера Штольцинга, он надел не обычный, плотно облегающий спортивный костюм, а длиннополый сюртук. На груди сверкал железный крест. Такой костюм должен был с особой выразительностью подчеркнуть трагическую значительность этой минуты. Тюверлен, наблюдая за этим человеком, видел, как вздымалась и опускалась его грудь, как оживлялись лишенные выражения глаза, вспыхивали румянцем тщательно выбритые, напудренные

щеки, фыркал горбатый нос. Этот человек, без сомнения, верил тому, что говорил, верил, что по отношению к нему совершается тяжкая несправедливость. С жаром, каждый раз в новых выражениях, Кутцнер объяснял, что для него не существует так называемой «революции». Он, Кутцнер, не мятежник и не бунтовщик, а восстановитель старого порядка, разрушенного бунтовщиками и мятежниками.

Разве генеральный государственный комиссар не собирался, точно так же как и он, свергнуть правительство и антипарламентским путем заменить его директорией? Глава баварского правительства говорил и делал именно то, за что он, Кутцнер, сидит сейчас на скамье подсудимых. Он только потому выступил, не дожидаясь Флаухера, что именно он, Кутцнер, — прирожденный, отмеченный богом вождь. Искусству управлять государством учиться не приходится. Когда человек знает, что он умеет что-либо делать, он не дожидается другого только потому, что тот сидит у кормила власти. Нет, здесь скромность неуместна! Он хотел услужить родине, хотел выполнить свою историческую миссию. Многие из его соратников заплатились жизнью за свое мужественное выступление. Он сам — вывихнул себе руку. А теперь его заставляют предстать перед судом, пятнают как предателя! Он весь горел, весь был полон искреннего гнева.

Тюверлен вдумывался в слова Кутцнера. Здесь крылась проблема государственной измены. Попытка насильственного переворота, кончавшаяся неудачей, признавалась государственной изменой. Такая же попытка в случае успеха была правовым актом, рождала право и превращала прежних носителей власти и права в государственных изменников. Руперт Кутцнер не хотел признать, что республика была фактом. Он утверждал, что революция, разразившаяся после войны, потерпела неудачу, и свои действия объяснял, исходя из этого утверждения.

Кутцнер говорил четыре часа сряду. Он, как задыхающийся человек, наслаждался притоком свежего воздуха. Говорить — было истинным смыслом его жизни. Подняв голову и вытянув шею из туго накрахмаленного

воротничка, он стоял в своем наглухо застегнутом сюртуке, навывтяжку, словно рапортующий солдат. Сохранял выправку. Не забывал, несмотря на бурный порыв, именовать лиц, о которых говорил, их полным титулом. Ему, видимо, доставляло удовлетворение, что он растормошил так много их превосходительств, государственных комиссаров, генералов и министров.

Как ни бессодержательны были все время повторявшиеся фразы Кутцнера, все же речь его не производила смешного впечатления. Даже наоборот: картинная жестикация и звучные слова, которыми этот человек приукрашал свое падение и провал, были великолепны.

Смешон и жалок был свидетель Франц Флаухер. Настоящим обвиняемым был именно он. В решительную минуту он гнусно предал Кутцнера, ударом в спину убил великую идею, а теперь вот он сидит здесь, старается доказать, что он вовсе ни при чем, и хочет выйти сухим из воды. Таково было общее мнение.

Две недели тянулся процесс. Две недели подряд обвиняемые и их защитники язвительными вопросами долбили павшего генерального государственного комиссара. Они стремились доказать, что он был намерен — с Кутцнером или без него — путем насильственного переворота свергнуть берлинское правительство и создать на его месте баварскую диктатуру. Что он собирался сделать то же, что и Кутцнер, только сделать это 12-го, а не 9 ноября. Что если действия квалифицировать как государственную измену, то и вся правительственная деятельность Флаухера тоже была изменой. Стоявшие за спиной Флаухера тайные правители Баварии были для них недостижимы. Тем безжалостнее обливали они потоком насмешек, ненависти и презрения человека, который был им доступен, жалкого труса и предателя, свидетеля Франца Флаухера.

«Почему, — спрашивали они, — почему не распорядились вы арестовать тех, кого приказывало арестовать имперское правительство? Почему вы отменяли в Баварии действие общегерманских законов? Почему вы задерживали золото, принадлежавшее Государственному банку? По какому праву вы, именуя себя намест-

ником имперского правительства, приводили к присяге баварский рейхсвер? Кто дал вам такие полномочия?» Флаухер сидел неподвижно, отмалчивался, заявлял, что не может вспомнить, или отказывался от ответа, ссылаясь на служебную тайну. Кругом пожимали плечами, язвительно смеялись. Он молчал.

Четвертому сыну секретаря королевского нотариуса в Ландсгуте за время его медленной карьеры довелось перенести немало унижений: студентом — от заносчивых товарищей по учебе, чиновником — от властолюбивых начальников, министром — от несерьезного, высокомерного Кленка. Но затем он восторжествовал: Кутцнер валялся перед ним на коленях, он дождался своего желанного часа. Он думал, что этот час уже оплачен унижениями всей его предшествующей жизни, но оказалось, что платить приходится теперь. Велик был соблазн швырнуть здесь, в зале, правду в лицо всей этой наглой, издевающейся над ним сволочи, показать, как было на самом деле, показать, что он действовал как верный солдат, по приказу других, выше его стоявших, и что он сидит здесь как заместитель других, поставленных богом властителей. Но именно в том и заключалась услуга, которой требовали эти богом поставленные властители, — чтобы он заткнул себе рот, чтобы он окунулся в ту грязь, которая должна была прилипнуть к ним. Если прежде он упивался сладостью своей миссии, то теперь он до краев был полон ее горечью.

В течение двух недель сидел он здесь в роли свидетеля, втянув в плечи тяжелую квадратную голову, молчаливый, беспомощный, время от времени потирая рукой где-то между шеей и воротничком. Когда вождем говорил о совершенном по отношению к нему гнусном предательстве, весь зал обдавал презрением неуклюжего человека, дававшего свидетельские показания. Многих это зрелище привлекало даже больше, чем эффектные выступления Руперта Кутцнера. Художник Грейдерер, живший теперь в деревне, завел свой потрепанный зеленый автомобиль, слывший, потому что он все еще двигался, музейной редкостью, и прикатил в город специально для того, чтобы посмотреть на пав-

шего генерального государственного комиссара. Посмотреть, как он, олицетворенное злосчастье, сидит под градом насмешливых, позорящих вопросов. Сколько бы враги ни грызли, ни царапали его, он не вздрагивал, не издавал ни звука. С напряженной любознательностью изучал художник Грейдерер измученного Флаухера. Он писал сейчас большую картину, изображавшую измученного, раненого быка, который стоит у ограды, пуская мочу, и не хочет больше идти на арену. В зале суда, в помещении пехотного училища, художник Грейдерер сделал ценные приобретения. Он уловил множество тончайших оттенков. Две недели просидел так свидетель Флаухер, сердитый, угрюмый, собирая в груди своей вражеские копы и тем отводя их от других.

Зато Кутцнер со своими приверженцами собирал только солнечные лучи. Если кто-нибудь пытался хоть словом задеть обвиняемых, они с коварной любезностью начинали грозить разоблачением. Весь состав суда служил для них лишь декорацией. Общественный обвинитель съеживался все больше и больше. Все чаще и чаще приходилось ему извиняться, умолкать, уступая полем боя защитникам. Его речь вместо обвинения стала гимном в честь патриотических заслуг Кутцнера и Феземана. Он потребовал для них кратковременного заключения в крепости. Все обвиняемые в своем последнем слове заявили, что они свое выступление, — к сожалению, неудавшееся из-за вероломства честолюбивого чиновника Флаухера, — готовы повторить при первом удобном случае. «Мировая история, — заявил Кутцнер, — оправдает меня». «Мировая история, — заявил генерал Феземан, — посылает людей, боровшихся за счастье отчизны, не в крепость, а в Валгаллу».

Параграф 81 германского уложения о наказаниях гласит: «Пожизненным тюремным заключением или пожизненным заключением в крепость карается каждый покушающийся насильственным путем изменить конституцию германского государства или одной из стран, входящих в его состав». Суд оправдал генерала Феземана. Остальных обвиняемых он приговорил к заключению в крепость сроком от одного до пяти лет. Приговор определял это наказание как условное, всту-

павшее в силу немедленно или, в крайнем случае, не позднее шести месяцев. Кроме того, суд приговорил Руперта Кутцнера к денежному штрафу размером в двести марок.

После произнесения приговора присутствующие, поднявшись со своих мест, восторженными криками приветствовали подсудимых. С улицы также донеслись громкие крики. Вождь подошел к окну, показался восторженным почитателям. Генералу Феземану от пехотного училища, где происходили заседания суда, до его виллы в южной части города предстоял дальний путь. Вдоль всего этого пути выстроились люди, приветствовавшие его. Автомобиль генерала был украшен цветочными гирляндами. На радиаторе победно развевался флажок с индийской эмблемой плодородия.

### 13

#### МУЗЕЙ ИОАННЫ КРАЙН

Прошло одиннадцать месяцев со времени жалкой кончины Мартина Крюгера. Наступила новая весна. Германия успокоилась, окрепла. Попытки Рейнской области отделиться от всегерманского союза потерпели крушение. Борьба с Францией за Рурскую область закончилась экономическим соглашением. Великими державами была организована комиссия экспертов под председательством некоего генерала Дауэса для выработки разумного плана репараций. Германская марка была стабилизирована: доллар стоил четыре марки двадцать пфеннигов, как до войны.

В Баварии тоже наступило успокоение. Падение Кутцнера не вызвало никаких значительных перемен. «Патриоты» чересчур зарвались, теперь у них поубавился пыл, они утомились. Правительство по окончании процесса проявило милость к побежденному врагу. Пострадавшему владельцу «Трапезной» оно оплатило счет за потребленные «патриотами», но не оплаченные ими пиво и сосиски. По отношению к левым партиям оно держалось прежней жесткой линии. Чтобы

красные не воображали, что теперь пришел их черед драть глотку. Кратковременное заключение Руперта Кутцнера было скорее отдыхом, чем наказанием. Зато рабочие, арестованные во время организованной «патриотами» «битвы в Зендлинге», были безжалостно осуждены, и приговоры над ними приведены в исполнение со всей строгостью.

Иоганна Крайн замечала эти события только в той мере, в какой они могли быть связаны с борьбой за умершего Мартина Крюгера. Эта борьба, несмотря на все ее старания, понемногу затихала. Творческое наследие Мартина Крюгера становилось все более ярким и значительным, все больше людей говорило о его творчестве. Но все меньше людей говорило о самом Мартине Крюгере, о его жизни и смерти, и постепенно исчезли все люди, помогавшие ей в ее борьбе. Оставался, если она хочет быть правдивой сама с собой, лишь один человек, благодаря которому Мартин Крюгер продолжал еще существовать: она сама.

И только благодаря ей, ей одной, он все еще *существовал*. Слишком вялой была она при его жизни, зато теперь она больше вялой не будет. Чем настойчивее вызывает она перед собой его образ, чем упорнее сосредоточивает свои мысли на умершем, тем более живым становится он. Она ощущает сама, как, поднимаясь от сердца к самому горлу, снова ползет и охватывает ее плечи то давящее чувство уничтожения.

«Я это видел» — подписано под несколькими ужасными видениями, запечатленными художником Гойей.

«Я это видел» — таково название одной главы в книге Мартина Крюгера. Тот факт, что некто «видел это», — примитивный, но убедительный аргумент. На человека, видевшего то, что видела она, ложится проклятый долг рассказывать о виденном.

В годовщину смерти Мартина Крюгера газета «истинных германцев» «Фатерлендишер анцейгер» поместила статью о «деле Крюгера». Пора уж давно громко сказать, — говорилось в этой статье, — что не все люди равноценны. Такой дегенеративный, безнравственный субъект, как Мартин Крюгер, весьма мало трогает «истинных германцев». Вся берлинская шумиха была

поднята лишь с целью подорвать германскую юстицию. Они, «истинные германцы», могут только смеяться над всеми этими салонными апостолами, так внезапно всплывшими нежностью к этому человеку. «Мы заявляем,— говорилось в заключение,— всей красной берлинской прессе и всем гуманным апостолам с Курфюрстендамма громко, ясно и недвусмысленно: сварите себе своего Мартина Крюгера хоть под кислым соусом».

Иоганна Крайн прочла эту статью. «Мертвые должны помалкивать»,— сказала раз одно ответственное лицо. Эти вот высказывались еще более ясно. Иоганна все крепче стояла на своем: нет, мертвый не будет молчать! Она чувствует: если она добьется того, чтобы мертвый заговорил,— с нее спадет большая доля вины.

Она до боли ломала себе голову, как ей этого добиться. Одна возможность у нее уже была. Фертч возбуждал против нее дело: на похоронах она сказала ему прямо в лицо, что он подлец. Разбор дела все откладывался, но нельзя же будет откладывать его до бесконечности. Когда-нибудь настанет момент, когда ей дадут говорить. Она читала, как разглагольствовал Кутцнер, как ему предоставили возможность говорить. И она тоже будет говорить так, что у них заболят уши. Судьба Крюгера должна терзать сердца людей.

Она была одержима своим планом. Молчание мертвого сверлило ей мозг, когда она вставала и когда укладывалась на покой. Она была женщина средних способностей, с будничным лицом, но крепко уцепившаяся за определенную идею. Она ходила такая же, как прежде,— ненапудренная, некрашенная, с заколотыми узлом волосами. У нее было много много заказов, и она усиленно работала. Разговаривая с людьми, она держалась очень спокойно. Но внутренне она была опустошена страстным желанием выступить перед всем светом и закричать.

Она видела, как с каждым днем все больше толковали о «Го́йе», о книге «Испанская живопись», все меньше — об Одельсберге. Не должно случиться так, чтобы была забыта и стерта в памяти совершенная подлость. Убила этого человека Бавария. Все мы в этой



проклятой стране убили его. Этого нельзя замолчать. Вся страна болеет этими невысказанными словами. Болезнь страны должна быть названа настоящим именем. Она, Иоганна, должна это сделать четко и громко.

Больше уже ее одурачить не удастся. Кое-что ей пришлось пережить с двадцать шестого по двадцать восьмой год своей жизни. У нее были воспоминания, накопился и целый музей. Хранилась в нем, например, ее маска. Хранилась теннисная ракетка из периода ее «светских связей». Хранился сухой ломоть хлеба из одельсбергской камеры, очень сухой и твердый, прекрасно сохранившийся, — изумительнейший музейный экспонат. Хранилась в шкатулке перевязанная, сложенная в полном порядке пачка писем, написанных рукой, которая уже больше не пишет. Хранилась вырезка из утренней газеты с дефектной буквой *e* и с сообщением, что застрелилась Фенси де Лукка — из-за того, что не сможет больше играть в теннис. Она хранила флакончик с почти выдохшимся запахом кожи и свежего сена, оставшийся от молодого человека, который жил бессмысленно, которого она любила бессмысленно, который был убит бессмысленно во время какого-то дурацкого путча. Хранила и серый летний костюм, принадлежавший когда-то человеку, погибшему в перегретой камере, около этого ломтя хлеба, в полном одиночестве. Но главными ценностями музея были сочинения Мартина Крюгера, включавшие статью о картине «Иосиф и его братья» и главы «Я это видел» и «Доколе?», ставшие классическими образцами прозы. Тут стояли они — четыре красивых толстых тома с красными кожаными корешками — проклятые произведения, похоронившие под собой человека и его судьбу.

Когда наконец наступил день разбора ее дела, она выступила перед судьями, полная справедливого гнева, с ясной головой, крепкая, как в лучшие свои дни. Она не знала хорошенько, что она скажет, но знала, что будет говорить хорошо и так, что ее слов нельзя будет не услышать.

Руперт Кутцнер говорил в течение целых двух недель, однажды — четыре часа сряду. Иоганне Крайн

не предоставили ни двух недель, ни четырех часов, ни даже одной минуты. Судьи были вежливы, слегка удивлены. Чего, собственно, она хочет? Доказать свою правоту? Какую правоту? Объяснить, что она собственными глазами убедилась в том, что Мартину Крюгеру в Одельсберге не хватало необходимой медицинской помощи? Но ведь объективное положение вещей было в достаточной мере выяснено дисциплинарным судом над доктором Гзеллем, а в ее субъективной добросовестности никто не сомневался.

Адвокат, подробно обосновывая свое требование, настойчиво, с соблюдением соответствующей формы, просил о разрешении доказать правильность ее впечатлений. Суд удалился, совещался полминуты, в просьбе отказал.

Когда суд объявил это постановление, глаза Иоганны потемнели от гнева. На мгновение она перестала видеть светлый, голый зал судебных заседаний. Перед ней встала наполненная табачным дымом кондитерская в Гармише. По стенам — ползучие розы и пляшущие чечетку парни и девушки. Приветливый длиннобородый господин, макая пирожное в кофе с молоком, коротко и мудро говорит о том, как иногда незыблемость закона требует, чтобы по отношению к невинному во имя права была совершена несправедливость.

Иоганну, приняв во внимание смягчающие вину обстоятельства, приговорили к незначительному денежному штрафу. Она вернулась в свой музей непобежденная.

#### 14

### ГОСПОДИН ГЕССРЕЙТЕР УЖИНАЕТ В «ЛОХЭ»

Укрепление германской валюты, превращение биллиона в единицу не могли пройти безболезненно. Значительно быстрее, чем прилив, происходил теперь отлив денежной волны. Многие, запутавшись в срочных платежах, неожиданно столкнулись с невозможностью содержать свои многочисленные, требовавшие больших расходов предприятия. Кругом лопались раздувшиеся

концерны, акционерные общества с громкими названиями.

Земледельческая Бавария ощущала это потрясение менее сильно, чем большинство других частей Германии. Некоторая перетасовка среди тайных правителей страны, правда, произошла. Теперь, когда подводились окончательные итоги, выяснилось, что Берхтесгаден, архиепископский дворец, тайный советник Бихлер утратили часть своей власти. Самые большие тузы, такие, как Рейндль и Грюбер, выплыли из мутного потока с огромным барышом.

К тем немногим, которых эта перемена сломила, принадлежал и коммерции советник Пауль Гессрейтер. Контракты с Южной Францией требовали крупных платежей наличными, мюнхенские банки стали менее сговорчивы, «Hetag» с убытком пришлось уступить мистеру Кертису Лэнгу. Пошатнулась даже сама «Южногерманская керамика». В присутствии своих друзей Гессрейтер по-прежнему был крупным дельцом, беззаботным, непоколебимым, независимым от какой бы то ни было конъюнктуры; в своей же конторе он выбивался из сил, не знал, за что ухватиться, задыхаясь, ловил воздух.

Наступила пасха. В это время принято было уезжать на юг. Не собирается ли он поехать куда-нибудь? — спросила г-жа фон Радольная. Ее дела шли отлично, ценность ренты значительно возросла, имение Луитпольдсбрунн освободилось от долгов, было снабжено новейшими машинами. Ах, как хотелось бы г-ну Гессрейтеру отправиться путешествовать! Соблазнительно рисовались ему отели у итальянских озер, южнотирольские лавки, где можно было рыться в кучах дорогих его сердцу редкостей, подходящих для дома на Зеепштрассе. Вместо этого его грозно ожидали исполнительные листы, собрания кредиторов. Разумеется, — сказал Гессрейтер, — они поедут. Он лично предлагает озеро Комо, затем, пожалуй, несколько дней на Ривьере.

— Но ведь ты можешь уехать только тогда, — спокойно напомнила г-жа фон Радольная, — когда будет улажено дело с этим Пернрейтером. — Она назвала имя одного из его самых непокладистых кредиторов.

Господин Гессрейтер замахал руками, словно загребая ими воздух, завилял и туда и сюда. Выяснилось, что Катарина точно осведомлена о его положении. Она заглядывала во все углы, видела все гораздо яснее, чем он сам. Она сидела перед ним — крупная, с красивым цветущим лицом под волнами медно-красных волос — и холодно, без слова упрека подсчитывала, какая сумма ему нужна. Немалая сумма.

Она готова, — сказала Катарина, — добыть необходимые ему деньги. Тогда можно будет съездить и на озеро Комо. Условия, на которых она могла достать нужную сумму, были не из приятных. Кроме того, не совсем ясным оставалось, кто именно эти деньги даст. Ясно было лишь, что поручительницей явилась бы она, что ее имение Луитпольдсбрунн должно было служить залогом. Она знала жизнь, выбралась из низов, за последнее время сызнова убедилась, сколько неожиданностей грозит даже самым, казалось бы, обеспеченным. Если Пауль хочет, чтобы она помогла ему, то, — Пауль сам должен понять это, — ей нужны кое-какие гарантии. От всяких художественных отступлений и увлечений, вроде серии «Бой быков» и тому подобной роскоши, «Южногерманская керамика» впредь должна отказаться. Г-ну Гессрейтеру лично придется обязательно изменить свой широкий образ жизни. Полезно было бы им обоим вести общее хозяйство. Разве не достаточно прекрасного дома в Луитпольдсбрунне? Для дома на Зеештрассе у нее есть в виду покупатель. Их совместную жизнь — ведь нужно будет вести общее хозяйство — удобнее всего будет легализовать. Им придется отправиться на Петербург, в отдел записи браков. Все это будет вовсе не так сложно, как может показаться на первый взгляд: на всю историю уйдет каких-нибудь несколько недель. Можно будет попасть в Италию еще до наступления большой жары. Спокойно, приветливо звучал ее низкий голос, лились с ее полных губ слова, решительные, невозмутимые, словно речь шла о смене служанки.

Пауль Гессрейтер в начале ее речи расхаживал взад и вперед по комнате. Когда она сказала, что деньги для него она, во всяком случае, добудет, он приостано-

вился. Но затем с каждой новой ее фразой он отступал все дальше, пока не остановился, прижавшись к стене, глуповато раскрыв маленький рот и с испугом, своими карими глазами с поволокой глядел в красивое лицо своей подруги. В то время как она говорила, медленно рушилась вся его сорокачетырехлетняя жизнь. В панике, изо всех уголков своего мозга собирал он отговорки, прикрасы. Но даже еще хорошенько не обдумав их, он уже знал, что все это чепуха и что Катарина была права. Знал, что должен будет подчиниться всем ее распоряжениям. Каждая ее фраза била его по голове. Возможно, что он и не был таким выдающимся человеком, каким иногда воображал себя, но у него было доброе мюнхенское сердце, и они прожили вместе столько лет; и сейчас он не мог понять, что можно быть таким жестоким, как вот эта сидевшая перед ним женщина.

Она кончила. Г-н Гессрейтер медленно приходил в себя. Он отошел от стены, заговорил. Речь получилась длинная. Спокойные глаза Катарины следили за расхаживающим взад и вперед мужчиной. Она молчала и, когда он кончил, даже не улыбнулась. Только тогда г-ну Гессрейтеру до горечи стало ясно его положение. В течение бесконечной полминуты он почувствовал себя седым стариком.

Затем он снова добродушно принялся уговаривать ее. Изгнать искусство из «Южногерманской керамики» — одна мысль об этом пронзает его насквозь! Но так уж и быть, — если ей этого непременно хочется, он будет уступчив, он подчинится ее желанию. Обвенчаться? Он, правда, не представляет себе, чтобы это составило большую экономию, но раз она считает, что без Петерсберга не обойтись, — ладно, он согласен на Петерсберг. Только дом его, его прекрасный дом на Зеештрассе... нет, пусть она извинит его: тут он с ней расходится во мнениях. Время, труд, вкус, жизнь, душу, вложенные им в этот дом, — этого никто не возместит ему. Было бы бесконечно жалко, да и просто бессмысленно, расстаться с домом. Да и вообще, как, собственно, она себе это представляет? Они ведь не крестьяне, им нужен город, не могут же они круглый год жить в деревне! Это просто-напросто исключается.

Госпожа фон Радольная ответила, что так себе этого дела и не представляла. Он мог бы снять небольшую квартиру в Мюнхене, квартиру-ателье. Кое-что из дома на Зеештрассе там ему, вероятно, удалось бы разместить. Ему придется уж как-нибудь с божьей помощью приспособиться.

— Мне тоже иногда приходилось приспособляться, — сказала она.

Она не повысила голоса, продолжала говорить медленно и любезно, но то, как она произнесла эти слова: «Мне тоже иногда приходилось приспособляться», — заставило Гессрейтера понять, что возражать здесь было бесполезно. Он знал, что подразумевала она при этом не пережитые финансовые затруднения, а те времена, когда она писала ему в Париж, а он на ее письма отвечал в деловито-любезном тоне.

Итак, г-жа фон Радольная взяла дело в свои руки, и все устроилось очень быстро. Она продала дом на Зеештрассе кому-то, кто явно был лишь подставным лицом настоящего покупателя. Г-н Гессрейтер сам не знал, кому теперь принадлежит его дом. Теперь оставалось только снять квартиру, на годы вперед решить, какие стены, какие улицы будешь иметь перед глазами, каким воздухом будешь дышать. Об этом нужно было хорошенько посоветоваться с самим собой, с друзьями, с художниками, для этого сколько-нибудь утонченному человеку нужны были месяцы. Но г-жа фон Радольная и тут не стала тратить лишнее время. Вместо девяти больших и пяти маленьких комнат, не считая кладовых и каморок, которыми г-н Гессрейтер располагал на Зеештрассе, он получил теперь ателье и спальню в доходном доме по Элизабетштрассе, в четвертом этаже — в «Юхэ». «Юхэ» в Мюнхене презрительно называли верхние этажи домов. Ведь там было высоко, как на вершинах гор, и человеку могла прийти охота испустить переливчатый горный крик: «Юхэ!» Г-н Гессрейтер, однако, не испытывал желания испускать переливчатые горные крики. Он не очень горевал о том, что он уже больше не крупный делец; но то, что он утратил свой дом, свою мебель, — вот это терзало его. Сердце человеческое не велико, и удивительно, сколько утвари — пись-

менных столов, кресел, диванов, кушеток — уместалось в сердце г-на Гессрейтера. В его сердце — но не в его новой квартире на Элизабетштрассе. Если поставить большую кровать с экзотическими фигурами в спальню, то там нельзя будет повернуться. А куда девать горки, модели кораблей, «железную деву» — его любимое оружие пыток, все забавное, такой дорогой его сердцу хлам? Г-жа фон Радольная ни единой вещи не соглашалась приютить у себя в Луитпольдсбрунне; все, что не могло уместиться в квартире на Элизабетштрассе, должно быть продано с аукциона. Г-н Гессрейтер впервые взбунтовался. Но сопротивление его длилось недолго.

В один из последних дней апреля состоялся аукцион. Пришло много членов «Купеческого клуба» и «Мужского клуба». Весь дом на Зеештрассе был переполнен любопытными и покупателями.

Господин Гессрейтер не присутствовал при продаже своей обстановки. Был чудесный, ясный день. Он гулял в Английском саду. Шел лениво-упругой походкой, помахивая тростью с набалдашником из слоновой кости. «Это все-таки свинство! — думал он. — Какая глупость: расшвырять все это!» И он представлял себе, как все с таким трудом собранные вещи расходятся по чужим, глупым, равнодушным рукам. Ему хотелось проникнуть в толпу любопытных, среди которых большинство было ему, наверно, знакомо, добродушными, чуть приправленными горечью словами поздравить новых владельцев. Но он не сделал этого. Все больше удалялся от Зеештрассе, дошел до Галереи полководцев. Досада по поводу идиотского памятного камня, которым эта дурацкая сволочь снова опоганила прекрасную площадь, несколько отвлекла его от тяжелых мыслей.

На Зеештрассе между тем царило большое, деловое оживление. Мебель в стиле «бидермайер» и «ампир», горки, все уютные и забавные вещицы, посуда и утварь, предназначавшаяся для больших вечеров, костюмы, платки, картины и скульптура шли с первой, второй, третьей надбавки. Не в одни только равнодушные руки попали все эти предметы: многие из новых владельцев сияли от радости, вызванной покупкой. Для Грейдерера,

Маттеи, для старика Мессершмидта сегодня был удачный день.

С аукциона пошел и автопортрет Анны-Элизабет Гайдер. Г-н Гессрейтер хотел взять его с собой, повесить в своей новой спальне, но г-жа фон Радольная не пожелала этого. И вот сейчас аукционист предлагал к продаже этот портрет. Беспомощно и трогательно вытянув шею, смотрела умершая девушка на собравшихся. Похотливо и неприязненно глядели люди на вызвавшую столько разговоров картину. Эта картина породила беспокойство, несчастье, шумиху. Художнице, написавшей ее, она не принесла добра, и Крюгеру, первому откопавшему ее и повесившему в галерее, она тоже не принесла добра, и Гессрейтеру — это видно было сейчас — она также не пошла на пользу. Пользу она принесла только торговцу предметами искусства — Новодному. Он и сегодня объявил первую надбавку. Серьезно конкурировал с ним лишь художник Грейдерер. После короткой борьбы портрет остался за Новодным.

Госпожа фон Радольная знала, для кого он приобрел картину, знала, что картина теперь принадлежит тому же лицу, которое приобрело и дом, — Пятому евангелисту. Со времени стабилизации марки она была в тесной дружбе с г-ном фон Рейндлем. С чувством уважения следила она за тем, как своевременно и умно этот человек подготовился к изменению обстановки. Нравилось ей также, что, едва закрепив нажитое, он отошел от дел и, как в юности, заполнял свои дни гораздо более важными пустяками.

Она поглядела в его сторону. Он казался мало заинтересованным; аукцион, даже короткая борьба Новодного с художником Грейдерером не привлекла его внимания. Мясистый, сидел он в глубоком кресле, вытянув ноги, лениво прислушиваясь к тому, что говорил стоявший около него г-н Пфаундлер. Да, Катарина устроила г-ну Пфаундлеру, хотя он этого и не заслуживал, давно желанный контакт с Пятым евангелистом. В связи со стабилизацией денег Мюнхен вновь обрел прежнюю любовь к увеселениям. Г-н Пфаундлер шел в гору, Катарина разделяла его мнение, что нужно ближайший карнавал поднять на прежнюю высоту, придать ему



прежний размах и роскошь, и город тогда сам собой снова станет центром германского праздничного веселья. Такой настоящий карнавал требовал, правда, организационных расходов, капитала. Она могла только одобрить, что Пфаундлер уже сейчас, в мае, старался закрепить за собой поддержку Рейндля на зиму.

Шла как раз продажа моделей кораблей. Г-н Пфаундлер тоже участвовал в торгах. Желающих было довольно много, но г-н Пфаундлер не отступал. Рейндль из своего кресла сонно и насмешливо снизу вверх поглядывал на него. Г-ну Пфаундлеру хотелось приобрести этот корабль, он видел в нем эмблему. Он чувствовал себя великим искателем приключений, его планы были гораздо обширнее, чем предполагала г-жа фон Радольная. Если из двух вещей, которыми славился Мюнхен, одна, а именно пиво, поддавалась экспорту, то почему нельзя было экспортировать вторую — празднества, мюнхенский карнавал? То, что не удалось Кутцнеру, — поход на Берлин, — осуществит именно он, Пфаундлер. Он сознавал себя способным на это. Уже сейчас большие мюнхенские рестораны, принадлежавшие пивоваренным заводам, открыли в Берлине свои филиалы, уже сейчас устраиваются там мюнхенские «пивные праздники». Он разовьет это дело. Организует увеселительное заведение небывалых размеров в самом сердце ненавистного города. «Bavaria» будет его название, и наслаждаться там можно будет всеми прелестями настоящей Баварии. Горная деревушка, горное пастбище с живым скотом, Терезиенвизе, осенний праздник, катание с гор, горцы с их характерными песнями, исполнители баварской чечетки, и каждый вечер — целый бык, жаренный на вертеле, и каждый вечер — заход солнца в горах. Из ночи в ночь три тысячи посетителей в самом центре мерзкой прусской столицы будут петь «Пока старый Петер» и «Да здравствуют веселье и уют». Он это состряпает, он добьется этого. Он и Рейндля целиком перетянет на свою сторону. Пфаундлер вошел в раж. Перебил у других покупателей модель корабля.

Катарина с удовольствием наблюдала, как исчезали модели кораблей, которые так неудобно свешивались здесь когда-то с потолка. Хорошо, что воздух тут станет

чище. Хорошо, что сюда переберется Рейндль, а на место покойного г-на фон Радольного передвинется г-н Гессрейтер. После моделей кораблей наступила очередь больших, неуклюжих глобусов, затем кукол. Маттеи и старик Мессершмидт накупили больше, чем в состоянии были оплатить. На Зеештрассе становилось свободнее дышать.

Господин Гессрейтер завершил свою прогулку. Катарина пригласила его провести вечер и ночь в Луитпольдсбрунне, но он был полон грусти и обиды и хотел гневную печаль свою испытать в одиночестве, по всем правилам. Он был теперь беден, а бедность имеет свои законы. Ему доставляло горькое наслаждение подчиняться этим законам. Он купил булку и кусок ливерного паштета — блюдо, состоявшее из муки и печенки. Поднялся, досыта смакуя тяжесть подъема, по бесконечным ступенькам в «Юхэ», в свое новое жилище. Он не достал ни скатерти, ни вилки, ни ножа, ни тарелки. Поел на непокрытом столе, на бумаге, в которую был завернут паштет. Впрочем, стол был исключительно красивый, в стиле «ампир», за него на аукционе дали бы хорошую цену, и г-н Гессрейтер ел очень осторожно, чтобы не испачкать его.

Затем он улегся на широкую, низкую кровать в стиле «бидермайер». Он не мог отказать себе в удовольствии осторожно погладить позолоченные экзотические фигуры. Хоть это удалось ему спасти! Он попытался читать. Запах оставленной им на столе бумаги из-под паштета раздражал его. Он встал, взял бумагу, спустил ее в уборной в трубу. Зазвучала золова арфа. Она занимала немного места и последовала за ним по пути лишений.

## 15

### КАСПАР ПРЕКЛЬ ОТПРАВЛЯЕТСЯ НА ВОСТОК

Приказ, который инженер Каспар Прекль когда-то, при сожжении «смиренного животного», написал себе самому, он прикрепил кнопками к стене над своей кроватью (в переводе на русский язык, чтобы Анни не

могла прочесть его). Пункт 1-й, относительно капиталиста Рейндля, был улажен. Акционерное общество «Баварские автомобильные заводы» строило завод в Нижнем-Новгороде, договор с Преклем был подписан, и в ближайшем будущем он выезжает к месту службы в качестве старшего инженера. Пункт 1-й он мог уже вычеркнуть. Пункт 2-й, относительно заключенного Мартина Крюгера, отпал, к сожалению, сам собою, причем раньше, чем Каспар сумел помочь Мартину Крюгеру пробиться к новым взглядам. Как бы там ни было, и этот пункт был вычеркнут. Но не в порядке был еще пункт 3-й, относительно девицы Анни Лехпер. Каспар Прекль, в соответствии со своей программой, спросил ее, желает ли она вступить в партию и вместе с ним поехать в Россию. Он был очень взволнован. Оставляя в стороне всякие теории, следовало признать, что они не только вместе ели и вместе спали — между ним и этой девушкой было ведь нечто большее. Он опасался мещанской сцены, упреков, просьб, обид и в конце — взрыва смеха и отказа. Он ошибся. Анни несколько минут просидела молча и задумчиво, затем спокойно и рассудительно сказала, что с одного маху на такой вопрос ответить нельзя. Пусть он немного подождет, она своевременно даст ему ответ.

Теперь, когда Каспар знал, что скоро и навсегда покинет Мюнхен, он приглядывался к городу как-то совсем по-иному. Он родился в Мюнхене, никуда далеко не выезжал отсюда. Все реки казались ему такими, как река Изар, вся природа такой, как в Английском саду, все движение таким, как на Штахусе, — весь мир заключался для него в пределах круга, ограниченного башнями Фрауэнкирхе. Он знал, что Мюнхен — полукрестьянский город, закосневший в старом, нестерпимо реакционный. Но это знание было лишь в его мозгу, в кровь оно никогда не проникало. Сейчас он старался видеть свой родной город маленьким, жалким, достойным презрения, соизмеряя его с гигантскими картинами, которые рисовала ему его фантазия. Но это ему плохо удавалось.

Он бродил по улицам, на которых ребенком играл с другими детьми в разноцветные каменные шарики,

тирания других, всегда стремясь быть первым. Останавливался перед домом, в котором родился, перед зданием конторы, куда заходил когда-то за своим отцом. В эти дни он часто вспоминал отца. Вспоминал, как тот, сам ничего не достигнув, все свое честолюбие направил на сына, Каспара. Он подавлял сына, но страшно гордился своим способным мальчуганом. Отдал его сначала в реальное училище, затем, не страшась жертв, дальше, в высшую техническую школу. Каспар помнил, как однажды в летний вечер на Штарнбергском озере какой-то мальчик в лодке играл на скрипке. Вся публика аплодировала. Это произвело сильное впечатление на отца. Немедленно было решено, что и Каспар должен учиться играть на скрипке. Дома отец страшно важничал. Мелкий конторский служащий городского управления, не пользовавшийся авторитетом среди сослуживцев и приятелей, по «столу завсегда», с удвоенной настойчивостью старался проявить себя в своей бедно обставленной квартире, властно требуя поклонения от жены и детей. Мальчику Каспару это imponировало. У него была такая же потребность играть роль, как у отца, только ему хотелось играть роль не в глазах семьи, а в глазах всего света. Даже сейчас Каспар, хотя и с усмешкой, но в то же время с уважением, вспоминал отца: вот он сидит и бреется, окруженный смиренной женой и запуганными детьми, почтительно внимающими, как он пренебрежительно и высокомерно отзывается о своем учреждении, городе, стране. Прекль-старший был неплохим человеком. Плохими были время и окружающая среда. Что это было за поколение, в конечном счете не сумевшее создать ничего, кроме скверной войны! Он, Каспар, понял основную ошибку. Марксистское учение, когда он ознакомился с ним, пало на благоприятную почву.

Последние недели Каспара Прекля в его родном городе сложились в общем как-то тяжело. У него было достаточно времени для мрачных мыслей и чувств.

К тому же пункт 3-й его приказа, относительно девицы Анни Лехнер, ликвидировался в конце концов совсем не так, как он этого ожидал. Анни за ночь все обдумала и теперь могла дать ему ответ. Не по его кни-

гам, а на собственном своем опыте она многому научилась. Были ведь здесь люди, обязанные отвращать от государства всякие беды, а вот теперь, когда произошел этот дурацкий кутцнеровский путч, эти люди, видите ли, просто-напросто заявляют, что «не предвидели такого развития событий», и правят себе преспокойно дальше, — все эти Гартли, Кастнеры и прочая сволочь. Государству, которое оставляет таких людей на занимаемых ими постах, такому дурацкому государству можно помочь только силой, с ним нужно покончить. Каспар был прав, она вступит в партию.

Каспар Прекль уже как-то примирился с мыслью, что Анни останется здесь. Это причинило ему большую боль. Теперь, когда она сказала ему, что вступит в партию, он воспринял это как большую неожиданную радость. Еле ощутимо, правда, мелькнула у него мысль, что это делается не под влиянием убеждения, а только ради него. Но тут же выяснилось, что он ошибался. К сожалению, — продолжала она, — это не может повлиять на их дальнейшие отношения. Она не обманывает себя, она знает, что ей очень трудно будет выдержать без Каспара. Но в России она вообще не выдержит. В партию вступить она решила твердо, но в Россию она не поедет. Она хочет состариться здесь, в этом самом Мюнхене, в пределах круга, ограниченного башнями Фрауэнкирхе, любуясь баварскими горами, хочет быть похороненной на Южном кладбище. Вот и все. А теперь она подаст чай.

Каспар Прекль сидел молча. Тут ничего не поделаешь. Мюнхенская женщина, даже если она «товарищ», именно такова. Самым неприятным в предрассудке Анни было то, что Каспар хорошо понимал его. Да, он не знал хорошенько, кто, собственно, из них храбрее, хоть им и руководил рассудок, а ею — предрассудок. Для него, во всяком случае, если он не хочет кончить пизофренией, как художник Ландгольцер, есть только один путь: жизнь, основанная на практически осуществленном марксизме. А это он мог найти только в России.

Несколько дней спустя Каспар Прекль простился с Пятым евангелистом. Встреча должна была произойти в конторе «Баварских автомобильных заводов». В по-

следнюю минуту г-н Рейндль по телефону приказал просить господина инженера заехать к нему домой, на Каролиненплац. У Каспара Прекля сразу испортилось настроение. Он будет рад, когда ему больше не придется лицезреть рожу этого господина. Если этот господин осмелится затронуть, помимо чисто деловых вопросов, какие-нибудь личные моменты, он, во всяком случае, хорошенько «отошьет» его. Но Пятый евангелист не затронул никаких личных моментов, и это раздосадовало Прекля.

— Я позволю себе, — произнес г-н фон Рейндль, — обратить ваше внимание на следующее: вы не обязаны действовать согласно вашим убеждениям, вы обязаны иметь успех.

В целом беседа протекала вяло, без всякого подъема. Спускаясь вниз по роскошно убранной лестнице, мимо «Смерти Аретино», молодой инженер горячо пожелал, чтобы Рейндль как-нибудь приехал в Россию посмотреть завод. Он придумывал слова, которые швырнет прямо в лицо этому мясистому человеку.

Два часа спустя курьер передал Преклю очень теплое письмо и прощальный подарок Рейндля: великолепную зеленую кожаную куртку. Прекль выругался: в таком франтовском наряде он не поедет в Россию. Но на следующий день, подчиняясь настояниям Анни, он все же взял куртку с собой.

В этот бесконечно далекий путь он отправлялся в новом маленьком автомобиле. Хотя он и ехал навстречу наступавшей весне, все же Анни снабдила его теплыми вещами, словно он отправлялся на полюс. Деньгами, полномочиями и рекомендациями он также был начинен до отказа.

Часть пути его провожали писатель Тюверлен и девица Анна Лехнер. У реки Инн Тюверлен с ним распрощался. Прекль обещал ему написать, как только удастся разыскать картину «Иосиф и его братья». Анни проводила Каспара до города Пассау, где река Инн впадает в Дунай. Каспар Прекль отвез ее к поезду, которым она должна была ехать назад. Он хмурился больше обыкновенного, побранился с ее соседями по вагону, когда они недостаточно быстро освободили место для ее ве-

щей. Она стояла у окна вагона. Он заявил, что нелепо болтаться на платформе и ждать отхода поезда. Он сейчас уйдет. Протянул ей через окно руку. Рука была в кожаной шоферской перчатке. Но затем все же он дождался, пока поезд тронулся. Сдернув перчатку, он еще раз протянул Анни руку, постоял еще некоторое время.

Он поехал дальше еще в тот же день, в новой зеленой кожаной куртке, с трубкой в зубах, один. Покинув пределы Германии, отправился на восток, поехал через Чехословакию, через Польшу, Краков, Москву, держа путь на Нижний-Новгород. Кого из людей, оставленных им в Европе, будет ему не хватать в России? Четырех человек. Присевшего на пень, смотревшего на него мрачными, глубоко запавшими, пылающими глазами, изможденного художника Ландгольца. Пухлого, развалившегося на оттоманке, фиолетового, сонными глазами щурившегося на него Пятого евангелиста. Расхаживавшего взад и вперед по комнате, сдавленным голосом весело в чем-то убеждавшего его писателя Жака Тюверлена. Разливавшей чай, мягко, но решительно выговаривавшей ему за какое-то упущение в повседневной жизни девицы Анны Лехнер.

## 16

### СЕМЬЯ ЛЕХНЕР ВЫБИВАЕТСЯ В ЛЮДИ

Эта девица, Анна Лехнер, сразу же после стабилизации марки покинула свое место на заводе в северной части города и открыла бюро переписки. Каспар Прекль, в связи с изданием литературного наследия Мартина Крюгера, в свое время привлек ее к этой работе. При этом ей пришлось столкнуться с Жаком Тюверленом. Тюверлену понравилась энергичная баварская девушка. Он пригласил ее в качестве секретаря. Работа шла очень хорошо. Он затевал с Анни длинные споры, вначале шутливые, затем все более серьезные, по мелким вопросам стиля. Расхаживая взад и вперед по комнате, в то время как она терпеливо ждала за машинкой, разбирал иногда отдельные пункты своей ра-

боты, приводил доводы *за* и *против*. После отъезда Каспара Прекля он нередко заговаривал с ней о ее друге, сыпал аргументами, упреками, относившимися собственно не к ней, а к нему.

С отцом Анни теперь жилось легко. С тех пор как она увидела его в такую позорную для него минуту, он испытывал в ее присутствии некоторую робость. Вообще, следуя принятому в тот день решению, он после этого большого внутреннего потрясения стал очень кроток и тих. Одно только возмущало его. Наискосок от него, на Унтерангере, находился магазин некоего Зелигмана, еврея. Уже отец этого Зелигмана составлял Лехнеру конкуренцию. В связи с преследованием евреев при государственном комиссаре Флаухере этот Зелигман был на волосок от высылки. К сожалению, дело все же до этого не дошло; идиотский путч все загубил, и еврей Зелигман продолжал непоколебимо владеть своим магазином, как владел им десятки лет сряду. И теперь многие покупатели-евреи обходили лавку Каэтана Лехнера. Зелигман рассказывал им, будто Каэтан Лехнер участвовал в подвигах «истинных германцев» и что он вообще антисемит. Этого, несмотря на все свое смирение, Лехнер не мог стерпеть. «Этакий прохвост,— бранился он,— этакий паршивец, болван он этакий! Выдумывает теперь, будто я антисемит, еврей поганый!» В общем, он очень гордился тем, что он почти совсем перестал гордиться. «Любители игры в кегли» снова хотели избрать его вице-председателем, но он не соглашался. Они говорили: «Да ну, валяй!» Но он не желал принять на себя это лестное звание.

Если старик и таил некоторую обиду на свою дочь Анни, то тем больше радости доставлял ему сын Бени. Стоя на Петербурге в цилиндре, в качестве свидетеля при бракосочетании сына, Каэтан Лехнер навсегда распрощался со своими личными надеждами. Он сам уже ничего настоящего в жизни не добьется, но кто выбьется в люди — так это его сын Бени. Для Бени женитьба на кассирше Ценци была настоящим счастьем. Он прямо на глазах, под влиянием Ценци, постепенно из «красной собаки» превращался в порядочного человека. Ста-



рик с удовлетворением замечал, как Бени с каждой неделей отращивает все более длинные бакенбарды.

Одно происшествие, само по себе, собственно, мало-значительное, окончательно сломило последние остатки отчужденности между отцом и сыном. Дело в том, что раньше во время неоднократно возникавших споров о деле Мартина Крюгера старик высказывал довольно резкие замечания по адресу этого «чужака». Но только теперь, год спустя после смерти и сожжения Крюгера, обнаружилось, что дети были убеждены, будто отец участвовал в осуждении Крюгера, в то время как именно он, Каэтан Лехнер, и Гессрейтер на вопрос о виновности ответили отрицательно. Когда же это теперь как-то случайно выяснилось в разговоре, дети были крайне поражены. Но тут старик вспылил: неужто они могли считать его таким извергом? Все его смирение сразу выдохлось. Он ругался, как фельдфебель, браня современную молодежь, считающую собственного отца способным на любую подлость. Это была благословенная вспышка. С тех пор Бени стал относиться к отцу с настоящим уважением. Последняя отчужденность исчезла. Между обоими мужчинами наступило полное взаимное доверие и сердечная близость.

Бени очень в этом нуждался. У него совсем не стало больше настоящих приятелей. Товарищи из «Красной семерки», с тех пор как он женился на Ценци и приобрел мастерскую, издевались над ним так, что это переходило уже всякие границы. Не сидел он разве в тюрьме за свою близость к партии? Он замкнулся в себе, уперся, все реже стал заглядывать в «Собачью голову». Ближе сошелся с Ценци. Она, правда, не имела понятия о прибавочной стоимости и классовой борьбе. Но зато — в этом ей отказать было нельзя — понимала толк в собственном хозяйстве. Мастерская процветала, жилось им хорошо.

Старик Каэтан Лехнер отмечал это с чувством глубокого удовлетворения. Он сам ничего не достиг в жизни, но его семья быстро шла в гору. Самое главное было то, что у Бени оставалось время и для продолжения своих занятий и опытов. О нем не забывали и в Национальном театре: как только встречались какие-нибудь за-

труднения, сразу же охотно обращались за помощью к изобретательному молодому осветителю. К этим занятиям сына старик проявлял особенно горячий интерес. Когда Бени рассказывал о них, зобастый антиквар кряхтел от удовольствия, радуясь тому, что его собственные художественные склонности так блестяще развивались у сына. Польщенный Бени сконструировал для «Клуба любителей игры в кегли» замысловатую установку, которая посредством световых сигналов автоматически указывала число улавливаемых кеглей.

И семья Лехнер продолжала идти в гору. Когда касирша Ценци произвела на свет здорового мальчика, законного наследника, между ней и Бени произошел последний жаркий спор. Дело в том, что после рождения сына в душе Бени Лехнера снова вспыхнул революционный дух. Его сын должен был называться Владимиром, по имени Владимира Ильича Ульянова-Ленина, основателя новой России. Ценци всеми силами протестовала. Ни под каким видом не согласится она назвать сына таким языческим именем. В крестные отцы она хотела пригласить одного из постоянных посетителей «Тирольского погребка», «большеголового», который не откажет им в этой чести, так как очень ее уважает, — тайного советника Иозефа Дингхардера из «Трапезной». Но на это ни при каких условиях не мог согласиться Бенно Лехнер. Несколько дней сряду шел между ними спор. Сошлись наконец на том, что крестным будет старик Лехнер. Назвали же сына Каэтаном-Владимиром Лехнером.

Старик Лехнер сиял. Снимал своего внука и крестника во всевозможных позах. Преподнес ему такой подарок, что было чем похвастать: продал дом на Унтерангере и приобрел вместо него на окраине города, в Швабинге, особнячок на имя внука. Он сам был недостойн называться домовладельцем, но пусть тем не менее все кругом знают, что семья Лехнер выбилась в люди.

Особняк был старинным деревенским домом, уцелевшим среди все разрастающегося города. Высокие каштаны зеленели на дворе, защищенном каменной оградой. Дом и впредь должен был сохранить вид дома крестьянина, удобно устроившегося в горode. Но при

этом его надлежало оборудовать самыми новейшими техническими усовершенствованиями и электрифицировать от погреба до крыши, однако так, чтобы приборы оставались скрытыми от глаз, не производили впечатления инородных тел. Оба Лехнера были увлечены работой, мастерили, ломали себе голову. Старик Лехнер не одну неделю бегал по городу, подыскивая подходящую для этого дома благородную дедовскую мебель.

К середине мая все было готово. Старик оставил за собой квартиру и лавку на Унтерангере, — он выговорил себе это при продаже дома, — а владелец электромеханической мастерской Бенно Лехнер, его жена Кресценция и младенец Каэтан-Владимир Лехнер перебрались в дом в Швабинге. Ценци в подробном письме к подруге, жившей в Вельгейме, рассказала ей о своем новом жилище и подписалась: «Твоя любящая тебя подруга Кресценция Лехнер, урожденная Брейтмозер, жительствующая на Фреттингерском шоссе № 147, в собственном доме».

Место своей прежней деятельности, ресторан «Тирольский погребок», Ценци после замужества избегала. Теперь она выразила желание поужинать там с Бени. Тот заворчал, пытался протестовать. После некоторых пререканий они все же отправились туда. Уселись в боковом зале, где четверть литра вина стоила на десять пфеннигов дороже. Подчеркнуто бюргерский уют, деревянная панель, массивные, не покрытые скатертями столы, старинные, крепкие, сделанные для усидчивых задов скамьи и стулья — все это было так привычно и все же ново. В комнате было полутемно от дыма хороших сигар, от испарений сытных кушаний. На привычных местах сидели люди с твердым общественным положением, с твердыми взглядами. Они почти все знали ее, встретили ее возгласами приветствия, кивали ей доброжелательно, с веселой улыбкой, но с подобающим уважением. Рези помогла ей снять пальто, побежала за меню.

Госпожа Кресценция Лехнер, урожденная Брейтмозер, опустила на скамью за угловым столом под карнизом, украшенным оловянными тарелками. Она вступала во владение помещением, где так долго, прислуживая, перебегала с места на место, где она была кас-

спиршей. Теперь она сидела здесь, словно картина, нашедшая подходящую для себя раму: крупная, уштанная, имеющая право требовать, чтобы ее хорошо кормили и обслуживали, а рядом с ней сидел муж, которого она себе отвоевала и вывела в люди. Она добила своего, была удовлетворена. Это был хороший день, это был лучший день в ее жизни.

## ВСЕ ЛИ ВЫ ТУТ?

Писатель Жак Тюверлен весело бродил среди шумной толпы майской ярмарки в Ау. Война, революция, инфляция в прошлые годы нанесли тяжелый удар и этой традиционной ярмарке старых вещей в Ау, восточном пригороде. Но теперь жизнь снова стала на крепкие рельсы, и ярмарка была оживленной, как прежде. Весь Мюнхен теснился у ларьков, впереди всех — художники и дети. И Жак Тюверлен, с не меньшим увлечением, чем они, рыскал здесь в погоне за драгоценными редкостями. В городе Мюнхене было много любителей мастерить, здесь ничто не пропадало даром, многие специально искали ломанные вещи, чтобы потом самостоятельно починить их. Сюда, на ярмарку в Ау, попадало большинство вещей, игравших какую-нибудь роль в повседневной жизни горожан: мебель, платье, украшения, посуда, книги, ночные горшки, игрушки, старые документы, очки, кровати, велосипеды, вставные челюсти. Все эти вещи были еще пропитаны запахом той маленькой жизни, частицу которой они составляли. Рыться в этом, быть может наскочить на ценную вещь, — было чертовски занятно. Люди толкали и давили друг друга с добродушным смехом, — это была «прогулочка по узким закоулочкам», — и Тюверлен прогуливался и толкался вместе со всеми другими.

Ему встречалось много знакомых лиц. Печально и сосредоточенно бродил здесь г-н Гессрейтер и весело и сосредоточенно — г-н фон Мессершмидт. Тайный советник Каленеггер с чувством склонялся над стеклянным

ящиком с коллекцией баварских бабочек. Каэтан Лехнер был увлечен старинной горкой. Она была сильно источена червями, просто чудом было, что она не рассыпалась у него в руках. Но это именно и привлекало его. Его задачей было по всем правилам искусства восстановить эту хрупкую, совершенно трухлявую вещь.

А кто же это там длинными, тонкими пальцами роется в куче нагроможденного хлама? Ну, конечно, это комик Бальтазар Гирль. Жак Тюверлен смотрел, как он упорно торговался с толстой старьевщицей. Речь шла об огромном старомодном клистире. С жадной нежностью покачивал его комик в своих тонких руках. Да, это могло послужить чудеснейшим реквизитом для выступления на эстраде в залах «Минерва». Но старуха, по-видимому, была так же упорна, как и он, и Тюверлен увидел, как Гирль в конце концов отступил без желанного клистира. Он наверняка явится сюда завтра снова и продолжит торг.

Люди вокруг теснились, толкали друг друга, восклицали: «Гопля, соседushка!», смеялись. Медлительно, страстно, жестко, настороженно и настойчиво надували друг друга продавцы и покупатели. Наслаждаясь, отмечал Тюверлен в этом торге его чисто деревенскую хитрость, заражался царившим вокруг увлечением, загорался желанием самому испробовать технику этой купли-продажи. Он высмотрел старинную гравюру, изображавшую знакомый ландшафт на Аммерзее. Из хитрости он предварительно справился о цене десятка других вещей, но торговец сразу же заметил, что интерес покупателя привлекла именно гравюра. В душе он испытывал презрительное удивление, как это разумный человек мог пожелать купить такую дрянь, и запросил неслыханную цену в десять марок. Тюверлен сделал вид, что пришел в ужас. Призвал одного из стоявших по соседству покупателей в свидетели того, насколько гравюра лишена какой-либо ценности.

— Хлам! Я бы не дал за нее и пятидесяти пфеннигов,— с полным убеждением подтвердил сосед.

Торговец в душе был с ним совершенно согласен.

— Но рама, пусть господа только поглядят на раму! — заклинал он их.

— Дрянь! Не стоит и пятидесяти пфеннигов, — с горячностью повторил свидетель.

— Рама! — упорствовал торговец.

Выторговав в конце концов гравюру за семь с половиной марок, Тюверлен был преисполнен гордости. Торговец проводил его взглядом презрительного сожаления. С нежностью затем поглядел на свои олеографии.

Тюверлен добрался до ларька, перед которым толпилось особенно много народа. Аккуратными пачками лежали здесь денежные знаки времен инфляции — миллионные бумажки, миллиардные бумажки. Особенным успехом пользовались коричневые тысячемарковые ассигнации довоенного времени. Много рук с жадным интересом перебирали эти коричневые бумажки. «Тысячу марок выплачивает подателю сего Государственный банк в Берлине». Неужели же это было напечатано просто так, на ветер? Пачка из тысячи таких бумажек была высотой в тринадцать с половиною сантиметров, и кто обладал такой пачкой еще несколько лет назад, мог считать себя и свою семью обеспеченными на всю жизнь. Многие не могли поверить, что все это сейчас не имеет никакой ценности, и торговцы в этом ларьке делали прекрасные дела. Люди покупали дешевые тысячемарковые бумажки — миллион за пять марок — будто бы для коллекции, просто так, для баловства. Но какая-то искорка надежды, что эти бумажки когда-нибудь еще поднимутся в цене, таилась в глубине души у всех покупателей. Один из них, — по-видимому, какой-то полудиот, — особенно волновался. Это был дядюшка Ксавер. Он притащил с собой тачку, в которую погрузил свои приобретения.

Один из торговцев в этом ларьке показался Тюверлену знакомым. Заостренное книзу лицо, мелкие крысиные зубки, свистящий смех. Да, тот тоже узнал Тюверлена, поздоровался с ним. Г-н фон Дельмайер, не забывая одновременно восхвалять свой товар, заговорил с Тюверленом по-французски. Г-н Тюверлен сам видит, что он занимается и интересным и выгодным делом. Более выгодным и более интересным, чем политика. Тюверлен вспомнил: ему рассказывали, что страховой агент фон Дельмайер после смерти Эриха Борнгаака

окончательно пошел ко дну. В связи с какими-то махинациями в кассовой отчетности «истинных германцев» он вылетел и оттуда.

От беседы с фон Дельмайером Тюверлена отвлек чей-то знакомый голос. Говоривший стоял перед соседним ларьком. Это был человек в светлом ворсистом пальто, с мужицким лицом, изрезанным глубокими складками. Он был занят тем, что с громким смехом увещивал свою спутницу, полную, шумливую даму, всякого рода старинными орденами, розетками и знаками отличия. Ибо ларек этот торговал старым господским платьем, мундирами несуществующих армий, старинными судейскими и адвокатскими тогами, но главным образом разными знаками отличия и эмблемами. Друг подле друга лежали здесь ордена времен монархии, пятиконечные звезды и кресты в форме свастики. Художник Грейдерер с шумом и хохотом вытащил полную горсть этих вещей и забавлялся, увещивая свою спутницу разнообразнейшей смесью этих знаков почта и убеждений.

Он поздоровался с Тюверленом радушно, шумно и весело. Он снова шел в гору. Выставка его картин имела сейчас в Берлине чертовский успех. Подлые пруссаки все эти берлинцы, но вкус у них есть: особый успех имела та тщательно скрывавшаяся им картина, за которой так гонялся Остернахер. Пусть теперь, он, если хочет, съездит в Берлин и полюбуется картиной. Называется она «Истинный германец». Изображен на ней один из вождей «патриотов» в полной форме и во всем своем представительном ничтожестве. И этот вождь «патриотов» не кто иной, как его друг и товарищ по ремеслу — Бальтазар фон Остернахер. Вот это называется поддеть! Многословно, со смехом рассказывал он все это Тюверлену, хлопая его по плечу, хватая за пуговицы. Вытащил из кармана пачку берлинских рецензий. Расписывал, как он теперь будет купаться в деньгах. Но на этот раз он будет умнее и останется жить в деревне. Самое большее раза два в неделю будет ездить в город. Тюверлен спросил его о зеленом автомобиле, поинтересовался, жив ли он. Ну, конечно! Грейдерер заново отлакировал его и подарил уволен-

ному в отставку «зайчонку». А для себя и своей сегоднешней спутницы он заказал новый, шикарный, еще зеленее.

Тюверлен двинулся дальше. Он купил себе «турецкого меду» — розовато-белое липкое лакомство. Рядом с ним ревел какой-то сопливый мальчуган, глядя вслед своему улетевшему голубому шару. Тюверлен и мальчишке купил «турецкого меду». Кругом шумели, радовались жизни. Широко в ярком свете Баварской возвышенности раскинулась многообразная, источенная червями ветошь мюнхенской жизни. Народ и торговцы обжуливали друг друга терпеливо, обдуманно и хитро.

У одного ларька, торговавшего четками, изображениями ясель, распятиями, Тюверлену бросился в глаза худощавый человек с длинной, тщательно расчесанной бородой, благоговейно перебиравший священный хлам. Дела Рохуса Дайзенбергера после падения «истинных германцев» пошатнулись. Он снова теснее примкнул к клерикалам, всячески подчеркивая святость своего гаража. Здесь, на ярмарке, его внимание привлекло какое-то особенно кровавое изображение Распятого, вырезанное из дерева. Когда-то оно, должно быть, стояло где-нибудь у края дороги, защищенное решеткой от дерзновенных рук, доброй крышей — от снега и дождя, часто украшенное полевыми цветами. Сейчас оно валялось на ярмарке в Ау, обнаженное, жалкое, и привлекло к себе внимание Рохуса Дайзенбергера. Он решил приютить бедного Спасителя у себя в гараже, поставить гараж под его покровительство.

Еще кто-то стоял перед кучей священного хлама, — грузный, тупой человек. Он не сводил глаз с металлического сосуда, какого-то подобия вазы.

— Что господину угодно? — спросила продавщица.

— Эту вот штуку, — ответил человек и купил вазу, не торгуясь.

Наполненная цветами, она, наверно, будет хорошо выглядеть на одной из могил третьего разряда на Южном кладбище. Он поставит ее около маленького деревянного креста, на котором черными печатными буквами выведено: «Амалия Зандгубер». Однажды она лежала перед ним в грязи и тающем снегу, раскинув



ноги, с посиневшим лицом. Теперь она покоилась на Южном кладбище. Возможно, что он убил ее и за дело. Но после того, что произошло, у него возникли сомнения, и он чувствовал потребность поставить на ее могиле этот сосуд с цветами. Черт знает какая подлость, что его тогда не захотели оставить в полиции! Исповедь тоже не принесла ему облегчения. Боксер Алоис глядел, как продавщица старательно заворачивала вазу в старую газету. Ему остается только одно, и он давно уже должен был это сделать, и он это сделает непременно: он поступит в монастырь послушником. Лучше всего было бы, если бы его приняли в какой-нибудь деревенский монастырь. На него будут возлагать работу, тяжелую работу. Он охотно будет выполнять ее. Другие будут возлагать на него работу, ему не нужно будет думать. Он найдет себе покой. А по вечерам он спокойно будет расхаживать во власяной своей рясе. Если не удастся устроиться в деревне, — что ж, он останется в городе, хотя бы в монастыре святой Анны. Старьевщица подала ему пакет с вазой. Итак, он снесет ее на Южное кладбище и еще сегодня сходит в монастырь святой Анны, справится, что нужно сделать.

— Да хранит вас бог, — сказал он старьевщице, уходя.

— Заходите, милости просим, — ответила торговка.

Тюверлен очутился перед Театром Касперля. Дети шумели, полные ожидания. Тюверлен, так же полный ожиданий, как и они, смешался с их толпой. Сейчас начнется представление, сейчас появится Касперль. Вот он уже ковыляет вдоль рампы. У него медно-красный нос, на нем желтые штаны, зеленый жилет, красная курточка, белое жабо, зеленая остроконечная шапочка. «Все ли вы тут?» — закричал Касперль скрипучим пивным голосом. «Да, да!» — закричали дети, сияя, и сразу же началось представление. У Касперля ужасно много врагов. Только он убьет одного, как уже появляется новый: нахальный офицер, податной чиновник, зеленый жандарм, толстый бородатый чудо-доктор Цейлейс, американский боксер Демпси, в конце концов — черт, собственной персоной. Все снова и снова наступают они на Касперля, иногда даже с двух сторон

сразу. Он валится наземь. Он говорит «Эх-ха!» и сразу же вскакивает. На него сыплются удары, но и он на удары не скупится: он то герой, то трус, все идет совсем как в жизни. Представление тянется недолго, но счастливый Касперль успевает убить и уничтожить девять своих врагов. После восьмого начинается сбор денег, и каждый из присутствующих обязан заплатить по пяти пфеннигов. Касперль не брюзга какой-нибудь. Он отпускает сочные остроты, когда его бьют, и не жалеет горчички — добрых советов на будущее время, поговорок и других образцов народной мудрости, — когда сам убивает других. В конце концов последний враг убит, и остается лишь извлекаемый из глубины пивного брюха смех Касперля. Представление окончено, и сейчас начнется снова. Сейчас Касперль опять спросит: «Все ли вы тут?»

Громко и отчетливо сквозь веселый смех детей прорывается скрипучий смех Тюверлена. Он — человек, дела которого идут хорошо, он в прекрасном настроении, и на коленях он держит купленную за гроши гравюру. Когда представление кончается, он остается сидеть, ждет следующего сеанса. «Все ли вы тут?» — горланит Касперль. «Да!» — отвечает Тюверлен вместе с детьми.

Но на этот раз, в то время как Касперль там наверху щедро расточает удары, Тюверлен уже не смеется. Все ли вы тут? Он окидывает взглядом лица сидящих вокруг него детей. Да, все они, до отчаяния все, были здесь. Старшие повторялись в детях, в чертах детей ясно повторялись черты отцов.

Куда ни взглянешь, ничто не изменилось. Была война, была революция, было и последнее пятилетие со всей его кровью и глупостью, с «освобождением Мюнхена» вначале, с инфляцией посредине и кутинеровским путчем в конце. Но все те же люди сидят и на высоких постах, и в «Нюрнбергском колоколе», и в «Мужском клубе», и в «Тирольском погребке». На место Кленка выдвигается Симон Штаудахер, на место Казтана Лехнера — Бени. Год вращается по тому же кругу: карнавал, «сезон Сальватора», «майская кружка», майская ярмарка, осенние празднества, затем снова карнавал. Галерея полководцев пополняется новыми каменными или бронзовыми памятниками, духовые

оркестры в медном своем великолепии исполняют все те же вагнеровские мелодии, голуби воркуют и жиреют, студенты все так же — рывком — сдергивают пестрые фуражки с иссеченных шрамами голов, у ворот Дворцового сада, грузный, идолоподобный, окруженный глубоким почтением, красуется генерал Феземан. Изар, как и прежде, быстро мчит свои зеленые воды, городской гимн бубнит о старом Петере и уюте, которому нет конца. Во всем этом — цепкая крестьянская хватка, вечное повторение одного и того же. Город просто-напросто не желает признавать существования последнего десятилетия, он забыл о нем, он старается казаться простодушным — закрывает глаза и клянется, что он тут ни при чем. Он думает, что тогда и другие забудут о том, что было. Но тут он ошибается.

Тюверлен был раздражен, чего обычно с ним не бывало. Свыше десяти лет был он свидетелем всех происходивших здесь событий. Он проходил сквозь мюнхенскую жизнь, оставаясь нейтральным, часто — благожелательно нейтральным, иногда — неблагоприятно, но всегда нейтральным. «Освобождение Мюнхена», дело Крюгера, варварская смехотворность кутцнеровского путча. Лица восьмилетних малышей с отраженными в них лицами отцов вдруг стали ему противны. Их смех, смех Касперля, даже гравюра у него на коленях — стали ему противны. Прорвалось все, что было нагромождено нелепыми и грубыми событиями этих лет.

Это было нечто большее, чем дурное настроение, чем мимолетный каприз. Возвращаясь с майской ярмарки домой, Тюверлен ощутил в себе новое, ясно определимое чувство. Это была ненависть.

## ЖАК ТЮВЕРЛЕН ПОЛУЧАЕТ ЗАКАЗ

Прошло уже полгода после крушения «истинных германцев», преодолены были самые тяжелые последствия инфляции, стабилизировалась марка. Результаты работы комиссии, заседавшей под председательством

американца Дауэса для составления приемлемого плана репараций, были переданы на рассмотрение конференции заинтересованных стран. Никто не сомневался, что будет достигнуто соглашение. В Англии правила лейбористская партия под руководством Рамзея Макдональда. В Испании добился положения диктатора некий генерал Примо де Ривера. В Марокко туземные жители, берберы, под предводительством Абд-эль-Керима, восстали против вторжения испанцев и французов. Уменьшившаяся в размерах Турция, оттесненная в пределы Азии, заключила новый мир со своими победителями. В России умер создатель нового, Советского государства В. И. Ленин. В Индии продолжалось брожение. В Китае алчные генералы, сидевшие на шее обнищавшего населения, вели друг с другом непрерывные войны.

Прошел май. Город Мюнхен, вся Баварская возвышенность окончательно успокоились. В напряженные годы ушедшего в прошлое десятилетия Жак Тюверлен с нетерпением ждал возможности плыть по течению этой привычной, спокойной жизни, участвовать в ней, наблюдать. Теперь такая возможность наступила. Мирно раскинулась страна: горы, озера, холмистое предгорье; город наслаждался прославленным баварским покоем. Но Тюверлена мучило все происшедшее здесь в последние годы, везде видел он следы этих событий, словно следы отвратительной болезни. Он не мог понять теперь, почему он, перед которым был открыт весь свет, поселился именно в этой стране. Он разъезжал всюду, во всех направлениях, плавал в озерах, взбирался на горы, спорил с более или менее разумными мужчинами, спал с женщинами. Но все это он делал без радости.

Он все еще не решил, какой из своих планов он будет осуществлять. Обычно приятнее всего была ему именно подготовительная работа. Четко и заманчиво виделось все положительное, трудности отступали на второй план. Он лепил, формировал, ничто еще не было твердо определено, представлялась сотня прекраснейших возможностей. Сейчас, впервые в жизни, ему даже эта приятная, ни к чему не обязывающая работа не доставляла настоящей радости. Он ощущал какую-то

прежде незнакомую ему неудовлетворенность, пустоту. Потому ли, что ему не хватало Каспара Прекля? Потому ли, что так нелепо холодно, почти официально сложились его отношения с Иоганной? Он был зол на Иоганну за ее упрямство, зол на самого себя за то, что плохо работал.

Седьмого июня исполнилось три года со дня осуждения Мартина Крюгера. Сегодня и без амнистии он был бы выпущен на свободу. Ни одна газета не отметила этой годовщины. Иоганна поняла, что теперь Крюгер-человек окончательно заслонен своими произведениями. Это грызло ее. Однажды она уже раскрыла рот, готовая заговорить об этом с Тюверленом, с которым теперь редко виделась. Но не заговорила: это не имело смысла. Она худела, ожесточалась. Много работала.

Жак Тюверлен также не обратил бы внимания на эту годовщину, если бы не получил письма из Берхтольдсцелля. Костяные пуговицы на его куртке, — писал Отто Кленк, — висят на ниточке. Но он велел пришить их покрепче. Ведь, насколько он понимает, очень мало шансов на то, чтобы они достались г-ну Тюверлену. При заключении пари, правда, не было назначено срока, до которого Тюверлен обязан привести в исполнение свое обещание — заставить покойного заговорить. Но Кленк полагается на всем известную корректность Тюверлена и уверен, что о сроке можно договориться хотя бы и с опозданием. Он приглашает г-на Тюверлена приехать для этого к нему в Берхтольдсцелль.

Тюверлен уже много месяцев не вспоминал о той ночи, когда он под самое утро, при догорающих свечах и запертых дверях, заключил пари с двумя неуклюжими баварцами. Держа в руках письмо Кленка, он разглядывал мелкие, твердые, красивые буквы. Повеселел. Пари было глупое, но он не жалел о нем. Он был хозяином своего слова. Он напряжет свои силы и выиграет пари. Он решил сегодня же съездить в Берхтольдсцелль.

Светлым летним утром он ехал по трудным дорогам, справа от него высилась темно-синяя линия гор. Итак, он должен добиться, чтобы Крюгер заговорил. Это дело нелегкое. Многие посвященные говорили, что в его очерке о деле Крюгера сказано все, что только можно

сказать по этому вопросу, что его очерк гораздо более значителен, чем самое дело. Но его творение показалось ему сухим и холодным. Для того чтобы мертвый заговорил, мало было одних теоретических рассуждений, для этого должна была ожить вся Бавария. Очерка было недостаточно, чтобы заставить говорить покойника.

Крепкая баварская земля, по которой ехал писатель Тюверлен, благоухала. Дороги, правда, были ухабистые, еще не приспособленные для автомобилей. Мысли писателя Тюверлена сменяли одна другую. Был, значит, министр Кленк со своей юстицией, и был Мартин Крюгер со своим процессом, своими нелепыми переходами от одного настроения к другому, своим трагически гротескным концом. Откуда он, Тюверлен, черпал право вот так, с птичьего полета, рассуждать о деле Крюгера? Предрассудки, отталкивающие от него Иоганну, противоречили здравому смыслу, были чисто баварскими. Но если бы не было в ней этих предрассудков, он, может быть, не любил бы ее. Его высокомерный очерк был глупее ее предрассудков, хотя бы уже потому, что, как выяснилось в конце концов, дело Крюгера для него было вовсе не каким-то академическим вопросом, что оно чертовски близко касалось его лично. Сегодня настоящим мучеником процесса Крюгера был он, Тюверлен.

И неожиданно в это июньское утро, на пути в Берхтольдсцелль, с большим сожалением и еще большим удовольствием Жак Тюверлен почувствовал, как из всех его планов начал подниматься один, все выше, отесняя все остальные. Это был план «Книги о Баварии».

Машинально сворачивая вправо, чтобы избежать столкновения со встречными автомобилями, обгоняя затем крестьянскую телегу, потом еще одну, снова уклоняясь в сторону от какого-то встречного автомобиля, он вдруг ясно увидел перед собой всю книгу — углубленность, перспективу, все *до* и *после*. Сначала была многогранность и проникновенное понимание, затем пустота и неудовлетворенность, — более углубленное понимание и здоровая ненависть. Было видение. Заказ был получен.

Он правил рулем. Давал газ — больше, меньше — машинально. Смеялся громко, зло, сдавленно. Глядел вперед неподвижным взглядом. Скрипел зубами. Тихо напевал сквозь зубы, по привычке, которую он перенял от Иоганны. Во время езды его творение оформлялось. Он переживал жизнь Баварии. Был полон весь до краев.

Он не знал еще хорошенько, насколько его книга будет иметь отношение к Мартину Крюгеру и к принятому пари. Но хорошая книга — хорошая вещь: он заставит мертвого говорить.

Обгоняя крестьянскую телегу, он крепко обругал возницу, нелепо толкавшегося посреди дороги. Его голое лицо, обвеянное ветром, собиралось складками, растягивалось в улыбке. Являлись образы, являлись мысли, сплетались, потом приходили новые. Быть может, когда утечет вода, окажется, что его книга может сделать еще нечто большее, чем заставить говорить мертвого. Он насвистывал, тихо напевал за рулем, овеваемый ветром. Так он приехал в Берхтольдсцелль.

## 19

### ОБЪЯСНИТЬ МИР — ЗНАЧИТ МИР ИЗМЕНИТЬ

Кленк был не один. У него находился Симон Штаудахер. Они сидели за большим непокрытым деревянным столом. Экономка Вероника вносила и выносила кушанья — грубые, вкусные кушанья, в огромных количествах. Здесь, на фоне Берхтольдсцелля, особенно ярко выступило перед Тюверленом сходство между отцом и сыном. Всюду, при всех условиях неизменными оставались характерные местные черты. Все более похожим становился Бенно Лехнер на своего отца, а Симон Штаудахер — на своего.

Кленк, укрывшийся, как крот, в своей норе и редко видевший гостей, обрадовался Тюверлену. Он бранил Симона, который, как дурак, никак не хотел отстать от своих «истинных германцев» и со всякими там «все-таки» и «вот теперь-то уж наверно» цеплялся за них. В глубине души ему нравилась эта настойчивость. Сей-

час парень был занят чисткой партии. Связался с Тони Ридлером. Это было не просто: оба они стояли друг друга. У Кленка-старшего, так часто прежде воевавшего с вождем ландскнехтов, вспыхнул в глазах подозрительный огонек от сознания, что теперь парнишка продолжает его борьбу. Не считаясь с присутствием Тюверлена, он стал снабжать Симона советами, как ему лучше одолеть Тони Ридлера. Тюверлен вспомнил умирающего царя Давида:

Кстати, вспомни для начала  
Иоава, генерала.

Ты, мой милый сын, умен,  
Веришь в бога и силен,  
И твое святое право  
Уничтожить Иоава.

Кленк старательно распространил по всему Мюнхену слух о том, что работает над своими мемуарами. Он заметил в тот раз, как скверно почувствовал себя Кутцнер, когда он заговорил об этом, и ему доставляло удовольствие видеть, как эти его мемуары, словно грозные тучи, нависли над многими головами, гнали сон от их изголовий. Ведь он сталкивался со множеством людей; кроме того, никто не считал его кротким ангелом, и вряд ли кто-нибудь мог предположить, что его воспоминания будут розового или небесно-голубого цвета. Тюверлен сомневался в том, что Кленк действительно пишет мемуары. Кутцнер с помощью пустого ящика письменного стола поддерживал дух своих приверженцев. Относительно Кленка легко было предположить, что он пугает своих врагов мнимыми мемуарами в пустом ящике. Тюверлена интересовало, есть ли в этих слухах хоть доля истины. Симону скоро пришлось уехать в город. Как только Тюверлен остался с Кленком наедине, он принялся выяснять этот вопрос. Но Кленк ответил лишь, что да, он действительно работает над своими воспоминаниями.

Ему очень хотелось сказать больше. Когда он в свое время говорил об этом с Кутцнером, это было лишь желание подразнить его. Но затем его охватило желание задать другим перцу, позлить их, и теперь ящик был почти полон. Кленк не страдал литературным тщесла-



вием, но он находил, что написанное им — себе на потеху, другим на горе — вылилось в довольно сочную штуку, и ему очень хотелось кое-что из написанного показать Жаку Тюверлену. Но Отто Кленк был горд и удовлетворялся простым «да».

Сразу же он переменял тему. Спросил, как обстоят дела: склонен ли г-н Тюверлен договориться о сроке известного ему пари. Тюверлен сидел за неуклюжим деревянным столом, прищурясь, поглядывал на Кленка. Он предлагает 7 июня следующего года, — сказал он наконец.

— Еще целый год, — взвешивая, произнес Кленк. — Это составит в общей сложности девятнадцать месяцев.

— Девятнадцать месяцев, — заметил Тюверлен, — не такой уж долгий срок, чтобы развязать труп языка.

— Ну ладно, по рукам, — согласился Кленк.

Так и было решено.

Затем Кленк добродушно спросил, не может ли он узнать какие-нибудь подробности о работе, которую Тюверлен, так сказать, на корню проиграл ему в пари. Своими покрытыми рыжеватым пушком руками Тюверлен отрезал кусок грубого черного хлеба, намазал его маслом, затем, так же как и Кленк, по местному обычаю, тонко настрогал редьку, посолил ее, подождал, пока корнеплод стал готов к употреблению.

— Я думаю, Кленк, — произнес он своим сдавленным голосом, — я думаю, что вы просчитаетесь. Я думаю, что именно моя книга будет способствовать тому, что покойник заговорит.

Кленк на полпути опустил руку, подносящую кусок ко рту.

— Вы пишете книгу о Баварии? — спросил он. — Вы, значит, тоже пишете нечто вроде мемуаров?

— Если хотите, пожалуй, — любезно ответил Тюверлен. — Я стараюсь выразить себя, как я уже однажды имел честь объяснить вам.

— И на этом пути вы ожидаете успеха? — произнес Кленк. — Политического успеха? Перемены? — Его удлиненное красно-бурое лицо расплзлось в улыбке.

Редька пропиталась солью. Тюверлен ел с удовольствием, ломтик за ломтиком.

— Один великий человек,— сказал он,— которого вы не любите и которого я, кстати, тоже не люблю, а именно Карл Маркс, сказал: философы объясняли мир, задача теперь в том, чтобы его изменить. Я лично думаю, что единственный способ изменить его — это его объяснить. Сколько-нибудь удовлетворительно объяснить — значит тихо и без шума изменить его, воздействуя на него разумом. Изменить его силой пытаются лишь те, кто не в состоянии удовлетворительно объяснить его. Эти громкие попытки не выдерживают критики, я больше верю в бесшумные. Большие государства перестают существовать, хорошая книга остается. Я больше верю в хорошо исписанную бумагу, чем в пулеметы.

Кленк внимательно слушал. Он был все так же полон мирной, насмешливой веселости.

— Что же будет в вашей книге? — спросил он.

— В моей книге будет «Касперль в классовой борьбе»,— ответил Тюверлен.— Можно также назвать это: «Вечное повторение одних и тех же явлений». Все колотят Касперля по голове, но в конце он всегда снова встает на ноги. Так как понимает он только то, что приближается к нему. Я уже однажды изобразил это в одном обозрении. Но тогда ничего не вышло, потому что мне нужна была помощь сотни партнеров. На этот раз я все сделаю сам, в книге.

— И вот тем, что вы напишете,— спросил Кленк, сотрясаясь от сдерживаемого смеха,— вы надеетесь вновь поднять дело Крюгера?

Тюверлен покончил с редькой. Лукавый, оживленный, сидел он напротив своего огромного собеседника.

— Да,— сказал он.

## 20

### ВОСПОМИНАНИЯ ОТТО КЛЕНКА

Кленк после встречи с Тюверленом твердо решил изобразить дело Крюгера со своей точки зрения, на свой лад. Не с каким-то там выдохшимся, отвлеченным Касперлем придется иметь дело Мартину Крюгеру, а

с вполне реальным Флаухером, с вполне реальным Кленком.

Своими мемуарами Кленк уже не хотел пугать врагов. Все больше увлекало его желание проследить за теми, с кем он был связан, узнать о дальнейшей жизни тех, с кем скрещивался его путь. Его интересовала судьба часовщика Трибшенера, кочегара Горнауэра, музыканта Водички. Доктор Гейер, после того как «истинные германцы» по-дурацки избили его на похоронах Эриха Борнгаака, скитался где-то за границей. Жаль. Если бы адвокат еще жил в Берлине, Кленк готов был бы специально съездить туда.

Через неделю после посещения Тюверлена в Берхтольдсцелль заглянул как-то доктор Маттеи. После смерти Пфистерера он был лишь наполовину прежним Маттеи. Он страдал, если у него не было никого, с кем он мог бы всласть поругаться. Теперь он для этого избрал Кленка. Соку в нем хватит, и подлец он изрядный, так что могла бы получиться здоровая потасовка. Но Кленк, увы, не поддается. Маттеи и так и сяк старается раздражить его, но, как бы грубо он ни трубил, Кленк реагирует с кротостью юной девушки.

Экономка Вероника убрала со стола. Хозяин и гость все еще сидят друг против друга за бутылкой пива, оба в охотничьих куртках, и курят свои тирольские трубки. Каждый раз, собираясь сюда, Маттеи надеется всласть позабавиться. Но Кленк не идет на удочку, отвечает так односложно, что положительно начинаешь чувствовать себя лишним. И сегодня он тоже такой пресный, что кажется, будто сидишь на священных играх в Оберфернбахе.

Маттеи подыскивает подходящую тему. Вот русские теперь бальзамируют тело своего Ленина. Инфантильная идея, не правда ли? Он добавляет еще несколько фраз, но уже без всякого подъема. Он потерял надежду, что Кленк заговорит. Но что это? Кленк поднимается: огромный, шагает он взад и вперед по скрипучему полу. Ах ты, чертова бабушка, вот он раскрывает рот.

— Бальзамируют? — со смехом переспрашивает он. — Есть лучший способ, дорогой мой, сохранить для мира человека, — и он со значительным видом хлопает

по письменному столу с его многочисленными большими ящиками.

Маттеи вздрагивает. Ага, мемуары. Он горит желанием ознакомиться с этими мемуарами, но старается владеть собой, чтобы теперь, когда собеседник наконец заговорил, снова все не испортить. Он протирает стекла пенсне, сидит тихонько, его жирное, исполосованное шрамами, необузданное собачье лицо опущено, он ждет.

Кленку не терпится наконец-то хоть кому-нибудь показать написанное. У него готово уже не менее двухсот, если не триста больших страниц. Неужели так этому и лежать без движения только для него одного? Если бы сегодня здесь был Тюверлен, он, наверно, не удержался бы. Почему,— бесится он в душе,— Маттеи не раскрывает рта, не заявляет, что желал бы послушать?

Маттеи сгорал от желания послушать чтение Кленка. Но он боялся, что, если он только заикнется об этом, Кленк сразу же его осадит. И вот он сидел на деревянной скамье и ждал, а Кленк, стоя у письменного стола, тоже ждал. В конце концов, видя, что Маттеи явно запер свою глотку на замок, Кленк рывком выдвинул ящик стола, выгреб из него рукопись и принялся ее перелистывать. Прошло несколько минут. Маттеи все еще молчал. Тогда Кленк начал читать, без всякого предисловия, прямо из середины.

А были эти воспоминания Отто Кленка целой серией портретов. Недобрый глаз был у министра Отто Кленка: для надгробных надписей его характеристики вряд ли могли бы пригодиться. Много самых разнообразных людей встречал он на своем пути, и все они, по его мнению, были сволочью и дрянью. Но так же как энтомолог, посвящающим тысячи страниц описанию клопов, овладевает любовью к изучаемому объекту, так и на Отто Кленка в процессе работы нашел какой-то радостный азарт. Он был образованный юрист, умел, когда нужно, самые запутанные вещи изображать в их логической связи. Но здесь он отказывался от логической связи, от строго взвешенного суждения. С наслаждением и гневом изображал он людей, с пламенной непоследовательностью. И совершенно так же, как баварский деревенский мальчишка, когда драка уже кончилась и враг

отступает, еще раз запускает вслед удаляющемуся противнику горсть навоза, — так и Кленк, заканчивая описание какого-либо из своих героев, добавлял на полях еще один-другой красочный анекдот или яркую черточку. Он давал себе волю, исполнял дикий, торжествующий «ватшентанц», великолепную древнебаварскую пляску «амок». Сыпались кругом удары; еще и еще раз, сияющий, одержимый, ударял он павших. Маттеи сидел тихо, настороженно, как охотник, курил, был увлечен. Такая штука мерещилась и ему как последний творческий идеал, но он был обязан литературно представлять, он, к сожалению, не мог позволить себе такую роскошь.

Кленку очень хотелось знать, какое впечатление его писание производит на Маттеи. Жадно, во время чтения, поглядывал он на неуклюжего человека. Когда Кленк кончил, тот разразился потоком отборных ругательств. Все это — пресная, дилетантская болтовня, вопли оскорбленного самолюбия, без твердого суждения, без внутренней связи. Язык невыдержанный, пестрящий нелепыми канцелярскими оборотами. Кленка эта бешеная ругань наполнила удовлетворением: очевидно, он произвел на Маттеи сильнейшее впечатление. Оживленный, каким он не был уже давно, ввязался он в яростный спор со своим собеседником.

— Баварцам, — заявил Маттеи, — просто должно быть стыдно, что у них на посту министра юстиции годами мог держаться человек с такой слабой способностью к суждению.

По адресу Маттеи, — сказал Кленк, — в рукописи тоже есть несколько сочных фраз, но он их ему сейчас еще не покажет. Они предназначаются для его «жития», и он надеется, когда Маттеи отправится в лучший мир, еще долго услаждать этим «житием» свое сердце. Они выпили бутылку пива, и еще одну, затем бутылку вина, и еще одну бутылку вина, а среди ночи Веронике пришлось еще жарить яичницу с ветчиной и готовить салат.

Только под утро, очень довольные, но отнюдь еще не закончив спора, они расстались.

— Приезжайте поскорей снова! — крикнул Кленк

вслед отъезжавшему Маттеи.— Мне нужен еще материал для вашего «жития».

Встреча с Маттеи заставила Кленка еще острее ощутить желание проследить судьбу тех, с кем его сталкивала жизнь. Особенно сильно хотелось ему повидать Гейера. Ходили слухи, что Гейер поселился в каком-то маленьком местечке на южном берегу Франции. Кленк решил разыскать его.

Он отправился в автомобиле через овечьи дыханием раннего лета швейцарские горные перевалы, могучие и вместе с тем какие-то юные.

Местечко, где жил Гейер, было рыбацким поселком. Поросшие темным лесом холмы тянулись вдоль берега, спускаясь почти к самому морю. Кедр, каштаны, пробковый дуб. После войны вся местность была густо заселена, особенно англичанами. Небольшие домики тянулись над деревней вверх по склонам холмов. Один из таких домиков купил для себя и Гейер.

В ответ на звонок Кленка громко и настойчиво залая собака. Показалась недоверчивая, желтолицая экономка Агнеса, ворчливо, маловразумительно объяснила, что господина доктора нет дома, когда он вернется — неизвестно, и что он вообще никого не принимает. За спиной удалявшегося Кленка яростно тявкала собака. Желтолицая женщина сердито глядела ему вслед.

Кленка это не трогало. Погода была хороша, местность — прекрасна. Гейер отправился гулять. Он Гейера где-нибудь да разыщет. Было, пожалуй, приятнее поговорить с ним на открытом воздухе, в этих чудесных привольных местах, чем в тесной комнате.

Кленк поселился в приветливой маленькой гостинице. Узнал, что Гейер очень тихий господин, о котором мало что слышно и потребности которого весьма скромны. Он всецело находился под башмаком мадам, своей экономки или, может быть, жены — этого никто не знал.

На следующий день, под вечер, пробираясь без дороги сквозь густой горный кустарник, сквозь поросль дрока, тимьяна и лаванды, Кленк натолкнулся на того, кто был ему нужен. Человек этот сидел на обломке скалы, впери в голубую гладь моря. Он выглядел изможденным, опустившимся. Кленк первый увидел

его. Когда огромный человек в охотничьей куртке, толстая тяжелыми сапожищами, приблизился, доктор Гейер побледнел, задрожал. Кленку передавали, что доктор Гейер во время покушения на него, так же как и в неприятной истории в связи с похоронами Эриха Борнгаака, вел себя отнюдь не трусливо. Но Кленк слышал также, что вызванный неожиданно испуг передко сказывается на человеке с большим опозданием. Такой в свое время не испытанный страх, должно быть, и напал сейчас на адвоката при виде приближавшегося врага.

Кленку это было неприятно. Он пришел сюда не как враг. Он хотел знать, что стало с этим человеком, хотел, пожалуй, немного подразнить его, — вот и все. Эрих Борнгаак умер, Симон, парнишка, был жив. А в общем — оба они сейчас остались при своей старикинской доле: Кленк при своих мемуарах, Гейер при своей книге «Право и история», или как там она называлась. Вражда к этому тощему адвокату? Нет.

Итак, он благодушно заговорил с доктором Гейером, стараясь быть как можно любезнее, чтобы тот поскорее пришел в себя. Но доктор Гейер не приходил в себя. Кленк скоро увидел, что доктор Гейер, должно быть, никогда в жизни уже не придет в себя. Покрасневший, тонкокожий, часто мигая, сидел он в своем широком грязноватом пиджаке и длинных обтрепанных о кустарник брюках, как-то не подходя к этому привольному, спокойному ландшафту, неисцелимо издергавшийся и развинтившийся. Неужели это был тот самый человек, который Кленку временами казался достойным противником? Это вообще уже был не человек, а вещь.

Эта вещь — Гейер — сидела на камне. Кленк говорил с вещью — Гейером, эта вещь — Гейер — думала мыслями прежних лет, и если задеть ее тут или там, то получалось какое-то подобие ответа, иногда даже складного, вразумительного ответа. В конце концов Кленк отправился с вещью — Гейером, домой, поужинал в обществе вещи — Гейера. На следующий день он уехал обратно в Берхтольдсцелль.

Поездка была прекрасная, и местность была прекрасная, и вообще Кленк никогда не раскаивался в том, что

делал. Все же он не стал бы утверждать, что перемена в его враге Гейере доставила ему особое удовольствие. Он вычеркнул из своих мемуаров страницы, в которых шла речь о депутате Гейере.

## 21

### В ДЕЛО ВМЕШИВАЕТСЯ ТЕТУШКА АМЕТСРИДЕР

Тюверлен работал. В нем жило много образов, теснее связанных с его существом, рвавшихся наружу, но он избрал как раз этот свинцовый, неприятный материал — Баварию. У него был заказ.

То, что он тогда благодаря обозрению добился амнистии Крюгера,— это было случайностью, счастьем. Путь к воплощению Крюгера, которым он сейчас должен был идти, требовал горячих, методических усилий. Он работал. Обхаживал свой материал со всех сторон, брал его в окружение. Все более четко выступало вечное повторение в этих людях одних и тех же черт: их собственническая жестокость, их бешеная, тупая злоба против неизбежного, против натиска индустрии на землю. Он нащупывал это, вытаскивал на свет. Он вглядывался в сделанное: оно стояло перед ним четкое и ясное, оно было сделано хорошо.

Оно никуда не годилось. Это было познание, не больше, это был все тот же очерк. Одного познания было мало: искусство начинается лишь там, где познание сливается с любовью или ненавистью. Ничто баварское не ожило. Ничего здесь не было от видения, вставшего перед ним на пути в Берхтольдсцелль. Кленку не придется отпарывать пуговиц своей куртки.

В конце сентября, когда Тюверлен в четвертый раз сызнова начинал свою работу, произошло чреватое последствиями посещение его г-жой Аметсридер.

Тетушка Аметсридер снова захватила в свои руки домашнее хозяйство племянницы. Со стороны все казалось там в полном порядке. Иоганна тихо жила на Штейнсдорфштрассе, у нее было много хорошо оплачи-



ваемой работы, за книги Крюгера также поступали деньги. Но у тетушки Аметсридер глаза были зоркие: она отлично видела, что все это спокойствие и уверенность ровно ничего не стоили. Девочка много пережила, большую несправедливость и горькое разочарование. Когда человек все это таит в себе, это давит на душу. Тетушка Аметсридер отлично понимает, что это значит — так долго посить в себе невысказанным, как носит ее племянница, такой большой и справедливый гнев. Г-н Тюверлен, если бы только захотел, мог бы в один миг создать Иоганне какую-нибудь возможность публично излить в слова свою обиду. Человек он влиятельный, и мозги у него в порядке, хоть он и писатель. Но он просто ничего не замечает. Поэтому-то вот она и явилась сюда, в виллу «На озере», и ясно, на чистейшем баварском наречии объясняет ему, как обстоит дело. Не видит он разве, что дальше так продолжаться не может? Вот уже сколько месяцев, как девочка живет в кругу каких-то мертвых вещей, каких-то рукописей, какой-то маски и высохшего ломтя хлеба и вынуждена давиться своим справедливым гневом, вместо того чтобы швырнуть его в лицо всему свету. Такой умный человек, а не понимает, что девочка погибнет, если ей не помочь.

Писатель Тюверлен внимательно слушал г-жу Аметсридер. Да, то, что она говорила, было от слова до слова правдой. Он как будто так прекрасно анализировал и Иоганну и свои отношения с ней, а вот мимо самого главного он прошел, как слепой. Он вел себя как осел и университетский профессор. Что же он сделал для нее осязательного? Написал великолепнейшее исследование, этот самый знаменитый очерк. Если человек погибает от боли, хочет кричать и не может, — легче ему станет разве, если ему из энциклопедического словаря прочесть описание его боли? Эта энергичная тетушка Аметсридер в десять раз умнее его. Иоганна — живой человек и хочет кричать, когда ей больно.

Нет, тетушке Аметсридер не пришлось особенно долго говорить, у господина писателя сразу проявилось в голове. Он забегал по комнате, его голое смор-

щенное лицо разгладилось. Он прямо повеселел. Хлопнул ее по плечу и произнес с признательностью:

— Тетушка Аметсридер, вы — молодчина!

Не будь она такой крупной и представительной, он завертел бы ее на месте. А так ему ничего не оставалось, как с большой сердечностью пригласить эту решительную г-жу Bavaria отправиться с ним на осенние празднества.

После того как тетушка Аметсридер, удовлетворенная, уехала, Жак Тюверлен совершил еще длинную прогулку. С радостной болью почувствовал он, как сильно ему все эти месяцы не хватало Иоганны. Ему нужна была эта молодая баварка, ее гнев, замедленность ее восприятий, ее угрюмость, ее сила. Права она, если ей хочется крикнуть. Его самого хватало за душу, когда он вспоминал, как ее заставили молчать. Напряженно думал он о том, как ему помочь Иоганне и самому себе. Проще всего было бы, если бы она публично, при его поддержке, письменно и устно выступала на тему о судьбе Мартина Крюгера. Но такого предложения она не примет, наоборот — он только еще больше отпугнет ее.

Ночью его осенила настоящая идея. О, много еще было хитроумных путей, чтобы дать возможность духу одержать победу над властью безразличия и упорства. Утром он послал длинную телеграмму мистеру Поттеру. В тот же вечер он получил ответ. В присутствии Анни Лехнер вскрыл телеграмму, прочел, уставился в пространство, сказал: «*La montagne est passée!*»<sup>1</sup> Он схватил рукопись «Книги о Баварии», весело ударил ею по столу, повторил еще раз: «*La montagne est passée*». Заставил Анни остаться с ним ужинать. Достал бутылку особенно хорошего вина. Под звуки граммофона устроил ей целое спортивное представление, был очень горд, что мог семь раз подряд подтянуться на руках. Затем на какой-то странный, им самим изобретенный мотив пропел в самых разнообразных вариациях: «*La montagne est passée*».

---

<sup>1</sup> Гора перейдена (франц.).

На следующий день он поехал к Иоганне. Сообщил ей, что мистеру Поттеру пришла удивительная мысль. Книги Мартина Крюгера произвели на американцев сильное впечатление. Мистер Поттер желал бы, чтобы Тюверлен в рамках кинофильма рассказал о жизни и смерти Мартина Крюгера. Мистер Поттер брался, пользуясь своими связями, распропагандировать этот фильм так, чтобы дать Тюверлену возможность обратиться свою речь ко всему миру.

Он, щурясь, поглядывал на Иоганну. Она молчала. Но он видел, как вся она замерла. Он сидел перед ней с безобидным и лукавым видом, пил чай. Видя, что она упорно молчит, он в конце концов заговорил снова. Все, что он мог сказать о деле Крюгера, он, собственно, уже сказал в своем очерке. Прекрасный очерк, как он мог убедиться, перечитав его, но для целей мистера Поттера едва ли пригодный. Ему не хватает огня для такой штуки, которая с экрана должна дойти до людей всего мира — до желтых и черных, до коричневых и белых, до дельцов и аскетов, до интеллигентов и политиков.

Иоганна все еще молчала. Продолжать ли ему говорить? Ему очень хотелось. Хорошо было, что он, подчиняясь какому-то наитию, этого не сделал.

Она сидела оглушенная, закусив верхнюю губу. Все это, разумеется, были великодушные выдумки. Очерк пылал ярким огнем, только совсем особым, а не обычным огнем любви и ненависти. Ее трогало и наполняло нежностью, что человек ради нее отрекался от своего произведения. Немного погодя она сказала:

— Да, пожалуй, это не тот огонь, который нужен для кино.

Он делал вид, что страшно занят своим чаем, лицо его было все в складочках и морщинках, малый ребенок за десять километров мог увидеть, как хитро и наигранно было это безразличие. Иоганна увидела это и вдруг от души рассмеялась. Тогда он поднялся и пригласил и эту высокую девушку отправиться на осеннее праздничное гулянье, предварительно, однако, поцеловав ее.

В большой бело-голубой палатке, где подавали пиво, в толпе шумно наслаждавшихся мюнхенцев, Иоганна

Крайн спросила писателя Тюверлена, считает ли он возможным, чтобы вместо него в звуковом фильме мистера Поттера выступила она. Не дожидаясь его ответа, она высказала ему все, что накопилось в ней за это время. Под пьяный шум и звуки старомодных песен о том, что «никак, никак мух этих не поймать», и о том, «зачем крестьянину шляпа», под грохот духовой музыки, среди пива, кренделей, сосисок, поджаренной на вертеле рыбы, среди буйного гомона и вони — она рассказала ему, как все эти месяцы терзало ее то, что ей не давали говорить, и то, что книги Крюгера заслоняли замученного человека, и какое чувство освобождения она испытывает сейчас, когда всплывает перед ней надежда, что она все же сможет говорить. Тюверлен, щурясь, глядел на нее и затем предложил ей «разорвать крендель», что у мюнхенцев считалось знаком особой близости. И оба они зацепили пальцем, каждый со своей стороны, соленый крендель и разорвали его. Духовой оркестр играл «Пока течет по городу зеленый Изар, не иссякнут в Мюнхене веселье и уют». Затем сыграли марш тореадоров и снова «Да здравствует уют!». Тюверлен подпевал. И он и Иоганна пили из больших серых кружек.

## 22

### «КНИГА О БАВАРИИ»

Иоганна трудилась. Фильм «Мартин Крюгер» был в работе. С помощью фильма, поддержанного деньгами и могуществом Калифорнийского мамонта, ударить по нервам и совести людей — это была неожиданная, неповторимая возможность. Ее надо было использовать всю без остатка. Работа была нелегкая. Нередко то, что Иоганна считала правдой жизни, расходилось с той эффективностью, к которой с полным правом стремились ее товарищи по работе. Было ли вообще возможно осуществить то, чего она желала? Разве можно свою горечь и страстное возмущение поставить перед кино-

аппаратами, объективами, операторами? Разве можно сфотографировать свою душу?

Жак Тюверлен видел, как она выбивается из сил. Он охотно помог бы ей, но он никогда прямо не говорил с ней о фильме, над которым она трудилась с такими мучениями. Дело требовало, чтобы эта работа была сделана ею. Он — пришелец, охотник за наслаждениями; Иоганна — это кусок Баварии. Сама Бавария должна была свидетельствовать против Баварии. Он теперь научился настоящими глазами смотреть на Иоганну Крайн и на Баварию и довольствовался почти безмолвной, бережной поддержкой, которая одна только не отпугивала ее. Осторожно извлекал он здоровый гнев, таившийся в этой крепкой женщине. Он раскрывал ее. Исчезало то, что было в ней судорожного. Она чувствовала себя освобожденной из невидимой клетки. Между ними без слов установилась новая общность и близость.

Как-то неожиданно оказалось, что из этой тихой бескорыстной работы он извлекает пользу для своей книги. Его материал пришел в движение, закружился, задвигался, начал дышать. Но среди этого живого материала лежало все еще неподвижное, не вышедшее за пределы простого понимания дело Крюгера. Вначале Жак Тюверлен оставил его в стороне: оно не имело значения для «Книги о Баварии», но постепенно он вьелся в эту задачу — оживить Крюгера и его процесс. Все человеческие судьбы были призваны содействовать поднятию рода на высшую ступень. Но избраны были лишь те, которые заставляли других вновь переживать их, сохраняя для следующих поколений. Была ли судьба человека плодотворна для всего рода — зависело не от ее величия или значения и не от ее носителя, а от созерцающего ее, воплощающего ее художника. С той минуты, как судьба Мартина Крюгера начала завладеть Жаком Тюверленом, мученичество этого человека приобрело смысл, приобрели смысл и лишения самого Жака и Иоганны. Тюверлен ощущал потребность художественно воплотить Мартина Крюгера.

То, что он случайно хорошо знал жизнь Мартина Крюгера и тесно был связан с ней, — не сказывало ему

здесь существенной помощи. Вовсе не важно было, каковы были Мартин Крюгер и его процесс в действительности, да и существовали ли они в действительности. Разве имело значение, жил ли на самом деле Иисус из Назарета? Существовал его образ, и только через него была создана правда. Нужно было, чтобы Жак Тюверлен пережил такой образ Мартина Крюгера, который он мог заставить людей воспринимать как настоящий.

Все отчетливее чувствовал он, как силы для этой задачи он черпает в гнев Иоганны. Ее намерения таинственно переплетались с его собственными. Ее мрачное возмущение вливалось в его творчество, зарождала в нем жизнь. Его книгу питало стремление Иоганны зажечь в людях интерес к мертвому Мартину Крюгеру. Иногда ему казалось, что стоит ей ослабеть — и тогда ослабеет и он.

В конце октября этого года он получил письмо от Каспара Прекля из Нижнего-Новгорода. Каспар Прекль все это время хранил молчание. Он и теперь мало писал о себе. Зато подробно описывал, как отыскал картину «Иосиф и его братья». Она висела в музее небольшого города на границе Европейской и Азиатской России. Она называлась теперь только «Справедливость». Первое ее название было зачеркнуто. Когда Каспар Прекль осматривал картину, перед ней как раз стояла группа школьников, целый класс мальчиков и девочек в возрасте около четырнадцати лет. После того как этим молодым людям было объяснено содержание картины, — ведь им ничего не было известно об истории Иосифа, — они еще долго и серьезно дебатировали вопрос, в какой мере художник, написавший эту картину, проникнут духом коллективизма и в какой мере он еще связан с индивидуалистическими воззрениями буржуазной эпохи.

Жаку Тюверлену в процессе его новой работы мучительно не хватало споров с его прежним горячим собеседником. Его обрадовало, что именно в этот период его работы Прекль так конкретно и насмешливо напомнил ему о художнике Ландгольцере и о картине «Справедливость». Оживленный, забежал он взад и вперед перед Анни Лехнер. Достал третий том «Капи-

тала» Карла Маркса, который миллионами людей почитался как книга книг. Вместо отсутствующего Каспара Прекля он затеял спор с Анни Лехнер. Торжествуя, словно боксируя с Каспаром Преклем, выпалил он перед ней слова Карла Маркса о том, что надо изображать «окаменелые порядки» немецкого общества и заставить их плясать, «напевая им их собственные мелодии», о том, что «надо заставить народ *ужаснуться* себя самого, чтобы вдохнуть в него *отвагу*». В конце концов, словно это могло послужить решительным опровержением письма, он отыскал ту открытку, которую когда-то во время спора с Каспаром Преклем написал самому себе. «Дорогой господин Жак Тюверлен, никогда не забывайте, что вы существуете только для того, чтобы выражать самого себя. С искренним уважением ваш самый преданный друг Жак Тюверлен». Осыпая теории Каспара Прекля отборнейшими ругательствами, он прикрепил открытку к стене над пишущей машинкой. Затем с искренним интересом стал расспрашивать Анни Лехнер о том, что Каспар Прекль пишет о своей жизни.

Под влиянием ли письма Каспара Прекля или благодаря общению с Иоганной, но в «Книге о Баварии» зазвучала новая нота: возмущение против юстиции того времени. В те годы везде, на всем земном шаре, говорили о кризисе доверия к юстиции. Понятие справедливости стало шатким, изнашивалось. Слишком много было известно о человеческой душе, чтобы считаться со старыми представлениями о добре и зле, слишком мало — чтобы создать на их месте новые. В прежние эпохи во время казни зрители, а часто даже и сам казнимый, чувствовали удовлетворение, ибо совершалось это во имя правового порядка, с которым каждый признавал себя внутренне связанным. Сейчас правосудие не опиралось ни на какое живое существо, оно стало простым орудием власти и ее защиты, его меры производили впечатление слабости и произвольности. Возможно, что в Баварии правосудие вершилось с особой злостностью или пристрастием, но немногим лучше было и повсюду. Тюверлен до сих пор воспринимал этот факт с философским, фаталистическим скептицизмом.

Сейчас его скептицизм начал принимать форму гнева, стал творчески активен. Несправедливость здесь, в Баварии, была ему яснее, он видел ее собственными глазами, он болезненно ощущал ее благодаря Иоганне. Если он хотел воплотить Баварию, то вынужден был вместе с ней воплотить и баварские беззакония. На обложке рукописи Анни Лехнер аккуратно вывела: «Книга о Баварии». Он добавил: «или Ярмарка справедливости».

Вечером того дня, когда Жак Тюверлен придумал этот подзаголовок, он впервые заговорил с Иоганной о своей книге. Иоганна умела мыслить только образами. Ее поразило это выражение: «Ярмарка справедливости», она реально, в живых и пестрых красках представила себе эту ярмарку. Лежала огромная куча источенного червями хлама, люди бродили кругом, робко ища чего-нибудь годного. И над каждой лавкой вывеска «Справедливость», и продавцы стояли торжественные, в черных тогах.

Иоганна старалась не износить этот образ. В приключенческих книгах ее юности у арабов было слово, которым они в минуту опасности подгоняли своих коней. Иоганна, в суতোлке киноаппаратуры, среди лебедок, конструкций, ослепительных ламп, теряя после десятка неудачных попыток надежду на конечный успех, выкачивала из себя последние резервы, вспоминая слова: «Ярмарка справедливости».

## 23

### Я ЭТО ВИДЕЛ

Мюнхен плясал. Наступил Новый год, а вместе с ним и карнавал. На маскарадах, устраиваемых большими пивоваренными заводами, на празднествах, организуемых бесчисленными обществами любителей игры в кегли и сберегательными союзами взаимной помощи, танцевали мелкие бюргеры, рабочие, крестьяне; на вечерах художников, на балах студентов, офицеров, участников тайных судилищ плясали представители круп-



ной буржуазии. Г-н Пфаундлер пустил в ход все винтики своей хитроумной головы, чтобы как-нибудь превзойти благодушную широту прежних карнавалов. Каждый вечер устраивал два больших праздника, в субботу — пять, и пышные картины обозрений не были на этот раз испорчены тюверленовскими выдумками.

Мюнхен плясал. Мюнхен под шумную мелодию франсеца поднимал на сплетенных руках женщин, скидывал их вверх под непрекращающиеся вопли восторга и пьяный вой. Мюнхен, лишь бы участвовать в этом богатом карнавале, закладывал постельное и носильное белье. Мюнхен после ночи непрерывного веселья собирался в простых кабачках, — шоферы, рыночные торговки, мужчины во фраках, дамы в сверкающих мишурой маскарадных костюмах, подметальщики улиц, проститутки — все без разбора, — чтобы выпить пива и поест ливерных сосисок. Мюнхен, распоясавшись, блаженно горланил свои гимны: «Пока зеленый Изар...» и «Да здравствует уют!»

Господин фон Грюбер поглядывал на происходившее с презрительной благосклонностью. Г-н фон Рейндль отдавался общему потоку с чуть заметной сонной улыбкой на устах. Г-н Пфаундлер торжествовал. У него оказался хороший нюх. Сейчас, в январе, он снова завоевал Мюнхен, в декабре он завоеует Берлин. Потому что Мюнхен восстановил свои силы, — этого не отрицал даже Рейндль, — он стал таким же, каким был прежде. В неразрушимой своей жизнерадостности он вынырнул из проклятых лет войны и революции, — живая клетка порядка в организме страны. Незыблемо, как на крепкую почву Баварской возвышенности, опирался прекрасный город на свои мощные традиции.

Примерно недели через две после премьеры нового мюнхенского обозрения в Берлине впервые был показан фильм «Мартин Крюгер».

Тюверлен поехал в Берлин. Он сидел в ложе, за партером, на голубом стуле. В ложе, кроме него, было еще трое посторонних. Он был в страшном волнении. О том, что сейчас появится на экране, он знал не больше, чем эти трое чужих людей. За все время он ни о чем не спрашивал Иоганну.

Стало темно, на экране появилась Иоганна Крaйн. Она стояла на возвышении за низким пюпитром. Она была очень высока, но ее лицо не казалось таким широким, как в жизни. Тюверлену хорошо были знакомы заколотые узлом волосы, миндалевидные глаза, твердый лоб, манера прикусывать зубами верхнюю губу. Но когда она заговорила, когда из аппарата зазвучал голос, не громкий, но все же наполнявший собою весь зал, эта тень показалась ему до ужаса чужой. Он привык иметь дело с приборами, с механическими предметами, он хорошо понимал их сущность, но сейчас впервые за много лет его как-то испугала призрачная одушевленность механического процесса.

Он ерзал на голубом стуле, нервно комкал программу. Он знал, что всякий успех — дело случая; и все же у него по коже пробегал холодок. Он говорил себе, что успех или неуспех этой звучащей картины, вон там, на экране, ничего не говорит ни за, ни против дела Мартина Крюгера. И все-таки ему было досадно, что кругом откашливались, вполголоса разговаривали, стучали откидными сиденьями. Ему казалось, что зрители пришли сюда с намерением оставаться равнодушными, что они с нетерпением ждут второго фильма, который шел в один сеанс с фильмом «Мартин Крюгер». Люди, сидевшие в ложе, отпускали циничные замечания. Что такое? Старая история о давно умершем человеке и о всеми забытом судебном процессе! Это их несколько не интересовало. Тюверлен сказал себе, что на месте неискушенного зрителя он, вероятно, думал бы приблизительно так же. Все же эта болтовня раздражала его.

Женщина на экране, глядя куда-то вкось, заговорила:

— Многие из вас читали книги Мартина Крюгера. Вы читали главу «Я это видел». Слушайте: я это видела! За сорок три дня до его смерти я видела Мартина Крюгера. Судебное расследование установило, что врачи будто бы не отказывали ему в необходимом уходе. Нужно было смотреть на этого человека без малейшего доброжелательства, чтобы не видеть, что ему грозит смерть. Пожалуйста, поверьте мне. Я это видела!

То, как женщина на экране подняла голову и неожиданно поглядела ему прямо в глаза, то, как она сказала: «Пожалуйста, поверьте мне», — заставило Тюверлена вонзить ногти в ладони. Ибо у него было желание крикнуть что-нибудь глупое, вроде: «Да! Да!» — или что-либо подобное. Но этого нельзя было делать. Он мог только слегка откашляться и испустить легкий, похожий на рычание звук. Но этот звук слышали все, так как в зале было теперь очень тихо.

А женщина на экране рассказывала о своей борьбе за Мартина Крюгера. Она рассказывала, как ходила от министра юстиции Кленка к министру юстиции имперского правительства Гейнродту, рассказывала также о министре Гартле и о министре Флаухере. Иногда ее живое, говорящее лицо исчезало, и, в то время как голос ее продолжал звучать, вместо него появлялись люди, о которых она говорила. Это были баварские лица, каких сколько угодно можно увидеть на улице, и разве только властное лицо Кленка с его удлинненным черепом не казалось обыденным. Но благодаря огромному увеличению на экране и тому, что голос продолжал вести свой рассказ, эти лица приобретали какой-то особый вид. Массивное четырехугольное лицо Франца Флаухера двигалось взад и вперед над неудобным воротничком, и смешной толстый палец тер где-то между шеей и этим воротничком. Но почему-то это было не смешно, а скорее неприятно и словно таило какую-то опасность. Гладкое лицо г-на Гартля вежливо улыбалось, но каждый мог видеть, какой злобной иронии была полна эта вежливость. Среди прядей мягкой бороды имперского министра юстиции Гейнродта губы двигались вверх и вниз, все вверх и вниз, и из них вытекали благожелательные общие фразы о справедливости и несправедливости. Но почему-то они звучали совсем не благожелательно, а скорее раздраженно и оскорбительно. Показалось и лицо Руперта Кутцнера. Когда Иоганна заговорила о газетной статье «истинных германцев», в которой они советовали «апостолам гуманности с Курфюрстендамма» «сварить своего Мартина Крюгера, хоть под кислым соусом», на экране появилась голова «вождя». Вся она состояла из одного широко

разинутого рта с крохотными усиками над ним, при почти полном отсутствии затылка, и это разрядило напряжение, слушатели громко смеялись. А затем снова зазвучал голос Иоганны. Она рассказывала о своей беседе с министром Мессершмидтом о том, что оставалось всего лишь двадцать шесть дней — и Мартин Крюгер был бы освобожден, и большое тупое лицо министра Мессершмидта с глазами навывкате глядело с экрана, жалкое и раздражающе беспомощное. Так появлялись они, лицо за лицом. Их было довольно много, и некоторые были знакомы слушателям по иллюстрированным журналам. Но на экране они, такие увеличенные и занимающие так много места, казались чудовищно измененными. А голос рассказывал, как он обращался к этим лицам, к одному за другим, и как все было напрасно.

Иоганна говорила как обычно — с теми же интонациями, с тем же баварским произношением. Трудно было не поддаться искренности этого тона. В театре сидело много таких людей, которые в глубине души сочувствовали большим лицам на экране и мыслили так же, как они. Эти люди с неприятным ощущением прислушивались к неподдельно баварскому говору, сжав губы, глядели на неподдельно баварские лица. Один из них вдруг не выдержал. Он вскочил, запротестовал, закричал, обращаясь к говорившей тени:

— Ложь! Клевета! Вы бессовестно клеветаете!

Было забавно смотреть, как этот живой человек спорил с говорящей тенью. Однако, забавно или нет, публика не желала, чтобы ей мешали. Она хотела слушать голос тени, а не его. Возволнованный посетитель несколько раз выкрикивал: «Довольно! Нахальство!» — и еще что-то нечленораздельное, но его заставили умолкнуть.

Тень между тем все продолжала говорить. Иоганна рассказывала теперь о том, как она получила известие, что Мартин Крюгер будет амнистирован, а несколькими часами позже — известие о том, что он умер.

— Мне говорили, — рассказывала она, — что бывали случаи более вопиющей несправедливости и что в тюрьмах без вины томятся люди более ценные для общества,

чем Мартин Крюгер, который теперь уже мертв. Но я не могу понять этого, для меня Мартин Крюгер важнее всего на свете. Не говорите мне: этому человеку все равно уже ничем помочь нельзя. Не ему я хочу помочь, я хочу помочь самой себе. Я видела, как совершалась несправедливость. Я видела это, и с тех самых пор мне противны стали еда и сон, и моя работа, и страна, в которой я живу и всегда жила. Несправедливость, которую я видела, не умерла вместе с тем человеком, она существует, она существует везде вокруг, я ощущаю ее больше, чем какую бы то ни было другую несправедливость на свете. Я должна говорить о ней. Справедливость начинается у себя дома.

Говоря это, она подняла руки, но тут же снова опустила их, несколько смущенная. Этот жест был очень беспомощен, да и верхнюю губу она по своей привычке немного смешно прикусила зубами. Но публика не смеялась; пресыщенные слушатели глядели на волевой рот, ожидая, о чем он дальше будет говорить.

Но он больше не говорил. Зато снова появились большие лица. Они тоже ничего не говорили. Они молча собирались вокруг Иоганны Крайн, располагались вокруг нее. Молчаливое, грозное собрание огромных лиц. Среди этих колоссов женщина казалась очень маленькой: маленький человек среди каменных изображений древних идолов. Жутко было смотреть, как маленький человек вступал в борьбу с лицами, огромными как горы,— это было безнадежным делом, человек неизбежно должен был быть раздавлен. Но маленький человек поднял голос и выступил с обвинением:

— «Мертвые должны помалкивать»,— распорядился один из этих людей. Но я не хочу, чтобы мертвый молчал. Мертвый должен говорить.

Все видели это. «Мертвый должен помалкивать!» — без слов приказывало грозное собрание огромных лиц. «Мертвый должен говорить!» — требовал маленький человек.

И лица зашевелились, они теснее смыкались вокруг женщины, следовали одно за другим, надвигались друг на друга, кружились — безумная пляска гигантских тупых, своевластных лиц. Это длилось лишь несколько

коротких мгновений, но они не были коротки. Затем — и все слушатели вздохнули с облегчением — лица постепенно растаяли. Остался лишь голос человека.

Теперь голос заговорил о ярмарке справедливости. Это был голос двадцативосьмилетней женщины, женщины без каких-либо особых дарований. Но эта тень так грозно протягивала руки в зал, ее большие глаза глядели так гневно, что многие живые глаза постарались отвести свой взгляд.

— Мартин Крюгер, — говорила гневная тень, — на этой ярмарке попал в одну из самых скверных лавчонок. Не говорите, что он умер и дело его устарело. Ярмарка продолжается, и все вы принуждены делать на ней свои закупки!

После пережитого напряжения Тюверлен чувствовал такую усталость, что на миг ему показалось — он никогда не встанет с голубого кресла. Он вспотел. Да, в самом деле он вспотел, когда женщина заговорила, обращаясь к похожим на горы лицам. Когда они исчезли и остался только ее смелый голос, Тюверлен потянулся и задышал так громко, что соседи поближе зашикали на него. Он не обратил на это внимания. Итак, оно существовало, существовало реально, — яркое изображение большого чувства. Он ощутил огромное счастье жить в мире со своей судьбой.

Ему не нужно было подтверждения публики. Безразлично было, поймут ли люди сейчас или лишь через десять лет. Приятнее, конечно, было бы, чтобы они поняли сейчас. Когда фильм «Мартин Крюгер» окончился, в зале было очень тихо, у людей были взволнованные, растерянные, почти глухие лица. Они говорили друг с другом странно пониженным голосом. Фильм шел не более получаса. Многие ушли, не дожидаясь второго.

Тюверлен телеграфировал Иоганне, что, судя по впечатлению, произведенному фильмом, ей следует немедленно покинуть Мюнхен.

Он выехал ей навстречу до середины пути. Всеобщее любопытство было велико. Газеты были полны снимками и отчетами о фильме Иоганны. Тюверлен старался найти такой уголок, где они спокойно могли бы провести ближайшие месяцы. Это было нелегко. Они

мысленно перебирали отдаленные поселки на берегу Балтийского моря и в южном Тироле. В конце концов им вспомнилась деревушка в Баварском лесу. В Баварском лесу, на горном хребте, тянувшемся вдоль баварско-чешской границы, в древнем поселении старобаварцев, не читали газет и не смотрели фильмов.

Там, среди мягких, лесистых, засыпанных снегом гор, вместе с Иоганной Крайн, Жак Тюверлен закончил «Книгу о Баварии, или Ярмарку справедливости». Пережитое, начиная с минуты досады, вспыхнувшей в Театре Касперля, и вплоть до блаженной разрядки во время показа фильма, облеклась в реальную форму. Бавария, вставшая перед его глазами во время поездки к Кленку, воплотилась в образ. Иоганна, сколько было в ее силах, делала за него черновую работу. Она была убеждена, что эта книга должна способствовать тому, чтобы в ее стране стало лучше жить.

Один экземпляр сданной в печать рукописи Тюверлен послал Кленку.

В день, когда исполнилась вторая годовщина со дня смерти Мартина Крюгера, в деревушку, расположенную в Баварском лесу, пришло письмо из Берхтольдсцелля. Бывший министр Кленк в сухих выражениях извещал писателя Тюверлена о том, что он прочел рукопись, а также видел фильм «Мартин Крюгер». К письму были приложены две пуговицы от его куртки.

## К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

Никто из людей, изображенных в этой книге, не жпл в действительности, согласно актовым записям, в городе Мюнхене в годы 1921—1924. Но жила их совокупность. Чтобы достигнуть образного правдоподобия типа, автор должен был стереть фотографическую реальность отдельных лиц. Книга «Успех» изображает не *действительные*, но *исторические* личности.

Подробные отчеты о местах заключения в Германии того времени сохранились для нас в заметках бывших узников, литераторов Феликса Фехенбаха, Макса Гельца, Эриха Мюзама и Эрнста Толлера.

Материал, относящийся к правам и обычаям жителей старой Баварии той эпохи, можно найти в газете «Мисбахер анцейгер», издававшейся в те годы в старобаварском городке Мисбахе. Эта газета сохранилась в двух экземплярах: один находится в Британском музее, другой — в Институте по исследованию первобытных форм культуры в Брюсселе.





# СЕМЬЯ ОППЕРМАН

Р О М А Н

*Перевод с немецкого*

*И. Горкиной*



---

## *Книга первая*

### **В Ч Е Р А**

Человеческий сброд ничего так не страшится, как разума. Глупости следовало бы ему страшиться, пойми он, что воистину страшно.

*Гете*





Истнадцатого ноября, в день своего пятидесятилетия, доктор Густав Опперман проснулся задолго до восхода солнца. Это было досадно: день предстоял утомительный, и накануне он решил хорошо выспаться.

С постели ему видны были поредевшие верхушки деревьев и клочок неба. Небо высокое и ясное, без обычного в ноябре тумана.

Он потянулся, зевнул. Решительно откинул — все равно уже не спалось — одеяло с широкой, низкой кровати, гибким движением сбросил на пол обе ноги, вынырнул из тепла простынь и одеял в холодное утро, вышел на балкон.

Перед ним тремя уступами сбегал вниз, до самого леса, его небольшой сад; справа и слева высились лесистые холмы, и напротив, за далекой зеленой ложбиной, поднимались холмы и темнели леса; с маленького невидимого отсюда озера, от сосен Груневальда тянуло приятной свежестью. Глубоко и с наслаждением вдыхал он в великой тишине предутреннего часа лесной воздух. Издалека глухо доносились удары топора. Он с удовольствием вслушивался, равномерный стук подчеркивал глубокую тишину. Оглядывая свои владения, Густав Опперман испытывал, как всегда, радостное чувство. Кто, невзначай попав сюда, мог бы подумать, что находится в каких-нибудь пяти километрах от Гедехтнискірхе, центра западной части столицы? Да, он действительно выбрал для своего особняка лучший уголок Берлина. Здесь и сельский покой, и все преимущества большого города. Всего несколько лет, как он выстроил этот небольшой дом на Макс-Регерштрассе, но

ему кажется, что он сросся с ним и с лесом, что каждая сосна стала частицей его самого. Он, маленькое озеро и песчаная дорога, закрытая, к счастью, для автомобильного движения, неотделимы друг от друга.

Он постоял недолго на балконе, почти бездумно вбирая в себя утро и любимый пейзаж. Продрог. С удовольствием подумал, что до обычной утренней прогулки верхом остался еще целый час. Забрался снова в тепло постели.

Заснуть, однако, ему не удалось. Проклятый день рождения. Разумнее всего было бы, конечно, уехать из Берлина и тем самым спастись от всей этой сутолоки. Но раз уж он здесь, придется хотя бы ради брата Мартина заехать сегодня в контору. Служащие — такова уж их природа — обидятся, если он лично не примет их поздравлений. Ну, что там говорить. Не очень-то приятно сидеть и выслушивать смущенные пожелания подчиненных.

Конечно, настоящий шеф фирмы считал бы это в порядке вещей. Шеф фирмы. Смешно. Мартин — вот кто настоящий делец, не говоря уже о Жаке Лавенделе и о доверенных Бригере и Гинце. Нет, лучше ему и впредь держаться от дел как можно дальше.

Густав Опшерман шумно зевает. Человеку в его положении следовало бы, черт побери, быть более радужно настроенным в день своего пятидесятилетия. Разве он не хорошо прожил свои полвека? Вот лежит он, владелец красивого, по собственному вкусу построенного и обставленного дома, обладатель крупного текущего счета в банке и весьма значительной доли в предприятии, любитель и признанный знаток книг, спортсмен, удостоенный золотого жетона. Оба его брата и сестра очень привязаны к нему, у него есть друг, которому он может довериться, множество приятных знакомых, женщины в любом числе, прелестная подруга. Чего же еще? Если у кого-нибудь могут быть основания для хорошего настроения в такой день, так это именно у него. Почему же, черт побери, его нет, этого хорошего настроения? Что за причина?

Густав Опшерман сердито сопит, поворачивается на другой бок, решительно смыкает тяжелые веки, зары-

ваается крупной, мясистой, мужественной головой в подушку и лежит неподвижно. Теперь он заснет. Но нетерпеливая решимость не помогает. Сна нет.

Он улыбается плутовато, по-мальчишески. Надо испробовать средство, которое в юности помогало ему. «Жить хорошо, прекрасно, превосходно», — мысленно произносит он. И снова и снова автоматически повторяет: «Жить хорошо, прекрасно, превосходно». Стоит только произнести это раз двести — и сон придет. Но он повторяет триста раз, и все-таки не засыпает. А ведь ему в самом деле хорошо живется. Он здоров, обеспечен, полон энергии. В пятьдесят лет ему смело можно дать каких-нибудь сорок с небольшим. И чувствует он себя не старше. Он не слишком богат и не очень беден, не слишком мудр, но и не глуп. Чего он достиг в своей жизни? Без него поэт Гутветтер не выбился бы на дорогу. Одно это уж чего-нибудь да стоит. И доктору Фришлину он помог стать на ноги. Немногое, что он сам написал, — это тщательно сделанные работы о людях и книгах восемнадцатого века, работы, из которых видно, что он не чужд музам, и только. Он нисколько не заблуждается на этот счет. Но для владельца мебельной фирмы это уже кое-что. Он человек средний, не бог весть каких способностей. Быть средним лучше всего. Он не честолюбив. Вернее, не слишком честолюбив.

Еще десять минут, и можно отправиться на верхнюю прогулку. Он слегка скрежещет зубами, глаза его закрыты, но о сне он больше не думает. Говоря по чести, ему, конечно, остается желать еще многого. Желание первое: Сибилла — подруга, обладание которой у многих вызывает законную зависть. Красивая, умная Эллен Розендорф незаслуженно хорошо к нему относится. И все-таки, если сегодня не будет письма от некоей особы, он почувствует горькое разочарование. Желание второе: он, конечно, не рассчитывает, что издательство «Минерва» заключит с ним договор на биографию Лессинга. Да и в самом деле: в такие времена, как нынешние, не так уж важно, будут ли еще раз описаны жизнь и деятельность писателя, умершего полтора столетия назад. Однако, если «Минерва» отклонит книгу, его это все-таки заденет. Желание третье...



Он открыл глаза. Глаза у него глубоко сидящие, карие. Нет, очевидно, он не так уж доволен, не в таком уж ладу с судьбой, как ему казалось за минуту до того. Он крепко сдвинул брови; резкие вертикальные складки прорезали лоб над крупным носом. Сумрачно и напряженно смотрит он в потолок. Удивительно, как мужественное лицо его мгновенно отражает каждый поворот нетерпеливого, изменчивого настроения.

Если «Минерва» возьмет Лессинга, — работы над этой книгой больше чем на год. Не возьмет, так он запрет недоработанную рукопись в ящик. Что же ему тогда делать всю зиму? Можно было бы поехать в Египет, в Палестину. Давно уже собирался он совершить такое путешествие. Египет, Палестину нужно повидать.

Нужно ли?

Вздор. К чему портить себе день такими размышлениями? Хорошо, что пора наконец садиться на лошадь.

Через небольшой палисадник он проходит на Макс-Регерштрассе. Фигура у него несколько тучная, но хорошо трепированная, шагает он быстро, твердо и свою массивную голову несет легко. У ворот стоит слуга Шлютер, поздравляет. Прибежала Берта, жена Шлютера, кухарка. И она поздравляет. Густав с сияющим лицом громко и сердечно благодарит, весело смеется. Вскakiвает на лошадь. Он знает, что они стоят у ворот и смотрят ему вслед. Что ж, они могут сказать только одно: для пятидесятилетнего он чертовски хорошо держится. Кстати, сидя в седле, он особенно выигрывает, ибо кажется выше, чем в действительности: при высоком стане у него чуть коротковаты ноги. «Как у Гете», — повторяет (и не реже, чем раз в месяц) господин Франсуа, директор гимназии королевы Луизы, приятель Густава по Обществу библиофилов.

По дороге Густав встречает кое-кого из знакомых, приветливо машет им рукой, но ни с кем не останавливается. Прогулка пошла ему впрок. Он возвращается в приподнятом настроении. Принять душ и искупаться — чудесная штука. Весело и фальшиво напевает он какую-то сложную мелодию, звучно фыркает под душем. Обильно завтракает.

Он переходит в библиотеку, несколько раз пересекает ее из конца в конец твердым, быстрым шагом, ступая на всю ногу. Его радует прекрасная комната, ее строго продуманная обстановка. Наконец он садится за огромный письменный стол. Широкие окна почти не составляют преграды между ним и ландшафтом, он сидит словно под открытым небом. А перед ним изрядная горка писем: утренняя почта, поздравления.

Густав Опперман, как всегда, просматривает почту с легким радостным любопытством. С ранней юности в мир протянуто множество антенн. Как-то они отзовутся? Вот перед ним юбилейная почта, поздравления, только и всего. А в нем шевелится слабая надежда: вдруг одно из четырех или пяти десятков писем внесет в его жизнь что-нибудь волнующее. Он не сразу вскрывает письма, а сначала раскладывает их, читая или угадывая имена отправителей. Вот — в нем внезапно вспыхивает легкое волнение — письмо от Анны, письмо, которое он ждал. С минуту он держит его в руках, нервно мигая. Потом лицо его озаряется мальчишеской улыбкой. И как ребенок, приберегающий любимое лакомство напоследок, он откладывает письмо в сторону, подальше, чтобы вскрыть после всех. Он читает другие письма: поздравления, пожелания. Это приятно, но не волнует. Он опять тянется за письмом Анны, взвешивает его на ладони, берет нож. Медлит. И очень доволен в конце концов, что приход гостя помешал ему.

А гость — его брат Мартин. Мартин Опперман подходит к нему своей обычной, несколько тяжелой походкой. Густав любит брата, желает ему всяческого добра. Вместе с тем он не может не отметить про себя, что брат, который моложе его на два года, выглядит старше. Братья похожи друг на друга, это все говорят, и это, несомненно, верно. У Мартина такая же крупная голова и такие же глубоко сидящие глаза. Но глаза Мартина кажутся тусклыми и до странности сонными. В нем все тяжелей, массивней.

Мартин протягивает Густаву обе руки.

— Что тебе сказать? Могу только пожелать, чтобы все и дальше было так, как есть. Желаю тебе этого от души. — Манера говорить у всех Опперманов, за исклю-

чением Густава, ворчливая. Они не любят показывать свои чувства. Мартин сдержан и полон достоинства. Но Густав ясно чувствует в его словах сердечность.

Мартин Опперман привез брату подарок. Шлютер вносит его. Из большого пакета появляется картина. Это поясной портрет в овальной раме. Над отложным воротником, какие носили в девяностых годах, на несколько короткой шее — крупная, массивная голова. Над глубоко сидящими, чуть сонными глазами Опперманов — тяжелый выпуклый лоб. Лицо выражает хитрость, вдумчивость, душевное равновесие. Это портрет Эммануила Оппермана, деда, основателя мебельной фирмы Опперман. Таким был Эммануил Опперман, когда ему минуло шестьдесят лет, вскоре после рождения Густава.

Мартин ставит портрет на большой письменный стол и придерживает раму мясистыми холеными руками. Задумчивыми карими глазами Густав всматривается в хитрые карие глаза деда своего Эммануила. Нет, портрет не очень хорош. Он старомоден и художественно малоценен. Но все четверо Опперманов привязаны к этому портрету. Он дорог им с ранней юности, они сжились с ним. Может быть, они вкладывают в него больше, чем в нем есть на самом деле. Густав не любит увешивать картинами светлые стены своего жилища. Во всем доме у него одна только картина — в библиотеке. Но получить портрет деда для своего кабинета было его давнишним и заветным желанием. Мартин же полагал, что место портрета — в главной конторе фирмы. И хотя братья во всем отлично ладили, Густав был в обиде на Мартина за то, что тот не отдавал ему портрета.

И вот теперь, радостный и довольный, смотрит Густав на лицо деда. Он знает, что Мартину нелегко было расстаться с портретом. Многословно, весь сияя, выражает он свою радость, свою благодарность.

После ухода Мартина он зовет Шлютера и показывает ему, куда повесить портрет. Место давно уже намечено. И, значит, сейчас портрет действительно будет висеть там. Густав нетерпеливо ждет минуты, когда Шлютер закончит работу. Наконец все готово. Кабинет,

библиотека и третья комната первого этажа — комната, где Густав завтракает, — органически переходят одна в другую. Медленно, в раздумье переводит он взгляд с портрета Эммануила Оппермана — своего прошлого — на другой портрет, бывший до сих пор единственным во всем доме: на портрет Сибиллы Раух, своей подруги, своего настоящего.

Нет, конечно, высоким образцом искусства портрет Эммануила Оппермана никак нельзя назвать. Художника Александра Иоэльса, который писал его по заказу друзей Эммануила Оппермана, в свое время до смешного переоценивали. В наши дни его никто и не вспомнит. Но Густав меньше всего ценил в портрете его художественные достоинства: он и его близкие любили в нем самого деда и дело его жизни.

В жизненной задаче Эммануила Оппермана не было, в сущности, ничего высокого. Он был дельцом, и дельцом преуспевающим. Но для истории еврейского населения Берлина эта жизнь значила нечто гораздо большее. Опперманы поселились в Германии с незапамятных времен. Предки их жили в Эльзасе. Были они там мелкими банкирами, золотых дел мастерами, купцами. Прадед нынешних Опперманов переселился из баварского города Фюрта в Берлин. Дед — Эммануил Опперман — в 1870—1871 годах занимался крупными поставками для действовавшей во Франции германской армии. В грамоте, висящей ныне под стеклом в главной конторе Торгового дома, немногоречивый фельдмаршал Мольтке засвидетельствовал заслуги господина Оппермана перед германской армией. Несколько лет спустя Эммануил Опперман основал мебельное предприятие, рассчитанное на вкусы широкого потребителя. Путем стандартизации производства он создал для своей клиентуры доступные цены. Эммануил Опперман любил своего клиента. Он прощупывал его со всех сторон, угадывал его сокровенные желания, создавал ему новые потребности, удовлетворял их. По городу широко распространялись его добродушные остроты, в которых здравый смысл берлинца хорошо уживался с характерным для Эммануила Оппермана беззлобным скептицизмом. В Берлине, а вскоре и за его пределами Эммануил Опперман стал популяр-

ной фигурой. Вполне естественно, что внуки Оппермана сделали портрет деда торговой маркой своей фирмы. Прочная и многообразная связь Эммануила Оппермана с населением немало способствовала тому, чтобы равноправие немецких евреев, существовавшее только на бумаге, стало реальностью, а Германия — их подлинной родиной.

Густав хорошо помнит своего деда. Маленьким мальчиком он три раза в неделю бывал у него в доме, на Старой Якобштрассе, в центре Берлина. Образ плотного мужчины в ермолке, с книгой в руках или на коленях, уютно сидящего в черном вольтеровском кресле, зачастую перед стаканом вина, глубоко запечатлелся в сердце мальчика, внушая почтение и в то же время печаль. Входя в квартиру деда, Густав испытывал благоговение, что не мешало ему чувствовать себя здесь как дома. Ему разрешалось сколько угодно рыться в колоссальной библиотеке. Здесь он впервые научился любить книгу. Дед никогда не ленился разъяснить Густаву непонятные места в прочитанных книгах. Но, хитро сощуриив сонные глаза, он давал такие двусмысленные объяснения, что нельзя было понять, серьезно он говорит или шутит. Никогда потом Густав так ясно не чувствовал, что в этих книгах все — ложь, и, однако, в них больше правды, чем в действительности. Бывало, спросишь о чем-нибудь деда, а он ответит тебе, словно бы и невпопад, а потом окажется, что это и есть ответ, притом единственно правильный.

Стоя перед изображением Эммануила Оппермана, Густав не то что вспоминал, а видел все это. В глазах деда было столько добродушной, лукавой мудрости, что Густав почувствовал себя мальчиком, но мальчиком, у которого есть надежная опора.

Возможно, что для второй картины, для картины, висевшей в библиотеке, для портрета Сибиллы Раух, невыгодно было сопоставление с новой. Бесспорно, Андре Грейд, писавший портрет Сибиллы, и по технике и по мастерству во много раз превосходил Александра Иоэльса. В картине Грейда было много воздуха. Художник знал, что портрет будет висеть на светлой стене и что вся стена послужит ему дополнительным фоном.

И вот на светлой стене порывисто и своевольно выступает Сибилла Раух. Тонкая, решительная, слегка выставив вперед одну ногу, стоит она там. На стройной шее — удлинённая голова; из-под высокого, узкого, упрямого лба глядят упрямые детские глаза, скулы резко очерчены; удлинённая нижняя половина лица как бы отступает назад; подбородок совсем детский. Портрет без прикрас, очень точный. «До карикатурности точный», — сердилась Сибилла Раух, когда бывала не в духе. Но портрет не затушевывал и привлекательных черт Сибиллы. Какой-то ребячливостью веяло от облика этой тридцатилетней женщины; при этом лицо ее выражало ум и своеволие. «Своекорыстие», — подумал Густав Опперман под влиянием другого портрета.

Вот уже десять лет, как Густав встретился с Сибиллой. Она была тогда танцовщицей, изобретательной, не очень музыкальной, имевшей, однако, успех. У нее были деньги, она жила в свое удовольствие, балуемая умной, терпеливой матерью. Южногерманский наивный юмор грациозной девушки, так своеобразно сочетавшийся с будничной практической смышленостью, привлек Густава. Она же чувствовала себя польщенной откровенным вниманием этого солидного, уважаемого человека. Между ними, хотя он был на двадцать лет старше, как-то сразу возникла большая, необычайная близость. Он был для нее любовником и старшим братом одновременно. Ему был понятен любой ее каприз, с ним она могла быть до конца откровенной, его советы были взвешенны, разумны. Он осторожно внушил ей, что при недостаточной музыкальности она как танцовщица никогда не добьется настоящего успеха. Она поняла это, быстро и решительно переключилась и под руководством Густава стала писать. У нее была своя, красочная манера изложения; газеты охотно печатали ее лирические картинки и короткие рассказы. Когда в превратностях германской экономики состояние ее растаяло, она уже почти могла жить литературным трудом. Густав, не обладавший творческим талантом, зато отличный критик, помогал ей заботливым, разумным советом. Его многочисленные связи раскрывали перед ней двери редакций. Оба нередко подумывали о том, чтобы

пожениться; она, пожалуй, чаще, чем он. Но она поняла, что он предпочитает не накладывать цепей законности на их связь. В общем, эти десять лет были хорошими годами для нее и для него.

«Хорошими? Скажем, приятными», — думал Густав Опперман, глядя на портрет смышленного, милого, своего нравного ребенка.

И вдруг мысль его вернулась к письму, к не вскрытому письму на большом письменном столе, к письму Анны. С Анной это не были бы десять приятных лет. Это были бы годы, полные ссор и тревожений. Но, с другой стороны, будь он теперь с ней, ему вряд ли пришлось бы нынче утром ломать голову над вопросом: как убить зиму, если его книга о Лессинге будет отклонена. Он знал бы отлично, что делать с собою, куда себя деть. Перед ним, вероятно, было бы столько задач, что он умолял бы не вводить его в соблазн Лессингом.

Нет, он терпеть не может того суетливого дерганья, которое он наблюдает у многих друзей. Он любит свой достойный, содержательный досуг. Приятно сидеть в своем красивом доме, среди своих книг и глядеть на сосновые склоны Груневальда, зная, что у тебя есть обеспеченный доход. Хорошо, что тогда, после двух лет связи с Анной, он поставил точку.

Кто поставил точку: он или она? Нелегко разобратся в истории собственной жизни. Одно несомненно: исчезли Анна из его жизни совсем, он почувствовал бы пустоту. Правда, от встреч с ней всегда оставалась горечь. Анна ужасная спорщица. У нее такая прямолинейная манера говорить все начистоту о каждой ошибке, отмечать малейшую слабость. Перед встречей с нею, даже перед тем, как вскрыть ее письмо, у него всегда такое чувство, точно он должен предстать перед судом.

Он держит ее письмо в руках, берёт нож, одним движением взрезает конверт. Читает, крепко сдвинув густые брови. На лице его напряжение, лоб прорезали резкие вертикальные складки.

Анна поздравляет немногословно, сердечно. Красивым, ровным почерком пишет, что идет в отпуск в конце апреля и охотно провела бы этот месяц с ним. Если он хочет встретиться, пусть напишет, где и как.

Лицо Густава разглаживается. Он боялся этого письма. Но письмо хорошее. Анне нелегко живется. Она — секретарь правления штутгартских электростанций, она очень поглощена работой, и вся ее личная жизнь ограничивается этими четырьмя неделями отпуска. И она предлагает ему провести их вместе. Значит, Анна не совсем от него отказалась.

Он читает письмо вторично. Нет, Анне он не безразличен, она не бросает его. Старательно и фальшиво напевает он про себя все ту же приставшую с утра сложную мелодию. Безотчетно поглядывает на портрет Эммануила Оппермана. И очень доволен.

Мартин Опперман тем временем едет к себе в контору. Особняк Густава находится на Макс-Регерштрассе, на самой границе Груневальда и Далема, а главная контора Опперманов — на Гертраудтенштрассе, в центре старого города. Шоферу Францке потребуется не менее двадцати пяти минут. В лучшем случае Мартин приедет в контору в одиннадцать часов десять минут. Если же не повезет со светофорами, он доберется туда только к половине двенадцатого. А с Генрихом Вельсом условлено на одиннадцать. Мартин Опперман не любит заставлять себя ждать. Но ему вдвойне досадно, что он заставит ждать Генриха Вельса: и без того беседа предстоит не из приятных.

Мартин Опперман сидит в машине прямо, не облокачиваясь. Красивой и непринужденной позу его назвать нельзя. Все Опперманы отличаются грузностью. Эдгар, врач, не так грузен, как остальные, а Густав немного сбрасывает вес спортом. Мартину же некогда заниматься такими вещами. Он человек деловой, отец семейства, у него многочисленные обязанности. Он сидит выпрямившись, подавшись вперед большой головой, закрыв глаза.

Да, от беседы с Генрихом Вельсом он не ждет ничего хорошего. И вообще в нынешней деловой жизни редко бывает что-либо хорошее. Ему не следовало заставлять Вельса ждать. Он мог бы отвезти портрет вечером, когда поедет к Густаву на ужин. Не было ника-



кой необходимости делать это утром. Он любит Густава, но и завидует ему. Густаву живется легко. Даже слишком легко. И Эдгару, врачу, тоже легко живется. А ему, Мартину, пришлось взять на себя наследие Эммануила Оппермана. Дьявольски трудно в нынешние времена, времена кризиса и растущего антисемитизма, достойно представлять это наследие.

Мартин снимает котелок, проводит рукой по редким черным волосам, слегка вздыхает. Ему не следовало заставлять Вельса ждать.

Вот и людный Денгофплац. Еще несколько минут, и он наконец приедет. А вот и дом. Зажатый соседними зданиями, узкий, старомодный, но прочный, строившийся в давние времена и на долгие времена, он внушал доверие. Автомобиль скользнул мимо всех четырех больших витрин и остановился у главного подъезда. Мартин охотно выскочил бы из машины, но сдержал себя: солидность прежде всего.

Раньше чем толкнуть вращающуюся дверь, старый швейцар Лещинский вытянулся по-военному. Мартин Опперман, как обычно, коснулся пальцем шляпы. Август Лещинский служил в фирме еще со времен Эммануила Оппермана и знал решительно все. Знал он, конечно, и то, что Мартин ездил к брату Густаву поздравлять его с пятидесятилетием. Считает ли старик подобную причину опоздания уважительной? Лицо у Лещинского, с седыми торчащими усами, всегда недовольное, осанка всегда деревянная. Сегодня же он вытянулся перед Мартином особенно прямо и неподвижно: он явно оправдывал поведение своего патрона.

Однако Мартин был на этот счет другого мнения. Он поднялся на четвертый этаж. Вошел в контору через боковую дверь. Ему не хотелось видеть, как Генрих Вельс сидит и ждет его.

На стене, над письменным столом, висел, как во всех филиалах оппермановской фирмы, портрет Эммануила Оппермана. Мартина слегка кольнуло: перед ним был уже не оригинал, а только копия. По существу, конечно, безразлично, где оригинал: здесь или у Густава. Густав больше смыслит в этих вещах, у него времени больше, да и портрет у него сохраннее; в конце концов

у Густава и прав на него больше. Но Мартину все же не по себе при мысли, что отныне перед его глазами будет копия дедовского портрета.

Вошла секретарша: почта, бумаги на подпись, телефоны, по которым просили позвонить.

— Да вот еще: господин Вельс ждет. Он был вызван на одиннадцать часов.

— Давно он здесь?

— Около получаса.

— Просите.

Мартина Оппермана никогда нельзя застать врасплох. Ему незачем подтягиваться перед приходом посетителя. Но сегодня он чувствует себя «не в форме» для такой беседы. Он тщательно подготовил ответ Вельсу, всесторонне обсудил его со своими доверенными — Гинце и Бригером. Но задача состояла в том, чтобы не ущемить самолюбия Вельса, тут все зависело от нюансов. Катастрофа, что он заставил Вельса ждать.

А дело было вот в чем. В первые годы Эммануил Опперман не сам производил мебель для продажи, а заказывал ее Генриху Вельсу-отцу, в то время молодому добросовестному ремесленнику. После открытия двух филиалов в Берлине — штеглицкого и на Потсдамерштрассе — отношения с Вельсом осложнились. Вельс был добросовестен, но он был вынужден дорого продавать свои изделия. После смерти Эммануила Оппермана, по настоянию Зигфрида Бригера, нынешнего доверенного фирмы, часть мебели начали заказывать на фабриках, это обходилось дешевле, а когда дело перешло к Мартину и Густаву, они открыли собственную фабрику. Для некоторых более сложных работ, для изготовления штучных изделий, по-прежнему обращались в мастерскую Вельса. Но главную массу мебели для оппермановской фирмы, открывшей один филиал в Берлине и пять в провинции, поставляла собственная фабрика.

Генрих Вельс-сын наблюдал за этими переменами с затаенной злобой. Он был несколькими годами старше Густава, был трудолюбив, солиден, своенравен, медлителен. Он открыл при своих мастерских образцово поставленные магазины и вел дело с величайшей тща-

тельностью, стремясь сравняться с Опперманами. Но это ему не удавалось. Его цены не могли конкурировать с ценами оппермановской стандартной мебели. Имя Опперман известно было великому множеству людей, фабричная марка Опперманов — портрет Эммануила Оппермана — проникла в самые отдаленные провинции. Простоватый, старомодный текст оппермановских объявлений: «Кто покупает у Оппермана, покупает дешево и хорошо» — стал поговоркой. По всей стране немцы работали у оппермановских столов, ели за оппермановскими столами, сидели на оппермановских стульях, спали на оппермановских кроватях. На вельсовских кроватях спалось, вероятно, удобнее, вельсовские столы были, вероятно, сработаны прочнее. Но большинство людей предпочитало платить дешевле, мирясь с тем, что покупаемые вещи, быть может, несколько худшего качества. Генрих Вельс не мог понять этого. Это точило его сердце ремесленника. Потерян, что ли, в Германии вкус к солидности? Не видят, что ли, обманутые покупатели, что над его, вельсовским столом, мастер работал восемнадцать часов, тогда как оппермановское добро — фабричный хлам? Нет, они не видели этого. Они видели только, что у Вельса стол шел за пятьдесят четыре марки, а у Оппермана за сорок. И покупали у Оппермана.

Генрих Вельс перестал понимать мир. Озлобление его росло.

В последние годы, правда, стало лучше. Все громче заявляло о себе движение, которое считало, что ремесленный труд более соответствует духу немецкого народа, чем стандартизованное интернациональное фабричное производство. Движение это называло себя «национал-социализм». Оно насаждало мысль, с которой Вельс давно уже носился: что в гибели Германии виноваты евреи с их универсальными магазинами, с их изворотливостью в торговых делах. Генрих Вельс всей душой примкнул к движению. Он стал председателем районного отдела национал-социалистской партии. С радостью наблюдал он, как крепнут националисты. Правда, обыватель по-прежнему предпочитал покупать

более дешевые оппермановские стулья, но при этом он хоть ругал Опперманов. Партия добилась также того, что крупные фирмы облагались более высокими налогами, так что Опперманы, например, вынуждены были на те же столы, которые Вельс продавал по пятьдесят четыре марки, постепенно набавить цену с сорока до сорока шести марок.

Во все девять магазинов оппермановской фирмы посыпались юдофобские письма; по ночам на витрины оппермановских магазинов наклеивались антисемитские листки. Старая клиентура уходила. Чтобы удержать покупателей, приходилось не меньше чем на десять процентов снижать цены по сравнению с ценами конкурента-нееврея. Если Опперманы снижали цену только на пять процентов, то уже кое-кто из клиентов предпочитал покупать в христианской фирме. Под нажимом национал-социалистской партии власти изыскивали всевозможные поводы для придирок и каверз. Генрих Вельс выиграл бой: разница в ценах на его и оппермановские товары сокращалась все более и более.

Внешне, однако, фирма Опперман продолжала сохранять с фирмой Вельс хорошие отношения. Более того: по настоянию Жака Лавенделя и доверенного фирмы Бригера, Генриху Вельсу дали понять, что он может начать переговоры о слиянии обеих фирм или по крайней мере о более тесном их сотрудничестве. Если бы такая сделка состоялась, с фирмы Опперман было бы снято клеймо еврейской фирмы, и несомненно, войди Вельс компаньоном, власти стали бы смотреть сквозь пальцы на кое-какие нарушения фирмой тех или иных правительственных декретов и распоряжений.

Успехи Опперманов гораздо сильнее били по честолюбию Генриха Вельса, чем по его жажде наживы. И он был счастлив, что его мастерские идут в гору. После некоторых предварительных разговоров с господином Бригером Вельс получил даже письмо, составленное в весьма вежливом тоне. До фирмы, мол, дошли слухи, что у него, Вельса, есть к фирме Опперман кое-какие предложения, имеющие целью установить еще более приятные формы сотрудничества, чем до сих пор.

Фирма весьма заинтересована и просит его заехать для личных переговоров 16 ноября, в одиннадцать часов утра, в контору на Гертраудтенштрассе.

И вот он сидит в приемной и ждет.

Генрих Вельс представительный мужчина. У него открытое, суровое лицо, широкий лоб, изрезанный глубокими морщинами. Генрих Вельс человек порядка, точность — одно из его правил. Кто, собственно говоря, сделал первый шаг? На заседании союза мебельных фабрикантов доверенный Бригер рассказывал ему о затруднениях, которые теперь испытывает фирма Опперман. Бригер буквально навел его на некоторые вопросы. Сейчас уже не докопаешься, кто сделал первый шаг. Как всегда, Генрих Вельс явился сюда с предложением, которое и для него не убыточно, но, пожалуй, гораздо более выгодно для конкурента. Только конкурент, видимо, не желает признавать это обстоятельство. Он посмотрел на часы. Офицер запаса, всю войну прошедший на фронте, он привык к пунктуальности. Не было еще одиннадцати, когда он пришел сюда. И вот он сидит здесь, а эта наглая сволочь заставляет его ждать. Одиннадцать часов десять минут. Суровое лицо Генриха Вельса темнеет. Он подождет еще десять минут, не больше, а там... пусть сами расхлебывают кашу.

С кем, однако, ему придется иметь дело? Генрих Вельс плохой знаток людей; тем не менее он хорошо знает, кто в фирме Опперман поддержит его проект и кто будет против него: Густав и Мартин Опперманы — люди несомненно высокомерные, с чисто иудейской спесью. С ними ему ни за что не договориться. С доверенным Бригером, хоть это не просто еврей, а целая синагога, столкнуться легче. Возможно, что их соберется пять-шесть человек, да еще, вероятно, они пригласят своего юрисконсульта. Бой будет нелегким, ему придется сражаться против превосходящих сил противника. И все-таки. Уж он своего добьется.

Одиннадцать часов двадцать минут. Он ждет еще пять минут. Они хотят, чтобы он прирос к стулу. Еще пять минут — и он сочтет свои предложения за давностью потерявшими силу, и тогда прошу покорно, господа хорошие!

Одиннадцать часов двадцать пять минут. Он уже выучил назубок номер «Мебельного торговца», который лежал на столе в приемной. Они там, в конторе, чертовски долго совещаются. К добру ли это? Была бы здесь хоть секретарша, чтобы послать напомнить о себе. Безобразие. Но он возместит им это сторицей.

Одиннадцать часов двадцать шесть минут. Его просят в кабинет.

Мартин Опперман сидит один. Генриху Вельсу кажется вдруг, что он предпочел бы иметь дело с пятью-шестью противниками, чем с одним Мартином. Мартин — самый вредный. С ним трудней всего справиться.

Мартин Опперман встает навстречу Генриху Вельсу.

— Прошу прощения, я заставил вас ждать, — говорит он учтиво. Мартин намеревался было проявить еще большую учтивость и привести причину своего опоздания. Но суровое, тяжелое лицо Вельса, как всегда, оттолкнуло его, и он не сделал этого.

— К сожалению, в наши дни единственное, чем деловой человек обладает в избытке, — это время, — мрачным, скрипучим голосом ответил Вельс.

Сонные глаза Мартина Оппермана сосредоточенно и серьезно оглядывают крупную фигуру Вельса. Мартин старается говорить возможно учтивее.

— Я долго и всесторонне обдумывал ваши предложения, господин Вельс, — говорит он. — В принципе мы согласны обсудить их, несмотря на целый ряд сомнений. Наш баланс лучше вашего, господин Вельс. Но я буду с вами откровенен: удовлетворительным его не назовешь. Он неудовлетворителен.

Мартин не смотрел на Вельса. Он поднял глаза на портрет Эммануила Оппермана и подумал, что, к сожалению, это только копия. Не такой тон следовало взять с угрюмым, оскорбленным человеком, сидевшим против него. Пока еще нет нужды идти на соглашение с Вельсом. На политическом горизонте как будто довольно спокойно; возможно, что положение не изменится и в ближайшие месяцы и годы. Тем не менее уверенности нет. Осторожность всячески рекомендуется. И единственно правильная тактика — держать Вельса про запас,

поддерживать с ним хорошие отношения. Тон сегодняшней беседы вряд ли способствует этому. Эммануил Опперман, несомненно, сумел бы лучше подойти к этому деревянному сухому человеку.

Господин Вельс был тоже недоволен. Этак далеко не уедешь.

— Мои дела довольно плохи, — сказал он, — но и ваши не лучше. Между нами, девушками, это можно прямо сказать. — Генрих Вельс скривил в улыбку суровые губы. Шутка, произнесенная его глухим голосом, прозвучала как-то особенно мрачно.

Перешли к деталям. Мартин вытащил пенсне, к которому прибегал очень редко, стал тщательно протирать стекла. Сегодня господин Опперман поистине с трудом переносил господина Вельса, а господин Вельс — господина Оппермана. Каждый находил другого невыносимо заносчивым, совещание для обоих превратилось в пытку. Господин Вельс решил, что Опперманы относятся к делу несерьезно. Они соглашались на эксперимент, который их мало к чему обязывал. Они предлагали слить один из своих берлинских филиалов и один из провинциальных с двумя вельсовскими. Нет, господину Вельсу это невыгодно. В случае неудачи Опперманы потеряют два филиала из восьми, с этим они могут примириться. Он же потеряет два из трех, и ему тогда крышка.

— Вижу, что ошибся, — кисло сказал господин Вельс. — Я полагал, что мы придем к какому-нибудь соглашению. К перемирию, вернее, — поправился он с едва заметной кривой усмешкой. Тяжеловесный Мартин Опперман вежливо и мягко заверил господина Вельса в том, что у него и в мыслях нет считать их переговоры сорванными. Наоборот, он уверен, что при повторных и подробных переговорах они непременно придут к соглашению с господином Вельсом.

Господин Вельс пожал плечами. Он было внушил себе, что Опперманы — конченные люди. А теперь оказывается, что не себя, а его они считают конченным человеком. Ему они собираются бросить какую-то жалкую косточку, а жирный кусок берегут про себя. Он ушел мрачный, разгневанный.

«Как бы вы не просчитались, господа хорошие», — думал Вельс, спускаясь в лифте. Он даже произнес это вслух.

Мальчик-лифтер удивленно посмотрел на угрюмого человека.

Мартин после ухода Вельса еще долго сидел за своим большим письменным столом. Учивое, уверенное выражение мгновенно исчезло с его лица, едва Вельс вышел из комнаты. Он, Мартин, не достиг своей цели, провалил дело. Он был раздражен, недоволен собой.

Мартин Опперман вызвал доверенных Зигфрида Бригера и Карла-Теодора Гинце.

— Ну, как? Справились со свирепым гоем? — сразу же выпалил Зигфрид Бригер, едва поздоровавшись.

Маленький, юркий, лет шестидесяти с лишним, худощавый, порывистый, ярко выраженной еврейской наружности, он почти вплотную придвинул стул к своему патрону. Длинным носом над большими буро-седыми усами Зигфрид Бригер словно обнюхивал воздух. Карл-Теодор Гинце остановился на почтительном расстоянии от патрона, сдержанный, подтянутый, явно осуждая бесцеремонную суетливость коллеги.

Карл-Теодор Гинце осуждал все, что делал Зигфрид Бригер, а Зигфрид Бригер потешался над всем, что делал Карл-Теодор Гинце. Карл-Теодор Гинце во время войны командовал ротой, в которой Бригер служил рядовым ополченцем. Уже в те времена они относились друг к другу скептически, хотя и тогда уже были друг к другу расположены. А позже, после окончания войны, когда аристократу господину Гинце пришлось паршиво, господин Бригер устроил его в мебельную фирму Опперман. Под руководством Бригера трудолюбивый и добросовестный Гинце очень быстро пошел в гору.

Мартин Опперман сделал своим доверенным подробное сообщение. Все трое насквозь знали друг друга. Каждый из них легко мог предвидеть результат переговоров. Никто не думал, что Вельс даст себя уломать, важно было лишь, как пойдут переговоры. После сообщения Мартина всем стало ясно, что разумнее было по-



ручить их не Мартину, а Зигфриду Бригеру. Бригер предложил бы Вельсу еще меньше, и все-таки Вельс ушел бы убогаго. Что делать дальше, было ясно. Вельсу следовало показать, что и без его содействия можно снять с оппермановских предприятий клеймо еврейской фирмы. Это сделало бы Вельса покладистей. Временное затишье на политическом горизонте надо было использовать для проведения кое-каких необходимых, давно продуманных мероприятий.

Надо было попросту превратить еврейскую фирму Опперман в акционерное общество с нейтральным, не вызывающим подозрения наименованием. Многие еврейские фирмы удачно проделали этот опыт. Часто случалось, что покупатели, бойкотировавшие еврейскую фирму, обращались в анонимное — нееврейское — акционерное общество, которое в действительности являлось дочерним предприятием все той же ненавистой еврейской фирмы. Опперманы и без участия Вельса могли основать акционерное общество «Немецкая мебель» и для начала объединить в нем один берлинский и один провинциальный филиалы.

Это не представляло трудностей и обещало успех — словом, это было то, что нужно. И все-таки решиться было нелегко. «Немецкая мебель», ну что это такое? «Немецкая мебель» ничего не говорит ни уму, ни сердцу, как какой-нибудь безликий железнодорожный вагон. Другое дело — «Мебельная фирма Опперман». Название это неотделимо от портрета Эммануила Оппермана, от грузного, исполненного достоинства Мартина, от пустрого длинноносого Зигфрида Бригера. Оторвать от себя штеглицкий и бреславльский филиалы — все равно, что дать ампутировать себе палец.

Но, может быть, это необходимо для спасения всего организма. Да, необходимо.

Раз уж решение принято, надо действовать быстро. Мартин снесется со всеми Опперманами и сегодня же договорится с профессором Мюльгеймом, юрисконсульт-ом Опперманов.

Оставшись один, Мартин тяжело оперся о подлокотники кресла, сгорбился. А ведь, пожалуй, и в самом деле неврдно было бы хоть по утрам заниматься гимнасти-

кой, как советует жена? Сорок восемь лет не такой уж страшный возраст, но если не следить за собой, через два года будешь стариком. А у Густава сегодня был на редкость молодой и свежий вид. Густаву живется легко. Чтобы гимнастика оказала действие, нужно тратить на нее по меньшей мере минут двадцать пять ежедневно. А откуда ему, Мартину, выкроить эти двадцать пять минут?

Мартин выпрямляется, вздыхает, берется за почту. Нет. Это не так важно. Сначала следует покончить с более важными делами: он всегда придерживался этого правила. Нужно известить родных. Густаву нынешний день он не желает портить. Да Густав вообще возражать не станет. Безусловно. Он повздыхает, сделает несколько замечаний философского характера и даст свою подпись. С Эдгаром еще проще. Труднее всего будет разговор с Жаком Лавенделем, с шурином, мужем Клары Опперман. Возражать и он не станет, наоборот, как умный делец он давно настаивал на перемене вывески. Но Жак Лавендель очень уж прямолинеен. Мартин ничего не имеет против того, чтобы люди высказывали свое мнение без обиняков. Но Жак Лавендель чересчур прямолинеен.

Мартин просит секретаршу соединить его с профессором Эдгаром Опперманом и Жаком Лавенделем. Профессора Оппермана, докладывает секретарша, нет дома — он в клинике. Разумеется, он всегда в клинике. Когда он вернется, ему передадут просьбу позвонить в контору. Но он этого не сделает: он слишком занят своей клиникой и слишком мало интересуется делами фирмы. Итак, по отношению к нему Мартин свой долг выполнил.

У телефона Жак Лавендель. С ним никогда нет хлопот. Хрипловатым приветливым голосом, едва Мартин произносит первые вступительные фразы, он говорит, что ему хотелось бы не по телефону, а лично потолковать с Марином об этом деле; если Мартин не возражает, ведь это же совсем рядом, он после обеда на часок заедет к нему. Мартин не возражает. Он будет очень рад.

Он несколько не рад. Обед с женой и сыном и краткий послеобеденный досуг — его любимые часы дня.

Иногда нельзя избежать гостей и в это время: есть дела, которые в домашней обстановке лучше разрешаются, чем в конторе. Но он очень неохотно идет на это: в таких случаях весь день для него испорчен.

Эммануил Опперман смотрит сонными, хитрыми, довольными глазами на внука. А Мартин не столько думает, сколько чувствует: перед ним копия, не оригинал.

Как всегда, ровно в два часа Мартин подъехал к своей квартире на Корнелиусштрассе, в районе Тиргартена. Он прежде всего сменил пиджак и воротничок: между деловой обстановкой и личной жизнью должна существовать какая-то грань. Потом он прошел в «зимний сад». Это была большая комната, пышно и несколько банально обставленная; Мартин считал, что и его частная квартира должна быть обставлена оппермановской мебелью.

Жена и сын о чем-то оживленно разговаривали. Семнадцатилетний Бертольд, обладавший живым даром речи, порою, как и отец, бывал скуп на слова, в особенности если дело касалось вещей, сильно его волновавших. Мартин обрадовался, что сегодня он разговорчив.

При входе Мартина Лизелотта прервала сына. Улыбаясь, она повернула к мужу большое светлое лицо.

— Как ты себя чувствуешь, мой милый?

— Благодарю, хорошо, — бодро ответил Мартин. И, обращаясь к Бертольду, в свою очередь, улыбнулся: — Здравствуй, мальчик.

Но серые удлинненные глаза Лизелотты за восемнадцать лет совместной жизни научились читать в лице мужа. Мартин не любил дома говорить о делах, и все же она видела, что он сегодня, сейчас, находится на пороге каких-то важных решений.

Сели за стол. Бертольд продолжал оживленно рассказывать. Он унаследовал от отца крупное мясистое лицо, от матери — ее серые смелые глаза. В семнадцать лет почти догнав отца ростом, юноша обещал на голову перерасти его.

Бертольд рассказывал о школьных делах. Их классный наставник, доктор Гейнциус, несколько дней тому назад погиб при автомобильной катастрофе, и сейчас

директор Франсуа временно взял на себя преподавание предметов покойного — истории и немецкой литературы. Это были любимые предметы Бертольда; он, как и его дядя Густав, любил книги и спорт. С доктором Гейнциусом у него установились на редкость хорошие отношения. И вот доктор Гейнциус разрешил ему взять для доклада по свободному выбору, какой полагалось раз в год делать ученикам предпоследнего класса, особенно трудную тему: «Гуманизм и двадцатый век». Дадут ли ему возможность теперь, после смерти любимого учителя, сделать этот доклад? И справится ли он с «гуманизмом» без дружеской помощи доктора Гейнциуса? Директор Франсуа не возражает против этой темы, но все будет зависеть от решения нового преподавателя, который, вероятно, со следующей недели приступит к исполнению своих обязанностей.

— Я взял на себя немалую задачу: «гуманизм» — чертовски трудная проблема, — в раздумье закончил Бертольд низким грудным голосом.

— А не лучше ли тебе выбрать не столь общую тему? — посоветовал Мартин.

— Может быть, ты возьмешь какого-нибудь современного автора? — предложила Лизелотта, ободряюще глядя на сына серыми удлинненными глазами.

Мартин удивился. Удобно ли теперь выступить в школе с темой о современной литературе? Обычно Мартин и Лизелотта сходились во мнениях. Но она, христианка из старинной прусской чиновничьей семьи Ранцовых, склонялась часто к более радикальным суждениям.

Мартин заговорил о другом. Сообщил, что после обеда он ждет Жака Лавенделя. Это сейчас же отвлекло Бертольда от «гуманизма». Нельзя ли ему воспользоваться машиной? Отец, не знающий устали в своей работе, целыми днями колесит по городу. Бертольду редко выпадает возможность получить машину. Случая упустить нельзя. Неплохо, например, съездить на спортивную площадку, потренироваться в футбол. А это как раз на Саксонском проспекте, — прекрасный предлог для автомобильной прогулки. Удовольствие это, правда, должно стоить трех часов, которые он предназначил для

«гуманизма». Пустяки. Для «гуманизма» он всегда урвет время, а вот когда ему удастся еще раз «урвать» для себя машину, неизвестно.

Поэтому, как только встают из-за стола, Бертольд прощается с родителями. Он телефонирует школьному товарищу Курту Бауману, предлагая ему встретиться у Галлешских ворот, чтобы вместе ехать на спортивную площадку на Саксонском проспекте. Курт Бауман совсем не в восторге от предложения Бертольда — у него испортился радиоприемник, он его разобрал: надо доискаться, в чем там дело, на это нужно время. Но Бертольд не отстает. Он говорит о сюрпризе, который ждет Курта. В его голосе такое торжество, что Курт догадывается: «Ты получил машину? Вот здорово!» Бертольд Опперман хороший товарищ; он делится честно и справедливо: сам списывает у Курта математику, а ему позволяет списывать у себя сочинения по литературе, а когда шофер Францке пускает их к рулю, он правит две трети времени, а на треть уступает руль Курту Бауману.

Наконец-то Бертольд сидит рядом с шофером Францке. Конечно, Францке иногда бывает не в духе, и тогда он не склонен разговаривать. Но сегодня он в хорошем настроении, Бертольд видит это сразу. Несомненно, он их и к рулю пустит, хотя не достигшим восемнадцати лет водить машину воспрещается. Бертольд прямо трепещет: скорее бы выехать на окраину. Но обнаружить свое нетерпение было бы недостойно мужчины. И он ведет с Августом мужской разговор об общем положении вещей, об экономике и политике. Август Францке и Бертольд отлично понимают друг друга.

Потом Францке действительно пускает к рулю Курта Баумана, а Бертольд сидит без дела на заднем сиденье, и ему вдруг вспоминается маленький эпизод, связанный с похоронами доктора Гейнциуса. Отец разрешил ему воспользоваться машиной, чтобы поехать на расположенное за городом кладбище. Когда возвращались домой, он посадил к себе в машину Курта Баумана и своего двоюродного брата Генриха Лавенделя. Серый, унылый вид лесного кладбища в Штансдорфе и про-

цедура похорон очень расстроили Бертольда. А товарищи его спустя пять минут после похорон, видимо, больше интересовались машиной, чем покойным, и главным образом тем, пустит ли их шофер Францке к запретному рулю. Бертольд не понимал, как можно так быстро стряхнуть с себя тяжесть только что пережитого. И даже сейчас, глядя на сидящего за рулем Курта Баумана, он в недоумении задумывается.

Но когда очередь садиться за руль доходит до него, все его тягостные размышления вмиг вылетают из головы, и в нем и вокруг него ничего не остается, кроме уличного движения юго-восточной части Берлина.

На Корнелиусштрассе тем временем ждали господина Жака Лавенделя. Фрау Лизелотта радовалась его приходу. Мартин — она это знала — его недолюбливал. Мартину было неприятно, что младшая сестра его, Клара Опперман, стала женой выходца из Восточной Европы. Жак, несомненно, прекрасный коммерсант, человек с состоянием, знает свет, всегда предупредителен. Но он равнодушен к таким вещам, как достоинство, приличия, выдержка. Нельзя сказать, что у него самого какие-нибудь кричащие, назойливые манеры. Нет. Но он очень уж неприкрыто называет неприятные вещи своими именами, и тихая, приветливая улыбка, которая появляется на его лице, когда при нем заговаривают о чести, достоинстве и прочем, раздражает Мартина.

Лизелотту это не раздражает. Ей нравится шурин. Она выросла в суровой семье Ранцовых. Ее отец был в высоких чинах, но на низком окладе; скудный достаток он возмещал благородством убеждений и суровостью жизненных правил. Лизелотта Ранцов, тогда двадцатидвухлетняя девушка, рада была сменить суровость отцовского дома в Штетине на широкий образ жизни Опперманов и всеми силами поощряла немногословные и неловкие ухаживания Мартина.

— Подождем Жака с кофе? — спросила она, и улыбка открыла ее крупные, крепкие зубы. Лизелотта видела, что Мартин не знает, как ему говорить с Жаком: с глазу на глаз или в ее присутствии. — У тебя с

ним сегодня какой-нибудь важный разговор? — спросила она прямо.

Мартин колебался. Они большие друзья, он и Лизелотта. Разумеется, он сегодня же сообщит ей о решении в двух филиалах переменить фирму. Ему, правда, нелегко говорить с ней об этом. До сих пор ему редко приходилось делиться с ней неприятными новостями. Но, пожалуй, разумнее всего все сказать ей, а заодно и Жаку.

— Я был бы очень рад, если бы ты посидела с нами, — сказал он.

И вот между ними — широкая фигура Жака Лавенделя. Умно и приветливо поблескивают из-под широкого лба маленькие, глубоко сидящие глаза, густые, рыжеватые усы контрастируют с уже лысеющей головой, тихий, хриплый голос, как всегда, действует Мартину на нервы.

Жак молча слушает Мартина. Он сидит неподвижно, с полузакрытыми глазами, скрестив руки на животе, склонив голову набок; его застывшее лицо как бы совершенно безучастно. Мартину было бы приятней, если бы он прерывал его, задавал ему вопросы, но Жак ни разу этого не сделал. Мартин кончил, а он все продолжал молчать. Лизелотта пристально всматривалась в Жака Лавенделя. Она была скорее заинтересована, чем огорчена. Мартин, хотя и довольный, что не очень ее огорчил, все-таки с горечью подумал: «Для нее это пустяки. То, что меня так волнует, для нее пустяки. Работашь, тратишь силы — и никакой благодарности».

Жак упорно молчал. Наконец Мартин спросил его:

— Каково ваше мнение, Жак?

— Прекрасно, прекрасно, — закивал головой Жак Лавендель. — Я нахожу, что все это прекрасно. Жаль только, что вы еще раньше этого не сделали. И еще более жаль, что вы не довели дело до конца и не договорились с Вельсом.

— Почему? — спросил Мартин. Он старался говорить спокойно. Но и Лизелотта и Жак уловили в его голосе нотку досады. — Вы полагаете, что мы не успеем? Я эту публику знаю. Вельс обнаглеет, как только мы

что-то пообещаем ему. Вам очень хорошо известно, что, выжидая, мы только выиграем.

— Может быть, да, а может быть, и нет,— покачал большой рыжей головой Жак Лавендель.— Я не пророк, я отнюдь не хочу утверждать, что я пророк. Но обычно спохватываются, когда уже поздно. Может быть, у нас впереди еще полгода, а может быть, и год. А если нам с вами не повезет, то, может быть, речь идет всего о каких-нибудь двух месяцах.— Он внезапно поднял голову и посмотрел маленькими, глубоко сидящими глазами на Мартина, хитро подмигнув ему и начал рассказывать неожиданно торжественным суховатым тоном: — Семнадцать раз менялась в Гросновицах власть. Семь раз устраивались при этом погромы. Три раза они выводили некоего Хаима Лейбельшица за город и три раза говорили ему: «Ну вот, а теперь мы тебя повесим». Все говорили Хаиму: «Не упорствуй, Хаим, уезжай из Гросновиц». Он не уезжал. И в четвертый раз, когда его вывели за город, они опять его не повесили. Но они его расстреляли.

Жак Лавендель кончил, вновь склонил голову набок и почти совсем закрыл синие глаза.

Мартин знал уже этот анекдот и злился на Жака. Лизелотта тоже слышала его однажды, но с удовольствием выслушала вторично.

Мартин вытащил пенсне, долго и тщательно тер стекла, сунул его обратно.

— Не можем же мы в конце концов кинуть ему под ноги наши магазины,— сказал он, и карие глаза его никак нельзя было назвать в эту минуту сонными.

— Конечно, конечно,— успокаивал его Жак Лавендель.— Я же говорю: все, что вы сделали, очень хорошо. Кстати, если вы действительно не прочь привлечь американский капитал, я берусь сделать это в неделю — шито-крыто. И никто к вам после этого носа не сунет. А уж это не значит «кидать под ноги»,— улыбнулся он.

Идея перевести мебельную фирму Опперман на имя Жака Лавенделя, который в свое время добыл себе американское подданство, неоднократно обсуждалась. Однако по целому ряду соображений она в конце концов была отвергнута. В данный момент Мартин почему-то



не вспомнил ни одного из этих веских доводов. Наоборот, он выбрал наименее веский, но достаточно злой:

— Лавендель — неподходящее имя для наших филиалов.

— Знаю, знаю, — миролюбиво ответил Жак. — Да насколько мне известно, об этом никогда и речи не было.

Превращение обоих филиалов в «Немецкую мебель» оказалось не таким простым делом: нужно было обсудить кучу всяких деталей. Жак Лавендель подсказал немало полезных мероприятий. Мартин должен был признаться, что из них двоих Жак проявил большую изобретательность. Он поблагодарил Жака. Жак встал, попрощался долгим, крепким рукопожатием.

— И я благодарю вас от всей души, — с чувством сказала Лизелотта.

— Я ничего в ваших делах не смыслю, — сказала она Мартину после ухода Жака, — но раз уж ты решил пригнать Вельса в компанию, почему не сделать этого сразу?

Всю первую половину дня Густав Опперман проработал с доктором Клаусом Фришлином. Доктор Клаус Фришлин высок, худ, у него плохой цвет лица и жидкие волосы. Сын состоятельных родителей, он изучал историю искусства и, увлеченный своей работой, мечтал стать доцентом. Но деньги пошли прахом, и он жестоко голодал. Когда же единственным его достоянием оставались потертый костюм, выдавшая виды обувь и рукопись необычайно тщательно разработанной монографии о художнике Феотокопулосе, прозванном Эль Греко, его вытащил из нужды Густав Опперман. Чтобы устроить ему работу, Густав задумал в фирме Опперман художественный отдел и поставил Фришлина во главе его. Неисправимый фантазер, он возмечтал было через посредство Фришлина и фирмы Опперман привить публике вкус к современному стилю: к стальной мебели, обстановке во вкусе «баухауз» и другим новшествам. Но очень скоро, смеясь и досадуя, он вынужден был признать, что художественный отдел под дюжим напором обывательских требований сдается на милость

победителя. Клаус Фришлин все еще пытался — упорно, изворотливо, безнадежно — найти лазейку для своего изощренного вкуса. Густава эти попытки забавляли и трогали. Ему нравился этот настойчивый человек, он часто приглашал его к себе в качестве личного секретаря и помощника по своей научной работе.

И в эту среду, как обыкновенно, Густав пригласил Фришлина. Он собирался, собственно, поработать над Лессингом. Но не будет ли это вызовом завистливой судьбе — именно сегодня засесть за любимую работу? И он решил: лучше заняться хронологическим обзором собственной жизни. Ведь только нынче утром он обратил внимание на то, как плохо он ориентируется в собственной биографии. Навести здесь некоторый порядок — вполне подходящая задача в день пятидесятилетия.

Густав был искушенным знатоком биографий различных деятелей восемнадцатого и девятнадцатого столетий. Он умел распознавать решающие моменты в судьбах этих людей. Но удивительно, как трудно отличить существенное от несущественного, когда дело касается собственной жизни. А ведь немало было сильных переживаний, своих и чужих: была война, была революция. Что же в конце концов изменило его? С грустью почувствовал он, как много растерял. Эти мысли привели его в дурное настроение.

Он вдруг резко оборвал их. Улыбнулся.

— Возьмите открытку, милый Фришлин, — сказал он. — Я вам продиктую текст. — Он стал диктовать: — «Милостивый государь. Запомните на остаток дней ваших: «Нам положено трудиться, но нам не дано завершать труды наши. Искренне преданный вам Густав Опперман».

— Хорошие слова, — заметил Клаус Фришлин.

— Не правда ли? — сказал Густав. — Это из талмуда.

— Кому адресовать открытку? — спросил Фришлин.

Густав Опперман улыбнулся по-мальчишески плутовато.

— Пишите, — сказал, — «Д-ру Густаву Опперману, Берлин-Далем, Макс-Регерштрассе 8».

Если не считать написанной открытки, утро прошло неплодотворно, и Густав был доволен, когда подвернулась уважительная причина прервать работу. Причина эта явилась в лице прелестной Сибиллы Раух, его подруги. Да, это она, Сибилла Раух, подкатила на своей маленькой, смешной, разбитой машине. Густав сошел вниз встречать гостью. Не смущаясь присутствием слуги Шлютера, открывавшего ворота, она поднялась на цыпочки и прохладными губами поцеловала Густава в лоб. Сделать это было не так просто, так как под мышкой у нее был зажат большой пакет — подарок Густаву ко дню рождения.

Подарок оказался старинными часами. Над циферблатом был глаз, так называемый «глаз божий», ежесекундно двигавшийся слева направо, слева направо. Густав давно уже собирался поставить в своем рабочем кабинете такие часы, как постоянное напоминание ему, несколько разбросанному человеку, о необходимости порядка в работе. Но ему не попадались часы с подходящим к общему тону комнаты корпусом.

Он рад, что Сибилла нашла как раз то, что нужно. Он благодарит ее шумно, сердечно, любезно. Но в глубине души он немножко задет. Это неутомимое око, которое должно надзирать за ним, — нет ли здесь элемента критики? Густав гонит от себя неприятное ощущение, не дает ему стать мыслью. Он без умолку говорит, сердечно, радостно. Но подарок Сибиллы невольно расшевелил в нем обычно дремлющее чувство, которому он никогда не дает воли. Сибилла, вопреки добром желанию их обоих всецело принадлежать друг другу, всегда остается на периферии его существования.

Она стоит перед портретом старика Оппермана. Она знает, как он дорог Густаву, радуется, что портрет наконец здесь; тоном знатока говорит о том, как он хорошо сочетается со всей обстановкой кабинета. По свойственной ей манере, она тщательно, как бы взвешивая, всматривается в изображение хитрого, довольного, счастливого человека.

Все это как нельзя лучше гармонирует: оригинал, художник и эпоха. И все это очень на месте здесь.

— А интересно, каково бы жилось такому Эммануилу Опперману в наше время? — произносит она в раздумье.

В сущности, толковое и уместное замечание. Стоило призадуматься над тем, как в наши дни утверждал бы свое существование человек склада Эммануила Оппермана. Однако и это замечание Сибиллы кольнуло Густава.

Да, эпоха, в которую жил Эммануил Опперман, канула в вечность, хотя для Густава она была еще живой. Какими мелкими казались теперь все ее заботы, какими простыми ее проблемы, как медленно, незатейливо, скучно текла жизнь такого человека, как Эммануил Опперман, по сравнению с жизнью среднего человека наших дней. Конечно, в замечании Сибиллы не было ничего обидного, ведь она прямо-таки оторваться не может от портрета. И все-таки Густаву, без всякого на то основания, кажется, что замечание Сибиллы направлено против него. Часы тикали, «глаз божий» катился слева направо и поглядывал, как люди проводят свое время. Сибилла стояла перед портретом покойного. Густава вновь охватило томление праздности, то легкое, неприятное чувство неудовлетворенности, то ощущение пустоты, которое мелькнуло у него сегодня утром.

Он обрадовался, когда Шлютер доложил, что обед подан. Обед прошел весело. Густав Опперман кое-что смыслил в хорошей кухне. Сибилла Раух веселила его забавными шутками, для которых всегда находила неожиданную, изящную форму. Густаву очень нравился ее южногерманский говор. Ему было пятьдесят лет, и он был очень молод. Он сиял.

Радость его достигла полноты, когда к десерту подоспел его друг, профессор Артур Мюльгейм, а с ним Фридрих-Вильгельм Гутветтер — новеллист. Оба они удачно дополняли Сибиллу и Густава.

Артур Мюльгейм — вертлявый человечек, с веселым, умным лицом, испещренным множеством складок и морщинок. Всего на несколько лет старше Густава, неутомимый, всегда с готовой шуткой на устах, один из лучших юристов Берлина, он во многом сходился с Густавом. Они состояли членами одного и того же клуба, им нравились одни и те же книги, женщины. Артур

Мюльгейм интересовался, кроме того, политикой, а Густав Опперман спортом, так что у них всегда был избыток тем друг для друга. Мюльгейм прислал Густаву ассортимент отменных пятидесятилетних коньяков и водок. Он считал полезным для здоровья употреблять те напитки, которые по своим годам соответствуют возрасту пьющего.

Шестидесятилетний Гутветтер, миниатюрный, с огромными детскими глазами на тихом лице, очень выхоленный, в подчеркнута старомодной одежде, был поэтом. Он писал маленькие, тщательно отшлифованные новеллы, которые превозносились критикой, но которые мало кто читал и умел оценить. В редкие мгновения, когда Густава царапала суетливая пустота собственной жизни, он говорил себе, что прожил жизнь не напрасно, хотя бы потому, что помог Гутветтеру. И действительно, без поддержки Густава Гутветтеру пришлось бы терпеть жесточайшие лишения.

Фридрих-Вильгельм Гутветтер сидел тихий и ласковый и большими глазами с обожанием и вожделением поглядывал на Сибиллу. Он то и дело просил объяснить ему приткие остроты Мюльгейма и время от времени вставлял медлительные замечания общепозитического порядка в громкую, веселую беседу друзей.

Он припас подарок для своего друга, но заговорил о нем лишь через двадцать — тридцать минут после прихода: оживленная застольная беседа и присутствие Сибиллы заставили его забыть о подарке. Итак, у него был разговор с доктором Дорпманом, его издателем, директором издательства «Минерва». Он говорил с ним о биографии Лессинга. Доктор Дорпман, по обычной манере издателей, старался увильнуть от прямого ответа, но он, Гутветтер, не отступал. Одним словом, верно, как смерть, душа и воскресение, что «Минерва» издаст биографию Лессинга. Все это он изложил спокойно, не повышая голоса, устремив на своего друга ласковый взор.

— А что значит: «верно, как душа и воскресение»? — спросил Мюльгейм. — На сто процентов верно или, наоборот, на сто процентов неверно?

— Я хотел сказать: верно, и больше ничего, — ответил Гутветтер с непоколебимой ласковостью.

Но им не удалось договориться, ибо Густав шумно вскочил, схватил тихого Гутветтера за плечи, стал трясти его и хлопать по спине, бурно выражая свою радость.

Когда же Гутветтер остался наедине с Сибиллой, он сказал ей обычным своим спокойным, ласковым, чисто-сердечным голосом:

— Как легко сделать человека счастливым. Биография. Что такое биография? Разве что-нибудь может идти в счет, кроме самостоятельного творчества? Но вот человек копается в отбросах, в так называемой действительности, в отжившем,— и счастлив. Какой ребенок друг наш Густав.

Сибилла задумчиво взглянула в большие, лучистые детские глаза. Фридрих-Вильгельм Гутветтер считался одним из лучших немецких стилистов; многие считали его лучшим. Сибилла, которая добросовестно билась над своими маленькими рассказами, попросила у него совета относительно одной не дававшейся ей фразы. Гутветтер дал ей ценные указания. Он не сводил лучистого, обожающего взгляда со своей смысленной ученицы.

Густав между тем, до краев преисполненный радостью, находил мир великолепным, всем хотел сделать что-нибудь хорошее. Многословно поделился радостной вестью, которую принес ему Фридрих-Вильгельм Гутветтер, со слугой Шлютером. Был счастлив.

Когда начали съезжаться гости и завязались первые натянутые разговоры, Густав стал опасаться, что вечер будет скучным. Было, конечно, рискованно сводить вместе таких разных людей, но он любил в своей жизни именно это органическое смешение разнородных элементов. Он задумал собрать в день своего пятидесятилетия всех, кто играл какую-нибудь роль в его жизни: родных, старых служащих фирмы, друзей из Общества библиофилов, из театрального клуба, из спортивного фрейерна, любимых женщин. После ужина он с удовольствием отметил, что легкие вкусные блюда изысканного меню развязали языки, и прежняя натянутость исчезла.

Гости — человек двадцать — оживленно болтали, расположившись группами, но так, что ни одна из них не обособлялась от остальных. Говорили о политике, — это, к сожалению, стало неизбежной темой. Непринужденней всех держал себя, как всегда, Жак Лавендель. Лениво рассевшись в самом удобном кресле, полузакрыв хитрые, добродушные глаза, он с иронической терпимостью слушал Карла-Теодора Гинце, который оглулом разделявал всех нацистов. По мнению Гинце, все сторонники «движения» были либо дураками, либо жуликами. В улыбке, бродившей по широкому лицу Жака Лавенделя, сквозила раздражающая снисходительность.

— Вы несправедливы к этим людям, дорогой господин Гинце, — сказал он приветливым, хрипловатым голосом, покачивая головой. — Сила этой клики как раз в том, что она пренебрегает разумом и обращается к инстинкту. Нужна сметливость и сила воли, чтобы проводить подобную линию с такой последовательностью. Господа эти, как все хорошие дельцы, отлично знают свою клиентуру. Товар у них плохой, но ходкий. А пропаганда — первый класс, скажу я вам. Вы недооцениваете «фюрера», господин Гинце. Фирма Опперман могла бы радоваться, заполучи она такого заведующего для отдела рекламы.

Господин Жак Лавендель говорил негромко, и все же его хрипловатый голос почти без всяких усилий заставлял себя слушать. Но соглашаться с тем, что говорил этот голос, никто не хотел. Здесь, в культурной обстановке дома Густава Оппермана, никто не склонен был признать за такой нелепой штукой, как фашизм, какие-либо виды на успех. Книги Густава Оппермана стояли вдоль стен; обе комнаты — библиотека и рабочий кабинет — красиво переходили одна в другую; с портрета Эммануила Оппермана до осязаемости живо смотрели на собравшихся хитрые, добродушные глаза. Вооруженные знанием своего времени, насыщенные культурой столетий, имея за собой внушительные текущие счета в банке, люди эти крепко стояли на земле. Они улыбались при мысли, что прирученное домашнее животное — мелкий буржуа — грозит вернуться к своей волчьей природе.

Юркий Зигфрид Бригер рассказывал анекдоты о фюрере и возглавляемом им «движении». Фюрер вовсе не немец, а австриец, и вся его деятельность не что иное, как месть Австрии за поражение, нанесенное ей Германией в 1866 году. Мыслимо ли вообще юридически узаконить антисемитизм? Каким образом установить, кто еврей, а кто не еврей?

— Меня бы они, конечно, сразу узнали,— добродушно сказал Бригер, показывая на свой длинный нос.— Но разве большинство немецких евреев не ассимилировалось настолько, что лишь от их доброй воли зависит признать или не признать себя евреями? Кстати, слышали ли вы анекдот о старом банкире Дессауере? Господину Дессауеру фамилия его кажется чересчур еврейской. Он меняет ее: отныне он не Дессауер, а Дессуар. Господин Кон встречает его в трамвае: «Здравствуйте, господин Дессауер»,— говорит он. Дессауер в ответ: «Виноват, господин Кон: моя фамилия теперь Дессуар». «Простите, господин Дессуар»,— говорит господин Кон. Через две минуты он снова называет его господином Дессауером. «Извините: Дессуар»,— энергично поправляет господина Кона господин Дессауер. «Простите, простите»,— извиняется господин Кон. Оба сходят с трамвая. Пройдя несколько шагов, господин Кон спрашивает: «Не скажете ли вы мне, господин Дессуар, где здесь ближайший писсауер?»

Жаку Лавенделю анекдот доставил истинное удовольствие. Поэт Фридрих-Вильгельм Гутветтер анекдота сначала не понял, попросил повторить: лишь тогда его тихое лицо озарилось веселой улыбкой.

— Кстати, господин этот,— он указал на Жака Лавенделя,— в непритязательной форме выразил то, что зреет в человеке наших широт. Господство трезвого рассудка рушится. Отваливается грубая облицовка логики. Брезжит новая эпоха, когда великое животное, человек, с его сверхдносторонним развитием снова найдет путь к самому себе. Вот смысл националистского движения. Разве все мы не счастливы быть свидетелями этого? — Фридрих-Вильгельм Гутветтер спокойно переводил по кругу взгляд лучистых детских глаз; огромный галстук скрывал вырез его жилета; в своем ста-



ринном наряде Гутветтер казался отрешенным от мира священнослужителем.

Гости улыбались. Поэт мыслил масштабами тысячелетий. А им приходилось ограничивать себя более короткими сроками — годами, месяцами; фашизм представлялся им лишь грубой демагогией, поощряемой милитаристами и феодалами, спекулирующей на темных инстинктах мелкого буржуа. Так воспринимал его профессор Мюльгейм, остривший над ним умно и цинично, так при всей своей осмотрительности благоразумных дельцов воспринимали его Опперманы; так воспринимали его дамы — Каролина Тейсс и Эллен Розендорф. Беседа текла мирно, пока один из гостей не нарушил приятное настроение вечера, переведя, к общей досаде, на трезвый язык будней то, что Жак Лавендель высказывал с добродушной оглядкой, а Фридрих-Вильгельм Гутветтер — в поэтических абстракциях. Семнадцатилетнюю Рут Опперман, которая весь вечер сидела молча, вдруг прорвало:

— У вас у всех замечательные теории, вы так умно все объясняете, вы все решительно знаете. А те не знают ничего; пусть их теории глупы и противоречивы, — им на это наплевать, зато они знают твердо, чего хотят. Они действуют. И я говорю тебе, дядя Жак, и тебе, дядя Мартин: они свое сделают, а вы останетесь на бобах. — Она стояла среди гостей, неуклюжий подросток; синее платье некрасиво висело на ней: ее мать Гина Опперман не умела ее одевать; черные волосы Рут казались растрепанными, несмотря на тщательную завивку. Но большие глаза на смуглом лице девушки смотрели горячо, решительно, и речь ее была далеко не детской.

Разговоры прекратились, и когда Рут умолкла, в комнате стояла глубокая тишина. Слышно было звонкое тиканье часов; невольно все повернули головы: «глаз божий» перекашивался слева направо, слева направо. Профессор Эдгар Опперман, медик, улыбался чуть иронически, но он был горд своей необузданной дочерью. Гина Опперман, маленькая незаметная женщина, с восхищением смотрела на дочь. Рут вся в отца: когда-нибудь она станет знаменитостью, как и он, про-

славленный врач. Она совсем не похожа на окружающих девушек. Ее интересуют только две вещи: политика и медицина. Она сионистка и уже сносно говорит по-древнееврейски. Собирается учиться в Берлине, в Лондоне, в Иерусалиме, а когда станет врачом, поселится в Палестине.

Густав Опперман не нарадуется на свою племянницу Рут. Часто он благодушно подшучивает над ее сионизмом, но, по его мнению, это хорошо, что в семье имеется и такая разновидность. Если бы не было горячности Рут, ее напористости, не хватало бы чего-то очень существенного. Ее фанатизм делает ее просто красивой. А подобные выходки простительны ей по молодости.

Хорошенькую, белокурую, остроносу Каролину Тейсс позабавила пылкая некрасивая девушка. Но Эллен Розендорф даже не улыбнулась. Пестрое общество собрал сегодня Густав Опперман. Эллен Розендорф, высокая, стройная, смуглокожая, с удлинненными глазами, знает Густава по теннисному клубу «Красное и белое». Она любит общество, спорт, флирт; контрастное сочетание снобизма и библейской внешности придает ей особую пикантность. У нее острый язык, она мастерица отпускать злые шутки. Она из числа тех молодых еврейских женщин, с которыми флиртует кронпринц; весь город облетело замечание, сделанное ею кронпринцу, когда машина, которой он правил, едва не разбилась: «Правьте осторожней, monsieur! Вообразите себе картину: мы лежим под разбитой машиной — сплошное неразличимое месиво. И, о ужас! еврейские кости могли бы попасть в потсдамский мавзолей, а гогенцоллерновские — на еврейское кладбище Вейсензее». Она и с Густавом почти никогда не изменяла этому тону; они обычно болтали о тысяче пустяков, о которых говорят богатые досужие берлинцы. И только. И все же их связывает нечто большее, чем мимолетное влечение. Он знает, что ее снобизм — защитная маска, на самом же деле она меланхолик, терзаемый суетной пустотой своего существования. И она чувствует в нем, в Густаве, родственные черты, только гораздо более скрытые, в которых он сам себе не хочет признаться. Эллен

смотрит на Рут Опперман, не улыбаясь, с любопытством. Превратить Рут в светскую барышню было бы при желании нетрудно, но попытка из берлинской барышни сделать такую Рут Опперман почти во всех случаях потерпела бы неудачу.

Профессор Эдгар Опперман, медик, беседует с господином Франсуа, директором гимназии королевы Луизы. Темно-русый Эдгар, несколько грузный, как все Опперманы, но вместе с тем очень подвижный, высмеивает нелепую произвольность всех расовых теорий. Сколько проделано исследований крови, измерений черепа, исследований свойств волос — и все безрезультатно. Эдгар Опперман говорит живо, без тени профессорского менторства, много и быстро жестикулируя; руки у него легкие, не такие мясистые, как у других Опперманов, руки выдающегося хирурга.

— Я никогда не замечал, — заключил он, улыбаясь, — чтобы гортань так называемого арийца иначе реагировала на определенные раздражения, чем гортань семита.

Сам он не был ни евреем, ни христианином, ни семитом, ни арийцем. Он был ларингологом, ученым, настолько верящим в науку, что у него не оставалось даже презрения, гнева или сострадания к авторам и последователям расовой теории.

Директор Франсуа горячо с ним соглашался. И он в первую голову ученый, филолог. Страстный любитель немецкой литературы, давнишний член Общества библиофилов, он был в близких, приятельских отношениях с Густавом Опперманом. Человеческая природа, утверждал он, на протяжении всей истории нисколько не изменилась. Взять, например, движение Катилины. Поразительно, до чего оно даже внешне походит на фашистское движение. Те же приемы: хоровая декламация, подстрекательские речи, бессовестная демагогия, самое низкопробное невежество.

— Будем надеяться, что и среди нас найдется вскоре свой Цицерон, — заключил директор Франсуа. Худощавый господин Франсуа — нежно-розовые щеки, очки без оправы, белые, густые, холеные усы — говорил гладко, как по-писанному, не слишком медленно, не

слишком быстро, закругленными фразами. Несомненно, общество книг на полках Густава улыбалось ему больше, чем общество окружающих людей. Но чаще, чем на книжные полки, косился он на дородную пышную даму в темном шелковом платье. Это его жена. Он находится под строгим наблюдением: если фрау Эмилия Франсуа на миг потеряет его из виду, то уже в следующее мгновение безусловно отыщет.

Нелегко ей с мужем. Он не знает удержу, что на уме, то и на языке. Правда, на политическом горизонте сейчас все как будто утихомирилось. Среди сослуживцев мужа достаточно карьеристов, у которых повсюду свои внимательные уши; они тщательно хранят до поры до времени каждое на лету подхваченное слово. И если нацисты придут к власти, то такое неосторожно сказанное теперь слово может лишить человека хлеба и работы. Что тогда будет с нею и ее тремя детьми? За его исследование «О влиянии античного гекзаметра на слог Клопштока» никто не даст ему и корки хлеба. Но легкомысленный человек глух к ее предостережениям. Он уверяет, что за одни слова тянуть к ответу не станут, и потому бояться нечего. Когда же она начинает толковать ему, что в нынешнее время нечего рассчитывать на справедливость, и при этом несколько повышает тон, он страдальчески возводит глаза к небу и кротко молчит. «Грозовая тучка» называет он жену. Ах! он не понимает, что она тревожится только за него: в практических вещах он ведь совершенно ничего не смыслит. Фрау Эмилия поджимает губы, лицо у нее темнеет. Господин Франсуа косится в ее сторону и, оробев, отводит взгляд. «Грозовая тучка», — думает он.

Франсуа занимает пост директора гимназии, в седьмом классе которой учится сын Мартина Бертольд. Мартин подходит к Франсуа. Ему известны либеральные взгляды Франсуа, он знает, что это человек, с которым можно говорить. Да, соглашается с ним Франсуа: в большинстве гимназий ученикам-евреям приходится теперь нелегко. Но пока ему удавалось оградить свое учебное заведение от политики. Теперь, правда, к нему хотят посадить одного преподавателя из Тильзита, которого он несколько побаивается. Тут он осекся

под взглядом ффрау Франсуа, которая, впрочем, вряд ли могла его слышать.

Жак Лавендель продолжал между тем развивать перед женой и перед невесткой Лизелоттой свою теорию. Клара, как все Опперманы, широкая, коренастая. Большая темно-русая голова с тяжелым лбом производит впечатление собранности, властности, рассудительности. В свое время, когда она вздумала выходить за Жака Лавенделя, все ее отговаривали. Но она настояла на своем. Как раз то, что другим казалось признаком дурных манер, независимость, с которой Жак говорил вещи, подсказанные ему здравым смыслом, его добродушная хитрость, — все в нем привлекало ее. Она говорила мало, но у нее на все были свои взгляды, и в нужный момент она проводила их в жизнь. Молча, одобрительно улыбаясь, слушает она то, что говорит Жак ей и Лизелотте. Всякое опасное политическое движение развивается на глазах у всех годами, а бывает, что и десятилетиями, и никогда никто вовремя не делал необходимых выводов. Изучая историю, он всегда изумлялся, как поздно люди, которых это касалось, начинали думать о спасении. Почему, черт возьми, многие французские аристократы так глупо дали революции застигнуть себя врасплох, когда каждому школьнику теперь известно, что уже по произведениям Руссо и Вольтера, за десятки лет до того, как революция разразилась, ее можно было совершенно точно предвидеть?

Мартин Опперман смотрел на обеих женщин, внимательно, с интересом слушавших Жака. Большое лицо Лизелотты с удлинненными серыми глазами рядом с массивной широкой головой ее золовки казалось особенно светлым. Какая она свежая, цветущая, и какой молодой кажется ее белая шея в небольшом вырезе черного платья. Она мельком улыбнулась ему, сверкнув крупными зубами, и тут же опять повернулась к Жаку Лавенделю. Мартин немного ревновал ее к шурину. В том, как она относилась к Жаку, он видел безмолвный укор себе, Мартину. Он знает силу этих восточных евреев, их безудержную жадность к жизни. Разумеется, это положительное качество. Но неужели ее не отталкивает

хриплый голос Жака, его напористость? Хрипота у него с войны: пулей задело горло. Прискорбно, что и говорить, но симпатичнее от этого Жак не стал. По крайней мере ему, Мартину. Но хорошо, конечно, что Жак приятен Лизелотте, хуже было бы, если бы он внушал ей отвращение. Вряд ли найдется более удачный брак, чем его, Мартина, с Лизелоттой. Может быть, потому, что он так строго держится правила не смешивать личную жизнь и дела. На Корнелиусштрассе он не говорит о Гертраудтенштрассе. Почему Лизелотту должен занимать вопрос, за сколько марок он продает стул: за тридцать шесть или же за сорок три. А все-таки досадно, что она этим не интересуется. Хорошо, конечно, что она так спокойно отнеслась к преобразованию оппермановских филиалов в фирму «Немецкая мебель». Но и чуть-чуть досадно.

Эдгар тоже проявил равнодушие. Густава это заденет сильнее, чем Эдгара, Жака, Лизелотту. Счастье, что у Густава столько других интересов, которые его отвлекают. Густав действительно очень славный. Несомненно, он пригласил обоих доверенных фирмы, чтобы сделать ему, Мартину, приятно. Густаву все легко дается: он счастливеец.

Мартин рад его благополучию. От души рад он удачливости и славе Эдгара. Но не всем такая удача. Ладно. Пусть он, Мартин, будет тот, кому досталась более трудная доля. Он вытаскивает пенсне, долго и тщательно протирает стекла, сует его обратно. Потом, подчиняясь внезапному порыву, подходит к Густаву, легко касается его руки и ведет его к Кларе и Жаку Лавенделю. Точно так же он ведет к ним Эдгара.

И вот они сидят все вместе, все семейство Опперман, сидят широко, прочно. Время бурное, оно не раз уже грозило смять их, но они выдержат: у них хватит устойчивости. Они и портрет старого Эммануила — одно, им не приходится краснеть перед этим портретом, и его краски из-за них не поблекнут. Они завоевали себе в этой стране место, хорошее место, но и заплатили за него хорошо. Они сидят прочно, довольные, уверенные.

Гости замечают семейную группу, отходят в сторону, и семья Опперман остается в своем кругу.

Подчеркнутый семейный характер этой сцены особенно понравился доверенному Бригеру. Он вообще любил солидарность во всех ее проявлениях. «Держаться друг за друга, — говорит он профессору Мюльгейму, — это самое главное. Мы, евреи, к счастью, держимся друг за друга. Как обезьяны. Поэтому нам ничто не страшно. Пусть нас сотни раз сбрасывают с дерева, один кто-нибудь взберется снова, а остальные, как обезьяны, уцепятся за его хвост, и тот, кто наверху, вытянет остальных». Фрау Эмилия Франсуа от всего сердца завидует женской половине оппермановской семьи и восхищается семейственностью ее мужской половины. Никто из мужчин Опперманов не станет бросаться неосторожными словами и подвергать опасности жену и детей. Рут Опперман большими требовательными глазами смотрит на дядю Густава; человека, который так ясно чувствует свою связь с семьей, она сумеет в конце концов ввести в ту более обширную семью, к которой он принадлежит по рождению.

И Сибилла Раух оглядывает семейную группу Опперманов. Тонкая и решительная, она смотрит на них исподлобья, зло, упрямо светятся ее глаза из-под высокого своевольного детского лба; никто бы не сказал теперь, что портрет Андре Грейда — карикатура. Странная мысль взбрела в голову Густаву — изобразить перед гостями трогательную семейную сцену. Сантименты. Мещанство. Он молод для своих лет, он хорошо сохранился, он любит ее, и она расположена к нему. Он помогает ей, он многое понимает в ее делах, она едва представляет себе, что бы она без него делала. Но теперь она видит, что он, в сущности, старый сентиментальный еврей. Она смотрит на Фридриха-Вильгельма Гутветтера, сравнивает. Густав в десять раз умнее, он куда лучше Гутветтера знает жизнь. Но большеглазый поэт, смешной и трогательный в своем старомодном наряде, весь как на ладони. В Густаве же все сложно, перепутано, одно на другом. Тут и семья, и наука, и спорт, и влечение к ней, Сибилле; и, где-то далеко, необыкновенная любовь к Анне. Где же настоящий Густав?

А Густав был совершенно счастлив. Он выпил не слишком много — он никогда не переходил определен-

ной границы, — но достаточно, чтобы почувствовать подъем. Жаль, что другим не видно, как он вполне, безоговорочно счастлив. Радость, которую ему доставляют женщины, друзья, родные, дом, эту радость может, в сущности, понять каждый. Радость, которую ему приносят книги или же работа над Лессингом, могут понять немногие. Счастье же сочетать в своей жизни и то и другое, обладать и тем и другим, понятно разве только Мюльгейму и Франсуа.

Но пусть лишь немногие понимают его счастье, он со своей стороны сделает все, чтобы его гости были возможно счастливее. И он решает угостить их коньяком Мюльгейма, коньяком 1882 года, года своего рождения.

Шлютер принес бутылку — огромную бутылку — и большие пузатые рюмки. Но так просто пить не стали. Доверенный Карл-Теодор Гинце придерживался традиции: позорно было бы такую драгоценную влагу, как этот ароматный старый французский коньяк, попросту влить в себя без нескольких приличествующих случаю слов. В наступившей тишине он скрипучим голосом, словно на учебном плацу, возглашает тост. В цветистых выражениях желает семье и фирме Опперман на долгие годы такого же процветания и благоденствия, так сказать, «просперити», в каком все видят их в настоящий момент. И только тогда гости выпили.

Сибилла Раух уехала вместо со всеми. По обыкновению, острили над ее маленьким разбитым автомобилем. Когда остальные машины скрылись из виду, она повернула назад. Она обещала Густаву побыть с ним немного вдвоем.

В комнатах было накурено, Шлютер и Берта пошли спать, приглашенная на этот вечер прислуга разошлась. Сибилла и Густав вышли в сад. Было очень холодно, луну заволокло туманной дымкой. Сосны Груневальда стояли недвижно и тихо. Сибиллу неприятно поразила перемена пейзажа. Густаву же он при всех переменях был мил.

Его пробирала дрожь. Они вернулись в комнаты, легли в постель. Густав лежал усталый, счастливый,



чувствуя на своей груди узкую продолговатую голову Сибиллы. Зевая, он в четвертый раз повторял с удовлетворением, как он рад, что благодаря договору на биографию Лессинга у него будет работа на предстоящий год.

Сибилла не спала. Она собиралась вернуться домой до рассвета, засыпать не стоило. Безжалостными, любопытными, чужими глазами разглядывала она спящего рядом человека. Так он действительно внушил себе, что биография Лессинга какая-то «задача»? Эта биография разрастется в толстый том. А у Фридриха-Вильгельма Гутветтера есть тоненький томик: «Перспективы белой цивилизации». Сибилла Раух презрительно выпятила нижнюю губу, — ребенок, невоспитанный ребенок.

Она встала и, поеживаясь от холода, бесшумно оделась. Густав спал.

Она прошла в кабинет: там оставалась ее сумка. На письменном столе лежал ворох исписанной бумаги. Сибилла была любопытна. Она стала рыться в нем. Нашла открытку: «Милостивый государь. Запомните на остаток дней ваших: «Нам дано трудиться, но не дано завершать труды наши». Искренне преданный вам Густав Опперман». Сибилла посмотрела на адрес и на подпись и, улыбаясь, вторично прочитала открытку. Ее друг, Густав Опперман, был забавный человек, он знал много хороших истин. Она снова тщательно разбросала бумаги, чтобы они лежали в том же беспорядке, что и раньше.

Холодной ночью она возвращалась домой в своем маленьком открытом плохоньком автомобиле. Ее друг Густав — баловень жизни, несомненно. Достаточно было поглядеть сегодня вечером на устроенную им выставку всего того, что делало его богатым и счастливым. Сибилла Раух была умная и скептически настроенная девушка. Она не щадила и себя самое, не переоценивала своего таланта. Она знала, что ее маленькие, изящные рассказы сделаны тщательнее, чем рядовая продукция. Она относилась к своей работе серьезно, и у нее было свое лицо. Но она лелеяла тайную мечту — написать крупную вещь, большое полотно, зеркало времени, роман. «Нам дано трудиться, но не дано завершать труды

наши». Заметьте это себе, сударыня. Помни об этом, Сибилла.

Ее друг Густав, вероятно, доведет до конца биографию Лессинга. Она улыбнулась безмолвно и зло. Она не завидовала ему.

В седьмом классе гимназии королевы Луизы во время пятиминутной перемены между уроками математики и немецкого шли возбужденные толки. Министерство наконец твердо наметило педагога, который заменит трагически погибшего доктора Гейнциуса; оно окончательно остановило свой выбор на докторе Бернде Фогельзанге, бывшем преподавателе тильзитской гимназии, том самом, о котором на вечере у Густава Оппермана директор гимназии Франсуа сказал, что он его немножко побаивается. Гимназистам не терпелось увидеть своего нового наставника. Для каждого в отдельности очень много зависело от того, что за птица этот новенький. Вообще говоря, берлинской молодежи с провинциальным преподавателем одно удовольствие. Она заранее чувствует свое превосходство над ним. Ну что, в самом деле, видал на своем веку этот тильзитский житель? Разве есть там у них такой Спортпаласт, метро, стадион, Темпельгофский аэропорт, Луна-парк, Фридрихштрассе? До мальчиков, кроме того, дошли слухи, что от доктора Фогельзанга пахнет национализмом. А в гимназии королевы Луизы, при либеральном, мягком директоре Франсуа, национализм был не в чести.

Гимназист Курт Бауман в сотый раз рассказывал случай, который произошел в гимназии кайзера Фридриха. Там гимназисты ловко показали Шультесу, их классному наставнику, где раки зимуют. Как только он начинал нести свой вздор, они, плотно сжав губы, принимались гудеть. Они упражнялись целыми днями и довели свое искусство до такого совершенства, что мощное гудение покрывало голос учителя, а по их лицам ничего нельзя было заметить. Сначала наставник Шультес полагал, что мимо летит аэроплан. Его старательно в этом мнении поддерживали. Но так как аэроплан неизменно появлялся как раз в те минуты, когда из уст

учителя лился мед национал-социалистских речей, Шультес почуял неладное. Ребята держались сплоченно. Усердно доискивались причины, терялись в догадках. Может быть, это отопление, или водопровод, или рабочие в подвале? Господина учителя заставили повертеться. Он был нервный и чувствительный, этот национал-социалист Шультес, их классный наставник. Когда гудение послышалось в четвертый раз, Шультес повернулся лицом к стене и заплакал. Вмешался педагогический совет, началось расследование, и ученики-националисты, конечно, предали товарищей. Зачинщиков наказали. Так или иначе, а ребята из гимназии кайзера Фридриха кое-чего добились. В общем, этот метод может пригодиться и в гимназии королевы Луизы, если тильзитский господин вздумает к кому-нибудь придирааться.

Генрих Лавендель заявил, что этот метод никуда не годится. Коренастый, светлоглазый, он, сидя на своей парте, ловким гимнастическим движением попеременно выбрасывал то одну, то другую ногу. Сравнительно небольшого роста, Генрих Лавендель казался все же гораздо крепче своих товарищей. Почти все мальчишки отличались бледностью, от них веяло спертым комнатным воздухом, — у него же был загорелый, свежий вид: в свободное время он всегда занимался спортом под открытым небом. Внимательно глядя на свои мелькающие ноги, Генрих рассудительно сказал:

— Нет, это никуда не годится. Раз-другой сойдет, а на третий непременно накроют.

— А что же годится? — спросил Курт Бауман, слегка задетый.

Генрих Лавендель перестал болтать ногами, оглянулся по сторонам, открыл очень красные губы и, пожав широкими плечами, бросил:

— Пассивное сопротивление, чудак. Единственно путная штука.

Задумчиво посмотрел Бертольд на своего двоюродного брата Генриха Лавенделя. Ему легко говорить. Во-первых, он американец, — у него еще и сейчас нет-нет да проскользнет английское слово, запечатлевшееся в памяти с раннего детства, — а во-вторых, он незаменимый вратарь футбольной команды восьмого класса.

Двух этих фактов достаточно, чтобы произвести впечатление на учителя-националиста. У него, Бертольда, положение сложнее. Не только потому, что новый учитель будет преподавать его любимые предметы — немецкий и историю, — а главным образом потому, что от этого нового учителя зависит, разрешат ли ему, Бертольду, сделать облюбованный им доклад «Гуманизм и двадцатый век».

Около Вернера Риттерштега собралась небольшая группа, человек пять-шесть. Это националисты седьмого класса. До сих пор им туго приходилось, теперь для них восходит заря. Они сбились в кучку. Перешептывание. Смешки. Многозначительные мины. Преподаватель Фогельзанг входит в президиум имперского союза «Молодые орлы». Это большое дело. «Молодые орлы» — тайный союз молодежи, окруженный атмосферой таинственности и приключений. Там пьют кровавый брудершафт, там существует тайное судилище: жестокая кара ждет каждого, кто выдаст хоть самое незначительное его решение. Все вместе ужасно увлекательно. Фогельзанг безусловно проведет в союз кого-нибудь из класса.

А сам доктор Бернд Фогельзанг сидит между тем в кабинете директора Франсуа. Он сидит прямо, выпятив грудь, уперев красные, покрытые рыжим пушком руки в ляжки, твердо уставившись бледно-голубыми глазами в Франсуа, стараясь обойтись наименьшим количеством резких движений. Директор Франсуа невольно ищет глазами саблю на бедре нового учителя. Бернд Фогельзанг невысок ростом, но этот ущерб он восполняет удвоенной молодцеватостью. Льянные усики отделяют верхнюю часть лица от нижней, длинный шрам рассекает надвое правую щеку, прямой пробор делит волосы.

Уже два дня тому назад, когда Бернд Фогельзанг представился директору Франсуа, он вынес неблагоприятное впечатление от этой гимназии. То, что он успел увидеть, подтверждало его самые мрачные предчувствия. Из персонала ему понравился лишь педель Мееллентин. Педель стоял навтыжку перед новым преподавателем.

— Служили? — спросил его Бернд Фогельзанг.

— В девяносто четвертом полку. Трижды ранен, — ответил педель Меллентин.

— Очень хорошо, — похвалил Фогельзанг.

Но пока это был единственный плюс. По вине этой вот шляпы, по вине директора Франсуа, все учебное заведение идет к чертям собачьим. Хорошо, что теперь наконец появился он, Бернд Фогельзанг, он уж наведет в этой лавочке порядок.

Директор Франсуа приветливо улыбался ему из-под густых белых усов. Фрау Эмилия наказала ему быть осторожным с новым преподавателем и установить с ним хорошие отношения. Нельзя сказать, что это легкая задача для господина Франсуа. Отрывистая речь нового учителя, бедный, рубленый и вместе с тем напыщенный язык, избитый словарь газетных передовиц были глубоко противны директору.

Новый преподаватель резким движением повернулся к прекрасному старинному мраморному бюсту, к уродливой умнейшей голове писателя и ученого Франсуа-Мари-Аруэ Вольтера.

— Нравится вам этот бюст, коллега? — вежливо спросил директор.

— Мне больше нравится второй, — растягивая слова и квакая на восточнопрусский лад, напрямик заявил новый преподаватель, указывая на бюст другого урода, на голову прусского писателя и короля Фридриха Гогенцоллерна. — Я понимаю, господин директор, — продолжал он, — почему вы против великого короля поставили его антипода. На одной стороне — высокий дух во всем его величии, а на другой — интеллектуальная бестия во всем ее ничтожестве. Величие немецкого духа подчеркивается этим контрастом. Но разрешите, господин директор, прямо сказать вам: мне было бы неприятно целыми днями лицедреть образину этого галла.

Господин Франсуа продолжал улыбаться с вымученной вежливостью. Трудно найти общий язык с этим новым преподавателем.

— Пожалуй, нам пора в класс: я хочу вас представить, — сказал он.

При входе директора и нового учителя ученики встали. Директор Франсуа произнес короткую речь,

больше о покойном докторе Гейнциусе, чем о докторе Фогельзанге. Он облегченно вздохнул, когда дверь отделила его от нового учителя.

Пока директор говорил, Фогельзанг стоял навзрыд, грудь колесом, неподвижно устремив вперед взгляд бледно-голубых глаз. После ухода Франсуа он сел, улыбнулся, стараясь показаться добрым малым.

— Ну, ребята, — сказал он, — надеюсь, мы столкнемся с вами. Рассказывайте-ка, что и как.

Большинству класса на первый взгляд новый паставник не понравился: высокий воротничок, судорожная выправка, — грош цена этому. Провинция, да еще самая отсталая, решили они. Но первые слова Фогельзанга нельзя было назвать неудачными: тон был взят правильный.

Фогельзангу повезло. В классе как раз читали «Битву в Тевтобургском лесу» Граббе, писателя первой половины девятнадцатого века, почти классика, — произведение сырое, неглубокое по мысли, но проникнутое подлинным огнем, местами очень образное. Битва в Тевтобургском лесу — великолепное вступление германцев на арену истории; эта первая крупная победа германцев над галлами была излюбленной темой Бернда Фогельзанга. Он сравнивает воспевающие эту битву произведения Граббе, Клопштока, Клейста. Вопросов почти не задает, говорит сам. Он не из тех, кто останавливается на тонкостях, как покойный Гейнциус, он старается зажечь класс своим воодушевлением. Время от времени он дает высказаться ученикам. Он держит себя по-товарищески, его интересует, хорошо ли знаком класс с отечественной литературой. Кто-то упомянул о неистовом клейстовском гимне «Германия — своим сынам».

— Великолепное стихотворение! — воскликнул горячо Фогельзанг. Он знал его наизусть и тут же продекламировал несколько сильных строф, исполненных дикой ненависти к галлам:

Пусть белеют вражьи кости  
По полям у всех дорог!  
В воду хищным рыбам бросьте  
Все, чем ворон пренебрег!

Рейн телами запрудите,  
Заградите путь волнам,  
К Пфальцу воды отведите,—  
Пусть границей будут нам!

Вот охота! Со стрелками  
Марш по следу за волками!  
Бейте! Высший судия  
Не осудит вас, друзья<sup>1</sup>.

Самозабвенно декламировал он слова ненависти. Шрам, рассекавший его правую щеку, налился кровью; из-под льянных усов над высоким воротником вылетали слова, но лицо оставалось неподвижным, как маска. Восточнопруссский протяжный говор придавал странное звучание декламации Фогельзанга. Весь его облик был немного смешон. Но берлинские юнцы тонко различают, кто искренен, а кто кривляется. Десятиклассники чувствовали, что человек на кафедре хоть и смешон, но говорит от всего сердца. Они не смеялись, они смотрели на него, на своего нового учителя, с любопытством и даже, пожалуй, с некоторым смущением.

Когда раздался звонок, у Бернда Фогельзанга сложилось впечатление: победа по всей линии. Он одолел девятый класс берлинской либеральной строптивой гимназии. Директор Франсуа, эта шляпа, наверно, удивится. Конечно, класс уже заражен разлагающим ядом берлинского интеллектуализма, но Бернд Фогельзанг уверен: он это дитяtko усмирят.

На пятнадцатиминутной перемене он вызывает к себе обоих учеников, чьи доклады стоят на очереди. «Слово устное важнее слова писаного», он свято придерживается этого изречения фюрера и придает поэтому особое значение докладам. С одним учеником он столковался быстро. Тот собирается говорить о Нибелунгах, и тема его называется: «Чему может научиться наше поколение на борьбе Нибелунгов с королем Этцелем?»

— Правильно,— говорит Фогельзанг.— Оно может многому научиться.

Ну, а этот сероглазый чего хочет? «Гуманизм и двадцатый век»? Фогельзанг всматривается в сероглазого.

---

<sup>1</sup> Перевод С. Ошерева.

Парень рослый, да что-то не вяжутся черные волосы с серыми глазами. На улицах Берлина такому молодчику есть, может быть, чем щегольнуть, но в рядах марширующей молодежи он был бы белой вороной.

— Как вы сказали: «Гуманизм и двадцатый век»? — переспрашивает Фогельзанг. — Но возможно ли в какой-нибудь час или того меньше разобрать с толком такую обширную тему?

— Господин доктор Гейнциус дал мне кое-какие указания, — скромно замечает Бертольд, сдерживая звучный, мужественный голос.

— Меня удивляет, что мой предшественник разрешил темы такого общего характера, — продолжает доктор Фогельзанг. Голос его звучит резко, квакающе, задиристо. Бертольд молчит. Что он может возразить? Доктор Гейнциус, который мог бы, несомненно, многое возразить, лежит на Штансдорфском кладбище, Бертольд сам бросил горсть земли на его могилу. Доктор Гейнциус помочь ему не может.

— И долго вы работали над этой темой? — допытывается квакающий голос.

— Доклад почти готов, — отвечает Бертольд. — Я ведь должен был читать его на следующей неделе, — поясняет он, и это звучит почти как извинение.

— Очень сожалею, — отчеканивает Фогельзанг, чрезвычайно вежливо, впрочем. — Я таких общих тем не люблю. Я принципиально против них.

Бертольд берет себя в руки, но не может сдержать легкое подергивание лица. Фогельзанг замечает это не без некоторого удовлетворения. Чтобы скрыть его, он повторяет:

— Мне очень жаль, что вы потратили столько труда. Но «*principiis obsta*». Каждый труд несет в себе награду.

Бертольд чуть побледнел. Но этот Фогельзанг прав. В неполный час едва ли уложишь «гуманизм». Фогельзанг Бертольду несимпатичен, но он все-таки молодец, он показал это на уроке.

— Какую тему предложили бы вы взамен, господин доктор? — спрашивает Бертольд. Голос его звучит хрипло.



— Надо подумать, — соображает Фогельзанг. — Кстати, как ваша фамилия? — Бертольд Опперман называет себя. Ага, думает учитель. Теперь все понятно. Отсюда и необычность темы. На эту фамилию он уже обратил внимание, просматривая классный журнал. Есть Опперманы-евреи и Опперманы-христиане. Долго копаться, однако, не приходится: еврей, разрушитель, враг наметанному глазу тотчас же виден. «Гуманизм и двадцатый век». Всегда они прячутся под маской громких слов.

— Как бы вы отнеслись, — говорит Фогельзанг возможно проще, товарищеским тоном: с этим опасным парнем нужно быть начеку, — как бы вы отнеслись к докладу об Арминии Германце? Что вы думаете о теме: «Чем является для нас, современников, Арминий Германец?»

Учитель Фогельзанг деревянно сидит на кафедре и пристально смотрит в лицо юноше. «Загипнотизировать он меня хочет, что ли? — думает Бертольд. — Арминий Германец, то есть, собственно, Герман Херуск. Впрочем, Арминий ли Германец, Герман ли Херуск, мне в высокой степени наплевать. Не по душе мне это». Бертольд сосредоточенно смотрит на рассеянное шрамом лицо учителя, на его прямой пробор, неподвижные бледно-голубые глаза и высокий воротничок. «Тема мне не по душе. По-моему, она не так интересна. Но если я скажу «нет», он безусловно сочтет это трусостью. Гуманизм для него чересчур общо. Арминий Германец. Это просто вызов мне. Ясно, голубчик. Я скажу, что мне нужно подумать. А он мне ответит: ладно, подумайте. И это будет означать: увиливаешь, брат. А разве я увиливаю?»

— Чем для нашего поколения является Арминий Германец? — повторяет квакающий голос Фогельзанга. — Ну, как, Опперман?

— Хорошо, — говорит Бертольд.

Но слово не успевает отзвучать, как он хотел бы взять его обратно. Надо было сказать: я подумаю. И он хотел так сказать, но теперь уже поздно.

— Превосходно. — Фогельзанг одобрительно кивает. У него сегодня удачный день: и тут он вышел победителем.

На расспросы товарищей, как он поладил с новым учителем, Бертольд отвечал односложно:

— Он ни то ни се. Сразу не поймешь,— и ничего больше не добавил.

Значительную часть пути домой Бертольд и Генрих проделывали обычно вместе. Мальчики ездили на велосипедах, привязав ремнями к рулю книги и тетради, то рядом, положив руку друг другу на плечо, то разделенные уличным движением.

— Он зарезал мне доклад,— сказал Бертольд.

— Да ну? — возмутился Генрих. — Вот свинья. Это ему на руку. Чистейшая подлость.

Бертольд не ответил. Их разъединили машины.

У ближайшего красного светофора они съехались снова. Стояли совсем рядом, одной ногой на тротуаре, зажатые автомобилями.

— Он предложил мне тему: «Чем является для нас Арминий Германец?» — сказал Бертольд.

— И ты согласился? — между автомобильными гудками бросил Генрих.

— Да,— сказал Бертольд.

— Я б не стал этого делать,— буркнул Генрих. — Гляди в оба: он хочет тебе свинью подложить.

Желтый свет, зеленый свет, они двигаются дальше.

— Ты представляешь себе, какой он? — спросил Бертольд.

— Кто? — удивился Генрих. Он думал о предстоящем футболе.

— Герман Херуск, конечно,— сказал Бертольд.

— Такой же дикарь, как и все они,— решил Генрих.

— А ты подумай об этом,— попросил Бертольд.

— О'кей,— сказал Генрих. Когда он проявлял особую сердечность, ему невольно приходили на ум слова из языка его детства.

На этом они расстались.

Бертольд единоборствовал со своей темой. Это была большая битва, где доктор Фогельзанг являлся врагом. Фогельзангу посчастливилось: поле сражения выбрал он; положение солнца и направление ветра были в его пользу; он знал местность лучше Бертольда. Фогельзанг был хитер. Бертольд отважен и настойчив.

Бертольд сидел, углубившись в книги, трактовавшие его тему: Тацита, Момзена, Дессау. Достиг ли Герман Херуск чего-нибудь в действительности? Победа принесла ему чертовски мало. Через каких-нибудь два года римляне снова стояли на Рейне. В общем, это была колониальная война, своего рода боксерское восстание, с которым римляне быстро справились. Арминия, побежденного римлянами, убили его же соотечественники; его тесть смотрел из императорской ложи, как жену и сына Арминия римляне вели за триумфальной колесницей.

Чем является для нас Арминий Германец? Общие фразы не удовлетворяли Бертольда. Ему нужны были осязаемые образы. Битва. Три легиона. Один легион — это около шести тысяч человек; с обозом и прочим — от десяти до двадцати тысяч. Болота, леса. Вероятно, что-нибудь похожее на битву под Танненбергом. Лагерь из повозок, клубящийся туман. Германцы больше всего ненавидели римских юристов. Они изобретали для них изощренные пытки. Германцы, читал Бертольд у историка Зеека, считали, что публичное право посягает на индивидуальную честь. Они не хотели никакого права. Это было главной причиной восстания.

Обязательно нужно представить себе лицо Германа, это ясно было Бертольду с самого начала. С большим напряжением не раз пытался он нарисовать себе образ Германа. Памятник в Тевтобургском лесу — большой цоколь с невыразительной статуей — ничего не давал.

— Дураком он не был, твой Герман, — говорил Бертольду Генрих Лавендель. — Но у этих молодцов голова работала как-то иначе, чем у нас. Рассудок дикаря. Одно можно сказать с уверенностью: он был хитер.

«Он обладал, вероятно, той северной хитростью, — размышлял Бертольд, — о которой теперь так много говорят. Доктору Фогельзангу она тоже свойственна».

Ночью Бертольд долго не мог заснуть (теперь это случалось с ним довольно часто): он лежал, включив только маленькую лампочку над кроватью. На нежном рисунке обоев, сотни раз повторяясь, фантастическая птица сидела на свисающей тонкой ветке. Если

немножко прищуриться, то контуры птичьего брюшка и линия свисающей ветки превращаются в очертания человеческого лица. Да, вот оно наконец: лицо Германа. Широкий лоб, плоский нос, большой рот, короткий, но сильный подбородок. Бертольд улыбнулся. Теперь он его обрел, этого Германа. Теперь доктору Фогельзангу не поздоровится. Бертольд уснул успокоенный.

До этого момента Бертольд ни с кем, кроме Генриха Лавенделя, не говорил о своих затруднениях. А теперь молчаливость его обратилась в свою противоположность. Только с родителями он по-прежнему отмалчивался. И отец и мать видели, конечно, что Бертольд чем-то расстроен, но они знали по опыту: если расспрашивать, он только заупрямится. Поэтому они ждали, пока он заговорит сам.

Но со многими другими Бертольд говорил, и ему пришлось услышать много различных мнений. Вот, например, умудренный жизненным опытом шофер Франcke. Для него битва в Тевтобургском лесу вовсе не проблема. «Ясно,— решительно отрезал он,— в те времена национализм имел еще, так сказать, свое оправдание». А Жак Лавендель, напротив, заявил, что варвары эти совершили ту же ошибку, которую семьдесят лет спустя совершили евреи, восстав, без всякой надежды на успех, против поработителей, обладавших блестяще организованными и превосходящими силами. «Такие вещи никогда не кончаются добром»,— заключил он, склонив голову набок, полузакрыв голубые глаза.

Гораздо симпатичнее этого трезвого толкования казалось Бертольду мнение его дяди Иоахима. Бертольд уважал и любил Иоахима Ранцова, брата своей матери. Директор департамента Ранцов, сухопарый, высокий, холеный, сдержанный в словах и поступках, завоевал сердце племянника тем, что обращался с ним как со взрослым. В рассуждениях дяди Иоахима об Армии Германце было много романтики; Бертольд вполне понимал их, но они производили на него впечатление.

— Видишь ли, друг мой,— сказал дядя Иоахим, узкой рукой осторожно наливая Бертольду рюмку креп-

кой водки. — То, что в конце концов дело приняло скверный оборот, еще ничего не доказывает:

Один взывает: «Что потом?» — «Кто прав?» — другого зов. И этим отличается свободный от рабов.

Герман был прав. Только через это восстание, пусть даже с риском позднейших поражений, германцы осознали себя, выкристаллизовались, ощутили себя. Без этого восстания они никогда не вошли бы в историю, они безымянно растворились бы в других народах. Они существуют только благодаря Герману, он дал германцам имя. А имя, слава — вот единственное, что идет в счет. Несущественно, каким был настоящий Цезарь, живет миф о Цезаре.

Значит, если Бертольд правильно понял дядю Иоахима, важно не только подлинное лицо Германа, но и лицо статуи в Тевтобургском лесу. Значит, недостаточно одного образа Германа, который он уловил. Это опять путало. Бертольд был еще далек от цели.

Случайный разговор с кузиною Рут Опперман тоже не помог Бертольду разрешить мучившие его вопросы. Рут относилась к нему свысока, обращалась с ним, как с маленьким мальчиком, воспитанным в неправильных представлениях. Но он был юн, его безусловно можно было освободить от предрассудков, показать ему, где правда, которая ведь так проста. Рут, как могла, старалась спасти брата. Бертольда раздражала эта некрасивая девушка с резкими манерами. Тем не менее он всегда искал случая поговорить и поспорить с нею. Сильной логикой она, по его мнению, не отличалась, но в ней была целеустремленность. У нее было свое лицо, она настоящая.

По мнению Рут, Герман Херуск шел единственно правильным путем. Он поступил так, как за несколько столетий до него поступили Маккавеи: он восстал против угнетателей, выбросил их из страны. А как же иначе поступать с угнетателями?

Глядя на Рут, на ее большие, горящие глаза, на смуглое лицо, на слегка растрепанные, по обыкновению, волосы, Бертольд невольно думал о германских женщинах, которые вместе со своими мужьями шли на

войну — защищать укрепления. У германок были, конечно, белокурые волосы, светлая кожа, голубые глаза; но у них, вероятно, волосы тоже были всегда чуть растрепаны, глаза большие и горящие, и выражение, наверное, такое же, как у Рут.

Права была Рут, прав дядя Иоахим, да и сам он, Бертольд, тоже восхищался Германом. Но путало то, что прав был, к сожалению, и дядя Жак Лавендель: сколько ни побеждал Герман, а в конце концов толку от этих побед действительно никакого не вышло.

В эти дни перед докладом враг — доктор Фогельзанг — вел себя безупречно. Бернд Фогельзанг боялся действовать опрометчиво. Гимназия королевы Луизы представляла собой опасную территорию, продвигаться следовало чрезвычайно осторожно, с северной хитростью. В каждом школьнике Фогельзанг подозревал противника, каждого прощупывал. Из всего класса он отметил только двух юношей, достойных войти в ряды «Молодых орлов»: Макса Вебера и Вернера Риттерштега.

Вернер Риттерштег, бледный, болезненный, с пискливым голосом, был самым высоким в классе. «Долговязый» — прозвали его товарищи. Доктор Фогельзанг с самого начала произвел на него сильное впечатление. Вернер Риттерштег с такой собачьей преданностью смотрел выпученными глазами на нового учителя, что тот сразу обратил на него внимание. Бернд Фогельзанг ценил слепое повиновение авторитету, оно было для него признаком вассальной преданности. Он удостоил гимназиста Риттерштега зачисления в ряды «Молодых орлов».

Единственный сын состоятельных родителей, стремившихся вывести его в люди, Вернер Риттерштег, кроме своего длинного роста, до сих пор ничем не выделялся среди товарищей. Средних способностей, тяжелодум, он при покойном учителе Гейнциусе оставался в тени. Вступление в ряды «Молодых орлов» было первым крупным успехом в его жизни. Узкая грудь его сразу выпятилась.

Его избрал доктор Фогельзанг; всех других, за одним-единственным исключением, он считал недостойными.

Конечно, таинственность, окружавшая союз «Молодых орлов»: кровавый брудершафт, тайные обряды, тайное судилище, — все это очень привлекало школьников, и они, разумеется, завидовали Веберу и Риттерштегу. Даже не склонный увлекаться Генрих Лавендель и тот, услышав о приеме их в союз, воскликнул: «Lucky dogs!»<sup>1</sup>

Долговязому очень хотелось, чтобы Генрих Лавендель не ограничился одним этим восклицанием. Именно на Генриха ему хотелось произвести впечатление. Риттерштег завидовал его силе и ловкости, восхищался его гибкой, коренастой фигурой, его мастерскими прыжками, поворотливостью, стремительностью. Настойчиво и неуклюже добивался он расположения Генриха Лавенделя. Даже по-английски выучился ради него. Но и тогда, когда он однажды приветствовал Генриха: «How are you, old fellow?»<sup>2</sup> — тот не проявил к нему никакого интереса. Риттерштега мучило это равнодушие, которого даже его успех не мог поколебать.

Кроме посвящения Вебера и Риттерштега в «Молодые орлы», никаких событий в классе не произошло. Гимназисты быстро привыкли к своему наставнику-нацисту. Он не пользовался особой любовью класса, но и не был особенно нелюбим, — он был учителем, как все другие учителя, и им перестали заниматься. Феноменальные достижения Генриха Лавенделя в футболе волновали класс больше, чем суждения Фогельзанга.

Успокоился и директор гимназии Франсуа. Мягкий, миролюбивый, сидел он в просторном директорском кабинете между бюстами Вольтера и Фридриха Великого. Вот уже почти три недели, как Фогельзанг здесь, и пока не произошло ни одной неприятности. Одно огорчало господина Франсуа: ужасный немецкий язык доктора Фогельзанга и его единомышленников, этот казарменный, канцелярский, штампованный новый немецкий язык. Перед сном, сидя на кровати и бережно спуская помочи, он горестно жаловался жене:

— Этот человек погубит все, что я дал мальчикам.

---

<sup>1</sup> Счастливые, черти! (англ.)

<sup>2</sup> Как поживаешь, старина? (англ.)

Мысль и слово тождественны. Семь лет старались мы научить наших мальчиков простому и ясному немецкому языку. И вдруг министерство выпускает на них этого тевтона. Черепу новорожденного можно придать любую форму: удлиненную или круглую. Как знать, усвоили ли дети немецкий язык настолько, чтобы оказать сопротивление этому искаженному, псевдонемецкому языку? Мне горько подумать, что им придется вступить в жизнь без ясных понятий, выраженных ясными словами.— Добрые глаза господина Франсуа грустно смотрели сквозь неоправленные толстые стекла очков.

— Дело сейчас не в этом, Альфред,— решительно заявляла жена.— Радуйся, что ты с ним кое-как поладил. В наше время сколько ни будь осторожен, все мало.

Жена педеля Меллентина была разочарована. Слушая рассказы мужа, она ждала, что новенький сразу же заявит о себе каким-либо великим делом. Но педель Меллентин не так легко менял свое мнение.

— Танненберг тоже не в день был взят. Этот себя еще покажет,— убежденно сказал он.

Фрау Меллентин успокоилась и в разговорах с друзьями не упускала случая сообщить мнение мужа; он безусловно обладал нюхом: всегда за два дня чуял, откуда ветер подует.

В одиннадцать часов двадцать минут господин Маркус Вольфсон, продавец филиала мебельной фирмы Опперман на Потсдамерштрассе, начал обслуживать фрау Элизабет Герике, пожелавшую купить мужу к рождеству стул. Стул или кресло, она сама хорошенько не знала. Несомненно было одно, это должно быть что-нибудь из мебели и специально в подарок ее мужу. Господин Вольфсон продемонстрировал ей стулья и кресла всевозможных видов и фасонов. Но фрау Герике была женщина с недостаточно решительным характером, к тому же такого рода покупка была для нее праздником, и ей хотелось возможно дольше продлить его. Ей нравилось, что ее так усердно обхаживают. Господин Вольфсон и в самом деле хлопотал, не жалея сил.



Маркус Вольфсон был хорошим продавцом: обслуживание клиента он считал делом своей жизни.

В одиннадцать часов сорок шесть минут он мог поздравить себя с успехом: клюнуло. Господин Вольфсон увидел это наметанным глазом продавца-психолога с долголетним опытом. Фрау Герике — хотя он и потратил на нее столько времени и красноречия — оказалась для него сущей находкой, ибо она клюнула на кресло стиля барокко, модель № 483. Пять лет назад оппермановские мастерские выпустили довольно большую серию кресел барокко, модель № 483. Кстати сказать, эта модель чуть было не привела к ссоре между шефами фирмы. Старший владелец фирмы доктор Густав Опперман, человек покладистый, обычно не вмешивавшийся в дела фирмы, назвал это кресло компрометирующей безвкусицей, и, в сущности, оно-то и послужило поводом для открытия отдела художественной мебели и для приглашения доктора Фришлина. Впрочем, продавцу Маркусу Вольфсону модель № 483 нравилась: кресло было видное, а мещанская клиентура фирмы Опперман любила известную пышность. Как бы то ни было, модель эта успеха не имела. Кресло занимало много места, квартиры были небольшие, можно было найти менее громоздкие и более дешевые кресла, в которых к тому же и сиделось удобнее. Усилия соблазнить клиентуру креслами барокко ни к чему не привели. Пришлось продавать их с убытком, за половинную цену. Продавцы, находившие на них покупателей, получали пять процентов премии.

И вот господину Вольфсону, видимо, удастся продать такое кресло. В красноречивых выражениях описывает он, какой изысканный вид приобретает каждая комната, которую украшает это кресло. Он пригласил фрау Герике попробовать, как удобно в нем сидится; он не может не сказать ей, так, к слову, какой аристократический вид у нее в этом кресле.

В двенадцать часов восемь минут он у цели. Фрау Герике заявила, что готова приобрести кресло барокко, модель № 483, стоимостью в пятьдесят девять марок.

Итак, господин Маркус Вольфсон потерял восемь минут своего обеденного перерыва, который начинался

в двенадцать часов и кончался в два часа. Но он об этом нисколько не сожалеет. Наоборот, он испытывает душевный подъем. Ведь он сразу почуял, что несговорчивая покупательница клюнет на кресло барокко, модель № 483, надоевшее всем в магазине, как бельмо на глазу. Двенадцать часов восемь минут; восемь минут потеряно. Но зато он заработал четыре марки семьдесят пять пфеннигов, а это выходит пятьдесят девять пфеннигов в минуту. Неплохой заработок. Если бы ему за каждую минуту так платили, он охотно пожертвовал бы всем обеденным перерывом.

Господин Вольфсон спешит в кафе Лемана, где он обычно проводит свой обеденный перерыв. По дороге он покупает «Бе-Цет ам миттаг». «Бе-Цет» есть и в кафе Лемана, но она там постоянно занята, а сегодня, после удачи с креслом барокко, он может позволить себе купить газету. Он занимает свое излюбленное место у окна, разворачивает бутерброды, которые жена дала ему с собой, прихлебывает горячий кофе. Господин Леман, владелец кафе, собственной персоной подходит к его столику.

— Все ли в порядке, господин Вольфсон? — осведомляется он.

— Все в порядке, — подтверждает господин Вольфсон.

Жуя, прихлебывая, пробегает он газету. Число безработных растет: этот кризис прямо-таки ужасен. Его лично кризис, конечно, не пугает. Он уже двадцать лет служит в оппермановской фирме, его положение прочно. Несмотря на кризис, он сегодня утром опять заработал четыре марки семьдесят пять пфеннигов премиальных. За ноябрь он уже седьмой раз получает премиальные. Он вполне доволен собой.

Перелистывая газету, господин Вольфсон ловит в зеркале свое отражение. Он не очень мнит о себе, но внешность у него довольно сносная. Конечно, некоторые из его коллег интереснее. Из зеркала на него смотрит господин ниже среднего, даже маленького роста, с темным цветом лица, черными, живыми глазками, черными, расчесанными на пробор, сильно напомаженными волосами и черными усиками, безуспешно претендующими на бойкость. Горе господина Вольфсона — его

мелкие, редкие, плохие зубы. И самое неприятное: в верхней челюсти, как раз посередке — щербина. В больничной кассе ему обещали вставить зуб. Дантист Шульце, коллега по сберегательному союзу «Старые петухи», объяснил ему, что лучше сделать так называемый мост. Но больничная касса на это не пойдет, придется ему из собственного кармана выложить денежки. Мост стоит вообще около восьмидесяти марок, но Шульце из чисто коллегиальных чувств — ведь они в одном союзе — сделает ему за семьдесят марок; может быть, господину Вольфсону удастся выторговать еще пять марок. Семьдесят марок — это большие деньги, но расходы на собственное здоровье — в первую очередь. То, что ему вставят в рот, он будет носить всю жизнь и даже после смерти, до Страшного суда. Если он проживет еще тридцать пять лет, весь расход сведется к двум маркам в год, а с процентами и с процентами на проценты — маркам к восьми. Четыре марки семьдесят пять пфеннигов неплохие премиальные, а он получает их в текущем ноябре вот уже седьмой раз. Мост потребует, вероятно, шесть-семь сеансов. Перед рождеством нечего даже думать затевать эту канительную штуку. Конечно, было бы замечательно заново отделать свой фасад.

Вообще говоря, господин Вольфсон нисколько не заблуждается насчет своей внешности — ей он меньше всего обязан деловыми и личными успехами. Он отвоевал их у судьбы способностями и неутомимой энергией. Он изучил искусство обслуживания покупателя до тонкости. Прежде всего — не жалеть сил. Ни под каким видом не пасовать. Ни под каким видом не выпускать из рук покупателя, как бы тот ни капризничал. Выбор в оппермановских магазинах достаточно богатый. Если покупатель отклонил двадцать вещей, всегда можно найти двадцать первую. И не искать оправдания в усталости.

Вольфсон покончил с бутербродами, но по случаю тех самых четырех марок семидесяти пяти пфеннигов он может, пожалуй, позволить себе сегодня шоколадное пирожное со взбитыми сливками. Он заказывает.

Приятное предвкушение пирожного ненадолго омрачается одной заметкой в его «Бе-Цет». Он с негодованием читает, что нацисты пытались на ходу выбросить

из вагона подземной железной дороги господина еврейской наружности только потому, что тот будто бы с отворачиванием отвернулся, когда они пропели строфу своего гимна: «Всадив еврею в горло нож, мы скажем снова: мир хорош». Но господин оказался не из слабеньких; к нему на помощь подоспели другие пассажиры, и хулиганам не только не удалось выполнить свое намерение, но они, как с удовлетворением констатировала газета, были задержаны полицией и понесут наказание.

Маркуса Вольфсона охватывает тревожное чувство. Впрочем, он быстро успокаивается. Случай в подземке — единичное происшествие. В общем, политическое положение в данный момент благоприятнее, чем все последнее время. Рейхсканцлер Шлейхер правит твердой рукой. Нацисты накануне полного краха. Вольфсон читает об этом три раза в день: утром «Моргенпост», днем «Бе-Цет» и вечером «Ахт-ур-абендблатт» приводят неопровержимые доказательства того, что нацисты ни при каких условиях не добьются дальнейших успехов.

Господин Вольфсон пребывает в полном ладу с собой и со всем миром.

Разве у него нет оснований быть спокойным и довольным? Если к нему заглянет сегодня вечером Мориц, его шурин Мориц Эренрайх, он ему задаст перцу. Мориц Эренрайх — наборщик «Объединенных типографий», сионист, член спортивного общества «Маккавей», видит немецкие дела в самом черном свете. Что, в сущности, пугает таких людей, как Мориц Эренрайх? Насколько хулиганов хотели выбросить из вагона еврея. Ну и что же? Их арестовали, и они понесут наказание.

Лично на себе господин Вольфсон пока ничего плохого не испытал. У него великолепные отношения со всеми сослуживцами. С ним приветливы в кафе Лемана и в сберегательном союзе «Старые петухи».

Но что безусловно гораздо важнее — к нему расположен управляющий домом Краузе. Просто счастье, что он получил в этих новых домах на Фридрих-Карлштрассе в Темпельгофе свою чудесную трехкомнатную квартирку. Восемьдесят две марки — да ведь это даром, милейший. Постройка этих домов субсидировалась го-

родскими властями. Квартирная плата в них ниже обычных процентов на вложенный в постройку капитал. Даром, даром, милейший. Фирма Опперман добилась для своих служащих двадцати таких удешевленных квартир; своей Вольфсон обязан доверенному Бригеру, то есть, в сущности, своему служебному рвению.

К сожалению, квартирные контракты заключались на срок не свыше трех лет. Из них двадцать месяцев уже прошло. Но господин Вольфсон на короткой ноге с управляющим Краузе. Он знает, чем взять его: господин Краузе любит рассказывать анекдоты, очень старые и постоянно одни и те же; трудно, правда, всегда выслушивать их «с интересом» и смеяться как раз вовремя — не слишком рано и не слишком поздно. Но Маркус Вольфсон это умеет.

Он слизывает остатки сливок с усов, зовет кельнера, чтобы расплатиться. Настроение у него, когда он вытаскивает портмоне, еще поднимается. Дело не только в семи премиях: весь баланс в ноябре у него превосходен.

Господин Вольфсон после всех отчислений получает двести девяносто восемь марок в месяц. Кроме того, всякие премиальные и проценты дают в среднем еще около пятидесяти марок. Триста марок он отдает ффрау Вольфсон на содержание семьи в четверо душ; таким образом, ему остается, за вычетом месячного проездного билета, около сорока марок на кафе и прочие карманные расходы. Раз в неделю господин Вольфсон отправляется обычно в ресторан «Старый Фриц» и режется там вскат со «старыми петухами». Он искусный игрок, и иногда карточными выигрышами, хотя двадцать процентов из них отчисляется в кассу фрейна, увеличивает свой месячный доход марок на шесть-семь. В ноябре ему чертовски повезло. При месячном отчете ффрау Вольфсон он спокойно может утаить от нее целых восемь или даже десять марок.

В ожидании кельнера он сладострастно обдумывает, что бы такое предпринять с утаенными денежными излишками. Он мог бы, например, купить несколько галстуков, давно уже ласкавших его глаз. Он мог бы пригласить в кафе фрейлен Эрлбах из бухгалтерии. Или, скажем, еще разок поставить на заграничную лошадку

в табачной лавке Мейнеке, где принимают ставки. Ясно. Это как раз то, что нужно. Восемь — двенадцать марок — дело хорошее, но жирным станет кусок, когда они превратятся в восемьдесят — сто марок. Маркус Вольфсон — человек решительный. Это знают его коллеги в магазине, это знают и «старые петухи». Сейчас же, еще до возвращения в магазин, он по дороге забежит к Мейнеке и поставит на лошадку.

Господин Мейнеке обрадованно встречает своего постоянного клиента.

— Давно не виделись, господин Вольфсон. На кого думаете ставить? — спрашивает он. И тут же заявляет: — В большом спросе сейчас «Маркезина», но вы ведь знаете, дорогой господин Вольфсон, у меня на этот счет никогда нет мнения.

Нет, на «Маркезину» господин Вольфсон гроша ломаного не поставит. Там есть лошадь «Quelques Fleurs»<sup>1</sup>. Господин Вольфсон гордится своим изысканным французским произношением.

— Ну, — говорит он, — так я определенно за «Quelques Fleurs».

Вторая половина дня, в отличие от шумного и суетливого утра, прошла в магазине тихо. А потом наступили лучшие часы — вечер.

Уже по дороге домой, как ни прокурен и ни тяжел воздух в метро, Маркус Вольфсон сладостно предвкушает чувство уюта, которое охватит его, как только он переступит порог своей квартирки. Он поднимается по лестнице к выходу. Вот и знакомые деревья; дальше — заросший травой участок. В будущем году этот участок начнут застраивать. Он повернул на Фридрих-Карлштрассе. А вот и дорогой его сердцу ряд домов. Да, Маркус Вольфсон любит эти дома, он горд их двумястами семьюдесятью квартирами, похожими одна на другую, как коробки от сардин. И сам он в своей квартирке как сардина в коробке. «My home is my castle»<sup>2</sup> — одна из немногих фраз, запомнившихся ему после трехлетнего обучения в реальном училище.

---

<sup>1</sup> Букет цветов (франц.).

<sup>2</sup> Мой дом — моя крепость (англ.).

Он поднимается по лестнице. С площадки каждого этажа ему навстречу несетя запах кушаний, через двери слышно радио. На четвертом этаже справа — его дверь.

Раньше чем отпереть ее, он, как всегда, чувствует легкий приступ ярости. На двери рядом красуется карточка: «Рюдигер Царнке». С ненавистью смотрит господин Вольфсон на эту визитную карточку. Он человек спокойный, но эту карточку он бы с удовольствием сорвал. Со всеми или по крайней мере с громадным большинством обитателей этих домов он чувствует себя как с родными братьями, он разделяет их радости, их заботы, их взгляды. Эти люди — его друзья, а господин Царнке — враг. Не только потому, что шурин Царнке всеми средствами стремится завладеть квартирой рядом с Царнке, его, господина Вольфсона, квартирой, но еще и потому, что господин Царнке по малейшему поводу любит вывешивать из всех своих трех окон флаги со свастикой. Этот Царнке постоянно нарушает покой господина Вольфсона, злит его. Стены тонкие, днем и ночью доносится из соседней квартиры громкий скрипучий голос Царнке. Господин Вольфсон часто встречает своего соседа на лестнице и при всем желании не может не отметить, что у господина Царнке крупные, здоровые белые зубы.

Бросая злобные взгляды на визитную карточку соседа, господин Вольфсон отпирает дверь своей квартиры. Из кухни звонким, певучим голосом кричит ему жена:

— Ты уже здесь, Маркус? — Вольфсон часто потешается над этим нелепым вопросом.

— Нет, — говорит он с добродушной насмешкой, — я еще не здесь.

Жена возится на кухне. Он снимает воротничок, сменяет коричневый выходной костюм на домашний, старый и потертый, сбрасывает ботинки и влезает в удобные стоптанные комнатные туфли. Шаркая, проходит в другую комнату, с улыбкой смотрит на спящих детей: пятилетнюю Эльзхен и трехлетнего Боба, шаркая, бредет обратно. Садится в черное вольтеровское кресло, купленное по льготной цене у Опперманов, удивив-

тельно удачная покупка, поистине находка, как говорится, «мечие». С наслаждением вдыхает Маркус запах тушеного мяса, так называемой кассельской грудинки. Радио включать не приходится: он пользуется радио господина Царнке. Сегодня приятно-громкая музыка; он заглядывает в газету: ага, «Лоэнгрин».

Фрау Мириам Вольфсон, — господин Вольфсон зовет ее Марией, — деловитая, довольно полная, рыжеватая блондинка, вносит обед. На стол ставится запотевшая бутылка пива, холодного, аппетитного. Господин Вольфсон раскладывает перед собой газету, ест, пьет, читает, слушает радио, а заодно и жену. Все его существо наслаждается вечерним уютом.

Впрочем, то, что ему многословно излагает ффрау Вольфсон, как раз не очень приятно: ффрау Вольфсон ожидала даже, что он будет ворчать. Она говорит о необходимости приобрести для пятилетней Эльзхен новое зимнее пальто. Стыдно смотреть, в каком пальто бегают Эльзхен: она выросла из него. Ффрау Хоппегарт уже подпустила шишечку на этот счет. «Ваша дочка похожа на лопнувшую колбаску», — довольно метко определила ффрау Хоппегарт. Пора наконец Бобу унаследовать пальто Эльзхен. Ффрау Вольфсон начала излагать свои соображения еще до того, как Тельрамунд бросил обвинение Эльзе Брабантской; когда Лоэнгрин вызвал на бой Тельрамунда, она как раз высказывала свои соображения о том, сколько может стоить пальто для Эльзхен. По ее расчетам, марок восемь — десять. Ну, конечно, господин Вольфсон ворчит. Но ффрау Вольфсон сразу видит, что, в общем, не страшно. Уже к концу первого акта «Лоэнгрина» супруги договорились: к рождеству пальтишко для Эльзхен будет куплено.

Ффрау Вольфсон убрала со стола. Маркус Вольфсон снова уселся в черное вольтеровское кресло дочитывать газету. Эльза и Лоэнгрин под звуки свадебного марша уже вступали в свою опочивальню, витавшие в комнате приятные ароматы кассельской грудинки с тушеной капустой почти развеялись, а он все еще задумчиво глядел на знакомое серо-бурое влажное пятно под потолком, расплывающееся по стене. Оно появилось вскоре после переезда; сначала совсем крохотное, а теперь вон



как выросло. И пришлось оно как раз над красивой картиной под названием «Игра волн», на которой плавающие боги и богини играют в салки. Господин Вольфсон купил ее в художественном отделе мебельной фирмы Опперман. Ему уступили ее по исключительно дешевой цене, несмотря на прекрасную раму. Месяц назад расстояние между картиной и пятном было по крайней мере с полметра, а теперь там и четверти не будет. Маркус Вольфсон много дал бы, чтобы узнать, как обстоит дело с пятном по ту сторону стены, у соседа Царнке. Но, к сожалению, об этом нечего и думать. С этой публикой говорить невозможно: они на ходу выбрасывают людей из вагонов. Господин Вольфсон беседовал с управляющим Краузе относительно пятна. Тот обещал ему, что весной будет произведен ремонт; вообще же, по его мнению, такие пятна — пустяки: порядочная квартира так же немислима без пятна, как святая дева без младенца. Возможно, но хорошего в пятне тоже мало. На днях придется опять поговорить с управляющим Краузе.

Размышления Маркуса Вольфсона были прерваны приходом его шурина Морица. Фрау Вольфсон поставила на стол вторую бутылку пива, и мужчины заговорили о мировых событиях, о хозяйственном положении в стране. Наборщик Мориц Эренрайх, маленький, коренастый, с решительным, живым лицом, изборожденным множеством складок и морщин, с карими острыми глазами и всклокоченными волосами, шагал, широко расставляя ноги, из угла в угол, по обыкновению ни с чем не соглашаясь, полный самых мрачных предчувствий. Он не склонен рассматривать случай в метро как исключение. Такого рода подвиги, предсказывает он, станут теперь в Германии обычным делом, как в свое время в царской России. Жечь и громить будут на Гренадиштрассе, на Мюнцштрассе. Не пощадят никого и на Курфюрстендамме, — тамошним господам тоже придется кое-что пережить.

Маркус Вольфсон раскошелливается еще на бутылку пива. Радуетсч чмоканию, с каким пробка выскакивает из горлышка, и с добродушной иронией смотрит на приземистую боксерскую фигуру шурина.

— Что же, по-твоему, нам делать? — спрашивает он. — Стать разве всем «маккавеями» и обучаться боксу?

Мориц Эренрайх пропускает мимо ушей ничего не стоящие шутки Маркуса Вольфсона. Он хорошо знает, что нужно сделать: надо иметь в кармане пятьсот английских фунтов, которые дают эмигрантам право на въезд в Палестину. Падение английского фунта в настоящее время очень приблизило Морица к осуществлению его планов.

— Если бы вы взялись за ум, — ты, Маркус, и ты, Мириам (он так же упорно называет сестру Мириам, как господин Вольфсон называет ее Марией), вы бы поехали со мной.

— Не прикажешь ли мне засесть на старости лет за древнееврейский? — посмеивается господин Вольфсон: он сегодня в хорошем настроении.

— Тебе все равно никогда не осилить его, — язвит Мориц Эренрайх. — А вот детей своих ты напрасно не учишь древнееврейскому. Кстати, на наших курсах занимается одна из Опперманов; она неплохо успевает.

То, что одна из Опперманов изучает древнееврейский, заставляет господина Вольфсона задуматься. С интересом выслушивает он кое-какие сведения, которые сообщает Мориц Эренрайх. Палестина, как оказывается, одна из немногих стран, не затронутых кризисом. Вывоз растет. Развивается там и спорт. Господин Эренрайх надеется в скором времени присутствовать там на спортивной олимпиаде. Мориц говорит горячо, захлебываясь, стремительно бежит из угла в угол: он заражает своей горячностью.

Но господину Вольфсону даже и во сне не снится покинуть Берлин. Он любит этот город, любит фирму Опперман, любит дом на Фридрих-Карлштрассе, свою семью, свое жилище. «My home is my castle». С удовольствием смотрит он на картину в красивой раме, на богов и богинь, играющих в салки. Если бы не пятно на стене и не господин Царнке за стеной, он был бы безгранично счастлив.

Облокотившись на письменный стол, сидит профессор Эдгар Опперман в директорском кабинете городской клиники. Нахмурившись, смотрит он на грудку деловых бумаг. Насколько он любит все, что связано с его деятельностью врача-хирурга, настолько ненавидит этот директорский кабинет, канцелярщину, администрирование. Старшая сестра Елена стоит неподалеку от двери, широкая и решительная. Каждое утро она испытующе всматривается в своего профессора, словно перед ней только что доставленный в больницу интересный больной. Она знает, что оба лица Эдгара Оппермана, которые он чаще всего показывает внешнему миру: одно — серьезное, строгое, сосредоточенное, другое — подчеркнуто жизнерадостное, уверенное, — это маски. Да, он неутомимый, жизнерадостный работник, от природы в нем заложена уверенность в себе, но для того, чтобы целый день демонстрировать свою уверенность, свою энергию перед сотнями все новых и новых людей, требуется напряжение, и она, сестра Елена, знает, что его жизнерадостность часто бывает деланной, судорожной.

В общем, сестра Елена ладит со своим профессором. Но когда он у письменного стола, с ним трудно. Она видит вертикальные складки над переносицей, они ей отлично знакомы. Плохой признак. Сейчас немногим больше одиннадцати, а профессор Опперман успел провести прием, сделал два-три частных визита, и впереди у него еще напряженный рабочий день. Но сестра Елена знает, что первый запас энергии у него уже иссяк, что ему нужно снова зарядиться. Он переутомлен. Ее профессор всегда переутомлен. Если бы хоть ффрау Гина Опперман не была такой тряпкой. Здесь, в клинике, сестра Елена еще как-то может его оградить, но бессовестный народ разнюхал все лазейки: они звонят к нему на квартиру, и ффрау Гина, эта жалкая курица, не может ни перед кем его отстоять: он вечно готов выехать к больному.

Сегодня Эдгар Опперман с особым отвращением сидит над своей корреспонденцией. Из года в год обстановка работы все сложнее и сложнее. Мелочи, которые раньше автоматически улаживались, требуют теперь

канительной, противной возни. Сурово, словно перед ним плохо подготовленные студенты, оглядывает он письма.

Сестра Елена решительно подходит к письменному столу. Показывает на записку, на которой что-то размашисто написано и трижды подчеркнуто красным карандашом.

— Вы это видели, господин профессор?

Профессор Опперман, не меняя положения широко раздвинутых рук, не меняя положения большой, массивной головы, скашивает глаза на записку и говорит угрюмо:

— Да.

В записке сказано: «Господин тайный советник Лоренц заглянет сюда в двенадцать часов. Просит господина профессора Оппермана, если возможно, быть к этому времени».

Эдгар Опперман недовольно сопит:

— Это, вероятно, по поводу Якоби?

— По какому же еще? — строго говорит сестра Елена. — Дело Якоби сильно затянулось.

Дело Якоби, думает Эдгар Опперман. Существует уже, значит, «дело Якоби». А ведь, кажется, все так просто. Доктор Мюллер, старший врач ларингологического отделения, принял предложенную ему в Кильском университете профессорскую кафедру. Эдгар Опперман хотел, чтобы на место Мюллера назначен был его, Эдгара, любимый ассистент, доктор Якоби. Полгода тому назад назначение это было бы оформлено в две недели. Якоби чрезвычайно ценный научный работник, он исключительный диагностик, незаменимый помощник Эдгара в лаборатории. Но он нескладный какой-то, из бедной семьи, жившей в берлинском гетто, тщедушный, уродливый, застенчивый. Раньше все это не служило бы препятствием. Эдгар Опперман знает, что, если освободить Якоби, который все годы учения жил впроголодь, от насущных денежных забот, если дать ему возможность свободно работать, он совершит большие дела в науке. Верно: доктор Якоби напоминает те шаржи на евреев, что изображаются в юмористических журналах. Но в конце концов что важнее для пациен-

та — приятная внешность врача или его умение определить болезнь?

Эдгар вздыхает. Значит, тайный советник Лоренц желает говорить с ним. Лоренц — главный врач всех городских клиник. Теоретик не из выдающихся, зато превосходный практик. Теорию он, однако, не в пример многим практикам, не презирает. К научной работе относится с уважением и по мере сил смиренно поддерживает ее. Принципиально он согласился на кандидатуру Якоби, и все же у Эдгара какое-то неприятное чувство в связи с предстоящим разговором.

Лоренц будет в двенадцать. Следовательно, обход больных придется поручить доктору Реймерсу.

— Хорошо, — вздыхает он. — К двенадцати я буду здесь. Если на несколько минут запоздаю, попросите тайного советника Лоренца подождать. — Эдгар всегда запаздывает, сестра Елена рассчитывает на это. Сегодня это кстати: она хочет переговорить с тайным советником Лоренцом о вещах, касающихся ее профессора.

Эдгар поворачивается к ней. Он принял решение, и поэтому лицо его сразу преображается. Это опять знакомое всем жизнерадостное лицо уверенного в себе человека.

— В лабораторию мне можно еще сходить, сестра, а? — Эдгар улыбнулся. — А от этого вот, — он показывает на грудку бумаг, — раз уж я согласился на разговор с Лоренцом, освободите меня на сегодня. — Он плутовато, как школьник, который хочет увильнуть от неприятного урока, усмехается, встает, мгновенно исчезает за дверью.

Быстрым шагом, ступни вовнутрь, парусит он в развевающимся халате по длинным, крытым линолеумом коридорам. Доктор Якоби сидит над микроскопом, маленький, скрючившийся. Эдгар Опперман энергично машет ему, чтобы он спокойно продолжал работу. Но доктор Якоби встает. Щуплый, насупившийся, угловатый, он подает Эдгару мягкую, сухую детскую ручку. Эдгар знает, какого труда стоит этому человеку, склонному к сильному потению, сохранить свою руку сухой во время работы.

— Мы не должны обманываться, профессор, — говорит доктор Якоби. — Результаты у пациента 834 неутешительны. Больной был в третьей стадии.

Эдгар пожимает плечами. Применение способа Оппермана, того самого хирургического способа, который сделал изобретателя его знаменитым, на известной стадии болезни уже сопряжено с риском летального исхода. Эдгар Опперман никогда и не утверждал обратного. Он углубляется с доктором Якоби в обсуждение статистики заболеваний. Самое важное — точно разграничить отдельные стадии болезни, точно установить момент перехода второй стадии в третью. Во что бы то ни стало нужно искать пути к тому, чтобы снизить коэффициент неуверенности.

Горячо и нескладно уговаривает доктор Якоби своего патрона. А патрон сегодня более чем когда-либо убежден, что уж если кто призван усовершенствовать способ Оппермана, то это он, фанатик точности, доктор Якоби. Этому Якоби в самом деле цифры его статистических данных важнее цифр его заработка. Он не думает о том, что говорит с единственным человеком, который может ему обеспечить сносные условия существования. Да и человек этот забывает, что ему предстоит через несколько минут разговор, который решит судьбу его собеседника. Зябко кутаясь в халат, горбится на табуретке маленький Якоби. А Эдгар бегаёт из угла в угол быстрым, несколько тяжелым шагом, ступни вовнутрь; халат путается у него меж ног. И тот и другой забыли обо всем, что не имеет отношения к жизнеспособности и коэффициенту размножения известной бациллы.

Вдруг Эдгар испуганно останавливается. Он вытаскивает часы: десять минут первого. Жаром обдаёт его при мысли, что старик Лоренц ждёт его. Он обрывает себя на полуслове. Блестящий ученый, маленький доктор Якоби, как только разговор перестает касаться микробов, угасает и превращается в серого, уродливого карлика, какой он и есть в действительности. Сказать ли ему, что он спешит по его, Якоби, делу? Нет, думает Эдгар, ни за что. Старик Лоренц человек порядочный, но в административных делах всегда есть какой-то коэф-

фициент неуверенности. Не меньший, во всяком случае, чем в способе Оппермана. Как он сидит, этот бедняга, смотреть жалко. Торопливо жмет Эдгар руку Якоби. Его рука невелика, но крохотная ручка Якоби тонет в ней.

— В один из ближайших вечеров вы должны у нас отужинать, дорогой Якоби. Мне хочется с вами хоть раз хорошенько потолковать. Ах, эта наша проклятая берлинская замотанность.— Эдгар улыбается; от улыбки лицо его сразу молодеет.

Снова несется он по коридорам. Он пригласил маленького Якоби к ужину, надо сказать Гине, надо согласовать время; сестра Елена должна ему напомнить об этом. Хорошо бы условиться на такой вечер, когда и Рут будет свободна. Почему он подумал о дочери? Несомненно, какая-нибудь ассоциация с доктором Якоби. Вероятно, это страстность или, прямо сказать, одержимость, с которой оба относятся к задаче своей жизни. Он, Эдгар, посмеивается над сионистскими симпатиями Рут. Ему бы следовало уделять дочери больше внимания. Ratio, Ratio<sup>1</sup>, дочь моя! Не беги в монастырь, Офелия! Жаль, что самые простые вещи труднее всего понимаются. Он немецкий врач, немецкий ученый; но не существует медицины немецкой или медицины еврейской, существует наука, и больше ничего. Это знает он, знает Якоби, знает старик Лоренц. Но уже Рут этого не знает, а те, от кого теперь все зависит, знают это еще меньше, чем она. Ему немного неприятно при мысли о совещании, на которое он спешит. В конце концов надо бы послать маленького Якоби в Палестину, улыбается он.

В директорском кабинете все происходит так, как предполагала сестра Елена. Тайный советник Лоренц явился точно в двенадцать, ее профессор запоздал, у нее есть время поговорить с тайным советником.

Прославленный способ Оппермана за последнее время все чаще и чаще становится мишенью злостных нападок на столбцах берлинских газет. Хирурга Эдгара

---

<sup>1</sup> Разум, разум (лат.).

Оппермана обвиняют в том, что он пользуется пациентами третьего разряда, неимущими, бесплатными пациентами городской клиники, для своих опасных экспериментов. «Врач-иудей,— пишут в обычной своей манере некоторые коричневые газеты,— не останавливается перед тем, чтобы в целях собственной рекламы проливать потоки христианской крови». Пора положить конец этому свинству, говорит сестра Елена. Совсем не обязательно, чтобы ее патрон терпеливо сносил лягание всех этих сопляков. Она стоит у письменного стола, широкая, крепкая.

— Я хочу наконец обратить его внимание на это, господин тайный советник,— говорит она негромким, решительным голосом.— Пусть он наконец что-нибудь предпримет.

Тайный советник Лоренц сидит у письменного стола, краснолицый великан с белыми, коротко стриженными волосами, с маленьким плоским носом и синими, слегка навывкате глазами, над которыми нависли лохматые белые брови.

— Я бы просто на...ал на это, дочь моя,— громыхнул он с баварской непринужденностью. Как обломки скал, вылетают слова из его большого, сверкающего золотыми зубами рта.— Свинарник,— гремит он и хлопает красной, в толстых вздутых жилах рукой по газетам с отчеркнутыми статьями.— Всякая политика — свинарник. И если обстоятельства не требуют особых мер, то ее просто следует игнорировать. Только так можно досадить этой сволочной банде.

— Но ведь он на государственной службе, господин тайный советник,— сердится сестра Елена.

— Я не вижу здесь никаких оснований для того, чтобы начать канитель с этой сволочью,— сердится в ответ старик Лоренц.— Прикасаюсь к ней — только руки марасть. Не отравляйте себе жизнь, дочь моя. Пока министр оставляет меня в покое, я палец о палец не ударю. Все это,— он отшвырнул от себя газеты,— для меня просто не существует. Положитесь на меня.

— Если вы так думаете, господин тайный советник...— Сестра Елена пожимает плечами и, услышав шаги Эдгара, исчезает, далеко, однако, не успокоенная.



Эдгар Опперман просит извинить его за опоздание. Тайный советник Лоренц не встает навстречу, а сидя протягивает руку, держится подчеркнуто по-приятельски.

— Так вот, коллега, я сразу же к делу, *medias in ges*, так сказать. Не возражаете? Мне хотелось бы как следует потолковать с вами о деле Якоби.

— Разве оно так сложно? — спрашивает Эдгар Опперман. Голос у него сразу же становится недовольным, раздраженным.

Тайный советник Лоренц облизывает свои золотые зубы с видом полной непринужденности.

— А что в наше время не сложно, дорогой Опперман? — говорит он. — Бургомистр слюнтяй. Он ползает на брюхе перед министром. Он держит нос по любому ветерку, который подует сверху. Субсидию для клиник и без того с каждым разом труднее выжать. Особенно для ваших затей, дорогой Опперман, для теоретических работ, для лаборатории. Тут они, прежде чем дать, скулят по поводу каждой марки. Мы не можем не считаться с этим. Ваш Якоби, конечно, самая подходящая кандидатура. Не могу сказать, что мне лично он особенно симпатичен, это было бы неискренне, но он ученый, бесспорно. Варгуус тоже не решился прямо отклонить его. Но знаете, о ком он предлагает серьезно подумать? О Реймерсе, вашем Реймерсе, коллега Опперман.

Эдгар Опперман ходит из угла в угол быстрым, мелким шагом, машинально понуждая к движению свое грузное тело. Старая история: профессор Варгуус, его коллега по Берлинскому университету, возражает, потому что предложение исходит от него, Эдгара. Предложить кандидатуру Реймерса — это чертовски хитро. Доктор Реймерс, второй ассистент Эдгара, симпатичный, сердечный человек, пользуется любовью больных. Эдгар ничего не имеет против Реймерса, но он — за Якоби. Положение его затруднительно.

— А ваше мнение, коллега? — спрашивает он, продолжая шагать.

— Я вам уже сказал, Опперман, — говорит Лоренц, — в принципе я за вашего уродца. Но заявляю вам прямо: предвижу трудности. Теперь некоторые

влиятельные лица предпочитают представительную внешность внутренним качествам. Черт бы ее побрал, эту политическую клоаку. При всех условиях у Реймерса перед маленьким Якоби то преимущество, что он не обрезан. Не думаю, чтобы господам из магистрата потребовались фотографические снимки Реймерса и Якоби в натуре. Но личного знакомства в таких случаях, пожалуй, не избежать. Не знаю, повысит ли такое знакомство шансы нашего Якоби.

Эдгар остановился далеко от Лоренца. Его ворчливый голос прозвучал вдруг удивительно четко по сравнению с невнятным громоханием старика Лоренца.

— Вы хотите, чтобы я снял кандидатуру доктора Якоби?

Лоренц еще больше выкатил свои выпученные глаза, собираясь, видимо, ответить крепким словцом, но не сделал этого. Наоборот, необычайно мягко, без свойственного ему громохания, сказал:

— Я ничего не хочу, Опперман. Я хочу только открыто говорить с вами, вот и все. Реймерс мне милее. Говорю, как оно есть. Но как человек науки я высказываюсь за вашего Якоби.

Эдгар Опперман старательно придвинул себе стул, тяжело опустился на него; сидя он, как все Опперманы, казался очень высоким. Он сидел сумрачный, искусственная жизнерадостность его улетучилась. Старик Лоренц вдруг встал, выпрямился: огромная краснолицая, беловолосая голова вздыбилась над мощным туловищем. В широко развевающемся белом халате он подошел к Эдгару.

«Настоящий врач,— сказал он как-то одному робкому студенту,— может все, делает все, а боится только бога». «Бойся бога» прозвали его с тех пор студенты. Но сегодня он не был разгневанным Иеговой.

— Я не преувеличиваю своих заслуг, Опперман,— сказал он так мягко, как мог.— По существу, я старый сельский врач. Я разбираюсь в болезнях своих пациентов, и порой нюх подсказывает мне то, чего вы, молодые, не знаете. Но я не знаю очень многого, что вам, молодым, известно. В общем, Реймерс мне больше по душе. Но я отдаю предпочтение вашему Якоби.

— Как же быть дальше? — спросил Эдгар.

— Об этом я хотел у вас спросить, — ответил Лоренц. И так как Эдгар Опперман упрямо молчал и вокруг длинного рта его залегла маленькая, непривычно ироническая складка, Лоренц прибавил: — Признаюсь прямо: я легко мог бы сейчас же провести вашего Якоби. Но насчет субсидии нам тогда придется туго. Пойти на это? Рискнуть? Вы этого хотели бы?

Опперман издал какой-то рокошующий, странный звук, в котором были и горький смех и отрицание вместе.

— Ну, вот видите, — сказал Лоренц. — В таком случае нам остается единственная тактика: оттянуть решение. За месяц политическая ситуация может измениться к лучшему.

Опперман что-то пробурчал. Лоренц принял это за выражение согласия. Довольный, что неприятный разговор окончен, он громко, с облегчением вздохнул и положил руку на плечо Опперману:

— Наука терпелива. Придется, видно, и Якоби немножко потерпеть. Вот если бы кто-нибудь соединял в себе внешность Реймерса с качествами Якоби. Иначе они не пойдут на это дело. Вся суть в несовершенстве человеческой природы, коллега. В общем, паршивая штука, — сказал он уже за дверь. Последние слова прозвучали как отголоски уходящей грозы. — Я имею в виду человеческую природу.

Когда Лоренц ушел, Эдгар встал. Ступнями вовнутрь, непривычно медленно прошелся из угла в угол. Потом, вопреки всему, стал убеждать себя, что разговор кончился не так уж плохо. Во всяком случае, старик Лоренц — человек слова. Дурное настроение Эдгара рассеялось быстро, как у ребенка. Когда сестра Елена вошла в комнату, на лице его снова сияло лазурное небо.

Сестру Елену, в противоположность Опперману, не удовлетворил разговор со стариком Лоренцем. Со свойственной ей обстоятельностью обдумала она каждое его слово. Он сказал, что советует профессору Опперману жаловаться на негодьяв лишь тогда, когда сам министр намекнет на необходимость этого. Но рано

или поздно министр, конечно, наметнет. Она должна подготовить своего профессора. «По-моему, все-таки лучше будет, если я покажу ему эти статьи».

Однако, увидев сияющее лицо Эдгара, сестра Елена, несмотря на всю свою решительность, предпочла отложить разговор.

— Очень было неприятно? — ограничилась она вопросом.

— Нет, нет, — улыбнулся Опперман своей приветливо-лукавой улыбкой. — Отношение приятного к неприятному примерно два к трем.

На пятиминутной перемене перед уроком немецкого языка Бертольд держался мужественно, делал вид, что забыл о предстоящем испытании, говорил с товарищами о всяких пустяках. И преподаватель Фогельзанг делал вид, что его нисколько не трогают предстоящие события. Он вошел в класс, поднялся на кафедру, сел, прямой, выпятив, по обыкновению, грудь, и стал перелистывать записную книжку.

— Что у нас сегодня? Так, так, доклад Оппермана. Пожалуйста, Опперман. — И когда Опперман вышел, Фогельзанг, явно хорошо сегодня настроенный, шутиливо подбодрил его: — Вольфрам фон Эшенбах, начинай!

Бертольд стоял между кафедрой и партами в нарочито небрежной позе, выставив правую ногу вперед, опустив правую руку, слегка подбоченясь левой. Он отнесся к работе серьезно, не отступил ни перед какими трудностями, и он достиг цели: теперь ему было ясно, чем для нас или по крайней мере для него самого является Арминий Германец. С точки зрения рационалистов, подвиг Арминия был, пожалуй, бесполезен; но такой взгляд не мог устоять перед чувством безусловного восхищения, которое, особенно в современном немце, должен вызвать подвиг этого борца за свободу. Эту мысль собирался развить Бертольд, согласно добрым старым правилам, усвоенным в школе: общее введение, постановка проблемы, точка зрения докладчика, доказательства, возражения, опровержение возражений, наконец, заключение, в котором со

всей отчетливостью повторяется основной тезис докладчика. Бертольд до последней запятой зафиксировал на бумаге все, что хотел сказать. Но так как он обладал даром слова, он не стал механически зазубривать наизусть написанное, а решил, строго придерживаясь основного плана, положиться на вдохновение в формулировке частных тезисов.

И вот он стоит перед классом и говорит. Он видит перед собой лица товарищей: Макса Вебера, Курта Баумана, Вернера Риттерштега, Генриха Лавенделя. Но он говорит не для них. Он говорит только для себя и для того, кто сидит позади, — для врага.

Да, учитель Фогельзанг остался позади Бертольда, за его спиной. Он сидит выпрямившись и, ни на мгновение не позволяя себе отвлечься, слушает. Бертольд не видит его, но знает: взгляд Фогельзанга неподвижно устремлен на него. Он ощущает то место под воротничком, куда проникает взгляд Фогельзанга. Ему кажется, будто кто-то острым ногтем впился ему в шею.

Бертольд силится ни о чем не думать, кроме своего доклада. В его распоряжении добрых полчаса. Около восьми минут уже прошло, введение он кончил, постановку проблемы изложил, тезис свой изложил, перешел к «доказательствам». И вдруг он чувствует, что взгляд Фогельзанга его отпустил. Да, Фогельзанг встал, очень тихо, стараясь не мешать. Он прошел вперед; Бертольд увидел его у стены слева. Он шел на цыпочках, размеренным, нарочито осторожным шагом, вдоль левого ряда парт, Бертольд слышал легкое поскрипывание его ботинок. Фогельзанг прошел в самый конец класса, в левый угол. Он хочет иметь Бертольда перед глазами, хочет видеть, как у Бертольда слетают с губ слова. Он стоит за последней партой, вытянувшись в струнку, — не опирается ли он рукой на невидимую саблю? — неподвижно устремив бледно-голубые глаза на рот Бертольда. Под этим взглядом Бертольду становится как-то не по себе. На мгновение он поворачивает голову к учителю, но вид того мешает ему еще больше. Он то смотрит вперед, то дергает, вертит головой, словно отгоняя назойливую муху.

Он заканчивает «доказательства». Он говорит уже не так хорошо, как вначале. В классе жарко: в гимназии королевы Луизы классы всегда чересчур натоплены; на верхней губе у Бертольда появляются капельки пота. Он переходит к «возражениям».

— Подвиг Арминия, — говорит он, — с точки зрения трезвого разума не дал, пожалуй, ощутимых внешних результатов; через несколько лет римляне снова оказались там, где они были до битвы в Тевтобургском лесу. Более того...

Он загнулся на миг, потерял вдруг нить мыслей. Сделал усилие, чтобы сосредоточиться. Мысленно он видит узкие страницы своего латинского Тацита и крупный прифт немецкого Тацита в роскошном издании. Он снова смотрит в левый угол. Фогельзанг стоит по-прежнему неподвижный, настороженный. Бертольд открывает рот, закрывает его, открывает его снова, опускает глаза на кончики ботинок. Секунд восемь, верно, уже прошло, как он замолчал, или все десять. На чем он остановился? Да, на том, что подвиг Арминия не имел, в сущности, видимых результатов. Несомненно, лютеровский перевод библии или изобретение Гутенберга сыграли для Германии и для ее значения в мире большую роль, чем битва в Тевтобургском лесу. Подвиг Арминия, это следует признать, не имел практического значения.

Так ли он хотел сказать? Он ведь собирался выразить это гораздо осторожнее, не так резко, не так прямо. Ну, уж куда ни шло. Вперед, Бертольд. Не отступать. Только без пауз. И так уже первая пауза длилась вечность. Но теперь он снова поймал нить. Теперь с ним ничего уже не может приключиться. На «опровержениях» он уже не сообразит.

Второй паузы вы не дожидаетесь, господин доктор. Торжествуя, он едва заметно улыбается, искоса глядя в дальний угол.

— Тем не менее... — начинает он. Но что это? Почему вдруг так странно изменилось лицо Фогельзанга? Почему шрам, рассекающий его лицо, налился кровью, почему Фогельзанг так выкатил глаза? Не поможет, господин доктор. Нить у меня в руках, вы меня не сообразите

больше.— Тем не менее,— начинает он бодро, энергично,— признав все это...

Но тут его обрывают. Резкий голос квакает из угла:

— Нет, не «признав». Я этого не признаю. Никто здесь не признает этого. Я не потерплю этого. Я ничего больше не желаю слышать. Что вы себе вообразили, молодой человек? Кто, по-вашему, сидит здесь? Перед истинными немцами, в эти тяжкие для Германии времена, вы осмеливаетесь назвать бесцельным, бессмысленным титанический подвиг, положивший начало германской истории? Вы сказали, что вы это признаете. Вы осмеливаетесь пользоваться доводами самого низкого оппортунизма и потом заявляете, что признаете их? Если в вас самом нет и искры национальной гордости немца, то избавьте хоть нас, национально мыслящих, от ваших мерзостей. Я запрещаю вам говорить так. Слышите, Опперман? Запрещаю не только от своего лица, но и от имени этого учебного заведения, которое пока еще является немецким.

Наступила мертвая тишина. Духота в классе давно уже навела на учеников сонную одурь; они сидели вялые, кое-кто клевал носом. Резкие, повышающиеся окрики Фогельзанга заставили их встрепенуться, взглянуть на Бертольда. Так ли уж страшно было то, что он сказал? И что, собственно, он сказал? Как будто что-то о Лютере и Гутенберге? Гнев Фогельзанга классу не вполне понятен, но возможно, что Опперман и в самом деле чуть-чуть заврался. В таких докладах нужно излагать лишь то, что сказано в учебниках, не больше и не меньше. Опперман, видно, влип.

А Бертольд, когда Фогельзанг его оборвал, был глубоко удивлен. Что ему нужно? Чего он раскричался? Пусть, пожалуйста, даст договорить. До сих пор у них не принято было перебивать докладчика. Доктор Гейнциус никогда этого не делал. Но Гейнциус лежит на Штансдорфском кладбище. А этот стоит тут и кричит. Ведь надо же было привести «возражения». Их нельзя обойти, а теперь нужно их опровергнуть. Так нас учили, таковы правила, так требовал доктор Гейнциус.

Я ведь ничего не сказал против Арминия. Это было только «возражение», и я собирался его опровергнуть.

Вот моя рукопись. Свою точку зрения я ведь ясно изложил в начале раздела Б. Пусть он замолчит наконец. Чего он так орет?

Как только он предложил мне Арминия, я сразу почувял недоброе. Мне надо было настаивать на «гуманизме». И Генрих тогда сразу же сказал, что он свинья и что все это подлейшая личная придирка. Ведь он несет сплошную чепуху. Вот моя рукопись, она в парте, в ранце. Стоит заглянуть в нее, и всякому станет ясно, как день, что эта свинья несет сплошную чепуху.

Что я, собственно, сказал? Уж и не помню точно. В рукописи этого не было. Я могу все же на нее сослаться. И каждый увидит, что я имел в виду.

Не стану я ссылаться на рукопись. Арминий попросту безмозглый дикарь, терпеть его не могу. «Возражение» правильное. Как я сказал, так оно и есть.

От небрежной позы Бертольда не остается и следа. Он стоит очень прямо, высоко подняв массивную голову, устремив вперед взгляд серых глаз. Он грудью встречает град вражеских слов.

А тот как будто кончил молоть свой вздор. Бертольд стоит, крупными белыми зубами закусив нижнюю губу. Надо бы вынуть сейчас рукопись и сказать: «Чего вы, собственно, хотите, господин учитель? Пожалуйста, вот моя рукопись». Но он не говорит этого. Он молчит, оскорбленный, ожесточенный. Серые глаза твердо выдерживают взгляд бледно-голубых глаз. Наконец, после бесконечной паузы, он говорит четко, не очень громко:

— Я тоже немец, господин учитель, я такой же настоящий немец, как и вы.

Эта чудовищная дерзость мальчишки-еврея на миг лишает доктора Фогельзанга дара речи. Он готов уже разразиться громopodobной тирадой. Но нет. Все козыри у него в руках, и он не хочет проиграть партию из-за необдуманной вспышки. Он сдерживается.

— Так! — произносит он, тоже не очень громко. — Вы, значит, настоящий немец. Будьте добры предоставить другим судить, кто настоящий немец, а кто нет. Тоже — немец.

Он презрительно фыркает. Лишь теперь он выходит из своего угла, но уже не тихо: четко, по-военному от-



бывает он шаг. Направляется прямо к Бертольд. Вот он стоит перед ним, впившись глазами ему в глаза. Класс замер в напряженном ожидании. С деланным спокойствием Фогельзанг спрашивает:

— Может быть, вы хоть извинитесь, Опперман?

Одну десятую долю секунды Бертольд и сам думал извиниться. Он сказал что-то, чего не хотел говорить, сказал к тому же резко и неудачно, так как в ту минуту не владел собой. Почему не признать этого? Тогда все будет улажено, ему позволят довести доклад до конца, и все увидят, что он настоящий немец и что этот тип к нему просто придирается. Но от взгляда Фогельзанга, от вида его противного, рассеченного лица порыв Бертольда, не успев стать мыслью, рассеивается.

Товарищи не отрывают глаз от Бертольда. Поведение Фогельзанга произвело впечатление. Видно, Опперман действительно хватил через край. Но как бы там ни было, уступать теперь нельзя: это было бы недостойно мужчины. С любопытством ждут они, как поступит Бертольд.

Оба — Фогельзанг и Бертольд — стоят, не сводя глаз друг с друга. Наконец Бертольд нарушает молчание.

— Нет, господин учитель, — говорит он по-прежнему тихо, почти робко. — Я не стану извиняться, господин учитель, — добавляет он. Все удовлетворены.

Удовлетворен и Фогельзанг. Теперь победа за ним. Поведение Оппермана дает ему в руки козырь: он уж покажет, как немецкий педагог расправляется с крамолкой.

— Отлично, — говорит он. — Приму к сведению, гимназист Опперман. Садитесь.

Бертольд направляется к своей парте. Конечно, он поступил неумно. Он видит это по тому, как себя держит враг, по его заблестевшим глазам. Но если бы ему снова пришлось выбирать, он поступил бы точно так же. Он не может просить извинения у этого человека.

А Фогельзанг твердо решил ни при каких условиях не выходить из равновесия. Но он не может удержаться, чтобы не сказать, как бы вскользь, но с тем большим злорадством, гимназисту Опперману, сажающемуся на свое место:

— Со временем вы будете рады, Опперман, если все обойдется только таким взысканием. А теперь перейдем к нашему Клейсту,— победоносно заключает легким тоном Бернд Фогельзанг.

Слух о происшедшем быстро распространяется по всей гимназии, доходит до директора Франсуа, и потому директор несколько не удивлен, когда к нему является учитель Фогельзанг.

Фогельзанг едва разрешает себе бросить неодобрительный взгляд на бюст Вольтера: до того он полон случившимся. Но он берет себя в руки, старательно избегает преувеличений, дает точный отчет. Франсуа слушает его с явной досадой, нервно поглаживая усы маленькими, холеными руками.

— Неприятно,— повторяет он несколько раз, когда Фогельзанг, кончив, умолкает,— в высшей степени неприятно.

— Какие меры вы собираетесь применить к гимназисту Опперману? — сдержанно спрашивает Фогельзанг.

— Опперман добросовестный юноша,— говорит директор Франсуа,— а к письменным работам по немецкой литературе и к своим докладам он проявляет особый интерес. Несомненно, у него есть тщательно проработанная рукопись доклада. Не мешало бы, пожалуй, раньше, чем вынести окончательное решение, заглянуть в эту рукопись. Вернее всего, здесь просто *Lapsus linguae*<sup>1</sup>. И если так, то при всей вескости ваших мотивов, коллега, не следует слишком строго судить за подобную ораторскую оговорку.

Фогельзанг поднял брови с видом изумления.

— Я полагаю, господин директор, что выступление это требует самого сурового порицания. В момент, когда позорный мир, продиктованный Версальским договором, особенно тяжко гнетет страну, какой-то мальчишка осмеливается плоской рационалистической критикой развенчивать один из величайших подвигов немецкого народа. В то самое время, когда мы, истинные немцы, и в

---

<sup>1</sup> Обмолвка (лат.).

первую очередь мы, националисты, ведем нечеловеческую борьбу, добиваясь возрождения нации, какой-то школьник, мальчишка, осмеивает стремления наших предков сбросить с себя цепи. Вашему Вольтеру, господин директор, может быть, и пристало такое поведение. Но можно ли изыскивать мотивы для оправдания ученика, как-никак немецкой гимназии, который позволяет себе такую дерзость? Скажу прямо, это выше моего понимания.

Директор Франсуа беспокойно ерзал в кресле. Его тонкокожее розовое лицо подергивалось. Форма речи этого человека терзала его едва ли не более, чем ее содержание. Напыщенный язык, трескучий митинговый пафос вызывал в нем физическое недомогание. Пусть бы этот малый был карьеристом. Ужаснее всего, что он искренен, что он верит в тот вздор, который болтает. Из чувства собственной неполноценности он заковал себя в броню грошового национализма, сквозь которую не проникает ни один луч разума. А он, Франсуа, должен спокойно, внимательно, вежливо выслушивать весь этот бред. Что за темное время. Прав Гете: «Человеческий сброд ничего так не страшится, как разума. Глупости следовало бы ему страшиться, пойми он, что воистину страшно». А он, Франсуа, умудренный знанием, вынужден сидеть здесь со связанными руками. Он не смеет стать на защиту умного мальчика против оголтелого дурака, его учителя. К сожалению, Грозовая тучка права. Если поддаться чувству, если отважиться открыто исповедовать разум, то все баранье стадо националистских газет бешено заблеет на смельчака. А республика слаба, республика всегда уступает. Она ни за кого не вступится, боясь раздражить блеющих баранов. Потеряешь работу и хлеб, дети останутся нищими, а сам лишишься лучшего дара жизни, спокойной старости.

Доктор Фогельзанг между тем продолжает обсуждать подробности происшествия.

— «*Lapsus linguae*», — говорит он. — Вы сказали: «*Lapsus linguae*». Но не в том ли значение этих школьных докладов, что, благодаря непосредственному общению со слушателем, раскрываются истинные настроения докладчика? — Доктор Фогельзанг сел на своего люби-

мого конька.— Слово устное важнее слова писаного. Великолепный пример фюрера показывает это. Вот что говорит по этому поводу фюрер в своей книге «Моя борьба»...

Но тут директор Франсуа перебил его.

— Нет, коллега,— сказал он,— здесь я отказываюсь следовать за вами.— Его мягкий голос прозвучал непривычно решительно, приветливые глаза сердито блеснули из-за толстых стекол очков, нежные щеки покраснели, он выпрямился, и сразу стало видно, что он выше Фогельзанга.— Видите ли, коллега: с тех пор как существует это учебное заведение, я борюсь в нем за чистоту немецкой речи. По природе своей я не борец, и жизнь заставила меня кое-чем поступиться. Но одно я могу утверждать: в борьбе за слово я не шел ни на какие компромиссы. И в дальнейшем не пойду. Мне, конечно, принесли книгу вашего «фюрера». Некоторые коллеги включили ее в свои школьные библиотеки. Я не взял. Я не знаю другого произведения, которое бы так грешило против духа нашего языка, как это. Я не допущу, чтобы в стенах моего учебного заведения эта книга хотя бы только цитировалась. Я настоятельно прошу вас, коллега, не цитировать здесь этой книги, ни в моем присутствии, ни в присутствии ваших учеников. Я не позволю калечить немецкий язык моих питомцев.

Бернд Фогельзанг сидел, плотно сжав тонкие губы. Он был трудолюбив и добросовестен, хорошо знал немецкий язык и грамматику. Он совершил ошибку. Не следовало упоминать о книге фюрера перед этим недоброжелателем. К сожалению, никак нельзя отрицать, что в известном смысле директор Франсуа прав. Фюрер был нетверд в основах немецкого языка. В этом, правда, он был *mutatis mutandis*<sup>1</sup> схож с Наполеоном, как и в том, что родился не в той стране, которую явился освободить. Но все же погрешности вождя против языка причиняли Фогельзангу страданье, и в свободные часы он тайно работал над книгой «Моя борьба», очищая ее от наиболее вопиющих ошибок, переводя ее на грамматически и стилистически безупречный немецкий язык. И вот, он оказался обезоруженным, ему ничего другого

---

<sup>1</sup> Внося соответствующие изменения (лат.).

не остается, как проглотить наглость директора Франсуа. Возразить нечего. Невидимая сабля выпала у него из рук. Он сидел молча, закусив губу.

В первые минуты директор Франсуа смаковал свое возмущение. Жизнь вынуждает не раз жертвовать разумом, и Грозовая тучка в этом смысле вырвала у него несколько уступок, но он еще не так низко пал, чтобы ему осмеливались преподносить нечистоты книги «Моя борьба» в качестве ароматических эссенций. Однако Франсуа все больше становилось не по себе от мрачного, замкнувшегося лица учителя Фогельзанга, от его злобного молчания. Директор Франсуа горой встал за свой любимый немецкий язык, ну, а теперь — довольно. И он вновь превратился в обходительного господина, каким был от природы.

— Не поймите меня превратно, коллега, — начал он примирительно. — Я меньше всего хотел задеть вашего фюрера. Вы знаете, как император Сигизмунд срезал епископа, хулившего его за грамматические ошибки? Он сказал: *Ego imperator Romanus supra grammaticos sto*<sup>1</sup>. Никто не требует от вашего вождя знания немецкой грамматики, но от воспитанников гимназии королевы Луизы я этого требую.

Это прозвучало как извинение. Но какая все же дерзость со стороны Франсуа так цинично говорить о слабостях фюрера. То, что ему, Фогельзангу, разрешается думать, далеко еще не разрешается говорить этой бабе в образе мужчины. Нет, Бернда Фогельзанга не отвлечь никакими силами от его цели. Он своего добьется, чего бы это ни стоило...

С этого мгновения возмездие за проступок ученика Оппермана стало жизненной задачей доктора Бернда Фогельзанга.

— Ближе к делу, господин директор, — проквашал оп, и невидимая сабля снова была у него в руках. — В случае с Опперманом налицо не только поношение немецкого духа, граничащее в наши времена с предательством, но и неслыханное по дерзости нарушение школьной дисциплины. Я вынужден вторично спросить

---

<sup>1</sup> Я, император римский, стою выше грамматиков (лат.).

вас: что вы намерены предпринять против строптивного воспитанника Оппермана?

Директор Франсуа сидел усталый, вежливый, по-прежнему безобидный.

— Я подумаю, коллега,— сказал он.

В гимназии королевы Луизы слухи распространяются как пожар. Год назад педель Меллентин с величайшим подобострастием кланялся молодому Опперману, наследнику мебельной фирмы. А теперь он отвел глаза, когда Бертольд прошел мимо него. Зато он еще долго стоял на вытяжку даже после того, как дверь за Фогельзангом захлопнулась. Кто, как не он, твердил всем, что новенький покажет этим слюнтяям? Кто оказался прав? Еще раз все могли убедиться, что за нюх у педеля Меллентина.

В двухстах двенадцати из двухсот семидесяти квартир жилого массива на Фридрих-Карлштрассе зажглись рождественские елки. Елки стояли от одной до четырех марок. Это были в большинстве случаев скромные елочки, украшенные всевозможной мишурой, свечечками и фонариками и разноцветными, не слишком полезными для здоровья, лакомствами. Под елочками разложены были подарки, разнообразные, но вечно одни и те же: белье, платье, сигары, шоколад, игрушки, пряники. Особенно широкие натуры раскопелились на фотоаппараты, на радиоприемники; в числе подарков в домах на Фридрих-Карлштрассе имелись даже два велосипеда. Этикетки с ценами в большинстве случаев были удалены, но получившему подарок не приходилось долго допытываться, чтобы узнать точную стоимость подаренной вещи.

И в квартире Маркуса Вольфсона горела рождественская елка. Господин Вольфсон на этот раз проявил себя широкой натурой. Он выложил за елку две марки семьдесят пфеннигов. Продавец запросил сначала три марки пятьдесят, но восемьдесят пфеннигов удалось выторговать. Впрочем, господин Вольфсон легко мог себе позволить такую щедрость. Невероятное свершилось: добрая лошадка «*Quelques Fleurs*» пришла к финишу победительницей. Первого декабря господин

Вольфсон оказался обладателем излишков в размере восьмидесяти двух марок, о которых фрау Вольфсон ничего не знала. Но, разумеется, она получит свою долю благ от этой утаенной суммы. Он чувствует себя в роли святочного деда. Вот она стоит перед давно желанным запасным комплектом постельного белья, пораженная его качеством. Господин Вольфсон заплатил за него всего лишь двадцать пять марок. Она удивляется мужу: сама она не знает такого магазина, где за подобный комплект взяли бы дешевле тридцати двух марок. Господин Вольфсон, впрочем, тоже не знает, ибо на самом деле он заплатил тридцать четыре марки. И зимнее пальтишко Эльзхен такое, что у фрау Хоппегарт язык присохнет к гортани, когда она его увидит. А Боб получил совершенно потрясающий подарок: аэроплан-бомбовоз. Когда бомбовоз заводят, он поднимается в воздух и сбрасывает резиновый шарик. На коробке напечатано: «Бомбовоз высшего качества. Версальский договор лишает Германию возможности защищать свои границы. Но придет день, когда Германия порвет свои цепи. Помпи об этом!» Но господин Вольфсон не обидел и себя. Наплевать ему теперь на больничную кассу с ее скаредностью. Зуб. Подумаешь. Он может позволить себе роскошь вставить целый мост. Сегодня утром он осуществил свой давнишний проект: позвонил по телефону «старому петуху» Гансу Шульце и дал твердый заказ на обновление своего фасада. Фрау Вольфсон он, конечно, скажет, что добился-таки в больничной кассе моста. Пятьдесят марок он положит Шульце на стол, а с остатком в пятнадцать монет можно спокойно подождать. Шульце примется за работу немедленно после рождественских праздников, и в первые же дни нового года Маркус Вольфсон предстанет перед изумленными современниками в новой обличовке. Он никому ничего не говорит, даже фрау Марии. Но сам он очень горд. Он уже видит себя в блеске нового фасада. В воображении его реют рекламные плакаты, на которых изящные молодые люди улыбаются друг другу, показывая крупные белые зубы. Keep smiling<sup>1</sup>. Пусть только рот

---

<sup>1</sup> Смейся всегда (англ.).

у него украсится новыми зубами, и тогда ему больше нечего желать.

Радио улаживает слух звоном колоколов, хоралами, церковными песнопениями. Дети запели: «Тихая ночь, святая ночь». Они поют это почти во всех квартирах нового квартала на Фридрих-Карлштрассе. Короткое время над всем кварталом почиет благодать. Почийет она и над квартирой Вольфсона. Но вдруг сломался бомбовоз. На маленького Боба кричат, он ревет, его укладывают спать. Потом на елке воспламенилась веточка. На Эльзхен кричат, она ревет, ее укладывают спать.

Пока Мария возится с детьми, Маркус Вольфсон сидит в черном вольтеровском кресле (не кресло, а находка!), уболаговворенный, в полудреме. Многие в домах на Фридрих-Карлштрассе сидят сейчас, как он, уболаговворенные, в полудреме. Уболаговворенность каждого усиливает уболаговворенность общую. Господин Вольфсон — один из уболаговворенных. Он желает своим соседям всяческого благополучия.

Кроме ближайшего. Широкая удовлетворенная улыбка расплывается по его лицу, когда из соседней квартиры, заглушая радио, доносится сердитый крик. Господину Вольфсону не приходится особенно напрягать слух, чтобы уловить, в чем дело: Царнке-сын сломал свой бомбовоз и Царнке-отец высыпает ему. Господин Царнке поясняет при этом, как дорого ему обошелся бомбовоз: две марочки восемьдесят пфеннигов чистоганом выложил он за него. Это усугубляет удовлетворенность господина Вольфсона — он заплатил только две марки пятьдесят.

И вообще, сочельник у Царнке, при всем внешнем сходстве, протекает не так мирно, как сочельник у Вольфсонов. Фрау Царнке трижды говорила мужу, что в Темпельгофском филиале у Такка имеются коричневые кожаные полуботинки, на редкость прочные и недорогие. А господин Царнке вместо того, чтобы подарить ей эти коричневые полуботинки, преподнес себе книгу фюрера «Моя борьба». При всем уважении к политической деятельности мужа фрау Царнке сочла его поведение эгоистичным и не могла не выразить своего мне-



няя, в выражениях хотя и прикрашенных, но достаточно колких. Господин Царнке, со своей стороны, как истый немец, ответил ей в неприкрашенных выражениях. Громкое, длительное объяснение между супругами Царнке содействовало повышению прекрасного самочувствия Маркуса Вольфсона.

Улыбаясь, сидел он в своем вольтеровском кресле, рассматривая картину «Игра волн» и пятно, которое теперь заходило уже под картину, слушал церковные напевы по радио и скандал в соседней квартире, чувствовал себя членом одной большой семьи обитателей жилых корпусов на Фридрих-Карлштрассе. Праздновал мирное, веселое рождество.

На следующий вечер Вольфсоны были в гостях у Морица Эренрайха на Ораниенштрассе, в центре Берлина. Вольфсоны редко бывали у Эренрайхов, они вообще редко куда ходили. Маркус Вольфсон лучше всего чувствовал себя в собственной квартире. Но была ханука, праздник Маккавсеев — в этом году она припала что-то очень поздно: обычно ханука выпадала за три-четыре недели до рождества — и так уже повелось, что Вольфсоны ежегодно в этот праздник бывали у родственников.

Маркус Вольфсон, весь еще преисполненный настроением вчерашнего, гармонически проведенного сочельника, удобно сидел в одном из двух обитых зеленым репсом кресел, которые украшали гостиную его шурина Морица Эренрайха, и курил одну из двадцати сигар, которые Мориц щедро преподнес ему ради праздника. Сигары были по пятнадцати пфеннигов за штуку. То, другое, — в общем, вечер влетел Морицу по крайней мере в семь-восемь марочек. В сущности, странный человек этот Мориц. Разлит, много читает, и все-таки придерживается такой ерунды, как праздник ханука. Ну, не ерунда ли, в самом деле, в 1932 году, в центре Берлина, зажигать свечи в ознаменование победы, одержанной две тысячи лет назад каким-то там еврейским генералом над каким-то там ассирийцем? Осталось ли хоть что-нибудь от свободы, будто бы

завоеванной этим генералом? На полном ходу выбрасывают евреев из вагонов. И это называется свободой?

И все же господин Вольфсон с благодушным интересом рассматривает замечательный светильник, который зажег Мориц, чтобы отпраздновать хануку по старинному обычаю. Это подставка с восемью плоскими для масла и укрепленными в них трубочками для фитилей, и девятой, выдвинутой вперед. Задняя стенка светильника, в форме треугольника, из очень тонкого серебра, украшена фигурами Моисея и Аарона чеканной работы. Моисей со скрижалями, Аарон в клобуке и в одеянии священнослужителя. Жена Эренрайха унаследовала светильник от своих родных. Стариннейшая вещь. Сколько она может стоить? Господин Вольфсон ежегодно задает себе этот вопрос. Когда приходится спускать такие вещи, за них всегда дают ничтожную часть того, на что рассчитывал.

Запели гимн: «Моаус цур ешуоси — оплот и твердыня моего спасенья». Это старинный гимн, нечто вроде еврейского национального гимна. Мориц утверждал, что празднует хануку именно из национальных, а не религиозных соображений. Мелодия гимна легко запоминается. Мориц Эренрайх сильным голосом запекает, высокие голоса женщин и детей подхватывают, и даже Маркус Вольфсон тихонько подтягивает. Пение заглушает шум радио, проникающий из квартир наверху, внизу и рядом. Когда кончили петь, фрау Мириам, она же Мария, заметила, что, в сущности, ханукальный гимн красивее рождественской песенки: «Тихая ночь, святая ночь». Мориц Эренрайх сердито заявил, что он воздерживается от суждения по этому поводу. Маркус Вольфсон примирительно сказал, что обе песни одинаково красивы.

Уложив детей спать, фрау Вольфсон и фрау Эренрайх пускаются в обсуждение всяких домашних дел. Господин Вольфсон и господин Эренрайх обмениваются мнениями по вопросам политики и экономики. Чем больше скептицизма и квиетизма проявляет Маркус Вольфсон, тем яростнее защищает свои убеждения Мориц Эренрайх. Он горячится и достает какую-то газетную вырезку.

— Взгляни, что пишет некий доктор Рост: «До сих пор не перевелись еще немцы, которые говорят: конечно, во всем виноваты евреи, но разве нет и порядочных евреев? Вздор! Ведь если бы каждый нацист знал хотя бы одного порядочного еврея, то при наличии двенадцати миллионов нацистов оказалось бы двенадцать миллионов порядочных евреев. Ну, а евреев всего в Германии около шестисот тысяч». Нет, нет, я не желаю жить среди народа, который терпит вожжаков с подобной логикой.

Маркус Вольфсон размышляет над аргументом доктора Роста. Хорошему продавцу тоже приходится иногда обладать смелой логикой, но пользоваться логикой доктора Роста при обслуживании покупателей фирмы Опперман было бы, пожалуй, чересчур рискованно. Впрочем, рассказывает он Морицу, по отношению к нему нацисты держат себя, в общем, довольно сносно. Бывает, конечно, что покупатели отказываются от услуг продавцов-евреев, но лишь в редких случаях они могут отличить продавца-еврея от христианина. Был даже случай, когда покупатель, приняв продавца-христианина за еврея, отказался от его услуг и пожелал, чтобы им занялся именно он, Маркус Вольфсон.

Мориц, меривший широкими шагами комнату, иронически расхохотался:

— Ты, видно, тогда лишь образумишься, когда с забинтованной головой будешь любоваться видом, открывающимся из окна городской больницы.

Маркус улыбнулся. Про себя он, правда, подумал, что ему известен один такой молодчик, от которого всего можно ждать: господин Рюдигер Царнке. Царнке, не задумываясь, вышвырнул бы его, Маркуса, на полном ходу из вагона. Этим бы Царнке сразу убил двух зайцев: совершил бы подвиг в «истинно германском духе» и освободил бы квартиру для своего шурина.

Мориц продолжал горячиться. А кто, скажите на милость, создал немецкой культуре мировую славу? Кто, как не десять миллионов евреев, говорящих на «идиш», на этом старинном немецком языке? Они беззаветнее всех верили в немецкую культуру. Они одни в продолжение всей войны не изменяли немцам. 12723

немецких еврея пало в последнюю войну — 2,2 процента всех евреев Германии, гораздо больше, чем процент всех павших по отношению к общему населению страны. И это, не считая крещеных и выходцев из евреев. С ними этот процент больше чем удвоится. И вот теперь они, немецкие евреи, получают благодарность за все это. Нет, нет, ему, Морицу Эренрайху, здесь больше нечего делать. Довольно. Еще восемнадцать фунтов стерлингов, и путь в Палестину открыт. В этом году мы в последний раз празднуем здесь с вами праздник Маккавеев. Я смываюсь.

Ханукальные огни догорали. Маркус Вольфсон спокойно слушал шурина, покуривая третью из преподнесенных ему сигар, прихлебывая вино. У него свое мнение, а у шурина Морица — свое. Было бы даже неинтересно, если бы все думали одинаково. Раз Морицу не сидится на месте, пусть катит на здоровье в Палестину; он, Маркус, проводит его на вокзал, помашет ему на прощанье ручкой. А сам останется в своем отечестве и будет честно зарабатывать свой кусочек хлеба.

В этот вечер и Жак Лавендель пригласил на празднование хануки гостей: племянника Бертольда и племянницу Рут Опперман. Жак Лавендель питал пристрастие к старинным предметам еврейского ритуала. У него имелось пять замечательных старинных ханукальных светильников: два итальянских — эпохи Ренессанса, польский — с двумя мифологическими зверями и благословляющими руками иерея, вюртембергский — с фигурами птиц и колокольчиком, и, наконец, один из Буковины, работы восемнадцатого века, почему-то снабженный часами; этот светильник нелепостью своей особенно забавлял Жака Лавенделя.

И у Жака Лавенделя пели в этот вечер гимн: «Моаус пур ешуоци — оплот и твердыня моего спасенья». Жак Лавендель пел своим хриплым голосом, радуясь пению, как дитя. Бертольд с недоумением смотрел на поющего. Ханукальные свечи и гимн ему ничего не говорили. Елка была ближе его сердцу. Он пришел не ради хануки, а в тайной надежде обсудить с дядей

Жаком и с Генрихом свое дело — досадный инцидент с доктором Фогельзангом, так и не нашедший завершения с того памятного дня, хотя Бертольд понимал, что враг не дремлет. Он ни с кем еще не говорил. Мысль довериться родителям или дяде Иоахиму была ему несносна. Лучше всего, пожалуй, поймут его дядя Жак и Генрих. Бертольд с некоторым нетерпением ждал конца ужина. У дяди Жака Лавенделя ели хорошо, долго и много.

Время шло, а Бертольд все никак не мог улучшить момента, чтобы заговорить о тревоживших его вещах. Видимо, так ничего и не выйдет, потерянный вечер. Он собирался скоро уйти.

Рут Опперман рассказала о случае с еврейским ребенком в одной из восточных провинций. Маленький Яков Файбельман учился в школе, которая была почти целиком нацистской. Большинство учеников его класса входило в местную организацию молодежи. Мальчиков вооружили резиновыми дубинками. Однажды кто-то из них заявил, что у него в классе украли дубинку. Возмущенный учитель велел осмотреть все ранцы. Дубинка нашлась в ранце маленького Файбельмана, куда ее, конечно, подбросили. Поднялся отчаянный вой: «Шмулик — вор!» Мальчику пришлось уйти из школы. С этих пор он как помешанный все время плачет, и его ничем нельзя успокоить.

Как только Рут кончила, Бертольд почему-то сразу заговорил. Он стал рассказывать о своих делах, о навязанном ему докладе, о том, как доктор Фогельзанг его прервал и не дал закончить доклад, о требовании извиниться. Как Бертольд ни силился, он ничего не мог поделать со своим широким мальчишеским лицом, которое, помимо его воли, выражало напряжение, сосредоточенную мысль, озабоченность. Но ему удалось сохранить хотя бы внешнее спокойствие и мужскую твердость; временами он даже достигал легкого и безразличного тона, к которому стремился.

Было бы жестоким поражением, если бы его исповедь встретили с обычным безразличием, с проклятым равнодушием взрослых, бывалых людей. Но этого не случилось. Бертольд едва ли не досадовал на то, как всерьез они ее приняли.

Дядя Жак склонил голову набок, полужакрыв голубые глаза. Он обдумывал.

— Когда римляне заняли Иудею,— сказал он наконец,— они потребовали от евреев уплаты большого налога. И спросили еврей у раввинов: «Давать ли о товарах правильные сведения?» Отвечали раввины: «Горе тем, кто их даст, горе тем, кто их не даст». Как бы ты ни поступил, дорогой мой, он все равно попытается свить тебе веревку.— Дядя Жак помолчал немного и продолжал: — На твоём месте я не сказал бы ни да, ни нет. Я бы заявил: «То-то и то-то я хотел сказать. Если мои слова показались кому-нибудь оскорбительными, я очень сожалею и беру их обратно». Директор Франсуа человек разумный.

Генрих сидел на высоком ларе, он любил самые неподходящие для сидения места, и гимнастическим движением попеременно выбрасывал то одну, то другую ногу.

— Директор Франсуа,— сказал он,— is a good old fellow<sup>1</sup>. Но ребята сочтут такой ход отступлением. Долговязый — есть там у нас такой Вернер Риттерштег — заявил на заседании президиума футбольного клуба, что Бертольда следует исключить за то, что он до сих пор еще не извинился. Я ему влепил разок. Спустя два дня он заявил, что если Бертольд извинится, это будет позорно: слово мужа есть слово мужа, а иначе страдает честь.

— Честь, честь,— прервал Генриха дядя Жак и покачал головой. Он ничего больше не сказал, но никогда Бертольд не слышал более уничтожающей критики этого понятия.

— Я, впрочем, не думаю,— продолжал Генрих, старательно разглядывая носки своих ботинок,— что свинья Фогельзанг удовлетворится половинчатым заявлением. Замять дело можно только полным, ясным извинением.— Генрих перестал болтать ногами, соскочил с ларя.— Go ahead<sup>2</sup>,— обратился он к Бертольду.— Кончай это дело. Весь школьный аппарат тебе одному не

---

<sup>1</sup> Хороший старик (англ.).

<sup>2</sup> Валяй (англ.).

одолеть. Ты достаточно показал свое гражданское мужество. То, что ты сказал об этом дикаре, несомненно верно. Но бессмысленно, имея дело с такими типами, настаивать на своем утверждении только потому, что оно правильно. Северная хитрость здесь более уместна, чем твердость. Одно я могу сказать,— заключил он мудро и стал вдруг похож на отца,— в практическом смысле работа над Арминием мало чему тебя научила.

— Неверно, неверно, неверно! — загорячилась Рут Оплерман и затрясла черными волосами, которые, как всегда, казались спутанными и растрепанными.— Этих людей ты компромиссом не возьмешь. Им импонирует только одно: смелость, смелость и смелость!

Бертольд с удивлением посмотрел на Рут. Не она ли безоговорочно восхищалась подвигом Арминия Германца? А теперь требует, чтобы он отстаивал свою рационалистическую оценку. Вот так она всегда: не очень сильна по части логики, но — характер.

Ханукальные свечи догорали. Жак Лавендель достал граммофонные пластинки с древнееврейскими напевами, а также старую народную еврейскую песенку. Он тихонько подпевал пластинке:

Нас было десять братьев, торговали мы вином,  
Один, бедняга, помер,— остались мы вдвоем.  
У Иоселе — скрипка, у Тевье — контрабас.  
Сыграйте же нам песенку, чтоб все пустились в пляс.

Когда гости стали прощаться, тетя Клара, весь вечер молчавшая, сказала:

— Ничего другого не остается, Бертольд: ты должен извиниться. Не откладывай в долгий ящик и сделай это письменно, пока не кончились каникулы. Напиши директору Франсуа.

Сибилла отослала горничную и вдвоем с Густавом занялась приготовлением холодного ужина. Грациозно и деловито бегала она по своей милой двухкомнатной квартирке. Густав вновь и вновь испытывал радость, видя, как она помнит о малейших его вкусах и привычках; она знала толк в вещах, красящих внешнюю сто-

рону жизни. Тоненькая, ребячливая, смышленная, она очаровательно хлопотала вокруг него, болтая, как умудренная опытом старушка. Все в ней и в том, что ее окружало, было такого рода, что в случае необходимости можно было от этого отказаться, но если бы Густаву пришлось отказаться, не потеряла ли бы жизнь своей прелести?

Густав сиял. Он любил это время между рождеством и Новым годом. Он сидел, ел, пил, болтал без умолку.

Договор на биографию Лессинга подписан. Гонорар, конечно, не из щедрых. В течение восемнадцати месяцев по двести марок в месяц. За труд, требующий примерно четырех тысяч часов, — довольно скудное вознаграждение. Но большую часть работы он уже проделал, и теперь — смеется Густав — на полтора года он человек обеспеченный.

Сибилла слушала внимательно, без улыбки. Ее маленькие, старательно отделанные, зачастую страшные рассказы приносили ей от трехсот до четырехсот марок в месяц. Никто не знал, каких усилий они ей стоили, сколько она над ними работала, как низко оплачивался ее труд. Густаву легко говорить. Для него эти двести марок пустячный побочный доход. Мужчины тратятся на цветы, шоколад, духи. Часто ужин в дорогом ресторане обходится им от шестидесяти до семидесяти марок. А ведь насколько больше обяжешь человека, истратив на ужин двадцать марок и отдав остальные сорок ему на руки. Густав что угодно, только не скуп, он ежемесячно переводит на ее текущий счет вполне достаточную сумму. Но хорошо одеваться стоит немалых денег, гонорар за рассказы поступает медленно, нередко оказываешься в тисках. Обращаться же за деньгами к щепетильному Густаву совершенно немыслимо.

Двести марок. Квартира обходится дорого, автомобиль, шелковые сорочки. Вот чулки дешевы. Один русский автор недавно написал недурной роман по поводу трех пар шелковых чулок. Она, Сибилла, тоже набросала рассказец: образованная женщина, социолог, холодная, разумная, вынуждена для заработка сотрудничать в модных журналах. Интрига слабовата, но сейчас у нее мелькнула идея. Эти двести марок нужно будет



использовать, как дополнительный эпизод. В сущности, надо бы поговорить об этом с Густавом. Как раз когда дело касается композиции, он может подсказать много интересного. Но сегодня у него нет настроения. Зато у нее оно есть. Она в ударе, ей не терпится записать план рассказа.

А Густав тем временем говорил о своем Лессинге. Клаус Фришлип оказался в этом деле очень полезен. Вопрос в том, занять ли его целиком Лессингом? Тогда Фришлипу придется отказаться от заведования художественным отделом фирмы. Лессинг будет готов самое большее через полтора года. Стоит ли в таком случае отрывать Фришлипа от скучной, правда, но постоянной работы?

Сибилла слушала его рассеянно, мысли ее были заняты новым рассказом. Густав заметил это. Слегка обиженный, он ушел от нее раньше, чем собирался.

На следующий день профессор Мюльгейм обедал у Густава. Лицо маленького, шустрого человека морщилось сегодня как-то особенно лукаво.

Перед самым концом рабочего дня ему удалось обделаться для Густава великолепное дело. Уже много лет он настойчиво уговаривал Густава перевести свои деньги за границу. Дела в Германии принимают все более угрожающий оборот. Не безумец ли тот, кто остается в поезде, бригада которого проявляет явные признаки безумия? Теперь у Мюльгейма есть возможность без всякого риска перевести капитал Густава за границу. Он обстоятельно излагает детали. Дело продумано с большой предусмотрительностью, все вполне легально, ловко обойдены хитрые статьи валютных законов.

Мюльгейм маленькими глотками прихлебывал черный кофе. Терпеливо, пункт за пунктом, объяснял он другу всю сложную сделку. Густав слушал, нервно помаргивая глазом, выстукивая сильной волосатой рукой по колену какой-то мотив. «Глаз божий» перекатывался слева направо, слева направо. Эммануил Опперман хитро, добродушно, сонно смотрел на внука. Хорошо было деду Эммануилу: ему никогда не прихо-

дилось разрешать такие проблемы. Впрочем, дед, вероятно, с благодарностью принял бы предложение Мюльгейма. Но ему, Густаву, оно противно. Все существо его восстает против этого. Лицо его, отражающее малейшее душевное движение, выражает смятение, внутреннюю борьбу.

Мюльгейм сердится, горячится. Кому, собственно, собирается Густав оставлять деньги в Германии? Милитаристам, чтобы они употребили их на тайное вооружение? Крупным промышленникам, чтобы они занимались своими сомнительными гешефтами? Нацистам на содержание их штурмовых отрядов и оплату пропаганды, которую ведет их фюрер? Тринадцати тысячам крупных аграриев, чтобы эти горе-хозяева пустили их по ветру?

Густав встал и, тяжело ступая на всю ногу, забегал взад и вперед. Спору нет, Мюльгейм прав. Деньги, которые даешь государству, идут совсем не на общественные нужды. Они идут не для защиты его, Густава, а для нападения на него. Но как бы там ни было, они служат для поддержания порядка, не того, может быть, который нужен, но все-таки порядка. А Густав был согласен с Гете, что несправедливость предпочтительнее беспорядка. Он протянул Мюльгейму сильную волосатую руку.

— Я очень тебе благодарен, Мюльгейм, за твои заботы обо мне, но деньги свои я оставляю в Германии.

Мюльгейм руки не взял. Он с досадой смотрел на этого упряма. Дело было верное. Абсолютно законное. Акционерное общество, в которое он предлагал войти Густаву, насчитывало среди своих акционеров целый ряд «германских националистов» и даже «коричневых». Случай таким верным путем переправить капитал за границу вторично не представится. Срок подписки истекал завтра, с последним днем года. Чего Густав, собственно, хочет? Почему он отказывается? Какие у него доводы? Не будет ли он любезен изложить их.

Густав, озадаченный, бегал из угла в угол. Доводы? Никаких. Он считает непорядочным изымать свои капи-

талы из Германии. Он любит Германию. Вот и все. Соображения сентиментального порядка, они бессильны перед логикой Мюльгейма. Но что поделаешь, такой уж он сентиментальный человек. Почему бы — Густав улыбнулся по-мальчишески плутовато — обладателю полумиллионного капитала и по меньшей мере миллионного недвижимого имущества не позволить себе некоторую долю сентиментальности?

— Для того-то ты и должен обеспечить себе несколько сот тысяч марок, чудак, чтобы и в будущем разрешать себе некоторую долю сентиментальности. — Мюльгейм сердито рассмеялся.

Поспорив еще немного, Густав наконец согласился. Он подписался, правда, не на четыреста тысяч марок, как настаивал Мюльгейм, а только на двести. Мюльгейм облегченно вздохнул. Наконец-то он хоть частично обеспечил своего чудаковатого друга. Густав подписал доверенность, которую Мюльгейм заранее заготовил.

— Не забудь, между прочим, — важно заявил Густав, — что я, кроме того, получаю еще за Лессинга двести марок ежемесячного дохода.

Покончив со скучными деловыми вопросами, Густав быстро пришел в прежнее веселое настроение, и когда явился Фридрих-Вильгельм Гутветтер, он сиял, как всегда. Но Мюльгейма не так легко было отвлечь от политических тем.

— Мы видели бунтующего пролетария, — сказал он. — Это было малопривлекательное зрелище. Мы видели разнузданного крупного буржуа, крупного агрария, милитариста. Это было отвратительное зрелище. Но все это нам покажется раем, когда мы увидим разнузданного мелкого буржуа, нацистов и их «фюрера».

— Неужели вы серьезно так думаете, многоуважаемый профессор? — изумился Гутветтер, ласково глядя на Мюльгейма огромными детскими глазами. — Я иначе себе это представляю, — кротко молвил он. — Мне кажется, что война была лишь прологом. Век великих битв только начался. Это будет век уничтожения. Последние поколения белой расы будут беспощадно

истреблять друг друга. Гром совокупится с морем, огонь — с землей. Для такой битвы нужны рогатые лбы. В чем вижу я смысл грядущей национальной империи? Воинствующий дух, правосудие, построенное на высоких законах запрета, культ опьянения и жертвенности во имя косного звериного бытия — такова перспектива. — Он говорил кротко, каким-то созерцательным голосом, холеное, елейное лицо гармонировало с сюртуком, похожим на священническое одеяние, детские глаза глядели мечтательно.

Густав и Мюльгейм хранили некоторое время молчание. Потом Мюльгейм сказал:

— Ладно. Как вам угодно. А пока вы, может быть, не откажетесь еще от одной рюмки коньяку и сигары?

В 1905 году в Москве вышла книга под заглавием «Великое в малом. Антихрист как близкая политическая реальность». Автором был некий Сергей Нилус, чиновник синодальной канцелярии. К двенадцатой главе имелось приложение, озаглавленное «Протоколы сионских мудрецов». «Протоколы» содержали отчеты о тайных собраниях вождей всего еврейства, которые будто бы съехались в Базель осенью 1897 года в связи с первым сионистским конгрессом. На этих собраниях, по утверждению автора книги, вырабатывались директивы для утверждения мирового владычества евреев. Книга была переведена на ряд иностранных языков и произвела сильное впечатление, главным образом в академических кругах Германии. В 1921 году сотрудник лондонского «Таймса» доказал, что в большинстве своем протоколы дословно списаны с появившейся в 1868 году брошюры некоего Мориса Жюли. В этой брошюре приверженцы Наполеона III, масоны и бонапартисты, обвинялись в грандиозном заговоре для достижения мирового владычества. Автор «Протоколов» просто заменил слова «масоны и бонапартисты» словом «евреи». Частично же «Протоколы» заимствованы из романа «Биарриц», опубликованного в том же 1868 году неким Гедше, под псевдонимом Джон Ретклиф. В романе опи-

сывалось, как каждые сто лет князья рассеянных по всему свету двенадцати колен израилевых собираются на старом еврейском кладбище в Праге и держат совет о том, что делать дальше для укрепления владычества евреев над миром. Разоблачение грубой фальсификации вызвало во всем цивилизованном мире оглушительный хохот. Только в Германии, особенно среди университетских зубров, продолжали верить в подлинность «Протоколов».

«Протоколы» и все, что было связано с ними, чрезвычайно забавляли Густава Оппермана. Его интересовали документы человеческой глупости, и он собрал небольшую коллекцию, содержащую различные издания «протоколов» и литературу о них.

В последний день старого года директор Франсуа обычно обедал у Густава. Франсуа раздобыл чрезвычайно забавное издание «Протоколов», выпущенное неким Альфредом Розенбергом, и принес Густаву этот скромный подарок.

Обед прошел весело, в интересной беседе.

Директор Франсуа происходил из эмигрантской французской семьи. Уважение к разуму и гуманности с давних пор входило в традиции этой семьи, гордо хранившей лучшие заветы восемнадцатого и девятнадцатого столетий. Теперь, разумеется, под влиянием фрау Эмили, Грозовой тучки, господин Франсуа стал осторожен и только в кругу близких друзей отваживался упоминать о своем происхождении. Наедине с Густавом Альфред Франсуа мог дать себе волю. У них были одинаковые литературные вкусы, оба они ненавидели политику, оба были фанатическими поборниками чистоты языка. С Густавом Франсуа мог отвести наиболее душную душу. Оба познали человеческую глупость, бездонную, как море. Но они знали также, что в конце концов разум так же неизбежно побеждает глупость, как Одиссей победил циклопа Полифема, как люди бронзового века одолели людей каменного века. Густав Опперман и директор Франсуа вели застольную беседу в духе тех бесед, что не раз, вероятно, вели предки Франсуа.

Но еще до того как встали из-за стола, Франсуа вдруг вспомнил: он не выполнил обещания, данного Грозовой тучке. Когда он рассказал ей, какую забавную книжечку он поднесет завтра Густаву, фрау Эмилия заявила ему: «Раз ты завтра будешь у своего друга, ты кстати можешь поговорить с ним о твоём Оппермане. Пусть убедит этого молокососа поскорее уладить конфликт с Фогельзангом. В наше время такими вещами не шутят». Она до тех пор приставала к Франсуа, пока тот не пообещал ей переговорить с Густавом.

И вот он начинает разговор, осторожно, издалека. Война изменила немецкий язык, внесла в него новые понятия, новые слова, повлияла на лексику и синтаксис. Если пользоваться исключительно новыми оборотами, то получается нечто отвратительное. Если же хорошее старое органически сочетается с хорошим новым, то в результате образуется новый стиль, стиль, лишенный прежней задумчивости, но зато более твердый, холодный, рассудительный, мужественный. Некоторые из его учеников прекрасно восприняли этот новый немецкий язык. К числу наиболее восприимчивых он относит и Бертольда Оппермана. В этом юноше интерес к современной технике сочетается с живым влечением к гуманистическим проблемам. Нужно надеяться, что несносный новый учитель, которого посадили к нему в школу, как картофелину в грядку тюльпанов, не слишком много напортит. И он рассказывает случай с Фогельзангом.

Густав слушает довольно безучастно. Неужели Франсуа думает, что он отнесется к этому эпизоду как к проблеме? До чего же люди, замкнутые в своей профессии, склонны переоценивать всякий пустяк, связанный с нею. Все происшествие выеденного яйца не стоит. Бертольд высказал разумную мысль. Учитель из каких-то пошловато-сентиментальных соображений не желает с ней согласиться. Неужели Франсуа серьезно думает, что в двадцатом веке мальчику могут грозить неприятности за высказывание разумных мыслей в стенах учебного заведения?

— До этого еще дело не дошло, — отвечает директор Франсуа и поглаживает небольшими холеными руками

густые усы. Но Густав, видимо, недооценивает влияние, которое националистское движение оказывает, к сожалению, и на школу. Франсуа беседовал с одним из референтов министерства, вполне благомыслящим человеком, с которым у него прекрасные отношения. Референт обещал при первой возможности убрать из его школы этого беспокойного нового учителя. Но и сам референт — лицо зависимое и вынужден то и дело идти на всякие компромиссы. Единственная тактика в деле Фогельзанга — Оппермана, которая ему, Франсуа, кажется правильной, это тактика оттягивания. Если Фогельзанга переведут из его школы, дело само собой заглохнет. Но это, как уже сказано, только предположение. Правильней было бы на это не рассчитывать. Не уговорит ли все-таки Густав своего племянника принести требуемое извинение?

Густав удивленно вскинул глаза. После предисловия Франсуа он ожидал другого заключения. Он сдвинул густые брови, над крупным носом прорезались глубокие вертикальные складки, все его изменчивое лицо выражало изумление. Отдавая через Мюльгейма распоряжение перевести часть своего капитала за границу, он исходил из того же чувства осторожности, какое сейчас проявляет Франсуа. Но вряд ли такая осторожность свойственна Бертольдцу. После короткого молчания Густав сказал:

— Нет, дорогой Франсуа: в этом деле я не могу вам помочь. Я понимаю, что можно утаить правду, которую знаешь. Но мой племянник высказал свою правду вслух, и я не стану советовать ему задним числом отречься от нее да еще извиняться. — Лицо его приняло замкнутое, высокомерное выражение, он сидел очень прямо. В этом у него сходство с Гете, подумал Франсуа; сидя, он кажется очень высоким. Грозовая тучка будет сердиться, продолжал он рассуждать про себя, но он с чистой совестью может сказать, что сделал все от него зависящее. Вообще же ему нравилось поведение друга Густава.

Оба с облегчением вздохнули, когда обед кончился и можно было перейти в библиотеку. В этой прекрасной комнате приятно было беседовать об извечной, бездон-

ной, как море, человеческой глупости и о такой же извечной победе духа над ней. Густав приобщил новый экземпляр «Протоколов» к своей коллекции памфлетов. Улыбаясь, вытащил он книгу фюрера «Моя борьба», стоявшую в одном ряду с «Протоколами», и стал читать своему другу наиболее «сочные» места. Франсуа затыкал уши: он не желал слушать искаженный, исковерканный немецкий язык этой книги. Густав уговаривал его потерпеть. Несомненно, раздражение против формы мешало ему оценить комизм содержания. Несмотря на протесты Франсуа, он прочитал ему несколько мест. «Низость еврея беспредельна,— читал Густав,— и не приходится удивляться, что немецкий народ олицетворяет дьявола, как воплощение зла, в физическом облике еврея... Именно еврей,— читал дальше Густав,— приводили и приводят негра к берегам Рейна, чтобы путем скрещивания погубить белую расу, низвести ее с политических и культурных высот и самим возвыситься до господства над ней... Еврей,— читал он,— хотят создать в Палестине еврейское государство вовсе не для того, чтобы селиться там, а для того, чтобы иметь наделенный суверенными правами организационный центр мирового мошенничества, убежище для изобличенных негодяев и высшую школу для будущих прохвостов». Директор Франсуа, как ни противно ему было, не мог удержаться от смеха над этим нагромождением бессмыслицы. Смеялся и Густав. Он читал все новые и новые отрывки. Оба хохотали оглушительно.

Но Франсуа в конце концов не выдержал неаппетитного чтения.

— Не могу вам описать, дорогой друг,— сказал он,— как мне становится скверно, когда приходится слышать цитату из этой нечистоплотной книги. Скажу, не преувеличивая: меня буквально тошнит.

Густав улыбнулся, отдал по внутреннему телефону распоряжение Шлютеру принести коньяк, потом поставил книгу на место, рядом с «Протоколами».

— Разве не странно,— сказал он,— что одна и та же эпоха порождает людей, стоящих на таких разных ступенях развития, как автор книги «Моя борьба» и автор книги «Неприязнь к культуре»? Анатом будущего



столетия, сравнивая мозг того и другого, наверно, пришел бы к утверждению, что их разделяют по крайней мере тридцать тысяч лет.

Шлютер принес коньяк, заморозил рюмки, наполнил их.

— Что с вами, Шлютер? — спросил Густав. — На вас лица нет.

Директору Франсуа тоже показалось, что обычно спокойный и расторопный Шлютер чем-то расстроен.

— Звонили из городской клиники, — сказал Шлютер, и лицо его потемнело, — шурина моему очень плохо. Едва ли он дотянет до нового года.

Густав был поражен.

— Когда вы ездили к нему в последний раз? — спросил он.

— Третьего дня, — ответил Шлютер. — Жена была вчера. Он сказал ей: «Нельзя этим псам вечно все спускать с рук. Они запугают всю страну, если люди будут молчать. И если бы мне пришлось претерпеть все сначала, я бы все равно не отказался от своих слов».

— Ступайте в клинику, Шлютер, — предложил ему Густав. — Сейчас же. И Берте передайте, чтобы она шла. Вы мне не нужны. Переключите сюда телефон. Если кто-нибудь придет, я открою сам. Возьмите машину, если хотите.

— Благодарю, господин доктор, — сказал Шлютер.

Густав рассказал Франсуа, в чем дело. Шурина Шлютера, Пахнике, механик по профессии, очень порядочный, далекий от политики человек, оказался свидетелем одной из ежедневных теперь потасовок между республиканцами и нацистами. Один из республиканцев был убит в стычке. Ландскнехты заявили, что республиканцы напали на них и им пришлось обороняться: обычное их объяснение, когда они убивают своих противников. На суде механик Пахнике, допрошенный в качестве свидетеля, рассказал все, как было, то есть что потасовку затеяли «коричневые». Впрочем, ни ему, ни другим свидетелям, показавшим под присягой то же самое, не поверили, и убийцу оправдали. Но вскоре после процесса «коричневые» напали ночью на Пахнике

и так его изувечили, что пришлось отправить беднягу в больницу.

— Вот видите, дорогой Опперман,— сказал Франсуа, когда Густав кончил,— у нас в Германии не совсем безопасно становиться на сторону правды и разума. Быть может, теперь вы не столь строго отнесетесь к моему желанию уберечь вашего племянника от участи механика Пахнике.

— Вы совершенно недопустимо обобщаете, дорогой Франсуа,— резко возразил Густав.— В конце концов ни вы, ни ваши педагоги, ни господа из министерства народного просвещения не принадлежите к наемным убийцам. Нет, нет: подавляющее большинство немцев — это Пахнике, а не рыцари свастики. Как ни сылют те деньгами и обещаниями, им не удалось одурачить и трети населения. При том размахе, какой они взяли, результаты просто убоги. Нет, дорогой Франсуа, у народа хорошая душа.

— Внушайте мне это почаще,— сказал Франсуа,— нам нужно верить в это. А то я иногда начинаю сомневаться. Не пора ли, однако, нам бросить политику. Я никак не могу отделаться от дурного осадка после той тошнотворной книги. Давайте смоем его чем-нибудь хорошим.

Он порылся в книгах. Вынул том Гете. С улыбкой прочел: «В смутные времена народ мечется из стороны в сторону, как горячий больной». И они омыли дух свой от грязи «Протоколов» и «Моей борьбы».

Так провели они два прекрасных часа. Тяжелое настроение постепенно рассеялось. Нет, народ, который веками воспитывался на таких произведениях, как те, что стоят на этих полках, не поддастся дурману косноязычной болтовни «Протоколов» и книги «Моя борьба». Густав проявил излишнюю осторожность, последовав совету Мюльгейма, а у Франсуа нет никаких оснований сомневаться в благоприятном исходе конфликта с Фогельзангом. Густав, конечно, прав: основная масса немецкого народа состоит из таких людей, как механик Пахнике, а не из сброда, который перебегает к ландскнехтам. Они задумались над словами умирающего Пахнике: «Если бы мне пришлось претерпеть все сна-

чала, я бы все равно не отказался от своих слов». Пахнике, а не господа Фогельзанги выражают думы немецкого народа. Народ верен разуму, он не попадетсЯ на удочку напыщенных речей фюрера. С беспечной веселостью задавались друзья вопросом, чем кончит этот фюрер: зазывалой в ярмарочном балагане или агентом по страхованию.

30 января президент Германской республики провозгласил автора книги «Моя борьба» рейхсканцлером.

---

## *Книга вторая*

### СЕГОДНЯ

На совести у немцев — национализм, самый варварский, самый безумный недуг из всех существующих, тот *peut-être nationale*, которым больна Европа. Германия лишила Европу рассудка, отняла у нее разум.

*Ницше*



**Г**устав Опперман направлялся на Гертраудтенштрассе, чтобы принять участие в совещании владельцев мебельной фирмы Опперман. Мартин с необычайной настойчивостью просил его на этот раз приехать во что бы то ни стало.

Прошло всего несколько дней после назначения нового рейхсканцлера. Улицы кишели народом. Повсюду видны были коричневые рубашки, свастика. Машина Густава, искусно управляемая Шлютером, продвигалась довольно медленно.

Вот снова красный огонь светофора. «У американцев,— подумал Густав,— есть хорошая поговорка: «The lights are against me»<sup>1</sup>. Но ему некогда было додумать мысль до конца, его отвлек пронзительный старушечий голос, навязчиво предлагавший куклы. Куклы изображали фюрера. Старуха поднесла одну из них к стеклу автомобиля. Если прижать кукле живот, она выбрасывает вверх руку с раскрытой ладонью, жест, заимствованный итальянским фашизмом у древнего Рима, а немецким фашизмом у итальянского. Старуха, поглаживая куклу, кричала:

— О бедный, о великий! Ты боролся, ты страдал, ты победил.

Густав отвел глаза от уродливо-смешного зрелища. Он, как и вся Германия, был поражен неожиданным назначением нового рейхсканцлера. Правда, это поразило его меньше, чем самого фюрера, но и Густав ничего не понимал в ходе событий. Почему именно теперь,

---

<sup>1</sup> Огни против меня (англ.).

когда фашистская горячка идет на убыль, высочайший пост в стране вверяется такому человеку, как автор книги «Моя борьба»? В гольфклубе, в театральном клубе Густаву втолковывали, что большой опасности в этом нет, что влияние умеренных, благомыслящих членов кабинета парализует влияние рейхсканцлера. Все вместе только нарочитый маневр, рассчитанный на то, чтобы подавить растущее брожение в массах. Густав слушал и с готовностью соглашался.

Мюльгейм, правда, придавал событиям гораздо большее значение. По его мнению, господствующие группировки, с крупными аграриями во главе, напуганные возможностью разоблачения панамы с субсидиями, призвали варваров на помощь. Мюльгейм не верил в то, что, допустив варваров к корыту, от них легко будет избавиться. Этот сангвиник дошел до утверждения, что цивилизация Центральной Европы находится под угрозой такого нашествия варваров, какого мир не знал со времен переселения народов.

Пессимизм друга вызвал у Густава только улыбку. Народ, создавший такую технику, такую промышленность, не впадет внезапно в состояние варварства. Ведь только недавно кто-то высчитал, что в странах с господствующим немецким языком один только Гете разошелся более чем в ста миллионах экземпляров. Нет, такой народ быстро раскусит крикливую демагогию варваров.

На тихих улицах Груневальда, где жил Густав, последние события почти не ощущались. Лишь попав в центр города, он увидел, как обнаглели варвары. Их отряды заполнили улицы. Новенькое, с иголочки, еще пахнущее портняжной мастерской коричневое обмундирование, античный жест приветствия, ну прямо статисты на провинциальной сцене. Сборщики с кружками останавливали прохожих и предлагали жертвовать на проведение избирательной кампании. Густаву хотелось услышать, что они кричат. Он опустил стекло. «Жертвуйте на пробуждающуюся Германию. Она на веки вечные выгонит евреев в Иерусалим!» — услышал он. Густав служил в армии, несколько месяцев был на фронте. Эпергичные хлопоты Анны уберегли его в свое время от

дальнейших фронтовых мытарств. Службу в армии Густав считал самым отвратительным эпизодом в своей жизни. Он старался вычеркнуть ее из памяти: он заболел, когда думал о ней. При виде коричневых рубашек в нем вдруг ожило тягостное воспоминание.

Машина шла по Гертраудтенштрассе. Вот и дом фирмы Опперман, зажатый другими домами, старомодный, солидный. И здесь, перед самым подъездом, одетые в форму нацисты кланчили у прохожих на свою избирательную кампанию. «Жертвуйте на пробуждающуюся Германию. Она на веки вечные выгонит евреев в Иерусалим. Поддержите фюрера!» — выкрикивали они звонкими мальчишескими голосами. Старый швейцар Лещинский неподвижно стоял в дверях. Лицо его с тяжелым квадратным подбородком, с жесткими седыми усами окаменело. Он особенно хмуро поклонился Густаву, особенно четким движением толкнул вращающуюся дверь: он подчеркивал перед сопляками в коричневых рубашках свои почтительные чувства к патрону.

В главной конторе все уже собрались. Пришли Жак Лавендель и Клара Лавендель, доверенные Гинце и Бригер, не было только Эдгара. Густав вошел быстрой, твердой походкой, ступая на всю ногу, стараясь казаться беспечным, сияющим, как всегда. Кивнув в сторону портрета Эммануила Оппермана, сказал:

— Великолепная копия. Подозреваю, Мартин, что ты у себя оставил оригинал, а мне сплавил копию.

Но на шумную веселость Густава откликнулся один только шустрый господин Бригер:

— Дела идут превосходно, господин Опперман. Нацисты устраиваются на широкую ногу, а если люди устраиваются, им нужна мебель. Ну, а кто будет поставлять мебель для их коричневых учреждений? Мы.

Перешли к делу. Мартин начал с нескольких замечаний общего характера. Нацисты используют антисемитизм как средство пропаганды. Возможно, даже очень вероятно, что теперь, придя к власти, они откажутся от антисемитских выпадов как от ненужного и экономически вредного средства. Но принять меры предосторожности все же не мешает. Он просит высказаться по этому поводу господина Бригера.



Маленький длинноносый господин Бригер заговорил, по обыкновению, развязно. Ничего другого, пожалуй, не остается, как влить все оппермановские магазины в акционерное общество «Немецкая мебель». Хорошо было бы также прийти наконец к какому-нибудь соглашению с господином Вельсом. Господин Бригер уже зондировал на этот счет почву. Как ни странно, но именно он лучше всех умеет сговориться со свирепым гоем. Необходимо еще до выборов перевести оппермановское предприятие в нееврейские руки по меньшей мере на пятьдесят один процент. Обставить это нужно так, чтобы никто ни с какой стороны не мог подкопаться. Операции, связанные с этим делом, чрезвычайно деликатны, хлопотливы и потребуют от обеих сторон взаимного понимания, решимости, доброй воли. «Три качества, в которых мы сильны, чего о господине Вельсе никак не скажешь». Таково было мнение господина Бригера, которое он изложил, пересыпая речь острыми шуточками. Он старался говорить легко и весело, но это не всегда ему удавалось.

Мартин резюмировал мнение Бригера:

— Нужно сделать и то и другое: и перейти целиком в акционерное общество «Немецкая мебель», и повести переговоры с Вельсом. Полагаю, что с ним лучше всех поладит господин Бригер. — Косвенное признание того, что он, Мартин, кое-что напортил при своем свидании с Вельсом, далось ему нелегко, но умолчать об этом он считал некорректным.

Представительный господин Гинце сидел неподвижно и был явно не согласен с тем, что говорилось.

— Я полагаю, — сказал он, — что если профессор Мюльгейм возьмется за дело, то в течение недели с «Немецкой мебелью» будет все оформлено. Но мы еще не дожили, слава тебе господи, до того, чтобы Опперманам бегать за каким-то господином Вельсом. Пусть только акционерное общество «Немецкая мебель» станет фактом, и мы спокойно можем ждать, пока наш приятель сам заявится.

— Очень хорошо, — сказал Жак Лавендель, дружески глядя на господина Гинце. — Ну, а что, если приятель не заявится? Что, если он ежедневно слушает по

радио разглагольствования фюрера и верит им? Голова-то у него, у бедняги, не очень крепкая. Не будем, господа, полагаться на рассудительность других. Пока что этот расчет никогда еще не оправдывал себя. Начните переговоры с этим гоем. Сегодня же. Не будьте мелочными. Не завязывайте морду волю, когда он жует. Ткните ему в зубы кусок побольше: это лучше, чем отдать все.

Густав сидел, как человек, который слушает из вежливости, но которому, в сущности, разговор паскучил. Он уставился на грамоту, висевшую в рамке на стене. Текст он знал наизусть. «Купец Эммануил Онперман из Берлина оказал германской армии большую услугу своими поставками. Генерал-фельдмаршал фон Мольтке». Густав полузакрыв скушающие карие глаза, едва заметно опустил плечи и сразу потерял всю свою молоджавость, стал похож на Мартина.

Все ждали, что Густав выскажется сейчас же после Бригера, и только когда стало ясно, что он не намерен взять слово, выступил Мартин. Видя, что Густав все молчит, Мартин обратился к нему с вопросом:

— А твое мнение, Густав?

— Я не согласен с тобой, Мартин,— ответил он, и голос его, обычно дружелюбно-ворчливый, прозвучал раздраженно и решительно.— И с вами не согласен, господин Бригер, и даже с вами, господин Гинце. А уж меньше всего я согласен с вами, Жак. Не понимаю, почему у вас вдруг затряслись поджилки? Что произошло? Популярного олуха облекли высоким званием и тут же парализовали его влияние, окружив солидными людьми. Неужели вы в самом деле думаете, что Германии пришел конец оттого, что на улицах озорничают несколько тысяч вооруженных сопляков? — Он сидел прямо и казался очень высоким. Его приветливое лицо выражало досаду, раздражение.— Что вам мерещится? Чего вы испугались? Бойтесь, что нашим покупателям запретят покупать у нас? Закроют наши магазины? Или, может быть, конфискуют наш капитал, вложенный в предприятие? И все только потому, что мы евреи? — Он встал и грузно забегал взад и вперед по комнате, посапывая мясистым посом.— Оставьте меня, пожалуйста, в покое с

вашими детскими сказками. Погромам в Германии не бывать. С этим покончено. Уже более ста лет. Сто четырнадцать лет прошло с последнего погрома, если хотите точную справку. Неужели вы думаете, что шестьдесят пять миллионов немцев перестали быть культурным народом оттого, что они не зажимают рта несколькими дуракам и негодяям? Я этого не думаю. Я против того, чтобы идти на поводу у дураков и негодяев. Я против того, чтобы снять с вывески доброе имя Опшерманов. Я против того, чтобы велись переговоры с тупоголовым Генрихом Вельсом. Вы не заразите меня вашей паникой. Не понимаю, как могут взрослые люди всерьез испугаться этой дурацкой кукольной комедии.

Все были озадачены. Спокойствие Густава, его уступчивость вошли в поговорку. В деловых вопросах он никогда сколько-нибудь серьезно не противоречил. Никогда его не видели в таком возбуждении, как сегодня. Что же это такое? Осталось ли хоть одно еврейское предприятие, которое бы не приняло мер предосторожности? Что могло ослепить такого умного человека, как Густав? Вот они, эти вечные занятия литературой да философией.

Первым заговорил Жак Лавендель.

— Вы, значит, твердо верите, Густав, что здравый смысл победит? — Он дружески поглядел на Густава. — Вашими бы устами да мед пить, — продолжал он тихим, хриплым, доброжелательным голосом. — Конечно, в исторической перспективе вы правы, Густав. Но мы, деловые люди, не можем, к сожалению, заглядывать так далеко. День, о котором вы говорите, непременно придет. Но никто из нас не знает, доживет ли до него. В смысле деловом, конечно. Когда он наступит, вы окажетесь правы, но фирма Опшерман успеет обанкротиться.

— Как прекрасна ваша вера, — сказал представительный господин Гинце. Он встал и тепло пожал руку Густаву. — Благодарю вас за ваши слова. Они поистине целительны. Они поднимают дух. Но как коммерсант я все-таки говорю: вера в душе, осторожность в деле.

Мартин упорно хранил молчание. Он вытащил пенсне, долго и тщательно тер стекла, сунул обратно. Смущенный, озабоченный, глядел он на брата. Увидел

вдруг, что Густаву действительно пятьдесят лет. Ни спорт, ни безоблачная, спокойная жизнь не помогли ему. Вот он стоит и несет что-то ни с чем не сообразное. Мартин посмотрел на портрет старого Эммануила. И тут ему стало ясно, что на его месте старый Эммануил уже год тому назад начал бы переговоры с Вельсом и давно бы пришел с ним к соглашению; улыбаясь, покачивая головой, он давно убрал бы с фирменной марки имя и портрет. Подумаешь, какая важность имя, портрет! Важна суть. Семью свою он давно переселил бы за границу, куда-нибудь, где живут более приятные, более культурные люди. Мартин почувствовал вдруг огромное превосходство над братом.

— Спокойней, спокойней, Густав,— сказал он.— Выход найдется.

Густав стоял в углу. Смотрел, все еще не остыв, на Мартина, Жака и других. Что общего у него с этими растерявшимися дельцами? Они несимпатичны ему все вместе взятые, он не выносит их вечного грошового скептицизма. Перед ним — великая Германия, от Лютера до Эйнштейна и Фрейда, от Гутенберга и Бертольда Шварца до Цеппелина, Габера и Вергиуса. А эти дельцы считают ее конченой страной. И почему? Только потому, что она, доведенная до крайности, на мгновение потеряла голову.

— Нет никакой необходимости искать выход,— набросился он на Мартина.— Все должно остаться, как оно есть. Уже один факт существования «Немецкой мебели» является достаточным компромиссом.

Присутствующие начинали терять терпение.

— Образумьтесь, Густав,— сказал Жак Лавендель.— Кант есть Кант, а Рокфеллер есть Рокфеллер. Кант по методу Рокфеллера не написал бы своих книг, а Рокфеллер по методу Канта не нажил бы своих миллионов.— Жак тепло, сердечно посмотрел на Густава.— Философией вы занимаетесь на Макс-Регерштрассе, а на Гертраудтенштрассе занимаетесь делами.

Как это ни странно, а выход из создавшегося тупика нашла Клара. Ей нравился брат ее Густав, но, слушая его, она все яснее понимала, почему вышла замуж за Жака. Клара не участвовала в споре, о ее присутствии

совершенно забыли. Все были удивлены, когда эта грузная, тихая женщина заговорила:

— Если Густава так волнует вопрос о сохранении имени Опперман, — предложила она, — то можно здесь, на Гертраудтенштрассе, продолжать дело под фирмой Опперман, а все отделения объединить под фирмой «Немецкая мебель». Ну, а против того, чтобы Бригер частным порядком продолжал переговоры с господином Вельсом, Густав, я думаю, возражать не станет.

Это предложение рассудительной, решительной женщины понравилось и Густаву и всем остальным. Без дальнейших слов его приняли. Густав для вида сделал еще несколько оговорок. Он был недоволен собой, ему было досадно, что он не сдержал себя. В конце концов и он дал свою подпись.

Оставшись один, Мартин тяжело облокотился на ручки кресла. Непонятное поведение брата угнетало его. «Ему предстоит многому учиться заново, — думал он. — Почему он не хочет признать то, что видят все? Германия тысяча девятьсот тридцать третьего года — это уже не Германия нашей юности. В ней ничего не осталось от Германии Гете и Канта, к этому надо привыкать. По «Фаусту» не поймешь Германию наших дней, придется Густаву обратиться к книге «Моя борьба».

Вечером на Корнелиусштрассе Мартин старается вести за столом беззаботный разговор. Он не намерен, конечно, скрывать от Лизелотты принятые сегодня на Гертраудтенштрассе решения. Но его очень огорчит, если она легко отнесется к ним, а вместе с тем ему не хочется и волновать ее.

Лизелотта сидит между неестественно многоречивым мужем и молчаливым сыном. Она чувствует тревогу Мартина и с растущим беспокойством следит за Бертольдом, который явно чем-то мучается, не желая ни с кем поделиться.

После ужина Мартин, собравшись с духом, в коротких словах сообщает ей, что отныне все оппермановские магазины, за исключением главного, войдут в фирму

«Немецкая мебель». Лизелотта, красивая, статная Лизелотта, слушает его. Она слегка наклонилась вперед, ее удлиненные серые глаза пытаются заглянуть в тусклые карие глаза мужа; светлое лицо ее мрачнеет.

— Все? — спрашивает она. — Все оппермановские магазины? — Ее глубокий голос звучит поразительно тихо.

— Тяжело это, Лизелотта, — говорит Мартин.

Лизелотта не отвечает. Она только подвигает свой стул ближе к Мартину. Мартин ждал, что она легко примет все. И он чувствует большое облегчение оттого, что ошибся.

Густав Опперман попросил Эллен Розендорф перейти из столовой в кабинет. Они пили чай, болтали, провели вдвоем несколько приятных часов. В кабинете Эллен прилегла на широкую тахту; Густав включил лампу под абажуром и сел в кресло против Эллен.

— А теперь, Эллен, — сказал он, предлагая ей сигарету, — расскажите то, о чем собирались мне рассказать. Что случилось?

Она лежала неподвижно и курила. Красивое смуглое лицо ее оставалось в тени, она сделала несколько глубоких затяжек и как бы вскользь бросила:

— Я рассталась с ним.

— С кем? — озадаченно спросил Густав. — С принцем?

— А с кем же, наивный младенец? — усмехнулась Эллен. — Он мне нравился, — сказала она. — Я часто спрашивала себя: а если бы он не был кронпринцем, нравился бы он мне? Думаю, да. В нем все было как-то удивительно слажено.

— А теперь вдруг разладилось? — спросил Густав.

— Разумеется, — продолжала Эллен, — он рад развернувшимся событиям. Он был бы дураком, если бы не содействовал их развитию. Хотя, в сущности, ни одна роль не будет ему так к лицу, как роль кронпринца не у дел. Я, конечно, не осуждаю его за то, что он не прочь при случае оказаться снова у дел. Почему же не использовать нацистов, если они могут быть полезны? Ведь

есть же, скажем, целый ряд еврейских фирм, которые поставляют им форму, мебель, ткань для знамен? Важно только одно: никогда не забывать, из какого теста эти господа. Их услугами пользуются, а затем моют руки. Принц знает это так же, как мы. Как мы, он рассказывал о фюрере десятки анекдотов. Он оглушительно хохотал, когда при нем читали отрывки из «Моей борьбы». Он умеет смеяться. И представьте, Густав: с тех пор как этот человек стал канцлером, принц в корне переменяет к нему отношение. Он осмеливается в разговоре со мной утверждать, что в фюрере что-то есть. Сначала я думала, что он шутит. Но он твердит свое. Он так долго и добросовестно внушал это себе, что и впрямь поверил. И теперь уж ничего не поделаешь. Мир отвратителен, Густав.

Густав слушал ее внимательно и нежно. Это его умение слушать и всем существом своим отзываться на их дела и любили в нем женщины. Несмотря на легкость и развязность тона Эллен, Густав чувствовал, каких страданий стоит ей разрыв с кронпринцем. Он представлял себе, как это произошло. Вероятно, Эллен поспорила с принцем на политическую тему, и он, со свойственной ему бесцеремонностью, не стал скрывать своего антисемитизма. Густав ничего не сказал, пересел к ней на тахту и стал гладить ее смуглую, нежную руку.

— Не странно ли, Густав? — продолжала она, помолчав. — Этот человек так же хорошо знает закулисную сторону последних событий, как и мы с вами. Фашисты зашли в тупик, крупные промышленники не давали больше денег. Фюрер был конченный человек. «He was over». Я сама слыхала, как принц сказал это одному англичанину. Все было кончено. И вот маленькая группа крупных аграриев, которым некуда было податься, открыла шлюзы варварству. Сам вожак так же мало сделал для своего «успеха», как вы или я. Даже папаша Гинденбург, у которого вынудили согласие, и тот сделал для фюрера больше, чем он сам. И после всего этого у кронпринца хватает наглости заявить мне, что, очевидно, в фюрере все-таки что-то есть, раз он достиг такого успеха.

— Эта история,— жаловалась Эллен,— перевернула вверх дном все мои представления о величии. Я с ужасом спрашиваю себя, не состряпана ли таким манером и слава многих великих людей, задним числом, после подобного рода «успехов»? Страшно подумать, что, быть может, какой-нибудь Цезарь имел за душой не больше нашего фюрера.

— В этом смысле могу вас успокоить, Эллен,— улыбнулся Густав.— Относительно большинства великих людей существуют непререкаемые доказательства их умственной и всякой другой деятельности. Цезарь, например, оставил две книги. Если хотите, Эллен, я прочитаю вам страничку из его «Галльской войны» и, для сравнения, страницу из «Моей борьбы».

Эллен рассмеялась.

— Да, да, утешьте меня, Густав,— попросила она.— Я нуждаюсь в утешении.— Но улыбка мгновенно исчезла с ее лица.— Знать бы, когда это кончится,— проговорила она.

— Все это одна лишь паника, и больше ничего,— вспыхнул Густав.

Но Эллен серьезно посмотрела на него и медленно покачала красивой библейской головой.

— Такими дешевыми приемами, Густав, вам не следовало бы меня утешать. Разве вы сами этого не понимаете?

Густав смешался, неприятно пораженный.

— Неужели вы думаете, что это серьезно? — Он спрашивал настойчиво. Мнение Эллен ему вдруг показалось гораздо важнее, чем мнение Мюльгейма, его опытного друга; он напряженно ждал ответа.

— Да что я, по-вашему, ясновидящий Ганусен, что ли? — Эллен улыбнулась.— Одно можно сказать с уверенностью: помните, со вступлением американцев в войну все знали, что война для нас проиграна? Вот точно так же мне теперь ясно, что дело с фашистами хорошо кончиться не может. Но когда наступит этот конец; и как он наступит? И не будет ли он концом Германии? — Она пожала плечами.

— Что вы тут нагородили, Эллен? — Густав рассерженно поднял брови, но руки ее не выпустил.— Оттого,



что какой-то там глупый принц пожелал броситься в объятия варваров, вы считаете, что вся Германия погрязла в варварстве?

— Я этого вовсе не считаю,— возразила Эллен.— Я говорю только, что варваров легко разнудать, но очень трудно надеть на них узду. Варварство имеет свою притягательную силу. Должна сознаться, что мне самой частенько трудно устоять против этой силы. Я бы лгала, если бы утверждала обратное. Другие, большинство, вероятно еще сильнее ощущают этот соблазн.— Она лежала перед ним, красивая, печальная, насмешливая, умная. Из нелепого приключения с кронпринцем, через которое она прошла со стыдом и цинизмом, Эллен выходила, не раскаиваясь; она издевалась над собой. Густав почувствовал вдруг жгучее желание. Он обхватил ее сильными волосатыми руками. Близко, близко придвинув к ней лицо, он горячо заговорил:

— Эллен, уедем из этого глупого Берлина. Поедем на Канарские острова. Я брошу к дьяволу своего Лессинга. Едемте со мной, Эллен. Прошу, прошу вас: поедем.

Она гладила его большую взбудораженную голову.

— Вы ребенок, Густав,— успокаивала она его.— Вы хороший, и вам незачем ехать на Канарские острова, чтобы доказать мне это.

После ее ухода Густав сидел усталый, умиротворенный. Он собирался провести вечер в одиночестве, работая над Лессингом. Но после ухода Эллен его вдруг потянуло к людям, к разговорам. Он поехал в театральный клуб.

Настроение в клубе было довольно уверенное. Хозяйственные круги отнеслись к происшедшей перемене поначалу оптимистически. Возведенный в канцлеры попугай, беспомощно лепечущий по чужой подсказке, находится всецело в руках крупного капитала. Все были уверены, что он не отважится на какие-либо эксперименты. В свое время социал-демократы шли на поводу у крупных аграриев и магнатов тяжелой индустрии, то же самое будет и с националистами: ведь аграрии и промышленники сами допустили их к власти,— значит, так нужно. Будьте покойны. На сцене разыгрывается

комедия, а за кулисами заключаются торговые сделки. Старая история.

Густав говорил мало, больше слушал. Политические и хозяйственные вопросы его не очень интересовали. В его жизнь, в его духовный мир переворот не ворвется. Эта уверенность все больше крепла в нем. Как мог он поддаться всеобщей панике? Какую отвратительную сцену устроил он в кабинете Мартина. Ужасно. В пятьдесят лет он все еще не владеет собой, сущий ребенок. Но впредь он будет крепко держать себя в руках. Ни слова больше о политике. Конец всей этой дурацкой, непухлой болтовне.

Он заказал себе вина. Сыграл партию в экарте. Играл довольно неосторожно, и все же выигрывал. Счел это хорошим признаком. У входа в игорный зал стоял старый служитель Жан. У Густава вошло в обыкновение в случае выигрыша давать старику пять марок. И сегодня он, как всегда, приготовил кредитку и, выходя, сунул ее в руку старика. Ему нравилось достоинство, с каким старик благодарил, неприметно, но вместе с тем почтительно. Часть пути до дому Густав прошел пешком. Была свежая зимняя ночь. Жизнь по-прежнему была легка и приятна.

Он хорошо спал и проснулся в бодром, светлом настроении. День начался удачно. Доктор Фришлин, бросивший службу в мебельной фирме и ежедневно работавший теперь по уграм с Густавом, подал несколько интересных мыслей. Полученные письма тоже были приятны. В особенности порадовало Густава письмо известного писателя, с которым он был знаком по Обществу библиофилов. Писатель приглашал его подписать воззвание против растущего варварства и одичания общественной жизни. Густав радостно улыбнулся и подетски смутился, хотя никто не мог видеть его улыбки. Неужели его литературную работу ценят так высоко, что придают его подписи какое-то значение? Он вторично прочитал письмо. И подписал воззвание.

Профессор Мюльгейм, услышав, что Густав дал свою подпись, реагировал на это далеко не так, как ожидал Густав.

— Твое писательское самолюбие, Опперман, может

быть, и польщено,— сказал он с досадой,— но я бы от этой чести уклонился.

Густав поднял брови; на лбу проступили резкие вертикальные оппермановские складки.

— Объясни, пожалуйста, почему? — раздраженно спросил он.

— Нужно ли объяснять? — недовольно сказал Мюльгейм. — Чего ты ждешь от такого воззвания? Неужели ты думаешь, что такая бесхребетная академическая болтовня способна произвести впечатление на кого-нибудь в министерстве? — И так как Густав, видимо, все еще не понимал, Мюльгейм выложил все, что думал по этому поводу: — Должен тебе сказать, Опперман, что ты непозволительно наивен. Неужели ты думаешь, что эффект этого воззвания будет хоть в какой-нибудь мере соответствовать той цене, в какую тебе обойдется твоя подпись? Разве ты не видишь, чудака ты эдакий, какую ты кашу заварил для себя и для всех Опперманов? Фашистские писаки не оставят тебя теперь в покое. Кроме них, конечно, никто не откликнется на это воззвание. Год назад их вой мог бы только позабавить. Но теперь они — рупор правительства, и довольно-таки беззастенчивого правительства. Твоему брату Мартину творения этих писак доставят мало удовольствия.

Густав стоял, как школьник, получивший нагоняй.

— Тебя действительно ни на минуту нельзя оставить одного, Опперман,— сказал в заключение Мюльгейм значительно мягче.

Но смущение Густава быстро прошло. Что такое? На него опять хотят нагнуть страху? Он покорнейше просит оградить его от этих идиотских разговоров. Он не желает их слушать. Он не допустит, чтобы ему мешали вступаться за Лессинга, Гете, Фрейда. И пусть, бога ради, десяток-другой идиотов покупает стулья для своих драгоценных седалищ не у Опперманов. Мюльгейм насмешливо смотрел на расходившегося Густава. Отвечал иронически. Друзья расстались холодно.

Совсем иное впечатление произвело воззвание на Сибиллу Раух. Она с радостью увидела среди известных имен имя своего друга. Со свойственной ей ребячливостью и сердечностью поздравила она Густава. Как бла-

городно с его стороны, не думая о последствиях, дать свою подпись. Сибилле нравился ее друг. Густав нашел, что ее оценка гораздо естественнее и правильнее, чем отношение к этому делу политиков, юристов, деловых людей.

Он продолжал работать. Биография Лессинга успешно подвигалась вперед, жизнь была прекрасна. Пусть во дворце рейхсканцлера распоряжается варвар, его, Густава, это мало беспокоит.

То, что не удалось ни Мартину, ни Жаку Лавенделю, ни искушенным Бригеру и Гинце, ни даже умудренному опытом профессору Мюльгейму и красивой умной Эллен Розендорф, а именно поколебать твердокаменный оптимизм Густава, сделали, как это ни странно, три стула. Точнее: три столовых стула, по тридцать семь марок за штуку, модель № 1184.

Шесть таких стульев стояло в столовой у ффрау Эмили Франсуа, по прозвищу Грозовая тучка, а ей давно хотелось иметь девять. Нескладный муж ффрау Эмили подавал в последнее время все больше и больше поводов для недовольства. Несмотря на обострение политической обстановки, инцидент с этим молокососом Опперманом до сих пор не был разрешен, да и отношения ее мужа с преподавателем Фогельзангом оставляли желать лучшего. Директор Франсуа, стремясь сколько-нибудь задобрить свою Эмилию, решил подарить ей ко дню рождения недостающие три стула. По существу, ффрау Эмилия не возражала против такого подарка, но ее беспокоили некоторые детали, связанные с покупкой. Так как стулья надо было подобрать к имеющемуся комплекту, то их следовало приобрести только у Опперманов. Но в нынешнее время на служащего министерства просвещения, занимающего более или менее видный пост, очень недружелюбно косятся, если он покупает у евреев. А потому ни под каким видом нельзя было допустить, чтобы стулья были доставлены фирменным грузовиком Опперманов или через их посыльного. Она настояла на том, чтобы Франсуа, заказывая стулья, ясно оговорил это обстоятельство. Проще всего было позво-

пить Густаву. Директор Франсуа отказался. Фрау Эмилия уверяла, что такие просьбы теперь обычны, иначе большинство еврейских фирм вылетели бы в трубу. Франсуа под нажимом супруги обещал при случае поговорить с Густавом. Он надеялся повести этот разговор очень хитро, упомянув о стульях вскользь, мимоходом. Но фрау Эмилия настояла на том, чтобы Франсуа позвонил при ней, и, оттого, очевидно, просьба Франсуа прозвучала не так невипно, как ему хотелось. Правда, Густаву удалось закончить телефонный разговор в том непринужденном тоне, в каком его хотел вести Франсуа. Но, повесив трубку, он вдруг страшно изменился в лице. Так, значит, друзья его стыдятся вещей, приобретенных в магазинах его фирмы? Густав потемнел. Он слышал взволнованное биение своего сердца. Вера и оптимизм улетучились из его сознания, как воздух из дырявой резиновой камеры.

Доктору Бернду Фогельзангу было тридцать пять лет. Он был молод и сметлив. Резкие, точно рассчитанные движения, которые он усвоил себе в провинции, в Берлине округлились, не потеряв, однако, своей молодцеватости; воротничок стал на сантиметр ниже. И еще многому другому научился доктор Фогельзанг за это время. Четырнадцать лет боролся фюрер, пока добился победы. И вот теперь, став канцлером, он не трубит о своем триумфе, он сдерживается, он выжидает, пока враг не будет сломлен окончательно.

Бернд Фогельзанг в сфере своей деятельности следовал тактике фюрера. Как и тот, он выжидал. При всей сдержанности своего поведения он успел, однако, подготовить почву для тех времен, когда в седьмом классе гимназии королевы Луизы воцарится истинно немецкий дух. Каждый ученик уже знал наизусть стихотворение Геприха фон Клейста «Германия — своим сынам», и сердце Бернда Фогельзанга начинало радостно биться, когда класс хором произносил мощные, исполненные ненависти строки. Кроме классического гимна, мальчики выучили наизусть и современный гимн нацистов: «Хорст-Вессель».

Директор Франсуа устало и понуро сидел в своем большом директорском кабинете между бюстами Вольтера и Фридриха Великого. От духа Вольтера в гимназии королевы Луизы и следа не осталось, а от духа Фридриха Великого — только одно плохое. Все реже и реже кто-либо из учителей отваживался защищать идеи либерализма, которыми некогда славилась школа Франсуа. О переводе Фогельзанга теперь нечего было и думать. Директор Франсуа вынужден был беспомощно взирать, как этот человек калечит восприимчивые умы его воспитанников.

При всем том Фогельзанг держал себя вежливо и корректно, не давал никаких поводов к возмущению. Он, например, не торопился с разрешением прискорбного дела Оппермана. Разве только раз в неделю, заключая беседу на разные темы, он, как бы мимоходом, с зловеще приветливой улыбкой, разъединявшей больше обычного отдельные части его лица, квакал на свой восточнопрусский лад: «*Ceterum censeo discipulum Oppermann esse castigandum*»<sup>1</sup>. Директор холодел от шутки преподавателя Фогельзанга. Но и он выжимал у себя под холеными белыми усами улыбку. Беспомощно смотрел он сквозь толстые стекла неоправленных очков на холодно, вежливо, с сознанием своего превосходства улыбающегося человека; Франсуа казалось, что человек этот держит в своих красных, покрытых рыжим пухом руках вексель, крайне неприятный вексель.

— Конечно, коллега, — поспешно откликнулся он. — Я не упускаю этого дела из виду. — И Фогельзанг не настаивал больше на своем требовании и лишь снисходительно улыбался.

— Прекрасно, прекрасно, — говорил он и откланивался.

При встрече с воспитанником Опперманом директор Франсуа никогда не упускал случая сказать ему несколько приветливых слов. Бертольд за последние недели заметно возмужал. Лицо его стало вдумчивее, тверже, мужественнее. Из-под упрямого лба под шапкой

---

<sup>1</sup> А все-таки я считаю, что ученик Опперман должен быть наказан (лат.).

черных волос сосредоточенно и серьезно смотрели смелые серые глаза. Женщины начали заглядываться на него. О своих личных делах он говорил все реже. Даже директор Франсуа, в дружеском расположении которого Бертольд не сомневался, не мог склонить его к откровенности.

Доктор Фогельзанг не придирался к Бертольду. Он уделял ему столько же внимания, сколько и другим, и не умалял его успехов. Как-то, отмечая удачный ответ Бертольда, он, вежливо ухмыляясь под густыми белокурыми усиками, похвалил его:

— Да, отличная голова у вас, Опперман, отличная голова.

В другой раз, одобрительно отозвавшись о гладком слоге Бертольда, он заметил:

— Пожалуй, чересчур плавно, чересчур гладко. Не чувствуется трения, нет углов. Больше твердости, Опперман: «Ландграф, будь тверд». — Бертольд был достаточно справедлив, чтобы признать это суждение обоснованным.

Генриха Лавенделя тревожило спокойствие Фогельзанга. Фогельзанг не таков, чтобы похоронить историю с Арминием Германцем. Чем больше он тянет, тем опасней.

— Он ждет лишь, пока бифштекс хорошенько прожарится, — говорил Генрих Бертольду. — Я насквозь вижу эту свинью. На твоём месте я не стал бы ждать, пока он перейдет в наступление. Go ahead, Бертольд. Вырви инициативу у него из рук. Нырй смелей.

Бертольд лишь пожимал плечами, замкнутый, перегруженный в себя.

На вид он казался теперь старше Генриха. Вид у него был хоть куда. И вообще парень стал хоть куда. Он мог доказать любое положение и тут же его опровергнуть. Но, в сущности, взрослым был Генрих, а Бертольд был ребенком. Генриху зверски хотелось помочь Бертольду. А тут стой и смотри, сложа руки, как парень изводится. До черта досадно. Заговорить с Бертольдом еще раз Генрих не решался. Теперь, когда они ездили вместе из школы, они почти все время молчали. Но не-

редко Генрих, хоть это и значило для него сделать крюк, провожал Бертольда лишний квартал, и Бертольд, несомненно, замечал это.

Ученик Вернер Риттерштег, по прозвищу Долговязый, получив от Генриха затрепину, на некоторое время прекратил свои пристаивания. Он даже пет-пет истерически посмеивался над прежде боготворимым товарищем. Но когда он однажды попросил в классе карандаш и Генрих учтиво, как всегда, протянул ему свой, точно ничего не произошло, сердце его растаяло. На другой день он снова встретил Генриха словами: «How are you, old fellow?» — и снова стал на каждом шагу навязывать ему дружеские чувства. Генрих оставался холоден. Как раньше он пропускал мимо ушей насмешки Долговязого, так и теперь он не замечал его заискивания.

Но стоило Риттерштегу увидеть, что Генрих тесней сошелся с Бертольдом, как им опять овладел гнев. Как? Он, чистокровный ариец, уже самой природой поставленный выше любого еврея, он, которого сам Бернд Фогельзанг удостоил посвящения в «Молодые орлы», он снисходит до дружбы с Генрихом, а этот неблагодарный льнет к спесивому Опперману? Видано ли подобное унижение? В сущности, Вернеру Риттерштегу следовало бы наплевать на то, как к нему относится какой-то там еврейский мальчишка. Но, к несчастью, ему совсем не наплевать. Его грызет, ему не дает покоя, что Генрих ни в грош его не ставит. Надо показать Генриху, что он, Вернер, другого калибра человек, нежели выложенный неженка Опперман. Надо выкинуть какой-нибудь такой номер, чтобы у Генриха наконец открылись глаза.

В ту пору началась избирательная кампания. В демократической газете «Тагесандейгер» появилась статья весьма известного журналиста Рихарда Карпера, которого нацисты упорно называли в насмешку Исидором Карпелесом. В статье этой Карпер высмеивал множество стилистических погрешностей в книге фюрера. Газету, конечно, немедленно прихлопнули, но статья подействовала, и в частности, очень сильно на Бернда Фогельзанга. Ему не терпелось, хотя бы в своем ма-



леньком окружении, расправиться с коварным противником. Он показал ученикам своего класса, насколько мелочны придирки этого Исидора Карпелеса, именуемого Карпером. Объяснил им, что в деятельности государственного человека важен дух, а не тонкости формы. Изложил им свою излюбленную теорию о превосходстве устного слова над письменным. Процитировал, устранив предварительно наиболее тяжкие прегрешения против немецкого языка, несколько фраз фюрера, касающихся этого вопроса. Заклеймил Карпера-Карпелеса, отнеся его к тем элементам, на которые падает главная вина в разложении, в политическом и моральном упадке немецкого народа.

Вернер Риттерштег смиренно тарашил бараньи глаза на обожяемого учителя, из-под белокурых усов которого сыпались громкие, гневные слова. Но он не мог поймать взгляд учителя, ибо взгляд его, Вернер прекрасно это видел, был неотрывно устремлен на Бертольда Оппермана. Сомнения не было, весь этот резкий выпад Фогельзанга направлен, в сущности, против Бертольда Оппермана.

Долговязый посмотрел на Генриха. Генрих сидел, положив скрещенные руки на парту, наклонив широкую светло-русую голову, точно готовый боднуть. Все это Вернер Риттерштег увидел. В то же время он внимательно слушал Фогельзанга, ни единое слово учителя не прошло мимо его ушей.

На большой перемене Долговязый подошел во дворе к Генриху Лавенделю. Погода стояла ясная, теплая. В этот февральский день в воздухе впервые запахло весной.

— Look here, Harry<sup>1</sup>, — сказал Вернер Риттерштег и протянул Генриху новенький желтый «кохинор» вместо взятого у него простого карандаша. Он собственноручно тщательно очинил его. — Я раздобыл замечательную машинку для очинки карандашей. Американский патент, первый сорт, — пояснил Генриху Долговязый. Он мечтательно глядел бараными глазами на длинный острый кончик карандаша. — Нож в брюхо всадить бы такой свинье! — ни с того ни с сего дико буркнул он.

---

<sup>1</sup> Посмотри, Гарри (англ.).

Генрих Лавендель сидел на заборе и гимнастическим движением выбрасывал попеременно то одну, то другую ногу. Услышав слова Вернера, он на мгновение застыл.

— Нож в брюхо? Кому? — Он удивленно посмотрел на Риттерштега.

— Предателю, конечно, этому самому Карперу, который из-за угла нападает на фюрера.

Генрих ничего не сказал, только едва заметно искривил свои очень красные губы. Небольшой, коренастый, загорелый, сидел он против бледного Риттерштега. Как ни плохо разбирался в людях Долговязый, он прочел в этой едва заметной гримасе все, что думал его ненавистный, его обожаемый друг-враг: недоверие, презрение к хвастуну, отвращение. Генрих взял наконец карандаш, аккуратно надел на него наконечник и сунул в карман.

— Карандаш, который я тебе дал, стоил пять пфеннигов, — сказал он. — Этот стоит по меньшей мере двадцать. Но пятнадцать пфеннигов разницы я тебе не верну.

Допустить такое отношение к себе, «молодому орлу», Долговязый никак не мог.

— Вот увидишь, увидишь, — приставал он, жалкий, несчастный, моля о доверии, — я всажу ему нож в брюхо. — И так как Генрих, пожав плечами, отвернулся, он прибавил с безуспешной потугой на шутку: — А если я это сделаю, ты отдашь мне мои пятнадцать пфеннигов?

— Ты с ума сошел, дурак, — сказал Генрих.

Затрещал звонок. Перемена кончилась. Педель Мелентин наблюдал, как дочь его собирает не проданные на перемене бутерброды, старательно не замечал ученика Оппермана, приветливо кивнул ученику Риттерштегу, вытянулся в струнку перед господином преподавателем Фогельзангом.

Занятия продолжались.

Спустя два дня в газете появилось сообщение: неизвестный юноша, зайдя в помещение редакции «Тагесанцейгер», в припадке ярости заколол насмерть редактора газеты Рихарда Карпера. Убийца, некий Вернер Риттер-

штег, оказался учеником седьмого класса гимназии королевы Луизы. На допросе он заявил, что пришел выразить негодование редактору Карперу за его пресловутую статью против фюрера, а Карпер набросился на него и стал душить. Защищаясь, он пустил в ход свой нож. После допроса Риттерштег, как сообщили газеты, выпущен на свободу, так как нет оснований подозревать, что он скроется.

Отец Риттерштега, состоятельный коммерсант, занимавший четыре почетных поста, под горячую руку влил сыну затрепину. Фрау Риттерштег выла: какой позор навлек сын на всю семью. Но очень скоро оказалось, что Долговязый вовсе не негодяй, а герой. Фашистские газеты напечатали его портрет. Они писали, что хотя поступок молодого человека нельзя безоговорочно оправдать, однако вполне понятно, что дерзкие выпады редактора Карпера могли спровоцировать немецкую молодежь на активные выступления. Знакомые Риттерштега-отца звонили, поздравляли. Ему преподнесли еще два почетных звания. Через двадцать четыре часа родители Риттерштега забыли, как они реагировали на поступок сына в первые минуты: он стал героем в их глазах. Через сорок восемь часов Риттерштег-отец мог бы с чистой совестью поклясться, что от своего героического сына он всегда ждал какого-нибудь высокопатриотического подвига. Несмотря на тугие времена, он расщедрился и обещал сыну подвесной мотор к его лодке.

Доктор Фогельзанг исполнен был глубочайшей радости. Пример Риттерштега показал, как отзывчива немецкая молодежь, если сумеет должным образом подойти к ней. Достаточно легкого намека, чтобы толкнуть ее на правильный путь. Вернер Риттерштег принадлежал, несомненно, к той части немецкой молодежи, которая искоренит в Германии скверну, гниль, разложение.

Чужого не копи: своим не станет.

И зла не потерпи, что душу ранит.

Эта молодежь умеет превращать слова своего Гете в дела. Он, Бернд Фогельзанг, достиг цели в своем маленьком кругу, подобно тому как это удалось фюреру в более обширной сфере. После подвига Риттерштега во-

семнадцать из двадцати шести учеников седьмого класса объявили себя «истинными германцами»; кроме Вернера Риттерштега и Макса Вебера, доктор Фогельзанг выделил еще шесть человек, достойных вступить в ряды «Молодых орлов».

Но, с другой стороны, именно успех этот вынуждал Фогельзанга действовать с особой осторожностью. Пока националисты не одержали окончательной победы, другими словами — до выборов, его могут привлечь к ответственности, как морального вдохновителя убийства. Рихард Карпер был популярным журналистом, и левые газеты, со свойственной им пошлой переоценкой значения отдельной жизни, подняли гвалт по поводу его смерти. До выборов следовало держаться в тени. После выборов Бернд Фогельзанг с удесятеренной гордостью объявит о своей доле участия в этом подвиге. Но пока надо быть тише воды ниже травы. Он даже не решался вслух похвалить Риттерштега. Об инциденте с Опперманом больше не упоминалось.

Гимназисты же стлали свое восхищение под ноги товарищу. На наглядном примере он показал им, как Вильгельм Телль или Арминий Германец реагировал бы на жалкие нападки такого Карпера. Ссылка на необходимость защиты, которой Вернер Риттерштег выгораживал себя, лишь подымала его в их глазах. В борьбе с коварным врагом позволительна любая увертка; это и была та самая северная хитрость, о которой постоянно твердил доктор Фогельзанг.

Долговязый купался в лучах своей славы. Учителя, хоть его успехи оставляли желать лучшего, носились с ним, как с писаной торбой. Летом он получит моторную лодку и будет целые дни кататься со знакомыми девушками по озеру Тейпиц.

Одна только капля горечи отравляла его триумф. Он совершил великий подвиг, — это ведь был великий подвиг по общему признанию, — но тот, ради кого он всю историю затеял, этого не признавал.

Риттерштег бродил вокруг Генриха, заглядывал ему в лицо молящим взором. Неужели Генрих не скажет ему наконец: «Я ошибался, Вернер: я не думал, что ты способен на такой подвиг. Прости меня. Вот моя рука».

Ничего этого не было. Целую неделю вообще ничего не было. Холодное молчание Генриха сводило с ума Долговязого.

На восьмой день на школьном дворе, на том самом месте, где он восемь дней назад говорил Генриху об этом деянии, он неожиданно и быстро подошел к нему.

— Надеюсь,— сказал он,— теперь-то я получу с тебя свои пятнадцать пфеннигов? — Накачавшись до предела своим триумфом и самоуверенностью, он твердо, с сознанием собственного превосходства, посмотрел в глаза Генриху. Но Генрих ответил ему холодным взглядом.

— No, sir!<sup>1</sup> — сказал он. И, помолчав, добавил: — Если желаешь, я эти пятнадцать пфеннигов положу в банк, пока не выяснится, правда ли, что ты действовал в порядке самозащиты.

Бесцветные щеки Вернера чуть порозовели.

— Ты что? Роль полицейского взял на себя, что ли?

Генрих пожал плечами. Только и всего. Но Вернер, сам себе не признаваясь, почувствовал, что поколеблена сама идея его подвига.

На самом же деле поступок Вернера глубоко взволновал Генриха. Преступление Долговязого, этого проклятого дурака, привело в смятение мысли и чувства Генриха. Что делать? Он единственный, кто знает предысторию убийства. У него и сейчас еще в ушах птичий голосок Вернера: «Нож в брюхо всадить бы такой свинье!» И: «Вот увидишь: я всажу ему нож в брюхо». Генрих чувствует, что он, карандаш и пятнадцать пфеннигов глубоко вплетены в цепь причин, приведших к убийству. Но что же еще он мог сказать ему, как не «ты с ума сошел, дурак»? Да, сейчас все с ума посходили, все. Вся страна превратилась в сплошной сумасшедший дом. Не долг ли его, Генриха, написать прокурору, что герой этот не герой, а негодяй, что убийство совершено вовсе не в порядке самозащиты, а с заранее обдуманном намерением. Но если он разоблачит этого болвана, разве что-нибудь изменится? Те, кто знает, знают, а никого другого он не научит, и никто ему не

---

<sup>1</sup> Нет, сэр! (англ.)

поверит. Он только создаст всякие затруднения себе, отцу, Опперманам, Бертольд.

Отец бы ему, безусловно, отсоветовал разоблачать Риттерштега. Привел бы веские, очевидные доводы. Но Генрих и без разговора с отцом отлично все понимает. Однако его все вновь и вновь тянет заявить о том, что он знает. Надо рассказать правду. Нельзя оставаться безучастным зрителем, когда преступного дурака превращают в героя. Надо — пусть даже с минимальными шансами на успех — попытаться вскрыть перед всеми, что этот мальчишка преступный дурак. «Go ahead, Harry, — говорил он себе часто. — Write to the attorney, what happened»<sup>1</sup>. Но благоразумие снова брало верх. Он не садился к столу он не писал письмо прокурору, а как тяжкое бремя молча таскал с собой свою правду.

Вернер Риттерштег затаил злобу. Если с Генрихом ничего не поделаться, то горе Опперману. Он написал Фрицу Ладевигу, председателю футбольного клуба. Снова внес предложение, на этот раз в письменной форме, исключить Бертольда Оппермана из клуба за всем известное поношение германского духа.

В президиум клуба входило девять мальчиков, в том числе и Генрих. Фриц Ладеви́г с явным неудовольствием доложил о предложении Риттерштега. Мальчики молча посмотрели друг на друга. Бертольд был хорошим товарищем. Но, с другой стороны, Вернер Риттерштег считался теперь героем всего учебного заведения, нельзя было попросту, без всякой мотивировки, отклонить его предложение.

— Ну так как же? — после некоторого молчания обратился к собранию Фриц Ладеви́г.

— Вы, конечно, понимаете, что если Бертольда исключат, то и я уйду, — напрямик заявил Генрих Лавендель, бледный, решительный, ни на кого не глядя. Предстоял матч с гимназией Фихте. Генрих Лавендель был незаменимый вратарь.

— Об этом не может быть и речи, — решил президиум, и обсуждение письма Риттерштега было отложено.

---

<sup>1</sup> Напиши прокурору о том, как было дело (*англ.*).

Фриц Ладевит доложил Риттерштегу. Сказал, что клуб разрешает себе запросить его, настаивает ли он на своем заявлении, несмотря на угрозу Генриха. Научившись за время пребывания у «Молодых орлов» таинственно и туманно отвечать на неудобные вопросы, Риттерштег сказал:

— Я должен сначала испросить совет у самого себя.

Он еще раз подошел к Генриху.

— Слушай, я хочу тебе кое-что предложить. Я заявлю во всеуслышание, что ты мой друг. Заявлю о полной солидарности с тобой. Это что-нибудь да значит в наших условиях, милый мой. Но я могу это себе позволить. Пообещай мне лишь две вещи: во-первых, что ты при обсуждении моего предложения в клубе воздержись от голосования и, во-вторых, что ты из клуба не уйдешь. И если ты будешь очень любезен, ты мне вернешь также мои пятнадцать пфеннигов. Скажи: да. Пользуйся случаем,— попытался он пошутить.— Или скажи: о'кей,— улыбался он Генриху, молил его.

Генрих оглядел его несколько раз с ног до головы с тем пристальным любопытством, с каким смотрят на животных в зоологическом саду. Отвернулся.

— Да ты не понял меня, чудак ты,— заторопился Вернер Риттерштег, и губы его побледнели.— Нет, нет, не отдавай мне эти пятнадцать пфеннигов, я пошутил. И в клубе можешь голосовать против меня. Но не заявляй о своем уходе, хоть это пообещай мне.— Генрих безмолвно повернулся к нему спиной. Вернер, прикасаясь к плечам маленького коренастого Генриха, молил и молил:

— Ну, будь же благоразумен: не заявляй о своем уходе. Оставайся в клубе.

Генрих стряхнул с плеч длинные, бледные руки.

Директор Франсуа все дольше засиживался в своем служебном кабинете, ибо дома у него стон стоял от жалоб и заклиний Грозовой тучки. Но и уединение его обширного директорского кабинета все больше и больше омрачалось. Какая польза от того, что его труд «Влияние античного гексаметра на слог Клопштока» успешно

подвигался вперед, если гибло дело его жизни. С бес-  
сильной горечью наблюдал он, как наступающий широ-  
ким фронтом национализм быстро обволакивает туманом  
головы его воспитанников. От всего сердца старался  
он передать светоч знаний дальше, но ночь опускалась  
все ниже и гасила слабый огонек в его руках. Варвар-  
ство, какого Германия не знала со времен Тридцатилет-  
ней войны, заполонило страну. Правил ландскнехт. Его  
разнузданный рев заглушал благородные голоса немец-  
ких поэтов.

Брезгливо, точно уже одно прикосновение к бумаге  
вызывает в нем отвращение, перелистывал Франсуа  
«Сокровищницу национал-социалистских песен» — офи-  
циальный песенный сборник фашистов, из которого, по  
настоянию Фогельзанга, питомцы Франсуа учили наизу-  
сть стихи. И что за стихи! «Когда граната рвется, от  
счастья сердце бьется». Или: «Всадив еврея в горло  
нож, мы скажем снова: мир хорош».

В тех классных комнатах, где раньше звучали  
строфы из Гете и Гейне или размеренные периоды клей-  
стовской прозы, теперь изрыгают эту пошлятину. На  
лице директора появилась гримаса отвращения. Сейчас  
он ясно представляет себе, как варвары, ворвавшись в  
античный город, превращали храмы в конюшни для  
своих лошадей.

Альфред Франсуа охотно побывал бы на Макс-Регер-  
штрассе, отвел бы душу с другом своим, Густавом, по-  
черпнул бы у него утешение и бодрость. Но и в этом  
ему было отказано. Густав подписался под известным  
воззванием против варваров, и газеты варваров каждые  
два-три дня набрасывались на него, как злые псы. Гу-  
став был заклеен, и фрау Эмилия строго-настрого за-  
претила Франсуа бывать у него. Старейший директор  
одиноко проводил дни в своем обширном кабинете. Дело  
его жизни гибло на его глазах, друзья гибли, Германия  
гибла. Он знал, что вскоре и в этом кабинете, в его по-  
следнем убежище, для него, так же как и для бюста  
Вольтера, не останется больше места.

В один из этих дней директор Франсуа встретился  
с учеником Опперманом в длинном коридоре, ведущем в  
физический кабинет. Бертольд шел медленно. Он ка-



зался очень взрослым. Директору Франсуа бросилось в глаза, что юноша, так много занимающийся спортом, стал так же ставить ноги, носками внутрь, как его отец. Смелые, серые глаза были грустны, лицо озабоченно. У Франсуа мелькнула мысль о том, что Грозовая тучка наверняка осудила бы его, но он не мог не остановить Бертольда. Он, собственно, даже не знал толком, с чего начать. Наконец он с усилием выговорил:

— Ну, Опперман, что вы теперь читаете в классе? — Его мягкий голос звучал печально. Тонем, в котором было больше раздумья, чем горечи, Бертольд ответил:

— Отечественного поэта Эрнста-Морица Арндта, отечественного поэта Теодора Кернера, а все больше «Сокровищницу национал-социалистских песен», господин директор.

Директор Франсуа огляделся по сторонам. И так как вблизи не было ни педеля Меллентина и никого другого из враждебных наставников, вообще никого, кроме двух малышей-третьеклассников, он глотнул слюну и сказал:

— Видите ли, дорогой Опперман, так уж оно водится: Уллис любопытен, Уллис жаден до приключений, Уллис попадает в пещеру Полифема. Это происходит в каждую эпоху. Но в каждую эпоху Уллис в конце концов неизбежно побеждает Полифема. Иной раз, правда, дело очень затягивается. Я-то уж вряд ли доживу до победы Уллиса, но вы доживете.

Ученик Опперман посмотрел на своего директора. В сущности, в семнадцать лет он казался старше своего пятидесятивосьмилетнего собеседника.

— Вы очень добры, господин директор, — сказал он. Эти простые слова прозвучали утешением для директора Франсуа. Он прямо-таки ожил.

— Вот что еще, Опперман. Недавно вышло популярное издание «Гигантов» Деблина. В целом книга несколько вычурна, но в ней имеются две басни, которые должны быть отнесены к лучшим страницам немецкой прозы. Их бы следовало ввести во все школьные хрестоматии. Прочтите их, пожалуйста, дорогой Опперман. Одна из них — о луне, а другая — о собаке и льве. Вас порадует, что и в нынешнее время в Германии еще содается такая проза.

Ученик Опперман внимательно всмотрелся в своего директора. Потом, с какой-то странной рассеянностью в преждевременно окрепшем голосе, ответил:

— Благодарю вас, господин директор, я прочту эти страницы.— Может быть, мрачно спокойствие этого голоса так подействовало на директора Франсуа, но он не мог сдержаться. Он подошел почти вплотную к гимназисту Опперману, который был ростом выше его, и положил ему обе руки на плечи.

— Не падайте духом, Опперман,— сказал он.— Прошу вас, не падайте духом. У каждого из нас своя доля. И чем лучше человек, тем она труднее. Попросите вашего дядю Густава показать вам письмо, которое Лессинг написал после рождения своего сына. Кажется, в тысяча семьсот семьдесят седьмом или семьдесят восьмом году. Ваш дядя Густав, безусловно, знает, что я имею в виду. Стисните зубы, Опперман, и держитесь.

Хотя директор Франсуа и не соответствовал представлениям Бертольда о настоящем мужчине, но беседа эта все же смягчила на несколько дней остроту его горечи. В ближайший вечер он отправился к дяде Густаву и спросил его о письме Лессинга.

— Да, знаю,— сказал Густав.— Письмо от конца декабря тысяча семьсот семьдесят седьмого года. Собственность Вольфенбюттельской библиотеки. Хорошее письмо. Факсимиле воспроизведено у Дюнцера.

Густав показал ему письмо. Бертольд прочел: «Дорогой Эшенбург, жена моя лежит без сознания, и я пользуюсь этими минутами, чтобы отблагодарить вас за ваше сердечное участие. Моя радость была так кратковременна: мне ужасно не хотелось потерять его, моего сына. Он уже столько понимал. Не думайте, что немногие часы отцовства превратили меня в слепо влюбленного отца. Я знаю, что говорю. О чем, как не о разуме свидетельствует то, что его пришлось вытягивать на свет железными щипцами, ибо он сразу почуял недоброе? О чем, как не о разуме свидетельствует то, что он воспользовался первой возможностью, чтобы убраться отсюда? Пожалуй, он унесет с собою и мать, ибо мало надежды, что мне удастся сохранить ее. Раз в жизни я

захотел, чтоб и у меня все было так же хорошо, как у других людей. Но мне не повезло. Лессинг».

Бертольд стал перелистывать переписку и прочел другое письмо, написанное неделей позже: «Мой дорогой Эшенбург, мне сейчас даже трудно представить себе, каким трагическим было, вероятно, мое последнее письмо. Мне глубоко стыдно, если оно хоть в какой-нибудь мере выдало мое отчаянье. За последние дни надежды на улучшение здоровья моей жены очень упали. Благодарю вас за копию гетцевской статьи. В настоящий момент это единственные вопросы, которые могут меня занять. Лессинг».

И еще одно письмо, написанное тремя днями позже: «Дорогой Эшенбург, жена моя умерла. Ну, вот я прошел еще и через это. Я рад, что немного таких испытаний может еще предстоять мне, и чувствую легкость душевную. Опять, как в начале моего пути, придется мне снова в полном одиночестве брести по нему. Будьте добры, дорогой друг, велите переписать для меня из вашего большого Джонсона статью «Evidence»<sup>1</sup> со всеми комментариями».

Бертольд читал. Немного странно, что директор Франсуа порекомендовал ему для чтения именно это письмо о родах с наложением щипцов. Но письмо подействовало. У смертного одра горячо любимой жены сообщать другу о ее смерти и тут же, раньше чем просохли чернила, просить его прислать необходимую для работы литературу, — это надо уметь. Нельзя сказать, чтобы писателю Готхольду-Эфраиму Лессингу легко жилось. Когда он написал своего «Натана», выступив в нем поборником эмансипации евреев, фашисты того времени заявили, что он подкуплен. Однако от него никто не требовал, чтобы он просил прощения и отрекся от сказанного им. Сто пятьдесят лет спустя жизнь в Германии стала значительно мрачнее.

Бертольд оглядывал длинные ряды книг, поднимающиеся до самого потолка. Все это было Германией. И люди, которые эти книги читали, тоже были Германией. Рабочие, которые в свободное время сидели в

---

<sup>1</sup> Очевидность (англ.).

своих рабочих университетах над трудным Марксом, были Германией; и оркестр филармонии был Германией; и автомобильные гонки, и спортивные организации рабочих тоже были Германией. Но, к сожалению, «Сокровищница национал-социалистских песен» тоже была Германией, и весь сброд в коричневых рубашках — тоже. Неужели эта бессмыслица поглотит все остальное? Неужели эти безумцы будут править государством, вместо того чтобы сидеть в сумасшедшем доме? Германия, моя Германия. До боли защемило вдруг сердце. Но Бертольд научился владеть собой, он и теперь не выдал своего волнения, лишь краска хлынула в лицо и снова отлила. Дядя Густав заметил это; он подошел к нему, положил сильные волосатые руки ему на плечи и сказал:

— Выше голову, мой мальчик. В наших широтах ртуть ниже двадцати девяти градусов никогда не опускается.

Эдгар Опперман, сидя у себя в кабинете заведующего ларингологическим отделением городской клиники, подписывал, не читая, ряд писем, которые подавала ему сестра Елена.

— Ну вот, сестра Елена,— сказал он,— а теперь я еще забегу на минутку в лабораторию.

Он казался переутомленным, задерганным; сестра Елена с радостью предоставила бы ему эти четверть часа покоя в лаборатории. Но положение угрожающее, времени терять нельзя. «Полагаю,— сказал ей тайный советник Лоренц,— что теперь это дело должна взять в свои руки решительная женщина».

— Мне очень жаль, господин профессор,— остановила она его,— но я не могу еще отпустить вас. Пожалуйста, прочтите это.— Она протянула ему две газетные вырезки.

— Вы обращаетесь со мной все строже и строже, сестра Елена,— попытался пошутить Эдгар.

Он послушно взял вырезки, стал читать. Это были обычные нападки на него, лишь тон их стал грубее, наглее. В одном случае из двух, говорилось там, опперма-

новский способ влечет за собой смерть оперируемого; для своих разбойничьих опытов Эдгар Опперман пользуется почти исключительно неимущими пациентами. Это замаскированные ритуальные убийства, которые жидовский врач совершает на глазах всей общественности, чтобы жидовская пресса курила ему фимиам. Глаза Эдгара потемнели от гнева.

— Они все это пишут не первый месяц, — раздраженно бросил он. — Неужели нельзя избавить меня от необходимости читать эту мазню?

— Нет, — коротко отрезала сестра Елена. После сердитой реплики Эдгара голос ее прозвучал особенно тихо, но очень решительно. — Нельзя больше закрывать глаза, господин профессор, — продолжала она строго. Так она обычно разговаривала с пациентами, когда заставляла их принимать неприятную микстуру. — Вы должны что-либо предпринять.

— Но ведь общеизвестно, — нетерпеливо перебил ее Эдгар, — что случаев со смертельным исходом у нас только четырнадцать, три десятых процента. Даже Варгуус признает, что более пятидесяти процентов безнадежных больных, после применения оппермановского способа, выздоравливают. — Он сделал над собой усилие, улыбнулся. — Я всегда готов прийти на помощь, сестра Елена. Но если сатана вселился в этих свиней, мое ли дело изгонять его? Вы слишком много требуете от меня.

Сестра Елена не сдавалась. Она села, она и не думала так быстро закончить разговор. Крепкая, массивная, сидела она против Эдгара. Статьи этих газет, толковала она ему, читают не медики, а одураченный фанатический сброд. Он, этот одураченный сброд, оказывает влияние на судьбы городских клипик. Нельзя больше отмалчиваться.

— Вы должны возбудить судебное дело, профессор, — тихо, но твердо требовала она. — Неужели вы предпочитаете, чтобы тайный советник Лоренц предложил вам это?

Эдгар Опперман признавал правоту сестры Елены, но все это внушало ему непреодолимое отвращение. Людей, которые пишут такие статьи, — волновался он, —

и тех, которые верят им, нужно отправлять в сумасшедший дом, а не вызывать в суд. Спорить с ними он не может, как не может спорить со знахарями первобытных племен, которые утверждают, что туберкулез излечивается пометом антилопы, положенным на глаз пациента.

— Если министерство или старик Лоренц считают необходимым опровергать утверждения таких людей, я не вправе им мешать. Но сам я этого делать не стану. Я не занимаюсь чисткой выгребных ям.

На этот раз сестра Елена ничего не добавила. Но отступать она не собиралась. Она опять будет говорить с ним, и сегодня вечером, и завтра утром, и завтра вечером. Неужели этот большой ученый, этот ребенок, ее профессор Опперман, не понимает, что разыгрывается вокруг него?

В больницах, в университете, повсюду бездарные медики почуяли зарю. Наступило время, когда всё решали не одаренность и знания, а принадлежность к определенной расе. Сестра Елена была достаточно образованна, чтобы знать, что в расовой теории столько же смысла и бессмыслицы, сколько во всякой вере в чертей и ведьм. Но для всех тех, для кого чужое дарование служило помехой в их служебной карьере, чрезвычайно заманчиво было возместить свое ничтожество указанием на нееврейское происхождение. Правда, в медицинском мире задевать профессора пока еще не осмеливались: он принадлежал к тому десятку немецких врачей, которые пользовались мировой славой. Его любили студенты, любили больные. Но неужели он не видел, как уже над доктором Якоби, которому он покровительствовал, тяготело всеобщее недоброжелательство? Маленький, уродливый Якоби становился все более запуганным и угловатым, он едва осмеливался теперь выходить к своим пациентам. А ее удивительный профессор, Эдгар Опперман, ничего не желал замечать, он не желал видеть, что с кандидатурой Якоби дело дрянь, наоборот, он ободрял Якоби и с непонятным оптимизмом уверял, что утверждение его кандидатуры — вопрос лишь нескольких дней.

Из добровольного ослепления, которым Эдгар Оп-

перман ограждал себя от гнусной действительности, его вывел нелепый эпизод, разыгравшийся через несколько дней после разговора с сестрой Еленой. Один из бесплатных больных был застигнут в ту минуту, когда он, вопреки строжайшему запрещению, курил сигару. Человек этот страдал болезнью гортани. Куреньем он приносил вред не только больным своей палаты, но главным образом самому себе. Дежурная сестра вежливо предложила ему не курить. Он не повиновался, отделиваясь шутками. Сестра настаивала, он упорствовал. Пришлось вызвать на помощь дежурного врача, доктора Якоби. Появление маленького уродливого еврея окончательно взбесило курильщика. Больным, хриплым голосом он залаял: наплевать ему на приказание еврейского врача. Пусть все это заведение вместе с профессором провалится к черту. Ему надоело изображать здесь подопытного кролика. Он истый немец, и уж он распишет в немецких газетах этого «благородного профессора». Маленький доктор стоял беспомощный, серый, как земля. К бунтовщику присоединились другие больные. Со всех сторон закричали, затыкали, залаяли хриплые голоса. Люди в полосатых больничных халатах наступали на Якоби, орали из кроватей. А он увещевал орущую, бунтующую палату доводами разума, наименее пригодными в качестве успокоительного средства. Сестру Елену осенила счастливая мысль вызвать доктора Реймерса. И доктор Реймерс, прикрикнув и крепко выругавшись, сразу утихомирил бунтовщиков; он не побоялся схватить зачинщика за плечо, как следует тряхнуть его и выгнать из больницы. С остальными поговорил твердо и решительно. И через несколько минут как раз те, кто громче всех поддерживал взбунтовавшегося курильщика, стали уже утверждать, что этот подстрекатель только и делал, что всех задирает, включая Гинденбурга и самого господ бога. Вскоре в палате слышен был лишь тихий голос сестры Елены.

Перемены в фирме Опперман, нападки в печати на Густава, низкие газетные выпады против него самого мало трогали Эдгара. А вот этот дурацкий бунт сразу его подкосил. Его поразило, что даже те пациенты, которые на себе испытали благотворные результаты его

лечения, поддались все-таки влиянию глупых подстрекательских статей. Он заявил сестре Елене, что возбуждает судебное дело.

На следующий же день Эдгар поехал к профессору Мюльгейму. Он спросил, нельзя ли побудить прокурора поднять дело *ex officio*<sup>1</sup>, принимая во внимание, что он, Эдгар, государственный служащий. Вместо всякого ответа Мюльгейм спросил, в каком году Эдгар родился. Потом он достал коньяк соответствующего года и налил ему рюмку. С кривой усмешкой на изрезанном множеством морщинок лукавом лице Мюльгейм сказал:

— Боюсь, Эдгар, это все, что я могу для вас сделать.

Озадаченный Эдгар спросил, как так да почему. Вряд ли кто усомнится в том, что утверждения этих газет — бесстыдная ложь. В доказательство можно привести огромный материал, доступный пониманию всякого. Что же может помешать ему начать дело? Разве они живут не в правовом государстве?

— Как вы сказали? — переспросил его Мюльгейм. И, увидев в глазах собеседника недоуменный испуг, пояснил: — Приди вы ко мне даже на месяц раньше, Эдгар, когда некоторая часть законов, хотя бы формально, соблюдалась, я, как добросовестный адвокат, и тогда не посоветовал бы вам затевать дело. Все эти газетные писаки, конечно, постарались бы доказать свою правоту.

— Но... — гневно перебил его Эдгар.

— Знаю, знаю, — отмахнулся Мюльгейм, — это им никогда не удалось бы. Но ваши противники насочинили бы о вас кучу новых, еще более бессмысленных и гнусных вещей, а суд возбуждал бы все новые и новые дополнительные расследования. Словом, на вашу голову вылили бы такое море грязи, что вы задохнулись бы от негодования. Не забывайте, Эдгар, что у ваших противников огромное преимущество перед вами: безусловное отсутствие честности. Поэтому они сегодня у власти. Они прибегали всегда к средствам столь примитивным, что никто попросту не считал бы эти средства возможными,

---

<sup>1</sup> По должности (лат.).



ибо ни в какой другой стране они и не были бы возможны. Они, например, перестреляли одного за другим всех более или менее авторитетных левых лидеров. Поверьте мне, вы не сыщете нынче в Германии ни одного судьи, который осудил бы газетных борзописцев. А после новых выборов в рейхстаг суды будут попросту отказывать в приеме таких исков.

— Неверно, неверно,— вспыхнул Эдгар и ударил кулаком по столу. Но слова его прозвучали, как крик о помощи.

Мюльгейм пожал плечами, достал бланк доверенности и протянул его Эдгару на подпись.

— Завтра же я дам ход вашему иску,— сказал он.— Но мне хотелось оградить вас от разочарования.

— Как могут мои пациенты чувствовать ко мне доверие, если можно безнаказанно распространять обо мне такие небывицы? — шумел Эдгар.

— А кто вас заставляет лечить ваших пациентов? — язвительно огрызнулся Мюльгейм.— Кто вам сказал, что это нужно нынешнему режиму?

— Но, позвольте,— горячился Эдгар, и в голосе его звучало почти детское удивление,— ведь судьи же — с высшим образованием. Они-то знают, что все это чепуха. Или они тоже верят, что я режу христианских младенцев?

— Они попросту полагают,— откликнулся Мюльгейм, и гнев причудливо исказил его маленькое, лукавое лицо,— что достаточно вам было родиться где-то на Востоке, чтобы по крови и по наклонности вы оказались способным на это.

Эдгар ушел от Мюльгейма совершенно опустошенный. Неужели мир так изменился за несколько недель, или он раньше не понимал его — все сорок шесть лет своей жизни?

На следующий день он пустился в длинный разговор с дочерью. Рут привыкла к тому, что отец добродушно и мило подшучивает над ней. Так он разговаривал с ней и на этот раз, но с какой-то непривычной новой ноткой. Девушка сразу почувствовала, что уверенность его по-

колеблена. Она хорошо знала, что отец, как ученый, убежден в бессмысленности ее национализма и что он спорит с нею только для развлечения, но она никогда не могла сдержать себя и всегда с одинаковой страстностью отстаивала свои идеи. Заметив в нем отсутствие обычного напора, она тоже смягчила тон. Гина Опперман молча присутствовала при разговоре. Глупая маленькая женщина, она ничего не понимала из того, что говорилось. Но она отлично разбиралась в тоне и поведении мужа и дочери. С испугом смотрела она на робкие попытки Эдгара пойти на выучку к дочери.

На той же неделе тайный советник Лоренц объявил Эдгару, что профессор Варгуус наотрез отказался поддерживать кандидатуру Якоби. Лоренц вел себя на этот раз особенно сурово, настоящий «Бойся бога», каким знали его студенты. Но за последние дни Эдгар стал зорче, и под суровостью этого человека он распознал горькую растерянность.

— Дайте совет, коллега, — громыхал старик, и слова, как обломки раздробленных скал, вылетали из его сверкающего золотом рта. — Что мне делать? — Огромный медно-красный, опушенный седыми волосами череп метнулся к Эдгару. — Я могу, разумеется, настоять на кандидатуре Якоби. И кандидатура его пройдет. Но тогда эти сволочи вычеркнут нам статью на содержание вашей лаборатории. Посоветуйте, как теперь быть.

Эдгар разглядывал свои руки.

— Решение вопроса, как мне кажется, очень просто, господин тайный советник. — Голос Эдгара звучал ясно и решительно, точно он предлагал больному хирургическое вмешательство. — Вы снимаете кандидатуру Якоби, а я отказываюсь от своего иска против этих сволочей, если разрешите воспользоваться вашим выражением. — Он рассмеялся, казалось, у него сегодня особенно хорошее настроение.

Старик Лоренц чувствовал себя дьявольски скверно. Эдгар Опперман прекрасный ученый и симпатичный ему человек. Он, Лоренц, дал ему обещание. Старый Лоренц может все, делает все и боится только бога. А тут вдруг, впервые в своей жизни, он боится этой сволочи, которая перечеркивает ему смету, и он, Лоренц,

нарушает свое обещание. Гнусное положение! Сколько раз ему приходилось сообщать родным и друзьям пациентов, что операция не удалась, что больной скончался. Но настоящая ситуация в двадцать раз неприятней, он человек искренний и должен признать это.

— Не считаете ли вы, господин тайный советник, что будет правильно, если я сам брошу все, не дожидаясь, пока они меня выбросят? — сказал вдруг Эдгар все с той же кривой, застывшей на губах улыбкой.

Старый Лоренц побагровел.

— Вы, видно, спятили, Опперман, — вспыхнул он. — Откройте глаза. Страна больна, верно. Но это острое, а не хроническое заболевание. Я запрещаю вам считать его хроническим. Слышите? Сволочи! — закричал он вдруг и стукнул большим красным кулаком по столу так, что бумаги разлетелись. — Все они сволочи, эти политики, и я не желаю плясать под их дудку. Пусть они не рассчитывают на это.

— Хорошо, — сказал Эдгар, — я верю, господин тайный советник, вы сделали все, что могли. Вы — хороший товарищ.

— Не знаю, Опперман. Первый раз в жизни не знаю, так ли это. Вот в чем суть.

Изготовление моста, которому предстояло украсить рот господина Вольфсона, тянулось дольше, чем господин Вольфсон предполагал, да и обошелся он дороже. Восемьдесят пять марок потребовал в конце концов с господина Вольфсона дантист Ганс Шульце, «старый петух», мотивируя тем, что пока он чинил рот господина Вольфсона, обнаружились неожиданные осложнения в виде новых кариозных зубов. У всякого другого он ни за что не взял бы меньше ста монет. Шутками и серьезными разговорами господину Вольфсону удалось заставить дантиста Шульце удовлетвориться семьюдесятью пятью монетами. Пятьдесят монет он, как было условлено, заплатил сразу. Таким образом, новые зубы еще не перешли в его полную собственность; но он в любой момент мог положить остальные двадцать пять монет на стол и сделать зубы своей собственностью. Если

он этого не делал, то исключительно из следующих соображений: он слышал со всех сторон, что вступление «коричневых» в правительство повлечет за собою инфляцию, и надеялся, в связи с этим, внести остаток суммы уже в обесцененных деньгах.

Новый фасад стоил дорого, но был великолепен. Усики над губами господина Вольфсона закручивались теперь поистине бойко. Безупречные зубы выгодно оттеняли живость и быстроту его черных глаз, а потому в магазине Маркус Вольфсон прибегал к улыбке еще чаще, чем раньше.

Но когда вблизи не было посторонних, он улыбался редко, несмотря на свое бело-золотое великолепие и на то, что дела в магазине шли лучше, чем можно было ожидать в эти сравнительно тихие зимние месяцы. Наслышавшись разговоров об инфляции, многие предпочитали покупать предметы домашнего обихода, чем нести деньги в сберегательную кассу. В феврале господин Вольфсон тоже несколько раз заработал премиальные; правда, не так много, как в ноябре, но, по совести говоря, жаловаться на дела не приходилось. Расстраивало его другое.

Прежде всего, отдельные мелочи; сама по себе каждая — пустяк, но, вместе взятые, они могли испортить человеку аппетит. Скажем, достоинство господина Вольфсона не умаляется от того, что господин Леман, встречая его в своем кафе, не осведомляется, все ли у него в порядке. Да и помимо того, ведь это же стыд и срам держать «Бе-Цет» в одном-единственном экземпляре, так что надо прирасти к стулу, чтобы дожидаться своей очереди. Достоинство господина Вольфсона, конечно, не страдало и от того, что у «Старых петухов» его встречали теперь не так радушно, как раньше. Но все-таки это было уже неприятно. А однажды там даже обронили фразу, которая серьезно обидела господина Вольфсона. Обычно, когда играли в скат, партнеры самым тщательным образом следили друг за другом, чтобы никто не жульничал при подсчете выигрыша, так как двадцать процентов отчислялось в кассу ферейна. Из этих двадцати процентов покрывались расходы ферейна и, в первую очередь, стоимость большой

экскурсии, так называемой «прогулки холостяков», ежегодно совершаемой в день вознесения. И вот, когда однажды господин Вольфсон записал особенно высокий выигрыш и партнеры его недовольно брюзжали по этому поводу, он, добродушно утешая их, сказал, внося свои двадцать процентов в кассу ферейна, что ведь выигрыш его пойдет им же на пользу в следующую поездку.

— Эй, Август! — сказал он тогда проигравшемуся больше других. — Ты-то чего ворчишь? Сам же вылакаешь, по обыкновению, половину жженки.

— Ну, ты, поменьше хорохорься, — срезал его тот. — Еще неизвестно, примем ли мы тебя летом в свою компанию.

Конечно, это была глупая шутка. Август говорил спяну, и Вольфсон сделал вид, будто он ничего не слышал. Но удар попал в цель: слова Августа гложут господина Вольфсона еще и сегодня.

А может быть, все-таки прав шурин Мориц Эренрайх, что уезжает? Да, у Морица дело уже на мази: 3 марта во французском городе Марселе он сядет на идущий в Палестину пароход «Мариет-паша». Мориц будет ведать в городе Тель-Авиве печатанием и выпуском спортивной газеты. Кстати сказать, он, несомненно, проявил себя широкой натурой; кое-что из хозяйственных вещей он оставляет Вольфсонам. Господин Вольфсон провожает шурина со слезой во взоре и улыбкой на устах. Теперь, когда Мориц и в самом деле уезжает, Маркус Вольфсон чувствует, что будет скучать по нему сильнее, чем ему казалось. А с другой стороны, он рад избавиться от Морица, ибо в нем, в Маркусе, несмотря на бодрые речи, нет больше прежнего оптимизма, который он, бывало, противопоставлял вечному брюзжанию шурина.

Да, в оптимизме господина Вольфсона появилась трещина, его оптимизм обкорнали со всех сторон. Это не только мелкие уколы в кафе Лемана или у «Старого Фрица», в кругу «старых петухов». Гораздо серьезнее история с господином Краузе и с сырым пятном над картиной «Игра волн». К сожалению, никак нельзя сказать, чтобы господин Вольфсон был теперь на корот-

кой ноге с управляющим Краузе. Конечно, при встрече они перебрасываются несколькими словами; но теперь почти не случается, чтобы господин Краузе удосужился рассказать анекдот. А недавно, когда господин Вольфсон прямо спросил его, будет ли наконец удалено сырое пятно со стены, которое теперь зашло уже под картину, управляющий Краузе свысока и без церемоний заявил ему, что при такой дешевой квартирной плате господину Вольфсону нечего так заноситься. Есть тысячи людей, которые с превеликой благодарностью возьмут его квартиру вместе с пятном. Контракт, конечно, управляющий Краузе ему продлит, господин Вольфсон ни на минуту не сомневается в этом. Но так или иначе, а заявление Краузе — это чисто немецкое нахальство, и господин Вольфсон никогда этого не простит управляющему.

Но отношения с Краузе — миндальный торт по сравнению со случайными встречами с господином Рюдигером Царнке. Пока мост находился в работе, господин Вольфсон предавался мечтам о том, каким великим наслаждением будут встречи на лестнице с господином Царнке, когда он, господин Вольфсон, станет обладателем нового фасада. Когда они встречались, господин Царнке имел обыкновение нагло улыбаться ему, показывая при этом крепкие белые зубы. Господина Вольфсона ужасно грызло то, что он, памятуя о своих некрасивых зубах, не мог ответить соседу такой же наглой улыбкой, и мысль о том, как он, украшенный новым фасадом, улыбнется наглости господина Царнке, заставляла радостно биться его сердце. Но радость господина Вольфсона была преждевременна. Рюдигер Царнке записался в ландскнехты, он теперь начальник отряда. Кичась своим коричневым великолепием и своими двумя звездами на воротнике, скрипя высокими сапогами, топал он взад и вперед по лестнице. Завидя его издали, господин Вольфсон чувствовал дрожь в коленях; он предпочитал повернуть обратно, подняться снова по лестнице, залезть в свою нору. Но и дома у себя он не находил больше покоя. Царнке, особенно тогда, когда он знал, что Вольфсон дома, горланил во всю свою здоровенную глотку фашистский гимн со зна-

менитыми словами о ноже, который «всаживают еврею в горло». Громко, так, что не слышать было невозможно, расписывал он жене, как после 5 марта, когда нацисты возьмут власть, они из всех евреев сделают одну котлету. Он смаковал каждую жуткую подробность. При виде рядового ландскнехта, не говоря уже об офицере, еврей обязан сходить с тротуара на мостовую. И посмей только еврей взглянуть косо, он сейчас же получит кулаком в рожу. Ему, Царнке, доставит большое удовольствие расправиться с этой свиньей тут, рядом. У него для соседа припасены особые приемы воздействия, такого воздействия, после которого соседу останется только выловить поодиночке свои кости из водосточного желоба.

Маркусу Вольфсону становилось не по себе от этих речей; сгорбившись, потеряв всю свою бойкость, несмотря на новый фасад, сидел он в своем вольтеровском кресле, боясь пикнуть. Отводил детей в спальню, устремлял неподвижный взгляд на сырое пятно, включал радио, в надежде, что, может быть, какой-нибудь бравоурный военный марш или фашистская песня заглушит посулы соседа.

Иногда, когда передавалась особенно воинственная музыка, господин Вольфсон рисовал себе картину, как он оплатит господину Царнке, когда наступят лучшие времена, которые, конечно, не за горами. Он остановит его на лестнице и призовет к ответу. Он будет стоять на верхней ступеньке, а господин Царнке пониже. «Эй, вы, негодяй сопливый, вы что себе вообразили,— скажет он ему.— Меня вы ругаете свиньей, сударь? Неслыханно! Вы думаете, что вы лучше меня только потому, что я израелит? Смешно. Мои праотцы насаждали организацию и индустриализацию и всякого рода цивилизацию, когда ваши драгоценнейшие господа предки еще только обезьянами лазали по деревьям первобытных лесов. Поняли, дубина? А теперь прочь с глаз моих!» Из всех дверей выбегут соседи и будут слушать: господин Ротбюхнер, фрау Хоппегарт, господин Винклер, фрау Иозефсон. Все они будут радоваться, глядя, с каким удалством он отделывает этого молодчика в высоких сапогах. Это будет праздником для всех соседей

и прежде всего, конечно, для ффрау Йозефсон. И когда Царнке, поджав хвост, повернется, чтобы идти, он даст ему пинка в зад, и негодяй полетит напоследок со всех лестниц. Со злобной радостью рисует себе господин Вольфсон картину, как Царнке, докатившись донизу, с трудом встает. На нем только один сапог, другой слетел во время падения; Царнке отряхивает свою коричневую рубашку и уходит приниженный, жалкий.

Маркус Вольфсон, забывшись в сладких мечтах, широко улыбается, и его белые и золотые зубы сияют. Шепотом, но очень четко артикулируя, он произносит великолепные слова, которыми он раз навсегда уничтожит противника.

Но воинственная музыка, гремевшая по радио, кончается, вновь слышен голос соседа Царнке, и господин Вольфсон никнет в своем вольтеровском кресле и уга-сает.

Ах! Где он, прежний теплый уют его любимых домов на Фридрих-Карлштрассе. Слова «My home is my castle» утратили теперь всякий смысл, превратились в изречение из школьной хрестоматии. По-прежнему все двести семьдесят квартир походили одна на другую, как коробки от сардин, но в отношении господина Вольфсона произошла непонятная перемена. Каких-нибудь полтора месяца, а может, и месяц назад он был лишь одним из двухсот семидесяти квартирохозяев, нес те же обязанности, имел те же мнения, те же радости, те же заботы, что и остальные двести шестьдесят девять квартирохозяев, был мирным налогоплательщиком, который ни от кого ничего не требовал и к которому никто никаких претензий не предъявлял. А теперь другие остались, чем были, а он, это он слышал на всех перекрестках, на всех улицах, — он стал вдруг хищным волком, толкавшим отечество в пропасть. Почему? Что произошло? Маркус Вольфсон сидел, думал, разбирался, не мог понять.

Лучше всего было пока в магазине. Но и там не то, что раньше. Дела шли хорошо, работы было много. Но проходил горячий момент, и люди бродили понурые, словно в воду опущенные. Даже шустрый Зигфрид Бригер, доверенный фирмы, потерял свою прежнюю



живость, и сразу стало видно, что за плечами у него все шесть десятков.

А потом произошел один случай, одна перемена, которая потрясла Вольфсона, может быть, глубже, чем все другие. Мартин Опперман был отзывчивым патроном и прислушивался к нуждам своих служащих. Но по существу он неприступный гордец. Это раз навсегда установлено. И вот в эти дни Мартин Опперман зашел как-то в свой филиал на Потсдамерштрассе. Он стоял поблизости, когда Вольфсону — очень редкий с ним случай — пришлось выпустить покупателя, ничего не продав ему. Покупатель этот был неприятным типом, одним из тех, вероятно, которые на ходу выбрасывают людей из вагона. «Коричневый» во всяком случае. Но неутомимая готовность господина Вольфсона обслужить покупателя обычно одолевала даже таких субъектов. Он сгорал от стыда, что эта неудача, как нарочно, постигла его сегодня, в присутствии патрона. И действительно, едва закрылась за покупателем дверь, как Мартин Опперман, тяжело ступая, подошел к Вольфсону.

— Спасовали, Вольфсон? — спросил он.

— К сожалению, господин Опперман.

Вольфсон ждал немедленного нагоняя, приготовил тысячу доводов в свое оправдание, заранее зная, что ничто не может его оправдать: пасовать ни при каких условиях не полагалось.

И тут-то произошло чудо. Никакого нагоняя не последовало. Наоборот, Мартин Опперман молча посмотрел на него тусклыми карими глазами и сказал:

— Пусть вас это не огорчает, Вольфсон.

Маркус Вольфсон был смысленным человеком, он соображал на лету. Но тут он растерялся. Не иначе, как Мартин Опперман сошел с ума.

— По-моему, вы как-то переменились, — продолжал этот сумасшедший. — Вы стали свежей, моложе.

Вольфсон старался овладеть собой, подыскивая ответ.

— Это благодаря зубам, господин Опперман, — пробормотал он. И сейчас же подумал, что ответ неудачный, не следовало выставять себя перед патроном

расточительным человеком; но припадок безумия у господина Оппермана совершенно сбил его с толку.

— Мне пришлось задолжать, чтобы сделать зубы, но нельзя было больше откладывать, — поправился господин Вольфсон.

— У вас, Вольфсон, сын, если не ошибаюсь? — осведомился Мартин Опперман.

— Сын и дочь, господин Опперман, — ответил Маркус. — Большая ответственность в такие времена. Любимых их без памяти, но иногда кажется, что лучше бы их не было. — Он улыбнулся виноватой, чуть жалкой улыбкой; блеснули белые и золотые зубы.

Мартин посмотрел на него. Вольфсон ждал, что теперь он скажет что-нибудь легкое, какое-нибудь шутливое словцо, свежее, бодрящее. Так полагалось. И Мартин Опперман так и сделал.

— Выше голову, Вольфсон, — сказал он. Но вслед за тем он прибавил нечто поразительное, не вяжущееся ни с чем и ни с чем не сообразное, а для патрона крупной старой фирмы совершенно неподходящее. Он очень тихо и, как показалось Вольфсону, печально и вместе злобно сказал:

— Всем нам теперь нелегко приходится, Вольфсон.

Мартину Опперману действительно было нелегко. Приближались выборы. Ни у кого не оставалось сомнений, что националисты придут к власти, а с ними — произвол и насилие. Что же сделала фирма Опперман для своей защиты от надвигающейся бури? В ближайшие дни все оппермановские филиалы, за исключением главного магазина, волеются в фирму «Немецкая мебель». И на этом успокоились. А связались ли снова с Вельсом, возобновлены ли те жестоко необходимые переговоры, которые так глупо были сорваны по его вине?

Мартин Опперман сидел один в директорском кабинете. Тяжело положив на стол обе руки, он неподвижно глядел перед собой карими тусклыми глазами. Со всех сторон неся свист и вой против Опперманов. Почти ежедневно появлялись статьи против Густава или против Эдгара, начались вылазки и против фирмы. Не

вельсовских ли рук это дело? Мартин долго вытаскивал пенсне, надел его и, тяжело ступая, подошел к висевшей под стеклом грамоте, возвещавшей: «Купец Эммануил Опперман из Берлина оказал германской армии большую услугу своими поставками. Генерал-фельдмаршал фон Мольтке». Мартин снял со стены рамку, перевернул ее, машинально посмотрел на обратную сторону. Коричневорубашечники распространяют теперь документ, из которого явствует, что мебельная фирма Опперман пожертвовала фрейну «Красный спорт» десять тысяч марок. Газеты воспроизводили факсимиле этого документа, его вывешивали в казармах ландскнехтов. Документ был напечатан на подлинном бланке мебельной фирмы Опперман и подписан по всем правилам его, Мартина, именем. Такой документ действительно существовал, но только дело шло не о десяти, а об одной тысяче марок и не о «Красном спорте», а о еврейском спортивном фрейне. Но что даст ему опровержение? Разве Эдгару, которого обливают ушатами грязи, легче от того, что существуют сотни живых свидетелей его знаний и искусства?

Мартин повесил письмо Мольтке на место и, медленно покачивая головой, побрел назад к письменному столу. Внезапно его большое лицо исказилось. Тяжелой рукой хлопнул он по столу.

— Проклятая банда,— процедил он сквозь стиснутые зубы.

Бранью не поможешь. Сорок восемь лет он умел владеть собой. Им не дожить до того, чтоб он потерял эту способность.

А может быть, все-таки переговоры с Вельсом продвинулись вперед? Бригер, всегда такой словоохотливый, шустрый Бригер, отмалчивается, черт бы его побрал. Мартин боится спросить его напрямик.

Тяжелый, грузный, раздраженный, сидит он за письменным столом. Ему слишком скоро придется узнать, как обстоит с Вельсом. Он предчувствует это, боится этого, уверен в этом. Сегодня вечером он узнает об этом от человека, от которого ему много неприятнее это услышать, чем от Бригера. Жак Лавендель просил его заехать сегодня вечером. Необходимо срочно перегово-

рять; есть важные новости. До чего скверно, по-видимому, обстоит дело, если Бригер не решается говорить сам, а возлагает это на Жака Лавенделя.

Вечером Мартин сидит у Жака Лавенделя, как всегда многоречивого и прямолинейного. Мартина настойчиво приглашают отведать булочек с тончайшим паштетом из гусиных печенок и выпить рюмку хорошего портвейна. У Жака всегда надо есть и пить. Жак без обиняков приступает к разговору.

— Если бы Кларина доля в деле что-нибудь для нас значила, — говорит он своим хриплым голосом, — если бы, сохрани бог, мы не могли обойтись без нее, то и в этом случае, уверяю вас, Мартин, я бы за любую цену сбыл сейчас эту долю. В ближайшие же дни необходимо обеспечить себя какими-нибудь более надежными мерами, чем эта сомнительная «Немецкая мебель», иначе я предвижу «плач у стены иерусалимской». Да, вот еще, — словно вспоминает он и, мечтательно полузакрыв глаза, откусывает сразу половину булочки с гусиным паштетом. — Бригер просил меня осведомить вас о положении дел с Вельсом. Вам, Мартин, вероятно, покажется, что оно плохое, — он улыбается обычной своей добродушной улыбкой, — но это не так. Я считаю, что положение совсем не плохое. — Он запивает остаток булочки глотком портвейна.

Мартин следит за его движениями, секунды тянутся бесконечно, нервы у Мартина напряжены до крайности, этот жующий и пьющий человек ему несносен.

— Суть в том, — продолжает наконец Жак Лавендель, — что свирепому гою не так важен самый предмет переговоров, как их форма. Для него это дело чести. — Перед словом «честь» Жак делает крохотную паузу и произносит его с чуть заметным ироническим акцентом. И сразу это понятие становится каким-то пустым, выпотрошенным, смехотворным.

Мартин глубоко оскорблен тем, что Жак отваживается высмеивать вещи, которые его, Мартина, так сильно волнуют. Жак продолжает:

— Вообразите, Мартин: господин Вельс, как это ни смешно, положительно влюбился в вас. Он непременно хочет иметь дело с вами, а не с господином Бригером.

Он хочет, чтобы вы пришли к нему. По-видимому, в вашем кабинете он чувствует себя недостаточно уверенно.

Мартин удобно сидит в комфортабельном кресле. У Жака Лавенделя мебель не оппермановского производства и не модная, зато удобная. Однако у Мартина ощущение такое, точно он сидит не очень крепко. Его охватывает слабость, она идет от ног, как тогда, во время сильного шторма, когда он на небольшом пароходе переплывал океан, направляясь в Америку. Не распускаться. Самообладание. Достоинство. Правда, человек этот высмеивает именно самообладание и достоинство. Для него они... И тут Мартин, который, в противоположность большинству берлинцев, избегает еврейских жаргонных словечек, внезапно определяет с точностью, чем являются для его шурина Жака Лавенделя такие вещи, как самообладание и достоинство: они для него «шмондес», фантифлюшки. Но Мартина это не касается: он не Жак. И он делает над собой усилие и разве только чуть крепче стискивает ручки кресла.

— Вряд ли я пойду к Вельсу,— говорит он. Голос его звучит сдержанно, может быть чуть ворчливее обычного. Он видит устремленный на него взгляд Клары, ему кажется, что сестра смотрит на него с оттенком сострадания. Но он не желает ее сострадания, он плюет на ее сострадание. Его глаза внезапно теряют сонливость, от их тусклости не остается и следа, в них горит ярое бешенство.— И не подумаю! — кричит он и встает.— Что эта скотина вообразила себе? Он полагает, я поставлю голову, чтобы он плюнул на нее? Смешно. И не подумаю идти к нему.

Жак и Клара молча наблюдают эту вспышку. Жак совсем открыл глаза и внимательно и дружески присматривается к Мартину. В его хриплом голосе теперь нет и тени иронии, наоборот, Жак уговаривает Мартина, как старший, опытный друг.

— Накричитесь вволю, Мартин,— говорит он,— это облегчает. Но я полагаю, что вы с мыслью о Вельсе свыкнетесь и увидите, что вам не миновать этого. Легко представить себе более приятные вещи, чем разговор с господином Вельсом. Но закрыть лавочку — штука по-

хуже. Отдохните, подумайте и отправляйтесь к Генриху Вельсу. И поскорее. Лучше всего завтра же. Завтра же утром. Чего бы вы ни добились от Вельса, все будет выигрышем. И чем раньше вы к нему явитесь, тем большего вам удастся от него добиться.

Мартин сел.

— И не подумаю,— повторил он мрачно и после шумной вспышки как-то удивительно тихо.

— Go ahead, Мартин,— с непривычной сердечностью заговорил опять Жак.— Надо кончать с Вельсом.

Сейчас бы кричать, бесноваться, думал Мартин, но перед ними это бессмысленно. Оба они слишком благо-разумны. Они смотрят на человека молча и сочувственно, а в душе презирают его.

Мрачный и прямой, сидел он в кресле. В коленях ощущалась слабость. Ему вдруг страшно захотелось есть, но на булочки с гусиным паштетом он и смотреть не мог.

Мартин встал и резко отодвинул кресло.

— Ну,— сказал он,— мне, пожалуй, пора. Спасибо за булочки и за вино. И за совет,— язвительно прибавил он.

— Кстати,— начала вдруг Клара спокойным, решительным голосом,— я бы не неволила мальчика.— Мартин удивленно вскинул глаза.— Я совершила ошибку, посоветовав ему извиниться,— продолжала Клара.

Мартин ничего не понимал. Что такое? Что там опять? Оказалось, что он решительно ничего не знал, Бертольд не заикнулся ему об истории с Фогельзангом. Это поразило даже Жака Лавенделя, привыкшего ничему не удивляться. Он рассказал шурину весь эпизод, бережно, осторожно.

На этот раз Мартин не заботился больше о самообладании, достоинстве. И не шумел, как несколько минут назад по поводу Вельса. Два удара, свалившиеся на него один за другим, лишили его энергии. Опперманы должны быть, очевидно, стерты с лица земли, сражены. Так было предопределено свыше. Сопротивляться нет смысла. Нападки на Эдгара, статьи против Густава. Завтра он должен пойти к Вельсу, к этому тупому, презренному Генриху Вельсу, он должен пойти и уни-

зиться. И Бертольд должен унизиться, его красивый, способный, любимый мальчик. Бертольд сказал правду, но они не разрешают ему говорить правду. Оттого, что Бертольд его сын, он должен унизиться и заявить: правда — это ложь, потому что он сказал, что это правда.

Мартин сидел, опустив голову. Иов, подумал он. Как это было с Иовом? Он родился в стране Уц, и на этот счет существуют дурацкие остроты. Он был раздавленный человек. На него сыпалось испытание за испытанием, его дело погибло, дети его погибли, его поразила проказа, он враждовал с богом, а потом Гете использовал эту историю и сделал из нее пролог к своему «Фаусту». Раздавленный человек. Это предопределение свыше. В день Нового года все предопределяется, а в Судный день скрепляется печатью, так его учили в детстве. Может быть, и в самом деле следовало в Судный день закрывать магазины, хотя бы в память Эммануила Оппермана. Бригер всегда предлагал это. Дома стоят в шкафу три или четыре библии, не мешало бы время от времени почитать библию, историю Иова хотя бы, но не хватает времени. Ни на что не хватает времени, и на гимнастику не хватает времени, превращаешься в старика, в раздавленного человека и остаешься ни с чем.

— Я бы не неволила мальчика, — повторила Клара. — Скорее я взяла бы его из гимназии.

— Посмотрим, — сказал Мартин отсутствующе, рассеянно. — Но к Вельсу я не пойду, — сердито буркнул он. — Еще раз спасибо. — Он попытался улыбнуться. — Вы уж извините меня: многовато свалилось сразу на мою голову.

— К Вельсу он, конечно, пойдет, — сказал Жак после ухода Мартина. — Им слишком хорошо жилось здесь, в Германии, — прибавил он задумчиво. — Они не привыкли к трудностям.

По улице с песней проходил отряд коричневых ландскнехтов, возвращавшихся с предвыборного собрания. Они пели. «Когда граната рвется, от счастья сердце бьется...» Жак Лавендель покачал головой.

— Можно и наоборот сказать: «Когда граната бьется, от страха сердце рвется».

Он опустил жалюзи, выбрал несколько граммофонных пластинок с любимыми напевами. В комнате пахло булочками, паштетом и вином. Жак Лавендель мечтательно положил в рот еще одну булочку, медленно стал жевать, запивая маленькими глотками вина. Склонив набок рыжеватую голову, закрыв глаза, подпевал он граммофону:

Было нас шесть братьев, торговали мы сукном,  
Один, бедняга, помер,— мы остались впятером.  
У Иоселе — скрипица...

Мартин между тем вернулся на Корнелиусштрассе. Лизелотту и Бертольда он застал еще в «зимнем саду». Он взглянул на Бертольда. Заметил, как мальчик за последние недели изменился, какой угнетенный и даже постаревший вид у него. Плохой отец, так долго он ничего не замечал. Он положил руку на плечо Бертольду, сын уже действительно перерос его.

— Что, сынок? — сказал он.

Бертольд сразу понял, что отцу все известно. Он с облегчением подумал, что вот теперь отец заговорит с ним.

— Жак сообщил тебе какую-нибудь неприятную новость? — спросила Лизелотта. Раньше чем Мартин вошел в комнату, она уже по шагам его знала, что с ним стряслась какая-то беда.

— Да, праздником или, выражаясь в стиле нашего шурина, «ионтефом» это назвать нельзя.

Мартин испытующе посмотрел на Бертольда. Сейчас ли поговорить с ним? Я измучен, устал, как пес. Самое лучшее было бы погасить свет, закрыть глаза и не сразу лечь в постель, а посидеть в кресле, вот так, не двигаясь. Кресло не такое удобное, как у Жака: это оппермановское кресло. Он мог бы позволить себе купить кресло и подороже, но из чувства долга обставил свою квартиру исключительно оппермановской мебелью. И переговоры с Вельсом он тогда провалил только потому, что был не в своей тарелке. Отложить, может быть, на завтра разговор с Бертольдом? Но сейчас, в присутствии Лизелотты, легче говорить. А завтра ему надо к Вельсу. Унизиться.



— И тебе, сынок, пришлось в последнее время немало пережить,— начинает он. Голос звучит ясно, не очень напряженно. В человеке больше сил, чем он думает. Как часто кажется, все кончено, больше я не могу, однако всегда находишь в себе какие-то запасы энергии.— Ты, Бертольд, проявил большую заботливость, решив не обременять нас своими неприятностями. Но и я и мама охотно бы тебе помогли.

Лизелотта поворачивает светлое лицо от одного к другому. Трудно ей приходилось в последнее время между молчаливым мужем и молчаливым сыном. К христианке, жене еврея и матери юноши-еврея, время предъявляет сейчас жестокий счет. Хорошо, что Мартин наконец заговорил.

— Тебе очень не повезло с твоим докладом, Бертольд,— говорит она, дослушав Мартина.— А как тебя радовала эта работа.

Трудно было бы короче и проще выразить все то, что произошло в связи с этим докладом. Но Бертольд чувствует, что слова матери исчерпывают все, что она не хуже его, во всех тонкостях, представляет себе случившееся.

— Доклад был хороший,— с неожиданной горячностью сказал Бертольд.— У меня сохранилась рукопись. Вы убедитесь, и ты, отец, и ты, мама, что это лучшее из всего, что я когда-либо делал. И директор Франсуа подтвердит это. Доктор Гейнциус был бы очень доволен.

— Конечно, конечно, мой мальчик,— успокаивала его Лизелотта.

— Но теперь приходится иметь дело с доктором Фогельзангом,— возвращается Мартин к предмету разговора.— До пасхальных каникул, то есть до перевода в следующий класс, осталось два месяца. Надо потерпеть это время.

— Ты считаешь, что я должен извиниться? — Бертольд старается говорить объективно, даже деловито, без горечи.— Отречься от своих слов? — добавляет он сухо.

Возможно, что именно эта сухость и вызвала в Мартине раздражение. «Я устал, как пес,— думает он снова,— мне чертовски тяжело. Следовало отложить

этот разговор до завтра. А теперь ни в коем случае не распускаться».

— Я пока ничего не считаю.— Мартин хотел сказать это дружески, но получилось довольно резко.— А если ты не извинишься, какие, по-твоему, последствия это может иметь? — продолжал он, помолчав, холодно, как бы взвешивая.

— Возможно, что меня исключат,— сказал Бертольд.

— Это значит,— подвел итог Мартин,— что тебе придется отказаться от немецкой школы вообще. А возможно, что и от дальнейшего образования в пределах Германии.— Тон его был все такой же деловито-холодный, расчетливый. Он вытащил пенсне, стал протирать стекла.— Ты ведь понимаешь, Бертольд, что я не могу на это согласиться.

Бертольд взглянул на отца. Отец сидел подтянутый, настороженный. Как на деловой встрече, когда хочешь добиться своего. Так вот каков его отец в решительную минуту. В решительную минуту он ничего не понимает. Не хочет ничего понимать. Он, Бертольд, значит, был прав, не заговаривая с отцом о своих затруднениях. Но надо что-нибудь сказать. Его ответа ждут.

— Я бы многое взял на себя,— осторожно начал он,— лишь бы не просить этого...— он запнулся,— извинения,— нашел он наконец нужное слово.

— Нам всем теперь немало приходится брать на себя,— желчно проворчал Мартин, не глядя на сына. Слова его прозвучали злее, чем он хотел.

Бертольд побледнел, закусил нижнюю губу. Перепуганная Лизелотта поспешила смягчить впечатление от слов Мартина.

— Я думаю,— обратилась она к Бертольду,— что как раз теперь, когда у отца создалось такое тяжелое положение, ему было бы приятнее, если бы ты поборол себя.

— Не мучьте меня,— мрачно проговорил Мартин.— Сговорились вы все, что ли, терзать меня? О, эти псы, эти низкие, подлые псы! — вдруг закричал он.

Бертольд никогда не видел отца кричащим. Он вскочил, испуганно посмотрел отцу в глаза, широко откры-

тые, мрачные, покрасневшие. Теперь и Лизелотта была очень бледна.

— Я думаю, Бертольд, тебе надо было бы извиниться,— сказала она необычайно тихо.

— Надо было бы, надо было бы,— издевался Мартин.— Он должен это сделать. Мне тоже приходится делать многое, что мне не по душе,— повторил он зло, упрямо.

— Давайте не будем сейчас ничего решать,— просила Лизелотта.— Отложим на утро,— просила она.— Никто не станет тебя принуждать,— обратилась она к Бертольду.— Против воли ничего не делай, мой мальчик.

После вспышки Мартин сел. Губы его были крепко сжаты. «Власяница и пепел,— неслись в нем обрывки мыслей,— Каносса, Иов. Надо было отложить этот разговор на завтра». Он посмотрел на сына, на жену каким-то пустым взглядом.

— Мне понадобилось сорок восемь лет,— сказал он наконец,— пока я понял, что собственное достоинство иногда обходится слишком дорого. Тебе семнадцать лет, Бертольд. Я говорю тебе — это так. Но я не требую, чтобы ты верил мне.— Он говорил спокойно, но слова его звучали, как заунывная жалоба. Из них точно ушла жизнь, и сам он, массивный, тяжелый, казался таким безжизненным, что Бертольд и Лизелотта испугались этого больше, чем недавней гневной вспышки.

На следующий день утром, без пяти минут одиннадцать, Мартин Опперман сидел на третьем этаже мебельного магазина «Генрих Вельс и сын».

Вельс пригласил его на одиннадцать часов. Он не сам подошел к телефону, а велел передать через служащего, что Мартин может прийти в одиннадцать. Мартин явился без пяти одиннадцать.

Его не провели в приемную, а предложили ждать в помещении магазина. На третьем этаже было просторно, много воздуха, необычайно чисто. В магазине «Генрих Вельс и сын» царил порядок. У Мартина Оппермана оказалось достаточно времени, чтобы установить это обстоятельство, ибо его заставили долго ждать.

Он сидел на стуле, пожалуй, слишком маленьком для его грузного тела. Сидел прямо, в некрасивой позе, стараясь неподвижно глядеть вперед, не поворачиваясь ни вправо, ни влево. Покупателей было очень мало. Тем не менее вокруг Мартина царил большое оживление. Служащие бегали взад и вперед, делая вид, будто чем-то заняты. Они с любопытством разглядывали владельца мебельной фирмы Опперман, который сидел и ждал, пока господин Вельс его примет.

Мартин Опперман все видел, но он не желал ничего видеть, он сидел неподвижно.

Он посмотрел на часы. Ему казалось, что уже двадцать минут двенадцатого, а было только шестнадцать минут двенадцатого. У него были красивые, тяжелые, золотые часы; он получил их от деда Эммануила в день своего тринадцатилетия, когда его впервые вызвали к торе. «Немецкая мебель» обзавелась, конечно, новой торговой маркой, портрет старого Эммануила исчез с фирменных бланков. Новая марка сделана очень красиво, Клаус Фришлин заказал ее первоклассному художнику. Но красивые марки имеются на бланках многих фирм.

Теперь, должно быть, уже двадцать пять минут двенадцатого. Нет, двадцать одна. Только бы сидеть прямо, не опускать головы. Бертольду придется тяжелей. Ему, Мартину, приходится только сидеть. А мальчик его должен стать перед товарищами и сказать: «То, что я выдавал за правду, — ложь. Я лгал». Одиннадцать часов тридцать минут. Мартин подзывает ближайшего служащего и просит напомнить господину Вельсу, что он его ждет.

В одиннадцать часов сорок минут господин Вельс велит просить его. На господине Вельсе форма штурмфюрера, со звездами, аксельбантами, пряжками.

— Я заставил вас долго ждать, Опперман, — начал он. — Политические дела, знаете ли. Надеюсь, вы понимаете, Опперман, что в наше время политика на первом месте?

На деревянном, в жестких складках лице Вельса играла тонкая, острая усмешка, и говорил Вельс тоном начальника с подчиненным. Ему хотелось до конца на-

сладиться своим торжеством. Мартин сразу увидел это. «Опперман», назвал его Вельс. Он нанес Мартину удар. Но удар имел и другое действие: в то же мгновение Мартин извлек из своего сознания все, что ему подсказывал инстинкт дельца, быстрая коммерческая сметка. Этот человек, этот тупой негодяй, хотел его унижить. Он вынужден пропустить его наглость мимо ушей, вынужден пренебречь достоинством, на страже которого стоял сорок восемь лет. Такой уж выдался этот месяц февраль в Германии. Хорошо, он пренебрежет своим достоинством. Но он потребует за это платы. «Опперман», назвал его этот негодяй. Хорошо, он пойдет на это, он не будет впредь «господином Опперманом». Он и на большее пойдет. Но все будет занесено на ваш счет, господин Вельс.

— Конечно, господин Вельс,— сказал он учтиво.

Он все еще стоял.

— Ваш доверенный Бригер сообщил мне о вашем предложении, Опперман.— Мартин стоял.— С вашим господином Бригером легче столковаться, чем с вами, Опперман. Но я знаю по опыту, что потом возникают всякие «недоразумения». Я хотел избежать их. Потому я и вызвал вас. Садитесь, пожалуйста.

Мартин послушно сел.

— Вам ясно, что имя Опперман и все, что только напоминает его, должно исчезнуть. В обновленной Германии нет места оппермановской мебели. Понятно вам?

— Конечно, господин Вельс.

Мартин Опперман понимал все, что хотелось господину Вельсу. «Да, господин Вельс», «конечно, господин Вельс» непрерывно слетало с его губ, а когда господин Вельс сухим голосом мрачно острил, Мартин улыбался. В одном только случае он долго не уступал. Это когда господин Вельс потребовал, чтобы и магазин Опперманов на Гертраудтенштрассе перестал существовать как оппермановский и чтобы главная контора «Немецкой мебели» перешла сюда, к господину Вельсу, в его главный магазин. Мартин очень вежливо попросил не включать магазин на Гертраудтенштрассе в акционерное общество «Немецкая мебель». Этот небольшой магазин

Мартин будет вести сам, он никак не может составить конкуренцию мощному объединению. «Чванливая сволочь», — подумал господин Вельс. Ясно было, что Опперман прав, что действительно сохранение оппермановского магазина на Гертраудтенштрассе было только дорогостоящей роскошью, которую хотел доставить себе Мартин Опперман. Но даже этого Вельс не желал ему разрешить. Он властно настаивал на своем, а Мартин очень вежливо не уступал. Мартин скромно привел довод, который не мог не убедить Вельса. Если сохранится хотя бы один оппермановский магазин, пояснил Мартин, то никто не сможет счесть всю эту операцию вынужденным мероприятием, темной сделкой. После длительных переговоров пришли к соглашению, что главный магазин на Гертраудтенштрассе до 1 января останется за Густавом и Марином, а потом либо ликвидируется, либо перейдет в фирму «Немецкая мебель».

— Ясно, Опперман? — спросил господин Вельс.

— Конечно, господин Вельс, — ответил Мартин.

Стали обсуждать детали. На очереди стоял сложный вопрос о степени участия Опперманов в управлении и прибылях нового общества «Немецкая мебель». И тут Мартин с глубоким внутренним удовлетворением почувствовал, что он в ударе. Для каждого спорного случая он находил разрешение, гораздо более изобретательное и дальновидное, чем то, что предусматривал общий, весьма продуманный наказ профессора Мюльгейма. Условия Генрих Вельс ставил возмутительные. Но он растратил свою энергию на наглые требования чисто формального порядка и теперь, обессиленный, не замечал ловушек в податливых сложных предложениях Мартина. С дурацким высокомерием шел он теперь на уступки.

Покончив с административными и финансовыми вопросами, он опять напустил на себя важность. Сколько лет подряд Мартин Опперман заставлял его глотать горькие пилюли, так пусть же он почувствует, что теперь Генрих Вельс наверху, что сам он всецело в руках у Генриха Вельса.

— «Кто покупает у Опперманов, покупает хорошо и дешево», — издевался Генрих Вельс. — Все определя-

лось этим «дешево». В «Немецкой мебели» ударение будет перенесено на «хорошо». Ваша «дешевка» навсегда исчезнет из ассортимента нового предприятия,— резко, грубо рубил он, заключая разговор.— Новая Германия не потерпит дерьма, «тинефа», выражаясь вашим словечком. Мы будем торговать дорого, но солидным товаром.

«Дурак, идиот, ничтожество, безмозглая башка, коричневорубашечник»,— думал Мартин.

— Конечно, господин Вельс,— поддакивал он.

После ухода Мартина Вельс еще долго сидел за столом. Машинально ощупывал он звезды и аксельбанты своей коричневой формы. Он был доволен собой. Он задал как следует этой чванливой сволочи. Приятно видеть противника поверженным в прах, чувствовать, как попираешь ногами его затылок. Ему долго пришлось ждать, почти до старости, но у него еще достаточно сил, чтобы полностью насладиться унижением врага. Наконец-то. Порядок снова воцарился в мире. Звезды и аксельбанты его коричневой формы получили смысл. Прирожденные господа сидят там, где им полагается, а выскочки валяются у них в ногах, покорно выслушивая законы, которые диктуют им господа. Как он умеет быть вежливым, этот Мартин Опперман. «Да, господин Вельс, конечно, господин Вельс». Смирение, вежливость этих слов утешительной музыкой будут звучать у него в ушах даже на смертном одре. Он вспомнил день, когда Мартин Опперман измывался над ним там, на Гертраудтенштрассе: «Как бы вы не просчитались, господа хорошие»,— подумал он тогда в лифте. Он и сейчас еще до малейших подробностей помнит этот лифт и физиономию мальчика-лифтера, который удивленно посмотрел на его помрачневшее лицо. Ну, вот господа хорошие и просчитались, и ничто теперь не омрачает больше его лица.

После пережитого напряжения Мартин, к удивлению своему, не чувствовал себя разбитым. Он сидел в своей машине, он ехал на Гертраудтенштрассе, перед ним была широкая спина Францке. Он сидел, может быть, не так прямо, как всегда, но все-таки прямо, и с губ его не сходила полубессознательная довольная улыбка.

Да, он был доволен. Год, а может быть, и несколько лет, он плохо устраивал свои дела. На его месте Эммануил Опперман давно бы уже отправил свою семью в надежное место, перевел деньги куда следует, а дело бы ликвидировал. Но сегодня Эммануил Опперман остался бы им доволен. Несомненно, Генрих Вельс, это ничтожество, уверен, что одержал огромную победу. Но его победа похожа на победы немцев в мировую войну. Они побеждали, а противники выигрывали. «Конечно, господин Вельс!» Мартин улыбнулся.

Он сейчас же сел за стол и письменно оформил соглашение с Вельсом. Вызвал Мюльгейма. Многие пункты, мгновенно придуманные Мартином во время разговора с Вельсом, были так тонко составлены, что даже Мюльгейм не сразу мог охватить их со всеми вытекающими из них последствиями. Это доставило Мартину большое удовольствие. Он подписал соглашение и послал его для подписи Вельсу.

Нелегко было привыкнуть к мысли, что отовсюду исчезнут портреты Эммануила Оппермана, имя Опперман. Однако еще в тот же день он сам занялся этим делом.

Он вызвал к себе господина Бригера и господина Гинце и продумал с ними технику его осуществления. Мрачный, чрезвычайно прямо сидящий Гинце предложил вместо портрета Эммануила Оппермана повесить портрет Людвига Оппермана, одного из братьев, убитого во Франции в 1917 году.

— У этих бандитов сохранилось некоторое уважение к подобным вещам.

В последнее время и господин Бригер и господин Гинце замечали, что Мартин Опперман перестал гордо замыкаться в себе, ограждать себя неприступной стеной. Но тут вдруг в нем проснулся прежний Мартин. Он искоса взглянул на господина Гинце.

— Нет, Гинце,— холодно отрезал он тоном, не допускающим возражений.— Именем брата я не покупаю себе никаких поблажек.

Вечером он собственноручно, хотя в том не было никакой нужды, снял со стены рамку с грамотой фельдмаршала Мольтке, тщательно завернул ее в бумагу,



бережно перевязал веревочкой и взял с собой. Когда он выходил, старый, хмурый швейцар Лещинский открыл рот, чего никогда до сих пор не случалось, и сказал:

— До свиданья, господин Опперман.

Удовлетворенность достигнутым деловым успехом, за который было так дорого заплачено, дома быстро испарилась. Мартину всегда стоило большого душевного напряжения сообщать родным какие-либо неприятные новости. Но перед грандиозностью и жестокостью того, что теперь на них обрушилось, рухнуло даже его постоянное стремление сохранить самообладание и достоинство. Такую огромную боль нет надобности скрывать. Можно кричать обнаженно, бесстыдно. Он просил родных собраться у него вечером, и они пришли.

Он сообщил о соглашении с Вельсом. Он не рассказывал об унижении, которым ему пришлось заплатить за достигнутый успех. Но никто не понял, в чем сущность этого успеха. Ясно было одно: мебельная фирма больше не существует. Один лишь Жак Лавендель понял его.

— Мазельтов, — поздравил он Мартина и взглянул на него приветливо, от всей души одобряя его. — Это у вас великолепно вышло, Мартин. Чего вы хотите? Сначала дело грозило крахом, а теперь все пойдет как по маслу или по крайней мере как по маргарину.

Но бодрого тона Жака никто не поддержал. Правда, Мартин попытался довольно горько пошутить; портрет деда висит у Густава, зато он, Мартин, обеспечил себе для украшения своей квартиры письмо Мольтке. Но вскоре, перед лицом общей подавленности, радость Мартина по поводу его успеха у Вельса окончательно испарилась.

И вот они, Опперманы, сидят вокруг большого круглого стола времен Эммануила Оппермана, вокруг старого солидного стола орехового дерева, сработанного под личным наблюдением Генриха Вельса-старшего. Со стены смотрит на них портрет деда Эммануила. Со дня рождения Густава, когда все Опперманы собрались на Макс-Регерштрассе, они не были вместе. Они были тесно спаяны друг с другом, это чувствовалось, и порт-

рет Эммануила был частью их семьи. Но эта спаянность теперь, пожалуй, самое ценное, чем они владеют, единственно прочная ценность. Все остальное уплывало, ускользало из-под ног.

Жак Лавендель снова тщетно попытался подбодрить их иронической шуткой, но скоро и он поддался общему настроению.

Несколько минут эти большие, крепкие люди сидели молча. Густав не сиял, как обычно, Мартин забыл о самообладании и достоинстве, Эдгар — о своем несокрушимом оптимизме, Жак Лавендель — о своем жизнерадостном скепсисе. Они были сильные люди, знающие и одаренные, способные выдержать натиск врага, жестокий удар судьбы. Но теперь они сидели, потеряв уверенность, подавленные, опечаленные, ибо они чувствовали всем своим существом: то, что их ждало впереди, не было единичным нападением врага или единичным ударом судьбы. Это было землетрясение, разгул концентрированной, бездонной, как океан, человеческой глупости. И что могут сделать силы и ум отдельного человека перед лицом такого стихийного бедствия?

После коротких прений в футбольном клубе мальчики постановили исключить Бертольда. Они сделали это очень неохотно. Не только потому, что с уходом Генриха матч с гимназией Фихте был обречен на неудачу, но и потому, что они считали Бертольда хорошим товарищем. Они сами толком не знали, за что, в сущности, они его преследуют.

Генрих Лавендель был взбешен. Бертольд, по его мнению, вел себя, правда, немножко глупо — на его месте Генрих отрекся бы от своих слов, — но зато в высшей степени порядочно. Если бы Генриху надо было привести пример героизма, он указал бы на Бертольда. Задают сочинения на темы о конфликтах с совестью у Валленштейна, у Торквато Тассо. Вздор, милостивые государи. Настоящие проблемы здесь, у вас на глазах. Как следует поступать, умно или порядочно? Какой-то француз из классиков сказал: «Если бы меня обвинили в том, что я положил в карман и унес собор Парижской

богоматери, я немедленно пустился бы наутек». Поведение, рекомендуемое этим французом, умно. Генрих тоже ведет себя умно. Он и не помышляет больше о том, чтобы разоблачить этого сопляка, этого сумасшедшего дурака — Долговязого. А Бертольд, наоборот, поступает порядочно: он не отрекается от своих слов. В двадцатом веке умом, несомненно, добьешься большего, чем порядочностью. Однако Бертольд внушает ему уважение, он очень любит Бертольда.

С горечью смотрел Генрих на растущую изолированность своего друга и родственника. Исключив Бертольда из футбольного клуба, мальчики уже не могли этим ограничиться. Раньше только «Молодые орлы» принципиально не разговаривали с Бертольдом, теперь же мало-помалу к ним присоединялись остальные.

Бертольд бродил замкнутый, молчаливый. Стал плохо спать. Как-то вечером, после ужина, Лизелотта сказала ему:

— Я заметила, что у тебя по ночам горит свет, Бертольд. Не попробовать ли тебе принять снотворное? Если бессонница будет очень тебя донимать, возьми что-нибудь в домашней аптечке.

— Спасибо, мама, — сказал Бертольд. — Как-нибудь справлюсь и без снотворного.

Он упрямо старался внушить себе, что ему безразлично, как к нему относятся школьные товарищи. У него есть друзья: дядя Исаак Ранцов, кузина Рут, Генрих Лавендель, Курт Бауман. Курт, надо отдать ему справедливость, ведет себя вполне порядочно. Он и не думает поддерживать идиотский культ героя, который создан в классе вокруг Долговязого. А это уже кое-что.

Как-то раз Бертольд снова получил в свое распоряжение машину. С присущей ему манерой взрослого, как бы вскользь, как бы вовсе не оказывая этим одолжения, он сказал Курту Бауману:

— Завтра в шесть, после английского, я получу машину. Значит, в шесть часов пять минут на углу Мейер-Оттоштрассе.

На короткий миг Курт заколебался. Но потом воскликнул:

— А, черт. Вот здорово.

На другой день, в шесть часов пять минут, Бертольд сказал Франчке, остановившему машину на углу Мейер-Оттоштрассе.

— Еще минутку, Франчке, я жду Курта Баумана.

— Ладно,— сказал шофер Франчке. В шесть часов восемь минут Бертольд сказал:

— Еще одну минутку. Он сейчас придет.

— Пожалуйста, господин Бертольд,— сказал шофер Франчке.

В шесть пятнадцать Бертольд сказал:

— Поедем, Франчке.

— Мы могли бы обождать еще пять минут, господин Бертольд,— сказал шофер Франчке.

— Не стоит, Франчке, едем.— Бертольд старался говорить равнодушно.

— Не хотите ли сесть за руль, господин Бертольд?— спросил шофер Франчке немного погодя, подле самой Гедехтнискирхе. Он тоже старался говорить равнодушно, словно это был пустяк — предложить Бертольду управлять машиной в той части города, где было наиболее оживленное движение.

— Спасибо, Франчке,— сказал Бертольд.— Вы славный парень. Сегодня не надо.

Директор Франсуа сидел у себя дома, в своем постаромодному уютном, прокуренном, заваленном книгами кабинете. Перед ним лежала рукопись «Влияние античного гекзаметра на слог Клопштока». Сосредоточиться было нелегко, но до ужина оставалось добрых полчаса, и попытаться стоило. Он отдался во власть гекзаметров, и они понесли его как волны морские, утешая мерным ритмом его наболевшую душу.

Вдруг кто-то рванул дверь. Стремительно, развернутым фронтом, ворвалась в комнату Грозовая тучка. Ее мощная фигура в пышных складках халата надвигалась на тщедушного Франсуа. От рвущихся наружу словесных потоков у нее перехватило дыхание. Она безмолвно кинула на стол большой развернутый газетный лист, покрыв им рукопись, тома древних классиков, Клон-

пштока. Это был сегодняшний номер берлинского органа коричневых.

— Вот! — вымолвила ффрау Эмилия Франсуа и остановилась перед мужем, воплощение рока.

Франсуа стал читать. Это была статья о гимназии королевы Луизы. Школа эта, говорилось там, издавна являвшаяся питомником предателей родины, теперь окончательно разложилась. Ученик-еврей, многообещающий отпрыск пресловутой семьи Опперман, осмелился бессовестно поносить в школьном реферате, перед всем классом, Германа Освободителя. Преподавателю-националисту до сих пор не удалось притянуть этого молодчика к ответу. Под покровительством насквозь офранцузившегося директора гимназии, типичного представителя гнилой системы, дерзкий мальчишка-еврей продолжает благоденствовать в ореоле своего предательства. Когда же наконец национальное правительство положит предел этому чудовищному положению вещей?

Франсуа снял очки, сощурился. Он чувствовал себя очень несчастным.

— Ну? — угрожающе протянула Грозовая тучка.

— Какой ужасный язык, — пробормотал он наконец.

Лучше бы он этого не говорил, ибо эта фраза вывела наконец Грозовую тучку из оцепенения. Как? Человек погубил себя и семью своей вечной ффлегматичной нерешительностью, а теперь у него нет других доводов против своих обидчиков, кроме того, что они говорят на плохом немецком языке? Спятил он, что ли? Сегодня эту газету принесла ей швейцариха, а завтра ее принесут десятки друзей. Разве он не понимает, что он конченный человек? Со стыдом и позором его прогонят со службы. Еще вопрос, дадут ли ему теперь пенсию. Что же будет? На текущем счету у них двенадцать тысяч семьсот марок. Ценные бумаги стоят ниже номинала. Так что там не больше десяти тысяч двухсот марок. Чем же им жить: ему, ей и детям?

— Не этим ли? — она хлопнула рукой по рукописи, но удар пришелся только по газете.

Директор Франсуа ежился от непрекращающегося грохота. Безусловно, Грозовая тучка преувеличивает. Но ему, конечно, предстоят тяжелые часы, очень много

тяжелых часов. Бедный ученик Опперман. «Сердце, и это терпи: ты и так уже много терпело». Волны экзаметров вновь плескались вокруг него. Как хорошо было бы отдаться им.

Фрау Эмилия истолковала его молчание как упорство. Раздражение ее вспыхнуло с новой силой. В неистовом, бесконечном словоизвержении («громозвучном», подумал про себя подавленный Франсуа) изливала она свое возмущение. Завтра же, бушевала она, он должен поставить этого сопляка перед выбором: или он принесет извинение по всем правилам, или Франсуа с позором выгонит его из школы. Охотнее всего она сама бы пошла к отцу этого фрукта или к его дяде Густаву, к этому «замечательному» другу Франсуа. Где только были ее глаза, когда она выходила замуж за эту тряпку, за эту мокрую курицу. Франсуа молчал; какой смысл поднимать голос против бури. Остается только выждать, пока Грозовая тучка умолкнет. Устанет же она когда-нибудь. С каким удовольствием отказался бы он от ужина и улегся в постель.

Фрау Эмилия так его издергала, что удары следующего дня уже не произвели на него сильного впечатления. У. педеля Меллентина вызывающе торчала из кармана газета, газету держали в руках все преподаватели и ученики, попадавшиеся на пути Франсуа, она лежала в нескольких экземплярах на его письменном столе. И вот Франсуа сидит между бюстами Вольтера и Фридриха Великого. Поток грязи захлестнул его школу, разлился по всей стране. Он сам так забрызган этой грязью, что почти не замечает ее.

Очень скоро в директорский кабинет явился преподаватель Фогельзанг. Фогельзанг изменился. Лицо было неподвижным, как маска, зловеще приветливая улыбка исчезла. Он предстал перед Франсуа как победитель перед побежденным, как неумолимый мститель; невидимая сабля бряцала у него на боку. Так, подумал Франсуа, предстал, вероятно, перед римлянами варвар Бренн, при помощи обмана перетянувший в свою сторону чашу весов — бросив на нее победоносный меч.

Да, преподаватель Фогельзанг мог торжествовать, не таясь. Ему стало известно, что исход выборов предпре-

шен. Фюрер и его приближенные замыслили некое дело, — ему, Фогельзангу, сообщили об этом строго по секрету, но из вполне надежного источника, — огненное дело, которое при всех условиях превратит выборы в торжество националистской идеи. Преподавателю Фогельзангу незачем уже соблюдать осторожность ни в деле Риттерштега, ни в деле Оппермана. Потому-то он и вступил на путь гласности и теперь триумфатором предстал перед Франсуа.

Он долго копил этот триумф, отказывая себе в нем, а теперь он хочет испытать его до дна. Ни капли не уступит он противнику. Вот уже два месяца, со стальной твердостью заявил он покорно поникшему Франсуа, — нет, больше двух месяцев, — школа несет на себе этот позор. Но теперь довольно. Если ученик Опперман не принесет извинения в текущем месяце, то он, Фогельзанг, постарается, чтобы для этого ученика закрылись двери всех прусских школ. Он не понимает, как может директор Франсуа медлить столько времени, несмотря на частые и настойчивые напоминания. И вот наконец парыв прорвался, вся школа замарана.

Выпрямившись, стоял торжествующий наставник между бюстами Вольтера и Фридриха Великого. «В текущем месяце? — думал Франсуа. — Но в феврале всего двадцать восемь дней. Как он квакает. По сравнению с его кваканьем громыханье Грозовой тучки моцартовская опера. Брекекекс, коукс, коукс. Его воротничок стал еще на полсантиметра ниже. Он приспособляется. Варвары в Риме тоже приспособлялись».

— Не хотите ли присесть, коллега? — спрашивает он.

Но Фогельзанг не хочет садиться.

— Я вынужден просить у вас ясного, недвусмысленного ответа, господин директор, — требует он, бряцая саблей. — Намерены ли вы поставить ученика Оппермана в известность, что, если до первого марта он не отречется от дерзких утверждений в своем докладе, он будет исключен?

— Мне не совсем ясно, — с мягкой иронией говорит Франсуа, — чего вы, в сущности, хотите, коллега. То вы говорите об извинении, то об отречении от сказанного.

И как вы технически представляете себе это? Здесь ли, в кабинете, должен просить извинения Опперман, или в классе, в присутствии товарищей?

Фогельзанг отступил на шаг.

— Извинение? Отречение от сказанного? — Разгневанный, он стоял как собственное извятие. — И то и другое, само собой, — диктовал он. — Мне кажется, господин директор, что правильнее всего будет, если при создавшемся положении вы предоставите мне наметить форму, в которую должно вылиться наказание.

«Мститель за Арминия Германца, — думал Франсуа. — Этого Херуск уж никак не заслужил».

— Хорошо, коллега, — сказал он. — Я поговорю с Опперманом. Он попросит извинения и отречется от своих слов. Только одно я должен себе выговорить: редакцию его заявления. Я допускаю, что у Оппермана есть недостатки, но стилист он неплохой. Несомненно, и вы успели заметить это, коллега?

Что это, насмешка? Бернд Фогельзанг вспомнил день, когда он впервые потребовал от Франсуа ответа по поводу Оппермана, вспомнил, как нагло говорил тогда Франсуа о немецком языке фюрера. Стилистические упражнения? Пожалуйста. Что ему остается, кроме этой капли иронии? Бедненько, господин директор. Он, Бернд Фогельзанг, сумеет превратить унижение строптивного ученика в великолепное, внушительное зрелище. Все увидят, как он изгонит из этих стен дух разложения. Пусть директор Франсуа прячется за своей жалкой иронией: он, Бернд Фогельзанг, действует.

За последние недели директору Франсуа пришлось пережить много нового, много горького. «Кулак судьбы открыл ему глаза», по выражению фюрера. А за последние часы на него обрушилось столько испытаний, что ему казалось, будто отныне ничто уже не может его взволновать. Но теперь, ожидая ученика Оппермана, он понял, что ошибся, самое тяжкое только предстояло.

— Садитесь, Опперман, — сказал он вошедшему Бертольд. — Вы прочли у Деблина то, что я рекомендовал вам?

— Да, господин директор.



— Хорошая проза, не правда ли? — спросил Франсуа.

— Чудесная, — ответил Бертольд.

— Да, вот что, — говорит Франсуа, стараясь не глядеть в смелые серые глаза. — Мне не легко, Опперман, мне чертовски трудно. Но вы сами знаете, что дело не осталось без последствий. Я вынужден, к сожалению, поставить вас перед выбором... — Франсуа засопел, не договорил до конца.

Бертольд, конечно, знает, о чем речь. Если бы он присутствовал здесь как непричастное лицо, он со свойственной ему объективностью разглядел бы муку на лице Франсуа. Но, сам преисполненный горечи, он не собирается щадить Франсуа.

— Перед каким выбором, господин директор? — спрашивает он и заставляет Франсуа взглянуть ему прямо в глаза.

— Я вынужден просить вас, — все еще затрудненно дыша, говорит Франсуа, — извиниться за ваше высказывание в докладе и отречься от него. Иначе, — Франсуа пытается перейти на сухой официальный тон, — иначе я вынужден буду исключить вас. — Он видит горечь и печаль на лице юноши. Он должен оправдаться перед ним. Это самое важное. — Скажу вам по совести, Опперман, — торопливо добавляет он, — мне бы очень хотелось, чтобы вы извинились. Мне было бы крайне тяжело исключать одного из моих любимейших учеников. Любимейшего, — поправляется он.

Он встает. Бертольд тоже хочет встать. Но Франсуа удерживает его.

— Сидите, сидите, Опперман, — говорит он.

Он мечется между бюстами Вольтера и Фридриха Великого. Потом вдруг останавливается перед Бертольдом, резко меняет тон и обращается к нему как мужчина к мужчине:

— Мое собственное положение под угрозой. Поймите же, Опперман, у меня жена и дети.

Бертольд, как ни больно ему, не может не заметить, что и собеседнику его не легче. Но у него нет времени для сострадания. «Мне тоже приходится многое делать, что мне не по душе», — вспоминается ему непривычно

желчный, ворчливый голос отца. «Мы все становимся скотами. Эти времена всех нас превратят в скотов и негодяев», — думает он.

— Мы читали Геббеля, — говорит он наконец медленно, как бы обдумывая каждое слово, — «Гиг и его кольцо». Доктор Гейнциус сказал нам, что у Геббеля одна только тема: оскорбленное человеческое достоинство. *Laesa humanitas*. Потом я читал еще «Ирода и Мариамну». Просто для себя. Мариамна могла спасти свою жизнь, если бы заговорила. Но она не говорит. Она не защищается. Она скорее откусит себе язык. Доктор Гейнциус очень ясно растолковал нам, что такое *laesa humanitas*. Разве человеческое достоинство было только у древних королей? А я мразь, что ли? По-вашему, вы все можете топтать меня, потому что мне семнадцать лет, а вам пятьдесят или шестьдесят? Кстати, Мариамна еврейка, господин директор. Прочтите мою рукопись, господин директор. Это был хороший доклад. Доктор Гейнциус остался бы им доволен. Неужели я стал плохим пемцем оттого, что доктор Гейнциус попал под колеса автомобиля? Он никогда не прерывал учеников. Он всегда позволял им договорить до конца. Я не помню уже точно, господин директор, что я тогда сказал, знаю только: это было верно. Я читал Момзена, Дессау, Зеэка. Почему вы несправедливы ко мне, господин директор?

Франсуа внимательно слушает. Какой умный, благородный мальчик. Он действительно любимейший его ученик. Чего только не пришлось ему пережить за эти несколько недель. Каково было ему сидеть все это время перед зловредным идиотом Фогельзангом, среди товарищей, жестоких молодых глупцов? Что он может ответить мальчику? С величайшей радостью он подписался бы под каждым его словом. Обеими руками. Чистосердечно он мог бы сказать ему только одно: «Да, да, вы правы, Опперман. Не делайте этого. Не отрекайтесь от своих слов. Уходите из моей школы. Она стала плохой, глупой школой, в которой можно научиться только вздору и лжи».

Он открывает рот, но вдруг замечает, что стоит под бюстом Вольтера. Ему становится стыдно, и он возвра-

щается к письменному столу. Садится в кресло, маленький, старый.

— Когда вы читали свой реферат, Опперман, вы были правы. Но за время, истекшее с того дня, многое, к сожалению, изменилось. Немало из того, что тогда было правдой, я вынужден сегодня назвать ложью.— Он попытался улыбнуться.— Нам многое придется заново переучить. Вы-то молоды, Опперман. А мне чертовски трудно переучиваться.— Он встал, почти вплотную подошел к Бертольду, положил руку ему на плечо. Сказал робко, тоном униженной просьбы: — Вы извинитесь, Опперман, да? — И тут же, испугавшись ответа, прибавил: — Не отвечайте мне сейчас. Подумайте сначала. Я могу подождать до понедельника. Напишите или позвоните мне по телефону, как хотите.

Бертольд поднялся. Франсуа видел, как он взволнован разговором.

— Не принимайте всего этого слишком близко к сердцу, Опперман,— сказал он. Потом добавил, не без усилия: — И забудьте, пожалуйста, мои последние слова. Они продиктованы,— он искал определения,— целесообразностью. У вас большое преимущество, Опперман: как бы вы ни поступили, вы всегда будете правы.

Разговор с Франсуа как громом поразил Бертольда. Правда, для него, Бертольда, ничего неожиданного в нем не было, но теперь, так сказать, официально предъявлено обвинение в антинемецком, антипатриотическом поступке. Он ничего не понимал. Разве сказать правду — это антинемецкий поступок? Каких-нибудь два-три месяца назад никто бы не усомнился в том, что он немец. Он чувствовал себя немцем в гораздо более глубоком значении этого слова, чем многие его товарищи. Он полон немецкой музыки, немецких слов, немецких мыслей, немецких пейзажей. Никогда за семнадцать лет своей жизни он иного не видел, не слышал, не воспринимал. И вдруг оказывается, что он не смеет так чувствовать, что он уже по рождению своему чужак. Почему? Отчего? Если не он, то кто же тогда истинный немец?

Но какой смысл задаваться общими вопросами? Сегодня суббота, половина четвертого. До завтрашнего вечера он должен принять решение. Как же ему быть? Отречься?

Хоть бы кто-нибудь помог ему. Есть же такие слова, которые вразумят его, такой ясный довод, который сразу рассеет сомнения. К отцу он пойти не может. У того свои тяжкие испытания. Не требовать же от отца, чтобы он давал советы, наперекор собственным интересам. И от матери не станет он требовать, чтобы она шла против отца.

Он носится по улицам большого города Берлина. Сухо, не холодно, приятно ходить. Он высок и строен, лицо у него похудело, удлинённые серые глаза смотрят мрачно, озабоченно, он поглощён своей горечью. Многие оглядываются на него, особенно женщины. Он красивый юноша. Но он не замечает ничьих взглядов.

Вдруг его осеняет счастливая мысль. Как же он до сих пор не подумал об этом? Он едет к дяде Ранцову.

— Алло, Бертольд, — встречает его несколько удивленно директор департамента Ранцов. За последние дни Бертольд научился гораздо лучше разбираться в людях. Он сразу видит, что дядя Иоахим связывает его посещение со вчерашней статьей в националистском органе и что он быстро и напряженно соображает, как ему говорить с Бертольдом.

Прежде всего дядя Иоахим наливает ему, как обычно, рюмку крепкой водки. Бертольд сухо, без всякой сентиментальности, рассказывает, что с ним произошло.

— Мне нужен разумный совет, — говорит он. — Как бы ты, дядя Иоахим, поступил на моем месте?

В другое время директор департамента Ранцов, несомненно, разглядел бы сквозь сухость тона Бертольда, как тяжко мальчику, и постарался бы поглубже заглянуть ему в душу. Но, к сожалению, в эти дни он был занят собой, вероятно, не менее, чем Опперман. Влиятельные друзья советовали ему поскорее порвать личные связи с левыми подчиненными, дни которых сочтены. Но Иоахим Ранцов не желал оскорблять своих

подчиненных, которых он за многолетнюю совместную службу привык считать способными и надежными людьми, хотя бы они и стояли в проскрипционном списке. Друзья убеждали его, настаивали. Они никак не могли понять, как это он до сих пор поддерживает личную дружбу со столь неугодным новому правительству лицом, как министерский советник Фрезе, старый член социал-демократической партии. Уже и без того родство с еврейской семьей, да еще такой заметной, как Опперман, являлось плохой рекомендацией для высокопоставленного чиновника. Почему же он, Ранцов, хотя бы не снизит по служебной лестнице этого обреченного Фрезе? Всякий более или менее видный чиновник поступает подобным образом, стараясь зарекомендовать себя в глазах нового правительства. Но Иоахим Ранцов не был способен на такую беспринципность. Его терзало, что в нынешние времена так трудно быть прусским чиновником, оставаясь в то же время порядочным человеком.

В таком состоянии застал Бертольд дядю Иоахима. Дело мальчика чрезвычайно неприятно. Чем скорее оно уладится, тем лучше для всей семьи. Хорошо, что мальчик сам, видимо, разумно относится к этой истории.

— Я полагаю,— сказал Ранцов,— что тебе следует дать требуемое объяснение.— Он говорил, как всегда, ровно, ясно, без обиняков. Бертольд посмотрел на него с некоторым замешательством. Его удивило, что у дяди так быстро сложилось решение. От Ранцова не ускользнуло недоумение в глазах племянника. Он в самом деле немножко поторопился.

— В конце концов,— попытался он обосновать свое мнение,— формально ты ведь был действительно не прав.

Бертольд вспомнил прекрасные, несколько туманные слова, сказанные в свое время дядей Иоахимом об Армии Германце. Для него, Бертольда, дядя находит только сухие, холодные слова. Очевидно, дядя не хочет понять, как все это важно для него.

— Ведь они злостным образом исказили мою мысль,— говорит он,— меня заставляют отказаться от

того, чего я вовсе не утверждал. Слава Германа, миф о Германе. Я помню все, что ты мне тогда объяснял, дядя Иоахим. Лучше мне никто не говорил о Германе, и я хорошо все усвоил. Именно к этому я и вел в своем докладе. Но прежде чем прийти к выводу, должен же я был сначала изложить факты, исторические факты, и изложить их предельно ясно. Я утверждал только то, что всякий найдет у Момзена и Дессау. Неужели я должен теперь пойти туда и признать, что я плохой немец, потому что я сказал правду?

Иоахим Ранцов нервничал, терял терпение. Сначала мальчик казался благоразумным, а теперь он выдумывает всякие затруднения. У Лизелотты и без того достаточно забот. У них у всех теперь не оберешься забот. А тут еще эта история. Из-за кого? Из-за Германа Херуска.

— Боже мой,— сказал он с несвойственным ему легкомыслием.— Неужели же у тебя нет других забот? И какое тебе в конце концов дело до Германа Херуска?

Но тут же пожалел о сказанном. Бертольд побледнел еще сильнее, схватил рюмку, неловко опрокинул ее в рот, поставил на стол. Схватил снова и допил все до последней капли. Только теперь Ранцов заметил, какой больной, измученный вид у мальчика.

— Но тебе-то, дядя Иоахим, есть до него дело?— Губы у него горько сжались, он посмотрел на Ранцова запальчиво, осуждающе.

Иоахим Ранцов отрицательно махнул длинной рукой, словно перечеркивая фразу. Хотел что-то сказать. Да что там, в самом деле: разве он обязан отдавать отчет мальчику?

Но Бертольд, не дожидаясь ответа, продолжал:

— Ты думаешь, что мне нет дела до Германа, потому что во мне течет еврейская кровь? Ведь ты это хотел сказать, правда?

— Не мели вздора,— не на шутку рассердился Ранцов.— Выпей лучше еще рюмку.

— Благодарю,— сказал Бертольд.— Какой же другой смысл мог быть вложен в твои слова? — настойчиво повторил он.

— Я сказал то, что думаю, ни больше, ни меньше,— резко возразил Ранцов.— Я серьезно запрещаю тебе, Бертольд, приписывать мне такие нелепые мысли.

Бертольд пожал плечами.

— Ты, конечно, прав, дядя: ты не обязан отчитываться передо мной.

В его голосе прозвучала такая боль и такое ожесточение, что Иоахим Ранцов, забыв о собственных трудностях, принялся горячо успокаивать племянника, которого любил.

— Твоя мать не поняла бы тебя, Бертольд. Возможно, что я не очень удачно выразил свою мысль. У всех у нас теперь голова кругом идет от всяких забот. Но как ты мог подумать, что я способен сказать что-либо подобное, совершенно не постигаю.

Бертольд несколько раз кивнул массивной головой, точъ-в-точъ как иногда делал его отец. Столько скорби было в выражении его как-то сразу повзрослевшего лица, что Ранцову стало жаль мальчика.

— Будь благоразумен, Бертольд,— сказал он тоном просьбы и извинения.— Послушайся доброго совета. Человеку в пятьдесят лет нелегко решить, как бы он поступил на твоём месте. Когда мне было столько лет, сколько тебе сейчас, времена были другие. В те времена, говорю прямо, я бы на твоём месте не стал отрекаться от своих слов. А теперь, будь я на твоём месте, я уверен или, чтобы не солгать, почти уверен, что отрёкся бы. Для тебя и для всех нас будет лучше, если ты это сделаешь.

Как только Бертольд ушел, Ранцов позвонил сестре. Он вкратце рассказал Лизелотте о разговоре с Бертольдом и честно признал, что был не на высоте. По его мнению, Бертольд воспринимает положение трагичнее, чем оно есть. Пусть Лизелотта попытается повлиять на мальчика.

Но Иоахим Ранцов говорил не с той Лизелоттой, которую знал. От прежней Лизелотты ничего не осталось. Иоахим непременно должен прийти, настойчиво просила она, она нуждается в поддержке. Целые дни ей приходится разыгрывать перед мужем и сыном непоколебимый оптимизм. Она не может больше. Ей беско-

нечно стыдно перед обоими за то, что она немка. Она так устала, жаловалась Лизелотта, ей необходимо излить перед кем-нибудь душу.

Ранцов взял себя в руки. Он ласково утешал сестру, находил слова, которые ему самому казались почти правдивыми. Он жестоко раскаивался в том, что в присутствии мальчика дал на мгновение волю своим нервам. Нельзя себе этого позволять. Даже на мгновение нельзя распускаться. Бедняжка Лизелотта целыми днями должна изображать балет на тонущем корабле. Ему на каких-нибудь двадцать минут нужно было овладеть собой, да и то он сплеховал.

Он поджал тонкие губы. Позвонил опальному, обреченному советнику Фрезе и пригласил его поужинать с ним вечером у Кемпинского, где их, безусловно, увидят.

А Бертольд тем временем снова носился по улицам большого города Берлина. Наступил вечер, похолодало. Вспыхнули первые огни витрин, первые световые рекламы, фары отдельных автомобилей, но улицы еще не осветились. Бертольд и сам не знал, почему он не сел в трамвай или в подземку. Он шел и шел, очень быстро, будто по срочному делу. В воскресенье, через неделю, выборы. Улицы полны народа, повсюду антиеврейские плакаты и коричневые рубашки ландскнехтов. Как ни торопился Бертольд, он все-таки всматривался в прохожих, заглядывал в сотни лиц, ярко и необычайно быстро запечатлевая их. Но внезапно, когда на его взгляд кто-то ответил взглядом в упор, ему пришло в голову, что, несомненно, эти тысячи людей, снующие по улицам, читали статью о нем. Им овладел безотчетный страх, ему почудилось, что на него могут напасть, убить его, убить предательски, из-за угла, как Долговязый заколол редактора Карпера.

Но домой ему все-таки не хотелось. Он продолжал почти бегом носиться по улицам, машинально, без цели. Какое ему дело до Германии, ему, еврейскому юноше? Ничего другого дядя Иоахим не мог иметь в виду, если думать, что слова имеют смысл. А уж если такой глубоко порядочный и умный человек, как дядя Иоахим, не считает его немцем, то, значит, Фогельзанг не просто зловердный идиот.



Домой он вернулся очень поздно, его уже ждали с ужином. Лизелотта сказала ему, что после обеда пришла Рут с дядей Эдгаром. Рут очень жалела, что не застала его. В общем, ужин прошел молчаливо и тяжело. Больше всех говорила Лизелотта. Она говорила о музыке, о концертах в филармонии. Обычно Бертольд ходил на генеральные репетиции в воскресенье утром, а Лизелотта с Мартином посещали самый концерт в понедельник вечером. Завтра утром генеральная репетиция Четвертой симфонии Брамса и его же скрипичного концерта. Дирижирует Фуртвенглер, солист Карл Флеш. Бертольд сомневался, удастся ли ему пойти завтра, у него много дел. И Мартин пока не может сказать, будет ли он свободен в понедельник вечером.

Бертольд думал, что вот ведь какие к нему предъявляют требования. А отчего бы не раскрыть рот и не поговорить с ним еще раз. Сначала горячатся и кричат на него, а потом играют с ним в молчанку.

— Четвертая симфония, — говорит Лизелотта, — это е-мольная. В скрипичном концерте очень хорошая первая фраза.

Бертольд сидит и ждет: неужели отец не заговорит? Но тот молчит. Бертольд возмущен.

Он вздохнул с облегчением, когда ужин наконец кончился. Бертольд любил порядок. Но в этот вечер в тишине своей комнаты он не стал аккуратно складывать платье, как делал это всегда. Он свалился на постель и уже в полусне услышал, как на улице, протяжно завизжав, затормозил автобус; он заснул крепко, глубоко.

Он спал очень долго. Проснулся в половине девятого. С трудом пришел в себя. Так поздно он уже давно не вставал. Но ничего, сегодня воскресенье. Что у него за дела сегодня? Ах, да, письмо к Франсуа.

Но, сегодня он хорошо выспался, голова свежая. Он принял душ, до того холодный, что дух захватило. Растирая покрасневшую кожу, он уже твердо знал, что напишет директору Франсуа. Он напишет, что, всесторонне обдумав все, решил ни под каким видом не отрекаться от своих слов.

Он позавтракал с большим аппетитом. Идти ли в филармонию? Он мало знает Брамса. Но то, что он

слышал, запомнилось. Он старается вспомнить мелодию из одной брамсовской вещи. Это ему удастся. Он доволен.

Прежде всего, позвонить Рут. Ему досадно, что они разминулись вчера. Он предложит ей пойти после обеда погулять. И филармония и Рут, то и другое он не может себе позволить. У него еще математика. От концерта придется отказаться. Он звонит Рут. Уславливается с ней.

Когда он садится за математику, приходит Генрих. Генрих мнетя немного, а потом приступает к разговору. Вот что, ему хотелось бы еще разок потолковать с Бертольдом об этой дурацкой фогельзанговской истории.

— Пожалуйста,— вежливо говорит Бертольд и внимательно смотрит на брата. Тот ищет наиболее неподходящее место, где бы сесть. Не найдя ничего, кроме стола, он садится на него и начинает попеременно выбрасывать то одну, то другую ногу.

— Если бы историк Дессау,— начинает Генрих,— заявил теперь, что, вопреки своему прежнему мнению, он убедился, что истинной причиной гибели Рима является битва в Тевтобургском лесу, то это имело бы какое-то значение. Но если бы ты, или я, или доктор Фогельзанг, или мой отец заявил нечто подобное, это прозвучало бы просто комично.— Он указал на раскрытую тетрадь Бертольда с математическими задачами.— Если бы директор Франсуа потребовал сегодня, чтобы я, под угрозой исключения из гимназии, официально напечатал в газетах, что уравнение  $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$  неверно и оскорбительно для немецкой чести, я, не задумываясь, пошел бы и сделал это. С наслаждением.

Бертольд задумчиво слушал. Потом ответил медленно, веско:

— Ты, конечно, прав, Генрих. Факты не изменятся оттого, отрекусь я от своих слов или нет. С твоей стороны очень хорошо, что ты еще раз пришел поговорить со мной об этом. Но, видишь ли, дело давно уже не в Тевтобургском лесу, и не в Германе, и не в Фогельзанге, и не в моем отце: дело исключительно во мне. Я не могу как следует объяснить тебе, но это так.

Геприх смутно улавливал, что хотел сказать Бертольд. Он знал, что его доводы логичнее, но что прав вместе с тем не он, а Бертольд. В нем поднялась волна горячего гнева против идиотов, поставивших Бертольда в такое положение, и горячей любви к Бертольду.

— Вздор,— грубо сказал он. Его бесило то, что он не может помочь другу.

Домой он пришел все в том же состоянии. Его свежее юношеское лицо потемнело от злобы. Он ругал себя отборнейшими ругательствами, немецкими и английскими, за то, что не сумел образумить Бертольда. Правду сказать, в глубине души он и не хотел этого. Бертольд попросту сделан из другого теста и по-своему прав. Обычно рассудительный, Генрих задыхался от яростного слепого возмущения. Он сел к столу и написал прокурору. Ясно и подробно изложил все, что говорил ему Вернер Риттерштег до того, как пырнул Карпера ножом в живот. Закончив письмо, он немного успокоился. Ему казалось, что он выполнил какое-то обязательство по отношению к Бертольду.

После обеда Бертольд и Рут пошли гулять. Погода была отвратительная, шел дождь со снегом, но, занятые горячим спором, они ничего не замечали. Как и все, Рут Опперман видела, что Бертольд за последнее время очень повзрослел, его мясистое лицо осунулось, смелые серые глаза не улыбались. С удвоенной энергией набрасывалась она на него:

— Чего ты бьешься в этой Германии, как рыба об лед? Обидно за тебя. Твое место не здесь.

Позднее, когда погода стала совсем несносной, они зашли в маленькое кафе. Промокшие до нитки, уселись там среди разряженных по-воскресному обывателей. Заметила ли она, спросил Бертольд, как в связи с последними событиями постарел его отец? Рут, хотя и вполголоса, но с обычной резкостью напала на отцов.

— Наши отцы отжили свой век. Нам нет дела до них, они не имеют на нас никаких прав. Кто виноват во всем? Только они. Они затеяли войну. Ничего лучшего они не придумали. Вместо своей подлинной родины они выбрали себе более удобную родину. Мой отец высоко-

порядочный человек и отличный ученый. Твой старик, пожалуй, тоже первый сорт. Но нельзя поддаваться личным симпатиям. Брось ты всю эту здешнюю канитель. Зовись своим настоящим именем: Борух, как звали Спинозу, а не дурацким именем Бертольд, как звали изобретателя пороха. Видишь ли, в этом вся разница. Одни открыли порох — другие социальный закон. Уезжай в Палестину, наше место там.

В переполненном помещении пахло дешевыми кушаньями и мокрым платьем. В воздухе стояли шум и дым. Бертольд и Рут ни на что не обращали внимания. Бертольду нравились пылкость девушки, ее решительность, ее цельность. Он находил ее красивой. И то, что она говорила, тоже вдруг перестало ему казаться бессмыслицей. В самом деле: почему Палестина менее близка ему, чем Германия? Германия изгоняет его, а эта страна готова стать его родиной.

Но когда он распрощался с Рут и один пошел домой, он почувствовал, что доводы ее сразу поблекли. Он подумал о дяде Иоахиме, о светлом лице блондинки-матери, о ее удлинненных серых глазах, которые он унаследовал. Нет, сыну такой матери, племяннику такого дяди Ранцова место не в Палестине. Его место здесь, в этой стране. Ему близки ее сосны, ее ветер, ее слякоть из дождя и снега, ее медлительные, вдумчивые, положительные люди, ее ум и безумие, ее Брамс, и Бетховен, и Гете.

Да, его место в Германии. Но эта безумная страна требует, чтобы он заплатил за право считаться ее сыном чем-то антинемецким, недостойным. Нет, он и не подумает это сделать.

Сейчас половина седьмого. Завтра утром, с первой почтой, Франсуа ждет от него письма с согласием взять свои слова назад. Если он не напишет вовсе, это тоже будет ответом. Вот ближайший к дому почтовый ящик. Когда последняя выемка корреспонденции? В девять сорок. Значит, если он до девяти часов сорока минут не опустит письма в ящик, то он хороший немец, а его объявят плохим немцем. Если же он письмо опустит, то его объявят хорошим немцем, но на самом деле он будет тогда плохим немцем.

Он приходит домой. Еще один мучительный молчаливый ужин. Нечего и думать, что он кончится раньше девяти. И сегодня Бертольд ждет, чтоб отец заговорил. Тщетно. Он всматривается в лицо матери, более замкнутое и не такое светлое, как обычно. Для Бертольда нет выхода. Он не может покинуть эту страну. Если эта страна требует, чтобы он совершил подлость, он должен ее совершить.

Ужин кончился в начале десятого. Как ни молчаливо и тоскливо он тянулся, все трое задержались еще немного за уже убраннным столом. Бертольд хотел встать, но его словно что-то сковало, он все еще ждал. И действительно, отец заговорил.

— Кстати, Бертольд,— сказал он со странной легкостью,— ты что-нибудь предпринял по этому делу с преподавателем Фогельзангом?

— Я должен был не позднее завтрашнего утра сообщить директору, согласен ли я извиниться. Но я не написал. Теперь, пожалуй, уже поздно, писем вынимать больше не будут.

Мартин посмотрел на него задумчивым, ласковым, тяжелым взглядом тусклых глаз.

— Ты бы мог отправить спешное письмо.

Бертольд задумался. Казалось, его занимает лишь вопрос о технической возможности своевременной доставки письма.

— Да, это верно,— сказал он.

Он пожелал родителям спокойной ночи и ушел к себе в комнату. Написал директору Франсуа, что готов взять свои слова обратно. Сделал на конверте надпись: «С нарочным». Сам отнес письмо и опустил его в ящик.

Гимназисты держали пари, отречется Бертольд от своих слов или нет. Число голосов «за» было 5 : 1. Они сторали от любопытства. Но спросить Бертольда, как обстоит дело, они не решались. В понедельник утром, на первой перемене, Бертольд сидел один на своей парте. Многие не прочь были бы пройтись на его счет, но под угрожающим взглядом Генриха мальчишки подчеркнуто весело болтали о безразличных вещах. Неожиданно к Бертольду подошел Курт Бауман. Его юношески круглое лицо было красно, голос звучал не совсем твердо.

— На днях мы с тобой улаживались, Бертольд,— сказал он.— Но я ошибся днем. Мне казалось, мы говорили о пятнице.— Надо было обладать мужеством, чтобы под пристальными взглядами всего класса заговорить с Бертольдом.

— Нет, разговор шел о вторнике, Курт. Но это пустяки.— Бертольда обрадовало поведение Курта.

— Это было глупейшее недоразумение,— горячо повторил Курт Бауман. К ним подошел Генрих Лавендель. Всю перемену они провели втроем, весело болтая об автомобилях.

— Нет, спасибо, Шлютер,— сказал Густав,— оставьте все, как есть.

Он сидел в полумраке: горела лишь неявная настольная лампа; газета, которую он только что читал, лежала у него на коленях. Как только Шлютер вышел, он встал, резко отодвинул тяжелое кресло, забежал из угла в угол. Лицо его еще больше нахмурилось, он слегка заскрежетал зубами.

Как ни нелепы эти направленные против него газетные статьи, даром для него они не прошли. Многие его знакомые по гольф-клубу, по театральному клубу, когда он с ними заговаривает, очень натянуто отвечают ему и ищут предлога как можно скорее оборвать разговор. Даже любезнейший доктор Дорпман из издательства «Минерва» чертовски холодно разговаривал, когда он вчера позвонил ему. Густав убежден, что теперь издательство не заключило бы с ним договора на биографию Лессинга. Иногда его подмывает попросту взять да бросить Берлин, уехать.

«Ниже двадцати девяти градусов ртуть в наших местах не опускается»,— сказал он своему племяннику Бертольду. Дешевое, пустое утешение. Теперь, когда его Берлин стал внезапно холодным и мрачным, когда приветливое, родное лицо города превратилось в злую маску, он чувствует всю ничтожность этой сентенции. Друзья, с которыми, казалось, он был связан, ускользают от него. С каждым днем редет их круг. То, что представлялось ему прочным, долговечным, рассыпается

при одном его прикосновении. Свидетель бог, он не трус, он доказал это на войне, доказывал не раз и в иных случаях. Но теперь ему иногда кажется, что весь огромный город готов обрушиться на него и задавить своей громадой. В такие минуты его охватывает почти животный страх.

До чего гнусно одиночество, когда так гложет разочарование и беспомощная ярость. Вот уже почти три недели, как он не встречался с Мюльгеймом. Мюльгейм был прав, рассердившись тогда на него. Все были правы, к сожалению; все вовремя почуяли смыкающийся круг ненависти. Один он, слепой, глухой, наивный, как Зигфрид, бродил среди врагов. Какую пустозвонную патристическую чушь нес он, когда Франсуа пришел к нему по поводу Бертольда. Его, Густава, наверно, все считали совершенным идиотом. Неужели мальчик должен пойти на исключение из гимназии? Ради того только, чтобы он, Густав, мог с удовольствием сказать себе: хотя бы один в нашей семье изображает собой хрестоматийного героя?

Нет, Мюльгейм прав, чувствуя себя обиженным. Все, что он советовал ему, правильно, Мюльгейм из кожи лез, стараясь образумить его. А он вместо того, чтобы сказать Мюльгейму спасибо, порол какой-то патетический вздор, орал на него. Просто безумие, что он так затянул разговор с Мюльгеймом и до сих пор не уладил все.

Он снимает телефонную трубку, звонит Мюльгейму. У аппарата слуга Мюльгейма. Нет, господина профессора нет дома, его нет и в конторе, к ужину он не вернется; нет, он не сказал, куда ему можно звонить. Конечно, ему передадут, что господин доктор звонил. Густав кладет трубку. Гнев его выдыхается, сменяется щемящей тоской. Вот нет Мюльгейма, и, значит, не с кем поговорить о том, что гнетет. Сибилла? Конечно, Сибилла не безучастна, она старается понять те ужасные перемены, которые совершаются вокруг него. Но ее самое это едва ли задевает, а сытый голодного не разумеет. И снова он больно чувствует, что Сибилла всегда остается где-то на периферии его существования. Ну, а Гутветтер? Ах, господи ты боже мой, уж этого

нельзя упрекнуть в неискренности. Но он мыслит в таких масштабах, такими отдаленными перспективами, что маленькой человеческой личности от этого ни тепло ни холодно.

Анна? Она бы его поняла. Следовало бы съездить к ней в Штутгарт, чтобы как следует отвести душу. Да, это самое правильное, он так и сделает. Он напишет ей, напишет сейчас же, что приедет и почему он хочет ее видеть.

Он включает полный свет. Начинает писать. Но в ярком свете все воспринимается иначе. Анна, безусловно, сочтет сентиментальностью, мальчишеством его желание приехать в Штутгарт только затем, чтобы излить перед ней свои беспредметные чувства. В сущности, он и сам видит, что это сентиментально. Но уж раз он решил написать... И он продолжает письмо. Перечитывает первую страницу. Нехорошо. Какой-то фальшиво-иронический, судорожно-легкий тон. Нет, Анне так писать нельзя. И он рвет написанное.

Садится работать. Ничего не выходит. Берет в руки книгу и тут же откладывает ее. Перед ним скучный нескончаемый вечер. Чтобы как-нибудь скоротать его, он отправляется в театральный клуб.

С ним вежливы, но болезненная настороженность заставляет его повсюду и во всем видеть недружелюбие. Он поужинал в одиночестве и уже собирался домой, но в эту минуту к нему подошел известный театральный деятель, профессор Эркнер, и пригласил его на партию экарте. Густав, довольный возможностью отвлечься, играл сначала с увлечением. Но очень скоро остыл. Мюльгейм, биография Лессинга, Анна встают между ним и картами. Он нервно мигает, начинает играть рассеянно. И партнер его, профессор Эркнер, играет рассеянно: «Берлинский театр», всего два года назад считавшийся лучшим в Европе, с успехом нацистского движения пришел в упадок. А если фашисты возьмут власть, тогда, думает профессор Эркнер, театральному искусству вообще конец. Таким образом, и у партнера Густава не меньше оснований для рассеянности. Кончив играть, Густав с удивлением увидел, что он в крупном выигрыше.



Он сунул деньги в карман, все так же рассеянно. Пообещал профессору Эркиеру дать ему в один из ближайших вечеров возможность отыгаться. Взглянул туда, где фон Рохлиц беседовал в кругу нескольких знакомых, напряженно ожидая, остановит ли его Рохлиц, когда он пройдет мимо, перебросится ли с ним, по обыкновению, несколькими фразами. Фон Рохлиц кивнул ему, сказал: «Привет, Опперман!» — и продолжал разговор, не остановив Густава. Густав, глядя прямо перед собой, пошел к выходу твердым, не очень быстрым шагом, ступая на всю ногу. С ним вежливо раскланивались, но никто не обнаружил желания остановить его.

Он шел, не поворачивая головы. У дверей игорного зала стоял старый капельдинер Жан. Он ожидал от Густава обычной пятимарковой бумажки. Густав рассеянно прошел мимо и даже не кивнул ему. Старик оторопел от неожиданности. Прошло, наверно, с полминуты, пока к нему вернулось обычное его сдержанное достоинство.

В эту ночь с понедельника на вторник, в четвертом часу, Густава разбудил телефон, стоявший на ночном столике, рядом с кроватью. Из трубки донесся голос Мюльгейма. Мюльгейму необходимо повидать его сейчас же, безотлагательно. По телефону сказать, в чем дело, он не может. Через двадцать минут он будет у Густава.

Густав, встревоженный, невыспавшийся, накиннул на себя черный халат, прополоскал сухой рот. Что случилось? Голос Мюльгейма трудно было узнать. Густав несколько раз нервно поморгал. Слегка болела голова, в желудке было какое-то неприятное ощущение.

Наконец Мюльгейм явился. Шоферу такси он велел ждать. Не успев войти в дом, — Густав сам открыл ему, — Мюльгейм сказал:

— Горит рейхстаг.

— Что такое? — переспросил Густав. — Горит рейхстаг?

Он ничего не понимал. Из-за этого Мюльгейм под-

нял его с постели? С нетерпением ждал он пояснений Мюльгейма.

Прошла целая вечность, пока Мюльгейм снял пальто и вошел в кабинет. Наконец они уселись друг против друга. Густав включил верхний свет, он был чересчур ярок. И в этом резком свете ему бросилось в глаза, что Мюльгейм небрит и лицо его как-то особенно помято. Обычно его многочисленные морщинки создавали впечатление нарочитой маски, сегодня же они делали его лицо старым, изможденным.

— Ты должен уехать, — сказал Мюльгейм. — За границу. Немедленно. Завтра же.

Густав вскочил. Он оторопело выпучил глаза, открыл рот; кисть небрежно завязанного шнура волочилась по полу.

— Что? — спросил он.

— Горит рейхстаг, — повторил Мюльгейм. — В экстренном выпуске они заявляют, что поджог совершен коммунистами. Это, конечно, вздор. Они подожгли сами. Им нужен предлог, чтобы запретить коммунистическую партию и, устранив потом также и германских националистов, получить на выборах абсолютное большинство. Ясно одно: назад им пути нет. После этой разбойничьей выходки им не остается ничего другого, как пустить в ход жесточайший террор. Ясно, что они осуществляют программу, заготовленную еще к президентским выборам. Тебя они ненавидят. За последнее время они не раз брали тебя под обстрел. Они захотят расправиться с тобой в назидание другим. Тебе надо убираться отсюда прочь, Опперман, за границу, немедленно.

Густав пытался понять Мюльгейма, но это было невозможно. Слова ударами сыпались на голову. Что за чушь несет Мюльгейм. Так могут истреблять друг друга банды гангстеров где-нибудь в Центральной Америке. Но ведь речь идет о политических партиях. В Берлине. В 1933 году. У Мюльгейма, видимо, сдали нервы.

— У тебя что-то холодно, — сказал Мюльгейм и слегка поежился. Невыспавшегося Густава тоже знобило.

— Я включу отопление,— сказал он и встал.

— Не стоит,— махнул рукой Мюльгейм.— Но рюмку коньяку я бы выпил.— Он был утомлен, голос его звучал сухо. Густав налил ему коньяку.

«Нет сомнения,— думал Густав, глядя на Мюльгейма, пившего коньяк,— общая паника свела его с ума. Поджечь рейхстаг? Для этого надо быть безумцем. Неужели они думают выехать на такой чудовищной, грубой лжи? Так можно состряпать пожар нероновского Рима для бульварного романа. Но в наше время, в век телефонов и ротационных машин, это немыслимо». Густав взглянул на Мюльгейма, наливавшего себе вторую рюмку коньяку. «Глаз божий» катился слева направо, в ярком, режущем свете изображение Эммануила Оппермана казалось плоским, неподвижным, мертвым. Было десять минут пятого. «А может быть, он и прав. Месяц назад многое из того, что ныне стало действительностью, казалось совершенно невозможным. Он не фантазер. Теперь и впрямь происходят невероятные вещи. Ни под каким видом нельзя раздражать его, перечить ему: я не хочу терять его вторично». Очень осторожно Густав высказывает свои сомнения.

Мюльгейм отмахивается.

— Ну, конечно, пожар состряпан невероятно грубо и глупо,— говорит он.— Но ведь все, что они делают, грубо и глупо, тем не менее они ни разу не просчитались. Они всегда безошибочно спекулировали на отсталости масс. Сам фюрер в первых изданиях своей книги называет эту спекуляцию руководящим принципом своей политической практики: почему же им и дальше не продолжать в том же духе? С ужасающим цинизмом они подхватили и стали продолжать ту систему лжи, которой до последних дней войны пробавлялось верховное командование. А крестьянин и мелкий буржуа верили всякой их небылице. Да почему им и не верить? Принцип этих молодцов действительно необычайно прост. Твое «да» пусть будет «нет», а твое «нет» пусть будет «да». Излишние тонкости их не интересуют. Это чудовищно раздутые, гротескно ополщенные макиавелли от мелкой буржуазии. Именно такой примитивной крестьянской хитрости они и обязаны своим успехом. Всем

кажется невероятным, что подобные приемы могут иметь успех. И все на них попадают.

Густав пытался внимательно слушать. Слова Мюльгейма как будто имели смысл, но Густав не хотел верить. Все существо его протестовало.

Мюльгейм продолжал:

— Это последовательное открытое исповедование лжи как высшего политического принципа, несомненно, очень интересно. Будь у нас время, я бы с удовольствием показал тебе это на множестве примеров, но сейчас я могу сделать только одно: просить тебя уехать, пересечь границу, завтра, немедленно.

Опять то же самое. С этого Мюльгейм и начал. Густав слышать не хотел об отъезде, а между тем он знал, что Мюльгейм к этой теме вернется. Что за бессмыслица. Из-за того, что горит рейхстаг, он, Густав, должен уехать из Берлина. Он заметил, что кисть от шнура волочится по полу. Подобрал шнур, аккуратно подвизался. Он и не помышляет куда-нибудь ехать. Глупо. Смешно. В Германии все, разумеется, обойдется. Каким дураком будешь потом в собственных глазах, сидя по ту сторону границы. Но Мюльгейму сказать этого нельзя. Густав не может позволить себе роскошь опять оттолкнуть его. Он не может обойтись без Мюльгейма, без пего он пропадет, Мюльгейм нужен ему, как хлеб и вода.

Осторожно пытается Густав объяснить, почему он не может сейчас оставить Берлин. Лессинг идет прекрасно. Фришлин вработался, и они успешно подвигаются вперед. Книгу нельзя бросить. Не слишком ли мрачно смотрит Мюльгейм на события? Густав становится красноречивым. Пытается убедить прежде всего самого себя. Но едва заговорив, он уже знает, что прав Мюльгейм. До сих пор Мюльгейм всегда был прав. Все, что он, Густав, говорит, сентиментальный вздор, а Мюльгейм говорит дело. Он продолжает ораторствовать, но уже без всякого воодушевления.

Мюльгейм заметил эту вялость. Он ожидал, что Густав гораздо больше будет брыкаться. И он облегченно вздохнул, не встретив с его стороны сильного

сопротивления. Упорствуй он, у Мюльгейма в эту тяжелую ночь не хватило бы сил с ним справиться.

Густав видел, как измучен Мюльгейм. До чего раздражает этот резкий свет. Он встал и выключил верхние лампы. Тем временем Мюльгейм снова собрался с духом.

— Брось жевать жвачку, Опперман, — сказал он. — Не обманывай себя. Эти молодчики проводят то, что они давно задумали. А задумали они сделать мясной фарш из всех противников, которые кажутся им сколько-нибудь значительными. Так как они идиоты, они тебя считают серьезным врагом. Повторяю: беги. Уезжай в Данию или Швейцарию. Сообщения насчет снега малоутешительны, но они день ото дня все лучше. И не заставляй меня торчать здесь и часами уговаривать тебя, — рассердился он вдруг, — у меня и без того достаточно дела. Завтра горячий день. И мне не мешало бы поспать три-четыре часа. А ты от меня не избавишься, пока не дашь согласия на отъезд. Ну, скажи «да», Опперман.

Густав чувствовал настойчивость, взволнованность Мюльгейма. Он верил ему, хотя и не постигал всего.

— А ты поедешь со мной? — спросил он с младенческой наивностью.

— Да пойми ты, что я ехать не могу, — нетерпеливо, почти грубо, возразил Мюльгейм. — Мне ничего не угрожает, по крайней мере сейчас. Я никогда не ставил себя в такие рискованные положения, как ты. И мне быть здесь важнее, чем тебе с твоим Лессингом. Завтра в моей конторе будут сидеть пятнадцать — двадцать человек, я для них последняя соломинка, за которую они могут ухватиться. Однако что же это я тут перед тобою ораторствую, — оборвал он себя и встал. — Говорю тебе в последний раз: если у тебя нет желания угодить в каталажку или испытать что-нибудь похуже, беги.

Густав вдруг успокоился. Он любил, когда у Мюльгейма появлялся простецкий тон. Это было всегда верным признаком того, что Мюльгейм прав. Сухо, в тон приятелю, Густав сказал:

— Смейся, но я согласен. Я еду. Завтра. Ну, вот. А теперь давай выпьем еще по рюмке, и ты отправишься

домой и ляжешь спать. Хочешь, ночуй у меня. Но имей в виду: я даю тебе два-три дня на урегулирование твоих дел, а потом ты приедешь ко мне.

Мюльгейм шумно вздохнул.

— Ну и медленно же у тебя мозги ворочаются, Опперман. Такси нацелкало там внизу никак не меньше двух марок, запишу на твой счет, мой милый.

Густав проводил его до такси.

— Большое спасибо, Мюльгейм, — сказал он. — Я вел себя, как идиот, затянув на три недели нашу размолвку.

— Брось глупости молоть, — ответил Мюльгейм, забрался в такси, назвал шоферу адрес и тут же заснул.

Густав вернулся к себе. Принял холодный душ, почувствовал бодрость, подъем. Он должен был поделиться с кем-нибудь новостью, свалившейся на него. Позвонил Сибилле.

Поднятая звонком, Сибилла ответила недовольным голосом, закапризничала, как ребенок. Она была вечером в опере. Густав знал об этом. Но она была там с Фридрихом-Вильгельмом Гутветтером, этого Густав не знал, а после театра она пригласила Гутветтера к себе, в свою маленькую прелестную квартирку и еще работала с ним. Да, в последнее время великий новеллист все чаще и чаще находил в Сибилле источник радости: ему нравилась ее способность схватывать все на лету, нравился ее брезгливый холодок. Мало того что прославленный томик «Перспективы западной цивилизации» с особо почтительной надписью лежит на ночном столике Сибиллы, сам Фридрих-Вильгельм Гутветтер не пропускает случая ежедневно лично справиться о ее успехах. Молчаливый, в старомодном сюртуке, посиживал он в ее хорошеньком гнездышке, поглядывал на нее лучистыми детскими глазами, помогал ей терпеливым советом. Сибилла благосклонно принимала его внимание. Если бы Густаву пришлось в голову спросить ее, она и не стала бы ничего скрывать. Но он в последние дни был очень занят собой и не спрашивал.

Была уже поздняя ночь, и Сибилла страшно рассер-

дилась, что Густав разбудил ее. Он сообщил ей, что завтра уезжает. Дело очень срочное. Не поедет ли она с ним? Для него это очень важно. Он хотел бы, не откладывая, обо всем с ней потолковать. Нельзя ли к ней приехать? Его очень разочаровал и обидел ее решительный отказ. Ей хочется спать, заявила она. Со сна она не принимает серьезных решений. В конце концов она обещала приехать к нему утром пораньше.

Густав тоже попытался заснуть, однако сон не освежил его. Он рад был, когда подошло время верховой прогулки. Утро было слегка туманное, но потом прояснилось. Чувствовалось слабое дыхание весны; серо-зеленый, едва заметный пушок покрывал кусты. Густава охватила жгучая злоба против людей, заставляющих его покинуть дом, работу, родных, Германию, которая в двадцать раз больше его родина, чем родина тех, кто гонит его отсюда. Груневальд в эту пору прекраснее, чем всегда. Какое свинство, что именно теперь приходится уезжать отсюда.

— Я уезжаю сегодня, Шлютер,— сказал он, соскочив с лошади.

— Надолго, господин доктор? — спросил Шлютер.

Веко Густава едва заметно дрогнуло, когда он ответил:

— Дней на десять, а может быть, на две недели.

— В таком случае, я уложу смокинг и спортивные принадлежности,— предложил Шлютер.

— Да, да, и лыжи.

— Хорошо, господин доктор.

Определив срок своего возвращения, Густав почувствовал, что теперь ему легче уехать. Но одно обстоятельство вдруг заслонило собой все остальное, показалось ему решающим: поедет ли с ним Сибилла? Он с нетерпением ждал ее ответа.

А Сибилла между тем созвонилась с Фридрихом-Вильгельмом Гутветтером. Сообщила ему, что Густав, очевидно в связи с пожаром в рейхстаге, собирается уезжать и просит ее поехать с ним. Гутветтер решительно ничего не знал.

— Неужели? — удивленно протянул он спокойным, наивным голосом в телефонную трубку.— В рейхстаге

был пожар? Ну, и что же? Ведь это больше касается пожарной команды, чем нашего друга Густава.

Сибилле пришлось долго объяснять. Она и сама ничего толком не знала, но в противоположность Гутветтеру, легко улавливала связь между событиями. В конце концов Гутветтер отказался уразуметь все связи и причины и ограничился установлением факта: Густав хочет бежать из страха перед надвигающимися политическими событиями.

— Должен сознаться, милая Сибилла, что я не понимаю нашего друга Густава,— сказал он.— Нация готовится родить нового человека. Нам дано огромное преимущество: присутствовать при родах гигантского эмбриона, услышать первый лепет этого великолепного чудовища. А наш друг Густав бежит, бежит потому, что случайная отрывка рожающей нации может оскорбить его. Нет, тут я перестаю понимать нашего друга Густава. Я уже не молод, жизнь моя клонится к закату. И все-таки, несмотря на надвигающуюся ночь моей жизни, я поспешил бы сюда издалека, только бы увидеть, как нация одевается в бронзу. Я никому не позволил бы лишить меня этого зрелища. Завидую вам, дорогой друг, что вы можете воспринять его со всей свежестью вашей пытливой, эластичной юности.— Так, любовно, детски наивным голосом говорил великий новеллист.

В сущности, и Сибилла считала осторожность Густава преувеличенной. Пожилые люди склонны видеть все в черном свете и стремятся к удобствам и покою, это их законное право. Она же человек молодой и охотно поступится частью удобств ради острых переживаний. Если из того, что говорит Гутветтер, откинуть восторженность, то все же нельзя отрицать факт потрясающе интересного зрелища: внезапного пленения цивилизованной страны варварами. Она ждала этого зрелища с холодным любопытством ребенка, ожидающего перед клеткой обещанного кормления зверей. Пропустить это зрелище она не хотела. А потому она приехала к Густаву с твердой мыслью не покидать Германию.

Когда же Густав сообщил ей о пожаре в рейхстаге то, что он знал со слов Мюльгейма, когда простым



языком он рассказал ей, как Мюльгейм, имея на то веские основания, ждет в Германии разгула насилия, произвола и бесправия, она все же начала смотреть на создавшееся положение по-иному. Сидя в удобном кресле, ребячливая, тоненькая, обаятельная, она не отрывала глаз от его рта. Что это? Ее друг Густав обрел вдруг судьбу. Его лицо стало крупнее, значительнее. Он был не только приятным стареющим холостяком, но и личностью. Она подошла к нему, села на ручку его кресла. Она колебалась, не знала, что ответить.

Но как только Густав умолк, она вновь задумалась о своей работе. Конечно, это не бог весть что, но все же в этом ее призвание. Сейчас у нее есть счастливая возможность работать под руководством Гутветтера. Ей очень хорошо работается с ним. Ее слова обретают новую силу, она видит все по-новому. Нельзя обрывать такое счастливое сотрудничество. Это ее долг по отношению к себе.

Ей ужасно хочется поехать с ним, сказала она Густаву. И у нее сейчас такое чувство, что она тесно с ним связана, у нее потребность быть с ним. Но он и сам не захочет, чтобы она действовала в ущерб своей работе. Она не может сейчас прервать ее, она боится малейшей помехи, а вне Берлина ей ни одна строчка не удастся. Ближайшие восемь — десять дней она никак не сможет оторваться от рукописи. Если верно, что он едет всего на две недели, то она надеется порадовать его, когда он вернется, своей большой удачей. Если же Густав задержится, она приедет к нему, и тогда, одолев главные трудности в своей работе, будет всецело с ним. Сейчас она обсудит со Шлютером, какие вещи Густаву понадобятся; потом Густав непременно должен сегодня с ней отобедать; и когда отходит его поезд? Она непременно проводит его. Густав отвечал уклончиво. Он не желал, чтобы она знала час отхода поезда. Был глубоко оскорблен.

Забегал Мюльгейм, второпях, в каком-то нервном возбуждении. Поезд отходит в восемь вечера с Ангальтского вокзала. Он забронировал купе в спальном вагоне. Пусть Густав оставит ему на всякий случай генеральную доверенность: в Германии в ближайшее время

всего можно ожидать и тогда придется действовать без промедлений. Густав, снова заупрямившись, хмуро заявил, что он не собирается надолго оставлять Германию и не желает готовиться к этому. Мюльгейм сухо возразил, что так-то оно так, но он не ясновидящий Ганусен и на всякий случай лучше обеспечить себя.

— А вообще, — сказал он, — если ты настоящий немец, то сколько бы ты ни оставался за границей, три месяца или три года, там, где будешь ты, там будет и Германия. — Непривычный для Мюльгейма пафос, прозвучавший в этих словах, до того поразил Густава, что он замолчал.

После ухода Мюльгейма он бродил из комнаты в комнату по своему прекрасному особняку, который он так любил. Волнение, связанное с предстоящим отъездом, сменилось глубокой задумчивостью и грустью. Он все еще уговаривал себя, что речь идет о кратковременной поездке. Но в глубине души уже зрела уверенность, что он уезжает надолго. Сначала он хотел попросить Сибиллу, чтобы она вместе с Шлютером заботилась о доме. Но теперь он отказался от этой мысли. Конечно, он позвонит Сибилле перед отъездом, но повидать ее еще раз у него нет никакого желания. Можно было бы доверить дом Франсуа; тот поймет, что здесь Густаву дорого. Но Франсуа от него отвернулся. Мюльгейм перегружен. Не может же Густав требовать от него, чтобы он занимался пустяками, которые ему, Густаву, дороги. Приблизительно также обстоит дело и с Марином.

Он звонит Мартину. Прощается с ним. Мартин считает, что Густав поступает правильно, удирая отсюда. Мартин с удовольствием последовал бы его примеру, но Вельс слишком опасен, и Мартин не может бросить дело на произвол судьбы. Братья посетовали, что в эти тяжелые дни они не вместе. Однако настоящей душевной теплоты между ними не возникает. Каждый из них слишком занят собственными заботами.

Густав вешает трубку и задумывается. Думы его невеселые. Оказывается, у него мало действительно близких людей. А Гутветтер? Он вызывает его. Фридрих-Вильгельм Гутветтер, как всегда, сердечен, тих,

по-детски наивен. Уж если кто сожалеет об отъезде Густава, так это именно он. К тому же он не видит достаточных оснований для этого отъезда.

— Но наш общий друг Мюльгейм, несомненно, лучше разбирается в этих вещах,— примирительно заявляет он. Густаву отрадно слышать голос Гутветтера. Но обременять Гутветтера заботами о доме нет никакого смысла: он слишком беспомощен в практических делах.

Густав сидит без дела, мысленно перебирает лица друзей. Как заноза мучит его ощущение, что он что-то забыл, упустил. Это беспокойное чувство возвращалось к нему сегодня несколько раз. Но память ничего не подсказывает, как он ни напрягает ее. Авось случай подскажет. Воля тут бессильна.

Приехал Клаус Фришлин поработать. Как ни странно, но работа сегодня спорится. Время подходит к обеду. Они заканчивают. Фришлин собирается уходить. Он стоит перед Густавом, худой, с землистым цветом лица, на щеках скудная растительность. И вдруг Густава осеняет мысль, что из всех его друзей и знакомых Фришлин наиболее стойкий, расторопный и надежный. Непроизвольно он говорит:

— Я уезжаю, господин Фришлин. Надеюсь, ненадолго. Но если поездка моя затянется, посмотрите, пожалуйста, за моим домом, книгами, за всем, что мне дорого. А что мне дорого, вы прекрасно знаете.

— Положитесь на меня, доктор Опперман,— отвечает Фришлип серьезно и спокойно.

Вместе с Фришлином Густав отбирает книги, которые следует взять с собой. Он с удовольствием забрал бы все книги, и не только книги, он вынул бы из рам портреты Эммануила Оппермана и Сибиллы, он увез бы и «глаз божий», и пишущую машинку, и письменный стол, весь дом. Он смеюш себе. Он ничего не берет с собой. Даже рукописи: все равно без своих книг он работать не сможет. Он уезжает на две недели, не больше. Незачем бросать вызов злым силам, беря с собой все, что любо, не то они могут превратить его краткую отлучку в длительную.

После обеда Густав выходит в сад. Спускается со ступенек первой террасы на вторую, со ступенек второй на третью. Вокруг него волнообразной линией поднимаются лесистые холмы. Сегодня двадцать восьмое февраля, но уже явно чувствуется весна. Это только впечатление или на самом деле та серовато-зеленая дымка над кустарником, сегодня утром еще едва уловимая, стала явственней? Густав впитывает в себя любимый пейзаж, жадно вдыхает любимые запахи. Он очень печален.

И вдруг, без видимой причины, он вспоминает, что его мучило. Да, да, это нужно исправить. Нельзя уехать, оставив по себе плохую память. Но в таком случае он не может ехать восьмичасовым поездом. Все равно. Есть и более поздние поезда на Швейцарию.

Немедленно телефонирует он Мюльгейму, что ему необходимо отложить отъезд. Почему? — спрашивает Мюльгейм. Густав не называет причины, но настаивает на более позднем отъезде. Мюльгейм сердится. Поезда переполнены. Густав не получит места в спальном вагоне, а кроме того, чем раньше он уедет, тем лучше.

— У меня на то свои причины, Мюльгейм, — говорит Густав, не слушая возражений Мюльгейма. Он улыбается, сразу веселеет. Итак, он едет одиннадцатичасовым.

В девять он отправляется в театральный клуб и там ужинает. Потом проходит в зал, словно разыскивая кого-то. В зале еще совершенно пусто, только у входа стоит старик Жан. Густав кладет ему в руку пятимарковую бумажку.

— Я был вчера немного рассеян, — говорит Густав. — Извините меня, Жан. — Старик благодарит его, как всегда, с достоинством и вместе с тем почтительно. Теперь Густав может ехать с миром.

На вокзале оказалось, что ловкий Мюльгейм, сунув проводнику взятку, все-таки раздобыл Густаву купе в спальном вагоне. В поезде было много знакомых, но люди старались друг друга не узнавать.

— Приезжай как можно скорей, Мюльгейм, — просил Густав.

— Делай в пути как можно меньше глупостей, Опперман,— напутствовал его Мюльгейм. Поезд тронулся. Последнее, что осталось в памяти Густава от Берлина, была статная фигура Шлютера, его замкнутое, упрямое лицо и взгляд, устремленный вслед уходящему поезду.

В этот самый час Бертольд пожелал родителям спокойной ночи. Завтра, в среду, он должен ликвидировать конфликт, должен сделать свое заявление в актовом зале перед всеми преподавателями и учениками гимназии королевы Луизы. Лизелотта хотела что-то сказать ему, она уже открыла рот, но, зная замкнутую натуру сына, сдержалась.

— Спокойной ночи, мой мальчик,— только и сказала она.

Бертольд пошел в свою комнату, разделся, аккуратно развесил платье, как всегда тщательно сложил необходимые ему на завтрашний день книги и тетради. В сущности, его роль завтра будет очень простой. Заявление его коротко. Фогельзангу и Франсуа предстоит более сложная задача. Им придется здорово почесать языки. А он будет только стоять. Стоять у позорного столба. Если бы все зависело от доктора Фогельзанга, то это — как бы лучше сказать — действие состоялось бы у памятника в Нидервальде.

Сейчас он ляжет в постель, почитает книгу. Скажем, Клейста «Битва в Тевтобургском лесу». Но вместо третьего тома Клейста ему попался четвертый «Рассказы». И он прочел рассказ о Михаэле Кольхаасе, сыне школьного учителя, об одном из справедливейших и вместе с тем ужаснейших людей своего времени, которого необузданное чувство справедливости делает разбойником и убийцей. Из-за пары коней он отказывается от личного счастья, поднимает восстание и погибает страшной смертью. Но прекрасные вороны, которых ему назло превратили в жалких кляч, снова становятся его собственностью, и, всходя на эшафот, он видит их холеными и откормленными.

Бертольд хорошо знал этот рассказ, но прочел его с новым, захватывающим интересом. Некоторые места

он перечитал по два и по три раза. Например, ответ лошадиного барышника жене, когда она в испуге спрашивает его, почему он распродает свое имущество: «Потому, что я не хочу оставаться в стране, где не охраняют мои права. Уж лучше быть последней собакой, чем человеком, которого попирают ногами». Бертольд читал и время от времени медленно и тяжело кивал головой в знак согласия.

Он отложил книгу. Только теперь он почувствовал, что прошлую ночь провел без сна; сказывалась и напряженность последних дней. Темноты ему еще не хотелось, он боялся темноты. Он выключил верхний свет, зажег затененную абажуром лампочку над кроватью, повернулся на бок и полузакрыв глаза. Он смотрел на обои с фантастической птицей на свисающей ветке, и снова из очертаний рисунка перед ним возникало лицо Германа: широкий лоб, плоский нос, большой рот, короткий и сильный подбородок. Имел ли бы такой вот Герман шансы на успех и карьеру в современной Германии? Бертольд улыбнулся. В голове его сами собой сложились стихи:

Кто хочет в Германии выйти вперед,  
Что нужно ему для удачи?  
Железная челюсть и сдавленный лоб.

Стихи редко приходили ему в голову. Он хорошо чувствовал прозу. Доктор Гейнциус всегда это говорил. Да и вообще стихи теперь, пожалуй, не ко времени.

Рут и этот самый Герман, без сомнения, столкнулись бы друг с другом. И опять она представляется ему одной из германок в Вагенбурге. Ее бы возмутило подобное сравнение. Однако оно вполне правильно.

Рут легко. На его, Бертольда, месте она бы отлично знала, как поступить. Многим в Германии легко. Но миллионам тяжело в Германии потому, что они знают, как нужно поступать. Бертольд слышал историю брата — или, кажется, шурина — Шлютера, который высказался против нацистов и был за это убит. Миллионы людей объявляют себя противниками фашистов, тысячи платятся за это жизнью. О сотнях, о тысячах это становится известным, а о сотнях тысяч, о миллионах никто

пе знает. Кто же тогда Германия? Те, в коричневых рубашках, которые горланят и бесчинствуют с оружием в руках, противозаконно сохранив это оружие? Или другие, те миллионы людей, которые были так наивны, что, подчиняясь закону, сдали оружие, и которым теперь прошибают черепа, когда они хотят что-нибудь сказать? Нет, он, Бертольд, не один. У него есть товарищи, сотни тысяч товарищей, миллионы. Неизвестному солдату поставили памятник, а о Неизвестном немце, о его Неизвестном товарище, никто и словом не обмолвился. «Мой Неизвестный товарищ,— думает Бертольд.— Они преследуют тебя, бьют, заточают в тюрьмы...» И дальше: «Знаю: имя тебе — тысячи, имя тебе — миллионы...» И еще: «Но день придет, и встанешь ты...» Нет, все это никуда не годится. Он не умеет сочинять стихи. Но когда-нибудь непременно явится поэт и сложит песню о Неизвестном немце, о Неизвестном товарище.

Может быть, кто-нибудь и напишет ее, но ее не станут печатать, не будут петь, никто ее не услышит. И если бы он, Бертольд, сам написал такую песню, ему не пришлось бы выступать с ней. Он выступит совсем с другим, он пойдет в актовый зал и перед сборищем ухмыляющихся школьных товарищей, известных товарищей, он произнесет: «Я сказал истину. Объявляю эту истину ложной».

Нет, он этого не скажет.

Конечно, скажет. Письмо к Франсуа он тоже не хотел писать, он не написал его, пропустил все сроки. А потом отец сказал: «Ты мог бы послать письмо спешной почтой»,— и он написал.

Можно завтра не пойти в школу, попросту не явиться. Они будут стоять в актовом зале и ждать, а его нет. Он улыбается. Он ясно представляет себе лица Фогельзанга и Вернера Риттерштега и лицо педеля Меллентина у дверей. «Давайте споем гимн «Хорст-Вессель»,— скажет наконец доктор Фогельзанг. Но это будет слабым утешением: не стоило собирать всю школу в актовом зале для того только, чтобы спеть гимн «Хорст-Вессель». Директор Франсуа, тот, может быть, обрадуется, если он не придет, а Генрих определенно будет рад, хотя он и советовал ему явиться; Курт Бауман тоже

будет рад. О, это было бы большим удовольствием, душевным бальзамом, на час, на день, может быть, на неделю. А потом? Что ему делать потом? Его исключат, из Германии ему придется уехать, пройдет, может быть, целая вечность, пока он сможет вернуться в Германию, будет ли она тогда его Германией?

Выбора нет. Хорошо было бы, конечно, заставить их ждать понапрасну, но это невозможно.

Впрочем, возможно.

Он поднимается. Достает рукопись доклада о Германе. Он хорошо припрятал ее. Ему приходится включить верхний свет, чтобы разыскать ее, на это уходит некоторое время. Рукопись написана очень чисто, на линованой бумаге, с полями, почти без помарок. Бертольд берет листок бумаги и пишет: «Тут нечего разъяснять, нечего добавлять, нечего вычеркивать. Твое «да» пусть будет «да»; твоё «нет» пусть будет «нет». Бертольд Опшерман». Он кладет ручку, потом снова берет ее и проставляет дату: «Берлин, 1 марта 1933 года».

В сущности, ему хочется записать стихи, которые раньше мелькнули у него: «Тебе, Незвестный товарищ». Нет, прозой лучше. И он пишет: «Уж лучше быть последней собакой, чем человеком, которого попирают ногами» (Клейст, издание Инзель, том 4, стр. 30)».

Он идет в другую комнату, не очень заботясь о том, чтобы тихо ступать, открывает домашнюю аптечку; он находит три трубочки со снотворным. Он выбирает то, которое считает наиболее сильным. Трубочка едва начата. Хватит, наверно. Придется им завтра постоять там, в актовом зале.

Он наливает воду в стакан, бережно ставит стакан на тарелку, чтобы не осталось кружка на столе, растворяет таблетки в воде, ставит стакан на ночной столик. Смотрит на рукопись доклада. Записка лежит сверху. Лучше ее приколоть. Он заводит часы, кладет их подле стакана. Выключает верхний свет, зажигает лампочку над кроватью, ложится.

Часы показывают тридцать восемь минут второго. Он выпивает воду с растворенными таблетками. Нельзя сказать, чтобы это было вкусно; приходится сделать



усилие, чтобы проглотить эту дрянь. Но есть вещи похуже.

Он лежит и ждет. На ночном столике тикают его часы. С улицы доносится гудение автомобильного рожка, недозволенно громкое, протяжное. Скоро ли он заснет? Прошло две минуты и сорок секунд. Больше шести — восьми минут это, наверно, не продолжится. Если никто не войдет к нему в течение ближайшего получаса, то разбудить его уже не удастся. К счастью, вряд ли кто-нибудь заглянет к нему, а если погасить свет, то уж наверняка никто не войдет. Он гасит лампочку. Он чувствует сонливость и усталость, не такую приятную усталость, как он ожидал, а свинцовую, давящую.

Снова автомобиль. Но теперь гудок не такой протяжный. Рукопись его доклада подготовлена очень четко. Доктор Гейнциус говорил им, что одно из самых существенных отличий древнего мира от нашей эпохи заключается в отношении к самоубийству. Римляне с ранних лет внушали своим сыновьям мысль, что дарованная человеку возможность в любой момент прибегнуть к добровольной смерти возвышает его даже над богами. Боги не обладают такой свободой. Это достойная смерть. И сложил он все аккуратно, раньше чем выпить эту дрянь. Вот лежит рукопись, кто хочет, может увидеть, а кто не хочет, вынужден будет увидеть. Несколько дней назад он читал об одной женщине, которая, уходя из жизни, не только надела платье, в каком ей хотелось быть похороненной, но даже нашила траурный креп на пиджак мужа. Мы, немцы, аккуратный народ. Он чуть-чуть улыбается. Теперь он может себе это позволить, теперь он может сказать: «Мы — немцы».

Снова автомобиль. Оказывается, он сам — в автомобиле. На автомобильно-тренировочном шоссе автомобильные гонки. Францке сидит в глубине, странно, что он не рядом, и непрерывно орет ему всякие наставления, но он ничего не слышит, он всеми силами старается разобрать, что говорит Францке, но кругом отчаянный шум, и ветер свистит в ушах, а кто же там, рядом с Францке? Кто-то сидит там. Ага! Это доктор

Гейнциус. Хорошо, что он. Он объяснит все лучше, чем Францке. А вот и поворот, он великолепно сделал поворот, шикарно. Но ведь он отучил себя от этого «шикарно». Отвратительное слово. Впереди автомобиль, кто там за рулем? Да ведь это доктор Фогельзанг. Врезаться в него сейчас сбоку, это будет шикарно. Понимает ли Францке, что он задумал? Но ничего не выходит, как ни странно, он просто не может его нагнать. Полный газ, все время полный газ, не уменьшать скорости, но ничего не выходит, снизу его обдаёт гнетущим жаром, газовый рычаг отчаянно накалился, машину швыряет из стороны в сторону, рычаг почему-то давит ему на живот, машину уже не швыряет, ее заносит, она рвется из рук, как тогда, в Баварии, на обледеневшем шоссе, что-то черное поднимается снизу, что-то ужасно давит, кричать бы, кричать, хочешь или не хочешь, но крика нет, что-то поднимает его, поднимает машину, но это вовсе не машина, она выскальзывает у него из-под ног, он на американских горках в Луна-парке, это лодки-качели, так значит, он в Мюнхене, на осенней ярмарке, как высоко взлетают качели. Фогельзанг все еще рядом, но вот он обогнал его, нет, он все-таки на треке, только без машины, а теперь он плывет, хотя он без машины, как высоко взлетают качели, как щекочет в животе, где-то глубоко внутри, живот прямо выворачивает, но нельзя подавать виду, нужно только улыбаться, улыбаться во все лицо, а ведь это настоящая лодка, волны равномерно накатывают, они совсем плоские, они душат и дают, это уже не пустяки, они душат ужасно, не надо было плыть ночью, они без конца перекачиваются через голову, никак не поднимешься на гребень, никак не глотнешь воздуха, все, все уплывает, только лицо Фогельзанга осталось, но это уже не лицо Фогельзанга, это лицо Германа с плоским носом и упрямым подбородком, и Герман попал вдруг на цоколь памятника в Нидервальде, но ведь это статуя Германии, и это хорошо, нет, теперь там Герман, но и цоколь памятника уплывает. Приближается огромная волна, целая гора, и ему нужно проплыть сквозь нее. Мой Незвестный товарищ, я не могу протянуть тебе руку, опять

набегает волна, еще больше той, поднимет ли она его на гребень? Вот она.

В этот самый час спальный вагон уносил Густава все дальше и дальше на юго-запад от Берлина. Густав хорошо, крепко спал. Неожиданно он проснулся, разбуженный резким толчком поезда. Медленно прояснилось сознание, и вдруг он с ужасом вспомнил: о Жане он, уезжая, подумал, а о Бертольде, о своем племяннике, не подумал. Почему он хотя бы Мартина не спросил, чем кончилась нелепая история с Германом Херуском. Почти полчаса мучила Густава эта мысль. Потом он опять уснул, но остаток ночи спал далеко не так хорошо, как вначале.

---

## *Книга третья*

### **ЗАВТРА**

Нам положено трудиться,  
но нам не дано завершать  
труды наши.

*Талмуд.*



**О** смерти Бертольда Густаву стало известно уже после того, как мальчика похоронили. Мюльгейм не известил его, опасаясь, что Густав бросится в Берлин и тем самым подвергнет себя большому риску. А кроме Мюльгейма, адреса его никто не знал.

Все эти дни Густав бродил по красивому уютному городу Берну. Стояла весна, воздух был прозрачен, и на чистом горизонте невыразимо нежно проступали могучие вершины бернского Оберланда. Но прекрасный вид не радовал Густава, подавленного берлинскими событиями. Когда он узнал о смерти Бертольда, ему показалось, что он давно ждал этого удара.

Люди были ему в тягость, он забрался в горы, он хотел быть один, он ничего не понимал, он чувствовал необходимость уяснить себе, что происходит. Селение, в которое его забросило, лежало у подножья Юнгфрау. Сезон кончился, и в маленькой гостинице он был единственным гостем. Избегая фуникулера с его многочисленными пассажирами, он с лыжами на плечах дотащился до снежной границы, с трудом взобрался на отдаленный склон. Там он лег на залитый солнцем снег, а вокруг него в прозрачайшем воздухе высоко и четко вырисовывались линии гор. Он был один.

Он грызет и грызет себя: о старом Жане он подумал, а о Бертольде не подумал. На нем добрая доля вины за случившееся. Он всегда все делал наизусть. Он вел бесполезное, удобное, гурманское существование. Пошел к Сибилле, вместо того чтобы пойти к Анне. Занимайся он политикой, или политической экономией, или

чем-нибудь у себя в фирме, в этом было бы гораздо больше смысла, чем в избранном им занятии. Он установил, что Лессинг написал такое-то письмо 23 декабря, а не 21-го, вот и все: достойный эпилог всей его жизни.

Густав лежит на снегу весь в испарине от жаркого солнца и сводит счеты с самим собой. Выводы не очень-то утешительны.

Четыре дня живет он в тишине горной деревушки. Узкая дорога, по которой он ежедневно тащит вверх свои лыжи, проходит высоко над долиной, на противоположных склонах лепятся крохотные деревушки, перед ним мощно высятся залитые солнцем белые вершины Юнгфрау. Он всегда один на облюбованном им склоне. Прозрачен и свеж теплый воздух, приглушенно доносится грохот катящихся лавин. Он видит все, что перед ним, вокруг него, но не осознает ни прелести воздуха, ни красоты природы: его чувства на запоре. Его грызут все те же мысли, они кружат без конца, вгрызаются все глубже и глубже. Лучше всего довести себя до такой физической усталости, чтобы мысли исчезли. Иногда к концу дня это удается ему. Тогда он, в желанном изнеможении, опускается на край дороги и сидит, ни о чем не думая, бессознательно мотая головой, посмеиваясь идиотским смехом. На дороге часами никто не показывается. Однажды пропел мальчик, толкавший тележку. Он с удивлением посмотрел на Густава и долго еще на него оглядывался.

Четыре дня над ним тяготеет, парализуя его, это оцепенение; голова его словно обернута плотным слоем ваты. Внезапно на утро пятого дня окружавший его туман прорвался. Густав выпрямился. Сбросил в себя сумеречное состояние. В самом деле: пять дней он в глаза не видал газет, не прочел ни строчки о Германии. Немного найдется теперь таких нелюбопытных немцев. Он покупает в киоске все газеты, какие только нашлись: немецкие, швейцарские, английские, французские. С толстым свертком под мышкой поднимается по знакомой красивой дороге. Вдруг его охватывает отчаянное нетерпение, он едва сдерживается. И хотя земля еще сырая, он садится тут же, на край дороги, и начинает читать.

Он читает, и кровь приливает у него к голове. Спокойней, спокойней, не распускаться, быть тверже, как следует вдумываться. В такие времена появляется масса непроверенных слухов. Всю свою жизнь Густав учился критически оценивать источники, он не желает попасться на удочку, поверив буйной фантазии репортеров. Что это за газеты? «Таймс», «Франкфуртер Цейтунг», «Нейе Цюрихер Цейтунг», французская «Тан». Их корреспонденты не какие-нибудь неизвестные репортеры, а люди с именами. Сообщения немногословны, конкретны, журналисты с такими именами вряд ли рискнули бы передавать миру столь чудовищные вещи с такими потрясающими подробностями, не имея на то оснований. Нет сомнений: нацисты пункт за пунктом осуществляют свою программу, над примитивным варварством которой так много смеялись, которую сам он считал несбыточной. Варвары арестовывали, уводили, истязали, убивали всех, кто им был не по праву; имущество жертв своих разоряли или подвергали конфискации единственно на том основании, что эти люди их противники и, стало быть, подлежат уничтожению. Густав читал имена, даты. Многие имена ему знакомы, со многими из этих людей он был близко связан.

Его немое отчаяние, отчаяние животного, сменяется бешеной злобой против себя, против фашистов. Он читает безумные речи их вожakov. Старый рейхспрезидент передал им страну в порядке, они же цинически нарушили свои торжественные заверения, растоптали закон; порядок и цивилизацию обратили в произвол, хаос, насилие. Германия превратилась в сумасшедший дом, в котором больные взяли власть над своими сторожами. Видит ли это мир? Что он предпринимает?

В тот же день Густав возвратился в Берн. Не сошел ли он сам с ума, забравшись в это уединенное логово и не оставив никому адреса? Неужели он думает, что весь этот ужас его не коснется, если он спрячет голову под мышку? Он хочет знать, что делается, он должен знать как можно больше, все.

В Берне его ждут телеграммы, письма, газеты. В его особняк тоже ворвались ландскнехты, произвели обыск, многое уничтожили, многое утащили с собой. Вот те-



леграмма от Фришлина с просьбой позвонить ему по телефону. Густав вызывает его.

Слышать голос Фришлина — целое событие. Знакомый голос, но в нем что-то новое, какая-то напористость, сила, энергия. Густав хочет о многом расспросить Фришлина, но тот мгновенно обрывает его, на что раньше никогда не осмелился бы. Да, по Лессингу он многое привел в порядок. Он приедет в Берн и лично доложит об этой работе. Так будет лучше. Мюльгейм, кстати, того же мнения.

На следующий день Фришлин был уже в Берне.

— Я не хотел бы останавливаться в той же гостинице, где живете вы, — сказал он, выйдя из вагона. — Лучше, чтобы наши имена не были зарегистрированы в полиции под одним адресом. Потом я зайду за вами, и мы пойдем гулять. Я только тогда смогу вам все рассказать, когда буду уверен, что нас не подслушают. — Фришлин говорил скромно, но решительно. С изумлением смотрел Густав, как переменился этот человек. В Берлине он, долговязый, с длинными тощими ногами, с длинными тощими руками, постоянно вылезавшими из непомерно коротких рукавов, весь какой-то робкий и неловкий, производил на Густава впечатление студента, которому и внешне и внутренне чего-то не хватает. Теперь же, при всей своей скромности, он держался решительно, как человек, знающий, чего он хочет.

Они поднялись на плато. Был яркий, солнечный день, хотя весна только еще началась. Перед ними поднималась нежная и ясная линия снеговых вершин. Долго сидеть на плато было еще слишком холодно. Они пошли по лесистому склону, Густав умерял свой быстрый, твердый шаг, Фришлин рассказывал.

Ландскнехты явились на Макс-Регерштрассе в одну из первых же ночей, на заре. Их было восемь человек. Рукопись Густава, наиболее важную литературу по Лессингу и всю картотеку Фришлин, к счастью, успел за день до того спрятать у лиц, находящихся вне подозрений. Нацисты уничтожили или забрали с собой все бумаги, которые еще оставались. Из книг они многое пощадили; во всяком случае, в других домах они

произвели куда более жестокие опустошения. В выборе книг, которые они уничтожали или изымали, был полный произвол. Больше всего их раздражали многочисленные издания дантовской «Божественной комедии». Видимо, слово «комедия» сбilo их с толку, и они приняли это за агитационную литературу «безбожников». Автомобиль и пишущую машинку они конфисковали. Та же участь постигла и портрет фрейлейн Раух. А портрет Эммануила Оппермана уцелел. Фришлин спрятал его в надежном месте. Не заметили они также пачки личных писем Густава. Фришлину удалось их потом переслать Густаву окольными путями; в ближайшие дни он их получит. Шлютер оказался очень надежным человеком. В первое свое посещение нацисты жестоко его избили. Но все ж, как только они ушли, Шлютер вместе с женой убитого шурина припрятал часть уцелевших от грабежа вещей. Это было очень хорошо, потому что ночью они явились снова и растащили все, что еще можно было растащить. Вещи, которые, по мнению Фришлина, были Густаву особенно дороги, Фришлин отнес к фрейлейн Раух.

— А фрейлейн Раух помогла вам? — спросил Густав.

— Кое в чем, — ответил Фришлин. — Она выразила живейшую готовность помочь, но практически толку вышло мало. Фрейлейн Раух чрезвычайно занята собственными делами, — прибавил Фришлин с подчеркнутой сдержанностью. Зато о Мюльгейме он отозвался с большой теплотой. Мюльгейм, кстати, просил, чтобы Густав позвонил ему возможно скорее, хорошо бы сегодня, между шестью и семью вечера, в гостиницу «Бристоль».

Было около шести часов, когда Густав вернулся в отель. Следовало бы сейчас же позвонить Мюльгейму, но Густав и слушать не хочет о делах, о тех изворотливых приемах, которые в борьбе с «коричневыми» являются, конечно, единственно разумными. Правда, дело идет о его доме, о его любимом жилище. Страшно подумать, что, может быть, вскоре в его прекрасных комнатах поселятся грязные ландскнехты. Надо все-таки поговорить с Мюльгеймом. Но когда телефонистка откликнулась, он в последнее мгновение вместо мюльгеймовского назвал телефон Сибиллы.

Очень скоро он услышал ее голос. Она была удивлена и слегка испугана, как показалось чрезвычайно настороженному теперь Густаву. Может быть, и в самом деле опрометчиво в эти дни звонить по телефону из-за границы. Но Сибилла, несомненно, мало чем рисковала, и ей совершенно незачем было проявлять такую сдержанность. Он вспомнил, как холодно и сухо говорил о ней Фришлин. Но Густав тосковал по ней, по аромату ее девического тела. Он очень тепло просил ее приехать, она нужна ему в эти дни. Она сразу же, без возражений, пообещала. Но когда он попросил ее назвать день приезда, она заколебалась; завтра, самое позднее послезавтра, она телеграфирует ему. Густав не знал, что ее останавливала мысль о Фридрихе-Вильгельме Гутветтере, но почувствовал, что она что-то скрывает, и был очень удручен.

Ясный и исчерпывающий отчет Фришлина вдруг показался ему недостаточным. Возможно, потому, что общее положение в Германии начинало интересовать его гораздо острее, чем его дом или рукопись. Он ждал, когда Фришлин сам начнет рассказывать, но Фришлин этого не сделал, а Густав из какой-то непонятной робости не решался расспрашивать.

Лишь вечером в маленьком живописном ресторанчике, который разыскал Густав, Фришлин заговорил наконец об общем положении вещей. Сейчас, начал он, в Германии трудно получить достоверные сведения о том, что происходит. Власти стараются, и не без успеха, решительно все затуманить. Поэтому его сообщение будет весьма неполным. Но Густаву вскоре стало казаться, что Фришлин называет ужасающее количество имен, дат и адресов, хотя он говорил только о проверенных случаях.

Среди расквартированных в Берлине фашистских отрядов самой злой славой пользуются 17-й и 23-й, так называемые «отряды смерти». Места, о которых говорят с величайшим ужасом, — это подвалы ландскнехтов на Гедеманштрассе, Генераль-Папенштрассе и несколько подвалов в Кепенике и Шпандау. Когда рухнет власть фашистов, на этих домах, вероятно, прибьют доски в память глубочайшего позора Германии, сказал Фриш-

лин, и это замечание на фоне его объективного отчета прозвучало ошеломляюще. Самое страшное в действиях тайной полиции и ландскнехтов — это разработанная до мельчайших деталей система, насквозь продуманная организация, военно-бюрократический порядок истязаний и убийств. Решительно все регистрируется, подписывается, протоколируется. После всякого истязания истязуемый обязан расписаться в том, что его не истязали. В случае убийства врач констатирует смерть от разрыва сердца. Тело убитого выдается родным в запломбированном гробу, вскрытие которого запрещено под угрозой кары. Если заключенного после истязаний выпускают на свободу, ему выдается чистое белье и костюм, чтобы запятнанная кровью одежда не привлекала внимания. Истязуемые обязуются в течение двадцати четырех часов вернуть выданные им вещи в чистом виде. Кроме того, за «услуги» и «питание» в подвалах взимается плата, впрочем, небольшая: за помещение — марка и за услуги и питание — марка. За услуги и питание убитых, то есть «умерших от разрыва сердца» или «убитых при попытке в бегству», обязаны платить родные. Услуги простираются вплоть до забот о духовной пище, и здесь они не лишены юмористического оттенка. Во время «процедур» заводят граммофон и проигрывают фашистские песни: арестованные должны подпевать, такт отбивается на их спинах стальными прутьями и резиновыми дубинками.

«Коричневые» решили, видимо, широко развернуть свою систему. Они создают колоссальные концентрационные лагеря, дабы «воспитать» в заключенных необходимые для нового времени качества. В целях «воспитания» они прибегают и к психологическим методам воздействия. Они, например, устраивают по городу большие скоморошьи шествия заключенных, заставляя людей исполнять причудливые декламационные хоры: «Мы — марксистские свиньи, мы — жидовские мошенники» и прочее. Или приказывают заключенным, стоя на ящиках, приседать, и после каждого приседания выкрикивать: «Я — жидовская свинья, предавал свое отечество, позорил арийских девушек, обкрадывал казну» и т. п. Иногда несчастных заставляют взбираться на

деревья, на тополя, например, и оттуда часами выкрикивать подобные гнусности о себе.

Между прочим, и в подвалах фашистских казарм, и в концентрационных лагерях заключенные обязаны подробнейшим образом и в самое короткое время изучить программу национал-социализма и литературное произведение фюрера. Обучают со всей строгостью. Ошибки и невнимательность караются телесными наказаниями: дескать, времена либерализма и гуманности миновали. Многие, как сказано, не выдерживают этих занятий. В одном только Берлине Фришлину известны семнадцать документально подтвержденных смертных случаев.

Обо всем этом рассказал доктор Клаус Фришлин доктору Густаву Опперману в маленьком ресторанчике швейцарской кантональной столицы Берна. Он говорил тихим, ровным голосом, ибо у соседнего стола сидели посетители. Время от времени, чтобы смочить горло, прихлебывал легкое шилучее вино, при этом его длинные худые руки упорно вылезали из рукавов. Густав в этот вечер ел мало, говорил мало. Спрашивать почти не приходилось. Клаус Фришлин очень точно выражал свои мысли, язык его становился невразумительным только в тех случаях, когда он цитировал фразы из книги фюрера, которые истязуемые обязаны выучивать наизусть.

Фришлин кончил. Довольно долго они сидели, не произнося ни слова. Фришлин медленно допивал вино, обстоятельным движением вновь и вновь наполняя стакан. Только три стола оставались еще занятыми. Густав полузакрыв глаза. Казалось, он дремлет.

— Еще одно, Фришлин, — произнес он наконец с видимым усилием. — Вы мне ничего не рассказали о кончине моего племянника Бертольда.

— Вашего племянника Бертольда? О его кончине? — Оказалось, что Фришлин вообще ничего не знает обо всей этой истории с Бертольдом.

— Как же так? — возмутился Густав.

Но Фришлин нисколько не был удивлен. Власти в Германии делают все возможное, чтобы население не знало друг о друге ничего неугодного правительству.

По-видимому, газетам запретили печатать об этом случае. Кто не всматривается пристально в окружающее, тот ничего не знает. В Германии сейчас никто не выходит без маски. Люди судорожно кричат, как прекрасно стало жить, и, только удостоверившись, что никто не подслушивает, шепчут друг другу об истинном положении вещей. В большом городе сосед не знает о том, что делается у соседа. Он привык из газет узнавать о событиях, происходящих выше или ниже этажом. О неприятных происшествиях газеты говорить не смеют. В стране с населением в шестьдесят пять миллионов легко можно три тысячи человек убить, тридцать тысяч изувечить, сто тысяч заключить в тюрьмы без приговора, без всякого основания, и при всем этом сохранить видимость спокойствия и порядка. Достаточно запретить газетам и радио передавать подобного рода сведения.

Густав просил Фришлина не провожать его до гостиницы. Была светлая ночь, было поздно, улицы были пустынные, подарками гулко раздавались его уверенные, твердые шаги. Он шел быстро, как всегда, но чувствовал себя связанным, отяжелевшим. Этот Фришлин заронил в него какое-то новое ощущение, очень непривычное, тягостное.

На следующий день Фришлин уехал. Густав стоял на перроне. В сущности, он был доволен, что невеселый гость уезжает. Но когда поезд отошел, ему показалось, что рельсы не отделяют его от Фришлина, а, наоборот, они стали связующими нитями между ними, и как бы далеко эти нити ни разматывались, они никогда не оборвутся. И одиночество показалось ему теперь едва ли не тяжелее общества Фришлина.

В обычное время Эдгар отправился в городскую клинику. Гина заклинала его не ездить сегодня, даже Рут, против ожидания, настойчиво отговаривала его. Нацисты постановили провести в эту субботу бойкот пятисот тысяч немецких евреев, мобилизовав на это все агитационные средства. Экономический бойкот, заявляли они, будет лучшим ответом на обвинение в учи-

ненных над евреями гнусных насилиях, обвинение, подкрепленное документальными данными. В этот день многие евреи не выходили из дому, многие бежали из Германии. Возможно, что это неблагоприятно, но Эдгар иначе поступить не может: он отправляется в свою клинику.

Видимых оснований для этого у него нет. На его работе в Германии поставлен крест. При желании он мог бы сегодня же уехать. Он получил лестные предложения из Лондона, из Парижа: большинство медицинских институтов цивилизованного мира стремилось заполучить изобретателя оппермановского метода. Одно из этих предложений он примет. Все созданное им здесь, конечно, в значительной части погибнет, так как и маленький доктор Якоби, единственный, кому он еще мог бы доверить свою лабораторию, тоже уезжает. Он действительно едет в Палестину, как однажды иронически мысленно пожелал ему Эдгар; уезжает на том же пароходе, что и Рут. Да, в Лондоне, Париже или Нью-Йорке Эдгару придется все начать сначала, пройдет, вероятно, пять, а может, и все десять лет, пока он добьется того, чего здесь уже достиг. Ему, конечно, будут предоставлены средства, но средств этих, конечно, не хватит, все мытарства, которые он преодолевал здесь в пору создания своего института, ожидают его снова, и удесатеренные. А он уже не молодой человек.

Нелегко будет расстаться со своей клиникой, со своей лабораторией, с операционными залами, с Якоби, Реймерсом, сестрой Еленой, стариком Лоренцом. Он не может себе представить, как он будет жить вдали от своей Германии. И дело не только в институте. Тут еще и весь его уклад. Пройдет целая вечность, пока жизнь войдет в свою колею. Гина так чертовски серьезно воспринимает все эти мелочи домашнего обихода. И с дочерью придется расстаться; может ли он помешать ей уехать в Палестину?

Город выглядит по-праздничному. На улицах толпятся любопытные, охотники поглядеть, как проводится бойкот. Эдгар видит бесчисленные плакаты на дверях, витринах, стенах: «Еврей», «Не покупайте у евреев», «Жид, сгинь, пропади». Повсюду стоят, расставив ноги

в высоких сапогах, ландскнехты и, разинув глупые рты, орут хором: «Пока не околеют все жида, ни хлеба, ни работы ты не жди». Может быть, Гина и Рут были правы, и не следовало сегодня отпраиваться в клинику. Но нельзя бросить пациента Петера Дейке. Петер Дейке, зарегистрированный под № 978, восемнадцати лет, пациент по третьему разряду, был обречен на смерть до того, как его доставили в клинику. Первая операция не дала результата. Возможно, что и повторная ничего не даст. Во всяком случае, она является единственным средством, которое, пожалуй, может спасти Петера Дейке. Повторную операцию мог бы сделать Реймерс. Но нет. Он, Эдгар, не желает увеличивать риск смертного исхода из-за идиотского бойкота, который эти господа постановили провести сегодня.

Он несется в развевающемся белом халате по длинным коридорам клиники. Все идет своим заведенным порядком. В клинике двадцать четыре врача-еврея. И сегодня, как обычно, все на месте, включая и маленького Якоби. Работа спорится, как всегда, о бойкоте ни слова, но за внешние равнодушными лицами Эдгар угадывает скрытое напряжение. Маленький Якоби бледен. Несмотря на все средства, руки у него сегодня слегка потеют.

— Подготовьте больного девятьсот семьдесят восемь, — отдает Эдгар распоряжение сестре Елене. Вдруг появляется Реймерс. С присущим ему несколько грубоватым добродушием он тихо просит Эдгара:

— Улепетывайте, господин профессор. Оставаться вам здесь абсолютно бессмысленно. Нельзя знать, что может учинить взвинченная чернь. Если вы уйдете, мне, может быть, удастся увести маленького Якоби. Его присутствие здесь чистейшее самоубийство.

— Ладно, дорогой Реймерс. Вы свое заклинание изрекли, а теперь приступим к больному девятьсот семьдесят восемь.

Он производит операцию.

Едва успевают отвезти больного в палату, как они являются. В руках у них список двадцати четырех врачей, служащих в городской клинике. Они спрашивают, где эти врачи, но персонал оказывает пассивное



сопротивление, отговаривается незнанием. Предводительствоваемые несколькими студентами-фашистами, они устраивают форменную охоту на названных врачей. Едва поймав кого-нибудь, они выводят его на улицу. Они не позволяют врачам снимать халаты, и если им попадается кто-нибудь без халата, они заставляют надеть его. Перед главным входом стоит огромная толпа, и как только появляется белый халат, он мгновенно исчезает в ней, под дикое улюлюканье, свист, лютую ругань.

Добрались до Эдгара.

— Вы профессор Опшерман? — обращается к Эдгару тип с двумя звездочками на воротнике.

— Да, — говорит Опшерман.

— Номер четырнадцать, значит, есть, — удовлетворенно говорит другой и вычеркивает его имя в списке.

— Вы должны немедленно покинуть это учреждение. Следуйте за мной, — приказывает первый, с двумя звездочками.

— Профессор Опшерман только что произвел операцию, — вмешивается сестра Елена. Это уже не ее обычный тихий голос, ее круглые карие глаза огромны от гнева. — Необходимо, — сдержанно говорит она, — чтобы больной еще некоторое время оставался под наблюдением профессора.

— У нас есть приказ выставить этого человека на улицу, — заявляет тот, что о двух звездочках. — Мы обязаны выгнать отсюда всех еврейских врачей во имя очищения Германии, — торжественно изрекает он заученную фразу, старательно избегая диалектных словечек. — И точка.

Одна из сестер тем временем вызвала тайного советника Лоренца. Он с грохотом вваливается в коридор, и огромный, в развевающемся халате, подавший краснойлицей головой вперед, движущейся горой устремляется на непрошенных гостей.

— Что здесь происходит, сударь? — громыкает он, и слова, точно обломки скал, вылетают из его сверкающего золотом зубов рта. — Что вы себе позволяете? Я здесь хозяин. Понятно? — Тайный советник Лоренц — один из популярнейших врачей в стране; пожа-

луй, самый популярный; даже кое-кто из ландскнехтов знает его по портретам в иллюстрированных журналах. Субъект о двух звездочках приветствует его древнеримским жестом.

— Национальная революция, господин профессор,— поясняет он.— Жидов гнать отовсюду. У нас приказ выбросить их из клиники, всего двадцать четыре штуки.

— Придется вам, милостивые государи, выбросить за одно и двадцать пятого, старый Лоренц здесь не останется.

— Как угодно, господин профессор,— говорит тип с двумя звездочками.— Мы действуем по приказу.

Седовласый «Бойся бога» впервые в своей жизни чувствует полное бессилие. Он видит теперь, что профессор Опперман был прав: охватившая страну болезнь не острая, а хроническая. Он вступает в переговоры.

— Оставьте в покое хотя бы профессора Оппермана. Я ручаюсь за то, что он уйдет из клиники.

Ландскнехт в нерешительности.

— Ладно,— говорит он наконец.— Беру на свою душу. Вы гарантируете мне, господин профессор, что этот человек не прикоснется больше ни к одному арийцу и в течение ближайших двадцати минут покинет это здание. Помните, мы ждем.— Молодчики отпускают Эдгара и уходят.

Но через несколько минут они возвращаются.

— Какой это бессовестный ариец позволил сегодня этому еврею оперировать себя? — осведомляются они.

Старик Лоренц ушел. Вместо него доктор Реймерс пытается урезонить их.

— Не хватит ли на сегодня, господа хорошие? — Он старается сдерживать себя, но в голосе его слышится тихое рычание.

— Заткнитесь, пока вас не спрашивают,— обрывает его тип с двумя звездочками.

Какой-то студент ведет их к оперированному. Они входят в палату. Реймерс за ними. Эдгар, чуть пошатываясь, машинально семенит вслед.

Анестезия при операциях дыхательных путей затруднительна. Эдгар Опперман придумал специальный

способ для таких случаев. Больной Петер Дейке находится в сознании, но под действием большого количества морфия. Голова его представляет собой сплошную белую повязку. Блуждающим невидящим взглядом блестящих глаз смотрит он на ворвавшихся. С искаженным от ужаса лицом, широко раскинув руки, стоит перед кроватью дежурная сестра. Ландскнехты твердыми шагами подходят к дрожащей женщине и отстраняют ее. Нацисты — народ организованный, они все предусмотрели, в руках у них резиновая печать.

— Сволочь, — говорят они Петеру Дейке и ставят ему на перевязку печать: «Я, потерявший всякий стыд, позволил еврею лечить себя». Крикнув затем: «Хейль Гитлер!» — они по-военному, строем, спускаются с лестницы.

Эдгар, словно лишенный воли, словно его тянут на веревке, все время машинально семенит за ними в тупой, бессильной задумчивости. Сестра Елена берет его под руку и ведет в директорский кабинет. Зовет старика Лоренца. Эдгар и Лоренц стоят друг против друга, оба очень бледные.

— Простите, Опперман, — говорит Лоренц.

— Вы не виноваты, коллега, — с трудом, сухо и хрипло произносит Эдгар и несколько раз автоматически пожимает плечами. — Что же, пойду, пожалуй, — говорит он.

— Халат хоть снимите, Опперман, — просит Лоренц.

— Нет, — отвечает Эдгар, — не нужно. Спасибо, коллега. Хотя бы халат я хочу взять с собой.

— Ради бога, Мартин, не ездь ты завтра в контору, — просила Лизелотта вечером, накануне бойкота. Она слышала, что много евреев убито или умерло от полученных нобоек, слышала, что евреев истязают, знала, что все больницы в стране переполнены изуверченными людьми. — Не ездь завтра в контору, — просила она, вплотную подойдя к Мартину. — Обещай мне.

Мартин достал пенсне, долго протирал стекла. Волосы его поседел и поредели, спина округлилась, щеки обвисли.

— Не сердись на меня, Лизелотта, — сказал он, — но я поеду в контору. А ты не бойся. — Он похлопал ее, чего никогда раньше не делал, тяжелой волосатой рукой по плечу. — Ничего со мной не случится, — продолжал он. — Я хорошо знаю границу, за которую переступать нельзя. Я поумнел, Лизелотта. — Он как-то чудно покачал головой. Он уже не думал о самообладании и достоинстве. Говорил больше, чем раньше, и порою хитро, понимающе подмигивал. Он стал похож на Эммануила Оппермана и даже на шурина своего Жака Лавенделя. Лизелотта с изумлением следила за этими переменами. Мартин постарел, но он казался мужественней, закаленней, он глубже знал жизнь и людей. Она очень любила его.

Она не настаивала больше. Оба молчали. Она думала о катастрофе, о последних часах Бертольда. Не было такой минуты, когда бы она не думала о нем. Снова и снова подходила она к двери, как в тот раз, когда она услышала хрипение мальчика. Она увидела, что он лежит, вытянувшись, на спине. Подняла его руку, рука безжизненно упала, подняла ногу, и нога упала как деревянная. А он еще хрипел, дышал, пульс бился; он жил еще. И все же он был мертв, тело было холодное и белое. Ничем нельзя было привести его в сознание. Врачи снова и снова промывали ему желудок, согревали его, искусственно вводили пищу, чай с коньяком, молоко, давали сердечные лекарства. Она вспоминает множество незнакомых слов: кардиазол, дигален, строфантин, эйтонон. Три дня он лежал в таком состоянии, жил, но был мертв, ибо все знали, что нет средства спасти его. Кислородная подушка не помогала, промывание желудка не помогало; он лежал, хрипел, он не проглатывал слизи, наполнявшей полость зева, и тело его было холодным и белым. Пульс бился медленно и наконец остановился. Но Бертольд был мертв уже тогда, когда она впервые услышала его хрипение. И она это знала. Не она, а Мартин все твердил врачам: «Сделайте же что-нибудь, помогите ему».

Она знала, что никто не в состоянии помочь. Она одна могла помочь, но она этого не сделала. Она всю вину берет на себя. У Мартина свои заботы. Уберечь мальчика была ее обязанность.

И все же безудержность горя Мартина служила ей утешением. Он кричал, выл, метался как безумный. Он вновь и вновь перечитывал рукопись Бертольда, отдал ее переписать и потом, как безумец, положил эту рукопись вместе с грамотой Мольтке в гроб Бертольду. В знак траура сидел, по старинному еврейскому обычаю, на полу, надорвав одежды. Собрал девять набожных евреев и читал с ними поминальную молитву.

После семидневного траура по сыну он стал другим человеком. Но именно в этом новом Мартине Лизелотта узнала того Мартина, которого всегда чувствовала в нем. Она открывала в нем качества, нравившиеся ей в шурине Жаке Лавенделе, изворотливость в борьбе за то, что он считал правильным, пренебрежение к внешним формам, настойчивую гибкость, если вопрос шел об интересах нужного дела. Мартин и Лизелотта, без лишних слов, стали друг другу ближе, роднее.

Никогда не говорили они о Бертольде.

Зато Мартин теперь часто делился с Лизелоттой всякими деловыми заботами. Не прекословя, принимал унижения от Вельса, но с тем большим упорством и умом отстаивал то, что ему казалось важным. Магазин на Гертраудтенштрассе раньше чем через год отойдет в «Немецкую мебель», но Мартин работает так, словно забыл об этом. Он принимает к себе еврейских служащих, уволенных по требованию Вельса из магазинов «Немецкая мебель».

В субботу, в день бойкота, он, как всегда, отправился в контору. По дороге разглядывал взбудораженную, любопытную толпу, глазевшую, как проводится бойкот. Он видел плакаты в витринах, слышал хоровую декламацию фашистских ландскнехтов. И только покачивал головой. Бойкот этот, как почти все, что делали нацисты, был пустой комедией. Официальный мотив, будто таким путем правительство хочет заставить замолчать цивилизованный мир, возмущенный

погромами, был нелеп. Сами министры вынуждены были признать, что обвинения в истязаниях не устранить новыми избиениями избитых. Истинные причины бойкота заключались не в этом. Четырнадцать лет подряд фашистские главари обещали своим приверженцам, что те смогут безнаказанно убивать евреев, грабить их жилища и магазины, но как только дошло до дела, сами же, под давлением негодующего мира, были вынуждены попридержать свою свору. Поэтому им понадобился такой демонстративный бойкот, они надеются с его помощью хотя бы сколько-нибудь успокоить разочарованных.

Мартин попросил Францке остановить машину на углу, он хотел без помех удостовериться, как обстоит дело с магазином. Придя к власти, нацисты имя Опперманов не забыли. Они поставили перед небольшим магазином на Гертраудтеништрассе больше десятка ландскнехтов во главе с начальником, украшенным двумя звездочками на воротнике. Все витрины были густо заклеены плакатами: «Не покупайте у евреев». Они раздобыли где-то портрет Эммануила Оппермана и для смеха наклеили на него плакат: «Жид, сгинь, пропади!» — так, словно эти слова вылетают у него изо рта. Молодые ландскнехты орали хором: «Евреи — ваша беда», — а в последней витрине Мартин заметил крупную надпись: «Пусть у этого еврея отсохнут руки». Он поглядел на свои розовые волосатые руки. «Надо полагать, они отсохнут еще не скоро», — усмехнулся он про себя.

Он подходит к главному подъезду. Старый швейцар, с суровым лицом и снежно-белыми усами, стоит на своем месте. Но он не толкает перед Мартином врачающуюся дверь. Ландскнехты повесили ему на шею плакат: «Жид, сгинь, пропади!» Он смотрит на своего патрона смиренно, беспомощно, тая ярость и надежду: здороваясь с ним, Мартин, против обыкновения, снимает шляпу и говорит:

— Добрый день, Лещинский, — но ничего не принимает. Теперь он поумнел. Когда он собирается толкнуть дверь, к нему подходит начальник с двумя звездочками.

— Разве вы не знаете, сударь, что сегодня день еврейского бойкота? — говорит он.

— С вашего разрешения, я хозяин этого магазина, — отвечает Мартин. Ландскнехты окружили их, остановились и некоторые зеваки, все молча, с любопытством следят за этой сценой.

— Вот как, — говорит начальник. — Важная птица, значит.

И Мартин под взглядами собравшихся проходит в свой магазин.

Все служащие на месте, но покупателей в магазине ни души. В конторе сидят господин Бригер и господин Гинце. Господин Гинце все-таки повесил портрет Оппермана в военной форме и с Железным крестом первой степени на груди. Внизу Гинце проставил большими четкими буквами: «Пал за отечество 22 июля 1917 года».

— Напрасно вы это сделали, Гинце, — угрюмо говорит Мартин. — Напрасно вы вообще пришли. Вы только себе повредите, а нам ничем не поможете.

— Есть какие-нибудь новости? — поворачивается он к Бригеру.

— Пока все проходит довольно мирно, — говорит Бригер. — По дороге сюда на Бургштрассе я видел такую сцену: перед табачной лавчонкой еврея стоял на посту нацист. Он посмотрел на часы: десяти, то есть часа, когда официально начинался бойкот, еще не было. Парень снял с себя плакат, вошел в магазин, купил пачку сигарет, вышел и снова надел свой плакат. Те, что стоят около нас, с большим интересом осматривали витрины и осведомлялись о ценах. Я убежден, что они клюнут, если, конечно, начальники не предложат им не утруждать себя платой за вещь, которая им приглянулась. Сегодня, по-видимому, их лозунг не будет иметь большого успеха. Пока было целых шесть покупателей, среди них один, несомненно, гой, видимо иностранец, он размахивал у них перед носом паспортом. Пришел он явно из желания досадить им, потому что купил всего-навсего на шестьдесят пфеннигов какой-то запасный штифтик для стула. Была старуха Литценмайер. Они не хотели ее впустить, но она заявила, что

еще мать ее всегда покупала здесь и что ей обязательно сегодня хотелось присмотреть новую кровать для своей горничной. Они срезали ей косу и поставили печать: «Я, бессовестная, покупала у евреев».

— Что было с Лещинским? — спросил Мартин.

— Старик наш очень разошелся, — улыбнулся Бригер. — Он крикнул им, кажется, «бандиты» или что-то в этом роде. «Коричневые» попались добродушные, они не сволокли его в казармы, а только повесили ему на шею плакат.

Время тянулось страшно медленно.

— Вот, господин Опшерман, мы наконец и празднуем субботу на Гертраудтенштрассе, — сказал Бригер. — Я всегда вам говорил, что это следует делать.

Потом в контору вошли два ландскнехта. Они предъявили счет за наклейку плакатов. Было наклеено восемнадцать плакатов да один повесили на швейцара. По две марки за плакат, в общей сложности, следовательно, тридцать восемь марок.

— С ума вы сошли? — возмутился Гинце. — Нам платить за то, что вы...

— Тише, Гинце, — остановил его Мартин.

— Таков приказ, — сухо, по-солдатски, отчеканили оба ландскнехта. — Приказ один по всей стране.

Закусив от злости губу, Гинце выписал ордер на кассу на выплату тридцати восьми марок.

— Две марки за плакат. — Бригер покачал головой и свистнул сквозь зубы. — Цены ваши кусаются, господа. Наши декораторы взяли бы не больше тридцати пфеннигов за штуку. Нельзя ли уступить хоть полмарки?

Ландскнехты стояли, тупо глядя в пространство. Получив ордер, крикнули «Хейль Гитлер!» и ушли.

Такие же плакаты были вывешены в этот день в 87 204 помещениях — в приемных еврейских врачей, в конторах еврейских адвокатов, в еврейских магазинах. В Киле одного адвоката, не захотевшего уплатить за плакаты и вздумавшего защищаться, поволокли в полицию и там линчевали. Сорок семь евреев покончили в эту субботу жизнь самоубийством.

Около двух часов дня Лизелотта заехала за Марти-



пом. У входа в магазин к ней подошел начальник отряда и напомнил о бойкоте.

— Я жена владельца магазина,— очень громко сказала Лизелотта. Ландскнехты посмотрели на высокую светловолосую женщину.

— Стыдитесь,— сказал начальник и презрительно сплюнул.

Через десять минут Лизелотта вышла из магазина через главный подъезд под руку с Мартином.

В главную контору на Гертраудтенштрассе пришел Маркус Вольфсон: из «Немецкой мебели» его уволили.

— Ладно, Вольфсон,— сказал Мартин.— Вы можете поступить ко мне.

В тот же день к Мартину явился упаковщик Гинкель, председатель нацистской группы мебельной фирмы Опшерман. Крича на Мартина, он потребовал, чтобы Мартин отменил свое распоряжение о принятии господина Вольфсона и еще трех евреев, а вместо них взял бы трех «арийцев».

— Я полагаю,— мягко сказал Мартин,— что вы прсышаете свои полномочия, Гинкель.— И Мартин показал Гинкелю газетную вырезку, в которой было сказано, что вмешиваться в управление предприятием имеют право исключительно официальные инстанции, но не руководители отдельных групп нацистов. Упаковщик Гинкель злобно взглянул своими узенькими глазками на своего патрона.

— Во-первых,— сказал он,— когда я в форме, вы обязаны называть меня «господин Гинкель». Во-вторых, постановление, которое вы мне показали, напечатано для заграницы и меня не касается. В-третьих, я доложу о вашем поведении в соответствующие инстанции.

— Отлично,— согласился Мартин.— А теперь, господин Гинкель, постарайтесь, чтобы партия товара для Зелигмана и К<sup>о</sup> была наконец отправлена. Господин Бригер говорил мне, что остановка только за вами: товар надлежало отправить еще вчера.

— Работа во имя национального подъема стоит на первом месте,— заявил упаковщик Гинкель.

В тот же день Франц Пинкус, деловой знакомый Мартина, показал ему письмо следующего содержания: «Несмотря на неоднократные напоминания, вы до сих пор не уплатили мне. Настоящим письмом предоставляю вам последнюю возможность внести деньги. Если в течение трех дней я не получу следуемой мне суммы, я как националист передам дело в соответствующую инстанцию, с тем чтобы магазин ваш закрыли, а вас заключили в концентрационный лагерь, ибо вы пытаетесь понесенные вами вследствие бойкота убытки переложить на ваших поставщиков. Обновленная Германия наставит вас на путь истины. Примите уверения в нашем почтении. Братья Вебер (наследники)».

— Как вы намерены поступить? — спросил Мартин.

Господин Пинкус внимательно посмотрел на Мартина.

— В его счетах есть спорная сумма в семь тысяч триста сорок три марки. Я сказал, что, если он мне раздобудет визу на выезд, я уплачу.

В следующую ночь, под утро, они пришли к Мартину Опперману на Корнелиусштрассе. Оттолкнув оторпевшую горничную, один из них, с револьвером и резиновой дубинкой в руках, вошел в спальню Лизелотты и Мартина. Четверо или пятеро последовали за ним.

— Вы господин Опперман? — вежливо спросил старший.

— Да, — сказал Мартин. Голос его прозвучал ворчливо, но не от испуга и не от неприязни, а просто со сна. Лизелотта вскочила и огромными испуганными глазами глядела на них. Она слышала отовсюду, что попасть в руки регулярной полиции считалось теперь в Германии счастьем. Но горе тому, кто попадал в руки к «коричневым». А это были «коричневые».

— Что вам нужно от нас? — боязливо спросила она.

— От вас, сударыня, нам ничего не нужно, — сказал старший. — А вы, — обратился он к Мартину, — одевайтесь и ступайте за нами.

— Отлично, — сказал Мартин. Он усиленно соображал, какой пост может занимать в армии ландскнехтов этот субъект. Их различают по нашивкам на воротнике,

которые называются «зеркалом». У Вельса были четыре звездочки. У этого две. Но что это за чин такой, Мартин никак не мог вспомнить. Он спросил бы, но парень, наверно, принял бы его вопрос за издевку. В общем же Мартин был спокоен. Он знал, что в фашистских казармах зачастую убивали; ему называли даже имена убитых; во всяком случае, невредимым оттуда мало кто выходил. Но как ни странно, а страха Мартин не чувствовал.

— Будь спокойна, Лизелотта,— сказал он.— Я скоро вернусь.

— Это зависит, пожалуй, не только от вас,— заметил ландскнехт о двух звездочках.

Они втолкнули его в такси. Мартин сидел, вяло опустив плечи, полускрыв глаза. Ну, что они могут сделать с ним? Впрочем, что бы с ним ни случилось, Лизелотта обеспечена.

Конвоиры Мартина вполголоса переговаривались.

— Сразу, что ли, поставим к стенке?

— Надеюсь, что допросить его поручат нам, а не тридцать восьмому.

Мартин безмолвно покачал головой. Что за мальчишеские методы. Они хотят, чтобы он уволил своих еврейских служащих. Они, может быть, попытаются истязаниями вынудить его пойти на это. Крупных коммерсантов, директоров фабрик и заводов волокли в казармы ландскнехтов и концентрационные лагеря, чтобы заставить их «добровольно» покинуть свои предприятия или отказаться от тех или иных своих прав. Нацисты хотят присвоить себе всю промышленность, созданную руками пятисот тысяч евреев. Они хотят захватить их магазины, конторы, должности, деньги. Для этой цели хороши любые средства. Вопреки всему Мартин внутренне спокоен. Вряд ли они долго продержат его. Лизелотта будет звонить во все концы, Мюльгейм будет звонить во все концы.

Его привели на верхний этаж, в почти пустую комнату. За столом сидел человек о четырех звездочках, за пишущей машинкой другой, без звездочек. Тот, что о двух звездочках, доложил:

— Штурмфюрер Керзинг с арестованным.

«Да, да,— вспомнил Мартин,— с двумя звездами — это штурмфюрер». Мартину задали обычные предварительные вопросы. Затем появился высший чин в более блестящей форме, на воротнике были уже не звездочки, а листик. Владелец листика сел за стол. Стол был довольно большой, на нем стоял подсвечник с зажженными свечами, бутылка пива и несколько книг, похожих на своды законов. Новый начальник порывлся в книгах. Мартин разглядывал подсвечник. Нелепая инсценировка, думал он, и это в век Рейнгардта. У нового, стало быть, листик на воротнике. Впрочем, это не просто листик, а дубовый листик. В этих вещах они очень педантичны.

— Ваше имя Мартин Опперман? — спрашивает тот, что с дубовым листиком.

Пора бы им знать это, думает Мартин. Штандарт это называется, вспоминает он вдруг. С дубовым листиком, это штандартенфюрер. О, это уже совсем большой начальник, настоящий атаман разбойников.

— Да,— говорит он.

— Вы отказались подчиниться распоряжению правительства? — раздается из-за подсвечника.

— Мне об этом ничего не известно,— говорит Мартин.

— В настоящий момент,— сурово говорит тот, что с листиком,— неподчинение предписаниям фюрера рассматривается как измена.

Мартин пожимает плечами.

— Я не подчинился только распоряжению моего упаковщика Гинкеля, о котором мне неизвестно, что он облечен какими-либо официальными полномочиями.

— Запишите,— резюмирует тот, что с листиком,— обвиняемый отрицает свою вину и увиливает.

Тот, что с двумя звездочками, и еще трое свели Мартину на площадку первого этажа, а оттуда еще ниже по плохо освещенной лестнице. «Это, стало быть, и есть подвал»,— подумал Мартин. Шли в полном мраке по какому-то длинному коридору. Мартина грубо схватили за руки.

— Эй, ты, иди в ногу,— сказал голос. Коридор казался очень длинным. Сворачивали за угол раз и еще

раз. Кто-то посветил Мартину в лицо электрическим фонарем. Потом поднялись на несколько ступенек.

— Держи шаг! — крикнули ему и толкнули в спину. Что за мальчишеские приемы, думал Мартин.

Его водили по каким-то коридорам, вдоль и поперек, и наконец втолкнули в довольно большое полутемное помещение. Здесь уже было хуже. На полу и на нарах лежало человек двадцать — тридцать, полуголые, кровоточащие, стонущие. Страшно было глядеть.

— Когдаходишь куда-нибудь, говори «Хейль Гитлер», — скомандовал один из конвоиров и толкнул Мартина в бок.

— Хейль Гитлер, — послушно сказал Мартин. Они протискивались сквозь ряды изуверченных, стонущих людей. Пахло потом, кровью, экскрементами.

— В четвертой камере мест больше нет, — сказал тот, что о двух звездочках.

Мартина повели в другое помещение. Оно было меньше первого и очень ярко освещено. Несколько человек стояло лицом к стене.

— Становись сюда, жид, — сказали ему.

Мартин стал в ряд с другими.

Грамофон играл гимн «Хорст-Вессель».

С дороги прочь! Шагают батальоны!

С дороги прочь! Здесь штурмовик идет!

Глядят на свастику с надеждой миллионы —

Свобода, хлеб — для нас заря встает.

— Петь! — раздалась команда. Взвились резиновые дубинки, и стоящие лицом к стене запели. Пластинку с гимном сменила пластинка с речью фюрера. Вслед за ней снова последовал гимн «Хорст-Вессель».

— Приветствие! — раздалась команда. Люди у стены воздели руки древнеримским жестом. Если кто-нибудь недостаточно прямо держал руку или палец, на руку или палец со свистом опускалась резиновая дубинка. Снова команда «петь!». Так продолжалось некоторое время. Потом грамофон замолк. В комнате наступила тишина.

Тишина длилась около получаса. Мартин страшно устал и осторожно чуть-чуть повернул голову.

— Стой смирно! — крикнул позади него голос, и Мартина полоснули дубинкой по плечу.

Было больно, но не очень. Опять завели граммофон. «Иголка притупилась, — подумал Мартин, — а я зверски устал. Но когда-нибудь им надоест любоваться моей спиной».

— А теперь помолимся. Читайте «Отче наш», — приказал голос. Послушно прочитали «Отче наш». Мартин давно уже не слышал этой молитвы и имел о ней лишь смутное представление. Он внимательно прислушивался к словам, в сущности, слова хорошие. Граммофон возвестил двадцать пять пунктов программы «коричневых». «Вот наконец я в некотором роде и тренируюсь, — подумал Мартин. — Лизелотта, верно, висит теперь на телефоне и звонит во все концы. Мюльгейм тоже. Лизелотта, вот что мучает».

Простоять два часа как будто пустяки. Но для человека под пятьдесят, непривычного к физическому напряжению, это нелегко. Резкий свет и его отражение на стене терзал глаза, кваканье граммофона — уши. В конце концов часа через два, — Мартину они показались вечностью, — тюремщикам действительно наскучило смотреть на его спину. Они приказали ему повернуться и опять долго вели по лестницам и темным коридорам, пока наконец не втолкнули в маленькую комнату, весьма скудно освещенную. На этот раз за столом, на котором горели свечи, сидела личность о трех звездочках.

— Есть у вас какое-нибудь пожелание? Может, хотите сделать предсмертное распоряжение? — спросила личность.

Мартин помолчал.

— Кланяйтесь господину Вельсу, — загадочно сказал он.

Личность неуверенно взглянула на него.

Снова окружили его ландскнехты. Мартин с удовольствием поговорил бы с ними, но он очень устал. Его привели к упаковщику Гинкелю. Гинкель был в штатском.

— Я поручился за вас, господин Опперман, — сказал Гинкель, испытующе глядя на Мартина узенькими

глазками.— В конце концов мы много лет проработали вместе. Дайте расписку, что вы подчинитесь постановлениям местной группы и уволите четырех человек по нашему указанию,— и вы свободны.

— Я вижу, господин Гинкель, что вы желаете мне добра,— миролюбиво ответил ему Мартин,— но здесь я не веду деловых разговоров: о делах я разговариваю только на Гертраудтеништрассе.

Упаковщик Гинкель пожал плечами.

Мартину увели в маленькую камеру и указали ему на нары. У него болела голова. Болело теперь плечо, по которому ударили. Он пытался вспомнить слова «Отче наш». Но их вытесняла древнееврейская молитва по усоншим, которую он недавно так часто произносил. Как хорошо, что его оставили одного. Он был очень измучен. Но свет не выключили, и это мешало заснуть.

Еще до рассвета его вновь привели в помещение, где происходил первый допрос. Теперь за столом со знакомым Мартину подсвечником сидел малый не с дубовым листиком, а всего лишь с двух звездочках.

— Вы свободны, господин Опперман,— сказал он.— Осталось выполнить несколько формальностей. Будьте добры подписать это.

Мартину предложили подписать письменное свидетельство о том, что с ним хорошо обращались. Мартин прочитал бумажку, покачал головой.

— Если бы я так обращался с моими подчиненными, не знаю, подписали ли бы они такую бумажку.

— Надеюсь, вы не хотите этим сказать, что с вами здесь плохо обращались? — зашипел на него молодчик.

— Не хочу ли я? — сказал Мартин.— Ладно, я не скажу этого.— Он подписался.

— Теперь вот это еще,— сказал молодчик. Он положил перед Марином ордер на уплату двух марок: марка за помещение, марка за питание и услуги. «Музыка, значит, бесплатно»,— подумал Мартин. Он уплатил две марки, получил квитанцию.

— До свиданья,— попрощался он.

— Хейль Гитлер,— ответил тип с двух звездочках.

Выйдя на улицу, Мартин почувствовал вдруг отчаянную слабость. Шел дождь, улицы были безлюдны,

до утра оставалось много времени. Не прошло еще и суток с тех пор, как его взяли. Добраться бы как-нибудь до дому. Ноги совсем не слушаются. Полцарства за такси. Вот стоит полицейский. Он пристально смотрит на Мартина. Может быть, он принимает его за пьяного, а может быть, догадывается, что Мартин вышел из казармы ландскнехтов. Регулярная полиция ненавидит фашистских ландскнехтов, называет их «коричневой чумой». Так или иначе, полицейский подходит к Мартину и дружелюбно спрашивает:

— Что с вами, сударь? Вы нездоровы?

— Не раздобудете ли вы мне такси, господин вахмистр,— говорит Мартин.— Мне в самом деле не по себе.

— Есть, сударь,— говорит полицейский.

Мартин садится на ступеньки ближайшего подъезда. Он закрыл глаза. Плечо болит теперь не на шутку. Вероятно, странное зрелище представляет собой шеф мебельной фирмы Опперман, околачивающийся среди ночи на улице, растерзанный, в синяках. Но что за блаженство не стоять, а сидеть и, когда хочется, закрыть глаза. Как ни плохо ему, он все же отдыхает. И как приятно охлаждает мелкий дождик. Вот и такси. Полицейский помогает ему сесть, и он из последних сил бормочет адрес. Он сидит в такси, вернее, лежит и, что совсем не присуще ему, храпит. То ли это храп, то ли хрипенье.

Подъехав к дому на Корнелиусштрассе, шофер звонит у подъезда. Открывает сама Лизелотта, за нею показывается полуодетый швейцар, оторопелый и обрадованный. С помощью швейцара Лизелотта ведет Мартина наверх. В «зимнем саду» он свалился. Опустился в кресло, закрыл глаза, заснул, храпит. Проснувшись и горничная, она вбегает, видит Мартина, радуется и ужасается.

Как и предполагал Мартин, Лизелотта действительно целый день висела на телефоне. Она стойкая женщина, но за последние месяцы ей слишком много пришлось пережить. О том, что творится в фашистских застенках, рассказывали жуткие вещи. Адвоката Иозефи они замучили до смерти; когда он вернулся до-



мой, оказалось, что у него отбиты почки. Врачи только и говорили, что об ужасном состоянии заключенных, побывавших в руках ландскнехтов. Лизелотте мерещились всякие ужасы. И вот теперь, глядя на Мартина, свалившегося и храпящего в кресле, в неудобном опермановском кресле, какими уставлен их «зимний сад», она чувствует, что самообладание покидает ее. Она кричит, несмотря на присутствие горничной, светлое лицо ее краснеет и искажается, крупные слезы бегут по щекам; она воит истошным голосом, она бросается к спящему мужу, ощупывает его. Он просыпается, сонно щурится, что-то вроде улыбки мелькает у него на лице.

— Лизелотта, — говорит он, — ну, ну, Лизелотта, не надо так плакать.

И опять он закрывает глаза и храпит. С помощью горничной Лизелотта укладывает его в постель.

Густав на небольшом уютном пароходике переезжает озеро Лугано. Он возвращается из деревушки Пиетра, где смотрел дом, который собирается снять или купить. Его берлинский особняк конфискован фашистами, ясно, что в Берлин ему скоро не вернуться.

Если он снимет в Пиетре дом, он, вероятно, поселится там не один. Возможно, что Иоганнес Коган останется здесь подольше; Густав попытается уговорить его пожить с ним в горах несколько месяцев.

Да, завтра приезжает в Лугано друг его юности, Иоганнес Коган. Третьего дня Густав получил от него телеграмму. Густав взволнован: страшиться ему этой встречи или радоваться? Все его существо взбудоражено. Так или иначе, а без стычек у них не обойдется.

С этим Иоганнесом трудно ладить, но и порвать с ним трудно. Годы, десятки лет Густав ссорится с ним; сотни раз он говорил себе: ну, теперь точка. Но он никогда не ставил этой точки. Иоганнес Коган из тех людей, которые доводят человека до белого каления, спибают его с ног, навязывают ему новые мысли, но тот, кто по-настоящему поймет Иоганнеса, всегда будет тянуться к нему.

Вот уже больше года, как Иоганнес ничего не давал знать о себе. Он даже не поздравил Густава с пятидесятилетием. А между тем поступок Густава не мог послужить поводом к разрыву даже для самого обидчивого человека. В прошлую зиму, в пору, когда особенно усилились бесчинства студентов, Густав написал ему, настойчиво советуя бросить наконец профессию в Лейпциге. Разве Иоганнес не добился чего хотел? Его книга «О коварстве идеи, или Есть ли смысл в мировой истории» получила всемирную известность, и множество иностранных университетов наперебой предлагали ему кафедру. Тогда лейпцигский сенат, ранее бывший против его кандидатуры, предложил ему должность ординарного профессора философии в Лейпцигском университете. Можно было удовольствоваться уже самим этим фактом. Лейпцигские студенты попросту не желали Иоганнеса. Они буянили через каждые два дня. Между тем он мог бы лучше и спокойнее жить литературным трудом. Что заставляло его, который так не выносил саксонского говора, жить именно в Лейпциге, в совершенно невозможной обстановке, среди студентов, грубивших ему на каждом шагу, да еще на своем саксонском наречии? Что за интерес сидеть на кафедре и дожидаться, пока полиция водворит порядок, чтобы получить возможность начать лекцию? Почему он стремится учить студентов, которые вовсе не желают учиться? Ведь достойных он может учить и через свои книги.

Обо всем этом ровно четырнадцать месяцев тому назад написал Густав своему другу Иоганнесу Когану. Но Иоганнес не ответил ему. И с тех пор вообще не давал о себе знать. Густав не признавался себе, но весь этот год молчание друга его жестоко обижало. А сам Иоганнес присвоил себе право всех и все издевательски, зло критиковать. В годы их совместного учения Иоганнес, бывало, занимая у Густава деньги, нередко тут же грубо высмеивал его. А когда ему, Иоганнесу, хочешь дать совет, осторожно, по-дружески, он с досадой отмахивается или, хуже того, больше года высокомерно молчит. Оказалось, однако, что Густав был прав тогда: фашиствующие студенты с улюлюканьем прогнали Иоган-

неса из университета. Но, бог свидетель, Густав не торжествовал. Конечно, упорство, с которым его друг не оставлял своего поста, ужасно раздражало Густава, но в глубине души он уважал Иоганнеса за это упорство, хотя оно и было неблагодарно; он завидовал Иоганнесу. Больше того: его настойчивость, честно говоря, была вечным укором Густаву.

Он вздохнул с великим облегчением, получив несколько дней назад письмо от Иоганнеса. Ему льстило, что Иоганнес, когда понадобилась дружеская поддержка, обратился именно к нему. Он тут же телеграфировал, чтобы Иоганнес выехал. Завтра, значит, он будет здесь. Густав ходил взад и вперед по палубе маленького пароходика твердым, быстрым шагом, ступая на всю ногу. Перед ним вставало смугло-желтое, остроносое, умное, подвижное, высокомерное лицо друга. Густав с удовольствием думал о предстоящем ему духовном массаже.

Давно уже не было на озере Лугано такой прекрасной весны, как в этом году. Было очень тепло, и все вокруг зацветало буйным и нежным цветом. Хорошо было бы уговорить Иоганнеса пожить несколько месяцев в этой горной деревушке. Вынужденный отъезд из Берлина представляется вдруг Густаву истинным даром судьбы. Разве это не дар, когда человек в пятьдесят лет получает возможность еще раз до самого основания перестроиться? С помощью Иоганнеса это, пожалуй, может выйти.

Пароходик причалил. Густав пошел по бульвару набережной. Приходилось раскланиваться со множеством знакомых. Но ему хотелось быть одному. Он прошел в самый конец бульвара, сел на скамью.

Много народу уехало из Германии, но во много раз больше осталось там. «Коричневые» не могут убить или засадить всех своих противников, так как их противники — это две трети населения. Приходится создавать какой-то *modus vivendi*<sup>1</sup>. В эту пору, когда устанавливается новый порядок, между фашистами и их врагами возникают самые необычайные отношения как

---

<sup>1</sup> Способ ужиться с кем-либо (лат.).

просто человеческого, так и делового порядка. Тысячи людей поднимаются на гребень волны, тысячи падают в пропасть. «Мы, как ведра на вороте колодца, судьба наполняет одно, осушает другое, вздымает высоко, спускает на дно, смыкает враждебное, непримиримое,—капризная, как малое дитя». Да, между теми, кто поднимается, и теми, кто падает, существовала всегда самая тесная связь, и теперь они это почувствовали. Преследователи то и дело предлагают преследуемым помочь удержаться на службе или сохранить состояние при условии, что преследуемые сделают их участниками своих благ; вся «национальная революция», если поближе к ней присмотреться,—это миллионы мелких сделок, основанных на взаимности.

Успокоенный прекрасным днем, весь во власти радостного ожидания друга, Густав беззлобно перебирал в памяти удивительные случаи, которые ему рассказывали.

Художник Гольстен, добродушный бахвал и далеко не первоклассный мастер, очень опустил ся. А во времена своего процветания он дружески обращался со своим камердинером и щедро одаривал его. Теперь этот камердинер служит у одного нацистского министра. Ему хотелось отплатить своему прежнему хозяину добром за добро. И ныне от художника Гольстена зависит, кого посадить заправилой во влиятельные союзы художников, кому дать государственные заказы.

Адвокат-националист, чуть ли не самый рьяный поборник изгнания евреев из юриспруденции, помог коллеге-еврею бежать за границу. «Я рассчитываю, коллега,—сказал он ему на прощание,—что в случае нужды вы окажете мне такую же услугу». Так многие теперешние властители пытаются обеспечить себе тыл на случай падения их режима.

Немного неприятно было думать о друге Фридрихе-Вильгельме Гутветтере. Густав прочел его последний очерк, в котором Гутветтер напыщенным, торжественным языком возвещал рождение «Нового Человека». Нацисты пели дифирамбы Гутветтеру, а в оппозиционных кругах о нем сожалели, нападали на него, высмеивали. Густаву, убежденному в безусловной честности Гутветтера, было бы приятнее, если бы очерк этот не

был написан. Вчера Густав получил письмо от Гутветтера. Гутветтер просит разрешения, ввиду того что поездка друга затягивается, пользоваться в его отсутствие библиотекой на Макс-Регерштрассе и временами работать там.

Мимо Густава, который беззлобно перебирал все эти факты, расценивал их, прошел молодой человек лет тридцати, крупного сложения, с костистым квадратным лицом. Густав знал его. Это был доктор Бильфингер из Южной Германии, владелец крупного состояния. Густав обратил на него внимание еще вчера и третьего дня. Молодой человек чем-то выделялся среди прочей публики: безупречно одетый, в иссиня-сером весеннем пальто, в крахмальном воротничке, он бродил всегда в одиночестве, держа шляпу в руках, погруженный в себя, устремив в пространство взгляд сильно прищуренных глаз. Увидев Густава, Бильфингер в нерешительности остановился, затем подошел и попросил разрешения присесть. Его, очевидно, что-то тяготило. С присущей ему непосредственностью и любезностью Густав подбодрил его. Да, сказал тот наконец, ему хотелось бы о многом поговорить, и именно с Густавом. Он кое-что слышал о нем от своего друга Фришлина. Он знает, что Густав тоже один из пострадавших, и ему хочется в некотором смысле просить у Густава прощения. Густава поразило упоминание о Фришлине. В сущности, в этом ничего неожиданного не было, к тому же — припомнилось ему — он несколько раз слышал от Фришлина имя Бильфингера. Но ему казалось, что в последнее время он почти намеренно забыл о Фришлине. Он подумал о рельсах-нитях на Бернском вокзале, и молодой Бильфингер показался ему вестником Фришлина. Густав взглянул на него. Доктор Бильфингер в своем сером пальто сидел подтянутый, строгий, его квадратное лицо с зачесанными наверх волосами — лицо человека, одержимого какой-то идеей, — внушало доверие.

— Так я слушаю вас, доктор Бильфингер, — еще раз сказал Густав.

Но Бильфингер не хотел говорить здесь, он не раз платился за подобное легкомыслие. Он обо всем рас-

скажет Густаву, но только в таком месте, где можно быть уверенным, что тебя не подслушает шпик. Он предложил Густаву поехать после обеда куда-нибудь за город. За городом можно без помехи говорить и слушать.

И вот они сидят, залитые солнцем, на зеленом холмике на берегу озера, и Бильфингер рассказывает. Он жил в Швабии, недалеко от Кюнцлингена, в поместье, которое должен со временем унаследовать у своего дяди — президента сената фон Даффнера. 25 марта Бильфингер поехал в Кюнцлинген, в банк за деньгами. Он видел, как отряды нацистов под командой штапдартенфюрера Клейна из Хейльбронна заняли Кюнцлинген, окружили синагогу, прервали субботнее богослужение, мужчин выгнали на улицу, а женщин заперли, не сказав им, куда угоняют мужчин. Мужчин привели в ратушу и стали «искать у них оружие». Для чего могло понадобиться людям, идущим в синагогу, оружие, осталось невыясненным. Как водится, людей избивали стальными хлыстами и резиновыми дубинками. Страшно было глядеть на этих несчастных, когда они вышли из ратуши. Семидесятилетний старец, некто Берг, умер в тот же день от разрыва сердца, как было потом официально заявлено. Бургомистр посоветовал евреям, когорые в большинстве своем пользовались в городе любовью и уважением, немедленно покинуть Кюнцлинген, так как он не может поручиться за их неприкосновенность. Но лишь немногие были в состоянии последовать его совету, большинство было приковано к постели.

Его, Бильфингера, история эта возмутила, и он в сопровождении своего дяди, вышеупомянутого господина фон Даффнера, поехал в столицу Швабии Штутгарт, где подал жалобу заместителю министра полиции. Последний, некто доктор Диль, немедленно вызвал кюнцлингенского бургомистра. Бургомистр, увиливая от прямого ответа, то подтверждал, то отрицал факт избиения. Любого, кто посмеет разгласить их «подвиги», нацисты грозили изувечить так, что он вовек не забудет. Для точного выяснения всех обстоятельств этого дела министр послал в Кюнцлинген специальную

комиссию под руководством двух полицейских советников, Вайценекера и Гейслера. Комиссия установила, что данные, сообщенные Бильфингером, далеко не исчерпывают сути дела. Однако расследование повлекло за собой лишь четырехдневное заключение в подследственную тюрьму одного из насильников; штандартенфюрера Клейна в виде наказания перевели в другой штандарт. В самой влиятельной газете Штутгарта об этих событиях сообщалось так: «Вблизи Мергентейма были произведены поиски оружия среди некоторой части населения. При обыске были допущены достойные порицания действия, вследствие чего один из обыскивавшихся задержан».

По профессии он, Бильфингер, юрист, юрист со специальным образованием, страстно преданный своему делу. Мысль, что деяния, явно преступающие четкие параграфы имперского уголовного кодекса, не наказуются, не давала ему покоя. Он стал присматриваться к тому, что творилось в районе Мергентейма, Ротенбурга и Крайльсгейма. Собрать проверенный материал было не так легко: потерпевшие жестоко запуганы, иные чуть не до сумасшествия. Им самим, женам их и детям пригрозили — если они пикнут, им несдобровать. И люди никого не подпускают к себе, боятся слово проронить. Но Бильфингеру все же удалось повидать и даже допросить кое-кого из раненых, говорить с заслуживающими доверия очевидцами, чиновниками регулярной полиции, врачами, которые пользовали пострадавших; он видел фотографические снимки. Нет никакого сомнения, что в этом районе имело место нарушение общественного порядка, организованные погромы, явное нарушение гражданского мира.

В местечке Бюнцельзее, например, «коричневые» пинками и побоями заставили тринадцать евреев пройти процессией по всем улицам; передний, держа в руке знамя, должен был при этом кричать: «Мы лгали, мы обманывали, мы предавали свое отечество!» Людям вырывали волосы из бороды и на голове, нещадно били их стальными хлыстами и резиновыми дубинками. В местечке Рейдельсгейм нацисты избили, наряду с другими евреями, одного учителя, отказавшегося составить спи-

сок еврейских фирм, подлежавших бойкоту. С криками: «Исидор, где твой список?» — они так его изувечили, что посетивший его вечером родственник, по фамилии Бинсвангер, при виде его ран скончался от паралича сердца. Лечивший пострадавшего врач-христианин доктор Штаупп попросил своего пациента не связывать его врачебной тайной: он не останется в этой Германии, он уедет и разгласит все, что здесь происходит.

В Вейсахе девятерых наиболее уважаемых евреев поставили в ратуше лицом к стенке. Начался «допрос». Если кто-либо, отвечая на вопрос, машинально поворачивал голову к спрашивающему, его били по щекам. Среди «допрашиваемых» таким способом находились двое бывших офицеров-фронтовиков, один из них потерял на фронте руку. Многие жители города, христиане, громко изъявляли свое негодование, свое возмущение.

В Оберштеттене умирала старуха еврейка. Ландскнехты увели от постели умирающей обоих сыновей и учинили в квартире разгром «в поисках оружия». Присутствовавший чиновник регулярной полиции заявил, что он не желает быть свидетелем такого бесчинства. Старуха так и скончалась в одиночестве. Чиновник лишился места.

Так как вюртембергские власти, рассказывал Бильфингер, ограничились четырехдневным арестом одного ландскнехта и, видимо, больше никого не собирались карать за погромы, то он и его дядя, президент сената, отправились в Берлин заявить протест руководящим деятелям нового режима. Но повсюду в ответ только пожимали плечами, а если они настаивали на своем, им отвечали резкостями. Вообще в Германии сейчас очень косо смотрят на частных лиц, вторгающихся в область юстиции. Одного референдария присудили к десяти месяцам тюрьмы за то, что он на основании официальных данных составил списки убитых во время политических стычек. В конце концов один благожелатель посоветовал Бильфингеру и его дяде спешно ретироваться за границу: им угрожал «превентивный арест». «Превентивный арест» — это административная мера. Ее применяют как для того, чтобы общество уберечь от преступников, так и для того, чтобы «преступника уберечь



от справедливого народного гнева», по выражению новых властителей. Любой начальник ландскнехтов или тайной полиции имеет право по собственному усмотрению произвести такой арест. В суд дело не передается, обвинительного акта арестованному не предъявляют, — ни обжалования, ни сроков не существует, адвокаты к защите не допускаются. Арестованных заключают в концентрационные лагеря. По идее это якобы исправительные заведения, соответствующие духу параграфа 562 Имперского уголовного кодекса. Концентрационные лагеря — самодержавное царство армии ландскнехтов, а они не терпят вмешательства никаких других властей. Ландскнехтов вербуют главным образом среди безработной молодежи. Они-то и призваны прививать профессорам, писателям, судьям, министрам, лидерам политических партий «качества, требуемые духом нового времени».

Обо всем этом Бильфингер повествовал, сидя на зеленом холмике над озером Лугано. Он говорил очень обстоятельно, сухим канцелярским языком, он не был хорошим рассказчиком. Его мягкий швабский говор странно контрастировал с содержанием того, что он рассказывал. Он сидел неподвижно, в иссиня-сером пальто, и говорил почти целый час, не упуская ни малейшей подробности. Густав слушал, сидя в неудобной позе, у него затекли ноги, но он почти не менял положения. Вначале он нервно мигал, но потом и взгляд у него застыл. Ни единым словом не прерывал он Бильфингера. Ему приходилось уже слышать и более страшные вещи, но протокольная сухость, с которой этот молодой человек излагал кровавые и грязные события, придавала им особую конкретность. Густав внимал ему всем существом. Он впитывал в себя каждое слово; оно целиком растворялось в нем, становилось ощущением, частью его самого.

Бильфингер говорил медленно, ровно, без пауз. До сих пор, сказал он, ему представлялась возможность описывать лишь отдельные случаи. А вот так, целиком, связно, без обиняков, деловито, как и подобает настоящему юристу, — он излагает все это впервые. Он настоятельно просит Густава правильно понять его. Его

волнует не наличие тех или иных преступлений, а факт их безнаказанности. Он, Бильфингер, насквозь немец, член «Стального шлема», но он вместе с тем и насквозь юрист. Нет ничего удивительного в том, что среди шестидесяти пяти миллионов населения есть убийцы, есть выродки, но как немцу ему стыдно, что отрицание права и нравственности, свойственное первобытному человеку, провозглашено мудростью нации и возведено в идеал и норму. Организованные еврейские погромы и расстрелы рабочих, утвержденная законодательством антропологическая и зоологическая бессмыслица, узаконенный садизм — вот что его так возмущает. Он происходит из старинной семьи юристов и считает, что жизнь без правовых норм теряет свою ценность. Ему нечего делать с правом, которое новые властители ввели вместо римского и которое основано на принципе — человек не равен человеку: «чистокровный немец» господин по рождению, он самой природой поставлен выше других и подлежит суду по иным правовым нормам, нежели «нечистокровный немец». Он, Бильфингер, при всем желании не может признать законом декреты фашистских «законодателей», ибо одну часть этих законодателей следовало бы, согласно правовым нормам, существующим решительно у всех белых народов, бросить в тюрьмы как преступников, а другую, согласно экспертизе авторитетнейших врачей, запереть в дома для умалишенных. Человек, который по правомочному приговору шведских судей настолько невменяем, что не годится в опекуны собственному ребенку, тем более не годится в опекуны тридцати восьми миллионам пруссаков. Германия перестала быть правовым государством. Он, Бильфингер, ни о чем другом не в состоянии теперь думать. Он считает, что чистый немецкий воздух отравлен, грубо говоря, зловонием, зачумлен всем происшедшим, а еще более тем, что все эти преступления не влекут за собой должного наказания. Жить в этой стране он больше не может. Он пренебрег всеми своими перспективами в Германии и покинул ее. С выражением ожесточенности на квадратном лице Бильфингер смотрел сквозь большие очки в золотой оправе прямо перед собой.

— Они уничтожили меру вещей, созданную цивилизацией,— сказал он желчно, яростно, беспомощно.

Густав молчал. «Они уничтожили меру вещей» — звучали у него в ушах слова его молодого собеседника. «Они уничтожили меру вещей». Густаву вдруг представился человек, измеряющий желтым складным метром небольшой предмет, 15, самое большее 20 сантиметров высоты. Человек мерил и мерил, а потом сломал метр и записал: 2 метра. Вслед за ним пришел другой человек и записал 2,5 метра.

Больше минуты молчал Густав.

— Почему вы рассказали все это именно мне? — спросил он наконец. Голос его звучал неуверенно, он несколько раз откашлялся, чтобы прочистить горло.

Бильфингер посмотрел на него своими узкими глазами смущенно, застенчиво.

— Две вещи навели меня на мысль, что вас это должно волновать. Прежде всего то, что вы подписали воззвание против одичания общественной жизни, а затем — слово, сказанное о вас однажды моим другом Клаусом Фришлином. Он сказал, что вы «созерцатель». Я очень хорошо понимаю, что он разумел под этим словом, я высоко ценю моего друга Клауса Фришлина.— Бильфингер слегка покраснел, он смутился.

Солнце закатилось. Стало холодно. Густав, все так же с трудом выталкивая из себя слова, сказал:

— Благодарю вас, доктор Бильфингер, за то, что вы обратились ко мне.— И поспешно прибавил: — Становится холодно. Надо возвращаться.

На обратном пути он сказал:

— Не будем сейчас говорить, доктор Бильфингер. Нет смысла говорить об этом.— И действительно, что мог человек, любящий Германию, сказать о фактах, переданных Бильфингером? А что значит: любящий? Ему вспомнилось не то старинное, не то им самим сочиненное двустишие: «Любишь ли ты Германию? Что за пустой вопрос? Можно ли любить самого себя?»

Бильфингер сказал:

— Я совершенно точно записал все, что видел сам и что мне рассказывали другие. Точность этих показаний я подтвердил под присягой у цюрихского нота-

риуса. Таковую же присягу принесли все те из очевидцев и жертв, которым удалось бежать за границу и которые могли все это подтвердить в качестве очевидцев и жертв. Если хотите, я пришлю вам эту записку. Но она длинна и читать ее тяжело.

— Да, пожалуйста, пришлите мне, — сказал Густав.

В этот вечер он не мог есть, в эту ночь он не мог спать. План — нанять или купить дом в горной деревушке Пиетра — казался ему теперь абсурдом.

Молодой доктор Бильфингер бросил в Германии многообещающую карьеру, он отказался от своей Германии, раз нечто подобное может остаться безнаказанным. А Бильфингер — немец, только немец, одна плоть и кровь с теми, кто убивает. Положение Густава хуже. Он одна плоть и кровь с теми, кто убивает, и с теми, кого убивают.

Людей истязают, им отбивают почки, срывают мясо с костей. Он об этом читал, ему рассказывали. Так было и в Восточной Пруссии, и в Силезии, и во Франконии, и в Пфальце. Но то были мертвые слова. И лишь теперь, после рассказа молодого шваба, мертвые слова ожили. Густав видит, ощущает все. Побой, о которых он слышал, ранят теперь его собственное тело.

Нет, в такое время он не может поселиться в горной деревушке Пиетра и сидеть там сложа руки.

Волна набегают и уходит, человеческие чувства и мысли исчезают, как волна. Но человеку дано сделать невозможное возможным. Одной и той же волне не подняться два раза, а человек может заставить ее подняться вторично. Он говорит: «Остановись, волна». Он запечатлевает проходящее в слове, в мраморе, звуке.

Иные производят на свет детей, чтобы продолжать свой род. Ему, Густаву, дано уменье: красоту, которую он почувствовал, передать другим. Он «созерцатель», сказал Фришлин. Это великое обязательство. Разве не обязан он передать другим жгучее возмущение, которое он испытал?

Приход фашистов к власти сопровождался такими гнусными делами, какие Европа уже много столетий считала немыслимыми. Но они герметически закупирили Германию. Кто скажет или только шепнет немцам

о том, что происходит у них в стране, того будут преследовать до третьего поколения. На Курфюрстендамме в Берлине, на Юнгфернштиге в Гамбурге, на Гохштрассе в Кельне никто ничего не видел, даже не слышал о происходящих в стране гнусностях. Стало быть, торжествуют «коричневые», стало быть, их вовсе не было. Как же не кричать в оглохшие уши жителей Курфюрстендамма, Юнгфернштига, Гохштрассе, как же не пытаться открыть им глаза, не пытаться пробудить наконец их уснувшие чувства? И разве плохо оружие, которое он поднимет в этой борьбе,— гнев, его гнев?

На следующий день утром Густав снова сидел один на своей излюбленной скамье в самом конце набережной. Как все удивительно складывается. Не подпиши он того, может быть действительно ненужного, воззвания, он бы не сидел здесь, не разговаривал бы с Бильфингером, был бы, возможно, одним из тех слепых, глухих, с закрытым сердцем и с замкнутыми чувствами людей Курфюрстендамма, Юнгфернштига, Гохштрассе. Но случайность вовлекла его в водоворот. А может быть, не случайность.

Нет, не случайность. Фришлин сказал о нем, что он «созерцатель». Он знает, что понимал под этим словом Фришлин. Он горд тем, что Фришлин называл его «созерцателем».

Молодой Бильфингер «документально зафиксировал события», он пришлет ему свою запись. Густав испытывает перед ней физический страх. Он испытывает страх при мысли, что рукопись эта будет в его комнате, в ящике маленького письменного стола у него в номере. Внизу, в ресторане, музыка, в зале танцуют, в баре пьют, болтают, флиртуют, а рукопись с холодным, жутким описанием ужасающих фактов лежит в ящике письменного стола.

Хоть бы Иоганнес Коган был уже тут. Чертовски трудно одному со всем этим справиться. Густав представляет себе смуглое, желтое, худое, умное, насмешливое лицо друга. Он изрядно поиздевался бы над Густавом, если бы знал, в какие выси поднимался он этой

ночью и в какие бездны низвергался. Хорошо, что Иоганнес приезжает сегодня вечером.

Он так погрузился в свои думы, что слегка вздрогнул, когда его окликнули:

— Алло, Опперман!

Перед ним стоял Рудольф Вейнберг, владелец крупной фирмы предметов гигиены. Тучный, элегантно одетый фабрикант попросил у Густава разрешения подсесть к нему. Он явно был рад встрече с Опперманом. Вообще говоря, он не любит ходить более десяти минут, пояснил он Густаву, но от многочисленных беженцев, которые прожужжали ему уши своими жалобами, приходится спасаться на самый край бульвара. Вейнберг, кряхтя, опустился на скамью.

— Им, конечно, можно посочувствовать, но кому какая польза от того, что своими стенаниями они отравят мне несколько дней отдыха. Что говорить, в Германии сейчас не сладко. Но дайте «коричневым» как следует обосноваться, и все уладится. Как только они почувствуют, что твердо стоят у власти, они переродятся, так всегда бывает. А на экономике переворот отразился неплохо. Конечно, кое-какие безобразия были. Без метлы ведь сор не выметешь. Однако, положи руку на сердце, разве все эти жуткие истории не являются исключениями? И постепенно все становится на свое место. Пройдите сейчас по улицам Берлина, и вы не заметите каких-либо перемен. Зачем же кричать караул? Ведь это черт знает что... Крикуны только раздражают людей своей трескотней. Читая газеты, можно подумать, что в Германии нельзя пройти по улице без того, чтобы на тебя не напали.

Греясь в лучах теплого горного солнышка, пышный господин Вейнберг качал головой и сетовал на неразумность мира.

— Гм,— протянул задумчиво Густав, и на лбу у него появились вертикальные складки.— Вы считаете, значит, что с нацистами можно ужиться? Интересно. Поистине интересно. А скажите, господин Вейнберг,— продолжал он оживленно,— у вас, кажется, есть отделение в Мюнхене? Как там? Бывали вы в последнее время в Мюнхене?

— Да.— Вейнберг кивнул.— Я был там проездом сюда.

— Не скажете ли вы мне в таком случае,— продолжал Густав любезным тоном,— как поживает тамошний адвокат Михель? С него сорвали пиджак, потом ему для смеха подрезали брюки так, что из-под них торчали кальсоны, и повесили на шею плакат с надписью: «Я никогда больше не буду вести процессы против славных нацистов». В таком виде его повели по центральным улицам. Он был изрядно помят, в синяках и кровоподтеках. Я видел снимки. А не знаете ли вы, кстати, как поживает главный мюнхенский раввин? Они вывели его за город, продержали под наведенными дулами винтовок и бросили полураздетого на расстоянии более часа пути от города. Ночь была холодная. А слышали ли вы об адвокате Альфреде Вольфе? Он в чем-то уличил своего коллегу-христианина и собрал против него много порочащих данных. А теперь этот коллега министр юстиции. Адвоката Альфреда Вольфа упрятали в концентрационный лагерь. Приходилось ли вам слышать о концентрационных лагерях, Вейнберг? Да будет вам известно, что в Германии существуют сейчас концентрационные лагеря; пока их всего сорок три. Советую вам при случае осмотреть такой лагерь. Сколько километров до Ораниенбурга? Около тридцати, помоему. Как-нибудь, когда вы на своей машине поедете прогуляться к морю, остановитесь в Ораниенбурге. Вы увидите там множество всякой всячины, не затратив на это особых усилий. Так вот, адвокат Вольф был заключен в концентрационный лагерь Дахау. Это один из худших. «Вырви мне язык, о боже правый, только не ввергай меня в Дахау»,— молятся в Баварии. Но у адвоката Вольфа язык не был вырван, и адвокат Вольф попал в Дахау. Вольф богат, и у него крупные связи. Связи были пущены в ход. Хлопотали много. Сам фюрер ходатайствовал о Вольфе перед министром юстиции, но министр юстиции заявил: «Человек этот принадлежит мне». Так или иначе, а через три дня к матери адвоката явился полицейский и спросил, не страдал ли ее сын болезнью сердца? Мать подумала, что Вольф сказался больным, чтобы добиться лучших условий.

«Да, да,— подтвердила она,— у него всегда было слабое сердце». — «Тогда все понятно,— сказал полицейский.— Дело в том, что он умер». Тело Вольфа выдали в запаянном гробу, взяв расписку, скрепленную присягой, что гроб вскрыт не будет. Вы ничего об этом не слышали, Вейнберг?

Фабрикант Вейнберг беспокойно ерзал. Опперман говорил довольно громко, а здесь почти все понимали по-немецки. Ах, да. Как он мог забыть? Ведь этот идиот Опперман скомпрометировал себя как раз перед самым переворотом.

— Конечно, конечно,— соглашается он,— случались ужасные вещи. Никто этого не отрицает. Я сам это говорил. Но это происходило только в первые дни. А теперь правительство затормозило, уверяю вас. И антисемитское движение схлынет, как только зарубежные евреи утихомируются. Мне это доподлинно известно. Я говорил с влиятельнейшими людьми. Нацисты с удовольствием отказались бы от этого пункта своей программы. Но заграничные евреи мешают им это сделать. Они науськивают весь мир на Германию, вместо того чтобы перекинуть золотые мосты. Поверьте мне, Опперман: нужно избегать преувеличений, этого требуют наши общие интересы, и ваши в том числе. А все эти охи да ахи только вредят евреям, оставшимся в Германии. Вы ведь тоже захотите вернуться домой.

Густав молчал. Господин Вейнберг решил, что его доводы произвели впечатление, и попытался окончательно смягчить Густава.

— А что касается адвоката Вольфа,— продолжал он,— то это, конечно, печальный факт. Но между нами, Вольф, говорят, был преотвратительный субъект. Мне рассказывали о нем, как о несимпатичном человеке.

— Допустим,— сказал Густав.— Но знаете ли, Вейнберг, симпатии и антипатии — дело условное. Возможно, например, что и вы кому-нибудь не совсем симпатичны. Но сочли бы вы в порядке вещей, если бы я вас поэтому швырнул сейчас в озеро?

Вейнберг поднялся.

— Ваше паническое настроение до известной степени извиняет вас,— проговорил он с достоинством.—



Но уверяю вас совершенно серьезно, Опперман, если человек сам себя не компрометирует, то ему мало что угрожает. Хотите — верьте, хотите — нет, но я лично антисемитизма почти не почувствовал. Поверьте, Опперман, вы тоже очень скоро сможете вернуться в Германию. И вы увидите, что проводник спального вагона, как и прежде, будет вас благодарить за чаевые, а постовой полицейский с той же любезностью, как и год назад, ответит на вопрос вашего шофера, как ему ближе проехать.

— Вы правы, — сказал Густав, — не следует быть прихотливым.

Господин Вейнберг удалился, а Густав все сидел, глядя на ясный весенний ландшафт, расстилавшийся перед ним. Вертикальные складки на лбу не разглаживались. Веко дергалось больше обычного. Он опустил голову, точно искал что-то на земле. Болтовня господина Вейнберга взволновала его сильнее, чем он сам себе признавался.

Многие поступали так, как фабрикант Вейнберг. Они ездили по широким улицам западного Берлина, жили в своих роскошных квартирах и не желали знать, что делается в других районах города или даже в подвалах их собственного дома. Они считали, что в Германии царят спокойствие и порядок. Они очень сердились, когда им говорили о ста тысячах заключенных в концентрационных лагерях или о тех сорока миллионах, которых этой угрозой удерживают от проявления недовольства. Они молчали, они скрывали то, что знали, скрывали так глубоко, что почти переставали в это верить. Они сплотились все, и действующие и страдающие, с тем чтобы глупо и нагло подделывать правду. «Они уничтожили меру вещей, созданную цивилизацией», — ясно слышал Густав швабский говор Бильфингера и видел человека с желтым складным метром в руках, видел, как человек этот записывает: «2,5 метра».

Густав сидит, мрачно опустив голову. Тихо скрежещет зубами. Может быть, это бесполезно, может быть, это противно здравому смыслу, но нужно говорить. Они заставляют арестованного взбираться на ящик и, приседая, выкрикивать: «Я, марксистская свинья, предал

свое отечество». Нельзя жить и молча наблюдать, как они грубо и нагло подделывают правду.

Забывшись, он неподвижно смотрит в пространство. Где-то пробили часы. Он машинально отсчитал число ударов, но лишь спустя какое-то время это дошло до его сознания. Он оторвался от своих мыслей. Привычный час обеда давно миновал. Он почувствовал вдруг, что голоден, и направился к себе в гостиницу. Быстрым, твердым шагом проходит он по бульвару. Мысленно издевается над собой. Что, собственно, с ним случилось? Чего он хочет? Что вбил себе в голову? Кто он такой? Берлинский купец образца 1933 года, интересующийся литературой, достаточно богатый. Из-за того, что он тщеславно и опрометчиво поставил свою подпись под совершенно никчемной бумажкой, у него произошли кое-какие неприятности. Только и всего. А ему, видите ли, захотелось стать пророком. Богач, а тоже лезет в пророки. Вот оно, кстати, правильное толкование: «Неужели и Саул во пророках?» Это значит — богатому нечего делать среди пророков. Он, Густав, «созерцатель», сказал Фришлин. Потому Бильфингер и обратился к нему. Они, видимо, считают, что свойство это обязывает. Чепуха. Романтика, и совершенно не по времени. А уж если у вас такая тяга к возвышенному, господин доктор Опперман, так займитесь, пожалуйста, вашим Лессингом. И господину доктору Фришлину куда больше к лицу заниматься Лессингом, а не мировыми проблемами. Открывать людям правду, кричать, будоражить мир — это отнюдь не ваше призвание. И как вам только пришло в голову заниматься всем этим, господин Опперман? Кто возложил на вас такую задачу?

Он пошел обедать. Ел много и с аппетитом. Вместе с голодом исчезли все нелепые романтические порывы. Он прилег, заснул, спал крепко, без сновидений.

Его разбудил Бильфингер, принесший обещанные документы. И тревога вернулась. Он сейчас же, не теряя ни минуты, бросился бы читать документы. Он должен впитать их в себя до приезда Иоганнеса Когана, чтобы тот не внес смятения в его чувства.

Но Бильфингер помешал ему, Бильфингер не ушел,

Бильфингер остался. Доктор Опперман, выслушав его однажды, обязан и дальше слушать его. То, что знает доктор Бильфингер, одинаково касается их обоих. И вот он, ревностный поборник права, сидит в комнате Густава, глядит на Густава сквозь золотые очки и произносит сухие, книжные фразы. Испокон веку немцы склонны были заменять писаное право авторитетом вождя. Еще во времена римлян они считали, что право, обязательное для всех, умаляет достоинство личности. И они ненавидели римлян не потому, что те хотели ввести у них римское право, а потому, что не желали вообще никакого права. Они предпочитали, чтобы владыка, в которого они верили, над ними вершил суд по своему настроению, а не по твердым законам, основанным на разуме. К несчастью, нынешний «вождь» одобряет убийство. Он как братьев приветствовал ландскнехтов, осужденных за зверское убийство рабочего. Такие вещи укрепляют в народе сознание, что важен не судебный приговор, а лишь «наитие» фюрера. А это приводит к тому, что он, Бильфингер, видел в Вюртемберге.

Ему нелегко было, добавил он еще, уехать из Германии. Он покинул не только Германию, не только виды на блестящую карьеру, на прекрасное поместье, которыми семья его владела более ста лет, — он оставил в Германии еще и девушку, которую любил. Он предложил ей выбор — либо приехать к нему и расстаться с Германией, пока Германия не станет вновь правовым государством, либо освободить его от данного слова.

Все это Бильфингер изложил Густаву печально, обстоятельно и прямолинейно, со швабским акцентом.

Слушая Бильфингера, Густав смотрел на документы. Они лежали, как он себе представлял, большой тяжелой пачкой на изящном письменном столике в его номере. Едва за Бильфингером закрылась дверь, как он бросился к ним. Взял их, начал читать. Они взволновали его так же, как вчерашний рассказ Бильфингера. Сухие слова оживали. Организованный садизм, изощренная, продуманная до мелочей система унижений, бюрократическое уничтожение человеческого достоинства — все, о чем холодным канцелярским языком повествовали документы, превращалось в сознании Густава

в исполненные движенья картины. Они возникали перед ним, они запечатлевались на желтом пятне его глаза. Документов было очень много, он читал внимательно, не пропуская ни строчки, читал мучительно долго. Два часа понадобилось ему, пока он справился с ними.

Тяжелым машинальным движением открыл он ящик, чтобы спрятать туда документы. Но ящик был небольшой и там уже лежала пачка писем. Он вынул их. Это была его корреспонденция, пересланная ему из Берлина Фришлином. Сверху лежала памятная открытка, посланная Густавом в день его пятидесятилетия самому себе: «Нам положено трудиться, но нам не дано завершить труды наши».

Она потрясла его, как внезапный удар. Рельсы на Бернском вокзале, нити между ним и Фришлином, бесконечно разматывающиеся, но никогда не обрывающиеся. Бильфингер — вестник Фришлина. «Кто возложил на меня такую задачу?» — цинично вопрошал он несколько часов тому назад, и хорошо пообедал, и залег спать.

Не отрываясь смотрел он на открытку. Фришлин, по обыкновению, напечатал подпись на машинке и оставил место для подписи от руки. Густав взял ручку, поставил свое имя, положил открытку на документы и аккуратно уложил все вместе в ящик.

И долго сидел, положив руки на стеклянную доску смешного маленького письменного стола и часто болезненно мигая.

Вечером он отправился на вокзал встречать Иоганнеса. Он пришел очень рано, поезд запаздывал. Наконец поезд прибыл. Густав искал живое, смуглое, желтое лицо друга, готовый вот-вот услышать язвительную шутку, с которой тот встретит его. Из вагона выходило много народу, попадались знакомые. Была ночь, перрон был довольно слабо освещен. Густав долго, потщется искал Иоганнеса. Удивленный и глубоко разочарованный, вернулся он в гостиницу. Может быть, они разминулись и Иоганнес поехал прямо в гостиницу? Но в гостинице его не оказалось. Иоганнес не приехал.

На следующий день его тоже не было. Густав телеграфировал ему. Целый день ждал ответа. Ни слова. На другой день прибыла телеграмма: «Иоганнес задер-

жан непредвиденными обстоятельствами. Рихард». Густав испугался. Рихард был брат Иоганнеса. Что за «непредвиденные обстоятельства»?

Спустя два дня Густав получил письмо без подписи, опущенное в Страсбурге. Какой-то незнакомец, по поручению Рихарда Когана, сообщал, что в четверг нацистские ландскнехты взяли Иоганнеса. Есть предположение, что его отправили в концентрационный лагерь в Герренштейне.

Что касается его, писал Густав Фридриху-Вильгельму Гутветтеру, отвечая на письмо, то он просит Гутветтера пользоваться библиотекой, вернее, ее остатками, сколько душе угодно. Но, к сожалению, как ему известно, не от него зависит теперь разрешать или отклонять такого рода просьбы. Если Гутветтеру удастся получить доступ к библиотеке на Макс-Регерштрассе, пусть он хорошенько посмотрит, что там осталось, чего не хватает, и главным образом пусть поинтересуется испорченными экземплярами. В Германии, говорят, сейчас много библиотек в растерзанном состоянии; говорят, что и владельцы их в таком же состоянии, если только они вовремя не скрылись за границу. Гутветтер описал уже в величественных словах образ «Нового Человека», не будет ли он так любезен и не опишет ли теперь мучения ни в чем не повинного прежнего человека, которому приходится расплачиваться за появление этого «Нового Человека».

Читая письмо, Гутветтер тихо, ласково покачивал головой.

— Чего хочет наш друг? — удивленно сказал он Сибилле. — Откуда у него этот раздраженный тон? Как может он требовать, чтобы языком, подобающим лишь описанию космических явлений, я говорил о горестях маленьких людей? Неужели он серьезно хочет, чтобы я, призванный служить мембраной дионисийских переживаний, отказался от своей миссии, потому что с нашим другом Густавом стряслись какие-то неприятности?

Фридрих-Вильгельм Гутветтер испытывал новый прилив сил. Он шел по избранному им пути. Он про-

славлял, как и раньше, восхождение «Нового Человека», утверждающего свои исконные дикие инстинкты. Он не был поражен, когда по воле истории видения его фантазии стали явью. Поражены были скорее нацисты, неожиданно заполучив такое перо. Все крупные ученые и художники отвернулись от них. Какая удача, что нашелся вдруг известный писатель, признавший их. Произведения, которые Гутветтер писал без всякой задней мысли, единственно из космического мироощущения, были объявлены высокой политической поэзией. Правительство дало знак протрубить о «великом поэте». И о нем стали трубить. Все газеты печатали его изречения, ему оказывали высокие почести, он стал вдруг «истинно германским поэтом». Далекий от мелочного тщеславия, он все же снисходительно улыбался своему шумному успеху, не отказывался присутствовать в качестве почетного гостя на многих торжественных празднествах, устраиваемых нацистскими министрами. Его заметное большеглазое тихое лицо, оттененное необычным старомодным костюмом, радовало сердца фотографов. Он принимал все как должное, наивно польщенный.

Он предложил Сибилле сопровождать его в этом запоздалом триумфе. Сибилла охотно, с присущей ей обволакивающей грацией прильнула к нему. Пока она была с Густавом, она делила его либеральные взгляды, и «коричневые» казались ей невыразимо глупыми и гнусными. Однако не исключалось, что с точки зрения вечности в пророчествах Гутветтера была доля истины. Политика мало интересовала ее, в этих водах она не решалась плавать. Не была она и ясновидящей, как Гутветтер. То, что для поэта уже облеклось в образ, для нее еще долго оставалось в тумане. С присущей ей живостью, холодком, ребячливостью она вышучивала бесчисленные дурацкие положения, в которые сами себя ставили «коричневые», и Фридрих-Вильгельм Гутветтер от всей души смеялся вместе с ней.

Но вскоре гутветтеровская масштабная наивность потеряла для нее свою первоначальную прелесть. Его высокопарность стала казаться ей безвкусной, туманной, его гимнический лиризм начал ей надоедать. Всему, чему она могла научиться у него как у литератора, она

научилась. Ей наскучило его всегда одинаковое детское восхищение ее особой. Ее тянуло к Густаву, к его либерализму, к широте его взглядов. Густав умел корректно и правильно оценивать все, что в ней было хорошего, и так же корректно побранить ее за то, что ему в ней не нравилось. После безоговорочного обожания, которым окружил ее Гутветтер, она вдвойне нуждалась в такой разумной дружбе. Она раскаивалась в том, что мало интересовалась делами Густава и слабо поддерживала связь с верным Фришлином.

Но Густав человек сговорчивый. За время их дружбы она не раз бывала так занята собой, что он почти переставал существовать для нее. Но он никогда не наказывал ее за это. Так будет, конечно, и теперь. После долгого молчания она телеграфировала ему, что работа ее сильно подвинулась и теперь она не прочь приехать.

Телеграмма эта застала Густава в момент, когда он меньше всего думал о Сибилле. Документы Бильфингера лежали в письменном столе, а поговорить о них было не с кем, Иоганнес Коган находился в концентрационном лагере, в крепости Герренштейн в Саксонии. Закрывая глаза, Густав представлял его себе: вот он приседает, стоя на ящике, измученный, обезображенный, на благородной голове волосы выстрижены в форме свастики, при каждом приседании он выкрикивает: «Я, Иоганнес Коган, мерзкая свинья, как Иуда, предал свое отечество». Это было ужасно. Иоганнес Коган представлялся ему в этих галлюцинациях пляшущим паяцем, которого в каком-то давно виденном балете изображал знаменитый танцовщик. Иоганнес приседал с чрезвычайной гибкостью и проворством, пронзительно, как попугай, повторяя заданную ему фразу. Густава это смешило, и смех причинял ему боль. Болезненней, чем прежде, метался Густав от холодной рассудительности к страстному возмущению обвинителя. И в эту сумятицу ворвалась телеграмма Сибиллы, его милой, топенькой Сибиллы. Нет, он не в состоянии быть теперь с нею. Говорить с ней об этих вещах нет смысла, а ни о чем другом он говорить не может. Еще так недавно она была ему очень нужна, но она держалась в стороне. Теперь же ему не оставалось ничего другого, как отстра-

нить ее. Он так и поступил, сделав это крайне осторожно и бережно.

Но Сибилла не заметила бережности, она увидела только отказ. Насупившись, как ребенок, она искривила губы и протяжно, как ребенок, заплакала. Она плакала без удержу, уткнувшись лицом в подушку, подушка стала совсем мокрой от слез. Но мало-помалу разочарование ее перешло в гнев. В Германии Густав считался вне закона. Не скрывая своего знакомства с ним, она подвергала себя опасности. Но она не стала уклоняться от опасности, она хотела даже поехать к нему, а он спокойным, высокомерным жестом отверг ее дружбу. Он никогда не старался всерьез заглянуть ей в душу. Она знала, что потеряла его по собственной вине, и потому-то и возмущалась им. Письмо его осталось без ответа.

Она не испытывала больше скуки от старомодных ухаживаний Гутветтера. Вскоре поэт и Сибилла стали неразлучны.

В то утро, когда ученик Бертольд Опперман не явился в актовЫй зал просить прощения, преподаватель Фогельзанг был в высшей степени разгневан. Он пригласил корреспондентов националистской прессы, собрал педагогический совет и учеников всей гимназии, приготовил бойкую зажигательную речь, а этот еврейский мальчишка возымел наглость попросту сбежать и лишил его возможности насладиться высоким торжеством. Опперману позвонили по телефону. И когда стало известно, что Бертольд Опперман при смерти, на губах Фогельзанга появилась лишь презрительная усмешка. Его не провести такими штучками. Не верю, проквашал он. Этому наглецу не удастся под предлогом мнимой болезни укрыться от возмездия за свое преступление. Спустя три дня, когда «мнимая болезнь» кончилась смертью Бертольда Оппермана, ученики с большим негодованием вспомнили эту фразу. Как только Фогельзанг вошел в класс и начал говорить, поднялся тот глухой гул, который в свое время заставил Шультеза, преподавателя гимназии кайзера Фридриха, заплакать и отвернуться к стене. Фогельзанг не отвернулся к стене;



шрамы его налились кровью; он дал себе слово окончательно растоптать дух разложения в этой гимназии.

Скоро такая возможность представилась. Пресловутые слезы преподавателя Шультеса не помешали ему стать министром просвещения. Бернд Фогельзанг, много лет хорошо знавший Шультеса, в Берлине сошелся с ним теснее. К переходу Фогельзанга на службу в министерство не было больше никаких помех.

Но предварительно он должен навести порядок в гимназии королевы Луизы. Он поставил себе это целью с первых дней пребывания в Берлине. Немец не бросает работу незаконченной.

Тут, прежде всего, дело Вернера Риттерштега. Судебное следствие, конечно, давно прекращено. Риттерштег признанный вожак своих одноклассников, и педель Меллентин вытягивается перед ним почти так же, как перед самим Фогельзангом. Но совершенно бесспорно, что его успехи в литературе и математике неудовлетворительны: по правилам, его, в сущности, нельзя перевести в следующий класс. Фогельзанг, однако, считал, что в данном случае строго придерживаться правил неуместно, героя Риттерштега нельзя оставить на второй год. Дело не только в мертвом знании, отстаивал он Риттерштега, пробелы в школьном образовании с избытком восполняются высокими нравственными качествами. Но в этом пункте Фогельзанг натолкнулся на ледяное изумление Франсуа. Ученик, имеющий «неудовлетворительно» по двум основным предметам, не может быть переведен в следующий класс. Упорно и педантично ссылался директор на букву закона.

На это упорство Бернд Фогельзанг отвечал лишь своей обычной высокомерной усмешкой. Для чего же им дана власть? Закон, действовавший в эпоху упадка и германского позора, для национальной революции то же, что паутина для пулемета. В чьих руках рычаги законодательной машины?

Маленький поворот — и целые библиотеки прежних законов превращаются в макулатуру. Молодого героя хотят запутать в тенета нелепейших законоположений, хотят затруднить его карьеру, его деятельность на благо новой Германии. И все только потому, что его школьные

знания опорожены экзаменационными случайностями. Просто смешно. Надо раз навсегда сломить этот злостный саботаж. И Бернд Фогельзанг возбудил в министерстве вопрос об издании декрета, разрешающего как в средней, так и в высшей школе крайне облегченные экзамены для лиц, имеющих особые заслуги в деле национального подъема. Отставшие от века советники министерства возражали, говорили, что в итоге такого декрета возможны случаи, когда больных придется доверять врачам, надежным в смысле их националистского мировоззрения, но ненадежным с точки зрения врачебных знаний. Однако патриотическое рвение Фогельзанга легко устранило с пути подобного рода мотивы.

После издания декрета Фогельзанг снова предстал перед Франсуа. Оставалось упорядочить еще один пункт — его личные разногласия с директором. И это дело он закончит не менее победоносно, чем первое. Живя в Тильзите, он представлял себе триумф так: противник повержен, а он со стальной неумолимостью стоит над ним, наступив ему ногой на затылок. В Берлине он познал другого рода триумф, более скромный, но и более утонченный. И вот, чтобы насладиться таким триумфом, он явился теперь в просторный директорский кабинет. Он сидит там, сменив свою обычную солдатскую оловянистость на светскую непринужденность, перекинув ногу за ногу, скрестив руки, сняв невидимую саблю. Почти приветливая улыбка змеится под льяными усиками, а воротничок — возможно ли? — стал еще на два миллиметра ниже.

— Раньше чем покинуть это учебное заведение, господин директор, — начинает он, и его квакающий голос звучит почти непринужденно, — я хотел бы уяснить еще один пункт. В свое время мы не могли прийти к соглашению по поводу уместности изучения книги «Моя борьба» в средних учебных заведениях. Помните, господин директор?

Франсуа утвердительно кивает. Его голубые глаза серьезно, не враждебно, даже не без мягкости оглядывают Фогельзанга. А тот предвкушает наслаждение решительной победы над врагом. Как заноза в сердце, его все время терзала мысль, что он не нашел тогда достой-

ного ответа на поношение боготворимой им книги. Анекдотом о короле Сигизмунде, поставившем себя выше грамматиков, Франсуа заткнул ему тогда рот. И вот теперь он приготовил хоть и запоздалый, но меткий ответ.

— Разрешите мне, — галантно продолжал он, — на анекдот о церковном соборе в Констанце, приведенный вами для иронического сравнения фюрера с королем Сигизмундом, ответить другим анекдотом из истории церкви. На соборе в Кипре, — Фогельзанг говорит медленно, подчеркивая каждое слово, — некий епископ привел слова спасителя, обращенные к страдающему подагрой: «Возьми на плечи свою постель и ступай». Но слово «Krabbaton» (постель), имеющееся в тексте, показалось ученому князю церкви, падкому на стилистические тонкости, слишком вульгарным, и он заменил его литературным «Skimpous» (ложе). Тут вскочил святой Спиридон и крикнул: «Разве ты лучше того, кто сказал «Krabbaton», что стыдишься повторять его слова?»

Франсуа внимательно слушал. Справедливость была свойством его характера. Ответ Фогельзанга был неплох, а для «коричневого» так даже поразительно удачен. Он сидел, обдумывал, молчал.

Фогельзанг по-своему истолковал его молчание. Он раздавил своего противника. Как пони и согнулся враг; он побит своим же оружием — словом. Благодушно настроенному Фогельзангу почти жаль Франсуа. Но человек националистского образа мыслей, раз уж колено его попирает грудь врага, может проявить великодушие. Так и быть, он осчастливит этого субъекта. Месяца на два, пожалуй, — почему бы и нет? — он оставит еще Франсуа на посту директора. Разумеется, под строжайшим контролем, который лишил бы его возможности отравлять юношеские сердца. Но прежде Франсуа должен, конечно, покаяться. Бернд Фогельзанг хочет убедиться, что враг растоптан. Иначе он его не оставит на посту. Пусть сознается в своем поражении.

— Вам, вероятно, известно, — говорит Фогельзанг, — что я беру на себя управление личным столом в министерстве. Я знаю вас лучше, чем кого-либо другого из ваших коллег. Но для решения, которое мне вскоре предстоит принять, мне важно выяснить ваше нынешнее

отношение к спорному вопросу, возникшему между нами. Согласны ли вы со святым Спиридоном из моего анекдота? Или вы по-прежнему настаиваете на том, что учащих не следует знакомить с книгой высокого морального значения, если язык ее кажется вам недостаточно литературным?

Франсуа находит, что Бернд Фогельзанг держит себя, в сущности, прилично. Он предлагает ему отсрочку на два-три месяца, а может быть, и больше. Это заманчиво. Но Франсуа знает, что одной этой жертвой дело не ограничится. От него потребуют все новых и новых жертв. И каждый раз он будет стоять перед выбором: совершить ли еще один недостойный поступок или впасть в нищету? И в конце концов он не выдержит, и тогда его толкнут вниз. Судьба его решена. Все ниже будет он опускаться, нищать, ему уготован удел пролетария; его детей ждет тяжелая, неприглядная жизнь, его самого — тяжелая, неприглядная старость. Сейчас этот человек предлагает ему короткую отсрочку. Он, Франсуа, должен уплатить за нее пустяковой уступкой. Он уже немало уступок сделал, последний раз даже в трагической истории с Опперманом. На дальнейшие уступки он не пойдет. Пока что он находится по эту сторону черты, и от него зависит, как совершить переход за нее: спотыкаясь или с поднятой головой. Очувтившись за чертой, он, вероятно, и внутренне опустится. Так хоть черту-то перейти с поднятой головой.

— С вашей стороны очень любезно, коллега, — говорит он, — что вы до известной степени представляете на мое усмотрение, оставаться ли мне еще здесь некоторое время. — Он встает. Инстинктивно, как бы ища поддержки, подходит к бюсту Вольтера и останавливается около него. — Несомненно, покой и уверенность, связанные с этим кабинетом, стоят той маленькой интеллектуальной жертвы, той «*sacrificium intellectus*», какой вы требуете от меня. Но видите ли, коллега, — Франсуа говорит подчеркнуто вежливо, чуть заметно улыбаясь из-под густых усов, — я недостаточно гибок, и во мне, вероятно, слишком мало «северной хитрости», чтобы пойти на эту маленькую интеллектуальную жертву. Мне очень жаль, но я все же настаиваю на том, что наша прямая

обязанность — научить мальчиков хорошему немецкому языку. Существует столько книг высокого морального значения, написанных хорошим немецким языком, что мы можем обойтись без морали вашего фюрера. Канцлер он или не канцлер, но читать книгу этого писателя подлинная мука. Изучение этой книги портит юношеству слог.

Опять эти слова. А Бернд Фогельзанг собирался заставить врага замолчать. И вот враг повержен на землю, он конченный человек, но он не молчит. В глубине души Фогельзангу нравится поведение Франсуа. Оно доказывает, что даже французская семья акклиматизируется, прожив среди немцев каких-нибудь полтора-два года.

— Я искренне сожалею, — сухо, но без злобы квакает он, заканчивая свой последний разговор в этом кабинете, — что вы упорствуете, настаивая на своем неправильном мнении. При таких условиях мне не удастся перетащить вас в новую Германию. Но в той мере, в какой мне позволят мои убеждения, я попытаюсь обставить ваш уход почетно и не очень тяжело для вас. — Это было его искренним желанием.

Разумеется, Франсуа ничего не сказал Грозовой тучке о предложении Фогельзанга и о своем ответе. Впрочем, эти критические дни оказались для него не столь мрачными, как он предполагал. Увидев, что судьба ее мужа бесповоротно решена, фрау Эмилия изменила свою линию. Конечно, с его стороны было бы умнее приспособиться к новым временам, но она давно поняла, что Франсуа только внешне разиня, а что на самом деле он твердый орешек. Эта внутренняя непоколебимость и побудила ее в свое время выйти за Франсуа. Разумеется, нужно было попытаться примирить его с новым временем. Но раз это не удалось, раз ничего уже нельзя изменить, не стоит мучить человека. И она стала прямо-таки кроткой. Пыталась даже утешить его, говорила, что теперь наконец он может спокойно, без помех закончить свою рукопись «Влияние античного гекзаметра на слог Клопштока», ни на что другое он ведь все равно не способен. Тем временем она постарается подыскать для него место в какой-нибудь частной школе в Германии или за границей. Правда, им при-

дется туго, но три года они, во всяком случае, проживут на имеющиеся сбережения; может статься, он все же получит пенсию, а уж она так или иначе найдет какой-нибудь выход.

Эти ласковые слова приободрили Франсуа. Он всегда говорил, что у Сократа, несомненно, были свои основания жениться на Ксантиппе.

Жак Лавендель сообщил Фридриху Пфанцу, одному из наиболее влиятельных хозяйственных деятелей, что он намерен ликвидировать все свои дела в Германии и уехать. Фридрих Пфанц был одним из тех людей, под чью дудку плясали вожаки национал-социалистов, а Жак Лавендель был близко связан с ним деловыми интересами. Таким образом, Лавендель, к тому же еще американский подданный, мог бы прекрасно, не опасаясь каких-либо неприятностей, оставаться в Германии. Но он не захотел.

— Я справедлив, Пфанц, — сказал он как-то. — Я знаю, что не все повинны в совершающихся гнусностях. Сами по себе немцы народ неплохой, не отрицаю. Но четырнадцать лет подряд их бешено натравливали на евреев, а как это делалось, вы прекрасно знаете, ибо сами принимали в этом участие, и, в сущности, надо удивляться, что после такой яростной пропаганды все ограничилось лишь тем, что мы видели. Однако воздух тут у вас очень уж спертый, мне неприятно дышать им. Я капиталист. Я понимаю ваши мотивы. Оздоровить ваше прогнившее хозяйство вы не могли иначе, как призвав на помощь эту вшивую чернь. Но видите ли, кроме того, что я капиталист, я еще и еврей. Если вы скажете: «Мы убиваем евреев, потому что мы хотим разгромить профессиональные союзы», — то от этого мои евреи не воскреснут.

Пфанц с удовольствием удержал бы Жака Лавенделя в Германии. Он доказывал, что это только переходный период, что весь этот сброд скоро приберут к рукам, что рейхсвер ждет только сигнала, чтобы свалить ландскнехтов, и тогда на место фельдфебелей снова придут офицеры, и что сам он решил войти в правительство. И он предложил Жаку Лавенделю сделать

его акционером грандиозного страхового общества, ради успеха которого он готов обременить себя хлопотным министерским портфелем.

Но Жак Лавендель был тверд.

— Я верю вам, Пфанц,— сказал он своим хриплым голосом,— что все ваши замечательные фюеры почувствуют на себе узду, когда вы войдете в правительство. Но, видите ли, я уже не молод, не жаден, не любопытен. С меня вполне достаточно увидеть ваши подвиги в еженедельной кинохронике на экране какого-нибудь заграничного кино. Я предпочитаю шествовать в ваших рядах мысленно. Итак, желаю вам успеха, Пфанц, надеюсь увидаться, как только вы свое отхозяйничаете.

Предвидя развитие событий, Жак Лавендель давно начал готовить ликвидацию своих дел. Структура их была очень сложной. Он был основным пайщиком ряда крупных обществ по продаже недвижимого имущества. Когда он изъясил свои капиталы, оказалось, что общества эти, в сущности, неплатежеспособны. Они нуждались во внушительных государственных субсидиях, в противном случае ипотечные банки теряли свои деньги. Но так как многие ипотечные банки субсидировались государством, то изъятие капиталов Жака Лавенделя из германских предприятий наносило чувствительный ущерб и государству. Жак Лавендель чуть заметно улыбался и покачивал головой,— он все это принял в расчет.

Он действительно не был жадным человеком. Они с Кларой решили на несколько лет устроить себе каникулы. Сначала они поселятся в своей прекрасной вилле на озере Лугано. Они пригласили всех трех братьев Опперман присхать к ним туда на пасхальную неделю; Генрих тоже придет к этому времени. Жак Лавендель предоставил сыну самому выбрать, где закончить образование — в Европе или в Америке. Генрих предпочел остаться в стране с господствующим немецким языком и учиться в Цюрихе или Берне. Это обрадовало Жака Лавенделя. Германия, что ни говори, его слабость.

Перед отъездом из Германии Генриху нужно было завершить одно дело. Его письмо к прокурору привело лишь к появлению у Лавенделей следователя по уго-

ловным делам, который учинил Генриху грубый и пристрастный допрос. Других последствий заявление Генриха ни для него, ни для Вернера Риттерштега не имело. Вернер, по-видимому, не был даже поставлен о нем в известность. Бросить дело в таком положении Генрих никак не мог. Его все настойчивее преследовала мысль, что Вернер Риттерштег со своими «Молодыми орлами» и со своим подлым предложением в футбольном клубе свел Бертольда в могилу. Он упорно и бесплодно думал, как ему с этим разделаться. И вот однажды сам Вернер пришел ему на помощь.

Долговязый не остался равнодушен к смерти Бертольда. Но с присущей ему примитивной логикой он утешал себя тем, что, потеряв своего лучшего друга, Генрих, быть может, скорее сойдется с ним, Вернером. Папаша Риттерштег выполнил свое обещание и купил подвесной мотор к гребной лодке Вернера, находившейся на водной станции озера Тейпиц. Невзначай, словно ничего не произошло, Вернер предложил Генриху поехать как-нибудь на озеро испробовать новый мотор. И что же? — сердце Вернера остановилось от радостной неожиданности — Генрих, минуту подумав, согласился. Больше того, он даже предложил Вернеру поехать к озеру на машине.

Он тайком взял отцовскую машину, и мальчики вдвоем поехали в Тейпиц. Генрих правил хорошо и уверенно. Потом они сели в лодку и под рокот мотора долго кружили по светлому озеру. Вернер был смущен, чувствовал себя неловко, но Генрих усиленно интересовался техническим устройством лодки, и это вывело Вернера из замешательства. Генрих, правда, говорил мало, но довольно дружелюбно. Потом они зашли в большой, в эту пору безлюдный ресторан, выпили светлого пива с малиновым сиропом и поели сосисок. Собрались домой уже поздним вечером.

Вернер сидел в автомобиле в полном смятении. Они провели полдня вдвоем, как двое любителей спорта, только и всего; сближения, на которое он надеялся, так и не вышло. А теперь Генрих будто и вовсе раскаялся, что поехал с ним за город. Во всяком случае, он почему-то упорно молчал.



— Куда ты едешь? — с вновь затеплившейся надеждой спросил Вернер, когда Генрих вдруг свернул с главного шоссе.

— Эта дорога лучше, да и вряд ли длинней, — сказал Генрих.

Ночь была темная, зажженные фары вырывали из темноты частичку соснового леса, в небе висел тоненький серп луны. Генрих ехал очень медленно. Щемящее беспокойство в груди у Вернера росло.

— Остановимся здесь, — сказал он сдавленным голосом. — Пройдемся немного по лесу, а?

— Давай, — согласился Генрих, остановил машину, выключил свет.

Они пошли в лес. Было сыро, довольно холодно и очень темно. Хорошо пахло землей и соснами. Стояла глубокая тишина. Они двигались неслышно по рыхлому, сырому, неровному грунту. Лишь изредка, когда они наступали на хворост, раздавался сухой треск. Дул легкий ветерок.

Вернер иногда спотыкался в темноте. Вдруг Генрих схватил его. В первую минуту Вернер подумал, что Генрих хочет поддержать его, но Генрих рванул его за ногу так, что он ничком плюхнулся наземь.

— Ты с ума сошел? Что ты делаешь? — крикнул он.

Генрих, не отвечая, схватил его за шиворот и стал вдавливать его голову в землю. Вернер начал задыхаться.

— Ты всадил Карперу нож в живот, ты убил Бертольда, так вот знай же теперь, каково тому, кого убивают. — Он говорил тихо, прерывисто, ожесточенно. И все глубже и глубже вдавливал лицо Вернера в землю. — Теперь тебе конец, — приговаривал он. — Они скажут, что ты издох за твое национальное дело. На меня никто не подумает. Они скажут, что тебя прикончили коммунисты. Может быть, это будет тебе утешением. Но смерть есть смерть, и никакие речи Фогельзанга тебе не помогут.

Он давил все крепче и крепче. Вернер брыкался изо всех сил, но не мог высвободить руки, не мог перевести дыхание.

Внезапно Генрих отпустил его, соскочил с его спины.

— Вставай,— скомандовал он. Но Долговязый лежал и не двигался.— Вставай,— крикнул он ему вторично и рывком поднял его.— Тряпка,— сказал он.

Вернер встал, жалкий, дрожащий, с исцарапанным сучьями лицом, весь в крови, с глубоким шрамом во весь лоб, с головы до ног облепленный влажной землей.

— Страхни с себя грязь и идем,— приказал Генрих.

Резкостью он прикрывал овладевшее им чувство беспомощности, подавленности. Он хотел разделаться с этим субъектом, но ему не удалось.

— Идем,— подгонял он Долговязого; он повел его к машине.

Они ехали домой молча. У первого трамвая Генрих ссадил Вернера.

В черном вольтеровском кресле в своей квартире на Фридрих-Карлштрассе сидит Маркус Вольфсон. Поужинали скудно: хлеб, масло, весьма сомнительный слой масла. Фрау Вольфсон крепко держит теперь в руках каждый пфенниг, строжайшим образом контролирует семейную кассу.

Сегодня вечером она снова высказывает Маркусу свое мнение. Теперь она частенько это делает. Внушительно, но не повышая голоса. Нет необходимости, чтобы ее слышали в соседней квартире, у Царнке. Вольфсон понимает ее, говори она хоть шепотом. Она уже тысячу раз повторяла все это. Надо убираться отсюда, надо бежать. Соседки — чуть ли не у всех у них мужья нацепили свастику — пока еще разговаривают с ней, если никого поблизости нет. Но стоит кому-нибудь показаться, как они сейчас же обрывают разговор. Фрау Хоппегарт полагает, что будет еще гораздо хуже. Все в один голос советуют ей уехать. Но как? И куда? На текущем счету у них две тысячи шестьсот семьдесят четыре марки. Если бы ее в свое время слушали, если бы больше экономили, если бы Маркус не роскошествовал так с обстановкой, у них было бы теперь четыреста тысяч марок. Взять, например, вольтеровское кресло. Конечно, это был случай, находка, она понимает. Но если у человека нет денег, надо уметь отказаться и от самой выгодной покупки.

Маркус Вольфсон не прерывает ее. Когда попадаешь в беду, женщина всегда забирает силу, и всегда она «все раньше знала». Старая история. Только зачем она так безбожно преувеличивает? Четыре или пять тысяч марок. Никогда бы им не наскрести такой суммы. Единственная роскошь, которую он за всю свою жизнь позволил себе, — это его новый фасад. Но тогда положение было несколько лучше. Тогда они выбрасывали людей только из вагонов, а не из страны.

Господин Вольфсон делает робкую попытку остаться оптимистом. Из «Немецкой мебели» он вылетел, верно. Но разве он плохо устроен теперь у господина Оппермана? Однако оптимизму Вольфсона больше не на что опереться. Все остальное — сплошной мрак. Против него ведут травлю, упаковщик Гинкель требует, чтобы Вольфсона выставили за дверь. Господин Опперман уже пострадал на этом деле. Господин Опперман держал себя очень порядочно, но долго ли он сможет отстаивать Вольфсона?

Допустим, он его отстоит, но жизнь все равно потеряла всякую прелесть. Если ему суждено так жить до конца дней своих, то лучше сразу отравиться. «Старые петухи», несомненно, исключают его; это только вопрос времени. Они к нему хорошо относятся, но вынуждены сделать это. Контракт на квартиру тоже не возобновят. Маркус Вольфсон живет как бы на развалинах, квартира, так сказать, уходит у него из-под ног. Они, безусловно, найдут пути и средства еще до истечения контракта вселить в его квартиру господина Цилхова, шурина Царнке.

В сущности, теперь во всех флигелях этого огромного дома почти сплошь живут господа Царнке. Подлинный господин Царнке не затрудняет себя теперь даже угрозами по отношению к соседу. При встрече с господином Вольфсоном он лишь поднимает руку и восклицает: «Хейль Гитлер!» И Маркус Вольфсон вынужден ответить таким же «Хейль Гитлер!»

— Вы, кажется, что-то сказали? — потешается иногда Царнке, и Вольфсон волей-неволей повторяет: «Хейль Гитлер!»

А то, что рассказывают все, — и коллеги в магазине и немногочисленные еврейские знакомые, — нельзя слу-

шать без содрогания. Но господин Вольфсон ничего и не хочет слушать. Ведь стоит с кем-нибудь поделиться слышанным или самому выслушать какую-нибудь историю, как неожиданно-негаданно окажешься в концентрационном лагере. Да и Мария приходит домой, начиненная всякими историями, очень скверными историями, которые рассказывают ей шепотом знакомые ее брата Морица. Но Маркус Вольфсон отмахивается, протестует, велит Марии замолчать, он ни под каким видом не желает слушать эти рассказы, которые могут довести человека до тюрьмы.

Действительно ли рассказы? Вольфсон упорно настаивает на этом, он хочет, чтобы так оно было. Но однажды, возвращаясь поздно вечером из магазина, где происходил очередной учет товаров, он увидел в центре города перед каким-то старым домом автомобиль, один из тех огромных автомобилей, на которых носились обычно нацисты. Они зажгли фары, так что улица была ярко освещена на большом расстоянии. Вольфсон решил было тут же податься назад, но потом сообразил, что это может показаться подозрительным. И он продолжал свой путь по противоположному тротуару, мимо огромной машины чрезвычайно неприятного и грозного вида, с мощными фарами и под охраной двух человек. Очевидно, в доме обыск, облава или что-нибудь в этом роде. Как раз в ту минуту, когда Вольфсон проходил мимо, они вывели из ворот человека. Маркус Вольфсон не смотрел в ту сторону, самое правильное — это идти своей дорогой и не обращать ни на что внимания; но все же, не в силах сдержать боязливого любопытства, он чуть-чуть скосил глаза. Господин Вольфсон увидел человека в коричневом костюме, вроде того, какой был на нем; человека держали трое: один за шиворот, другой — за левую руку, третий — за правую. Человек шел, опустив голову; он был избит до неузнаваемости. На какую-то долю секунды Вольфсон увидел его лицо, желтое, страшное, с огромным иссиня-черным пятном на глазу.

Маркус Вольфсон ни словом не обмолвился об этом эпизоде Марии, но желтое, страшное, истерзанное лицо все время стояло у него перед глазами. С тех пор, воз-

вращаясь домой и сворачивая на Фридрих-Карлштрассе, он всегда со страхом глядел, не стоит ли там знакомая огромная машина. Все ночи проводил он в страхе, ожидая, что вот-вот упадут на его окна лучи мощных фар, хотя это было невозможно: квартира его находилась очень высоко. Он представлял себе, как среди ночи раздается звонок, и ты еще не успел подойти к двери, как они вламываются и хватя тебя дубинкой по глазу, и вот у тебя на лице вздувается пятно, больше чем пятно над картиной, и лицо у тебя желтое, страшное, как у того несчастного.

Он плохо спал теперь по ночам. Он ничего не говорил Марии, тем сильнее поразило его, когда в одну из бессонных ночей жена вдруг ближе придвинулась к нему и сказала:

— Мне очень страшно, Маркус. Они, наверно, придут сегодня.

Он хотел рассердиться, сказать, что она мелет вздор, но язык у него не повернулся: ведь она выразила вслух то, о чем он сам думал. Он не мог больше уснуть и чувствовал, что она тоже не спит. Ему стало еще страшнее. Он уговаривал себя, что все это вздор; ведь он же ни в чем не провинился. Четыре миллиона двести тысяч человек живут в Берлине, он столько же виноват в чем-либо, сколько они. Так почему же именно ему бояться? Но рассуждения не помогали. Он вспоминал упаковщика Гинкеля, он вспоминал соседа Царнке, и его охватывал страх, страх рос, Вольфсон покрывался холодным потом, словно клещами схватывало живот; он не мог дожидаться утра. Потом он приходил в дикую ярость: почему он должен испытывать такой страх? Почему он, а не Рюдигер Царнке? Так или иначе, а еще одну такую ночь он не желает провести. Он бросит все к дьяволу. Ведь это бессмысленно — жить в таком страхе. Он попросту уедет, все равно куда, лишь бы по ту сторону границы. Ах, хоть бы утро поскорее.

В Берлине и в других городах Германии множество людей проводило такие же ночи, как Маркус Вольфсон и его жена. Они не были повинны ни в каких преступлениях, но у каждого был свой упаковщик Гинкель или сосед Царнке, который мог натравить на них наемных

убийц. Предки их испокон веков жили в Германии, не всякий ландскнехт мог похвастать этим. Они с трудом представляли себе, как они будут жить в чужой стране. И все же они с радостью покинули бы Германию, свою родину. О, с какой радостью. Но как это сделать? Если у них были магазины или другие предприятия, их приходилось продавать за бесценок. Если у них были деньги, им не разрешали брать их с собой, а другие страны не впускали к себе без денег. А были и такие, вроде фабриканта Вейнберга, которые вообще не представляли себе, как они могут прожить на меньшие средства, и они предпочитали жить в постоянном страхе, в постоянной опасности, лишь бы не расставаться со своими деньгами.

Что касается Маркуса Вольфсона, то наутро он чувствовал себя очень разбитым. Но, приняв душ и отправившись в магазин, он забыл о твердом решении уехать из Германии. Куда ему ехать? В Палестину? Без денег туда ведь никого не впускают. А что ему там делать? Осесть на землю? Маслины собирать? Виноград давить? Он даже не знает по-настоящему, как это делается. Тончут ягоды ногами, и потом сок начинает бродить. Приятной назвать эту работу, во всяком случае, нельзя. А на две тысячи шестьсот семьдесят четыре марки много не набродит. Пока со всем здесь покончишь, пока тронешься с места, да паспорта, да проезд и все такое, — больше как две тысячи на руках не останется. Или во Францию ехать? Хотя у него и хорошее произношение, но он многое перезабыл, и если он умеет сказать: «Bon-jour, monsieur»<sup>1</sup>, то этого еще далеко не достаточно, чтобы в Париже его сразу пригласили продавать мебель.

А в общем в следующую ночь было уже не так страшно, и еще две ночи он спал крепко и хорошо. Потом ему показалось, что упаковщик Гинкель как-то искоса и странно поглядывает на него. В эту ночь его опять мучил страх, а в следующую было совсем скверно.

---

<sup>1</sup> Здравствуйте, сударь (франц.).

На третью ночь — Маркус Вольфсон и его жена рано легли спать и как-то очень скоро уснули — они действительно пришли. Маркус стоял, худой и дрожащий, в измятой пижаме. Мария с полным присутствием духа хлопотала вокруг него, спрашивала у этих людей, что ему можно взять с собой. Улучив момент, она наседала на мужа и вполголоса скороговоркой попрекала:

— Я говорила, что нужно бежать.

Господин Вольфсон совершенно потерял голову. Она заставила его надеть новый костюм, он теплее, собрала и уложила ему кое-какие мелочи. Перепуганные дети путались у всех в ногах. Полицейские советовали уложить их в постель. Они были вежливы, почти дружелюбны, — это была регулярная полиция, не ландскнехты. Когда в последнюю минуту фрау Вольфсон все-таки разревелась, они сказали ей:

— Не беспокойтесь, сударыня, ваш муж скоро вернется.

Фрау Вольфсон со своей стороны делала все, чтобы слова полицейских не остались пустым утешением. Первым делом она помчалась в магазин на Герттраудтенштрассе. Там ее дружески заверили, что будет сделано все, что только можно. Она побежала по канцеляриям еврейской общины. И там обещали помочь. Она вернулась в магазин. Мартин лично принял ее и сказал, что дело поручено адвокату-нацисту, что в таких случаях наиболее целесообразно. Как только станет известно предъявленное господину Вольфсону обвинение, он ей тотчас же сообщит. Под вечер фрау Вольфсон еще раз забежала в магазин, на следующее утро снова, после обеда опять. У господина Оппермана много терпения, у господина Бригера много терпения и у господина Гинце тоже много терпения.

На третий день ей уже могут сообщить кое-какие новости, нечто совершенно фантастическое: господин Вольфсон будто бы принимал участие в поджоге рейхстага. Мария Вольфсон была готова ко всему. Может быть, ее Маркуса забрали за то, что он недоплатил три марки портному за последний костюм. Быть может, кто-либо из «Старых петухов» заявил, что Маркус жульничал в скате. Теперь ведь всякий, если ему не по

душе какой-нибудь еврей, может отправить его в тюрьму. Но что Маркуса Вольфсона, ее Маркуса, обвиняют в поджоге рейхстага, — это ее сразило. Всему свету ведь известно, что пожар подстроен господином премьер-министром прусского кабинета. Окончательно спятили они, что ли, что сваливают вину за это преступление на ее Маркуса, — на Маркуса Вольфсона с Фридрих-Карлштрассе? Да ни один сосунок из гитлеровской молодежи не поверит этому. Вне себя выкрикивала все это фрау Вольфсон в кабинете Мартина на Гертраудтенштрассе. Мартин Опперман и господин Бригер, испуганные ее криками, старались ее успокоить. Чудовищная нелепость такого обвинения — объясняли они ей — только на пользу господину Вольфсону, ибо сами власти должны признать, что даже в угаре националистского балагана нельзя ни с того ни с сего обвинить в таком преступлении продавца Маркуса Вольфсона.

А Маркус Вольфсон тем временем сидел в своей камере. Камера была светлая и пустая, но именно этот свет в сочетании с безнадежно голыми стенами делал ее вдвойне страшной. Вольфсон не имел ни малейшего представления о том, за что его посадили, а они ничего не говорили ему. Проторчать три дня в крохотном помещении, все время при свете — ночью в камеру проникал свет яркой лампы из коридора, — три дня в полном молчании и в полном одиночестве, это было для общительного, разговорчивого господина Вольфсона пыткой, страшнее которой и не придумать. Вновь и вновь задавался он вопросом — за что? Но ответа найти не мог. Когда при нем где-нибудь заговаривали о политике, он всегда был нем как рыба. Когда мимо него проходили их ландскнехты, он усердно поднимал руку на древнеримский манер и кричал: «Хейль Гитлер!» Он не отличался музыкальностью, и прошло много времени, пока он научился отличать песню «Хорст-Вессель» от других кабацких и портовых песен. А потому, заслышав где-нибудь похожую мелодию, он на всякий случай вскакивал и становился навтыжку. Чего же, бога ради, от него хотят?



Они ничего ему не говорили. Трое суток он просидел в полном одиночестве и молчании. Огромная серая безнадежность наполнила его до краев. Если когда-нибудь его и выпустят, он все равно погибший человек. Кто возьмет теперь еврейского продавца, который побывал в тюрьме у нацистов? Бедная Мария, думал он. Зачем только она стала Марией Вольфсон? Уже лучше б она осталась Мириам Эренрайх. Сидела бы она теперь в Палестине у брата Морица Эренрайха, у нее был бы кусок хлеба, она смотрела бы какие-нибудь спортивные состязания, не говоря уже о всяких там верблюдах и пальмах. А так она оказалась замужем за предателем и родила детей от хищного волка. И зачем только он польстился на новый фасад? Лежало бы теперь лишних пятьдесят марок в банке. Еще счастье, что он не заплатил «старому петуху» Шульцу всех денег. Ба! Не Шульц ли и подал на него жалобу за неоплаченный остаток; ведь он уже два раза напоминал об уплате. И вдруг Маркусу Вольфсону слышится пьяный голос Августа: «Тебе чертовски повезет, если мы летом примем тебя в свою компанию». Это прямо подлость. С него чаще всего брали отчисления в кассу фёрейна, а теперь, пожалуйста, — на его деньги эти господа будут кутить в день вознесения.

Пока мысли господина Вольфсона вертятся вокруг таких вещей, он чувствует себя еще сносно. Но есть часы, когда он ничего не ощущает, кроме страха, щемящего, убийственного страха. Они, очевидно, замышляют нечто ужасное. Если бы дело шло о пустяках, его бы давно допросили. Он вспоминает речи фюрера по радио о том, что судьи выносят слишком мягкие приговоры, что надо бы вновь ввести добрые методы седой старины: публично вешать преступников или топором отсекать им головы. Маркус Вольфсон представляет себе, как его в телеге везут к месту казни. Человек с топором будет, вероятно, во фраке. Никогда в жизни Маркусу не добраться туда живым. Он до этого двадцать раз умрет со страха.

Он тихо напевает, стараясь подбодрить себя. Когда нет этой ужасной тишины, ему легче. «Мозус цур ешуоси», — поет он, — оплот и твердыня моего спасе-

ния». Он поет немзыкально, но ему приятно петь. Большое утешение слышать человеческий голос, хотя бы всего только свой собственный. Он начинает петь громче.

— Заткни глотку, еврей, — гремит из-за двери голос, и камера снова становится голой, светлой, немой.

Третий день сидит он здесь. Он не брит, почти не мылся, потный, усики в беспорядке. Несмотря на новый фасад, бойкости в его лице и следа нет. Он тупо смотрит на стену. Его быстрые глаза давно впитали в себя все, что можно было видеть в этой камере.

В этот третий день его внезапно охватывает безмерное бешенство. Он встает. Выпрямившись, стоит он в своей клетке, выставив одну ногу. Прокурор только что кончил речь. Он сказал, что обвиняемый Маркус Вольфсон хищный волк, виновный в том, что Германия проиграла войну, и в том, что в стране инфляция, и в том, что вообще немецкий народ обанкротился, а потому он, прокурор, предлагает казнить виновного через отсечение головы. И вот слово имеет он, Маркус Вольфсон, и так как ему все равно спасенья нет, он выкладывает судьям всю правду в лицо. «Это гнусная ложь, милостивые государи, — говорит он. — Я хороший гражданин и налогоплательщик. У меня всегда было только одно желание — жить спокойно. Днем обслуживать покупателей, вечером поиграть немножко в скат, послушать радио, посидеть в своей квартирке, за которую я каждое первое аккуратно вношу плату. Продавать мебель — это же не враждебный государству акт. Не я виноват, господа судьи, виноваты те, со значками свастики, все эти господа Царнке, Цилховы и К<sup>0</sup>. И хотя говорить о них запрещено, но ведь все, что говорят, сущая правда. Они подожгли рейхстаг, и они на ходу выбрасывают людей из вагонов, а после этаким тип во фраке рубит головы порядочным людям. Это вопиющая подлость, милостивые государи». Так сводил счеты со своими противниками Маркус Вольфсон, но, к несчастью, только в воображении. У судьи, сидевшего против него в черной мантии, в жабо и в берете, были белые здоровые зубы и рыжевато-светлые волосы, и вообще это был Рюдигер Царнке.

На четвертый день Маркус Вольфсон действительно предстал перед следователем. На нем, правда, была не черная мантия, а обыкновенный штатский костюм. «Рыночный товар,— определил господин Вольфсон.— Куплено в ларьке у перекупщика, а такие ларьки чаще всего содержат евреи. Скоро уж не у кого будет покупать, и им придется платить за костюмы дороже».

Его спросили, занимался ли он политикой, какие читает газеты. В сущности, допрос был совсем не страшный, и господин Вольфсон был даже рад поговорить после такого долгого молчания. Где и как он проводил свои вечера, в особенности во второй половине февраля? В это время господин Вольфсон уже не ходил к «Старым петухам», и он ответил совершеннейшую правду, что все вечера он проводил дома.

— Все? — переспросил следователь. У него был тоненький голос, и в вопросительных интонациях он забирался порой в очень высокий регистр. Вольфсон подумал.

— Да, все,— подтвердил он. Был там еще человек за пишущей машинкой, он вносил в протокол ответы Вольфсона.

— Значит, и в ночь с двадцать седьмого на двадцать восьмое февраля вы тоже были дома? — спросил следователь.

— Как будто бы,— нерешительно сказал Вольфсон.

— Что вы делали в этот вечер? — допрашивал следователь.

Вольфсон напряженно припоминал.

— При всем желании не могу точно сказать. Обычно мы ужинаем, потом некоторое время разговариваем. Потом я, вероятно, читал газету и слушал радио.

— В этот вечер вы, по-видимому, проделывали все это необычайно тихо,— сказал следователь.

Вольфсона озарила смутная догадка. Ага, Царнке, ну, конечно, Царнке. Царнке шпионил за ним. Но они могут придаться к нему, если он что-нибудь говорил, а если он ничего не говорил, так и придаться не к чему. Он еще раз усиленно напрягает память. В ночь с 27 на 28 февраля? Ах, черт. Да ведь 28 февраля его шурин Мориц Эренрайх уезжал в Марсель; это было во втор-

ник, а накануне вечером они отпраздновали проводы. Ну, конечно, в этот вечер он не был дома. И, весь за-светившись, господин Вольфсон сказал следователю:

— Простите, господин следователь. Вы правы. В этот вечер меня действительно не было дома. Мы справляли проводы моего шурина Эренрайха. Шурин на следующий день уезжал с вокзала Фридрихштрассе, на вокзал я прийти не мог. Мы были в «Белой лилии», чудный кабачок на Ораниенштрассе. Скромное, но очень приличное заведение. Там замечательные сардельки, господин следователь. Это был любимый кабачок моего шурина.

— Так вы утверждаете теперь, что в этот вечер вы были с вашим шурином?

— Да, да, — подтвердил Вольфсон. Все это было за-несено в протокол.

Снова дводворенный в камеру, он так и не знал, чего от него хотят. Но по крайней мере он мог твердо ска-зать, что виновник его ареста не упаковщик Гинкель и не «старый петух» Шульце. И оттого, что виновны были не они, а злодей Царнке, тот самый Царнке, от которого он всегда ждал злейших пакостей, он почувствовал не-которое облегчение.

Фрау Вольфсон испуганно вздрогнула от резкого звонка: она не слышала шагов по лестнице. Вошли двое мужчин в коричневой форме ландскнехтов. Но это ока-зался господин Царнке, а с ним еще кто-то.

Господин Царнке вошел, стуча сапогами. В сущ-ности, нет никакой необходимости извиняться, но, как человек порядка, он все-таки объясняет ффрау Вольф-сон, что управляющий предложил ему посмотреть эту квартиру. Фрау Вольфсон не возражает.

— Пожалуйста, — говорит она.

Господин Царнке и его спутник — это, конечно, его шурин, господин Цилхов, — осматривают квартиру. Фрау Вольфсон, сдерживаясь, молча стоит у двери. Она отлично знает, зачем пришли эти господа. Квартирка маленькая, смотреть особенно нечего, но оба посети-теля почему-то очень долго не уходят. Господин Царнке представлял себе, что у евреев непременно должно быть

грязно, запущенно. Он увидел, что, в сущности, эта квартира мало чем отличается от его квартиры. Больше того, он вынужден признать, что площадь использована здесь удачней, а о таком большом кресле он уже давно мечтал. И сама ффрау Вольфсон, полная рыжеватая блондинка, не так неопрытна, как иногда бывает ффрау Царнке, если застигнуть ее врасплох. Рюдигер Царнке человек справедливый.

— У вас чисто,— констатирует он,— ничего не скажешь, хотя муж ваш и предатель.

— Предатель? — повторяет ффрау Вольфсон. — В своем ли вы уме? — Она могла бы сказать еще многое, и крепко и метко. Но она не глупа, а с тех пор как они забрали ее мужа, она вдвойне поумнела. Она знает, что помолчать — это во всех случаях самое умное. Она заметила, что и квартира и она сама произвели на Царнке хорошее впечатление. Пусть ругает ее Маркуса, она откажет себе в удовольствии ответить как следует. Молчок, молчок,— она не испортит хорошего впечатления. Может быть, Царнке смягчится.

Оба посетителя, в общем, всем довольны. Есть только одно досадное обстоятельство, и шурин господина Царнке особенно останавливается на нем: сырое пятно на стене. Они смотрят, как далеко оно зашло.

— Вы разрешите? — вежливо говорит Царнке и приподнимает картину «Игра волн».

— Возмутительно, до чего запущено. Картина, кстати, совсем не плохая.

Одобрительный отзыв о картине придает ффрау Вольфсон смелости, она хочет оправдаться по поводу запущенности пятна. Господин Краузе, говорит она, неоднократно обещал ее мужу принять меры, но обещания не исполнил, потому что они евреи.

— Так, так,— говорит Царнке.— Это вполне понятно. Совсем другое дело будет, когда потребуем мы.— Он еще раз благосклонно окидывает взглядом комнату, говорит «до свиданья», и оба удаляются, уже не так стуча сапогами, как в начале визита.

На другой день к ффрау Вольфсон заявился другой посетитель. С внешней стороны это посещение было куда менее эффектно, чем вчерашнее, но зато оно оста-

вило глубокий след в ее душе. Ей принесли пакет с синей гербовой маркой из 2-го городского суда юго-западного района Берлина. В пакете оказался иск дантиста Шульце на сумму в 25 марок, слагающуюся из остатка задолженности за лечение зубов, плюс судебные издержки за востребование означенной суммы.

Мария Вольфсон вперила неподвижный взор в печатный бланк, на котором машинкой проставлено было всего несколько слов и цифр. Значит муж ее, Маркус, обманул ее, он заказал себе мост за собственный счет, утаил от нее деньги. Перед бедной ффрау Вольфсон разверзлась бездна. Человек, который может так бессовестно провести собственную жену, который из пустого щегольства швыряет деньгами своих детей — ему, видите ли, захотелось иметь золотые зубы, — такой человек способен на все. Ффрау Вольфсон была вне себя. Может, он и в самом деле тайно занимался крамолой, может, он действительно каким-то образом замешан в пожаре рейхстага. А дешевый комплект постельного белья, который он подарил ей на рождество, — это ведь тоже обман. Он заплатил, конечно, гораздо дороже, чем сказал. Чему теперь верить? Но сомнения ффрау Вольфсон не помешали ей с прежней энергией добиваться освобождения Маркуса.

Кстати сказать, иск дантиста Шульце повлек за собой второе посещение господина Царнке. В большом доме на Фридрих-Карлштрассе не существовало тайн. Всем тотчас же стало известно, что ффрау Вольфсон испытывает денежные затруднения; их преувеличивали, сплетничали о визите судебного исполнителя. А ей достаточно было взять эти деньги с текущего счета. Господин Царнке, как полагается, тоже узнал об иске Шульце и не замедлил явиться. Он сразу приступил к делу. Почти наверняка он или, что то же самое, его шурин Цилхов в ближайшее время займут эту квартиру. Будет жалко, если ффрау Вольфсон за бесценок продаст кому-нибудь на сторону часть мебели, которая так подходит к этой квартире. Он готов внести задаток или даже кое-что оплатить полностью, предоставив ффрау Вольфсон до выезда пользоваться этими вещами. Она женщина аккуратная и будет бережно обращаться с чу-

жой собственностью, содержать ее в порядке. Фрау Вольфсон, не желая рассердить господина Царнке, не сказала сразу «нет». Царнке подчеркнул также, что много денег вложить в это дело он не может: евреи и капиталисты высосали из Германии все соки, и людям, как он и его шурин, подобная мебель не по карману.

То, что евреи и капиталисты высосали из Германии все соки, было давнишним мнением Рюдигера Царнке, но он надеялся, что фюрер очень быстро изменит это положение. Надежда эта послужила главной причиной того, что господин Царнке пошел в ландскнехты. Но вот уже три месяца, как фюрер взял власть в свои руки, однако все остается по-прежнему. Господин Царнке терял терпение. Больше того, в его отряде все теряли терпение. Во многих городах ландскнехты бунтовали. Фюреру помогли взять власть, а теперь оказывается, что новые бонзы хозяйничают покруче, чем те, которых сбросили. У нескольких богачей отняли имущество. Но имущество это не пошло на пользу массам. Его поделили между собой другие богачи и нацистские вожаки. Рейхспрезиденту мало было одного поместья, ему дали второе; председатель прусского кабинета министров стал богатым человеком, а господин Пфанц, председатель правления крупного страхового концерна, стал министром хозяйства. Стоило так стараться. Смешно.

Такие толки можно было услышать в отряде Рюдигера Царнке. Как начальнику отряда ему полагалось бы донести о них, но он этого не делал. Не делали этого и другие начальники отрядов. Господин Царнке, отчасти также под впечатлением от квартиры и от личности самой фрау Вольфсон, начал вообще пересматривать свои политические взгляды. Если с хозяйственными обещаниями фюрера обстоит так неблагоприятно, то, вероятно, и в других пунктах его программы не все ладно. Возможно, что во всем виноваты вовсе не евреи и что войну затеял отнюдь не его сосед Вольфсон, а если в ту ночь его не было дома, то, может, это и в самом деле не значит, что он участвовал в поджоге рейхстага. Такие крамольные мысли все больше и больше овладевали простой душой штурмфюрера Рюдигера Царнке.

И потому он не был особенно возмущен, когда однажды днем господин Вольфсон неожиданно появился на Фридрих-Карлштрассе. Вольфсон казался бледнее, чем обычно, тщедушнее, но, в общем, он не производил впечатления униженного и раздавленного.

Увидев мужа в дверях, фрау Вольфсон стала бурно изливать свою радость и не менее бурно выражать возмущение по поводу страданий, которые пришлось ни за что ни про что перенести ее мужу. Она совершенно не считалась с тем, что ее могут слышать в соседней квартире, и деловито бегала из комнат в кухню и обратно. Прежде всего она приготовила Маркусу горячую ванну; потом принялась стряпать, оставив открытой дверь на кухню. Маркус сидел в большом вольтеровском кресле, и они громко переговаривались. Он утопал в блаженстве. Какое огромное счастье вернуться домой. Он сидел, смотрел, слушал и почти не говорил.

Она глядела, с какой жадностью он поглощает еду, накладывая себе еще и еще, и даже не вспомнила, сколько все это стоит. Выложить свое обвинение она собиралась потом, когда он покончит с едой, но так как это очень уж долго продолжалось, она не выдержала, и когда он, уничтожив шницель с яйцом, принялся за сыр, заговорила о чудовищном обмане, который он совершил по отношению к ней и детям. Он слабо оправдывался и медленно, с наслаждением жевал сыр, чувствуя себя виноватым, но не очень.

Пережитые волнения придали ему твердости. Он решил уехать в Палестину. Он был тщедушен и слаб здоровьем. Но человека, который мог выдержать несколько недель в подследственной тюрьме при нацистском режиме, да еще по обвинению в поджоге рейхстага, уже не могут испугать ни древнееврейский язык, ни работа на палестинских полях. Фрау Вольфсон попросту высмеяла его. Однако господин Вольфсон оставался тверд, говорил о судьбе, читал библию, знакомился в читальне еврейской общины с литературой о Палестине. Заручившись рекомендациями Мартина Оппермана и Бригера, он обивал сотни порогов, чтобы сколотить необходимую для выезда в Палестину сумму, и подготавливал, хотя и не очертя голову, но все-таки поспешно, свой отъезд.



При этом он с не меньшим рвением, чем всегда, выполнял свои обязанности в фирме Опперман. Упаковщик Гинкель смотрел на него с ненавистью, но не без удивления: как этому человеку удалось вырваться из когтей нацистов? Упаковщик Гинкель пришел к выводу, что даже нацисты не в силах одолеть тайного союза евреев всего мира. Шестьдесят пять миллионов немцев не могли прогнать со службы одного Маркуса Вольфсона.

Маркус Вольфсон стал мудрым. Он вспоминал проведенные в страхе ночи, когда он в холодном поту, без сна, лежал рядом с Марией, вспоминал кошмарные ночи в ярко освещенной камере. Под влиянием пережитого он и добрее стал. Ему даже не доставила особой радости повость, что арестован Царнке вместе со всем его отрядом; рейхсвер обезоружил ландскнехтов, и их отправили в концентрационный лагерь. Конечно, маленькое удовлетворение Маркус Вольфсон все же испытал. Когда-то он представлял себе, как он отомстит этому Царнке. А теперь сама судьба воздала ему, и гораздо ужаснее, чем того желал Маркус Вольфсон, ибо если в тюремной камере было так страшно, то можно себе представить, что творилось в концентрационном лагере.

Господин Вольфсон не обольщался кажущимся спокойствием и надежностью своего положения. Не покладая рук подготавливал он свой отъезд, свое переселение под более приветливое небо.

Как-то, когда ему уже твердо обещали, что его ходатайство о визе на въезд в Палестину будет удовлетворено, фрау Вольфсон рассказала ему, что к ней заходила фрау Царнке и просила, нельзя ли что-нибудь сделать для ее мужа. Он невинен, как грудной младенец, а его засадили в концентрационный лагерь; к тому же из пособия, которое ей выдают, у нее вычитают еще на его содержание, и у нее на все кругом остается пятьдесят две марки; даже квартиру она не в состоянии оплатить; придется, вероятно, отдать ее шурина господину Царнке. Господин Вольфсон подавил в себе чувство торжества, готовое охватить его, покачал головой и сказал:

— Да, такова жизнь.— А потом добавил, что чрезвычайно рискованно подвергать критике правительственные мероприятия. Но когда он будет по ту сторону границы, он не прочь раскошелиться и выслать ффрау Царнке в качестве единовременной помощи полпалестинского фунта.

Жак Лавендель вынул опреснок из старинной серебряной многоярусной вазы и разломил его надвое. Он откинулся на атласную подушку с вышитыми на ней золотом древнееврейскими письменами. Хриплым голосом читал он нараспев по-арамейски: «Это хлеб изгнания, который ели отцы наши в Египте. Голодный да придет и ест с нами. Жаждущий да придет и празднует с нами праздник пасхи. В этом году здесь, в будущем — в Иерусалиме. В этом году рабы, в будущем — свободные люди». Потом он повернулся к сыну и сказал:

— Ну, Генрих, теперь твоя очередь.

И Генрих, так же нараспев, прочел древние вопросы, которые задает в этот вечер самый младший из сидящих за столом. «Чем отличается эта ночь от всех других ночей?» Все думали о Бертольде; будь он жив, он читал бы теперь эти вопросы, так как он был моложе Генриха.

Это был вечер 11 апреля, или 14 нисана по еврейскому исчислению, первый пасхальный вечер, сейдер. С незапамятных времен эта ночь священна для евреев, они отмечают ее домашним богослужением и ритуальным ужином; так чтят они память об освобождении из Египта и пасхальном вечере. Память эта жива на протяжении нескольких тысячелетий, ибо: «не только фараоны воздвигали гонения против нас», говорится в литургии этого вечера, «во все времена были люди, заносившие меч над нами, дабы уничтожить нас, но господь спасал нас от рук их».

Со дня пятидесятилетия Густава семья Опперман не собиралась в таком полном составе, как в этот пасхальный вечер в доме Жака Лавенделя, на берегу озера Лугано. Иоахим Ранцов и Лизелотта тоже присутствовали. Все сидели вокруг большого, празднично сервирован-

ного стола. Сосуды, употребляемые при пасхальных обрядах, были лучшими экземплярами в коллекции Жака Лавенделя. На столе стояла старинная многоярусная серебряная ваза для опресноков, всевозможные маленькие серебряные тарелочки, одна с костью и остатками жареного мяса, другая — с листьями салата, мисочка со сладким муссом из яблок с орехами. Серебряные кубки с вином, один — большой, нетронутый, для Ильи-пророка, предтечи мессии, на случай, если он, как следовало надеяться, посетит в пасхальную ночь этот дом. Около каждого прибора Жак Лавендель положил книжечку с пасхальными молитвами — «Аггаду». У него было множество изданий «Аггады», среди них очень старинные, с иллюстрациями.

Слушая хриплый голос Жака Лавенделя, напевавшего старинные молитвы, Густав перелистывал свою «Аггаду», рассматривал наивные иллюстрации. Вот фараон с неподвижным лицом и короной на голове сидит в ванне; совершаются знаменитые десять казней египетских — вода превращается в кровь. А вот фараон с тем же неподвижным лицом сидит на троне, и вокруг него — все те же десять казней — прыгают жабы. Перечисляя десять казней, следовало при упоминании каждой казни обмакивать в вино по одному пальцу, и так все десять; десять капель отливались из кубка радости, потому что эта радость досталась ценою страданий других людей. О собственных мучениях тоже вспоминалось вдосталь. На наивных картинках «Аггады» изображены были евреи, таскавшие под ударами плетей кирпич и глину для постройки городов Пифона и Рамзеса. В сущности, тогдашним евреям было не так уж плохо; плети у надсмотрщиков обыкновенные. Теперь евреев бьют резиновыми дубинками и стальными хлыстами, поговаривают даже о подпаленных ладонях и ступнях. И вдруг в воображении Густава вновь возникла картина, которая неотступно преследовала его со дня получения памятной телеграммы: друг его, Иоганнес Коган, стоит на ящике, ящик почему-то треугольный, с острыми ребрами. Иоганнес пляшет, стоя именно на ребре ящика; он причудливо приседает, пружинисто подпрыгивает и опять приседает, как паяц, которого

изображал знаменитый танцор в каком-то давно виденном балете; Иоганнес вытягивает руки и с каждым приседанием, как попугай, выкрикивает: «Я, жидовский выродок, предал отечество».

Густав сделал над собой усилие и вернулся к иллюстрациям в своей «Аггаде». Вот сидят они, горсточка евреев, вокруг длинного стола за вечерней трапезой. Около двух тысяч лет празднуют так евреи свое «освобождение». Однако дарованная им свобода весьма сомнительного свойства. Когда они молят господа бога излить гнев свой на врагов их, то в знак твердого упования они отворяют двери, чтобы и враги знали, как тверда их вера. Осторожные же люди, как господин Вейнберг, например, посылают сначала в коридор посмотреть, не подслушивает ли там кто-нибудь. Но, несмотря ни на что, они продолжают упорно верить в свое полное освобождение. Вот уже почти девятнадцать веков, как они ставят на стол кубок с вином для пророка, предтечи мессии, ставят упрямо, год за годом, и на следующее утро дети разочарованно убеждаются, что бокал как был полный, так и остался и что пророк опять не отпил из него. «Нам положено трудиться, но нам не дано завершить труды наши».

Жак Лавендель кончил первую часть затрапезных молитв. Приступили к ужину. До ужина они читали по-древнееврейски и по-арамейски о стране Египте, из которой бог две тысячи лет тому назад вывел евреев; теперь же они говорили по-немецки о немецкой стране, из которой евреев еще никто не вывел. Лишь немногим удалось спастись бегством из страны ужасов; остальных просто не выпускали, а если кому-либо и давали возможность уехать, то накладывали арест на его имущество. Когда же за границей рассказывали об ужасах, происходящих в Германии, угнетатели пользовались этим как предлогом для еще более зверской травли тех, кто оставался в Германии. Что же делать? Молчать, не восстанавливать цивилизованный мир против этого царства варваров? Нет, молчать нельзя,— так думают все сидящие за этим столом, ибо все равно, есть предлог или нет его, нацисты твердо решили переложить в свои карманы имущество евреев, захватить их места, унич-

тожить их самих. Нельзя прятать голову под крыло. Надо неустанно твердить всему миру о том, что в нынешней Германии насаждается ненависть к культуре, что первобытные инстинкты возводятся в добродетель, что мораль первобытных орд поднята на высоту государственной религии. Но Опперманы — люди умные, они знают свет, знают его равнодушие. У иных имущество в Германии, им не хочется его терять, иные заинтересованы в военных поставках Германии, а иные боятся, что на смену фашизму может прийти большевизм. Гуманность и цивилизация — слабые доводы против этих соображений. Чтобы побудить мир к вмешательству, нужны более осязательные аргументы.

Мартин заговорил о своих планах. Ему хочется по мере своих скромных сил содействовать пересадке на другую почву того, что есть хорошего в Германии. Его давно уже интересовал архитектор, специалист по интерьеру, Бюркнер. Но мебельная фирма Опперман в Берлине была неподходящим полем действия для этого архитектора: там Мартин не мог как следует его популяризировать. Теперь он собирается пригласить его в Лондон, где хочет открыть магазин для продажи вещей, сделанных исключительно по моделям Бюркнера. К большим прибылям Мартин не стремится. Да и для кого они пужны ему? Но ту или иную задачу в жизни человек иметь должен.

Сказанное Мартином причинило Густаву почти физическую боль. Бывало, он посмеивался над «достоинством», в которое облакался Мартин. А теперь, увидев Мартина, сбросившего с себя эту броню, он был потрясен. Прежде Мартин никогда так многоречиво не распространялся бы о своем положении, своих планах, своей «задаче». А задача-то какова? Из Германии захватывают с собой то, что в ней есть хорошего, и пересаживают на заграничную почву. Слишком простой выход из положения, мой милый. А что же сама Германия — пусть гибнет? Мартин и не понимает, как ему хорошо. Рядом с ним сидит его Лизелотта. Лицо у нее, правда, не такое светлое, как раньше, удлиненные серые глаза не такие ясные. И все-таки сколько в ней уверенности и спокойствия. Куда бы ни переселился Мар-

тин, в Лизелотте он берет с собой кусок Германии. А таких, как Лизелотта, верных, стойких немцев, много. Много есть Бильфингеров и Фришлинов. И сейчас еще Германия полна ими. Что же, бросить их на произвол судьбы? В ящике его письменного стола в бернской гостинице лежат документы Бильфингера. Иоганнес Коган заключен в концентрационный лагерь, его «исправляют». Кто в Германии знает обо всех этих вещах? Разве не обязан кто-нибудь открыть глаза людям? Густав чувствует глубокую связь с братьями, со всеми, кто сидит за этим столом. Они все очень умны, он уважает их за здравый смысл, которого у них больше, чем у него. Но сейчас их практический ум кажется ему слишком равнодушным, косным. Кто, подобно ему, перечувствовал документы Бильфингера, перечувствовал терзания Иоганнеса Когана, тот уже не может считаться с практическими соображениями.

Ужин кончился. Жак Лавендель возобновил моление. Но он не был строг и не сердился на тех своих гостей, которые, усевшись в уголке, продолжали вполголоса беседу.

Среди них Гина. С озабоченным видом рассказывает она о своих трудностях. У нее был нелегкий выбор: то ли Эдгара сопровождать в Париж, то ли Рут — в Палестину. Теперь они проводили свою девочку на пароход. Девочка категорически воспротивилась желанию матери сопровождать ее в Палестину. Рут ведь очень самостоятельна и очень умна. Но как бы она ни протестовала, они непременно поедут в Палестину посмотреть, как она там устроилась, пусть только Эдгар наладит свою лабораторию в Париже.

Эдгар не слышит торопливой бесцветной болтовни жены. Он сидит за столом, за которым распевает молитвы Жак Лавендель, и перелистывает свою «Аггаду». В детстве он учился древнееврейскому, но не слишком усердно. С трудом разбирает он сейчас слова и с помощью приложенного перевода раскрывает их смысл. Он космополит, он всегда высмеивал стремление сионистов воскресить мертвый язык, а вот маленькому доктору Якоби придется теперь засесть за древнееврейский, если он хочет работать в Палестине: ведь других воз-

возможностей у Якоби нет. У него, Эдгара, много возможностей, но они доставляют ему мало радости. Он уже не молод, позади тяжелый год, да и впереди, конечно, нелегкий. Он тоже рассматривает наивные иллюстрации своей «Аггады». Вот египтяне бросают в Нил еврейских младенцев. Что за кустарный способ. Наши египтяне поступают радикальней. Всех евреев они собираются подвергнуть стерилизации, а заодно и социалистов и вообще всех интеллигентов. Размножаться впредь должны только нацисты, им нужно обезопасить себя от вредных элементов, которые могут испортить им кашу.

Беседующие в уголке вновь заговорили о Германии. Они старались говорить деловито, сухо. Но сухость их — только маска. Их родина, их Германия, оказалась изменницей. Они так твердо стояли на земле своей родины, веками утверждались на ней, и теперь вдруг она ускользает из-под ног. Трезво рассудив, они приходили к заключению, что, видимо, им никогда не вернуться в Германию. Чем, в самом деле, может кончиться господство фашистов, как не войной, кровавыми потрясениями? Но про себя каждый, вопреки рассудку, надеялся, что все повернется иначе: Германия снова станет великой и здоровой, и они смогут вернуться на родину.

Жак Лавендель пригласил гостей к столу. Он дошел до предпоследней страницы своей «Аггады». «Тут вам придется поддержать меня», — ласково уговаривал он. Он начал читать заключительную часть «Аггады», древнюю арамейскую песню о козочке, которую отец купил за два гроша и которую кошка искусила насмерть. И тут начинался круговорот судеб и возмездие: собака разорвала кошку, палка ударила собаку, огонь сжег палку, вода погасила огонь, вол выпил воду, мясник заколол вола, смерть сразила мясника, и бог сразил смерть. Ко-озочка, козочка! Жак Лавендель, полузакрыв глаза, покачивая головой, упоенно напевал простую, мудрую, меланхолическую песенку. Тайнственно звучали арамейские слова. Даже в немецком переводе от них веяло древностью, покоем и в то же время угрозой. Сквозь голос Жака Лавенделя Густаву слышался желчный швабский говор: «они уничтожили меру вещей»,

чудилась рука, которая стирала неправильную цифру «2,5 метра» и вместо нее записывала точную цифру.

Жак Лавендель допел песню о козочке, и наступило молчание. Нарушил его Генрих.

— Well, daddy<sup>1</sup>, — сказал он. — Ты очень хорошо поешь, но если бы ты поставил пластинку с этой песней, было бы еще лучше.

Перешли в другую комнату. Жак Лавендель, мгновенно преобразившись из молящегося старого еврея, выходца из гетто, в современного делового человека, заговорил о своих планах. Он собирался прежде всего пожить несколько месяцев здесь, основательно полодырничать. В сущности, он должен быть благодарен фюреру, что тот, правда, не слишком вежливо, но все-таки заставил его наконец взять отпуск. Он будет много читать. Ведь он очень мало учился. Генрих один не может восполнить пробелы в образовании отца, хотя совет по поводу граммофона и свидетельствует о его наблюдательности. Потом он собирается поехать по свету. Нельзя полагаться на книги и газеты; надо побывать в Америке, в России, Палестине и воочию убедиться, что и где делается.

Слушая Жака Лавенделя, Мартин думал: Жаку Лавенделю хорошо говорить о путешествиях. Что самое приятное в путешествии? Возвращение домой. У Жака есть здесь дом, свой очаг, у него есть подданство, он единственный из них, у кого есть твердая почва под ногами. Все остальные лишены собственного крова; когда кончится срок их паспортов, им вряд ли возобновят их. Мартина в последнее время не так-то легко пронять, однако при мысли, что дом на Гертраудтенштрассе уплывает из их рук, что единственная прочная база Опперманов — вот это случайное прибежище в Лугано, — сердце у него больно сжимается. А тут еще Клара, как всегда самая молчаливая из всех, сказала с присущей ей прямолинейностью:

— Никто из нас, видимо, не знает еще, куда он направится. Но помните: здесь вы во всякое время желанные гости. Мы были бы очень рады, если бы вы время

---

<sup>1</sup> Прекрасно, папа (англ.).



от времени съезжались сюда повидаться. — Клара говорила рассудительно и просто, как всегда. Но все почувствовали, что у Опперманов нет больше своего очага, что история Эммануила Оппермана, его детей и внуков кончилась.

Сегодня они еще вместе. Но в будущем разве только случай может свести их. Родины они лишились, потеряли Бертольда, потеряли и дом на Герттраудтенштрассе и все, что было с ним связано, потеряли лабораторию Эдгара, особняк на Макс-Регерштрассе. Все, что создали три поколения в Берлине и трижды семь поколений в Германии, кануло в вечность. Мартин едет в Лондон, Эдгар — в Париж, Рут — в Тель-Авиве, Густав, Жак, Генрих разъедутся неизвестно куда. Их рассеет по всей земле, разбросает по всем океанам, развеет всеми ветрами.

А Германию тем временем все плотней и плотней обволакивал туман лжи. Герметически изолированная от остального мира, страна отдана была во власть лжи, которую изо дня в день изрыгали фашисты, миллионы раз повторяя ее в печати и по радио. Для этой цели они создали специальное министерство. Пользуясь всеми средствами современной техники, фашисты внушали голодающим, что они сыты, угнетенным — что они свободны, тем, кому угрожало растущее возмущение всего мира, — что весь земной шар завидует их мощи и величию.

Германия готовилась к войне. Подготовку вели в стране и за пределами страны, открыто нарушая существующие договоры. Цель жизни — это смерть на поле битвы, проповедовали фашистские вожаки. Война — высшее предназначение нации, провозглашали громкоговорители, все свободное время молодежи заполнялось военной муштрой. На улицах снова зазвучали военные песни. В то же время фюрер в высокопарных истерических речах заверял, что страна неукоснительно придерживается существующих договоров и стремится только к миру. Хитро подмигивая, массам объясняли, что речи фюрера предназначены исключительно для дураков за границей и произносятся лишь для того, чтобы без

помех продолжать вооружение. Эта «маскировка», измышленная «северной хитростью», оправдана великими целями нации. Так пыталось правительство объединить шестьдесят пять миллионов людей в союз хитро подмигивающих двурушников.

В таком же духе воспитывалась молодежь. Ей внушали, что война вовсе не была проиграна, что германский народ самый благородный в мире и что именно поэтому на него извне и изнутри ополчаются коварные недруги. На расспросы любопытных молодежи предлагали отвечать, что военные учения не военные учения, а «спорт». Детям внушали, что тот, кто говорит правду, направленную против интересов «коричневых», — негодяй, поставленный вне закона. Им внушали, что они — достоинство государства, а не дети своих родителей. Чернили и оплеывали все то, что родители их славили, славили все то, что родители их предавали проклятию, и жестоко наказывали тех из них, кто открыто разделял убеждения родителей. Детей учили лгать.

В этой фашистской Германии не существовало преступления злее, чем приверженность здравому смыслу, приверженность идее мира и принципам правдивости. Правительство требовало, чтобы каждый тщательно следил за своим ближним, за тем, в какой мере он исповедует предписанные нацистами взгляды. Кто не доносил, тот уже сам был на подозрении. Сосед шпионил за соседом, сын — за отцом, приятель — за приятелем. В квартирах разговаривали шепотом, ибо громко сказанное слово проникало сквозь стены. Боялись друга, подчиненного, официанта, подававшего обед, боялись соседа в трамвае.

Ложь и насилие шли рука об руку. «Коричневые» отменили принципы, которые со времен французской революции лежали в основе общественной жизни и культуры народов. Они вновь ввели рабство под видом «добровольной трудовой повинности». Они заточали в тюрьмы своих противников, содержали их хуже зверей, подвергали их пыткам и называли это «физической закалкой». Они выжигали им свастики на теле, заставляли их мочиться друг на друга, выщипывать траву ртом, водили в скоморошских процессиях по улицам и

называли это «воспитанием в духе национального самосознания». Заповедь «не убий» была отменена. Политическое убийство превозносилось, как героический поступок, фюрер величал убийц — именно за то, что они были убийцами, — своими братьями; убийцам воздвигали мемориальные доски, убитых выбрасывали из могил; одного убийцу — именно за то, что он был убийцей, — возвели в ранг полицей-президента. За первые три месяца фашистского господства в стране насчитывали пятьсот девяносто три безнаказанных убийства — больше чем за все предыдущее десятилетие. В эту цифру вошли только зарегистрированные, документально заверенные убийства. А число казненных в первые месяцы фашистского господства было больше, чем за предыдущие пятнадцать лет.

Ложь и нищета шли рука об руку. «Свобода и хлеб» в устах фашистов означало: свобода для них убивать своих противников и хлеб для них, за счет хлеба и работы, отнятых у других. Они изгнали из страны или заточили в тюрьмы талантливых людей, чтобы очистить место для своих бездарных ставленников. Они подняли цены на продукты и снизили заработную плату. Голод и нищета росли день ото дня. За первые три месяца фашистского господства число браков сократилось на  $5\frac{1}{2}\%$  по сравнению с соответствующим периодом за прошлый год; смертность повысилась на  $16\%$ . Безработица разрослась неизмеримо; по числу безработных Германия заняла первое место в мире. А фашисты, и глазом не моргнув, утверждали, что они сократили безработицу.

Ложь, корысть и разнузданность шли рука об руку. Кто принадлежал к господствующей клике, тот мог упрятать своего конкурента в концентрационный лагерь. Самый популярный человек в Германии, чей голос особенно охотно слушали по радио народные массы, был заключен в концентрационный лагерь, когда к власти пришел фюрер, на пути которого популярность этого человека была помехой. Под угрозой концентрационного лагеря у кредитора-еврея вымогали отказ от взыскания долга, а еврея-должника заставляли платить до срока. Еврею-домовладельцу жильцы его дома отказывались вносить квартирную плату, «ему переведут

ее в Палестину». Все не фашисты жили под постоянным страхом. Достаточно было обмолвиться, что при нынешнем режиме поднялись цены на мясо или что программа какого-нибудь фашистского праздника была недостаточно хорошо составлена, чтобы угодить в концентрационный лагерь. Достаточно было и голословного обвинения в таком «преступлении». Если «коричневому» не нравился нос какого-нибудь прохожего, он мог этот нос разбить. Потом он заявлял, что этот вот с таким-то носом недостаточно быстро поднял руку, когда заиграли фашистский гимн. Такого мотива было достаточно для оправдания.

А народ был хорош. Он дал миру великих людей и творил великие дела. Его составляли сильные, трудолюбивые, способные люди. Но их культура была молода. Оказалось нетрудно злоупотребить их поверхностным, безотчетным идеализмом, развить атавистические инстинкты, пещерные страсти — и тонкая оболочка культуры прорвалась. А отсюда то, что случилось. Внешне страна была такой, как всегда. Катились трамваи и автомобили, функционировали рестораны и даже театры, хотя они работали теперь по указке, у газет были те же названия, те же шрифты. Но внутренне страна изо дня в день все больше дичала, нищала, загнивала, гибла. Зверство и ложь разъедали ее. Вся жизнь превратилась в зловонный грим.

Очень многие проявляли равнодушие к общественной жизни. Они верили в обманчивое спокойствие будней, в искусственное веселье празднеств и манифестаций, которые «коричневые» устраивали в изобилии, чтобы заглушить вопиющую нищету крестьян и рабочих, ужасы концентрационных и трудовых лагерей. К тому же те, кто заступил место изгнанных талантливых людей, и те, кто питался объедками со стола новых властителей, создавали иллюзию нового благополучия. Большинство населения обмануть, конечно, не удавалось: возмущенных было больше, чем довольных. При виде марширующих отрядов ландскнехтов недовольные прятались в подворотни, только бы избежать обязательного приветствия. Они до крови закусывали губы, когда слышали гнусную песню о том, что «мир

лишь тогда хорош, когда еврею всадишь в горло нож». Но никто не смел открыть рта: за неудобное слово привлекали к суду.

В эту пору в Германии научились лгать. Вслух фашистов прославляли, а втайне проклинали. Одевались в коричневый цвет нацистов, а в сердце таили красный цвет их врагов. «Бифштексы» называли они себя сами (потому что, как бифштексы, были коричневы снаружи и красны внутри). Партия «бифштексов» была куда многочисленнее партии фюрера. Но ее голос не прорывался за границу, а голоса из-за границы не доходили до нее. В берлинском предместье Кепеник была казарма ландскнехтов, известная под названием «Смиренье». Казарма эта пользовалась печальной славой, так как заключенных в ней подвергали особенно жестокой «обработке». Когда в подвале увечили людей, на дворе заводили мотоцикл. Шум мотора заглушал крики истязуемых и стук ударов. Этот мотор, действующий вхолостую и заведенный только для того, чтобы заглушать крики пытаемых, был символом третьей империи.

Безумием и ложью являлось все, что делали и приказывали властители третьей империи. Ложью были их слова, и ложью было их молчанье. С ложью они вставали, с ложью ложились. Весь их строй был ложью, ложью были их законы, ложью были их приговоры, ложью была их немецкая речь, наука, право, вера. Ложью был их национализм и «социализм». Ложью были их мораль и любовь. Все было ложью. И только одно было правдой: их человеконенавистничество.

Страна стонала. Но внешне сохранялся вид покоя и порядка. Столпом этого порядка были 600 000 ландскнехтов, основой его — 100 000 заключенных. Страна была доведена до нищеты, страна была доведена до разорения. Но гуляющие по Курфюрстендамму в Берлине, по Юнгфернштигу в Гамбурге или по Гохштрассе в Кельне видели только спокойствие и порядок.

Из этой Германии сегодня приезжала Анна.

Густав стоял на перроне провансальского приморского городка Бандоль, ожидая прихода ее поезда. Вот она вышла из вагона. Она чуть пополнила, но была

по-прежнему стройна, сочетая в себе девическую хрупкость и женскую зрелость, высокая, спокойная. Дул мистраль. На свежем, приятном ветру бледное лицо Анны слегка порозовело, и только вокруг глаз сохранилась бледность. Веселая, спокойная, сидела она рядом с ним. Густав взял ее руку; она сняла перчатку, не отнимая у него руки.

Густав был доволен, что выбрал для встречи эту прекрасную южную местность. Морской берег то извилисто выдавался вперед, то широкой дугой уходил вглубь. В нем не было назойливых красок. Отлогой грядой поднимались невысокие, покойных тонов горы, с их серебристо-зелеными масличными рощами, с пиниями и виноградниками и бурыми крошащимися скалами.

За ужином Анна говорила о том, как ей хотелось бы провести свой отпуск. Утомленная горячей работой этого года, она радовалась ничегонеделанию, радовалась морю. Гулять, купаться, греться на солнышке — это будет чудесно. Но совсем бездельничать она все-таки не может. Ей нужно позаняться французским языком. Она захватила с собой книги, хороший словарь. Говорила она, как всегда, спокойно, серьезно и весело. Ее светлые глаза под густыми каштановыми волосами смотрели испытующе, многое отметили, вбирали в себя лишь то, что им было нужно, медленно, но навсегда. Анна была такою же, как полтора года назад, когда Густав видел ее в последний раз. Он был изумлен. Ему казалось, что всякий, явившийся из страны кошмаров, должен неузнаваемо измениться. Прав ли он, желая согнать с этого безмятежного лица, с этого выпуклого лба покой, которого сам он навсегда лишился? А если прав, то удастся ли ему это?

На первых порах он не говорил с ней о том главном, что его волновало. Он сказал только, что на этот раз он не может жить так широко, как раньше. Аккуратной, бережливой Анне это обстоятельство пришлось очень по душе. Они наняли маленький старый автомобиль и весело пустились на поиски дешевого дома, в котором могли бы провести несколько недель. Они нашли домик на полуострове Ла-Горрет. Широкий, приземистый, он уединенно стоял на берегу маленькой бухты, на неболь-

пом мысу, розово-коричневый, облущенный. Позади высились холмы, покрытые оливами, виноградниками, а чаще всего пиниями. Дорога поднималась к мысу четким, красивым изгибом. Под соленым ветром не росли ни цветы, ни трава. Перед домом были лишь море да отлогий песчаный пляж, залитый солнцем, отгороженный густой каймой молодых низеньких пиний, сползавших с мыса прямо к морю.

Бедно одетый человек, с исполненными благородства движениями, показывал им дом. Комнаты были большие, голые, запущенные, но во все окна глядело море. Кое-какая полуразвалившаяся мебель служила обстановкой. Хозяин был немногословен и отнюдь не навязчив. Анна полагала, что она сможет здесь все хорошо устроить; ее подмывало навести тут порядок. Починить самое необходимое не составит больших трудов и затрат. Бедно одетый человек, с исполненными благородства движениями, изъявил готовность помочь. Он был виноградарем и владел небольшим участком земли на расстоянии нескольких сот метров отсюда. Они наняли домик.

Через двое суток они собирались переселиться, к этому времени все должно быть готово. Анна возилась и убирала целый день, виноградарь — спокойный и немногоречивый человек с красивыми движениями, что-то пилил, сколачивал. Густав глядел на них. Иногда Анна спрашивала какое-нибудь французское слово, чтоб объяснить с виноградарем. Этим и ограничивалась его помощь. Работа доставляла Анне радость, она вся ушла в нее. Женись он на Анне, живи с ней, — все было бы иначе.

Густав вышел из комнаты, где он только мешал, лег перед самым домом на солнцепеке, дремотно отдаваясь легкому ветерку. Какое непоколебимое спокойствие на лице у Анны. От этого спокойствия в сердце вливается бодрость, но в то же время охватывает жуть. Лицо Анны, ее широкий красивый рот, ее крепкие скулы, выпуклый лоб под густыми каштановыми волосами, — это лицо Германии.

Но Германии вчерашней. Он должен во что бы то ни стало согнать спокойствие с этого лица, если хочет,

чтобы сегодняшняя Германия снова стала вчерашней. Перед ним раскинулось большое серо-голубое море в белых барашках, вздуваемых легким ветром, широкий простор дышал покоем и миром. Какую радость доставляет Анне наводить порядок в этом запущенном доме. Он мог бы приятно провести здесь время; для этого надо только молчать, не нарушать спокойствия Анны. Жаль, что он не имеет права молчать.

Пообедали всякой всячиной: яйца, холодное мясо, фрукты, сыр, вино. Это был веселый обед. Все, что Анна задумала, все ее планы на ближайшие пять недель облекались в более конкретные формы. Прежде всего она закончит возню с домом. Она задалась целью привести все в желанный вид, и выполнит это. Правда, не успеет все наладиться, как им уже придется уезжать.

А вообще она собирается жить по твердому расписанию. Ежедневно заниматься спортом, гимнастикой. Красивая дорога с пологим подъемом очень хороша для бега на большую дистанцию. Анне свойственна была педантичность, но она обладала и юмором. Она весело смеялась вместе с Густавом, когда он подтрунивал над ее педантичностью. Она медлительна и потому педантична. Требуется, например, довольно много времени, пока она разберется в человеке. Поэтому она решила серьезно заняться физиогномическими теориями. Густав спросил ее, не стал ли он умнее за полтора года их разлуки, не замечает ли она в нем нового, не набрался ли он наконец, хотя бы к пятидесяти годам, немножко мудрости. Анна серьезно посмотрела на него. Да, он изменился, сказала она. Его чувственный рот стал чуть тверже, а линии, бегущие от глаз к носу, не такие мягкие, не такие расплывчатые, как прежде. Густав выслушал ее анализ, чуть-чуть улыбаясь, задумчиво.

После обеда они отправились в Тулон приобрести кое-что из хозяйственных вещей. Анна решила сделать это возможно экономней. Они обегали много лавок. Анна была неутомима, выискивая здесь одно, там — другое. Им нравилась пестрота города, его шум. Они поели в портовом ресторанчике, потом Анна снова отправилась в город одна и наконец торжественно объявила, что теперь у нее есть все, что ей нужно.



Наступил вечер, и наступило утро третьего дня их совместной жизни. Скоро дом примет тот вид, о котором мечтала Анна. Густав все еще не начинал разговора о том, что его волновало. После обеда они, лежа на скалах в своей маленькой бухте, принимали солнечную ванну. Анна лежала на животе, подперев обеими руками голову, и читала французскую книгу, заглядывая в словарь. Иногда она спрашивала у Густава о более точном оттенке слова; она была упряма и нередко настаивала на своем толковании, даже если ошибалась.

Он не имеет права пропустить и сегодняшний день, больше молчать нельзя. Издалека, осторожно приступает он к своей теме. Нет лучшей поры в Германии, чем поздняя весна и раннее лето. Ему бы, в сущности, очень хотелось поехать с нею в Берлин и провести неделю-другую в особняке на Макс-Регерштрассе. Густав лежал на спине, подложив волосатые руки под голову, лениво, задумчиво глядя в небо.

— Жаль,— медленно протянул он,— что это невозможно.

— Почему невозможно? — помолчав, спросила Анна, не отрываясь от книги. Густав приподнялся.

— Разве ты ничего не знаешь? Ты ничего не слышала?

Нет, она ничего не знала. Оказалось, что она не знала ни о пресловутом воззвании, ни о злоключениях Густава, ни о преследованиях, которым он подвергался. Оказалось, что она совершенно ничего не знала и о гнусностях, которые творились в Германии.

Она была возмущена тем, что стряслось с Густавом. Но решительно отказывалась делать общие выводы на основании этого факта. Как всегда неторопливо и рассудительно, она изложила ему свое мнение о событиях в Германии, говоря больше для себя, чем для него. Одно «национальное» правительство уступило место другому, еще более «национальному». Об этом возвещают в высокопарных глупых речах, грандиозными глупыми демонстрациями. А разве митинговые речи и демонстрации когда-нибудь бывали умными? Бойкот и сжигание книг — это, конечно, отвратительно. Газеты противно читать, трескотню, поднятую нацистами, противно слу-

шать. Но разве кто-нибудь принимает все это всерьез? Жизнь, в общем, идет своим чередом. На предприятии, где работает Анна, выбран новый заводской комитет и рабочим снижены ставки. Новый заводской комитет попытался сначала командовать и потребовал увольнения семнадцати евреев и социалистов. Но теперь из числа семнадцати уволенных девять восстановлены. Тайный советник Гарпрехт, ее патрон, иногда добродушно дразнит Анну «ее приятелем-евреем». Внешне он соблюдает всю обрядность нового культа, но наедине с ней или с другими приближенными высмеивает их.

Оба приподнялись. Он сидел на песке, поджав ноги, она — на камне против него. Французский словарь, который она обычно бережно клала в тень, валялся на солнцепоке, и переплет его коробился. Она говорила медленно, боясь сказать лишнее, но боясь и не договорить. Ее светлые глаза смотрели на него прямо и спокойно. Это была Анна, его Анна. Она приехала из Германии, из герметически закупоренной страны, она была одной из живущих наверху, она не знала, что творится у нее под ногами. Она верила в «спокойствие и порядок» и отстаивала свою веру.

Он слушал внимательно, не перебивая. Все, что она говорила, он слышал много раз, — это можно было прочесть во всех немецких газетах. Так защищали себя те, кто жил в Германии, даже честные, благомыслящие люди, чтобы только не потерять почвы под ногами, не потерять родины. Говорить ли с ней? Есть ли в этом смысл? Не легкомысленно ли, больше того, не бесчестно ли вырвать эту женщину из ее уверенного непоколебимого спокойствия? Перед ним всплывает Иоганнес Коган на ящике. Приседание! Встать! Иоганнес похож на клоуна в цирке, он кричит, как попугай: «Я, жидовский выродок, предал свое отечество». Анна и месяца не может провести в этом южнофранцузском городке, чтобы не навести порядка в доме, где она живет. Так неужели оставить ее в неведении, не рассказать ей о гниении и распаде, которые убивают ее родину? Нет, он не имеет права щадить Анну.

Он передает ей то, что ему рассказал Бильфингер. Он говорит под тихое журчанье моря и легкий шум ветра. Он говорит не так сухо и деловито, как Бильфингер, его слова окрашены чувством. Он не может спокойно излагать факты, он усиливает, преувеличивает. Да, да, пусть она послушает, что происходило в ее Вюртемберге, почти под самым Штутгартом, в то время, когда она расхаживала по его улицам и ничего не видела, кроме «спокойствия и порядка».

Он чувствует, что говорит плохо, слишком возбужденно, неубедительно. Он не рассказывает, он словно защищается. Чего он, в сущности, хочет? Чего хотел Бильфингер — понятно. Он испытывал настоящую потребность сказать все это ему, еврею, человеку, к которому это имело прямое отношение. Но что заставляет Густава тревожить Анну? Ведь он ничего от нее не хочет. Он вовсе не желает принудить ее к действию. Нет, все-таки чего-то он хочет от нее. Подтверждения. Подтверждения, что он правильно чувствует. Не эгоизм ли это с его стороны? Нет. Они уничтожили меру вещей, и на нас возложено восстановить ее, — и он должен получить подтверждение этого от Анны. С кем же еще ему говорить? С Иоганнесом Коганом? Но Иоганнес Коган в Герренштейне. Приседание! Встать!

Анна слушает. Светлые глаза ее темнеют. Она возмущена, но не услышанным, а тем, что кто-либо может поверить этому. У Густава забрали дом, и потому он поверил, что вся страна превратилась в первобытный лес, а жители ее — в дикарей. Море рокошет сильнее. Анне приходится напрягать голос. Щеки ее покрылись красными пятнами, бледность вокруг глаз усилилась.

Густава не очень трогает ее гнев. Он знал, что Анну нелегко переубедить. Она явилась из страны лжи. В течение долгих месяцев лучшие виртуозы лжи, пользуясь последними техническими достижениями, сеяли по всей стране миллиарды лживых вымыслов. Анна вдыхала этот отравленный ложью воздух день за днем, час за часом. Затуманивать головы таким, как она, скрывать от них истину, — для этого существует специальное министерство лжи. Больше того: вся эта лжереволуция

видит во лжи свою важнейшую политическую миссию. Анна напилась этой ложью. Противоядие не может подействовать сразу. Чтобы излечить ее, требуется время, выдержка.

Густав приносит документы. Он и Анна лежат на животе, подперев голову руками, и он читает ей то, что запротоколировал Бильфингер. Ровно катятся волны, мистраль разбрасывает листки, приходится класть на них камешки. Густав читает, показывает заверенные под присягой документы, фотографии. О собственных бедах он почти не говорит, об Иоганнесе Когане не упоминает. Пусть это постепенно надвинется на нее, как постепенно вошло в него.

Когда он кончил, Анна молча собрала листки, тщательно уложила их в прочную папку. Она раздумывает, она не легковерна. По узкой, осыпающейся тропинке они идут к себе. Анна принимается за хозяйственные дела. Потом она зовет его ужинать. Перед ними песчаный пляж, пинии, море. Близится ночь, быстро холодает. Они говорят о тысяче значительных и незначительных вещей; Анна, может быть, не так весела, но спокойна, как обычно.

Так проходит вечер, так проходит следующее утро. Они проделывают утренний бег на большую дистанцию, плавают, гуляют. Анна читает свою французскую книжку, хозяйничает. День проходит по заранее составленному расписанию.

И только раз воскресает вчерашнее. Анна спрашивает, когда же придет Иоганнес Коган, и придет ли он вообще? В свое время Густав писал ей, что Иоганнес, возможно, остановится у нее в Штутгарте дня на три. И вот теперь Густав рассказывает ей о своем друге. Он говорит, что Иоганнес к ней не заедет, и объясняет почему. Это потрясло ее больше, чем бильфингеровские документы.

— Неужели нельзя ему помочь, неужели нельзя для него что-нибудь сделать? — горячо говорит она после минутной растерянности.

— Нет, — отвечает Густав, — ландскнехты не терпят, чтобы вступались за их жертвы. Если вмешивается какой-нибудь юрист или даже министр, заключенный

чувствует это потом на своих костях.— На лбу у него вертикальные складки, он слегка скрежещет зубами. Но не позволил себе заговорить о концентрационном лагере. Он отлично видел, что спокойствие Анны нарушено, но он стал умнее, он ждал: пусть она как следует все перемелет под своим выпуклым лбом.

Произошло это вечером. Он читал, лежа в постели, когда она пришла. Она села к нему на кровать и начала говорить. Дом обставлен, и все устроено так, как она рисовала себе. Но теперь это ее не радует по-настоящему. Вещи, о которых рассказывал ей Густав, так чудовищны, что после всего слышанного нелегко прийти в себя. Но все-таки она должна встать на защиту своей Германии. В общем, переворот был необходим. Прежние правители — этого он не может не признать — и шагу не делали без множества оговорок, оговорок на «законнейшем основании». Вместо того чтобы хлопнуть противника по голове, они заводили канитель с сотнями судебных экспертиз, а потом деликатно просили его не так уж нагло изменять родине. Сажали под замок какого-нибудь политического убийцу, а через несколько месяцев, смотришь, он опять на воле; лишали предателя пенсии, а через две недели, цепляясь за букву закона, восстанавливали его в правах. Прежние правители боялись шевельнуться, они жевали жвачку и этим довели республику до распада и гниения. Новые правители хитры и грубы, но они действуют. Это отвечает желаниям народа, это нравится. И фюрер пришелся ко двору именно в силу своей хитрости, не знающей сомнений ограниченности, твердолобой, чугунной веры. Он явился необходимой противоположностью прежних правителей. Это была революция, долгожданная революция. Варварства, конечно, немало, но оно, пожалуй, неизбежное следствие всякой революции, а уж те, кого задела, вечно вопят о разбое, убийстве, конце света. Не сам ли Густав прочел ей вчера обличительные страницы одного забытого египетского писателя, написанные более четырех тысяч лет назад и очень сходные по содержанию с тем, что говорит Густав? Совершались чудовищные злодеяния, верно, но за них ответственны отдельные люди, не народ и не страна. И если Густав

укажет ей на сто тысяч злодеяний, то это — сто тысяч единичных случаев, и только.

Густав смотрел на ее светлое, серьезное лицо. Оно не так спокойно, как всегда. Ей нелегко было наскрести свои возражения. Обличительные слова египетского поэта, жившего четыре тысячи триста лет назад. Густав хорошо помнит их. «Искусные правители изгнаны, страной управляют несколько невежд. Наступает царство черни. Вожак ее, вознесенный на гребень волны, пользуется этим, как умеет. Он облачается в тончайшие ткани, умащает плешь свою мирром, захватил большой дом и амбары. Раньше он сам был простым скороходом, теперь другие у него на побегушках. Князья льстят ему. Знатные в прошлом сановники, испив чашу бед, кланяются временщикам». Густав любит хорошие цитаты, но эта взята уж из слишком отдаленных времен и не может служить аргументом против него. Все сказанное Анной — суррогат, недостойный ее. Она правдива до глубины души. Если она от всего сердца верит во что-нибудь, она умеет хорошо выразить свою мысль. Все, что она говорит сейчас, — расплывчато, неустойчиво. Незачем заниматься физиогномистикой, чтобы видеть, что она сама верит своим словам только наполовину.

Густаву нетрудно разбить ее возражения. Он поднялся, оперся головой на руку. Лампа над кроватью освещала его лицо, и оно резко выделялось в полумраке комнаты.

— Да, это верно, — сказал Густав, — не народ повинен в творящихся бесчинствах. Четырнадцать лет его науськивали на евреев и социалистов, но он не бросался на них как дикий зверь. Прекрасное доказательство хороших качеств народа. В варварстве повинен не он, а правительство, третья империя, ее чиновники, ее ландскнехты. Все злодеяния совершались наемниками правительства, а оно покрывало их. Но варварство заключается не только в этих деяниях, оно присуще самим принципам новых властителей. Они уничтожили меру вещей и узаконили произвол и насилие. Вина нового правительства не столько в том, что совершаются эти злодеяния, сколько в том, что оно препятствует рассле-

дованию их, бросает в тюрьмы разоблачителей и этим наперед санкционирует новые преступления.

Густав говорил об открытом исповедании террора, который новые правители бесстыдно проповедуют в десятках тысяч книг, газет и журналов, в своих речах, в своих декретах; он говорил о голом, неприкрытом рвачестве, о дурацком расовом чванстве. Они вытащили этот фетиш из чулана, где хранился старый хлам. Точно смотреть, как профессора в своих аудиториях курят этому фетишу фимиам, а судьи его именем проносят приговоры. Гнусная комедия. Король сидит в одних подштаниках, а люди валяются у него в ногах и кричат, как прекрасны его одежды. Конечно, и сейчас в Германии делают великолепные машины, четко работают на фабриках и заводах, создают новые музыкальные произведения, много миллионов людей стараются сохранить порядочность. Но вокруг поднялся первобытный лес, где пытаются и режут, а они вынуждены судорожно закрывать глаза и уши. Допустим, все это единичные преступления. Допустим, что отдельное издевательство, отдельное убийство — пустяк по сравнению с целым. Но дело в том, что само это целое состоит из таких пустяков, как тело из клеток. А тело в конце концов загнивает, если разрушено много клеток.

И на этот раз возражения Густава лишены были деловитости, он не назвал почти ни одной цифры, ни одной даты. Но он высказал все, чем был полон до краев; он возражал ей не словами, все существо его изливалось перед ней. Она смотрела на него, на его большое взволнованное лицо; в пятне света, отбрасываемого ночной лампой, оно до последней черточки было ярко освещено. Оно было не молодое, но мужественно и отважно. Перед ней был не тот Густав, которого она знала. Его снисходительная флегма исчезла. События захватили его, смешались с ним, закалили ткань, из которой он был сделан, огрубili ее. Анна любила его.

Однако верила ему лишь наполовину. То, что однажды засело под ее выпуклым лбом, прочно оставалось там. Чтобы перестроить ее, надо немало поработать. В лице Анны Густав столкнулся с той отравленной, загипнотизированной Германией, которая до ужаса

медленно будет приходить в себя от наркоза. Вот оно, необходимое ему подтверждение. Нельзя не выполнить задачу, которую он перед собой поставил.

Это было то, чего он добивался. Теперь, в сущности, он имел право провести несколько спокойных недель с Анной. Его ждут в дальнейшем немалые трудности. Анна, хотя они и не говорили больше о Германии, уже не та, что прежде. Как ни медленно она сдавалась, вернувшись, она увидит другую Германию.

Они проводили ясные, мирные дни в своем облупленном домике, внутри которого царили образцовая чистота и порядок. Здесь, среди покоя солнечного латинского взморья, трудно было представить себе, что в каких-нибудь двадцати часах езды отсюда находится страна кошмаров — Германия, на города которой обрушились первобытные чудовища. Густав и Анна много бродили по широким, ласкающим глаз просторам; красивым изгибом поднималась дорога к их мысу; кругом были виноградники, пинии, оливковые рощи; ровный рокот морского прибоя провожал их ко сну и встречал их пробуждение; непрерывно дул легкий соленый ветер. По вечерам с тихих холмов спускались козьи стада. Жизнь была привольна и полна античного покоя.

За четыре последних дня Густав не обмолвился ни единым словом о Германии, были часы, когда он совершенно забывал о ней. Но внезапно она вновь страшным образом напомнила о себе.

Они сидели в маленьком, пестром портовом кабачке ближайшего приморского городка, и Густав читал какую-то газету. Вдруг его смуглое от загара лицо побледнело, он выпустил газету из рук, Анна подняла ее. Известный немецкий профессор Иоганнес Коган, прочла Анна, покончил самоубийством в концентрационном лагере Герренштейн. Анна, в свою очередь, побледнела, сначала только вокруг глаз, потом бледность разлилась по всему лицу.

— Пойдем, — сказала она.

Они поехали домой. Всю дорогу молчали. Густав сошел к морю, сел на камень. Она оставила его одного. Вечером она сказала ему:

— Ты прав, Густав. Я ошибалась. Я закрывала



глаза. Ты прав, Германия стала другой. И дело не только в том, что там умер Иоганнес Коган, не только в том, о чем ты мне рассказывал и давал читать, и не в том, что в Германии, доведись им узнать, что я здесь, с тобой, мне бы срезали волосы и водили меня по улицам, ругая бесстыдной тварью. Когда я думаю, что я видела в Германии, когда я отсюда смотрю на все новыми глазами, теперь, вот с этого мгновенья, я, Густав, говорю: мне стыдно. Новая Германия ужасна.

Густав вспоминал изжелта-смуглое, умное, гордое лицо своего друга Иоганнеса. «Самоубийство», «убит при попытке к бегству», «сердечная слабость» — таковы были официальные причины смерти заключенных в концентрационных лагерях. А потом то, что оставалось от узников — переломанные кости и бесформенные груды мяса, — клали в гроб; по возмещении расходов запаянный гроб выдавали родным под расписку, что он не будет вскрыт. Они запрещают печатать объявления о смерти, если в них есть слова: «скоропостижно скончался».

— Почти все мои друзья и знакомые перебивали на фронте, — сказал Густав. — Многие были убиты. Я не считал, сколько людей отняла у меня смерть за последние месяцы, но могу сказать с уверенностью: с тех пор как фашисты пришли к власти, насильственной смертью погибло их больше, чем за время войны.

Потом Анна спросила его, что он намерен делать. Он сказал:

— Я не могу молчать. Это все, что я знаю.

Анна нерешительно спросила:

— А не подвергаешь ли ты себя опасности?

Тревога в ее голосе глубоко обрадовала его. Он пожал плечами.

— Так дальше я жить не могу, — сказал он.

Пришло лето. Анне пора было уезжать. Густав проводил ее до Марселя. Анна всматривалась в лицо друга. Оно казалось серьезнее и спокойнее, чем прежде. Что-то молодое появилось в нем и в то же время мужественное. В смятении, в тревоге за его судьбу, но глубоко радуясь совершившейся в Густаве перемене, переехала она границу.

Он стоял на перроне, глядя вслед поезду, уносящему Анну в страну кошмаров. Дни, проведенные с нею, были хорошие и плодотворные. Он уяснил себе многое, что раньше бессознательно и безотчетно угнетало его.

Он все еще жил в облупленном домике на высоком мысу, в отдалении от всякой суеты. Порядок, созданный Анной, быстро исчезал, но это его не огорчало. Он не сторонится людей, болтает с местными жителями, с рыбаками, виноделами, крестьянами, со случайными туристами. Но он подолгу бывает один. С братьями, с близкими он слабо поддерживает связь. Он получает письма, но отвечает редко, все реже и реже. Он испытывает глубокий покой; его судьба определилась.

Деньги в бумажнике тают. Он мог бы написать Мюльгейму или в Швейцарский банк, в котором у него есть текущий счет. Но он не делает ни того, ни другого. Пока есть деньги в бумажнике, он будет оставаться здесь. Деньги на текущем счету в банке предназначены для другой цели.

Привычки его упрощаются, у него нет никаких потребностей. Он бродит или разъезжает в маленьком, все более и более ветшающем автомобиле по прекрасным широким просторам. Делает привал где-нибудь па солнце и завтракает хлебом, сыром, фруктами, запивая глотком местного терпкого вина. Иногда он заходит в кабачки, вступает в разговоры с крестьянами, торговцами, рыбаками, кондукторами автобусов. Днем кричат громкоговорители, повсюду музыка, по вечерам танцуют, жизнь пестра, шумна. Густав спокойно отдается ее течению. Он бывает порой даже весел и общителен. В эти мгновенья в нем мелькает что-то от прежнего Густава, которого охотно слушали мужчины, дружкой которого гордились женщины. Да и теперь женщины посматривают на него и вздыхают, когда он уходит. Он часто бывает задумчив, редко печален. Ужасы страны кошмаров не забыты им, он не отворачивается от них, переживает их так же, как переживал бы, находясь по ту сторону границы. И хотя мысль о них не оставляет его, он спокоен, даже весел.

В ближайшем большом городе, в Марселе, в витрине книжного магазина он увидел новую немецкую книгу,

небольшую брошюру: Фридрих Гутветтер «О воспитании новой человеческой породы. Эскиз. Посвящается подруге». Густав купил книжонку. В ней есть несколько выпретенных мыслей о фашизме, но они изложены таким вычурным туманным языком, что самую «идею» и не разглядеть сквозь этот туман.

У этой «идеи» нет ни адреса, ни номера телефона, и что с нею делать — неизвестно. Даже Сибилла, его тоненькая, деловитая Сибилла, не найдет ей никакого применения. На другой день, когда Густав брал с собой на прогулку завтрак, у него не оказалось под рукой бумаги. Он вырвал две странички из эскиза «О воспитании новой человеческой породы».

Из Берлина ему писали, что Жан, старый почтенный капельдинер театрального клуба, стал нацистом. Это взволновало Густава больше, чем брошюра Гутветтера. Плохо он распорядился и последними часами пребывания в Берлине, и теми пятью марками. Лучше бы он посвятил это время Бертольдугу.

Иногда, одиноко лежа на берегу своей бухты или сидя перед своим облупленным розово-коричневым домом на отлогом песчаном, усаженном пиниями мысу, он видит внизу на скалах человека, который удит рыбу. Скалы эти входят в нанятый им участок, и он имеет право запретить незнакомцу удить здесь. Он любит свое одиночество, хотя присутствие людей ему не так уж неприятно. Иногда незнакомец шлепает по воде, охотясь на морских ежей, а порой ложится на камни, греясь на солнце. Густав начинает здороваться с ним, заводит несложные разговоры. У любителя рыбной ловли грузная фигура, ленивые движения, большая голова, густые, как у моржа, усы; одет он в просторный темно-синий костюм из грубошерстной ткани, какие обычно носят местные жители. Выясняется, что он немец — немцев теперь живет множество на южном побережье — и зовут его Георг Тейбшиц.

Георг Тейбшиц всего несколько недель как из Германии. Денег у него немного, но хватит, чтобы скромно прожить года три-четыре здесь или в другом месте, где не очень холодные зимы. Георг Тейбшиц нежится на солнце, жмурит глубоко сидящие сонные глаза, дре-

мотно покачивает массивной головой; говорит он с большими паузами и никогда не отвечает сразу. Он много видел и много пережил. Несколько лет назад он, видимо, был богатым человеком, потом деньги растаяли, а потом как будто опять завелись. Теперь он жаждет одного: покоя и поменьше людей вокруг себя. Недалеко отсюда он присмотрел домик. Домик, правда, это сильно сказано, вернее, собачья конура, приятная собачья конура, в приятной местности; конура выкрашена в серо-коричневый цвет, окружена оливковыми деревьями. Обойтись она должна тысяч в пятнадцать франков. У господина Тейбшица осталась в Германии жена, она могла бы ему эти деньги выслать. Однако он не обманывает себя надеждами: скорее всего она не выплет ему денег.

Господин Тейбшиц непритязателен, но он любит рыбу и всевозможные дары моря и умеет готовить их. Густав предлагает ему для стряпни свою кухню. Они раздобывают древесный уголь и нечто вроде жаровни. Георг Тейбшиц, внимая компетентным советам Густава, чистит рыбу, жарит ее в прованском масле, приправляет розмарином и тмином. Он умеет приготовить и вкусный соус. Он ест медленно, с удовольствием, долго жует и даже слегка чавкает.

В бытность свою богатым человеком господин Тейбшиц питал некоторый интерес и к искусству. Интересовался главным образом живописью, у него была хорошая коллекция картин, по преимуществу пейзажи. Он чувствует красоту природы, умеет немногими словами так описать пейзаж, что он встает перед глазами, как живой. Он много ездил и то, что видел, видел хорошо. Если жена его подведет и ему не на что будет приобрести собачью конуру, он, пожалуй, пустится в пешее странствие по Италии и Сицилии. Все это господин Тейбшиц рассказывал господину Опперману урывками, лениво ворочая языком, удя рыбу, или греясь на солнце, или стряпая.

Однажды, когда Тейбшиц пришел, Густав едва узнал его. Он сбрил свои моржовые усы. Они мешали ему есть, пояснил он Густаву. И добавил, по обыкновению лениво, с усмешечкой: Густав оказывает на него губи-

тельное влияние; чего доброго, он еще превратит его, Георга Тейбшица, в сибарита. На самом деле происходило обратное. Под влиянием Тейбшица потребности Густава все сокращались. Он купил себе такой же, как у Тейбшица, просторный темно-синий грубошерстный костюм. С тех пор как господин Тейбшиц сбрил свои моржовые усы, стало видно, что Густав и он очень похожи, в особенности когда они сидят рядом в одинаковых синих костюмах. Невольно они заимствуют друг у друга привычки. Прежде Густав боролся со скверной привычкой скрежетать зубами, теперь он перестал следить за собой. Когда господин Тейбшиц чавкает, Густав скрипит зубами. Однажды он заметил, смеясь:

— Мы похожи друг на друга, господин Тейбшиц.

Господин Тейбшиц не часто заговаривает о немецких делах, но и не избегает этой темы. Ему нравилась Германия. Он любил ее небо, ее людей, ее природу. Жаль, что они изгадили там пейзаж своими свастиками. В прошлом году в Ниддене он видел свастику, выложенную из песка во всю высоту огромной песчаной дюны. Через три дня ветер, конечно, сдул ее. Природа позволяет многое над собою вытворять, но в конце концов она остается неизменной. В те времена, когда у него еще водились деньги, он много летал. Только тогда и видишь, как широка земля и какую ничтожную часть составляют огромные города. Жаль, что прекрасная немецкая страна поражена бешенством. Многие не хотят еще по-настоящему признать это. Им кажется, что бешеную собаку можно уговорить не кусаться. Но поскольку ему известны свойства бешеных собак, это не так. Жаль, жаль прекрасную Германию. И господин Тейбшиц показывает Густаву виды Альпийского предгорья.

Да, при нынешних скромных доходах господин Тейбшиц вместо картин занялся собиранием фотографических снимков. Густав с удовольствием рассматривает эту коллекцию людей, пейзажей. Тейбшиц показывает ему и портреты деятелей новой Германии, портреты ее руководителей. Какие пустые лица, истерически напряженные, зверские. Решительно все они сняты перед микрофоном, у всех рот широко открыт. Госпо-

дин Опперман и господин Тейбшиц, в одинаковых темно-синих грубошерстных просторных костюмах, склоняют головы над фотографиями, рассматривают широко разинутые рты. Они ничего не говорят, они только молча поглядывают друг на друга, но и у них губы растягиваются в улыбке. И вдруг, забывая все, что причинили им эти люди, они прыскают со смеху, хохочут раскатисто, облегченно. А потом господин Тейбшиц показывает фотографию, венчающую этот раздел его коллекции, снимок, на котором изображены фашистские вожаки, слушающие концерт. Те самые люди, которые так дико, по-звериному разевали рот, сидят здесь обмякшие, мечтательно закатив глаза, сентиментально отдаваясь музыке.

Но они способны не только на сантименты, как это видно из другой серии фотографий в коллекции Георга Тейбшица. Он показывает Густаву открытки, которые в Германии продают в фонд вспомоществования ландскнехтам, по двадцать пфеннигов за штуку. На этих открытках можно увидеть многое: ландскнехты наголо бреют голову молодому еврею; ландскнехты выводят на эстраду девушку с плакатом на шее, на котором написано: «Я, бесстыдная тварь, жила с евреем»; ландскнехты везут рабочего лидера в позорной тачке. Какие затихшие лица у жертв: молодой еврей склонил голову набок, девушка полуоткрыла рот, рабочий лидер, лысый старик, лежит в своей тачке, поджав ноги, упираясь спиной в дно, судорожно ухватившись рукой за край, крепко стиснув губы. Господин Тейбшиц протягивает Густаву открытку за открыткой: его загорелая, волосатая рука грузно вылезает из туго завязанного рукава синей блузы. Густав подолгу рассматривает фотографии, и губы его тоже крепко сжаты. Надо действительно взбеситься, чтобы с таким торжеством показывать всему миру свой позор.

— Представляете ли вы себе, — спросил он, — как могут живущие в Германии выдерживать нечто подобное? Неужели они, глядя на все это, не кричат от негодования?

Господин Тейбшиц, лениво ворочая языком, сказал, что в стране поднимается ропот. Он кое-что об этом

слышал. Так, например, в концентрационном лагере в Брауншвейге заключенные, узнав о смерти Клары Цеткин, захотели почтить ее память. Решено было двадцать четыре часа молчать. Молчание это ожесточило фашистских тюремщиков: они оставили заключенных без обеда и больше обычного измывались над ними во время «учений». Сам комендант лагеря, «ученый» нацист, пустил в ход свирепейшие из испытанных методов, чтобы сломить молчание заключенных. Он добился лишь того, что к вечеру были отправлены в лазарет двадцать два человека со смертельными кровоизлияниями. Заключенные молчали. Ужина их тоже лишили. Молчание четырехсот узников подействовало так, что комендант велел выставить двойные караулы и держать наготове пулеметы на сторожевых башнях. Всю ночь комендант и вся стража находились в боевой готовности. Под утро комендант приказал поднять с нар трех заключенных постарше и, так как они продолжали молчать, застрелить их «при попытке к бегству». В другой раз господин Тейбшиц рассказал о казни четырех гамбургских рабочих, которые были схвачены фашистами во время облавы в рабочем районе. К месту казни пригнали семьдесят пять заключенных, чтобы они смотрели, как умирают их товарищи. Когда самому юному из четырех смертников предложили высказать последнее желание, он ответил, что ему хочется в последний раз расправить плечи. Ему развязали руки. Тогда он ударил главного ландскнехта кулаком по лицу и положил голову на плаху.

Господин Тейбшиц рассказывал еще много подобных случаев, и всегда с такими подробностями, что было ясно: сведения почерпнуты им не из туманных газетных заметок. Однажды Густав спросил у него:

— Скажите, господин Тейбшиц, откуда вы все это так точно знаете?

Господин Тейбшиц, по обыкновению, долго не раскрывал рта. Густав подумал, что он и вовсе не ответит. Время было предвечернее. На поблекшем небе показался бледно-желтый молодой месяц. Солнце и месяц стояли в небе одновременно.

— Мы получали обо всем этом очень подробные сведения,— сказал наконец господин Тейбшиц.

— Кто это «мы»? — спросил Густав. Он спрашивал робко, ему никак не удавалось скрыть свое волнение. Господин Тейбшиц зевнул.

— «Мы» были «номерами», если вам угодно знать точно,— отвечал он.— Я, например, был номером СИ 743. Речь идет об организации, занимающейся пропагандой внутри страны. Нечто вроде внутреннего миссионерства,— лениво прибавил он.— Довольно трудная штука — эта, подпольная работа, должен вам сказать. Живешь в ресторанах, гостиницах, каждую ночь спишь в другом месте, полиция преследует тебя по пятам. Продавать оппермановскую мебель, вероятно, легче.

— А из кого они состоят, эти «мы»? — продолжал расспрашивать Густав.

— Из партийных активистов, из рабочих, часто — женщин и даже из детей,— отвечал господин Тейбшиц.— Расход человеческого материала велик. Но всегда есть пополнение, число недовольных в Германии велико. Разумеется, принимать в организацию можно только людей, хорошо знающих, что такое пустой карман.— Он слегка повернул голову и, чуть прищурившись, посмотрел на Густава смеющимися сонными глазами.— У вас, например, доктор Опперман, было бы мало шансов.

Довольно долго оба лежали молча. Солнце садилось.

— Не думайте, что работа эта романтична,— добавил господин Тейбшиц.— Наоборот, она необыкновенно однообразна. Служба под дамокловым мечом. А однообразие плюс опасность — это уже многовато. Мне в конце концов стало слишком тягостно. Нужно обладать добротной, устойчивой ненавистью, чтобы все это выдержать. На такую ненависть я уж больше не способен. Бессмысленно ненавидеть сумасшедшего за то, что не можешь отнять у него пулемет, который ты сам ему предоставил. Умный человек в таких случаях улепетывает.

Вообще они редко говорили о политике. Они могли часами молчать, удить, смотреть, как работают рыбаки, наблюдать за муравьями, за маленькими морскими кра-



бами, за пауками. Иногда, чтоб доставить себе особое удовольствие, они охотились за морскими ежами, которыми кишела маленькая бухта.

Однажды, это было уже летом, Георг Тейбшиц сказал Густаву, что скоро он отправится в пешее странствие по Италии. Он получил ответ от жены. Она готова дать ему денег, сколько он пожелает, но только в Германии. Таким образом, покупка «собачьей конуры» сорвалась.

Густав почувствовал вдруг волнение. Все в нем трепетало. В этот день он обратился к господину Тейбшицу с предложением. Он не осмеливался высказать его прямо, бродил вокруг да около, улыбался по-детски смущенно. Он с удовольствием даст господину Тейбшицу деньги на покупку «собачьей конуры». Но он ставит единственное условие: чтобы господин Тейбшиц, который, несомненно, обойдется здесь его удостоверением личности, отдал ему, Густаву, свой паспорт. Господин Тейбшиц сказал «гм» и ничего больше.

После обеда он принес свой паспорт. Испытующе оглядывая Густава, он проверял приметы, проставленные в паспорте.

— «Рост средний,— читал он,— лицо круглое, цвет глаз — карий, цвет волос — темно-русый; особых примет не имеется». Хорошо, что усы я отпустил позже. Иначе по фотографии было бы сразу видно, что это не вы. А так вы кажетесь только более значительным,— добавил он лениво и, как всегда, несколько двусмысленно.— Но чиновники на границе, может быть, этого не заметят. Итак, пожалуйста, господин Тейбшиц,— сказал господин Тейбшиц и протянул Густаву паспорт. Он подарил ему еще свой серый костюм, изрядно поношенный. Густав не выносил серых костюмов. Но за этот он был очень благодарен господину Тейбшицу и оставил ему взамен свой маленький замызганный автомобиль, срок проката которого еще не кончился.

— Желаю вам успеха, господин Тейбшиц,— сказал господин Тейбшиц, прощаясь с Густавом.— А когда вам все это уж очень наскучит,— ручаюсь, что так оно и будет,— приезжайте ко мне в мою собачью конуру.

Густав не торопился. Он останавливался в Марселе, Лионе, Женеве, Цюрихе. В Цюрихе он встретил своего племянника, Генриха Лавенделя.

Лицо Генриха, юношески нежное, слегка загорелое, все еще производило впечатление очень детского. Но глаза стали вдумчивей, и по ним было видно, что он повзрослел; порою в них появлялась та же сонливость, созерцательность и та же лукавая искорка, что и у отца. За последние недели Генрих многое передумал. Он с трудом облакал свои думы в слова и понятия, но его здравый смысл в конечном итоге всегда побеждал глухую ярость, толкнувшую его тогда на расправу с Вернером Риттерштегом. Для юноши, который вырос в Германии и любил ее, нелегко было за несколько недель осмыслить германские дела. Генрих знал, что фашисты довели до самоубийства не только его двоюродного брата Бертольда Оппермана, но и многих других; он читал пресловутое распоряжение, по которому школы обязаны снабжать противогазовыми масками всех учащихся, за исключением евреев. Он сжимал свои молодые, сильные кулаки, но не смешивал нацистов с немцами и сохранял, когда речь заходила о Германии, должную рассудительность.

И вот он сидит у дяди Густава в гостинице, сидит на карнизе камина, стараясь сохранить равновесие, боясь, как бы хрупкое сооружение под ним не рухнуло. Густав расспрашивает Генриха о его планах. Генрих решил стать инженером. Его больше всего интересуют подземные сооружения. В этой области, как ему кажется, есть еще много неизведанных возможностей. Он собирается поработать несколько лет в Англии и Америке, но цель его — работать в Германии. В других странах его ждут, несомненно, лучшие перспективы, но он так же не может оторвать свои сокровенные планы от Германии, как не мыслит себя вне своего гуманитарного воспитания, хотя оно не очень-то ему нужно для профессии инженера. Он хочет работать в Германии. Воображению его рисуется подземная автомобильная дорога в Берлине, метрополитен в Кельне. Эти идиоты не собьют его с толку, не заставят его изменить свое отношение к Германии.

Густав слышал в его речах только то, что хотел услышать. Значит, и этот мальчик утверждает, на свой лад, то же, что и он, Густав. Его в Германии не хотят, но он хочет в Германию, он хочет дать Германии то, что считает для нее нужным. Густав очень взволнован этим выводом. И без всякого перехода он рассказывает о других немцах, которые, как и Генрих, не дают сбить себя с толку; о детях, которые, несмотря на побои, отказываются петь «Хорст-Вессель», о судьях, которые отказываются воспроизводить римское приветствие и идут за это в концентрационные лагеря; о заключенных, которые дают себя расстреливать, но не нарушают молчания.

Однако в Генрихе все это не вызывает сочувствия. Он спрыгнул со своего карниза и бегаёт по комнате. Нет, сэр, говорит он, такого рода демонстрации — это чепуха. Ему приходилось кое-что слышать об этом, но он ни разу не слышал, чтобы демонстрации принесли какую-нибудь пользу. Да и что тут может быть полезного. Мучеников человечество знало достаточно. Хватит. Генрих кривит ярко-красные губы, чуть опускает веки, лицо его вдруг взрослеет, он становится похож на своего отца, только взгляд у него жестче, тверже.

— Нет демонстрации убедительнее, чем смерть,— говорит он.— Так демонстрировал Бертольд. Мы были с ним очень дружны. От того, что он умер, никому легче не стало. И сколько бы народу ни покончило с собой, сколько бы ни пошло в концентрационные лагеря, толку от этого никакого.

Он говорил решительно, даже с некоторым пафосом. Но этого он терпеть не может, а потому сейчас же переходит на будничны́й тон.

— Ну, вот,— улыбается он и сразу становится очень юным.— Я плохой спорщик, но есть у меня здесь друг, молодой студент, родом из Западной Швейцарии, он лучше и яснее умеет выразить то, что я думаю. Мы сговорились с ним встретиться сегодня после обеда в кафе «Корсо». Может быть, и ты приде́шь туда? Пьер тебя, несомненно, заинтересует. Он действительно голова.

Густав пришел. Друг Генриха был рыжеволосый, самоуверенный, изрядно дерзкий юноша лет девятна-

дцати, по имени Пьер Тюверлен, брат известного писателя, как это вскоре выяснилось. Голос, шутовское лицо Пьера, его рыжие волосы, глаза почти без ресниц не располагали к себе. Однако Густаву понравилась развязная беспечность, с какой юноша излагал свои резкие, не по летам взрослые взгляды.

Кафе было большое, шумное, прокуренное, гремела музыка, но юноши чувствовали себя здесь, видимо, очень хорошо. Едва Генрих рассказал, о чем он сегодня утром говорил с дядей Густавом, как Пьер Тюверлен, легко покрывая звонким, пронзительным голосом музыку, набросился на Густава.

— Нет, сударь, все это чепуха. Романтикой тут ничего не сделаешь. По мне, пусть бы их и вовсе не было, этих демонстрантов. Они чертовски несовременны, поверьте. Против пулеметов бороться демонстрациями смешно. — Генрих не сводил с друга преданных глаз. — Здравый смысл, здравый смысл и еще раз здравый смысл. Вот что нам теперь нужно, — заключил Пьер. А Генрих поддержал:

— Common sense. Все другое исключается. Кто поступает иначе, от того несет нафталином.

Густава изумляло, почти печалило, что таких молодых людей могут согревать такие холодные мысли. Оркестр играл понурри из оперы «Немая из Портичи». Сто лет тому назад в Брюсселе эта опера так зажгла слушателей, что они вышли на улицу и совершили революцию. Эти юноши, без сомнения, не зажгутся чем-либо подобным.

— А Сократ, Сенека, Христос? Их смерть тоже была бесполезной? — спросил Густав.

— Этого я не знаю, — уклончиво ответил Пьер Тюверлен. — Но я знаю, что с тех пор, как существует экспериментальная наука, умнее жить за идею, чем умирать за нее. От этого идея больше выигрывает. Несколько наивных клеветников выдумали про великого Галилея, будто он сказал: «А все-таки она вертится». Не говорил он этого. Увидев орудия пыток, он немедленно отрекся. Потому что он был подлинно велик. Он знал, что все равно земля вертится и будет вертеться, так почему бы ему не сказать, что она не вертится. Ведь скажет он

или не скажет, от этого она вертеться не перестанет,— вот что он думал про себя. Так следовало бы поступать и вашим героям, сударь. Кричать «Хейль Гитлер», а про себя думать иначе. Ваши герои, сударь,— закончил он, подчеркивая каждое слово сильным взмахом покрытой рыжеватым пухом руки,— бесполезные, отсталые романтики. В наше время строить из себя мученика — бессмыслица.

Генрих, видимо, стыдился своей прежней горячности. Он сидел в удобном ресторанном кресле, выпрямившись, в позе человека, совершающего церемонный визит.

— Мы часто рассуждаем с отцом и матерью,— сказал он,— что делать немецким евреям, оставшимся в Германии. Они в ужасном положении. Большинство не может выехать: денег нет, а без денег никуда не выпускают. И приходится им, несмотря ни на что, цепляться за свой заработок в Германии. Их оплевывают, они вне закона, в бассейнах для плавания висит объявление, что им вход воспрещен, на паспорт им ставят штемпель: «жид», девушке-христианке нельзя показаться с евреем на улице, из всяких обществ и союзов их выбрасывают, играть в футбол они имеют право только между собой. Если еврей жалуется в полицию, ему отвечают: «Это справедливый народный гнев». Так что же им, демонстрации, по-твоему, устраивать? Неужели, дядя Густав, ты потребуешь от них, чтобы они вышли на середину улицы и кричали: «Мы выше вас: это вы ничтожество».

— Я ничего не требую, дружок,— сказал Густав.— Может быть, евреи в Германии и правы.— Музыка гремела, чашки звенели, люди вокруг громко болтали. Но Густав произнес это так тихо и так вежливо, что друзья, приготовившиеся немедленно возразить ему, на мгновение затихли.

Затем Тьюверлен сказал, но уже не так запальчиво:

— Были случаи, когда немец, десятки лет проживший в браке с еврейкой, имевший детей с ней, заявлял, что теперь он осознал свою ошибку, что он стыдится ее, а кстати, он уже много лет не спит со своей женой, и подавал прошение о разводе. Это прохвосты, а не люди,

хотя, кто знает, не делались ли такие заявления с ведома и одобрения жены, чтобы он, муж, мог содержать ее и детей. Тогда это не прохвосты, а умницы.

— Well,— сказал Генрих,— чертовски трудно, должно быть, молчать, когда на голову тебе плюет человек в десять раз ничтожнее тебя. Нужно большое самообладание, чтобы в таких случаях не наделать глупостей и удержать язык за зубами. Мой однокашник Курт Бауман писал мне, что им задают теперь сочинения на темы «Что такое героизм» и тому подобное. У меня по немецкому больше тройки никогда не было, но такое сочинение я бы им написал. У них бы глаза на лоб полезли, они поставили бы мне двойку, хотя сочинение было бы на пять с плюсом.

Что мог возразить Густав на слова племянника? Но перед ним вставляли картины, порожденные документами Бильфингера. Он думал о фотографиях Георга Тейбшица, о Иоганнесе своих галлюцинаций, пляшущем на ящике: «Приседание! Встать!» — и кричащем, как попугай. С кротким упорством отворачивался Густав от благоразумия, проповедуемого молодыми друзьями; задумчиво, без тени упрёка, сказал он своему племяннику Генриху:

— Мне кажется, что по милости этого вашего благоразумия вы разучились ненавидеть.

Мальчишеское лицо Генриха покраснело. Вся нежная, покрытая загаром кожа его широкого, большого лица залилась краской. Он вспомнил о своем заявлении прокурору по поводу Вернера Риттерштега, вспомнил лес в Тейпице и тоненький серп луны, и как он вдавливал голову Вернера в рыхлую, влажную землю. Да, он все делал наполовину, потому что ему не хватало ненависти. Гнев и смущение овладели им.

— Однако я ведь не деревянный,— сказал он наконец и, немного помолчав, упрямо добавил: — Потому-то я подниму руку и скажу «Хейль Гитлер». Sure<sup>1</sup>,— упорствовал он.— И не один раз, а десять раз подниму.

---

<sup>1</sup> Конечно (англ.).

Девятнадцатилетний Пьер Тюверлен пронзительным голосом резюмировал спор:

— Стремиться воздействовать на людей красивыми словами и красивыми жестами бессмысленно. Измените предпосылки, и вы измените людей, а не наоборот.

— Yes, sir — сказал семнадцатилетний Генрих. Густав уплатил за кофе, булочки и сигареты обоих друзей, и они вышли из кафе.

В тот же вечер Густав уложил вещи, которые у него еще оставались, документы Бильфингера и пачку личной корреспонденции, со знаменитой открыткой «Нам положено трудиться», и послал все это шуруину в Лугано на хранение. Потом, лукаво улыбаясь, надел серый костюм, подаренный ему господином Тейбшицем.

Был сияющий день, когда человек с паспортом на имя Георга Тейбшица, грузный, медлительный, приветливый, в сером поношенном костюме и с небольшим плохоньким чемоданом в руке, миновал немецкую границу.

Он слонялся сначала по югу Германии, по Баварии, Швабии, останавливался в городишках, селах, — купец Георг Тейбшиц, который одно время работал самостоятельно, сколотил изрядный капитал, потом служил у других, а в настоящее время был без должности. Бумаги у него в полном порядке, к тому же тот, кто остался в Бандоли, снабдил его еще всякими удостоверениями: он мог документально подтвердить все, что говорил о себе.

Он не спешил. Он вдыхал воздух Германии, смотрел на немецкую землю, слышал немецкие голоса, плавал в тихом, большом счастье, как в огромном море. Он ходил по улицам, ездил по дорогам, дышал, смотрел. Раннее лето этого года было прекрасно. В эти дни он был в ладу с самим собою, со своей судьбою, как никогда раньше. Жизнь текла своим чередом, спокойная, ровная, могучая, как всегда, и он отдавался ее течению.

Но именно потому, что покой и порядок, которым дышала эта Германия, сразу втянули его в свой ритм, именно потому, что он отдавался общему движению,

думал мыслями окружающих людей, он вдвойне ощущал опасность этого кажущегося покоя и необходимость вскрыть наглый обман этого мнимого порядка.

Исподволь стал он разворачивать работу. За время пребывания на южном побережье Франции он часто и подолгу разговаривал с рыбаками, автобусными кондукторами, со всяким мелким людом, и теперь это ему пригодилось. Он вступал в длинные разговоры с городской мелкотой, крестьянами, рабочими. Люди не скрывали от него своих личных дел, но, чуть только он касался политики, мгновенно замолкали. Молчать нынче было лучше всего. Но иногда ему все же удавалось вызвать того или иного на откровенность.

Он был разочарован. Картины, мерещившиеся ему на основании документов Бильфингера, по рассказам Фришлина и Георга Тейбшица, были полны ужасов и красок. А действительность оказалась серой и будничной. По поводу злодеяний ландскнехтов люди только пожимали плечами. Кто же не знает, что нацисты сволочь, сукины дети. Незачем приходить со стороны и убеждать в этом. На рассказы о том, что заключенных избивают, что в их скудный паек насыпают перцу, а пить не дают, что их заставляют обмазывать друг друга собственным калом, никто не реагировал. По-настоящему волновал всех только один вопрос: как удовлетворить хотя бы самые насущные потребности, когда заработок все уменьшается и уменьшается. Не варварство фашистов составляло проблему для масс, мучило другое: как обойтись без тех двух грошей, которые вырывало из их жалкого заработка коричневое правительство.

Время от времени в кафе, в ресторанчиках, перед биржами труда, где отмечались безработные, Густав сталкивался с агентами той таинственной организации, о которой ему рассказывал Георг Тейбшиц. Он пытался установить связь с ними, но ему не удавалось. Очевидно, эти люди, как ему и говорил Георг Тейбшиц, действительно хотели быть только номерами. Такого человека, как Густав, они к себе не подпускали.

Как-то совершенно неожиданно в городе Аугсбурге



он встретил Клауса Фришлина. Фришлин не повысил голоса, опасаясь привлечь внимание, тем резче прозвучали его слова:

— Вы с ума сошли. Что вам здесь нужно? Как вы сюда попали? Я раздобуду вам документы для переезда границы, и чтобы через двадцать четыре часа вас не было в Германии.

Встреча была неожиданной, но Густав словно давно ее ждал. Кто как не Фришлин втянул его в это дело? Ведь все началось с того самого мгновенья, как Фришлин сообщил ему по телефону, что приедет в Берн. Фришлин первый рассказал ему о том, что творится в Германии; благодаря Фришлину с ним заговорил Бильфингер; Фришлин переслал ему знаменитую открытку, вещавшую: трудись, даже если труд твой не может быть завершен; Фришлин — Густав давно догадывался об этом — превратил Георга Тейбшица в номер СИ 743.

Крупное, давно не бритое лицо Густава озарилось плутоватой, смущенной детской улыбкой, и, как школьник, который взялся за непосильную работу, но все-таки ждет, что его похвалят за благие намерения, он доверяет Фришлину свою тайну.

— Надеюсь, вы ничего не имеете против того, что я являюсь номером СИ 743.

Но лицо Фришлина каменеет.

— Вы глупец, — говорит он резко. — О чем вы думаете? Вы не можете нам быть полезным. Вы только натворите бед. — Фришлин горячится все сильнее. — Что вы вообразили, чудак вы этакий? Что вам здесь нужно? Ведь это донкихотство, хрестоматийный героизм. Кого вы хотите удивить? Себя самого разве? Ваш поступок может вызвать только досаду, а не восхищение.

Лицо Густава угасло. Небритые щеки дрябло обвисли, старик стариком. Но решимость его ни на мгновение не поколебалась. Жалобно, настойчиво, как упорствующий ребенок, которого взрослые не понимают, Густав медленно покачал большой головой.

— А мне казалось, доктор Фришлин, что именно вы меня поймете.

Клаус Фришлин хотел было еще сильнее отчитать Густава. Ведь он подвергает риску не только себя, но и всех. Однако тон Густава подсказал ему, что таким путем ничего не добьешься. Он взглянул на него и почувствовал, как дорог ему этот грузный, далекий от действительности человек, с его детским порывом, с его кротким упрямством и душевной чистотой, которую он умудрился пронести через пятьдесят лет своей жизни до нынешней Германии.

— Я бы не хотел, доктор Опперман, чтобы вы попали в беду,— сказал он. Густав никогда не ждал от Фришлина такой теплоты и проникновенности.— А вас неизбежно поймают,— продолжал Фришлин,— если вы будете расхаживать в этих местах и со свойственной вам кротостью разводить агитационные речи. Прошу вас, уезжайте из Германии, бегите отсюда. Поверьте, наш Лессинг сказал бы вам то же самое.— Фришлин чуть-чуть улыбнулся.

«Наш Лессинг». Густав очень обрадовался, что Фришлин сказал «наш Лессинг».

— Помните,— подхватил он,— слова Лессинга, которые я хотел поставить эпиграфом к третьей части? «Шествуй своим невидимым шагом, вечный промысл. И пусть незримость твоих шагов не введет меня в сомнение. Да не усомнюсь я и тогда, когда покажется, что ты направляешь свои шаги вспять. Неправда, что кратчайшая линия обязательно прямая. В вечном движении твоём тебе приходится многое объять и часто сходиться с торного пути». Вот видите,— торжествуя закончил Густав,— потому-то я и здесь.

Фришлин не на шутку рассердился.

— Потому-то вы и должны бежать,— сказал он.— Ведь это безумие. Чего вы хотите? Помочь промыслу сойти с торного пути? Правда, вы можете рассказывать людям то, что творится в стране. Но то, что творится, они и без вас давно знают. Они не хотят этого больше знать. Они хотят знать одно: что делать? Можете вы это сказать им, доктор Опперман? Знаете ли вы, в чем выход? Мы-то знаем, в чем он. Потому я и позволяю нашим людям рисковать жизнью. Вам же я этого не позволю.

Несколько времени они шли молча.

— Вы очень сердитесь на меня? — спросил наконец Густав просящим, опечаленным голосом, как ребенок, который набедокурил, но в глубине души уверен в своей правоте. Фришлин пожал плечами.

— Жаль вас, доктор Опперман, — сказал он, и тон его так напомнил Густаву Мюльгейма, что, несмотря на гнев Фришлина, Густав был счастлив, что встретился с ним.

Разговор с Фришлином не сломил кроткого упрямства Густава. Он продолжал жить по-своему. Он перебрался теперь в те места, где разыгрались события, изложенные в документах Бильфингера. Он разъезжал по прекрасной Швабии. Ему хотелось пополнить материал Бильфингера, он был убежден, что придет день, когда материал этот получит не только исторический интерес.

Но и эта деятельность принесла ему ряд разочарований. Люди, до сих пор бывшие для него лишь именами, словами, буквами, оказались в жизни гораздо призрачней, чем образы, рожденные его воображением. Непризрачным было одно: их страх, их чудовищная запуганность. При малейшем намеке они замолкали и показывали ему на дверь. Ему удавалось вызвать на откровенность кое-кого из очевидцев, которые не были непосредственно связаны с жертвами насилия; лица же самих жертв, как только речь заходила о происшедшем, превращались в каменную маску: мы ничего не видели, ничего не слышали.

Этот неискоренимый страх, этот глубоко внедрившийся ужас причинял Густаву почти физическое страдание. Всеми способами пытался он вызвать на разговор запуганных. Не только из стремления обогатиться новыми материалами, он думал, что, заговорив, люди скорее избавятся от отравляющего их жизнь страха.

Однажды он сидел в кабачке за стаканом вина с ветеринаром, лавочником и слесарем. Когда речь зашла о том, что происходило в их городе, они загорелись, забыли всякую осторожность и пустили в ход крепкие словечки. Густав не отставал. За соседним столиком стали прислушиваться, и не успели новые приятели выйти из кабачка, как их задержали.

В Моозахском концентрационном лагере его зарегистрировали: Георг Тейбшиц, Берлин-Шарлоттенбург, Кнезебекштрассе, дом № 92, возраст сорок девять лет, доставлен за распространение злостных слухов. Его наголо обрили, велели раздеться — нехотя расстался он со своим серым костюмом — и принудили облачиться в полосатую куртку и штаны. Куртка была слишком длинна, штаны оказались коротки. Если его заставят приседать, все расползется по швам. Он думал об Иоганнесе. Он испытывал страх перед приседаниями и в то же время с тайным нетерпением ждал этой процедуры.

Его привели во двор. Поставили в одну шеренгу с пятью другими и приказали стоять смирно. Для надзора к ним приставили трех молодых ландскнехтов с грубыми, простодушными крестьянскими лицами.

Все шестеро должны были только стоять навывтяжку, больше ничего. Первые полчаса стояния не слишком утомили Густава. С самого приезда в Германию в нем гнездились неопределенное предчувствие, что его предприятие закончится именно так: он будет стоять, руки по швам, под суровым надзором глупых, простодушных молодчиков. Но, несмотря на это предчувствие, он всем сердцем отдавался своей задаче. Пусть Фришлин и Генрих находят его задачу бессмысленной: он-то знает, что она по нем. До сих пор Иоганнес Коган служил для него укором. Иоганнес, посаженный на кафедре бесчинствующими саксонскими студентами, Иоганнес — эластичный плясун. Приседание! Встать! Наконец мертвый Иоганнес, раздробленные кости, груды искромсанного мяса в запломбированном гробу. Теперь Иоганнесу не за что его упрекать. Они сравнялись.

Так думал и чувствовал Густав первые полчаса. Потом он стал чувствовать только одно: «Я этого не выдержу». Их заставили голодать до вечера. Сосед Густава уже давно начал слабеть, никнуть; с помощью резиновой дубинки ему вернули выправку. «Если бы только затылок не болел так, — думал Густав. — Вот я сейчас выставлю правую ногу, нет, левую. Тогда они начнут бить. А я все-таки выставлю левую ногу. Я просто приподниму ее и несколько раз поболтаю в воздухе». Но он этого не сделал.

Наконец им разрешили стать вольно. Это было великое счастье. Это причиняло, правда, боль, но было в то же время несказанно хорошо. Им дали на ужин по бутерброду с салом. Густаву хотелось пить, но воды, к сожалению, не дали. Вместо этого скомандовали построиться на перекличку. Они должны были древнеримским жестом салютовать фашистскому знамени и спеть официальный гимн. Только теперь можно было лечь.

Густава поместили в камеру, где было еще двадцать три заключенных. В камере было тесно и очень воняло. Нетрудно было себе представить, что в этом помещении будет через несколько часов.

Сначала Густава мучила жажда. Солома кололась и вызывала зуд. Вонь становилась все нестерпимее. Но жажда заставила его забыть о вонии, а мучительная усталость заставила забыть и о жажде и о вонии. Бараки освещались прожекторами. Чуть ли не поминутно по лицам пробегал ослепительный луч света. Караульные отряды возвращались домой, орали, сквернословили. Потом вдали кто-то закричал, там, видно, кого-то основательно «допрашивали». Человек был долго и протяжно. Густав лежал на боку и слегка скрежетал зубами. Он заснул. Заснул глубоко. Ни прожектор, ни шум, ни жажда, ни вонь — ничто не могло помешать ему, и только ранним утром он проснулся от пронзительного сигнала трубача.

Стоя навтыяжку около своих нар, они прочитали утреннюю молитву, потом для Густава наступила минута счастья: принесли воду. Какое наслаждение омочить растрескавшиеся губы, почувствовать, как вода проходит в горло. Вот только задний напирает. Однако счастье явилось еще раз. На завтрак дали теплой черной водицы под названием «кофе». И к ней кусок хлеба. Не обошлось, конечно, и без песни «Хорст-Вессель».

Потом их погнали во двор. На дворе были собраны все заключенные; их стояло несколько сот человек в шутовских полосатых куртках. Взялось знамя со свастикой. Они салютовали ему древнеримским жестом: «Хейль Гитлер».

Началась муштра. День выдался тяжелый, душный, по небу плыли низкие свинцово-серые тучи. Отделение

Густава получило задание: длительный бег. Двадцать минут подряд. Уже через несколько минут Густав начал потеть, но бег дался ему нетрудно. Каких-нибудь двенадцать часов назад ему казалось, что он замучен до смерти. Удивительно, сколько неизведанных источников силы кроется в человеке. Они поднимались и спускались по перекладинам отвесной лестницы. Снова бежали. Стояли на коленях, наклонив голову к земле. Очень долго.

Пошел дождь. Густав все ждал, когда наконец заставят приседать. Но приседаний не было. Вместо этого приказали лечь на мокрую землю и ползать по команде: ногу выставить, руку выставить, задницу выставить, встать, лечь, снова встать, снова лечь. Дождь усиливался. Наголо остриженная голова до боли застыла от сырости. На жалкой травке образовались грязные лужи. Лечь в лужу, встать, снова лечь животом в лужу.

— Слава Германии на суше и на воде, — орал ландскнехт со звездочками. — Это полезно для здоровья, — кричал он. — Уж не вздумает ли кто жаловаться? А если заграничные жида будут жаловаться, то мы пожалуем вас по-свойски. — Он оглушительно захохотал. — Смейтесь! — скомандовал он.

И они смеялись.

Началось распределение работ. Все заключенные были разбиты на три группы: на легко исправимых, трудно исправимых и неисправимых. Заключенный Георг Тейбшиц был доставлен в лагерь за распространение злостных слухов, других преступлений за ним не числилось; его отнесли пока к легко исправимым. Его группу назначали на легкую работу. В Моозахе, как и во многих других лагерях, за неимением работы набрели на мысль о прокладке нового шоссе. Нужды в этом шоссе, разумеется, не было никакой; окрестности Моозаха представляли собой болото и топь, были слабо заселены, и прокладка дороги сопряжена была с большими трудностями. Это была работа для работы, и только.

Густаву выпало возить гравий. Тачка была тяжелая, грунт мягкий и скользкий; тачка то и дело вязла.

Местами по обе стороны колеи была бездонная топь. Но Густав был силен. Впрочем, ладони его вскоре вспухли и покрылись волдырями.

Около восьми минут требовалось на перевозку груженной тачки от кучи гравия до рабочего участка; меньше половины этого времени уходило на обратный путь с порожней тачкой. Когда человек приближался с нагруженной тачкой к конечной цели, он уже заранее радовался отдыху на обратном пути. Густав оглядел своих товарищей. Двадцать из числа двадцати трех, спавших с ним в одном помещении, находились здесь. Все они были наголо или совсем коротко острижены. Зато щеки у большинства были покрыты буйной порослью, кое у кого отросли настоящие бороды. У двоих волосы были выстрижены в форме свастики. Некоторые носили очки. Лица были по большей части интеллигентные. Но все одинаково измождены, истощены, оступели, иные почти безумны. И почти все с черными и синими кровоподтеками. Теперь Густав знал, как выглядел в действительности Иоганнес в лагере Герренштейн. Он не был похож на плясуна его галлюцинаций, он был гораздо страшнее. Таким размышлениям Густав мог предаваться, лишь когда он толкал перед собою пустую тачку; когда он шел с нагруженной, им владели только две мысли: «Когда же я доведу ее» или: «Если б уже быть на обратном пути».

Промаршировали обратно в лагерь. По дороге пели «Хорст-Вессель». Произнесли застольную молитву: «Приди, господи Иисусе, будь нашим гостем, благослови то, чем ты одарил нас. Защити нашу германскую нацию и нашего рейхсканцлера Гитлера». Поели брюквенной похлебки. Перемыли посуду. Вышли во двор и стали во фронт, на проверку. Когда инспектор проходил по фронту, кричали: «Хейль Гитлер». Спели официальный гимн, и опять началась муштра.

На этот раз дошло наконец до приседаний. Происходили они совсем не так, как представлял себе Густав. Не было быстрых эластичных движений вверх и вниз. Наоборот, приседание производилось в четыре приема, каждый — две минуты по часам. По счету раз — па носки, два — медленно присесть, три — снова на носки,

четыре — в исходное положение. Если недостаточно приподнимались на носки или недостаточно сгибали колени в приседании, на подмогу приходили пинки. Сапоги у наемников были большие и тяжелые. Густав, приседая, вспоминал своего деда Эммануила, как он однажды, когда мать была очень больна, сказал ему: «Гам зу л'тойво» — «И это тоже к добру». Густав долго не мог постичь, каким образом плохое может пойти на пользу. Дед объяснил ему, что это «засчитывается». Существует такая бухгалтерия, по которой все, что кажется на земле злом и заносится в дебет, в небесах оказывается добром и засчитывается тебе в добро, то есть в актив. Маленький Густав так и не понял до конца этой бухгалтерии. Но теперь он начинал медленно постигать, что имел в виду дед Эммануил. Механически повторял он древнееврейские слова. Раз — на носки: «гам»; два — присесть: «зу»; три — снова на носки: «л'той»; четыре — в исходное положение: «во». Он изо всех сил старался сохранить равновесие, так как иначе приходили на помощь сапоги наемников. Через полчаса он был вконец измочален. Он пошатнулся, и тяжелый пиннок молодого тюремщика с крестьянским лицом угодил в него. С этого мгновенья, приседая, он жил только мыслью о двух минутах исходного положения; когда же наступали эти две минуты отдыха в исходном положении, он со страхом думал о шести минутах напряжения, которые последуют за этим.

В получасовую передышку после муштры Густав лежал в углу двора. Потом их снова построили, и ландскнехт со звездочками держал перед ними речь. В сущности, заявил он, всех жидов и марксистов надо было бы прирезать, как телят. Но третья империя благородна и великодушна, она пытается перевоспитать этих неполноценных людей. Лишь в том случае, когда кто-нибудь из них обнаруживает полную неисправимость, его ликвидируют. По-видимому, это было вступительное слово к «учению» и «воспитанию», так как затем были прочитаны отрывки из книги «Моя борьба». Заключение должны были хором повторять афоризмы фюрера, вроде следующего: «Как гиена неотделима от падали, так и марксист неотделим от государственной измены».



Потом им сообщили биографию фюрера. Фюрер родился 20 апреля 1889 года в Браунау, в Австрии, и все, что он говорит и делает, идет непосредственно от бога. Болван, который до завтрашнего дня не заучит наизусть сведений о жизни фюрера и зачитанные сегодня отрывки, получит три недели карцера. Евангелие фюрера изложено в книге «Моя борьба». Заключенным предоставлено право приобрести эту книгу по цене пять марок семьдесят пфеннигов — в картоне и семь марок двадцать пфеннигов — в переплете. Деньги им разрешается получить от своих родственников.

Их было двадцать четыре человека, тех, кого обучали по этому способу. Большинство из них интеллигенты: профессора, врачи, писатели, адвокаты. А обучал их молодой крестьянский парень. Заключенные сидели в своих полосатых куртках, наголо или очень коротко остриженные, с синими и черными кровоподтеками на лицах. У двоих волосы были выстрижены в форме свастики. Опустошенность и отупение были написаны на их лицах. Как попугаи, хором повторяли они за «учителем» урок, испуганно стараясь удержать его в измученном мозгу. Густаву смутно припомнилось, как однажды он вслух читал книгу «Моя борьба» какому-то человеку по имени Франсуа и как они оба смеялись.

И во вторую ночь Густав забылся свинцовым, глубоким сном. Второй день прошел, как и первый, третий — как второй. Моозахский лагерь слыл гуманным. Время от времени Густав получал пинок в спину или удар по голове, по лицу, но все же в этом лагере заключенных подвергали «допросам» гораздо реже, чем в других. От чего Густав особенно страдал, так это от недостаточного питания и от чрезмерной муштры. Несмотря на свое тренированное тело, он часто испытывал слабость, и сердце давало знать о себе.

Тяжело было от физического напряжения, еще тяжелее от голода, вони; всего тягостней от вечного однообразия, от вечной серости. Ни с кем нельзя было разговаривать, бессмысленность муштры убивала вконец. «Они стремятся превратить человека в животное, — думал Густав, — они стремятся, чтобы в черепной коробке

ничего, кроме пустоты и тупости, не оставалось». Вот и у него нет уже других мыслей, как только о том, будут ли сегодня приседания, или «стоянье навывтяжку», или «ползание по плацу», или же — какая из тачек достанется ему сегодня: легкая или тяжелая или же с расщепленной ручкой, от которой особенно плохо приходится волдырям на ладонях.

Несмотря на запрещение разговаривать, он хорошо знал уже всех своих сожителей по бараку. Он знал, кто из них кроток, кто вспыльчив, кто привык к физическому труду, а кто нет, кто сильнее, кто менее вынослив, кто, надо полагать, дольше выдержит эту обстановку, кто сдаст скорее. Он знал, кто произносит «слушаюсь» высоким голосом, кто — низким, кто поет громко, кто тихо. Последнее имело очень большое значение, ибо если гимн «Хорст-Вессель» или выкрик «Хейль Гитлер» звучали недостаточно молодцевато, случалось, что настроение у надсмотрщика о многих звездах на воротнике портилось. Среди сожителей Густава по бараку особенно выделялся один, человек лет сорока пяти, очень часто мигающий, по-видимому, раньше посивший очки: на переносице еще виднелся слегка зарубцевавшийся след от оправы. Очки, по всей вероятности, разбились на каком-нибудь допросе или их, потехи ради, отняли у него. Что бы ему ни говорили, на все следовал один испуганный ответ «слушаюсь», сопровождаемый боязливым жестом: он поднимал руку и держал ее перед лицом. Ясно было, что мозг этого человека сдал. Несчастный мешал на «учениях» и работе, был обузой для своих товарищей по заключению и даже для стражи. Но его слабоумие служило приятным развлечением для тюремщиков, которые сами изнывали от тоскливых обязанностей. И вместо того чтобы поместить несчастного в лечебницу для душевнобольных, они забавлялись его безумием.

Дни проходили однообразно, буднично. Однажды, когда Густав катил свою тачку по новой дорожке, он наткнулся на темноватую лужу и остановился на минуту передохнуть. В освещенной солнцем водной глади он увидел вдруг отражение большой головы с грязной курчавой бородою, с седоватым пушком на те-

мени. Он давно уже не видел своего лица; раньше ему приходилось видеть его часто. С интересом всматривался он в свое отражение: лицо изможденное, глаза усталые, с кровяными прожилками. Так вот каков ныне Георг Тейбшиц. Густав удивился, но нельзя сказать, чтобы господин Георг Тейбшиц ему не понравился. К сожалению, у него было мало времени, чтобы поразмыслить над своей внешностью: нужно было везти тачку обратно. Когда он на следующий день попал на то же место, лужа уже высохла; это очень его огорчило.

Дни текли, мучительные своим серым однообразием и пустотой. Лишь в конце второй недели произошло событие. Однажды на «учении» присутствовал какой-то ландскнехт в высоких чинах, с дубовым листком на воротнике. Отделению Густава было задано хором повторять лозунг: «Националисты спасут Германию». Произнесли эту фразу, повторили ее несколько раз. Внезапно наемник с дубовым листком насторожился и оборвал их. Он заставил их декламировать группами по четыре человека. Очередь дошла до группы Густава. И тут все услышали, как чей-то голос ясно произнес: «Националисты сосут Германию». Наемник с дубовым листком приказал группе еще раз повторить лозунг. И снова раздалось: «Националисты сосут Германию». Голос принадлежал полоумному, которым забавлялись тюремщики. Все были уверены, что больной без всякого умысла коверкает фразу: видимо, он именно так ее понял, счел, что так и надо. Но официально старик не числился сумасшедшим, — значит, это была злонамеренность. Все его отделение было наказано. Кроме того, оно было оставлено без обеда и ужина, попеременно; главные же виновники, группа, к которой принадлежал Густав и полоумный старик, были посажены в одиночки.

Одиночки были расположены вблизи выгребной ямы. Раньше это были уборные, их забили досками и таким образом приспособили к новому назначению. Каждая одиночка была размером в полтора квадратных метра и совершенно темная. Густав провел под замком целую неделю. Он был заперт и днем и ночью. Его выпускали только для еды. Сначала его мучила страшная вонь;

потом он стал мучиться, и с каждым днем все больше и больше, от невозможности двигаться, вытянуться, невыносимо болела спина.

Были часы, когда Густав находился в состоянии полюборока. И были часы дикого отчаяния, часы бешенства, часы лихорадочных размышлений, кто вырвет его отсюда. Но уже не было больше часов, когда Густав мирился со своей судьбой. Он уже больше не думал: «Гам зу л'тойве».

Дурак он был, что вернулся в Германию. Генрих и тот, другой, абсолютно правы. Правы евреи, оставшиеся в Германии, что они помалкивают. Какая невероятная гордыня считать себя лучше господина Вейнберга. Интересно, удалось ли Бильфингеру договориться со своей невестой. Проклятый Бильфингер. Это он во всем виноват. Сбить бы ему очки с его квадратной рожи. Нет, во всем виноват Иоганнес Коган. Это он завлек его сюда. Иоганнес всегда и все отравлял ему. Иоганнесу небось легко было; приседать, прыгать, как игрушечный плясун, не бог весть какое искусство. Простоять две минуты на носках — это почище, мой милый. В особенности на счете «три».

Как назывались помещения, куда римляне запирали своих рабов? Кто-то из античных авторов писал об этом. Глупо, я не могу вспомнить его имя. На Макс-Регерштрассе мне казалось, что я не в состоянии буду работать, если у меня не будет достаточно места, чтобы ходить взад и вперед. А не предложить ли, чтобы они кормили меня по разу в день, а за то выпускали на два часа. Они этого не сделают. Они уничтожили меру вещей. Вспомнил. Колумелла — вот имя автора, который писал о рабах, а помещения для рабов назывались «*ergastula*». Моя память. У меня все еще приличная память.

Я осел в квадрате. Кому польза от того, что я пропадаю в этой вони? Все были правы. Что может быть смешнее «мученика». Иоганнеса Когана следовало бы разок съездить по физиономии. *De mortuus nil nisi bene*<sup>1</sup>. Но огреть его все-таки надо было. Анна должна

---

<sup>1</sup> О мертвых говори хорошо или ничего не говори (лат.).

была меня отговорить. Она должна была бы запереть меня в лечебницу для нервных больных. А все-таки я дам Иоганнесу разочек, прямо в его желтую рожу.

Он размахнулся. Кулак встречает деревянную стенку карцера. Удар слабенький, но Густав пугается, а вдруг кто-нибудь услышит. Он быстро вытягивает руки по швам и произносит: «Слушаюсь».

Однажды ночью его повели на «допрос». Его все еще относили к категории легко исправимых. Его «допрашивали» вовсе не с дурными намерениями, а просто потому, что нечего было делать. И все же он вернулся с допроса в таком состоянии, что на следующий день, когда его хотели вывести из карцера, его нашли в обмороке. На два дня его сунули в лазаретный барак. Потом снова вернули в камеру, и дни его потекли по-прежнему. Полоумный старик куда-то исчез. Теперь Густав, когда к нему обращались, заслонял лицо руками и отвечал: «Слушаюсь».

Кlaus Фришлин работал в центральной организации по борьбе с фашизмом. За последнее время он стал еще более хладнокровен и рассудителен. Все же, узнав из секретных донесений, что Густав попался, он был глубоко потрясен.

Он подумал о Мюльгейме. Мюльгейм был в хороших отношениях со многими своими нацистскими коллегами, и это давало ему возможность изыскивать способы для спасения своих друзей. Такие дела, разумеется, всегда были сопряжены с опасностью для него самого, и коллеги с каждым разом настойчивей советовали ему бросить все и уехать. Но Мюльгейм не мог устоять перед просьбами тех, для кого он был последней соломинкой. Дурень я, говорил он себе, когда же я остановлюсь. И, твердо решив, что данное дело будет последним, он брал на себя еще самое последнее.

О нелепом своем друге Густаве он вспоминал часто. Вести от него приходили редко, он давно уже вообще о нем ничего не слышал. Он полагал, что Густав путешествует где-нибудь за границей по хорошим местам, в безопасности, веселый, в обществе приятной жен-

щины. Когда он, Мюльгейм, закончит здесь свои дела и удерет за границу, он без особого труда разыщет Густава. Мюльгейм давно забыл нелепые выходки друга и все чаще и чаще мечтал о встрече с ним за границей.

И вдруг — телефонный звонок Фришлина. Мюльгейм жадно расспрашивает, нет ли сведений о Густаве, не знает ли Фришлин, где теперь Густав. Фришлин лаконически отвечает, что сообщит обо всем при встрече. И Мюльгейм с нетерпением ждет прихода Фришлина.

Без дальних слов Фришлин сообщил, что в концентрационном лагере в Моозахе находится некий Георг Тейбшиц, лицо тождественное с Густавом Опперманом. Мюльгейм сильно побледнел, вышел из себя и излил на Фришлина скорбь и ярость.

— Вы были единственным человеком, кто сохранял с Опперманом связь, — набросился он на него. — Вы должны были ему отсоветовать. Ведь он дитя неразумное.

— А откуда вы знаете, что я не делал этого? — холодно сказал Фришлин.

Мюльгейм беспомощно уставился куда-то в пространство. Вступаться за кого-нибудь, кто попал в лапы к ландскнехтам, было во всех отношениях опасно. Его коллеги, нацисты, и слушать не захотят об этом деле. Во вторник он собирался уехать. Он влипнет сам. Это будет, как в притче о виноградунике. Но ни на одну секунду он не подумал о том, чтобы увильнуть.

Есть две возможности. Он испробует обе. Прежде всего он пустит в ход Фридриха-Вильгельма Гутветтера, а затем нужно, чтобы Жак Лавендель нажал на министерство хозяйства, — пусть оно вмешается.

Фридрих-Вильгельм Гутветтер, искренне огорченный участью Густава, был невероятно изумлен, когда Мюльгейм предложил ему похлопотать за него. Что он может сделать? Политика для него — неведомая планета. Он не представляет себе, к кому обратиться и как. Чем он может мотивировать свой интерес к какому-то господину Тейбшицу? Красноречие Мюльгейма, как грохот, отскакивало от бронированной детской наивности великого эссеиста.

Мюльгейм бросился к Сибилле. На нее он возлагал мало надежд. Она, вероятно, отнесется так же, как и

Гутветтер, она, может быть, испытает даже некоторое удовлетворение оттого, что Густав, который оставил ее, попал в беду. Однако Мюльгейм ошибся. Узнав о случившемся, Сибилла очень побледнела. Лицо ее дрогнуло, дрогнуло все ее тонкое девическое тело. Опустив голову на руки, она начала жалобно плакать, безудержно, как ребенок. Ее трясло. Но когда Мюльгейм рассказал ей о разговоре с Гутветтером, лицо ее сразу стало решительным и злым. Долгие недели и месяцы терпела она неземную наивность Гутветтера и все чаще и сильнее тосковала по Густаву. Если политика для господина Гутветтера неведомая планета, то пусть он со благоволит совершить на нее путешествие. В противном случае он может не найти в Сибилле понимания его космических чувств.

Но и Сибилле пришлось натолкнуться на упрямство и строптивость Гутветтера. Однако у нее в запасе более действенные доводы, чем у Мюльгейма. И вот она держит в руках письмо, адресованное в решающие инстанции и дающее право надеяться.

Жак Лавендель, прервав свой отдых в Лугано, приехал в Берлин проводить приятеля Фридриха Пфанца, министра хозяйства. По мнению Жака Лавенделя, Фридрих Пфанц не слишком хорошо справлялся со своей задачей, иначе такие вещи, как, скажем, истории в концентрационных лагерях, не имели бы места. Полагает ли господин Пфанц, что эти истории могут повысить кредит Германии? Нет, господин Пфанц этого не полагал. И господин Жак Лавендель тоже очень скоро оказался обладателем письма, адресованного в решающие инстанции и дающего право надеяться.

В Моозахе сменился комендант. Новый хозяин осмотрел лагерь, осмотрел работы по строительству дороги. Дорогу надо было укатывать. Ему доложили, что для этого нужен паровой каток в двадцать лошадиных сил. Коменданта осенила идея.

Двадцати лошадиным силам соответствует восемьдесят человеческих. Разве в его распоряжении нет восьмидесяти человек? К чему тратить на дорогостоящий

пар? В каток впрягли восемьдесят заключенных; наемники, вооруженные дубинками и револьверами, окружили их. И смотрите-ка, расчет оказался верен: каток пошел. Ге-гей-гейль Гитлер, — орала стража. Восемьдесят заключенных, в полосатых арестантских куртках, с бородами, измученными, изуродованными лицами, наголо обритые или с прической в виде свастики, натянули лямки и, тяжело дыша, сдвинули каток. Ге-гей-гейль Гитлер.

Методы нового коменданта должны были испробовать на себе все заключенные. Каждый день впрягались новые восемьдесят человек. Популярностью этот род труда не пользовался. Веревки врезались в тело. Каждый зависел от своего соседа. Работа должна была идти четко, быстро, так как она производилась публично, на глазах представителей общественности.

Да, новый комендант очень гордился своей идеей. Дорога была построена исключительно руками человека, без машин. Она соответствовала веяниям нового времени, духу третьей империи, духу, борющемуся против машин. Комендант приглашал друзей испытать качество дороги, убедиться в том, что она не уступает любой другой дороге. Правда, дорога эта была совершенно ненужна: она вела из лагеря Моогах к топи, обходила топь и возвращалась в лагерь. Никто не пользовался ею. Но это была доброкачественная дорога, и все друзья и знакомые коменданта должны были увидеть, насколько она доброкачественна.

Они приезжали и видели. Они видели узников, впряженных в каток, — ничего подобного им раньше видеть не приходилось. Они рассказывали об этом своим знакомым. Лагерь был изолирован, строящаяся дорога была изолирована, однако новый способ дорожного строительства возбуждал любопытство, и многие просили у коменданта пропуск, чтобы посмотреть на работы. Комендант гордился всеобщим интересом к своей идее.

Сибилла между тем приехала в крупный город на юге Германии, чтобы ускорить освобождение Густава. Прослышав об идее нового коменданта, она раздобыла себе пропуск. Ежедневно выезжала она к месту, где заключенные тянули каток.



На седьмой день очередь дошла до отделения, в которое входил Густав. Здоровье Густава за последнее время ухудшилось. Он страдал одышкой. Муштра утомляла его с каждым разом сильнее. Он все чаще и чаще впадал в обморочное состояние.

Но в день, когда его впрягли в каток, он чувствовал себя довольно бодро. Натягивая лямку — ге-гей-гейль Гитлер, — он думал о многом, а этого с ним давно не случалось. Он вспоминал пасхальный вечер у Жака Лавенделя в Лугано; Бертольда уже не было. Будь он жив, он бы спрашивал: «Чем отличается эта ночь от всех других ночей?» Ему, Густаву, следовало бы о Бертольде подумать, а не о Жане. Жан стал нацистом. Может быть, он здесь, среди конвойных. Нет, для этого он, пожалуй, слишком стар. У Жана такое величественное лицо, почему бы им не сделать Жана министром? У них мало фюреров с хорошими лицами. Он вспоминает лекцию Тейбшица. Смеяться, когда ты впряжен в паровой каток, нельзя — очень режет плечи, — но улыбаться можно, тем более что курчавая борода скрывает улыбку. Как медленно движется каток, ужасно медленно. «Шествуй своим медленным шагом, вечный промысл». Нет, не «медленным», а «невидимым». «Шествуй своим невидимым шагом, вечный промысл». Досадно, что он не может вспомнить, как дальше. Столько лет потратить на изучение Лессинга, а потом забыть эту цитату. Куда же ведет дорога, по которой они тянут каток? Они строили города для фараонов — Пифон и Рамзес. Но там это имело смысл, а вот есть ли смысл в этой дороге? Ура. Он вспомнил, как дальше: «И пусть незримость твоих шагов не введет меня в сомнение». Ему было приятно, что он вспомнил. Он ослабил лямку и перестал думать.

И в этот день Сибилла была здесь и внимательно оглядывала лица заключенных. Лица были сплошь бородатые, почти все в кровоподтеках, — не узнать того, кого ищешь. Было странно думать, что один из этих людей не спал однажды ночь потому только, что не находил для своего кабинета обоев должной окраски; что он мучился вопросом, хорошо ли звучит написанная им фраза, и что она, Сибилла, была с ним близка. Она си-

дела в своем маленьком смешном автомобиле, который завяз у края дороги в топком грунте, — трудно будет его вытащить. Она сидела тоненькая, задумчивая и по-детски печальным взором оглядывала лица арестантов, но Густава так и не узнала.

Через день ей дали с ним свиданье. Она приехала в лагерь. Ее проводили в приемную. За барьером, под конвоем двух ландскнехтов, появился измученный, худой, грязный старик: Сибилла побледнела, от испуга у нее сжалось сердце. Но она сделала над собой усилие, она улыбнулась. В этой улыбке не было прежней ребячливости; подбородок у Сибиллы дрожал, но все же это была улыбка. А потом, — пусть это было не умно — ведь он Георг Тейбшиц, — но она не могла сдержаться, она не могла назвать его чужим именем. Она сказала:

— Алло, Густав! — и ее нежный, высокий голос был полон радости, сострадания, сердечности, надежды, утешенья, призыва: — Алло, Густав!

— Слушаюсь! — испуганно сказал старик и прикрыл рукою лицо.

Через два дня его выпустили. Как Лавендель настоял, чтобы Густава немедленно переправили через границу. Он устранил все препятствия к выезду господина Георга Тейбшица. В сопровождении санитаря Густав был доставлен в санаторий известного специалиста по сердечным болезням, недалеко от Франценсбада в Чехословакии.

Сибилле очень хотелось поехать с ним. Но Гутветтер настоял на ее возвращении в Берлин. Жалобно, чуть не плача, он попрекал ее по телефону: она ехала на три-четыре дня, а прошло уже две недели. Теперь, когда она добилась своего, она могла бы наконец и о нем подумать; она ведь знает, как он, Гутветтер, привык к ней. Ее земная конкретность укрепила субстанцию его космических творений. Она нужна ему, он не может без нее работать. Сибилла почувствовала серьезность его слов. Если она даст волю чувству и поедет с Густавом, — она рискует навсегда потерять Гутветтера. Она решила, что приедет к Густаву позднее, и вернулась в Берлин.

Спустя два месяца, через две недели после смерти Густава, скончавшегося от *debilitas cordis*, что означает высшую стадию сердечной слабости, Генрих Лавендель получил от неизвестного ему господина Карела Блага из Праги почтовый пакет, содержащий три документа.

Первый документ представлял собой описание всего, что Густав Опперман видел и пережил в Германии. На тридцати семи убористо напечатанных на пишущей машинке страницах были изложены подробнейшие данные о насилиях, учиненных фашистами в районе Швабии, а также точное описание концентрационного лагеря в Моозахе. Тщательно избегалась всякая оценка.

Второй документ представлял собой почтовую открытку. Текст ее гласил: «Нам дано трудиться, но нам не дано завершать труды наши». Подписана была открытка: «Густав Опперман, обломок разбитого корабля». Первоначальный адрес «Густаву Опперману» был зачеркнут, и рукой Густава Оппермана было написано: «Генриху Лавенделю»:

Наконец, третий документ — письмо от доктора Клауса Фришлина, секретаря Густава Оппермана. Письмо гласило:

«Многоуважаемый господин Генрих Лавендель. Доктор Густав Опперман, ваш дядя, поручил мне доставить вам прилагаемую записку и прилагаемую открытку. Ему очень хотелось, чтобы я передал вам то и другое лично. Но безотлагательные дела не позволяют мне выехать из Германии. Поэтому я поручил доверенному лицу доставить вам все документы.

Записку ваш дядя продиктовал мне за два дня до кончины. Ему очень трудно было говорить, но по ясности мысли продиктованного видно, что дядя ваш находился в полном сознании и ясной памяти. Когда рукопись была прочитана ему вслух, он в моем присутствии под присягой подтвердил нотариусу доктору Георгу Нейштаделю, что все сказанное им чистая правда. Копию нотариального акта при сем прилагаю.

По уходе нотариуса доктор Опперман попросил меня ответить ему на вопрос, который его тревожил: считаю ли я его самого и жизнь его бесполезной? Я ответил, что он, пренебрегая опасностью, показал свою готов-

ность вступить за справедливое и полезное дело. Однако он лишь видел то, что есть, но не умел сказать, что нужно делать. Он участвовал в марафонском беге, чтобы доставить жезл с донесением, но, к сожалению, его жезл был пуст.

Усилившаяся одышка помешала вашему дяде ответить мне, но было ясно, что он просит меня продолжать. Хотя я и очень порицал его поступок, как бесполезный, но я питал к нему дружеские чувства, а потому без всякого колебания сказал ему следующее: истины он не обрел, но он послужил хорошим примером. Мы продолжаем нашу работу и знаем, что делать. Под этим «мы» я, как и ваш дядя, разумел очень большую часть немецкого народа. Я заверил его, что нас не сломить.

Доктор Опшерман, как ни трудно ему было говорить, несколько раз повторил мне свою просьбу передать вам об этом разговоре, что настоящим и выполнено.

Ваш *Клаус Фришлин*».

## К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

Ни один из персонажей этого романа не существовал, как лицо, зарегистрированное в актах гражданского состояния в пределах Германской империи на 1932—1933 годы, но существовала их совокупность — общество, в котором они жили. Добиваясь художественной правды в отображении типического, автор был вынужден обезличить фотографическую подлинность отдельных фигур. В романе «Семья Опперман» изображены не конкретные лица, а дано их историческое обобщение.

Материалы о взглядах, правах и обычаях германских нацистов почерпнуты мною из книги Адольфа Гитлера «Моя борьба», из рассказов заключенных, вырвавшихся из концентрационных лагерей, а также из официальной информации, печатавшейся в «Германском имперском вестнике» за 1933 год.

Этот роман написан за шесть месяцев — начат в апреле 1933 года и закончен в сентябре того же года. Стало быть, он написан чрезвычайно быстро. Намного быстрее, чем я обычно работал и работаю над книгой. Я стремился как можно скорее показать читающим людям всего мира подлинное лицо нацизма и опасность нацистского господства. И вот уже в октябре и ноябре того же тридцать третьего года книга «Семья Опперман» была переведена на многие языки мира.

*Л. Ф.*

## ПРИМЕЧАНИЯ

Стр. 15. *...увертюры к знаменитой драме, много лет назад написанной знаменитым немецким композитором...*— Имеется в виду увертюра «Кориолан» Бетховена, написанная к драме австрийского писателя Генриха фон Коллина, а не к трагедии Шекспира, как ошибочно полагает Фейхтвангер.

Стр. 16. *...баварского Катилины, бегущего к нищим духом, к шутам, к поджигателям...*— Люций Сергей Катилина (108—62 гг. до н. э.) — разорившийся римский аристократ, организовал в Риме заговор с целью государственного переворота. Опирался главным образом на обедневших аристократов и на деклассированные городские низы. Заговор Катилины был раскрыт и разгромлен Цicerоном.

Стр. 48. *...был убит германский министр иностранных дел...*— Имеется в виду убийство Вальтера Ратенау (1867—1922), вызвавшего недовольство реакционных кругов своей политикой верности Версальскому договору и сближения с Советской Россией. Ратенау был убит членом националистической организации «Консул».

*...турки нанесли решительное поражение Греции...*— Речь идет о полном разгроме Греции турецкими войсками в 1921—1922 годах, вызвавшем свержение монархии в стране.

*Ирландия получила общепризнанную конституцию...*— В 1921 году правительство Англии предоставило Ирландии права доминиона; этот акт был зарегистрирован Лигой наций.

Стр. 57. *...об итальянском вожде Муссолини, о решимости, с которой тот завладел городом Римом...*— В конце октября 1922 года Муссолини двинул из Северной Италии в Рим фашистские отряды, которые вскоре заняли столицу. Буржуазное правительство и король, напуганные революционным движением, фактически не оказали сопротивления фашистам и охотно отдали власть в их руки. Этот эпизод фашисты именовали «похо-

дом на Рим»; по этому образцу Кутцнер и замышляет свой «поход па Берлин».

Стр. 70. *Арегино* Пьетро (1492—1556) — итальянский поэт-сатирик, известный своими сатирическими и эротическими стихами. По преданию, умер от смеха после того, как ему рассказали скабрезную историю. «*Умиравший Арегино*» — картина немецкого художника Ансельма Фейербаха (1829—1880).

Стр. 110. «*Гильдебранд и Гадубранд*» — древнейший памятник немецкой литературы, эпическое произведение в стихах. Дошло в рукописи VIII века.

Стр. 116. *Камерзенгер* — почетный титул, которым в Австрии и в Германии награждались особенно заслуженные оперные певцы.

Стр. 121. *Определение... Аристотеля... смысл искусства — в освобождении от страха и сострадания.* — Прекль неверно цитирует и толкует Аристотеля, у которого речь идет о «катарсисе» — внутреннем очищении посредством страха и сострадания, испытываемых зрителем трагедии. Прекль толкует Аристотеля в духе психоанализа Фрейда, согласно учению которого смысл творчества — освобождение от мучающих человека неосознанных стремлений и ощущений.

Стр. 122. *...Платон... знал, зачем изгнал поэтов из своей страны...* — В реакционной утопии Платона «Государство» философ объявляет чтение поэтических произведений изнеживающим и вредным для воспитания юношества.

Стр. 139. *Сицилийская вечерня* — народное восстание против французского владычества, происшедшее на острове Сицилия в 1282 году. Восстание началось в Палермо 30 марта во время пасхальной вечерни и завершилось полной победой восставших.

Стр. 140. *Спартакوصцы* — члены «Союза Спартака», возникшего в 1916 году, во время первой мировой войны. Союз, руководимый Розой Люксембург, Карлом Либкнехтом, Францем Мерингом, Кларой Цеткин и Вильгельмом Пиком, объединял наиболее революционные элементы немецкой социал-демократии, активно выступавшие против империалистической войны.

Стр. 144. *Фуггеры* — богатые аугсбургские купцы и банкиры. Семья Фуггеров играла большую роль в европейской торговле XV—XVI веков, императоры и папы брали у Фуггеров в долг крупные суммы денег.

*Вельзеры* — богатые аугсбургские купцы, торговавшие с

Ближним Востоком и с Индией. Вершины своего могущества торговый и банкирский дом Вельзеров достигает в XVI веке. Вельзеры были кредиторами императора Карла V.

Стр. 213. *Северянин...*— Речь идет об известном полярном исследователе Роальде Амундсене (1872—1928). Амундсен пересек Северный Ледовитый океан в 1903—1906 годах и достиг Южного полюса в 1911 году. В 1926 году Амундсен предпринял путешествие к Северному полюсу на дирижабле «Норвегия». Погиб в 1928 году, пытаясь спасти экспедицию Умберто Нобиле.

*Джон Франклин* (1786—1847) — знаменитый английский полярный исследователь, отправившийся на поиски Северного полюса и погибший со всей своей экспедицией на арктическом берегу Канады.

Стр. 214. *Другой опережает его.*— Другой — американский полярный исследователь Роберт Пири (1856—1920), определивший в 1900 году, что Гренландия — остров, и первым достигший Северного полюса в 1909 году.

*Но и по этому пути продвигался уже другой.*— Имеется в виду английский полярный исследователь Роберт Скотт (1868—1912), достигший Южного полюса 18 января 1912 года, то есть на четыре недели позже Амундсена, и погибший на обратном пути.

Стр. 215. *Южанин* — Умберто Нобиле (род. 1885) — итальянский конструктор дирижаблей и полярный исследователь. В 1926 году принимал участие в экспедиции, организованной Амундсеном, командуя дирижаблем собственной конструкции. В 1928 году Нобиле сам организовал экспедицию к полюсу также на дирижабле, построенном по его проекту. Этот дирижабль потерпел на обратном пути катастрофу, после которой остались в живых девять из шестнадцати участников экспедиции. В розысках Нобиле и его спутников участвовали суда и самолеты разных стран. Наиболее успешны были действия советской полярной авиации. Нобиле первым был вывезен на самолете. Еще один участник его экспедиции — Мальмгрен погиб при попытке добраться до суши по льду. Другие участники экспедиции были спасены советским ледоколом «Грассин».

Стр. 243. *Кориолан* Гай Марций (V в. до н. э.) — полугенеральный римский полководец, герой одноименной трагедии Шекспира. Патриций Кориолан, не желавший признавать прав плебса, был изгнан римским народом. Объединившись с враждебным римлянам племенем вольсков, Кориолан опустошил



область Рима и пощадил родной город, лишь уступив мольбам матери.

Стр. 251. *Кузнец из Кохеля*.— Согласно преданиям, кузнец Бальтез из верхнебаварской деревни Кохель отличился в битве при Зендлинге (1705), в которой восставшие баварские крестьяне разгромили австрийцев.

...повторится 1866 год...— В 1866 году Пруссия вела против Австрии войну, в которой Бавария выступала на стороне Австрии. Разгром в этой войне был для Баварии решающим этапом на пути к потере самостоятельности.

Стр. 253. *Клятва на Рютли* — эпизод из драмы Шиллера «Вильгельм Телль», из которой взяты и следующие цитаты (перевод Н. Славятипского). На лугу Рютли собрались представители швейцарских кантонов и дали клятву освободить свою родину от ига Австрии.

Стр. 315. *Макдональд* Джеймс Рамзей (1866—1937) — английский политический деятель, социал-реформист, один из руководителей лейбористской партии. В течение ряда лет возглавлял английское правительство.

*Примо де Ривера* Мигель (1870—1930) — испанский генерал. В 1923 году установил в Испании режим военной диктатуры, ниспровергнутый народными массами в 1930 году.

*Абд-эль-Керим* — один из вождей национально-освободительного движения в Марокко. В 1921 году одержал победу над испанцами. В 1925—1926 годах войска Абд-эль-Керима были разбиты французской армией, а сам Абд-эль-Керим захвачен в плен. В 1947 году Абд-эль-Керим бежал в Египет.

*Уменьшившаяся в размерах Турция*...— В результате первой балканской войны (1912—1913) Турция лишилась большей части своих европейских владений. В первой империалистической войне Турция принимала участие на стороне Германии и по Севрскому мирному договору (1920) потеряла Аравию, Палестину и Месопотамию; западные районы Малой Азии оккупировала Греция. В 1923 году Севрский договор был пересмотрен в Лозанне. Турция была возвращена Смирна и Восточная Фракия.

*В Китае алчные генералы... вели друг с другом непрерывные войны*.— В 1916 году Китай распался, и отдельные феодально-милитаристские клики, за спинами которых скрывались империалистические государства, беспрестанно воевали друг с другом.

Стр. 319. *«Кстати, вспомним для начала...»* — цитата из стихотворения Гейне «Царь Давид», перевод Ю. Тынянова.

Стр. 334. ...«надо заставить народ ужаснуться самого себя...» — Цитируемые слова Маркса взяты из работы «К критике гегелевской философии права» (К. Маркс, Ф. Энгельс, Собрание сочинений, т. 1, стр. 417), а не из «Капитала», как ошибочно указывает Фейхтвангер.

Стр. 343. *Феликс Фехенбах* (род. 1894) — немецкий журналист; в 1922 году был приговорен баварским судом к одиннадцати годам каторжных работ за «государственную измену», заключавшуюся в том, что Фехенбах опубликовал телеграмму баварского посла фон Риттера, касавшуюся вопроса с репарациях.

*Макс Гельц* (1889—1933) — немецкий коммунист; за участие в выступлениях рабочих в 1920—1921 годах был приговорен пожизненно к каторжным работам, но по состоянию здоровья освобожден в 1928 году. Его «Письма из тюрьмы» издали в 1927 году Эгон Эрвин Киш.

*Эрих Мюзам* (1878—1934) — известный немецкий антифашистский писатель. Писал драмы, читал стихи в мюнхенских кабаре, издавал журнал «Каин», выступал против империалистической войны. В 1919 году активно поддерживал советскую власть в Баварии, за что был приговорен к пятнадцати годам заключения в крепости. Эрих Мюзам вышел из тюрьмы в 1926 году. В ночь поджога рейхстага его арестовали фашисты и убили в концлагере Ораниенбург.

*Эрнст Толлер* (1893—1939) — немецкий писатель, автор стихов и экспрессионистских драм. Один из вождей баварской революции. Был приговорен после ее разгрома к пяти годам каторжной тюрьмы. В 1933 году эмигрировал в Соединенные Штаты. Покончил жизнь самоубийством, разуберившись в победе демократических сил над фашизмом.

## СЕМЬЯ ОППЕРМАН

Роман «Семья Опперман» (первоначальное название «Семья Оппенгейм») был написан в апреле—сентябре 1933 года и впервые вышел в свет в том же году в амстердамском издательстве «Кверидо». Роман был очень скоро переведен на многие языки, в том числе и на русский. Выдержал в СССР несколько изданий. В основу настоящего издания положен текст издания 1960 года (Lion Feuchtwanger, Die Geschwister Oppermann, Aufbau-Verlag, Berlin, 1960).

Стр. 376. ...о художнике *Феотокопулосе*, прозванном *Эль Греко* (1541—1613) — испанский художник греческого происхождения, смелый новатор, обогативший технику живописи, автор портретов и картин на религиозные сюжеты.

...обстановке во вкусе *«баухауз»*... — Баухауз — архитектурная школа, созданная в 1919 году в Веймаре архитектором Вальтером Гропиусом (род. 1883). Один из основоположников современного конструктивизма, Гропиус объявил высшим критерием современного искусства «целесообразность». Для внутреннего убранства комнаты он рекомендовал стальную мебель. После прихода фашистов к власти Гропиус эмигрировал из Германии.

Стр. 387. *Клопшток* Фридрих-Готлиб (1724—1803) — выдающийся немецкий поэт. Немецкому протестантизму с его рационалистической сухостью Клопшток противопоставил культ природы, как непосредственного проявления мощи и благости бога. Перу Клопштока принадлежат многочисленные оды, порой исполненные подлинного лиризма и высокой патетики, а также религиозный эпос «Мессиада», написанный в подражание Гомеру и Вергилию гекзаметром.

Стр. 396. ...прусского писателя и короля *Фридриха Гогенцоллерна*. — Речь идет о Фридрихе II (1712—1786), при котором прусский абсолютизм достигает вершины своего могущества. В 1780 году вышла в свет написанная по-французски брошюра Фридриха II «О немецкой литературе», в которой король объявляет немецкий язык — варварским, а немецкую литературу — ничтожной. Брошюра вызвала бурю возмущения в кругах прогрессивной немецкой общественности. Фридрих писал также исторические сочинения и французские стихи. Разыгрывая «философа на троне», Фридрих в 1750 году пригласил к себе Вольтера; однако визит кончился конфликтом, и в 1753 году, покинув Пруссию, Вольтер едко высмеял ее казарменный режим.

Стр. 397. *Габбе* Христиан-Дитрих (1801—1836) — немецкий драматург. Испытывал влияние Шиллера и Шекспира, стремился показать народ на сцене, призывал к созданию национального немецкого театра. Драма «Германова битва» не принадлежит к лучшим произведениям Габбе. Замысел автора неясен, характеры героев обрисованы нечетко, композиция лишена единства.

*Битва в Тевтобургском лесу* — сражение между римлянами и германцами, в результате которого римский полководец Вар

потерпел сокрушительное поражение, потеряв почти три легиона. Согласно описанию Тацита, сражение произошло в 9 году н. э. в лесистой, болотистой местности на берегах Эмса или Липпе. Место сражения точно не установлено, однако в Германии принято считать, что битва произошла в Тевтобургском лесу, где и воздвигнут памятник в честь победы. В результате битвы область между Рейном и Эльбой была освобождена от римского владычества, и населяющие эту область германские племена не подверглись романизации.

*Клейст* Генрих фон (1777—1811) — выдающийся немецкий писатель. Происходил из старинного дворянского рода. Служил офицером в прусской армии. В творчестве Клейста психологизм сочетается с апологией мужества, с культом воинского долга и дисциплины. В период наполеоновских войн проявил себя как поэт-патриот, однако патриотизм Клейста нередко вырождается в грубый шовинизм, которым проникнута, например, цитируемая ода «Германия — своим сынам». Не чужда шовинизму и драма Клейста «Германова битва». Это произведение написано на злобу дня и имеет мало общего с историей. Совершенно очевидно, что под видом римлян Клейст изображает французов.

Стр. 398. *«К Пфальцу воды отведите: пусть границей будут нам»*. — Рейнский Пфальц — область Германии, отошедшая к Франции по Люневильскому миру 1801 года. Клейст призывает соотечественников вернуть Германии Пфальц.

*...борьбе Нибелунгов с королем Этцелем* — эпизод, которым заканчивается «Песнь о Нибелунгах», средневековый немецкий героический эпос. Сестра бургундского короля Гюнтера Кримгильда хочет отомстить братьям за злодейское убийство своего мужа Зигфрида. Кримгильда выходит замуж за короля Этцеля (исторический Атила) и приглашает братьев к себе в гости; те принимают ее приглашение и гибнут в неравной битве с воинами короля Этцеля, нападшими на них по приказу Кримгильды.

Стр. 400. *Арминий Германец* — князь племени херусков. Родился в 18 или 16 году до н. э., убит в 19 или 21 году н. э. Первоначально служил в римских войсках, получил римское гражданство и удостоился высоких званий. В 7 г. н. э. Арминий вернулся на родину и принялся тайно готовить восстание против римлян. Осенью 9 года Арминий хитростью заманил легионы римского наместника Квинтиллия Вара в лесистую, болотистую местность и нанес им сокрушительное поражение.

ние в битве, вошедшей в историю под названием «Битва в Тевтобургском лесу».

Стр. 401. *Тацит* — римский историк, автор книги «Германия», основного источника сведений об Арминии.

*Момзен Теодор* (1817—1903) — крупнейший немецкий историк Рима. В пятом томе своей «Истории Рима» дал подробное описание истории римских провинций.

*Дессау Герман* (1856—1932) — историк древнего мира, ученик и сотрудник Момзена. Занимался историей Рима времен Империи. Основной труд Дессау — «Избранные латинские надписи».

Стр. 402. *Боксерское восстание* — восстание китайских крестьян, ремесленников и городской бедноты, направленное против иноземных поработителей (1900) и жестоко подавленное в 1901 году экспедиционным корпусом восьми империалистических держав.

*Арминия... убили его же соотечественники...* — Германские племена были разделены в то время на два племенных союза. Во главе одного из них стоял Арминий, во главе другого — его тесть Марбод — король маркоманнов, союзник римлян. В 17 году войска Арминия наголову разбили армию Марбода, и тот вынужден был бежать в Рим. Вскоре после этого Арминий был изменнически убит своими родичами.

*...Танненберг* — деревня в Польше. Немецкие войска под командованием Гипденбурга и Людендорфа нанесли при Танненберге в 1914 году поражение русским войскам.

*Зеек Отто* (1850—1921) — немецкий историк, автор исследования «История гибели античного мира». Пытался истолковать исторический процесс, исходя из теории Дарвина.

Стр. 403. *...ошибку, которую семьдесят лет спустя совершили евреи...* — Имеется в виду неудачная попытка евреев освободить Палестину от римского владычества (66—70), окончившаяся тяжелым поражением иудейских войск и разрушением Иерусалима войсками императора Тита (70).

Стр. 404. *...как за несколько столетий до него поступили Маккавеи...* — Братья Маккавеи возглавили в 166—130 годах до н. э. победоносную борьбу иудеев против владычества эллинистическо-сирийской династии Селевкидов.

Стр. 427. *«Вольфрам фон Эшенбах, начинай!»* — фраза из второго действия оперы Рихарда Вагнера «Тангейзер». Ею ландграф Герман Тюрингский приглашает Вольфрама начать

состязание певцов. Вольфрам фон Эшенбах — историческое лицо, выдающийся средневековый немецкий поэт, автор стихотворного романа «Парсифаль».

Стр. 436. *Император Сигизмунд* (1361—1437) — младший сын Карла IV, германский император с 1410 года.

Стр. 455. ...автор книги *«Неприязнь к культуре»* — Зигмунд Фрейд.

Стр. 467. *Бертольд Шварц* — монах-францисканец, которому приписывается изобретение пороха (XIV в.).

*Цеппелин* Фердинанд (1838—1917) — изобретатель дирижабля особой системы (1900).

*Габер* Фриц (1868—1934) — знаменитый немецкий химик, лауреат Нобелевской премии. Разработал систему синтеза аммиака, которая позволила немецкой химической промышленности выдвинуться на первое место в мире. После прихода к власти Гитлера Габер, как еврей, вынужден был эмигрировать.

*Вергус* Фридрих (1884—1949) — известный немецкий химик. Разработал способ изготовления жидкого топлива из угля и тем облегчил задачу снабжения армии Германии, не имевшей своей нефти.

Стр. 488. *Аридт* Эрнст-Мориц (1769—1860) — немецкий поэт и публицист, сын крепостного крестьянина. Автор ряда патристических песен. Призывал немецкий народ к объединению и к борьбе с французской интервенцией.

*Теодор Кернер* — немецкий поэт-романтик. Родился в 1791 г., убит на войне в 1813 г. Автор популярных песен, не свободных от националистических чувств. Боролся за освобождение Германии от французского владычества.

*Деблин* Альфред (1878—1957) — немецкий писатель, близкий к экспрессионизму. «Гиганты» — утопический роман, в котором автор стремится показать борьбу за новый мир, за религиозно-мистическое обновление человечества.

Стр. 490. *«Натан»* — стихотворная драма «Натан Мудрый» — одно из лучших произведений Лессинга (1729—1781). Основная идея драмы — человека делает угодным богу не исповедание той или иной религии, а добродетель, моральная сила, деятельная любовь к другим людям. Эту идею высказывает в драме еврей Натан, ею он руководствуется и в жизни.

Стр. 521. ...о конфликтах с совестью у *Валленштейна*, у *Торквато Тассо*. — Валленштейн Альбрехт, герцог Фридрихландский (1583—1634) — в пору Тридцатилетней войны командующий

императорской армией, герой одноименной драматической трилогии Шиллера. Шиллер показывает Валленштейна в тот момент, когда под влиянием честолюбия он собирается изменить императору, но никак не может на это решиться. Нерешительность губит Валленштейна. Тассо Торквато (1544—1595) — знаменитый итальянский поэт, автор поэмы «Освобожденный Иерусалим», герой одноименной драмы Гете. Гете показывает, как пылкая, страстная душа поэта вступает в конфликт с трезвой житейской мудростью и разумной умеренностью.

Стр. 525. *«Сердце, стерпи и это: ты так уже много терпело»* — цитата из «Одиссеи» Гомера.

*Бренн* — легендарный вождь галлов. Под его предводительством галлы вторглись в 390 году до н. э. в Италию и взяли Рим. В руках римлян остался только холм Капитолия. За крупный выкуп галлы согласились оставить Рим. Когда римляне начали отвешивать золото, Бренн, по преданию, бросил с громким смехом свой тяжелый меч на чашу весов и крикнул: «Горе побежденным».

Стр. 529. *Геббель* Фридрих (1813—1863) — крупный немецкий поэт, драматург и прозаик. Его ранние пьесы «Мария Магдалина», «Агнесса Бернауэр» имеют социальный характер. Трагедии позднего периода творчества — «Гиг и его кольцо» и особенно трилогия «Нибелунги» посвящены главным образом этическим проблемам. В них заметно ощутим отход Геббеля от реализма и проникновение в его творчество декадентских мотивов и настроений.

Стр. 536. *Фуртвенглер* Вильгельм (1886—1954) — немецкий дирижер, один из крупнейших музыкантов XX века. Вначале сотрудничал с властями третьей империи, но потом, возмущенный травлей композитора Хиндемита, демонстративно отказался от всех должностей, которые занимал.

Стр. 542. *...простодушный, как Зигфрид...* — Зигфрид — главный герой древнегерманских мифов и средневекового немецкого эпоса «Песнь о Нибелунгах»; образ «простодушного Зигфрида» восходит к опере Вагнера «Зигфрид», где герой вначале не ведает, что такое страх, любовь, золото.

## СОДЕРЖАНИЕ

### УСПЕХ

*Перевод В. Вальдман*

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Книга четвертая. Политика и экономика | 7   |
| Книга пятая. Успех                    | 207 |

### СЕМЬЯ ОППЕРМАН

*Перевод И. Горкиной*

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Книга первая. Вчера      | 347 |
| Книга вторая. Сегодня    | 459 |
| Книга третья. Завтра     | 563 |
| Примечания В. Микушевича | 701 |



*Лион Фейхтвангер*  
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
*Том четвертый*

Редакторы *Б. Арон* и *С. Шлапоберская*  
Художественный редактор *Д. Ермоленко*  
Технический редактор *А. Трошин*  
Корректор *В. Элькин*

Сдано в набор 24/II 1962 г.  
Подписано в печать 24/X 1962 г.  
Бумага 84 × 108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>—22,25 печ. л. = 36,48 усл.  
печ. л. 34,49. уч.-изд. л.  
Тираж 300 000 (150 001—300 000) Заказ № 2613  
Цена 1 руб.

Издательство «Художественная литература»  
Москва, В-66, Ново-Басманная, 19.

Типография «Красный пролетарий»  
Политиздата

Москва, Краснопролетарская, 16.

1906